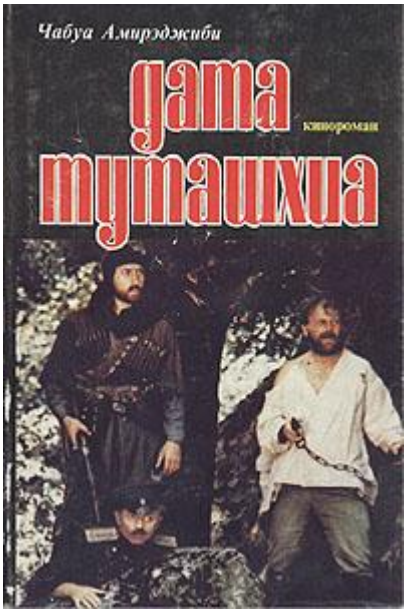
Чабуа Амирэджиби
Дата Туташхиа



вычитка, fb2 Chernov Sergey http://lib.aldebaran.ru
«Ч. Амирэджиби Дата Туташхиа»: Дрофа; Москва; 1993
ISBN 5-7107-0083-5 без сокращений

Аннотация

Чабуа Амирэджиби – известный современный грузинский писатель. Особую популярность Ч. Амирэджиби принес роман «Дата Туташхиа», выдержавший уже несколько изданий в Тбилиси и в Москве, переведенный на ряд европейских языков.

Каждое душевное движение героя романа Дата Туташхиа, мятежника, скрывающегося от царских жандармов, свидетельствует об искреннем желании искоренить зло, помочь людям. Своей романтичностью Дата напоминает известных литературных героев – Робина Гуда, Карла Моора, Дубровского. Вместе с тем это сложный динамический образ человека, не нашедшего верного исторического пути, но до конца, до самой гибели, выражавшего свой протест против всяческой несправедливости. Человек страстного темперамента, проницательного ума, большого мужества. Будучи натурой цельной, он не поступается своими принципами – и гибнет. Практически неуязвимый для преследователей, гибнет от руки своего сына-подростка, направляемой двоюродным братом – полицейским деятелем, который «самозабвенно любил Дату Туташхиа, считал его родным братом и видел трагедию в его скитальческом существовании».

Дате Туташхиа в романе противостоит система социального зла. В романе множество сюжетных линий, появляются и исчезают люди, стоящие на самых разных ступенях общественной иерархии, различного нравственного и интеллектуального уровня. Складывается широкая панорама грузинского общества начала двадцатого столетия.

Чабуа Амирэджиби
Дата Туташхиа

Пролог

...И было человеку дано:

Совесть, дабы он сам изобличал недостатки свои; Сила, дабы он мог преодолевать их; Ум и Доброта на благо себе и Присным своим, ибо только то благо, что идет на пользу

ближним; Женщина, дабы не прекращался и процветал род его; Друг, дабы познавал он меру своего добра и жертвенности во имя ближнего; Отчизна, дабы было ему чему служить и за что сложить голову свою; Нивы, дабы в поте лица добывать Хлеб Свой, как и заповедовал ему Господь; Виноградники, Сады, Стада и прочее добро, дабы было чем одаривать ближних Своих; и целый Мир, дабы было где все это свершать и воздавать должное той великой любви, которая и была господом богом его. И как было тут речено, так и все совершалось. Вера, и закон отцов наполняли любовью плоть и дух человека. И был судьей над народом и правил им Туташха [1]*, юноша прекрасный и благолепный. Не будучи человеком во плоти, был он, однако, духом человеческим, во глубинах души обитавшим и во все составы ее входящим.*

И породила та вера разум, мудрость и проникновение в суть вещей.

Из злака дикого, пустынного взрастил человек зерно, и хлебом насущным стал тот злак. Степному волу согнул он выю под ярмо, и смиренно понес вол тяжкую ношу свою. И сотворил Человек колесо и дорогами связал города и веси, дабы стал единым и породнился между собой род человеческий. И, глядя на небо, высчитал он ход светил и познал законы их. И когда должен был идти дождь или снег, он говорил своим ближним: «Вот будет ненастье». И начертил лицо Земли, и стало тогда видно, где ходить и где плавать, и какие где стоят горы, и какие где разверзлись моря. Придумал письмена, дабы рассказать о себе своим правнукам и сохранить для них свой опыт. Вырастил виноградную лозу и обратил ее в дар создателю мудрости этой. И зрел его народ, в храме обитающего, но подобного человеку и властителю. И следовал его заповедям как законам естества.

Детство и юность мои прошли в Сололаки, в четырехэтажном тбилисском доме с глубоким полутемным двором, замкнутым со всех сторон флигелями нашего дома и глухой стеной соседнего здания.

Граф Сегеди занимал комнату с кладовкой в полуподвальном помещении этого дома. Когда-то, давным-давно, он был начальником кавказской жандармерии. В девятисотых годах ушел в отставку и, позабытый всеми, в одиночестве доживал свой век. Говорили, что у него заслуги перед революцией и наша власть простила ему прошлое.

Шести-семилетним мальчиком я знал о нем немногое. Он редко выходил из своего подвала. К нему водили детей старше меня и вовсе незнакомых мне. Некоторые приходили сами. Сегеди учил их языкам – французскому и немецкому.

Он был высокий, очень худой старик, с прекрасной осанкой и лицом, иссеченным морщинами. Независимо от погоды и времени года носил черное касторовое пальто и котелок. Пенсне в железной оправе и трость, неизменно свисающая с руки, завершали его облик. Ходил он неторопливо и легко, всегда наклонив голову, и я долго не знал, какие у него глаза.

Я был вежливый мальчик, первым здоровался со всеми, но Сегеди избегал, пока не стал его учеником. Я боялся его – он напоминал надгробие из черного камня.

Но пришло время, и с замиранием сердца я постучал в двери его жилища.

– Пожалуйте, – послышалось в ответ.

Я вошел нерешительно и, сжавшись, замер у порога. Сегеди поднялся из-за письменного стола и, улыбаясь, подошел ко мне.

– Садитесь, прошу вас. Я должен просить извинения, чтобы покинуть вас ненадолго. – Он протянул руку к незаконченной фигурке из воска, стоящей на письменном столе. – Мое маленькое увлечение, вернее говоря, слабость, – пояснил он, – люблю лепить, коротаю время. Не скучайте, я вернусь тотчас же.

Сегеди направился в кладовку. Его чрезмерно любезный тон сбил меня с толку, я не мог понять, шутит он или серьезен.

В одном углу комнаты от пола до потолка поднимались полки, уставленные восковыми фигурками, размером сантиметров в сорок каждая. Не знаю, сколько их было, но они изображали собою людей разного возраста, сословий и состояния. Веселые и несчастные, жалкие и гордые, порочные и благородные, добрые и злые, казалось, вот-вот они зашевелятся,

---

[1] Главенствующий бог в грузинском языческом пантеоне.

заговорят, перевернут здесь все вверх дном. Они были как живые. И в то же время весь этот стеллаж был похож на мумию, прислоненную к стене.

Сегеди вернулся, и урок начался. Семь лет он учил меня немецкому и ни разу не изменил изысканной учтивости и располагающей к себе любезности. Наше время отвергло сословия, но я не помню случая, чтобы к имени Сегеди не присовокуплялся титул «граф». Повинно в этом было не его происхождение, а поведение, его манера обращаться с людьми.

Сегеди умер глубоким стариком. Заснул и не проснулся. Несмотря на возраст, он до последнего дня жизни сохранил здравый ум и ясную память. Кроме учеников, никто к нему не ходил; они первыми и узнали о его смерти. Комиссия из жильцов нашего дома обнаружила у него деньги. Их вполне хватило на похороны. Описали имущество: постель, три пары белья, одежду, которую он носил ежедневно, трость с гнутой ручкой, посуду, паноптикум восковых фигур и объемистую рукопись. Бывший жандармский генерал граф Сегеди не оставил после себя ничего больше.

Подвал опечатали. Начались нескончаемые тяжбы из-за «Квартиры Сегеди». Я уже не помню, да это и не интересно, кто с кем судился, на чьей стороне была правда и кто под конец вселился в подвал. Скажу только, что, пока правосудие шло к справедливому решению, вездесущие мальчишки превратили подвал в место своих романтических игр и, разумеется, не посчитались с тем, что имущество покойного со скрупулезной точностью было занесено в какой-то акт. Восковые фигурки обрели новых владельцев. Голуби из листов рукописи графа бороздили небо нашего двора. Дворник бранился, но на него никто не обращал внимания, пока мальчишки не устроили в подвале пожар и в дело не вмешались пожарные с брандспойтами. Не знаю почему, но лишь после этого происшествия я решился войти в квартиру своего покойного учителя и тогда впервые понял, что означало слово «погром».

Первое, что мне бросилось в глаза, были листы рукописи, рассыпанные по комнате. Часть их каким-то чудом уцелела, некоторые обгорели, другие размокли. Это была пятая или шестая часть его записок. Я их собрал и дома разложил по порядку страниц. В то время я не знал русский настолько, чтобы свободно разбирать размашистый почерк своего учителя. Да и возраст не позволял вникнуть в суть записей. Но одно я разобрал – это была повесть из жизни абрага[2], и даже то малое, что я прочел и понял, навсегда запало мне в память.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Проникли лазутчики из племени, поклоняющегося Маммоне, и рассеяли повсюду семена соблазна. Пало злое зерно в землю и дало пышный всход, ибо корнем своим проникало в геенну и питалось ядом ее. Возрос цветок прекрасный, но разлагающий плоть припавшего к нему, ибо дыхание его было ядовито. А народ глядел и радовался красоте его, опьянялся его благоуханием и не помышлял о будущем.

Пали замки и запоры с тех узилищ, где были замкнуты враги разума и души человеческой, и открылся путь Скорпионам, и возгорелась жажда стяжания. Позавидовали люди чужому достатку, прониклись злобой друг к другу, и затмился разум их. Поднял человек меч на ближнего своего, закрылся щитом от друзей, и не стало народа. И тогда Туташха вступил в бой с язвами и пороками мира: облагодетельствовал бедных, поверг в прах богатых, совершил правосудие над неправедными и возвысил униженных, принес мир в сердца враждующих и изгнал зло из душ человеческих.

Но умножилось предательство среди братьев, прелюбодеяние среди супругов, неблагодарность взысканных милостью, высокомерие власть имущих, криводушие подчиненных, коварство ученых, искательство невежд, ложь книжников.

И смутился тогда Туташха, ибо не знал он, как внести мир и покой в сердца. И сказал он в смятении:

– Не ведаю, что творю – зло или добро. Сложу же руки на груди и призову силу свою к

---

[2] Человек вне закона, скиталец, преследуемый властями, борец за справедливость.

бездействию.

И отвернулся от народа своего, перестал слушать стенания его.

Ибо не был он богом.

Граф Сегеди

…Встречаются люди, в высшей степени одаренные, но не умеющие распорядиться своими способностями разумно. Одно дело – врожденный дар, другое – умение им управлять. Два человека, в равной мере одаренных, могут быть нравственно совершенно не схожи, и каждый из них на свой лад использует отпущенное ему дарование. Ценность любого свершения определяется нравственностью свершившего. Для меня несомненно, что во все времена общество предоставляло поприще орлу, стервятнику и птахе, и стезя каждого была пролагаема согласно его нравственным склонностям.

Долголетняя служба в должности начальника кавказской жандармерии, а после отставки известная близость к тем кругам позволили мне от начала до конца проследить историю, наглядно подтверждающую сказанное. Это история жизни и отношений двух сильных натур – абрага Даты Туташхиа и его двоюродного брата Мушни Зарандиа. Провидение наделило их равновеликим талантом, но несхожесть нравственная развела их по разным стезям.

Начну свой рассказ с мысли о том, что хотя господь бог сделал прекрасное источником добра и чистоты, однако и это правило знает исключения. На сей раз прекрасное породило несчастье: красота юной грузинки Эле Туташхиа заставила поручика в отставке Андриевского совершить необдуманный, продиктованный чувством шаг. Брат грузинки Дата Туташхиа смертельно ранил поручика и ушел в абраги. Это произошло в 1885 году, когда Дате Туташхиа было девятнадцать лет.

Эле Туташхиа я сам дважды допрашивал, и клянусь честью, существо, что родилось из морской пены, несомненно, было подобно Эле Туташхиа.

Из архива Кавказского жандармского управления
Дневники поручика Андриевского

1884 года 9 апреля

…Писарь у меня в учреждении один. Дел, между тем, превеликое множество. Попытки найти порядочного, достаточно образованного человека на постоянную службу ни к чему не привели, и я за десять рублей в месяц договорился с неким Мушни Зарандиа, акцизным чиновником. Он приходит три раза в неделю по вечерам, когда освобождается в своем присутствии. Мушни Зарандиа – молодой человек с гимназическим образованием, однако в своих обширных познаниях не уступает окончившему университетский курс. Питает склонность к наукам, в особенности к праву. Обнаруживает к нему даже способности. Обычно Зарандиа сидит в комнате начальника канцелярии. В нее выходит одна из дверей моего кабинета, которую я часто оставляю открытой, чтобы при надобности позвать чиновника.

Однажды в конце дня, когда все уже разошлись, я остался ждать Зарандиа – чтобы составить и переписать кое-какие бумаги. Он пришел, как обычно, вовремя и принялся писать под мою диктовку. Через некоторое время, доставая платок, Зарандиа выронил из кармана червонец. Монета со звоном покатилась по полу. Зарандиа посмотрел на нее и спросил, не моя ли. Я покачал головой и сказал, что видел, как золотой выпал из его кармана. Зарандиа до крайности удивился, поскольку, по его словам, не брал денег из дому.

Монета поблескивала на полу. Зарандиа смотрел на нее, словно размышляя, каким образом она могла очутиться в его кармане. Вдруг вспомнив что-то, нагнулся и положил монету на стол. Мы вернулись к диктовке. Зарандиа заметно волновался, ерзал и, едва я кончил диктовать, попросил разрешения уйти, пообещав вернуться через полчаса и переписать документы. Я спросил о причине его волнения и спешки. Оказалось, что днем он ревизовал какого-то мелкого ремесленника, обнаружил товар, упрятанный от обложения налогом, и

составил акт. Он был убежден, что ремесленник, не осмелившись прямо предложить взятку, незаметно положил ему в карман этот червонец, поскольку деньгам взяться больше было неоткуда. Зарандиа сказал, что немедленно должен вернуть их. Все это он выпалил одним духом, собрал со стола бумаги, отнес в канцелярию и ушел.

Несколько позже, попрощавшись с начальником канцелярии, отправился домой и я. Часов в восемь я вернулся, но зашел в кабинет с черного хода. Мое возвращение, как видно, осталось незамеченным начальником канцелярии, который задержался в этот день дольше обычного, и Зарандиа, к тому времени тоже уже вернувшимся. Немного спустя я услышал голос начальника канцелярии:

– И что же, взял он деньги или стал отпираться?

– Взял. Он был смущен, – ответил Зарандиа.

– Гм, смущен! Не смущен, я полагаю, – озадачен. Верно, подумал, что сумма показалась вам ничтожною и потому вы ее вернули.

– Не знаю. Возможно, и так.

– Не следовало возвращать.

– А как же? – с непритворным удивлением спросил Зарандиа.

– Просто не следовало возвращать.

– Нельзя.

– А когда казна вам платит нищенское жалованье – это можно? Вам его достает? – Начальник канцелярии принялся откашливаться в ожидании ответа.

– Не существует жалованья, которого хватает. Надо себя сообразовать со своим жалованьем. Сколько ни дай, еще большего хочется. Не бывает большого и малого жалованья. Есть большой и малый аппетит.

Видно, начальник канцелярии не сразу нашелся, что ответить. После долгой паузы он сказал:

– А у вас, сударь, аппетит втрое больше жалованья!

– Как это? Я не задумывался, право, отчего вам так кажется?

– А оттого, что жалованья вам не хватает и вы за десять рублей в месяц скрипите здесь пером три вечера в неделю.

Зарандиа от души рассмеялся.

– Я работаю не из-за десяти рублей. У меня остается свободное время, надо же его использовать.

– Послушать вас – вы работаете не из-за денег. Вы и за пять рублей пошли бы, не правда ли?

– Нет. За пять не пошел бы.

– А что бы стали делать?

– Искать десятирублевую работу.

– Гм, десять это что – сакральная цифра?

– Вовсе нет. Мое основное жалованье и червонец к нему составляют доход, который дает мне возможность оставшееся свободное время – четыре вечера и воскресенье – использовать себя. С другой стороны, время, которое я трачу на дополнительную службу, стоит именно десять, а не пять рублей.

– Поразительная теория, ей-богу! Не назовете ли источник этой мудрости, милостивый государь?

– Как-нибудь в другой раз.

– Зачем откладывать?

– Тогда извольте. Древнегрузинская светская литература и некоторые богословские сочинения.

На этом разговор прервался.

Хотелось бы мне знать, таков ли этот Зарандиа на самом деле или играет такого.

1884 года 14 ноября

Вчера мы с Датой Туташхиа поехали в уезд на пролетке Канкава. Лошадь шла рысью.

Моросил дождь. Мы нагнали женщину преклонных лет. Она едва волочила ноги, промокла до нитки и вся дрожала от сырости. Туташхиа предложил уступить ей пролетку, сказав, что до города путь недолгий и ему даже охота пройтись пешком. Я, разумеется, согласился…

В городе мы поначалу зашли по моим делам в лавку писчебумажных товаров, а затем в мануфактурный магазин, где и ему, и мне предстояло сделать покупки. День был воскресный, базарный, покупателей было много, и у прилавка собралось сразу несколько десятков человек. Ждать, однако, нам пришлось недолго. Приказчик уже развернул перед нами несколько кусков товара, когда в магазин впорхнула жена Шабатава. Учитель Шабатава – молодой человек, и жена у него молодая, миловидная, но несколько ветреная особа. Бесцеремонно расталкивая людей, она направилась прямо к прилавку. Попробовала она оттолкнуть и Туташхиа. Спутник мой обернулся, смерил ее взглядом с головы до ног и резко загородил дорогу. Жена молодого учителя не унималась, но Туташхиа не уступил, а чтобы сдвинуть его с места, нужна была не женская сила.

Приказчик завернул нам покупки, и мы рассчитались. Дата попросил меня немного подождать, повернулся к даме, стоявшей ближе других, спросил, не собирается ли она делать покупки, и оставил позицию лишь после того, как приказчик принес ей товар.

Меня, признаться, удивил поступок Туташхиа. Его отношение к слабому полу было всегда, я бы сказал, особо почтительным. Вспомнить хотя бы, что в этот же день он из-за неизвестной женщины прошел несколько верст по грязи, а грязью эти места славятся. Мне показалось странным его отношение к скверно воспитанной, но молодой и привлекательной мадам Шабатава.

– Я поступил так ради ее же пользы, – ответил Дата.

Подобный альтруизм показался мне сомнительным, и Дата объяснил:

– Наглыми не столько рождаются, сколько становятся по нашей же с вами вине. Из благородства мы часто склонны прощать глупцам, вроде жены Шабатава, наглость, которую они позволяют себе однажды по одному лишь недомыслию. Но потом укрепляются в ней все больше и больше, от поступка к поступку. Дурак-то он дурак, а поймет, что наглому жить легче, и до самой смерти останется наглецом. Представим себе, однако, что глупцу не уступили и в наглости своей он был посрамлен. Нашелся человек, который проучил его. И тогда, каким ограниченным ни будь наглец, он раньше или позже откажется от своей низости и, может статься, еще проживет Жизнь как вполне порядочный человек.

Конечно, это убеждение Даты Туташхиа не совсем обычно. Удел наглеца – наглость. Однако я угадываю здесь некую истину, и привлекает меня в нем энергическое отношение к жизни.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА

11 марта 1885 года

г. Поти. Военный лазарет

Следователь – Кутаисской губернской жандармерии ротмистр Евтихий Агафонович Иевлев.

Пострадавший – Столбовой дворянин Московской губернии, поручик в отставке Сергей Романович Андриевский.

Вопрос следователя: Господин доктор, позволяет ли состояние больного допросить его и будет ли протокол допроса иметь силу правомочного юридического документа?

Ответ: Господин Андриевский получил ранение в верхнюю область печени, что вам известно из заключения медицинской экспертизы. В настоящее время у г-на Андриевского невысокая температура, психическое состояние нормальное, и он может дать показания без ущерба для своего здоровья. Что же касается юридической силы документа – утверждать или отрицать ее не входит в мою компетенцию.

Вопрос: Господин поручик, прошу объяснить следствию мотивы вашей отставки и выбора свободной профессии художника.

Ответ: Вопрос не имеет отношения к делу, и я отказываюсь отвечать на него.

Следователь: Начальник жандармского управления просил вас ответить на этот вопрос.

Андриевский: Передайте графу мое глубочайшее сожаление по поводу того, что здоровье не позволяет мне выполнить его просьбу, да я и не расположен сейчас к беседе на эту тему.

Вопрос: Кто нанес вам рану, которую вы лечите в военном лазарете города Поти?

Ответ: Житель Зугдидского уезда Кутаисской губернии Дата Туташхиа.

Вопрос: Какие тому доказательства вы можете представить?

Ответ: Дата Туташхиа подтвердит это. Может подтвердить также его сестра Эле Туташхиа и мой слуга Федор Никишов. Замечу, однако, что мы стреляли друг в друга с обоюдного согласия.

Вопрос: Вы хотите сказать, что между вами произошла дуэль?

Ответ: Нет, мы не оговаривали условии и стреляли без секундантов, что, как вам известно, не может считаться дуэлью.

Вопрос: Желаете ли вы возбудить уголовное дело против Даты Туташхиа?

Ответ: Ни в коем случае. Вместе с тем должен сказать, что я решительно возражаю против того, чтобы кто-либо возбуждал такое дело. Я имею в виду круг наших с Туташхиа отношений.

Пояснение следователя: Следствие располагает объективной стороной преступления, то есть фактом: тяжело ранен офицер в отставке, человек свободной профессии, столбовой дворянин. Жандармское управление на основании действующих законов обязано возбудить уголовное дело против того, кто нанес рану. Субъективную сторону преступления, то есть мотив действия, установит суд и во время вынесения приговора примет во внимание смягчающие вину обстоятельства, если таковые окажутся. В настоящее время преступник Дата Туташхиа уклоняется от уголовной ответственности. Против него возбуждено уголовное дело и объявлен розыск.

Вопрос пострадавшего: Какое наказание ждет Дату Туташхиа?

Пояснение следователя: Если преступление не содержит политического или сословного мотива, то есть такой криминал, который закон может посчитать террористическим актом, преступление будет квалифицировано как преднамеренное, но несостоявшееся убийство или нанесение раны с тяжелыми для здоровья последствиями. Что же касается санкции, то есть меры наказания, – ее определит суд.

Вопрос пострадавшего: Будет ли удовлетворена моя письменная просьба о прекращении уголовного дела против Даты Туташхиа?

Пояснение следователя: С подобного рода просьбой вы можете обратиться к суду, которому мы обязаны передать дело.

Вопрос следователя: Следствию требуются ваши исчерпывающие показания относительно происшедшего. Вы предпочитаете рассказывать обо всем последовательно или будете отвечать на вопросы?

Ответ: Спрашивайте.

Вопрос: Были ли вы знакомы с Датой Туташхиа до получения раны, если были – когда и при каких обстоятельствах вы познакомились?

Ответ: Дата Туташхиа – скотовод, гуртовщик. На зиму он арендует приморские пастбища князя Анчабадзе и пасет там скот. Аренда почти постоянная, поэтому на пастбище у Туташхиа стоит пацха[3], в которой он проводит зиму вместе со своей сестрой Эле. Берег в том месте скалистый, и для меня, художника-пейзажиста, он весьма привлекателен. Мне понравилась местность, и я обратился к арендатору с просьбой разрешить мне разбить палатку. Как я уже говорил, арендатором был Дата Туташхиа. Он разрешил поставить палатку, помог мне и моему слуге установить ее и устроиться. Это случилось В прошлом, 1884, году, в октябре. Пять месяцев тому назад.

Вопрос: Опишите внешность Туташхиа, есть ли у него особые приметы?

Ответ: Выше среднего роста, крепкого телосложения. Глаза голубые, нос крючковатый, ноги чуть кривые от постоянной езды верхом. Одевается изящно, к лицу, любит грузинскую чоху, преимущественно черного цвета. Часто меняет

---

[3] Жилище, сплетенное из прутьев орешника.

лошадей. Лошади его одна лучше другой. Словом, он почти ничем не отличается от своих соотечественников аристократического происхождения.

Вопрос: Эле Туташхиа?

Ответ: Не думаю, чтобы этот вопрос имел отношение к делу.

Вопрос: Что вы знаете о близких родственниках Даты Туташхиа?

Ответ: Дата и Эле – брат и сестра. Осиротели сызмальства. Насколько мне известно, у них есть тетка со стороны отца, ее муж и двоюродные братья.

Вопрос: Какое образование получил Туташхиа?

Ответ: В гимназии он не учился, тем не менее человек он достаточно просвещенный. Сирот взяли на воспитание тетка и ее муж, деревенский дьячок. Растили их вместе со своими детьми. Обучили грамоте, закону божьему, познакомили с изящной словесностью. Дата Туташхиа хорошо владеет русским разговорным языком, лучше, чем я грузинским. Но где и когда ему выучился, не знаю. У него живой, светлый ум. Глубоко порядочный, справедливый молодой человек.

Вопрос: Что вас связывало и какие отношения у вас были с Датой Туташхиа?

Ответ: Очень близкие, дружеские. Несмотря на случившееся, я и сейчас проникнут величайшим уважением к Дате Туташхиа и его сестре Эле.

Вопрос: Люди, столь близкие, решили обречь друг друга на гибель? Наверное, тому были серьезные причины? Из-за чего произошла ссора?

Ответ: Дата Туташхиа застал меня и Эле наедине. Считаю своим долгом сказать: если и была любовь между нами, то я ни в чем не обманул доверия ни своего друга, ни его сестры.

Вопрос: Что же произошло потом?

Доктор: Господин ротмистр, больной утомился. Продолжение допроса дурно скажется на его здоровье. Господину Андриевскому необходимо отдохнуть.

Следователь: Не смею отказать вам. Надеюсь, через несколько дней господину Андриевскому станет гораздо лучше, и у нас будет возможность продолжить допрос.

Мои показания записаны верно –

Подпись.

Рапорт Л. Д. Швангирадзе

27 марта 1885 года

…Согласно Вашему приказу я осуществил слежку за лицами, кои навещали в лазарете поручика в отставке С. Р. Андриевского, и лицами, кои общались с персоналом лазарета и в дальнейшем посетили могилу преставившегося поручика. Докладываю, что до кончины С. Р. Андриевского не поступало каких-либо сведений о нахождении в г. Поти преступника Туташхиа или его доверенного лица, в частности о появлении таковых в лазарете. На девятый день после похорон, т. е. 26 марта текущего года, в 11 часов утра к сторожу лазарета С. Табагуа пришел его собутыльник, портовый грузчик И. Бибилейшвили. Как бы между прочим, Бибилейшвили справился о состоянии здоровья г-на Андриевского С. Р. Узнав о его смерти, Бибилейшвили спросил о месте погребения поручика. Табагуа подробно описал могилу, после чего, посидев для приличия, Бибилейшвили ушел. Табагуа немедленно доложил мне об этой встрече.

В последнее время в потийских духанах часто называют имя Туташхиа, и у нас появилась возможность взять на заметку лиц, которые утверждают, что знакомы с Туташхиа или находятся с ним в близких отношениях. В числе таковых был и названный Бибилейшвили. После того как он посетил Табагуа, я немедленно отдал приказ вести за ним слежку и устроил две засады на военном кладбище. Слежка за Бибилейшвили не принесла результатов. Как выяснилось, Туташхиа успел с ним встретиться до того, как явилась возможность начать слежку. Бибилейшвили, находящийся в настоящее время под арестом, полностью отрицает как факт встречи с Туташхиа, так и вообще знакомство с ним. Однако то, что Туташхиа пришел на кладбище и легко нашел могилу г-на Андриевского, несомненно есть результат сведений, сообщенных ему Бибилейшвили, и изобличает последнего во лжи.

Близ кладбища преступник Туташхиа Д. показался под вечер. Он шел, оглядывая местность. В засаде находились вахмистр Стропилин и городовой Махатадзе на той стороне, что по левую руку от могильного холма. На противоположной стороне залегли фельдфебель Иваницкий и полицейский Шариа. Я и участковый полицейский

Турнава из-за кустов наблюдали за ходом операции.

Преступник не заметил засады и направился прямо к могиле г-на Андриевского. У могильного холма он остановился на миг. Видно было, хотел запомнить место… Вахмистр Стропилин поднялся и, предложив преступнику сдаться, взял его на прицел. Так же поступил и Махатадзе, находившийся за спиной Туташхиа. Фельдфебель Иваницкий выстрелил в воздух и вместе с полицейским Шариа пошел на преступника. Последний лег на землю и вытащил из-за пояса два маузера. От Стропилина и Махатадзе его защищал могильный холм, и, мало обращая на них внимания, он взял на прицел Иваницкого и Шариа. Иваницкий выстрелил из второго оружия, но промахнулся. В ответ раздались выстрелы с противоположной стороны. Шариа крикнул и, прихрамывая, убежал. Снова последовали выстрелы. Преступник полз между могильными холмами и отстреливался. Иваницкий был тяжело ранен. Мы с участковым полицейским Турнава вовремя пошли на перехват, но попали под ружейный огонь Стропилина и Махатадзе и залегли. Туташхиа скрылся, воспользовавшись суматохой.

Довожу до Вашего сведения еще одно обстоятельство: полицейский Шариа утверждает, что получил ранение в результате выстрела городового Махатадзе. Проверить это не представляется возможным, поскольку Шариа ранило навылет. Я убежден, его ранил Туташхиа. Что же касается фельдфебеля Иваницкого – из его раны извлечена пуля маузера.

Розыск преступника Туташхиа Д. продолжается. Установлена слежка за всеми местами, в коих возможно его появление.

Граф Сегеди

Уклонение от ответственности само по себе порождает со временем цепь новых преступлений, и чем больше их накапливается, тем необходимей становится изоляция преступника. Подобно жизни кокотки, жизнь абрага состоит из того, что он совершил и что стало известно учреждениям, осуществляющим надзор. Из того, чего он не совершал, но молва приписала ему. Из того, наконец, что совершил, но что так и не стало достоянием гласности. Досье Туташхиа быстро разрослось и заполнись настолько противоречивыми, порой весьма сомнительными сведениями, что, помимо служебного долга, нами двигало уже профессиональное любопытство – что же и в самом деле совершил Туташхиа, а что было только приписано ему? Мне хотелось встретить Туташхиа лицом к лицу, с глазу на глаз, чтобы разгадать это явление.

На протяжении первых четырех лет жизни в абрагах Туташхиа – можно утверждать почти уверенно – не покидал пределов Грузии, и это давало нам возможность так или иначе не терять его из виду и надежду, что, раньше или позже, он попадется в один из расставленных нами капканов. Подобные отношения с полицией и жандармерией пришлись, видимо, Туташхиа по душе. Это может объясняться отчасти тем, что каждая даже малая его удача находила в народе живейший отзвук, росла его слава, а это льстило его честолюбию. Существует непреложная закономерность: участь абрага в конце концов – либо виселица, либо пуля преследователя, либо нож или яд предателя. Но Туташхиа был, очевидно, избранником судьбы, и закономерностям его жизнь не была подвластна. За четыре года его пребывания в Грузии сыскные учреждения завербовали человек двадцать из числа тех, кому он доверял и у кого зачастую останавливался. Можно допустить, что половина из них предупредила Туташхиа об опасности; остальных же – можно не сомневаться – раскусил он сам и перестал пользоваться их услугами. Не однажды удавалось нам узнать, где и когда он должен появиться. В пяти или шести случаях он не приходил, и наряд полиции тщетно ждал его. Был случай, когда он выскользнул из окружения, уведя при этом восьмерку лошадей из полицейской конюшни. Он продал их в Озургети туркам. В другой раз он пробрался в дом, окруженный полицией, отужинал с хозяевами и ушел. Я вспоминаю эти истории, потому что за мою длительную службу то был единственный случай, когда абраг с непостижимым упорством играл и забавлялся если не с виселицей, то с каторгой, по меньшей мере.

В 1889 году Дата Туташхиа исчез, не оставив следов. В народе бродило много толков по этому поводу, но убедительного – ничего. Думаю, он счел нас слишком слабыми, недостойными противниками. Его интерес к нам был исчерпан. Игра ему надоела…

Дигва Зазуа

…Знал ли я его? Сказать, что знал, – это ничего не сказать. Видишь, кривой я на один глаз? Все из-за него. Все из-за него. Да, да, из-за него, из-за Даты Туташхиа. И в пономарях застрял, потому что кривой. А так, да с моими руками – видали б меня здесь. Бывало, уйду на заработки – меньше сорока – пятидесяти червонцев не приношу. Видишь оду[4]? Вся из каштана срублена. И пахотной земли на те же деньги сколько у Джиджихиа купил… У меня какое ремесло? Я клепку тесал. За штуку по две копейки платили. И деньги хорошие, и дело – что надо. В лесу – одно тебе удовольствие. Подойдешь к буку: чистый, ясный, сучочка не найдешь, струной в небо тянется. Когда глаз наметан, сразу поймешь, будет рубиться дерево или жилы в нем сцепятся, и тогда – конец, замучает. Поначалу щепу вырубишь пяди в полторы длиной и пальца в три толщиной. Топором тронешь – и он тебе сразу скажет, пойдет дерево на клепку или нет. В одиночку клепку не сработаешь, напарник нужен. Хорошо, если с товарищем пришел, а так подручного ищи. Пилить-то вдвоем надо. Лучше, конечно, с дружком – повыгодней обернется.

Осенью собрал я урожай, что продать – продал, что запасти – запас, и подался на Кубань. На Кубани знал я одну станицу в горах. Баракаевской звалась. По эту сторону Баракаевки, ближе к нашим краям, сплошь буковые леса; там клепку и тешут. Селеньица кругом небольшие, во всех стоят лесорубы-клепотесы. Пришлого народу собирается, разного рода и племени, не счесть. Старожилов-то я всех знал – не один год туда ходил. Десятник моему приходу всегда рад – в клепке я собаку съел, так-то.

Пришел, стало быть, нашел товарища из казаков. Мастер был – куда тебе, а человек – и того лучше. Только напарничали мы с ним недолго. Свалил беднягу тиф, и помер. В тот год мор был страшный. Многих унесло, в особенности из пришлых. У тамошних и жилье что надо, а в закромах – полным – полно, и скотина своя. Сытого да мытого хворь трудней находит. Остался я один. Рабочего не найти, народу сильно поубавилось. Местные к тебе не пойдут: семьями выходят, лес, что сено, косят, деньги загребают невиданные. Они сами рады тебя в рабочие заполучить.

Ну, пришел в эдакую даль – обратно не пойдешь! Начал ковыряться в одиночку. Намаялся, измучился, хоть беги. Хотел и, вправду махнуть рукой и податься домой. И вдруг тут, в лесу, – Дата Туташхиа. Вижу раз – карабкается как-то по склону. Не то что издали, вблизи и то с трудом его узнал. Куда девались ладно скроенные чохи Туташхиа и его породистые жеребцы! Не поверишь, пешком тащился, в тридцатикопеечные стертые чувяки был обут.

«Беда за тобой увязалась, Дата», – подумал я, а он подходит ко мне и улыбается. «Вижу, не до смеху тебе, – говорю. – стряслось с тобой?» – «Ничего такого, – отвечает, – надо мне где-нибудь приткнуться до поры».

Рванье на нем было, скажу я тебе, а все равно среди тамошнего грязного и серого люда казался он князем. Ведь как был хорош, ничего не скажешь. Бабы, так те глаза вылупили, оторвать не могут. Ладно, не о том речь.

Привел я Дату к десятнику, вот, говорю, напарник объявился. Отвели нам жилье на двоих, и начали мы работать. В клепке Дата ничего не знал, но топором орудовал бойко. Выучился ремеслу быстро, а главное, прилежный был.

В первый день валить дерево не привелось – было у меня срубленное, взялись пилить его на жбаны. Рядом рубил дерево Поклонский с сыном. И здоровое же было дерево – втроем не обхватишь! Второй уже день рубили. А Дата все в их сторону поглядывал, то высоту, то толщину на глаз прикидывал. И чего ему было надо – не видел, как дерево валят? Так нет же, те

[4] Западногрузинский дом на сваях.

деревья, видишь, были другие и падали по-другому, любопытство его и брало. Ну, наконец осилили Поклонские свой бук. Заскрипел он, затрещал. Дата треск услышал, пилу бросил, повернулся к ним и, как стоял на коленях, так и остался, глядит, будто завороженный. Бук качнулся и рухнул на землю. Вижу, на Дате лица нет, пот градом, а не шелохнется. Сейчас вот вскочит, и мне его больше не видать. Не думал, право, что и останется. Долго стоял он на коленях, тихий-тихий, потом отер с лица пот рукавом и опять за пилу.

Думал, привыкнет он к лесу, к делу, перестанет у него душа болеть, да стал замечать за ним чудное: выберем, бывало, дерево, возьмемся за него в два топора, щепки с локоть дождем сыплются. Подрубим. Дата отойдет в сторону и глядит. Глядеть-то и вправду интересно: затрещит бук, будто ему хребет переломили, но стоит до поры… а после повернется, накренится и пойдет падать, все круша по пути; листья звенят, шуршат, грохочут, ветви стонут, ломаются, трещат немыслимо. Гул кругом, будто Амирани[5] испускает предсмертный вздох. Рухнет дерево на землю, да так гулко, будто великан в грудь кулаком себя ударил. Только много громче выходит. Вздрогнет земля, заходит ходуном и стихнет. И покажется тебе, что ты оглох. Лежит дерево несчастное-пренесчастное. Листья вмиг свернутся. Тишина мертвая. Ох, какая огромная тишина! Дата стоит и смотрит. И всегда так – где поблизости рубят дерево, бросит работу и – туда. Сколько раз я от него слышал:

– Дигва, брат, голову даю на отсечение, дерево, как человек, а то и лучше его все понимает; и красивей оно человека, и смерть благородней встречает, а уж живет и подавно лучше!

Так любил говорить Дата Туташхиа и верил в свои слова.

В сторону я взял, однако. Старею, забываться стал.

Много ли мало ли времени прошло, пожаловал к нам отставной солдат с женой. Она, я после узнал, пока муж службу отбывал, его не покидала, была при нем неотлучно. Были они бездетные, голые да босые, спать и то было не на чем. Как их сюда судьба забросила – бог ведает! А я знать не знаю – неисповедимы пути господни. Да в одиночку он разве сюда прибрел бы? Сколько в том поселке людей жило – все пришлые, голь перекатная, а глядишь, прижились и добром обросли.

Пришли, значит, новенькие. Десятник спрашивает солдата, умеет ли он лес рубить. «Нет, – говорит солдат, – я человек степной, дрова разве что колоть смогу, а в лесном деле не разумею». Все же принял его десятник – людей не хватало. Попросил меня и Дату взять их подручными, выучить на клепотесов. Пропади он пропадом, тот день. С него и пошли все напасти. А как пошли да что было, расскажу тебе по порядку.

Солдата звали Бударой, солдатку его – Бударихой. Так никто и не знал, кто они и откуда. Говорить-то по-русски они говорили, а все равно такого разговора я раньше не слышал, от них только. У Будары зрение в солдатчине поослабло. Но и с плохими глазами работник он был хоть куда. Будариха, пусть и баба, а работала не хуже, а то и получше своего Будары.

Денька два Дата приглядывался к ним, а потом и говорит мне:

– Негоже держать их на полтиннике, жалко. Давай по рублю платить.

Вот тебе и на! Цена рабочему в тот год сорок копеек была. С какой стати Бударам по рублю платить?! Дата стоял на своем, уговорились наконец платить по семьдесят пять копеек каждому. Обрадовались Будары, стараться стали пуще прежнего. Мало-помалу выучились выбирать дерево, валить его, распиливать, колоть, строгать… До чего прилежные были люди, господи ты боже мой! Взять, к примеру, мошкару. В лесу стоит она тучей; где работаешь, перво-наперво надо гнилуху расчадить, разогнать ее дымом, а то до костей обгложет. Бударам гнилуха не нужна; мошкара им нипочем; как примутся спозаранку за работу, до сумерек спины не разогнут. А уж обходительные были оба через край. Всегда с улыбочкой; ко всем с почтением; с курицей и то, как говорится, на «вы». Здороваются – так до земли поклон. Молятся денно и нощно – чернец позавидует. Раз я говорю так, ни к чему вроде, что в кувшине вода застоялась; услышал Будара, вырвал посудину у меня из рук и – вниз по горе. Звал я его, вернись, кричу… Куда там! До родника верста вниз по крутому склону и верста обратно тем же

---

[5] В грузинском фольклоре – Прометей.

ходом. Принес.

Пробыли с нами Будары ровно месяц, выучились ремеслу и стали работать самостоятельно, для себя. Они еще с нами были, когда взялись избу ставить. Помогали мы им чем могли – балки там, стропила, рамы, двери… За тот месяц Будары сорок целковых заработали. Уняли бедняги голод, приоделись, конечно, по-лесному.

Стены уже стояли, когда они бросили избу и взялись за хлев. В две недели срубили. Просторный был хлев – пять коров с приплодом уместились бы в самый раз. Пришли они сюда, понял я, добром разжиться и поселиться навечно. Дата так радовался их упорству, будто они для него старались.

Помню, как-то в полдень мы с Датой отдыхаем, обедаем. Пришли Будары. Мы их пригласили закусить чем бог послал. Сидим вчетвером – о том о сем. Тут Будариха и говорит: «Мы ремесло ваше пока не шибко знаем, клепку на рубль в день темпом, не боле, а расходы, сами знаете, какие: избу надо закончить, по хозяйству то, другое купить. Вот корову хотим первым делом, да денег недостает. Одолжите пятнадцать рублей, в это воскресенье пойдем в Баракаевку корову покупать, а долг хотите отработаем, хотите – деньгами»…

Дата не дал мне рта раскрыть, отсчитал Бударихе пятнадцать целковых. Для таких, говорит, ничего не жаль, бог вам в помощь. Поблагодарили они нас и раз, и другой, и еще не знаю сколько, посидели немного и пошли к своему буку.

Сказать по правде, не понравилась мне ни их просьба, ни что Дата денег им дал. Не от жадности, бог свидетель. Я таиться не стал, сказал Дате.

– Почему не по душе? – удивился он. – Сказать можешь?

– Могу, – говорю, – чувствую, добра не будет. Увидишь, моя будет правда.

В воскресенье Будары затемно вышли из села, пораньше к базару. А в селе между тем и стар и млад, и здешние, и пришлые – все уже знали, что отправились они покупать корову. Я еще с утра заметил – неспокойно у нас, непривычно: мужики все молчат, бабы глядят зло. Что такое, думаю? Это я про тамошних говорю, про местных. Пришлых почти не было никого, разошлись кто куда.

Наш поселок на косогоре лежал, и с майдана, где всегда народ собирался, дорога была видна; вилась она по склону, из Баракаевки к нам поднимались этой дорогой, другой не было. Когда перевалило за полдень, высыпали все на улицу семьями, расселись по крыльцам, по лавкам, по бревнам и уставились на дорогу. Сидят молчком, редко кто словом перекинется. Глядят как сычи, словно ждут чужих похорон. Я-то догадывался, чего ждут, но на всякий случай прислушался – и правда, Будар ждут. Если кто в деревне купит скотину, а сосед прибежит на нее взглянуть – это дело обычное. Но у тех, скаженных, не меньше пяти коров было на каждого, да свиньи еще, да козы, а уж кур, уток, гусей – не счесть. Вот и чудно мне было, что они из-за Бударовой коровы теряют столько времени. Пришли они сюда все голодные и босые, разбогатели – рукой не достанешь. У них корчевки были, картошки сажали пропасть. Урожай в тех краях невиданный. Картошка отборная, кожура синяя. Мелкая – с кулак, крупная – с капустный кочан. С чувала семян двадцать чувалов урожая брали. На базар несли весной – когда в цене. Да еще под хлебом и кукурузой сколько земли, да от леса доход. Вот и считай. Власти в той глухомани нет, брать налог некому. Богаты они, сильно богаты. Но почему так ждут Бударову корову – ощетинились, в кулак сжались? Сказал Дате. Он что-то топором мастерил. Бросил. Подсели мы на лавку к здешним.

А Будары с коровой припозднились. Все молчат, закручинились – дальше некуда.

– Видно, корову у них украли, – сказал один.

Смех такой поднялся, будто он невесть какую шутку отмочил. Приободрился балагур и добавляет:

– Наверное, и Будар прирезали!

Опять хохот.

Этот пустился уж во все тяжкие – хохочут пуще прежнего. Надоело, видно, замолчали. Шутник опять скоморошничать, но уже впустую. Нахохлились, молчат. С полчаса прошло.

Показались Будары. Идут медленно. Впереди Бударa, корову ведет за налыгач, за коровой – Будариха с хворостинкой. Все ближе и ближе подходят.

– Будары-то козу купили! Козу! – сказал кто-то.

Засмеялись все, только чуть слышно, про себя, чтобы до Будар не дошло.

Но была это не коза, а корова. Хорошей горской породы, а они, дурачье, в той породе ничего не смыслили. Такой надой, как у всех них, Бударова корова, конечно, дать не могла, зато из ее молока масла вдвое, а то и втрое больше можно было сбить. Знать они этого не знали и радовались – корова, дескать, мала и молоком ее не зальешься.

Поднялись Будары по косогору, и, когда осталось до них шагов двадцать, кто-то сказал:

– Корову-то бесхвостую купили, поглядите, люди, бесхвостая скотина!

Кончик хвоста у коровы и правда был обрублен вершка на три или чуть больше. В лесных местах чем длиннее у коровы хвост, тем оно лучше – мух и мошкару ей так сподручней отгонять, куцая скотина измучается, мухи ее изведут, молоко убудет. Увидели они обрубленный хвост, угомонились – Бударовой корове до наших далеко. И разошлись.

– Видал? – говорит Дата. – Чему радуются, дурачье. Богатый сосед в беде помощь, в нужде – опора! И что за народ эти люди, не пойму…

И впрямь он их не понимал, а все оттого, что не знал. А я знал. Они друг друга поедом ели, чужое добро им глаза выедало; не люди – зависть сплошная. Зависть измочалила их. Когда голь разживется, она всегда такой делается. И в поселке этом жирела разжившаяся голытьба. Недобрый был народ. Дурной. Не веришь? Я сейчас тебе такое расскажу – волосы зашевелятся.

Загнали Будары свою бесхвостую в хлев, просторный, как хоромы господские. И что ты думаешь? Во всем поселке другой такой дойной коровы не сыскать. Никто верить не хотел, когда эта куцая коровенка молока больше других давать стала. А Будариха, стерва, раздобыла где-то стеклянную посудину, внесет в хлев порожнюю, вынесет полную и у всего села на виду идет себе в избу. Знала дрянь баба, соседи из-за занавесок поглядывают, от зависти дохнут. И так важно шла, будто кормилица, а в руках у нее не банка с молоком, а княжеское дитя.

Ну и хитра, все село переворошила.

Пришло время, к отелу ближе стала Бударова корова сохнуть. Походила в стадо месяц или около этого, а потом и вовсе пропала. Поползли по селу слухи-толки – удрала у Бударихи корова, и все тут. Совсем осатанел народ – бегают друг к другу, языки чешут: у козы у этой всего три недели передой-то был.

Известное дело – иная скотина убегает на отел.

Будары искали корову – не нашли. И мы с Датой облазили каждую ложбинку, каждый овражек, – куда там, как сквозь землю провалилась. Затемно возвращаемся в поселок, слышим, причитает кто-то. Мы – туда и видим: корова Будар лежит с перерезанным горлом, а рядом рыженький теленок с размозженной головой; тут и кол валяется. Будариха на коленях, простоволосая, ревет в голос. Слышал небось, как бабы по покойнику воют, она горше. А кругом народу человек восемь, все из тех, кому куцая Бударова скотинка была не в радость. И стоят с такими рожами, будто ни они, ни деды их сроду такой беды не видали, а уж ни при чем тут они – и подавно.

– Погляди ты только на это отродье, Дигва-браток! Чего наделали, а? – шепчет мне Дата. – Убей меня, кто-то из этих и взял грех на душу!

Разозлился Дата, весь трясется. Схватил кол и с колом на этих плакальщиков. Они врассыпную, как тараканы. Да быстро как – только я подумал унять его, а их уже и нет никого.

Десятник немедля отправил в Баракаевку человека. Наутро явился пристав в усах, фамилия его была Скирда. Поглядел на убитую скотину, порасспросил людей, что да как; те, сволочи, на Дату жаловаться, да пожадничали, не подмазали пристава. Сунул я Скирде пятерку. Спросил он меня, как с колом дело было. Я ему все рассказал – он от смеху чуть не лопнул. «Поделом, – объявил он битым, – мало еще вам перепало». Нажрался Скирда и убрался, откуда прибыл. Остались наши хлысты несолоно хлебавши. Хлысты я сказал потому, что они такую веру исповедовали, по вере и звались. Какая эта вера, после скажу.

Прошло три дня. Побитые хлысты ходят на работу хоронясь, будто чего опасаются. Дата, слов нет, как разъярен был, когда за кол схватился, но особо-то никого не задел, был я там, видел.

Раз один из этих битых высмотрел меня одного, подошел, то да се, стал выпытывать, что у моего товарища на уме, какие намерения. Ясно было – боялись, что Дата их всех поодиночке перебьет за донос приставу. Я-то знал, какие у Даты мысли были, горевал он, что погорячился,

думал, может, виноватого среди них вовсе и не было. Видишь, что его мучило! Я про это знал, но не открывать же хлыстам! Я и говорю: судьбу не искушайте, не попадайтесь ему на глаза, ходите сторонкой, как бы не вышло. Как же нам быть, спрашивает хлыст, до каких хорониться, может, зла он на нас и не держит, знать-то? Приходи, отвечаю, завтра, я у него выпытаю. Пришел на другой день, помоги, говорит, Христа ради. Бога, говорю, не тревожь, а соберите мне полчервонца, после потолкуем. Ушел, рассказал своим товарищам про наш разговор, стали спрашивать у своего Христа совета. У них свой Христос, живой человек, клепотес, как все. Их Христос и посоветовал выложить пять рублей и Дату Туташхиа угомонить. Принесли, выложили. Деньги в карман, вернул сполна, что отдал приставу, и дал хлыстам волю ходить на работу без опаски. Поручился вроде бы.

Будары все свой убыток оплакивали. Понятное дело, да бог с ними. Беда, что Дата как воды в рот набрал. Вот не думал, что он так маяться может; туча тучей ходил не день и не два.

Да вдруг ожил. У меня камень с души, но чувствую, выкинет он еще что-то. Спрашиваю – молчит. До субботы молчал. В субботу говорит: я деньги Бударам одолжил, в Баракаевку Идем, корову купить намерены, да и лошадь еще.

– Зачем ты это делаешь, – спрашиваю, – интересно бы знать?

– Могу, вот и делаю, – отвечает, – отчего бы мне и не делать?

Ушли они втроем затемно; к вечеру вернулись, пригнали двух коров с телятами и преотличную лошадь. Дата, ясное дело, скотину брал без ошибки. Ни единая живая душа не вышла их встречать, все сидели по домам, из окон незаметно подглядывали.

Наняли Будары рабочих, раскорчевали землю под хлеб, под картошку, купили семена, вспахали поле, засеяли и заборонили, достроили избу, завели свинью и птицу.

Не утерпел я, однажды спросил у Даты, сколько он Бударам денег дал, что они так обстроились и разжились.

Поглядел на меня Дата в упор, долго так глядел, отвернулся и снова за клепку взялся, а потом говорит:

– Тебя, Дигва, убыло оттого, что они так обстроились?

– С чего мне убывать, – отвечаю, – только зря ты думаешь, что Будары тебе в нужде помогут, жизнь за тебя положат.

– Мне их помощь ни к чему, – говорит Дата, – разживутся они, богатому доброе дело легко дается, попадется им какой-нибудь бедолага, и как я им помог, так и они ему помогут. А моей нужде, будь я крестником наместнику, и то ничего не поможет.

– Ладно, – говорю, – цыплят по осени считают. – Когда Бударихa из хлева молоко в стеклянной посудине таскала, уже тогда я понял, что они за птицы… – Сколько все же ты им дал?

– Двести рублей. Не просили, сам дал. В долг. Мог и подарить, только дареное не впрок, прахом пойдет, добро своим потом наживать надо!

Пришла весна, я – домой, отсеялся, порядок навел. Лето – известно – пора крестьянская. Осенью опять на Кубань. Дата встретил меня мрачный, душа не на месте. Что его мучило, я так и не смог понять.

Осенью собрали урожай. Будары невесть сколько зерна в закрома засыпали, масла и сыру запасли, десятипудового кабанчика закололи. И долг вернули. Да только тех услужливых и приветливых Будар как не было. У подслеповатого Будары глаза вроде бы видеть стали, Бударихa в лес уже не ходит, сидит дома, рукодельничает, дом-де в хозяйке нуждается. Будара откуда-то рабочего привел, калеку хромого. Этот хромой и разумом хромал. Все с ухмылочкой и под нос себе бормочет. Работал он у них от зари до зари, за двугривенный в день рвал пуп, бедняга. И не в том беда, что дурачок, всякой деревне свой дурачок нужен, – жалко его было, не могу тебе сказать как. Двугривенный за этакий труд платить – грех великий. Дата сказал про это Бударе, а тот ему: «А зачем дураку больше?»

Поглядел бы ты, как Бударa из лесу возвращается: идет барином. Сева-дурачок за ним тащится, еле ноги переставляет, инструмент несет – согнулся весь: топоры, наструги, клинья с кувалдой… Семь потов с бедняги сойдет, пока до дому дотащится. Все клепотесы инструмент в лесу оставляли, хоронили где-нибудь от дождя – и все дела; никто не трогал, воровства не знали, а Будара говорил, что своруют, и гнал бедолагу пять верст туда и пять верст обратно,

будто и без этого не надрывался Сева-дурачок.

Я и раньше замечал, но помалкивал, что Будариха на Дату поглядывает. Теперь, когда она отъелась да налилась, прямо грудью пошла. Дата и не глядит в ее сторону, а она как с цепи сорвалась, проходу совсем не стало, не знаешь, куда и деваться от нее. Обстирывала нас, все углы выметет, шить-вышивать для нас стала. Ей и без того надо бы нас обшивать и обстирывать – по нашей милости они вон как поднялись, только не в благодарности тут дело, другое было у нее на уме. Не нравилось мне это, а потом махнул рукой: Даты от этого не убудет, ничего ей с ним не сделать. Все хлысты с женами своих единоверцев спали, – по их вере это не грех, а перст божий. Будариха, ясно, совсем ошалела, на такое глядя. Говорю я Дате: женщин все равно недобор, хлысты с православными знаться не желают, не мучай женщину, исполни ее сердечное желание, вреда от этого тебе не будет. Дата Будариху и близко к себе не подпустил: пойти на такое, говорит, выйдет, помогал я Бударам, чтобы похоть свою удовлетворить. Покрутилась вокруг нас Будариха, повертелась, толку, поняла, не выйдет, и отступилась. Пришлось опять самим в речке с бельем полоскаться.

Пока у Будар за душой ни гроша не было, они последний кусок отдать могли, а разбогатели – махорки на затяжку не выпросишь. Дюжина яиц в Баракаевке пятак стоила. Будариха меньше гривенника не брала, а для нас с Датой у нее и вовсе ничего не было – чего ни попроси, откажет. За кринку молока деньги с нас брать совесть не дает, она и говорит: нет у нас молока, и дело с концом.

Стала Будариха самогон гнать, торговала им вовсю. Сева дурачок спину ободрал, таская дрова из лесу, но задаром водки не нюхал; зато когда Будариха брагу поставит, отцедит ее, тут гуща Севе достается: нажрется, бедняга, этой дряни и ходит в дурмане, живот раздуется, как от водянки.

Подсыпались хлысты к Бударам, стали склонять веру их принять. С Бударихой живо договорились – водку пить, сказали, нельзя, а гони и продавай ее – на здоровье. Охлыстилась Будариха, кобелей теперь у нее – не занимать, зато Будара православную веру ни за что не хотел менять – думаю, от водки и табака отказываться было жалко. А что баба его из одной постели в другую перекатывалась и Бударе как православному спать с ней было нельзя, это его вроде бы не касалось. До поры, правда. Не знал, бедняга, что его ждет, не пустил бы жену в другую веру, убил бы, а не пустил.

А ждало его вот что: Будариха разгулялась, со всеми мужиками на селе переспала, не глядела, что вера запрещает, православного тоже не пропустит. Хлысты от злости из себя выходят. А тут еще Будара глаза им мозолит, их веру не принимает. Убили б они его, но страх не пускал – знали, что мы его пригрели. Дату боялись – потому и не трогали. Будара что ни день колотит Будариху, не ходи, орет, по чужим мужикам. А она знай себе гуляет. Если, говорит, откажусь нести крест этот, заберет господь меня к себе. Вот и пусти козла в огород.

Глядел Дата на все это, глядел и говорит мне однажды:

– Дигва – брат, спасибо тебе, что пригрел меня. Даст бог, в долгу не останусь, но не могу здесь дальше оставаться. Глаза б мои не смотрели на этих людей. Боюсь взять грех на душу – ведь как-никак и они тварь божья. Побуду, пока найдешь товарища, а там – уйду.

Я уговаривать его, останься, говорю, черт с ними, с хлыстами, но Дата ни в какую. Теперь – то вижу, не прав я был. Не смирился б он с таким непотребством, а вмешайся он – неизвестно, куда б это завело.

Как-то раз, мы уже спать ложились, слышим, на селе крик, галдеж, орут во все горло. Я к окну – вижу, Будара колотит дубиной в избу Халюткина, орет своей Бударихе, чтобы выходила. А она не выходит. Хлысты от мала до велика высыпали на улицу.

Им бы сейчас в самый раз избить Будару, но боятся нас. Будара взломал дверь, ворвался в избу. Халюткин выскочил во двор в одних подштанниках. «Спасите!» – орет. Будара жену колотит, отделал, живого места не оставил, гонит домой, а она ни в какую, не пойду, говорит, пока волю божью не исполню. Будара ее дубинкой, Будариха змеей извивается, а домой не идет. Во дворе вопят, светопреставление прямо. Будара жену колошматит и приговаривает: «И сейчас не пойдешь?» – «Не буду с тобой жить, – кричит Будариха, – с Халюткиным останусь». А Халюткин со двора: «Оставайся, не ходи, сдался он тебе, безбожник, дьявольское отродье». Остолбенел Будара, решил жену лаской взять, плачет, а она – на своем, ничем не проймешь.

Тут Бударa и закричи: «Вот сейчас я Дату приведу, увидим, как не пойдешь!» Выскочил из хаты. «И то погляжу, как ты ее приютишь!» – это он Халюткину.

Повернулся Бударa и прямиком к нам. Идет медленно, ждет, верно, что Бударихa его окликнет, лишь бы он Дату не звaл. Никто его окликaть не стaл. Хлысты переглядывaются, шепчутся. Нaбросятся сейчaс, думaю, нa Будару, обдерут, кaк курицу. Не тронули. У нaс фитилек коптил, видели они, что мы обa в окно смотрим, a тaк несдобровaть бы Бударе.

Вошел он к нaм – остaновился посреди избы, голову уронил. Знaл, что виновaт и ходить к нaм ему, по совести, зaкaзaно. Подползли хлысты к нaшему окошку, кто понaглей – совсем близко, рaзговор в избе слышен будет. Зaтихло все, только сверчок в углу скрипит.

– Не откaжи, Дaтa. Зaступись. Обидели меня хлысты, бaбу мою соврaтили. Знaю, в долгу я перед тобой… Скaжи ей, чтоб домой шлa. Кроме тебя, никого слушaть не стaнет. – И зaмолчaл.

Зa окном зaшептaлись, и опять тихо.

Дaтa Туташхиа уствился в пол, молчит.

– Ступaй, Дaтa, – говорю я ему, – жaль дурaкa, может, и впрямь поверит тебе бaбa.

– О чем ты говоришь, Дигвa! Не мужское это дело вмешивaться в жизнь рaспутной женщины. Я Бударaм добрa хотел, a что получилось? Человеческое лицо потеряли. Ошибся я однaжды, и хвaтит!

Не вмешивaюсь, говорит, в делa шлюхи. A когдa в Поти мaтросы потaскуху обидели, не он ли вступился зa нее? У Дaты тогдa в дрaке мизинец чуть не откусили.

Во дворе опять зaшептaлись. До Будары дошло, что скaзaл Дaтa, повaлился он нa пол, весь в слезaх: «Не уйду, покa не поможешь жену домой привести».

Подошел к нему Дaтa, поднял его. Ты, говорит, мужчинa, к лицу ли тебе тaкое? Молил его Бударa, только ноги не целовaл, a Дaтa ни в кaкую.

Я в окно выглянул. Хлысты совсем уже рядом.

– Иди и сaм свою жизнь нaлaживaй, – выдaвил из себя Дaтa.

Хлысты ожили, отползли от нaшего окошкa, переговaривaются, пересмеивaются. Рaдуются, что Дaтa дaл Бударе поворот.

– Отклaзывaешь – сaм пойду, – зaвизжaл вдруг Бударa и солдaтским строевым шaгом двинулся к хaте Хaлюткинa.

Только поровнялся он с хлыстaми, кто-то хвaть его дрыном по спине, и нaбросились все нa него, кaк шaкaлы. Колья, кулaки, ноги тaк и мелькaют; Бударa визжит, кaк свинья под ножом. Выскочил я из дому, чтобы его вызволить, дa рaзве уймешь это зверье?! Меня, по прaвде скaзaть, никто бы и не тронул, но в темноте чья-то пaлкa – и по сей день не знaю, чья – мне глaз выбилa. Зaвопил я от болaи. И Дaтa, точно тигр, бросился меня выручaть. «Здесь я, Дигвa, держись!» Услыхaли хлысты голос Дaты, врaссыпную. Кроме Будары и меня, кривого, никого не остaлось. Увидел Дaтa, что со мной эти нехристи сотворили, и совсем из себя вышел, но что он мог теперь сделaть… Время не ждaло, зaпряг Дaтa лошaдей, нaшел человекa, который подводу должен был обрaтно доствaить, повез меня в лaзaрет. Великую боль и мукн я перенес тогдa. Дaтa меня выхaживaл, не отходил ни нa шaг. Нa этом и зaкончилось нaше с ним житье – бытье и клепочное делo.

– Не приняло сердце Будaр добрa, – убивaлся Дaтa.

Можно было подумaть, подлость Будaр для него горше моей беды.

Я и после встречaл Дaту Туташхиа. Дурнaя о нем молвa шлa, дa я не верю. Не из тех он был, кто нa зло способен.

Граф Сегеди

…Меня, человекa одинокого, приход князя, естественно, обрaдовaл. Визит его был непродолжителен, но, уходя, он дaл мне прочитaть письмо, которое восполнило крaткость нaшей беседы. Письмо прислaл князю его крестник, aкцизный чиновник Мушни Зaрaндиa. В конце своего послaния aвтор его уверял, что нa сочинение письмa ушел год. Суждения Зaрaндиa и в сaмом делe кaзaлись весьмa убедительными и внутренне зaвершенными, что есть первое свидетельство рaзмышлений длительных и основaтельных. Aкцизный чиновник доклaзывaл своему крестному приблизительно следующее.

История человечества складывается из того, что определенные личности либо более или менее многочисленные группы людей доказывают остальному человечеству преимущество образа жизни и веры, предлагаемых ими, перед образом жизни и верой, которые исповедуют в данное время все. Человеческая масса в силу извечного стремления к материальному прогрессу, с одной стороны, и, с другой – из неуемного любопытства, лихорадочного поиска нового, а также из-за множества других устремлений, приобщалась к новым принципам, принимала новую веру и начинала новую жизнь. В результате такого рода переломов люди, скажем, не ковыряли уже землю мотыгой, но пахали железным плугом; уже не прикрывали наготу, но одевались в льняные и суконные одежды; не поклонялись более идолам, но молились богато расписанным иконам. Однако общечеловеческие печаль и злосчастье, беда, горе, неудовлетворенность и ненасытность были те же, что и в эпоху каменных орудий или сохи: менялось все, кроме духовной жажды, то есть самого человека.

Из этого вытекает, что замена одной социальной системы другою в общем-то не оправдана. Это, разумеется, известно тем личностям или группам лиц, кои возлагают на себя миссию проповедников и устроителей новой жизни. Их цели обусловлены корыстью. Но всякое движение располагает и своей армией фанатиков.

В нашу эпоху власть, как бы она ни прогнила и какими бы расшатанными ни были ее устои, располагает вполне совершенными средствами и методами противодействия врагу, то есть новому. Поэтому разрушить ее возможно лишь путем насилия и кровопролития. Миллионы обездоленных, убийства и злодеяния – все это лишь для того, чтобы злосчастье, неудовлетворенность жизнью, извечный духовный голод по-прежнему, а может быть, и больше прежнего мучили человека! Мало сказать, что сне лишено здравого смысла, оно идет вразрез с принципами добра и добродетели. Долг каждого человека бороться с этим, поскольку такая борьба – борьба за счастье человека.

Далее крестник князя Григория Пагава рассуждал о назначении и месте разумного и благородного человека в столкновении старого и нового. Когда новое насилие борется со старым насилием, каждый честный человек должен принять сторону старого насилия, поскольку нет никакой надобности становиться сторонником того, что по существу не улучшит человека, но принесет новые несчастья, убийства и чудовищное зло, тогда как всего этого и при старом насилии было вдоволь.

В конце письма акцизный чиновник Мушни Зарандиа убеждал князя Григория, что за пять лет службы не навел и тени на свою репутацию. Это обстоятельство, подчеркивал он, ни в коем случае нельзя объяснить аскетичным отношением к своим служебным обязанностям – оно следствие его духовных достоинств. Зарандиа уверял крестного, что его способности, нравственность и энергия требуют иной, более значительной арены деятельности. Узнав каким-то образом о моих с Григорием Пагава дружеских отношениях, он просил его выхлопотать перевод в жандармерию, обещая беззаветной преданностью престолу заслужить доверие и благодарность начальства.

Я сам три десятка лет служил династии Романовых и знал величайшее множество примеров и различнейших принципов защиты святая святых существующей власти, но философия Мушни Зарандиа показала мне новый тип верноподданного. Я согласился протежировать крестнику Григория Пагава с некоторым даже любопытством и интересом.

Таким образом Мушни Зарандиа, сын дьякона, в 1890 году начал свою карьеру с младшего жандармского чина. К тому времени Дата Туташхиа уже пять лет был в абрагах.

Мушни Зарандиа прослужил в жандармерии двадцать три года, и в течение этого времени – ни одного фиаско, пять орденов, три внеочередных чина, аудиенция у Его Величества в петербургский период службы, именной подарок и чин полковника Жандармерии. Для человека хотя и просвещенного, но плебейского происхождения то был беспрецедентный случай. Разумеется, всякая карьера содержит элемент везения, но Зарандиа, на мой взгляд, выдвинулся исключительно благодаря своим врожденным талантам. Этот человек, обладающий чрезвычайно гибким умом и энергичным характером, был, вместе с тем, поразительно осторожен и проницателен. И, кроме того, если мне не изменяет память, я не встречал человека, более преуспевшего по службе и не имевшего притом завистников. Его Величество изволил назвать Зарандиа Македонским от Жандармерии по случаю одной важной его служебной

победы. Сие прозвище за ним и утвердилось. Последние шесть лет службы Зарандиа был тайным заместителем имперского шефа жандармов. За этот весьма короткий период он стал одним из тех людей, которых почти никто не знал в Петербурге, но держава опиралась именно на их труд и таланты.

Алексей Снегирь

Родом я из Солдатской, большой кубанской станицы. Отца помню смутно – пьяный он простыл и умер. Остались мы, братья – двойняшки, и мать. Нам было по двенадцать лет, когда мать захворала и слегла. Жить стало трудно, хозяйство покатилось под гору. Земли у нас было немного, была лошадь, корова, свинья и гуси. Гусей в нашей станице разводили почти все, летом пасли, осенью продавали. Мы продавали штук полтораста, но были семьи – держали по пять – шесть сотен.

День ото дня матери становилось хуже. Мы с братом не знали, что делать, за что хвататься, все у нас из рук валилось. Сосед посоветовал взять постояльца. Так и порешили. Постояльцу было лет двадцать пять. Сошлись мы с ним на трех рублях в месяц. За месяц он уплатил вперед, а пожил у нас, увидел нашу беду и нужду – дал еще за пять месяцев вперед и велел привести матери доктора. Назвался он Лукой, но настоящее его имя было Дата Туташхиа. Про это я узнал много позже. Привели мы с братом доктора, он осмотрел мать и сказал, что ей уже ничем не помочь. Денег не взял. Лука заставил другого доктора привести, но и этот не помог. У матери была чахотка, и таяла она как свеча. Мать еще дышала, когда заявился Маруда и потребовал вернуть задаток.

Маруда приходил в станицу в начале весны, обходил все дома, договаривался о закупке гусей и давал задаток под расписку. Осенью он расплачивался полностью и угонял гусей.

Занимался он еще одним прибыльным делом – на ярмарке, но об этом после. Происходил он не из местных, фамилия его была Малиновский. Марудой прозвали его за то, что был он всегда грязный, немытый, как побирушка. Мужик грузный, отечный, с отвислой нижней губой и маленькими поросячьими глазками, он ходил всегда разинув рот, будто ему с рождения задали задачу похитрее, он ее решает, а решить не может. То ли Маруда узнал, что у нас мать помирает, то ли по какой другой причине, он объявил, что гусей ему не надо и чтоб задаток вернули. В тот день был мой черед пасти гусей. Дома оставался брат. Он сказал, что у нас ни гроша, платить нечем. Маруда потребовал отдать гусями. Брат говорит, гуси еще малы. Маруда ждать отказался, давайте, говорит, гусей или верните задаток. Мать услышала разговор, давно она не вставала с постели, а тут собралась с силами, пошла к окну, да ноги подвели, упала, ударилась головой о косяк. На шум прибежали соседи, избили Маруду и выгнали. Он на нас жаловаться. Через неделю явился пристав и забрал гусей. Луки дома не было. Он вернулся вечером. Картина, сами понимаете, какая: там мать стонет, здесь мы с братишкой голосим. Он стал нас утешать и дал сорок рублей. Только доброта его нашей матери уже помочь не могла. Промучилась она еще неделю и отдала богу душу. Лука принес гроб, соседи вырыли могилу. Похоронили мать, поплакали мы и успокоились. Жить-то надо. Остались мы круглыми сиротами, но опять с помощью Луки рук не опустили. Какие ни есть, а был у нас и кол, и двор. Стали хозяйствовать как могли.

Ни брат, ни я и думать не думали о том, кто такой Лука, откуда в наших краях, где пропадает целыми днями. Глупые были. Я только потом все узнал, когда пошел к Маруде мальчиком на побегушках.

А случилось все так. Мать уже три месяца как померла, осень была, помню, несу лавочнику яйца. Навстречу Маруда, под мышкой столик маленький. Поманил меня, я подошел, благо зла долго не держу. «Иди, – говорит, – ко мне. Мне мальчик нужен. Полтинник в день положу». Пятьдесят копеек по тому времени немалые деньги были, в особенности для мальца моих лет. «А у тебя есть мальчик», – отвечаю. «Прогнал, говорит, деньги воровал». Парня того я знал, и службу его у Маруды тоже.

Столик, который Маруда нес, был для игры. На нем было нарисовано шесть квадратов. В каждом квадрате – точки: в первом – одна, во втором – две, в третьем – три и так до шести, как

на игральных костях. Каждый квадрат звался по-своему: як, ду, сэ, чар, пандж, шаш[6]. Маруда приходил со своим столиком на базар, ставил его, где народу побольше, мальчик брал чашку с блюдцем, чашку ставил вверх дном, под чашкой – кости. Маруда кричит:

– Пятак поставишь – два возьмешь, повезет – двугривенный унесешь.

Вокруг столика – толпа. Скажем, кто-нибудь пятак положит на квадрат «як» – мальчик встряхнет чашку с блюдцем, кости перемешает, поднимет чашку. На одной кости, скажем, «як», владелец пятака получает гривенник; на обеих костях «як» – Маруда выкладывает двугривенный, а если ни на одной «яка» нет, пятак доставался Маруде. Парнишка рассказывал, бывали дни, Маруда по пятнадцать рублей уносил с базара, а в другой раз пятерку едва набирал.

Обрадовался я словам Маруды – дальше некуда. Уж как я завидовал мальчишке – подручному: встряхнет чашку, застучат костяшки, а у меня сердце сжимается – тащись домой, кукуй в пустом углу. Несчастней меня никого на свете не было. Как тут было не согласиться! Я сказал Маруде, что сейчас сбегаю к лавочнику, отдам яйца – и к нему.

Время шло, и однажды Лука спросил меня, где это я пропадаю. Я сказал, что работаю у Маруды. Лука задумался, но больше ни о чем не спрашивал. Дня через три после этого разговора хозяин послал меня разменять трешку. Я побежал в шапочный ряд, он был к нам поближе. Шапочным делом занимались обычно грузины. Я вбежал в мастерскую шапочника и увидел Луку. Он стоял спиной к входу и наблюдал за игрой в нарды. Пока шапочник, звали его Гедеван, разбивал мне трояк, игра закончилась и игроки поднялись. Первый, в черной чохе, был черкес Махмуд; второго, Селима, я тоже знал, он торговал бочками. Селим – бочар вытащил из кармана ворох денег и стал их разбирать бумажка к бумажке. Трешку мою уже разменяли, но – и сейчас помню – ноги у меня как примерзли к полу: столько денег я в жизни не видывал. Селим сложил деньги, перегнул пачку посередине, положил в карман, снял пояс и, швырнув на нарды, стал заправлять одежду.

– Бери кости, Селим! – услышал я голос Луки.

– Это еще зачем? – спросил он улыбаясь.

– Бери, тебе говорят!

Селим подпоясался, взял кости и подбросил их на ладони:

– Взял, ну и что?

– Метни шестерку!

Бочар положил кости на доску.

– Иди и займись своим делом! – Он помахал рукой перед самым носом Луки.

Лука выхватил из-за пазухи револьвер, взвел курок и, наставив дуло на Селима, велел ему сесть. Селим понял, что шутки плохи, и опустился на стул, побледнев смертельно.

В мастерской стало тихо.

– Бери кости, – процедил Лука. – Шестерку мечи, шестерку.

Селим взял кости, перемешал их – странно как-то делал он это, – бросил кости на доску. И правда, выпала шестерка.

– Возьми еще раз и метни четверку, – сказал Лука.

Селим был бледен, на лбу – пот, глаза – злые-презлые.

– Мечи, мечи, – повторил Лука. – Четверку метни!

Метнул четверку.

– Теперь вынь деньги и отдай Махмуду!

Селим выжидал.

Ждал и Лука. Селим покосился на дуло револьвера, почти прижатое к его груди, вытащил деньги и бросил их на доску.

– Забирай свои, – сказал Лука Махмуду.

Черкес отсчитал деньги, добрых три четверти забрал, остальные бросил обратно.

Молчали долго.

– Почему отнял? – тихо спросил Селим.

---

[6] Счет: одни, два… шесть (перс.).

– Обманом выиграл!

– Каждый делает, что ему хочется, – сказал Селим. – Я играю в нарды.

– Я сделал, что мне захотелось, – сказал Лука. – Отнял у тебя, отдал ему!

Селим пошел к выходу. У порога обернулся:

– Хочешь показать, какой ты смелый?.. И так знаем. Врать не буду – таких не много встречал.

– Зато таких, как ты, много. А я – никакой. И смелостью ни кичусь.

– И здесь ты прав, Дата, – Селим не переступал порога, – таких, как я, много, вся наша земля. В твои годы я был такой же, может, немного похуже. Возраст свое берет. Отказался и менять этот мир. Торгую бочками. Мир, – он кивнул на Махмуда – из таких вот состоит. Не исправишь. Знает – у меня не выиграть, играть садится. Не сегодня, так завтра опять мне проиграет. Почему? Надеется выиграть, жадный очень.

Черкес подскочил к Селиму. Раздался звон пощечины.

– В другой раз еще добавлю.

Селим вышел, не сказав ни слова. Ушел и Лука.

– А ведь и правда, – сказал один из подмастерьев. – Какое кому дело, мухлюют или не мухлюют.

– Такой уж он есть. Не любит… – Гедеван оборвал фразу и пошлепал меня по затылку. – Ступай, сынок.

Я выскочил из мастерской.

«Где пропадал? – набросился на меня Маруда. – У каких чертей собачьих запропастился?» Я был так ошеломлен всем, что видел, что и не спроси он меня, все равно бы все выложил. Толково, подробно, слово в слово я все рассказал ему. «Волосы у того черкеса не светлые ли?» – спросил Маруда. «Светлые», – говорю. Прошло довольно много времени. «Того черта с мутного болота Лукой зовут, а Селим, говоришь, назвал его Датой?» – «Да», – сказал я, и вдруг мне стало страшно. Я не понимал, что меня испугало, но чувствовал, поступаю дурно.

Лука вернулся домой рано. После ужина я спросил его:

– Ты отобрал у Селима деньги, потому что он обманывал, да?

Лука кивнул.

– Всякая игра – обман, – сообщил я.

– Верно, – согласился он. – А ты откуда знаешь?

– Маруда сказал. Еще он сказал, что в мире все обманывают друг друга.

Лука долго молчал, казалось, забыв про меня.

– Не все. Большинство, – обернулся он вдруг ко мне.

Я редко встречал Луку на базаре и очень удивился, когда на другой день он подошел к нашему игральному столику и стал наблюдать за игрой. Целый час простоял и ушел. Потом вернулся и бросил двугривенный на квадрат с тремя точками – «сэ»… Он медленно проигрывал. Я потому говорю медленно, что такая это игра: три раза проиграешь, четыре, а один, может, два раза выиграешь. Но под конец наверняка будешь проигрыше. За полчаса Лука проиграл три рубля. Я знаками показывал ему: не играй, брось. Он проигрался и ушел.

Дома я застал его за столом перед горкой мелочи и бумагой, разграфленной, как наш игральный столик. Лука играл сам с собой. Играл долго, все радуясь чему-то. И чем дольше играл, тем сильнее радовался. Наконец он оторвался от игры.

– Маруда знает, что я твой постоялец? Говорил ты ему об этом? Вспомни!

Я долго рылся в памяти. Столько я ему порассказывал, может, и об этом ляпнул. Нет, кажется, не говорил.

– Запомни, – сказал Лука, – будет обо мне спрашивать, отвечай, что в голову взбредет, но об этом, – он показал на игру, – ни слова, понял?

Наутро я снова увидел его на базаре. Он стоял поодаль, искоса следя за нашим столиком. Когда собрался народ, он подошел и стал играть.

Через час Маруда взвалил на меня столик, и мы покинули базар.

– Тридцать пять рублей взял с собой. Ни копейки не осталось, – сказал хозяин, – проиграл. Ничего не понимаю…

Я и сам ничего не понимал. За все время, что я работал у Маруды, такого не бывало. И

быть не могло – так мне казалось.

Приплелись мы в Марудину халупу. Маруда вытащил водку, набрал квашеной капусты и стал думать. Я жевал капусту, глядел на Маруду, ждал, что он придумает, Маруда выпил полбутылки и велел нести столик на базар. Догоню, говорит.

Я прошел уже половину пути, когда он догнал меня. Небо было чистое, безоблачное. Стояла хорошая игровая погода. У входа на базар Маруда дал мне пятьдесят рублей и велел разменять. Я забежал к седельникам и увидел Луку. Ясно мне теперь стало, все это время он проводил в мастерских и лавчонках своих земляков.

– Опять заявились? – спросил он.

Я молча кивнул.

Народ собрался, как только поставили столик. Подошел Лука. Не прошло и часа, как не осталось ничего ни от Марудиных пятидесяти рублей, ни от тех денег, что он успел выиграть. Опять хозяин взвалил на меня столик, и мы поплелись домой.

– Грузин выигрывает, – сказал Маруда. – Лукой зовут, так ведь? Не видал, чтобы так везло. Все время везет. И выигрывает как раз тогда, когда большие деньги ставит. Ну, ничего! Поглядим, долгое ли это везение…

И на третий день Лука нас обчистил, а на четвертый, когда он положил деньги на стол, Маруда отказался с ним играть. Лука ушел. Беде хозяйской пришел, казалось, конец, но не тут-то было: что ни день, возвращались мы с базара, ободранные как липка. Кто только у нас не выигрывал, но больше всех – ремесленники-грузины. С того дня, как мы впервые проиграли Луке, прошло уже две недели. У Маруды не осталось ничего. Играть дальше не имело смысла – проигрыш стал законом, Марудино дело было загублено. Но хозяина моего не одно это убивало. Как удавалось выигрывать людям, которых подсылал Лука, – вот чего он не мог понять. Он исходил злобой и вылетал в трубу. Гусей, как я теперь понял, он закупал на выигранные деньги. А теперь и закупать не на что, и задаток пропадал. Однако меня Маруда не отпускал. Служба-де службой остается! Больше двугривенного он теперь мне не платил, но мне и двугривенный был хорош. Днями отсиживались мы в его халупе. Он пил и закусывал капустой. Я ел капусту и заедал хлебом. После первой рюмки его одолевали мысли.

– Через месяц забирать гусей, а на что? Задаток уже не вернут – дело к осени, их право. Выходит, пропал задаток. Занять? Где? У кого?

– Не тот уже базар, – жаловался он после второй рюмки. – Игру порешили. Перебраться в другую станицу? А там что? Играй не играй, а за месяц на гусей все равно не набрать.

– Есть бог, говорят, – плакался он на третьей рюмке, – был бы, разве допустил, чтобы так все повернулось? Игра пропала, задаток пропал…

На этом месте хозяин заливался слезами и засыпал. Я шел домой, а утром начиналось все сначала.

Однажды Маруда отхлебнул из первой рюмки и уставился на меня.

– Лукой его зовут, говоришь, а Селим назвал его Датой?

У меня язык прирос к нёбу, но Маруде ответ мой был ни к чему, он отхлебнул еще, пожевал капусты и опять погрузился в размышления. Видит бог, не вру, час просидел он, не шелохнувшись. Потом встал и позвал меня за собой.

Было воскресенье. Базар кишмя кишел. Пестрая толпа месила жидкую грязь. До полудня Маруда шатался по духанам, мастерским, лавкам, шушукался с кем ни попадя. Меня с собой не брал, я оставался на улице. О чем он шушукался, какие дела обделывал, я понять не мог, но чувствовал недоброе, таскаться за ним было мне невмоготу. Под конец завернул к Селиму-бочару. Пробыл у него долго. Вышли они вдвоем и все шептались. Как сейчас вижу, трусил чего-то Селим.

– Хасана не видел? – спросил меня Маруда, когда мы остались одни.

– Вниз прошел.

Хасан был городовой на базаре. Дело он поставил так, что все трактирщики, торговцы, маклаки, перекупщики каждый, как дань, давали ему взятку. Жаден он был – пятаком и то не брезговал. Когда Маруда держал игру, Хасан и у него был на жалованье.

Нашли мы Хасана в скотном ряду. Он бранился с цыганом, кричал, что лошадь у цыгана краденая. Полтинник цыгана скользнул в карман Хасана, и городовой затих. Маруда незаметно

поманил его.

– Дело есть, – шепнул он Хасану, отведя его в сторону. – Надо здесь взять одного.

– Кого это?

– А есть тут такой.

– Что натворил?

– Твое какое дело? Арестуй и держи в участке, пока схожу за полицмейстером. Сколько за это возьмешь?

– За Шевелихиным, говоришь, пойдешь? Шевелихину сегодня не до тебя. Гости у него.

– Опять же не твое дело. Приведу. Стоить чего это будет?

– Оружие у него есть?

– При себе, похоже, нету, но тебе одному его не взять, двоих, а то и троих прихватить надо.

– Да это кто же такой?.. Трех, говоришь, полицейских?.. Им тоже положено.

– Как же… Держи карман шире!

– Даром не пойдут.

– Ну и сколько же положишь на них троих?

– По три рубля на голову.

– Это девять-то рублей?!

– Червонец. Рубль на водку с закуской.

– А тебе?

– Мне? – Хасан задумался. – Мне пять рублей.

– Это как же, падаль ты последняя? Городовой дороже полицейского, выходит?

– Как хочешь… Поди проветрись, придешь после. Сейчас полтора червонца жалеешь, завтра за пять не уломаешь. У дельца твоего запашок есть, ты уж мне не говори.

Хасан повернулся и пошел прочь. Маруда бросился за ним.

– Ладно, по рукам. Иди забирай его. Рассчитаемся после.

– Ищи дураков. – Хасан опять повернулся к Маруде спиной.

Делать было нечего. Маруда вытащил деньги.

– Бери! Пять рублей за мной.

Хасан поглядел по сторонам, прикрикнул на кого-то… Маруда сунул в карман ему червонец. Рука Хасана скользнула следом – проверить золотой на ощупь.

– Кто он и где его брать?

– Сперва приведи полицейских.

У полицейского участка мы не прождали и пяти минут, как Хасан вывел трех полицейских, пошептался с Марудой – я ни слова не разобрал, – втолковывал что-то и полицейским уже на ходу. Мы с Марудой остались возле мастерской кинжальщиков. Хасан с полицейскими ворвались в трактир Папчука, быстро вывели оттуда связанного по рукам Луку и повели в участок.

– Ну, денежки теперь будут, – радовался Маруда, глядя им вслед. – Пять тысяч – меньше не возьму. Шевелихину – половину, больше пусть и не просит. Две с половиной тысячи получу – тебе пять червонцев. Заработал. Без тебя не состряпать мне это дельце. Теперь – к полицмейстеру. Пропустят! День-то воскресный. Пошли.

Я нехотя побрел за ним. Сначала старался не отставать, но потом в толпе потерял Маруду. Искать его не стал. Был как в дурмане. Стою, ноги не несут: один толкнет плечом, другой, кидают из стороны в сторону, а мне все ни к чему; не вижу ничего, не слышу, и стало мне мерещиться, что жизнь где-то далеко-далеко, а я один, вокруг – ни души, только в глазах все мельтешит. Не знаю уж и как, очнулся я у шапочников. В мастерской все было по-старому. Гедеван кроил каракулевые шкурки и кидал их подмастерьям. В дальнем углу комнаты слышался стук костей – играли в нарды.

– Дядя Гедеван, – сказал я как во сне, – Луку арестовали.

Гедеван поднял на меня глаза, долго разглядывал, поманил поближе, расспросил и сообщил новость игрокам в нарды. Одним из игроков был Махмуд. Им я опять рассказал, как все выло.

– Прав был Селим, – сказал второй игрок в наступившей тишине. – Не нравится ему

белый свет, переделывать собрался! Говорил я ему – отстань от Маруды. Добром это не кончится… Кидай кости!..

– Кидать кости, говоришь? Раз мир таким дерьмом, как ты, забит, так и солнцу не светить?! Не твоего куриного ума поступки благородного человека обсуждать. Убирайся!

Партнер Махмуда хотел было возразить, да передумал, оттолкнул нарды и вышел.

И опять тишина. «Если столько взрослых думают о том, как спасти Луку, может, и впрямь можно его выручить», – обрадовался я.

– Значит, Хасан-городовой не знает, кого и зачем арестовал? – нарушил молчание Махмуд.

– Нет, не знает, – быстро ответил я. – Твой хозяин сказал ему, что не его это дело.

– Маруда к Шевелихину пошел?

– К Шевелихину. Сказал, что его к нему пустят.

– Зови его Марудой-дураком, а он вон какую свинью подложить сумел. – Махмуд хрустнул пальцами. – Я сейчас такое устрою, внукам до могилы смеяться хватит.

Гедеван протянул Махмуду деньги.

– Не надо. Столько и не понадобится. В нашем государстве закон – самый что ни на есть дешевый товар. Цена этому товару – от рюмки водки до десяти червонцев. За то и люблю свое отечество, что доброе дело сделать в нем не дорого стоит. А то бы переселился куда-нибудь подальше.

Махмуд вышел из мастерской, я старался не отставать от него. У гурьяновского дома, что напротив полицейского участка, он остановился, велел мне зайти со двора и поглядеть, что творится в участке. Я подкрался к зарешеченному окну и быстро вернулся к Махмуду.

– В левой комнате трое полицейских: двое спят, третий махрой чадит. В правой Хасан-городовой сидит за столом, а Лука – на лавке. Больше никого нет.

– Теперь поди позови Хасана. Скажи ему, что я жду его по срочному делу. Только чтобы никто не слышал.

Я прошел мимо полицейских и вызвал Хасана, как велел Махмуд. Услышав имя Махмуда, городовой насторожился и молча кивнул.

Я выбежал из участка, перепрыгнул обратно через гурьяновский забор и притаился.

Озираясь по сторонам, Хасан приблизился к Махмуду.

– Чего тебе?

– За сколько того человека выпустишь?

– Какого еще человека?

– Тише. Которого по просьбе Маруды арестовали.

Хасан молча вперился в Махмуда.

– Вчера Шевелихин спрашивал меня, не знаю ли я, куда девались лошади Бастанова, – как бы между прочим проронил Махмуд, – он готов сам их выкупить, на собственные деньги, бог с ними, говорит, с ворами, не до них.

– А ты ему что? – Голос городового задрожал, но он тотчас овладел собой и деланно зевнул.

– Не мог же я ему сказать, что Хасан-городовой отнял лошадей у воров и продал их в Пашковской землемерам за семьдесят рублей каждую, – дружелюбно сказал Махмуд.

– Подружились вы с моим начальником, ничего не скажешь! Это после того, как ты помог ему место пристава продать? – Хасан скорбно покачал головой. – Эхма, добрый человек, и не стыдно тебе? Взял с Гашокова за место пристава семьсот пятьдесят рублей, а Шевелихину отдал только двести пятьдесят? Остальные где?

– О том знаем я и Шевелихин. Не суй свое рыло в дела благородных людей. Скажи лучше, сколько возьмешь за того человека, – и по рукам.

– Не могу его выпустить! – отрезал Хасан.

– Это почему же?

– Маруда за Шевелихиным пошел.

– А ты другого посади.

– Кого?

– Мало людей? Вон сколько шляется! – Махмуд вынул из кармана четвертную.

У Хасана вспыхнули глаза, он оглянулся, – вверх по улице, отирая плетни и заборы, тащился пьяный казак.

– Поди сюда! – грозно окликнул его Хасан.

Казак не понял, что зовут его, и стал карабкаться дальше. Хасан окликнул еще раз, и казак приволокся к участку.

– Фамилия?

– Чертков.

– Ступай, куда шел.

– Зачем отпустил? – разозлился Махмуд.

– Это двоюродный брат есаула Черткова, не видишь, что ли?

– Ну и что?

– Кричать будет.

– Кричать будет всякий. Дураков нет.

– Шевелихин спросит, почему кричит.

– А ты найди такого, чтобы не кричал. Деньги за что берешь?

– Некогда искать. Шевелихина жду. Сам найди и приведи такого, чтобы не кричал, да побыстрей, – Хасан протянул руку к деньгам.

– И человека самому привести, и двадцать пять рублей тебе, кабану, – запрашиваешь, как министр.

Настроение у Хасана явно упало.

– Черт с тобой, бери и гони червонец сдачи! – приказал Махмуд. – Да поживее.

Без всякой охоты Хасан достал золотой.

– Давай веди кого-нибудь, – сказал он вяло и поплелся в участок.

– Погоди, – закричал ему вслед Махмуд.

– Ну?

– Сам пойду.

Хасан рта не успел раскрыть, Махмуд взял его под руку, и они скрылись в участке.

Я вылез из засады. Ждал недолго. На крыльце участка появился Лука. Он подозвал меня, расспросил обо всем подробно, щелкнул по носу и отправился в сторону базара.

Я завернул во двор участка и, подтянувшись, заглянул в окно. Махмуд расположился на той лавке, где только что сидел Лука. Хасан-городовой, сидя за столом, листал толстую тетрадь. Трое полицейских клевали носами, держа на коленях по растрепанной книге.

Едва послышался шум шевелихинского фаэтона, как Хасан вскочил и несколькими тумаками растолкал заснувших полицейских. Махмуд лег на лавку, спиной к дверям, и прикинулся спящим. Полицейские одернули мундиры, подкрутили усы и, снова усевшись на лавку, с заметным усердием уставились в свои книги.

Фаэтон остановился у полицейского участка, откормленные на казенном овсе лошади разгоряченно били копытом. Слышно было, как полицмейстер спрыгнул на мостовую, и вслед за этим из раскрытых дверей участка раздалось зычное «сми-рна-а-а». Хасан-городовой вытянулся перед вошедшим Шевелихиным и, откозыряв, заорал: «Вольно!»

– Как дела, орлы? – Шевелихин повернулся к заспанным полицейским.

У «орлов» носы были по фунту, красные и пухлые. В один голос они доложили, что служат царю и отечеству. Полицмейстер поинтересовался, что они читают, и, выяснив, что его подчиненные в свободное время читают Евангелие, высказал одобрение и даже устроил на скорую руку экзамен. Первый полицейский промямлил его благородию – «не убий», второй – «не прелюбодействуй», третий – «возлюби ближнего своего»… Пока Шевелихин был поглощен экзаменом, Маруда, проскользнувший вслед за ним, пытался разглядеть через раскрытые двери того, что лежал на лавке, но их благородие, потрясенный образованностью своих полицейских, раскачивался из стороны в сторону и мешал. Завершив экзамен, он направился в комнату, где лежал Махмуд. Хасан и Маруда последовали за ним. Свой вопрошающий взгляд полицмейстер обратил наконец на Маруду, и тот ткнул пальцем в спящего Махмуда. «Встать!» – рявкнул его благородие столь громко, что портрет императора, висевший на стене, дрогнул и чуть не сорвался. Махмуд сладко потянулся, лениво повернулся на другой бок, поглядел на стоявших перед ним и с трудом заставил себя подняться.

– Салам, ваше благородие!

– Мосье Жамбеков!.. – Изумленного Шевелихина внезапно одолел приступ смеха.

Он смеялся долго и зычно.

Хасан-городовой подобострастно улыбался, но ухо держал востро, понимая, что одним начальственным смехом здесь не обойдется. Остолбеневший Маруда рта открыть не мог. Только Махмуд был безмятежен, и тени беспокойства незаметно было в нем.

Шевелихин оборвал смех и уставился на моего хозяина. На полицейский участок сошла тишина.

– Это не он… – выдавил из себя Маруда.

– Не он, говоришь?.. – И новый раскат полицейского смеха. – Мосье Жамбеков, почему вы здесь? – навеселившись всласть, спросил он наконец Махмуда.

– Вот эта скотина, – Махмуд, не глядя, кивнул на Хасана, – с тремя такими же скотами ворвался в заведение Папчука и арестовал меня.

– На каком основании? – От былого веселья не осталось и следа.

Хасан быстро пришел в себя.

– На основании доноса этого болвана! – Хасан глядел прямо на Маруду. – Он заявил, что двух бараков, которые вчера пропали у кабардинцев, увел Махмуд… Арестовывай, говорит, не сомневайся, я сейчас, пообещал, приведу свидетелей.

На другой день шапочник Гедеван божился, что звон затрещины, которую полицмейстер отвесил городовому, слышали в его мастерской.

Маруда на всякий случай перебрался поближе к дверям.

– Ваше благородие! – тут уж вскипел Махмуд. – Это оскорбительно! Обвинять меня в краже двух овец… двух жалких ягнят! Вам ли не знать… В Армавире пропал тендер паровоза, в Баку исчез караван верблюдов с грузом… Но двух баранов! Ай-ай-ай! Какое унижение! Какой стыд!

– Да, ваше благородие, двух! – упорствовал Хасан.

– Что двух?

– Двух баранов, – так он мне сказал. – Хасан был столь искренен, что во мне шевельнулась жалость.

– Храни господь нашего государя императора! – Шевелихин всем корпусом повернулся к портрету царя. – Как править государю, когда его подданные такие болваны? Каково править этой швалью? Отец ты наш многострадальный.

В скорбной позе Хасана-городового было сейчас столько благоговения и участия, что мне почудилось, я вижу слезы.

– Довольно. – Шевелихин вернулся к делу и протянул ладонь к Маруде.

Мой хозяин положил на нее увесистую пачку ассигнаций. Пять целковых, которые он мне обещал, тоже были в этой пачке.

– Ваше благородие, – напомнил о себе Махмуд, – этот мерзавец еще и оштрафовал меня на двадцать пять рублей!

– Вернуть!

Едва Хасан пришел в себя от наглости Махмуда, сообразил, что отвечать, и открыл рот, как Махмуд опередил его:

– Ваше благородие! Помните, вы спрашивали о лошадях Бастанова?

Полицмейстер замер.

Двадцать пять рублей мигом перекочевали из кармана Хасана в карман Махмуда.

– Сегодня мне говорили, Бастанов нашел своих лошадей.

Это известие привело Шевелихина в отличное расположение духа, он велел Хасану и полицейским всыпать Маруде пятнадцать розог, сел вместе с Махмудом в фаэтон и укатил.

Когда во дворе полицейского участка секли моего хозяина, Хасан-городовой усердствовал особенно.

Я вернулся домой. Луки не было. На столе лежал червонец. В слезах я бросился искать Луку – думал, где-нибудь на базаре да найду его. Уже стало темнеть. Нашел я только Селима-бочара.

– Лука? – сказал он. – Лука в наших местах уже навел порядок. Теперь подался другие

края исправлять!

Я долго и безуспешно искал его и с течением времени перестал надеяться, что встречу человека, который в детстве так благотворно повлиял на меня и память о котором я по сей день храню в сердце с чувством глубочайшего почтения.

Через несколько лет мы с братом продали дом и переселились в Ростов. Там у нас были родственники. Я нанялся посыльным в гостиницу. Позже меня взяли в ресторан официантом. Я уже не надеялся встретить Луку, но судьба свела меня с ним. Он остановился на день в нашей гостинице. Встреча обрадовала нас обоих. Вечером я пришел к нему с обильным ужином на подносе. Мы долго сидели, вспоминали, смеялись.

– Вспоминать весело, – сказал Лука, – теперь все смешно. Но если подумать, знаешь, что получается? Маруда годами обирал людей, согласен?

– Конечно.

– То, что я сделал, сделано было как будто из сострадания к незнакомым людям – доконал я Маруду, перестал он обманывать людей. А что из этого вышло? Ты и сам знаешь, дела Маруды день ото дня шли хуже и хуже. Гусей он не смог выкупить, задаток потерял, спился с горя и умер в Пашковской. Это – одно. Другое – ты потерял выгодное место. Много я потом думал, где там бродят мои двойняшки, холодные и голодные. Хасана-городового со службы выгнали – это третье. Гедевана целый год таскали в участок, извели вконец – это уже четвертое. Махмуд – ты, верно, слышал – за свой номер просидел полгода в тюрьме. Это – пятое. А теперь самое важное: люди, видно, жить не хотят без того, чтобы их не гнули, не обманывали, не обдирали. Марудиному предприятию пришел конец, так на его место сел Гришка Пименов и на трех картах с тех же людей на базаре стал драть вдесятеро. Ничего путного из моих дел не вышло. Видишь, сколько дурного я тебе перечислил? Одно зло. Я в книгах читал и от людей слышал: увидишь кого в беде, поступай, как сердце велит, и будь доволен тем, что получится. Пусть это правда, все равно еще надо подумать, достойны ли люди того, чтобы в их дела приличный человек впутывался. Запомни мои слова, но знаешь, я и сам еще не пойму, где здесь правда. Думать надо и опыт нужен, чтобы понять…

Мы простились. Нам суждено было встретиться в Тифлисе, в губернской тюрьме. Но об этом как-нибудь в другой раз.

Граф Сегеди

…В 1893 году имя Туташхиа всплыло одновременно в делах нескольких жандармских управлений Северокавказских губернии. В то время именно здесь усиленно распространялась нелегальная литература. Ко всему в канцелярию шефа жандармов поступило агентурное донесение о готовящемся покушении на его высочество великого князя. В довершение преступники личность которых не была установлена, вырезали в Кавказской семью богатого купца, похитив деньги и драгоценности на крупную сумму. Генерал Шанин, приехавший специально из Петербурга изучив материалы, высказал уверенность, что на Северном Кавказе действует хорошо законспирированная политическая организация с базами в Закавказье, иными словами – на территории, мне подведомственной. Из его заключений явствовало, что солидная сумма была похищена у купца с целью финансировать террористический акт и что если не главой, во всяком случае одним из главарей-организаторов всего этого был… Дата Туташхиа. Мне, таким образом, предъявлялось обвинение и предписывалось принять меры, тем более что шеф жандармов настоятельно требовал разъяснений по поводу всего случившегося, ликвидации групп, ведущих подрывную деятельность, и ареста Туташхиа.

Мне надлежало в этой связи определить и уточнить почерк преступлений Туташхиа, новое криминальное амплуа которого, кстати, казалось мне высосанным из пальца. Я получил все имеющиеся материалы по его делу и взялся за их анализ. Мимоходом замечу, хотя это и не относится к предмету моих записок, что заключения генерала Шанина оказались поверхностными и беспочвенными. Управление жандармерии раскрыло под конец дело. Сведения о готовящемся покушении на великого князя и попытка увязать убийство купеческой семьи с политическими мотивами оказались несостоятельными. Кроме того, в процессе следствия выяснилось, что ни политические преступники, ни участники убийства вовсе не были

знакомы с Туташхиа.

Нечто иное привлекло мое внимание: изучение материалов о Туташхиа в новом, отчетливом свете показало мне этого человека и привело к любопытному заключению. Первое и важнейшее, что бросилось в глаза, – это, если можно так выразиться, отсутствие почерка преступлений Туташхиа, другими словами – совершенные им преступления не были отмечены печатью какого-нибудь одного способа, метода исполнения, тем более системы, и, таким образом, приписать Туташхиа неизвестно кем совершенное преступление было так же легко, как преступление, инкриминируемое Туташхиа, приписать другому. Его дело включало множество разнородных преступлений, но невозможно было разобраться, какое на самом деле совершил он и какое ему приписано. Мне было крайне необходимо установить его криминальный тип, криминально-психологический портрет. Материал, основанный на домыслах и гипотезах, на это не годился. После месяца работы мне стало очевидно лишь то, что у Туташхиа не было ни программы действий, ни определенного политического кредо. По-видимому, все его поступки были следствием аффекта, вызванного ситуацией. Я убедился также в одном крайне важном обстоятельстве: его известность и влияние были безмерно велики среди населения. Подобные авторитеты во время стихийной смуты становятся вождями черни. Из материалов явствовало, что народ ждал своего пропавшего идола и не скрывал ожидания. Здесь уже требовалось сделать решительный шаг. Наряду с другими мерами по поимке преступника мы обещали за его голову награду в пять тысяч рублей. Туташхиа словно только этого и ждал – не прошло и месяца со дня объявления награды, как он вернулся и должным образом отметил свое возвращение на родину: вместе с анархистом Бубутейшвили ограбил в Поти ростовщика Булава.

Тогда я не понимал, что заставило его вернуться в Грузию и с прежней удалью, проворством и энергией возобновить игру с огнем.

Никифоре Бубутейшвили

Наши люди готовили террористический акт. Позарез нужны были деньги. Мне дали задание раздобыть три тысячи. Я знал, где их взять, но нужен был надежный, годный к таким делам человек. Дата тогда только-только вернулся. Я пришел в Самурзакано и спросил про Туташхиа у одного из наших. Скрывается, говорит, где-то на побережье у гуртовщиков.

Человек мне нужен был для того, чтобы экспроприировать деньги у ростовщика Кажи Булава. Жил он на окраине Поти. В одиночку это дело не провернуть – ростовщик знал меня как облупленного. Политика штука такая – по пустяку не попадайся. Ты завалился, кандалы на каторге таскаешь, а за идею бороться кто будет? Обыватель? Правда, Дата Туташхиа ни про политику, ни про партии слушать не хотел, политически темный был человек, ко что хуже царя и жандармов никого быть не может – знал отлично. Был он мне побратимом – отказать права не имел.

Нашел, значит, я Дату, сказал о деле. Сколько требуется, спрашивает. Три тысячи – говорю. Столько денег – где взять? Я ему про ростовщика, а он и говорит:

– Лучше почту брать!

Чего захотел! Охота, говорю, связываться с почтарями и казаками, когда ростовщик сам в руки плывет. Но Дата заладил свое – «лучше почту», и ни с места! Пришлось агитировать, убеждал, разъяснял, что за человек этот ростовщик. Он, говорю, пиявка, паук, удав на теле народа и все такое. Вроде бы дошло, но все равно твердит про почту. Выхода не оставалось – напомнил о побратимстве. Нужно, дескать, позарез, а ты побратима бросаешь. Уломал-таки. Ладно, говорит, будь по-твоему, может, впрямь от ваших хлопот полегчает людям, и пошел со мной.

Я уже говорил, что логово Кажи Булава было на окраине Поти. Иначе как логовом его жилье назвать было нельзя. Жил он в кукурузном амбаре, не поверите, именно в амбаре, а не в доме или какой-нибудь там лачуге. Амбарчик был шагов этак пять в длину, три – в ширину, изнутри и снаружи обмазан навозом, посередине – простыня, грязная, вся в заплатах. Получалось вроде бы две половины: по одну сторону простыни жена и шестеро детей, по другую – сам со своими денежками. Деньги у него были здесь, в амбаре, – это точно, верный

человек навел, соврать не мог. А вот где именно, в каком углу, – сам черт не узнает. Припугнуть надо бы как следует, струсит, сукин сын, и отдаст – куда ему деваться…

До того жаден был, даже собаку не держал.

Перемахнули мы через забор, луна вовсю светит, видно как днем. Сразу у забора, под грушей, свинья привязана, хрюкает себе. Подкрались мы к хибаре, маузеры – наготове. Единственное оконце настежь открыто, и дух из него такой прет – прямо с ног валит. Прислушиваемся: дети всяк на свой лад сопят. Заглянули: сам их благородие хозяин на коряге сидеть изволят, пальцем в носу ковыряют, на огарок уставился. О чем, интересно знать, думает, подлец?

Наверное, залог втрое дороже ссуды сорвал – вот теперь и сидит, мечтает, чтобы должник хоть на денек срок просрочил, – продаст Кажашка залог, тройной барыш схапает.

Прикрыл я лицо башлыком, сунул маузер в оконце:

– А ну отворяй, живо!

Нет, это самому надо видеть – словами не расскажешь! Ростовщик застыл, как гончая в стойке, палец в носу, глаза – в дуло, оторвать не может. Щелкнул я курком. Ростовщик вскочил, бросился открывать. Дата вошел, велел хозяину сесть. Осмотрелся, скинул бурку, в угол бросил. Сел за стол, выложил два маузера и глядит на ростовщика. Тут бы и жать на него, давить, духа не дать перевести, а Дата молчит себе, время тянет. Опомнится он сейчас, придет в себя, и тогда пиши пропало – хрен из него выжмешь, это уж точно! А Дата молчит. Надоело ему, видно, глядеть на Кажашку, нашел себе занятие – стал стены, пол, потолок разглядывать, и долго так, задумчиво. Вижу, уходит добыча. Влез я в оконце по пояс и ростовщику маузером в рыло:

– Деньги на стол, сукин сын! Мигом!

Кажа Булава осторожненько обернулся и морду перекосил – то ли улыбается, то ли заревет сейчас.

– Откуда деньгам взяться? Были б деньги, жил бы я в этой конуре!

И пошел плести – опомнился, пес! Теперь бы жать и жать, а то совсем уйдет!

– Гони деньги, тварь, тебе говорят! А то мигом на тот свет Отправишься! Живее, кому сказано!

И опять маузером в рыло, будто курок вот-вот спущу.

– Пощадите, – канючит ростовщик и поднимается.

В углу стоял огромный, обитый железными обручами сундук. Вытащил ключ, поднял крышку. И пошел выкидывать черкески, седла, сабли, кинжалы – целую гору наворотил! И как быстро – откуда только прыть взялась? Стоит сундук пустой, а Булава опять вздыхает и канючит:

– Вот… все, что есть… Все.

Я Дате киваю: пусть поглядит, нет ли еще чего. Он пошарил по дну, вытащил толстенную книгу. Стал он ее листать – все страницы в записях, пометках, даже рисунках, а между страницами… записки, векселя, долговые обязательства.

– Дай-ка сюда, – говорю.

А Кажашка как заверещит:

– Годжаба, Цабу, Бики, Кику, Цуцу, Доментий!.. Отнимают разбойники нашу книгу! Беда, дети мои, беда!

Дата окаменел. Да и я, признаться, не ожидал такого визга – смешался, чего греха таить! А из-за простыни как посыпалась ребятня, мал мала меньше, тощие, кривоногие – и ну орать, ну выть, господи ты боже мой! Шабаш! Видит Кажа Булава, сволочь хитрая, что мы растерялись, упускаем момент, упускаем, и давай давить – шлепнулся на спину, копытами своими колотит, орет-надрывается:

– Беда! Беда!

Тут слышу – скрипнула калитка. Соображаю: Кваква, жена Кажашкина, из порта вернулась. Такими деньжищами, мерзавец, ворочал, а жену, у которой шестеро на руках, посылал еще в чей-то лабаз за трешку в месяц полы вылизывать. Мне-то на все наплевать – черт с ней, с Кваквой, с лабазом, со щенками ее, да только при экспроприациях и других подобных операциях хуже нет, как на бабу нарваться. Завоет, заголосит – на пять верст в округе

полицию поднимет. Я – к калитке, и под грушей, где свинья привязана, какого-то черта чуть с ног не сбиваю… Кваква! И уже вопит!

Я ей маузером в зубы. Не поверите, крик, как струна, оборвался! И в амбаре вдруг все стихло! До сих пор не знаю, как сумел Дата унять эту осатаневшую свору. Только и дети, и папаша-подлец разом заткнулись. Это – спасибо, но что с бабой дальше делать? Медлить нельзя – ведь она сейчас разом придет в себя и пойдет кусаться, плеваться, царапаться – тогда только ноги уноси, не до денег будет! Сорвал я с себя ремень, стянул дуре руки за спиной – не развяжешь. На голове у нее платок, я платок сорвал, под ним – второй. Один я ей в глотку, да поглубже, другим морду обмотал, узлом на шее завязал и тут же под грушу ее и свалил. Свинью с цепи спустил, на ту цепь – Квакву.

– Не хрюкать, понятно? – И бросился в Кажашкино логово.

Подобрался к оконцу, шевельнуться боюсь: а ну Кажашкин выводок опять визг поднимет. И что же слышу? Кажашка Булава и Дата Туташхиа спокойно так, будто кумушки на посиделках, языками чешут.

– Одних расписок у тебя больше, чем на сто с лишним тысяч, – увещевает Дата Кажашку, – а детей, плоть и кровь свою, в гнилой норе держишь…

– Так я ведь и сам из этой норы, как изволили вы заметить, Дата-батоно, не вылажу.

Я осторожно заглянул в окно. Вижу – Кажашка, как и было, лежит на полу.

– О том и речь, – говорит Дата. – Для кого копишь ты эти деньги? Поднимись и сядь. Только кричать не вздумай. Никто твоего воя не боится.

Ростовщик это и сам знал. Он на жалость бил – оттого и вопил.

Туташхиа при случае так говорить умел, хоть змею из норы выманит. «Пусть поговорит, – подумал я, – авось без шума, тихо-мирно вытрясет ростовщика».

– Нет, ты отвечай, когда спрашивают, – не отступал Дата. – Зачем тебе столько денег, если ты и себя, и детей в этой дыре гноишь?

Тут свинья, которую я отвязал, рылом отворила дверь амбара. На шее – большущее ярмо, чтобы сквозь заборы не пролазила. Топчется на пороге, по глинобитному полу пятачком шарит. Никто и ухом не повел.

– Сто тысяч, Дата-батоно, всего сто тысяч, разве это деньги? Вон в порту грек Сидоропуло, слыхали, наверное?..

Старшая дочка Кажашки цыкнула на свинью, а папаша разбойник ей:

– Не гони ее, доченька, пусть поищет, может, чего и найдет. Зачем добру зря пропадать?.. – И снова к Дате: – Так я, значит, про Сидоропуло, про грека. У него уже миллион. На второй перевалило.

Кажашка все молол без умолку, но Дата уже не слушал его. Он думал. Наконец поднял побратим руку:

– Да, сгубили тебя деньги, Кажа Булава. Жаль мне тебя… Керосин у тебя найдется? – спросил он, помолчав.

– Керосин? Откуда у меня керосину взяться? У богатых ищи керосин, Дата-батоно.

– Ну, хорошо. А вот скажи мне, если б случился пожар и сгорело бы все твое логово, и седла, и черкески, и кинжалы, книга с ними, и деньги, которые, это уж точно, где-то здесь припрятаны, что бы ты тогда стал делать, скажи мне, ради бога?

У ростовщика кровь отхлынула от лица, клянусь прахом своего отца, стал он зеленый, как кукурузный стебель.

– Господи, воля твоя, – пошел он креститься часто-часто. – Что вы, Дата-батоно! Сколько сил я на эти гроши угробил! На другой раз… на второй заход не набрать мне сил. Не вытяну, помру!

– Ну и ну! – удивился Туташхиа. – Стало быть, все с самого начала начнешь?

Ростовщик сник весь, но от прямого ответа успел увильнуть.

– Вы про керосин спросили, Дата-батоно. Не берите греха на душу, не пустите детей по миру.

По миру, думаю, может, оно и лучше, чем дохнуть с голоду при таком папаше.

– Да, спета, видать, твоя песенка! – говорит ему Дата. – Мучиться тебе и маяться, Кажа-бедолага!.. Ну да ничего не поделаешь! Нам деньги нужны. Силой будем брать – боюсь,

помрешь, а я греха на душу не возьму. Давай так: ты мне даешь взаймы три тысячи, и не будь я Дата Туташхиа, если не верну.

Услыхал ростовщик про долг, обрадовался, будто дарят ему его денежки.

– Были б у меня деньги, Дата-батоно!.. Зачем взаймы – так бы отдал! За такими, как вы, доброе дело не пропадет.

Меня аж затрясло.

– Эй, Дата Туташхиа, – кричу ему в окошко, – про залог не забудь, расписку ему, сукину сыну, расписку…

Не понял побратим насмешки.

– Осел ты, – отвечает, а сам в окошко уставился. – Будь у меня такой залог, стал бы я в этом смраде душиться. – И опять глядит на Кажашку.

Надоело мне слушать их болтовню, а главное, не похоже было, чтобы Дата от Кажашки с деньгами ушел. Ворвался я в эту чертову нору и – в ноги ростовщику несколько зарядов.

– Раскошеливайся, сука шелудивая, а не то вмиг околеешь! Пошевеливайся, гад!

Дети, как кузнечики, попрыгали на отцовский топчан и ну голосить, окаянные. Свинья с перепугу ткнулась рылом в плетеную дверь. Рыло-то просунула, а дальше ярмо не пускает. Ни туда, ни сюда, мечется, визжит, как перед убоем. На чердаке куры квохчут, о крышу бьются. Вся лачуга ходуном ходит. Сейчас, думаю, рухнет – минуты терять нельзя. Рукоятью маузера саданул ростовщику в ребра, в харю двинул – он встать и соизволил. Отодвинул сундук, под сундуком, вижу, дверца не дверца, заслонка не заслонка, что-то железное, он и ее отодвинул, лег на пол, свесился по пояс в подвал. Торчат у меня под носом Кажашкина задница да короткие толстые ноги.

– Быстрей, – кричу, – быстрей, Кажашка, подлец! – а сам пинком его, пинком.

Поглядел я на Дату, а его как пыльным мешком ударили, стоит бледный, подбородок дрожит, от детей глаз отвести не может, а они надрываются. Сбились на топчане, как волчата, и воют, того и гляди кинутся и загрызут. Спасибо, вид у маузера что надо, не очень-то покидаешься, а то бы загрызли, ей-богу! Ростовщик в яму свесился и как сдох: и дальше ни на вершок, и обратно не вылазит. Чуда ждет. Дернул я его за ногу.

– Вылезай, тащи, что ведено! Как цыпленка разорву!

Поднялся Кажа Булава – в лице ни кровинки. В руках – мешочек. Вырвал я мешочек – ничего, тяжеленький, не иначе как золото!

– Нет моей Кваквы, – блеет эта тварь, – шиш бы вы у меня что взяли!

– Ищи свою Квакву под грушей, она там на цепи, не бойся, не убежит.

Дата как услышал это, еще бледнее стал, сгреб свою бурку – и к двери, а в дверях свинья застряла, не выйдешь. Свинья крутится, амбар трясется. Туташхиа вышиб дверь ногой, свинья – во двор задом, Дата – следом.

– Сколько здесь?

– Пять… Но вам-то ведь три…

Я чуть со смеху не умер… Отмочил Кажашка напоследок!

Мешочек – за пазуху, а тут Кваква как завопит! Дата у нее кляп изо рта вытащил, это уж точно. Кваква волком завыла. Дети от материнского крика и вовсе ошалели. Надо было ноги уносить.

Добежал я до груши. Кваква орет – ушам больно. Дата с цепью возится, никак не развяжет. Луна светит себе. За забором какие-то тени мельтешат. Не понравилось мне все это.

– Брось ты ее, Дата! Найдется, кому суку с цепи спустить. Бежим!

А он не уходит, цепь из рук не может выпустить.

– Караул!.. Утащили шарамыжники мое добро! Всё забрали! Держи их! Бей! Насмерть бей!! Это Дата Туташхиа! За его голову пять тысяч дают! Караул, люди!

Стоило этому болвану выкрикнуть имя Даты Туташхиа, как тени за забором тут же исчезли.

Дернул Дата еще раз цепь – сорвал наконец. Выскочили мы на дорогу, за нами Кваква, руки-то у нее ремнем опутаны, цепь волочится, по булыжникам гремит, но Кваквину глотку не заткнешь. Обернулся я, выпустил на ходу две пули в воздух. Отстала, но орет пуще прежнего.

– Дата Туташхиа, – слышим мы за спиной. – В долг я тебе эти деньги дал, в долг! Ты

просил, я дал! Вернешь, если ты Дата Туташхиа, а не вор, как твой дружок!

Хорошо еще, проценты не просит, говорю.

Словом, ушли мы, сели в седла.

– Говорил я – почту бы лучше, – сказал Дата.

Да, неладно вышло, что самому мне пришлось к ростовщику в нору лезть. Но что было делать, когда Дата сплоховал?

Через два года наши люди попались – по другим делам. Судили шестерых. Меня жандармы разыскивали, и я сам на суде быть не мог, но люди рассказывали, как и что было. Выяснилось, что террористический акт, для которого мы с Датой Туташхиа пять тысяч экспроприировали, не состоялся. Деньги, которые я сдал в кассу организации, были отосланы нашим в эмиграцию. Царские сатрапы на суде так дело повернули, будто эмигранты все деньги проиграли в карты и с девками прогуляли. И меня замарали; их послушать, так выходило, будто Бубутейшвили только четыре тысячи в партийную кассу сдал, а тысячу присвоил. Но ведь организация велела достать три тысячи, а я принес четыре! Имел право преследуемый анархист оставить себе на пропитание долю того, что сам раздобыл, или не имел? На какие средства, интересно, я должен был существовать и работать?

Дата Туташхиа, конечно, мог и не знать, что жандармерия и полиция умышленно марают борцов за свободу и счастье народа. Измышляя про нас всякую грязную клевету, они таким способом стараются опорочить саму идею. Но это-то он должен был знать, что нелегальная жизнь требует больших расходов. После процесса я как-то встретил Дату. Он едва со мной поздоровался. Спрашиваю: может быть, я обидел тебя чем? Нет, мотает головой. Но я пристал в одну душу. Дата молчал, молчал, а потом и говорит:

– Дрянь, оказывается, ваши люди, да и ты не лучше.

С тем и ушел – слушать меня не стал. Ничего не поделаешь. Политически неграмотный был человек. Читать-то он любил, да все только книги, которые мозги засоряют. В ходе борьбы потери неизбежны. Потеряли мы Дату Туташхиа. С того раза никогда ни с какой организацией ничего общего он не имел. Один шел.

Граф Сегеди

…И сам чиновник и его перемещение с одной службы на другую были явлениями настолько незначительными, что, естественно, не привлекали внимания должностных лиц. Однако всего лишь год спустя имя Мушни Зарандиа прогремело, словно взрыв бомбы, и вот каким образом.

Зарандиа, как младшему чиновнику жандармерии, передали на следствие дело одного контрабандиста. Зарандиа, однако, им не ограничился и представил Кутаисской губернской жандармерии пять томов, которые состояли из проработанных с удивительным тщанием материалов о действиях контрабандистских банд от Батуми до Туапсе и о государственных чиновниках, находящихся в преступной связи с этими бандами. Дело не только изобличало человек пятьдесят, но давало возможность ареста каждого на месте преступления и ликвидации всей банды. Следствие можно было считать, в сущности, законченным. Пятьдесят человек смело могли быть отданы под суд. Зарандиа предусмотрел личные или родственные связи некоторых преступников с находящимися в Тифлисе влиятельными лицами и до поры мастерски оставил их дела в тени. Таким образом он достиг того, что после некоторого колебания делу дали ход и вести операцию доверили самому Зарандиа. Через две недели в тюрьмах Поти, Батуми и Кутаиси находились все без исключения лица, изобличенные в преступлении, и еще три человека, которые пытались подкупить Зарандиа, предложив ему сто тысяч рублей золотом. Последних Зарандиа арестовал сам.

В результате операции он получил должность старшего следователя, а наместник возбудил ходатайство перед Петербургом о присвоении ему внеочередного чина и награждении орденом. Пока мы ждали из Петербурга ответ на представление, Мушни Зарандиа осуществил гораздо более сложную и значительную операцию, причем столь же успешно. На сей раз он расследовал и точно установил пути, по которым из-за границы на Кавказ поступала нелегальная литература, арестовал людей, доставляющих ее, и обезвредил несколько

нелегальных групп в различных городах Кавказа. Все это Зарандиа исполнил с фантастической быстротой и утвердил за собой имя изобретателя остроумных уловок и новых методов сыскного дела. Петербург теперь уже сам позаботился о выдвижении и наградах Зарандиа. В 1895 году, то есть в десятилетие пребывания Туташхиа в абрагах и в пятилетие следовательско-сыскной службы Мушни Зарандиа, благодаря анонимному письму нам стало известно, что неуловимый абраг и выдвинувшийся жандарм были двоюродными братьями. Сообщение это вызвало известное замешательство, и было получено срочное распоряжение произвести дознание на предмет деятельности Мушни Зарандиа. Дознание доказало, что Мушни Зарандиа, начиная с первого дня службы в акцизе, не был замечен в каких-либо связях со своим двоюродным братом…

Мосе Замтарадзе

Однажды избили до полусмерти и его, и меня – двух знаменитых абрагов. Десять дней лежали мы пластом. Мне сломали ребро, Дата Туташхиа не мог повернуть голову – воспалилась рана на шее. Человеку в бегах, сам знаешь, к врачу хода нет, а уж в больницу подавно. Впрочем, в тех местах о докторах и больницах тогда и не слыхали.

Отдубасили нас по вине Туташхиа. В беду всегда по своей вине попадешь. Даже поговорка есть… Позабыл, как там… Словом, про дураков, но чаще умные в такие дела влипают. Бывает, все сойдется одно к одному – не лезь тогда, не суйся. А сунешься – и тебе влетит, и кто с тобой рядом случится, тому тоже перепадет.

Дело было зимой. Зима для абрага – пора тяжелая. Куда приткнуться? Я решил перезимовать в лесах Саирме у одного оборотистого малого. Одну зиму я у него уже пересидел. Позвал с собой Дату Туташхиа. Он в Саирме никогда не бывал. Пришли, оружие спрятали, оставили по револьверу и прямым ходом к Сетуровой усадьбе. Сетурой звали того малого – он жил один, семья у него была в Кутаиси. Стояла его усадьба на особенной земле. Эту землю накопают, промоют, высушат и вьюками отправляют в Кутаиси. Там землю покупали англичане. Говорили, польза от нее была, когда бурили колодцы, нефтяные скважины, и при других похожих делах. Сетура на этом деле зарабатывал дай бог. В прошлую мою зимовку землю брали четверо рабочих. Четвертым был сам хозяин. Копал наравне с другими. Когда я уходил, Сетура позвал меня опять приходить зимой. В те годы в лесах Саирме лютовали разбойники, и я для Сетурова хозяйства был как бы защитой. А взять у него было что, иначе на кой я ему.

Настоящего имени Даты я хозяину открывать не стал. Так сам Дата захотел. Человек тверже кремня, говорит, когда ему тайна не доверена. Узнают, что у Сетуры зимовал Дата Туташхиа, будут его бить, пока не признается. Посадят еше. А будет он знать, что это Чачава или Пориа какой-нибудь, сколько ни бей, ничего не выбьешь. Заладит: Пориа у меня гостил – и точка. Поверят в конце концов, дадут пинка и отпустят… Я и сказал Сетуре: «Это мой друг Пориа». Он нам обрадовался. Пригласил в дом. Познакомил с Табагари – «моя правая рука», говорит. В прошлую мою зимовку Табагари в усадьбе не было. Он служил псаломщиком в церкви святого Квирикэ. Прошу прощения, но чтобы у человека так сопли текли без передыху – я в жизни не видел. Взглянешь на него раз – аппетит отобьет до конца дней твоих.

Табагари накрыл на стол – и в сторонку, пока Сетура не разрешил ему сесть. Сел молчком, голоса его в тот вечер мы и не услышали. За столом Сетура сказал, что его правая рука Како Табагари, пока служил богу, выучил все имена, какие только есть на свете, и знает все их значения. На это Табагари, словно дите малое, которого приласкал чужой дядя, засмущался, заелозил, губы выпятил, пальцами перебирает. Весь вечер он был застенчив и уважителен. За столом смотрел зорко, все было, что душа пожелает. Был Табагари кривоног, приземист, толст немыслимо, но расторопен.

После ужина Сетура отправил нас в комнатенку, в которой мы теперь должны были жить, и пообещал прислать в услуженье старушку. Мы легли, но спали, должно быть, недолго, – еще было темно, когда бухнул колокол и такой ералаш на дворе поднялся, будто кругом все огнем горит, только ноги уноси. Не успели мы вскочить – стук в дверь. Входит бабка – дыра на дыре, вся в рванье. Не знаю, от какой старости или болезни людей так скрючивает, – только нос у нее

чуть не в пол уходил. Вошла, однако, бодренько. Странно даже. Казалось, разогнуть ее только чудо может, а тут выпрямилась, ладонь к виску, откозыряла, как хорошо вымуштрованный солдат, докладывает – что именно, разобрать невозможно, у бедняжки во рту ни единого зуба. Прошамкала она свой рапорт, руку опустила, стоит по стойке «смирно».

Мы с Датой молчим, понять ничего не можем.

– Вроде бы что-то… насчет завтрака и умывания, – говорю.

Бабка опять рапортовать, но Дата ее перебил, попросил подождать, пока оденемся.

– Что за бабка, Мосе, как ты думаешь? – спросил он меня, когда мы остались одни.

– Да, наверное, Сетура нам ее в прислуги прислал. Кем ей быть? Умом-то она… того… Это ясно. Непонятно только, зачем Сетуре этот номер понадобился?

– Вполне она в своем уме, – говорит Дата. – Я повадки умалишенных знаю. И поговорить с ними люблю – такое скажут, от умного не услышишь. Что-то здесь не то… Да… вот что. Ты вчера у Сетуры сильно набрался и, может, не помнишь, все Абелем его называл. Абель он или кто?

– Абель, конечно. Я пока в своем уме.

– А почему он поправлял тебя. – Архипом, говорит, меня называй?

– Архипом?! – Я начал припоминать, что хозяин и правда все время поправлял меня, да мне было плевать. Что Абель, Архип – один черт. Как хочет, так и звать его буду. Мне-то что.

Я оделся и подошел к окну поглядеть, что там стряслось, что мы – куры, подниматься чуть свет? Подходить близко к окну абрагу заказано, сами понимать должны. Я остановился не доходя, но так, чтобы двор просматривался. Ничего такого не увидел, все вроде бы утихло. Прошел какой-то малый и по-волчьи вполз в землянку. Снег кругом – я его и заметил, а так ничего не видно, темно. В комнате был балкон. Смотрю, на балконе наша бабка. Стоит, прижавшись к стене. Отчего это, думаю, она, как фельдфебель перед генералом, тянется перед нами?.. Вижу, прильнула к замочной скважине – ничего ей это не стоит, и так крючком согнута. Чувствую, зыркает по нашей комнате. Вдруг замельтешила. Понимаю, меня, второго постояльца, из виду потеряла, как не замельтешить… Старая ведьма и то в толк взяла, не наблюдаю ли я за ней. Приподнялась, в окно заглянула, но, ясное дело, ничего не увидела.

Я Дате молчком показал, он по стенке подкрался к двери и – настежь. Старуха как была возле скважины, так и осталась – крючок крючком.

– Ну, мамаша, разогнись и входи! – сказал ей Дата.

Вошла, дверь прикрыла.

– Где это, тетенька, принято подглядывать в чужую дверь? – говорю я ей.

– У нас и принято! – сказала, как отрезала. Да как четко!

– Кто и для чего завел такой порядок? – спросил Дата.

– Пришли вы в дом – два чужака. Надо нам знать, о чем думаете, что делать намерены? Кормильцу все надо знать!

– А кто же это твой кормилец, будь он неладен? – не удержался я.

– Ах ты нехристь! Сам будь неладен! – разъярилась старуха. – Погляди на себя в зеркало, тварь бездомная, – это она мне-то, – Архип Сетура наш кормилец – отец, мать и господь бог! Кому еще быть?

Старуха бранилась долго. Дата ее слушал, будто царь Соломон перед нами вещал. Я пошарил по стенам – поглядеться бы в зеркало, на кого это я похож стал, что даже такая образина пальцем в меня тычет.

– Скажи-ка, мать, – втиснулся Дата в старухину брань, – твоего Сетуру Абелем или Архипом зовут?

– Раньше звали Абелем, а теперь Архипом, – сказала она и прибавила, будто одарить нас хотела: – Сам пожелал. Надо так!

– Ладно, – сказал Дата, помолчав, – давай умываться.

Старуха отвела нас за угол дома, слила на руки, и только начали мы вытираться, как опять бухнул колокол и пошел но округе гул. Мы выглянули из-за угла.

Когда я зимовал у Сетуры, он жил в тесной землянке. Ничего, кроме землянки, на этом месте не стояло. Теперь здесь поднялась добротная ода, и несколько десятков слепых полуземлянок хороводом окружали ее. Опять потек колокольный звон, из землянок посыпались

люди и затрусили к дому Сетуры. Выползали они из всех щелей и семенили, как кроты, выкуренные из нор. Один миг – и суету как слизнуло. Все стихло намертво. И тут же какой-то человек, не видно кто, начал говорить. Да как! «Путь-путь-путь-путь», – поди разбери. Полопотал он, смолк – и тут все как загалдят! Каждый трещит но переставая, будто надо ему только одно – переговорить соседа. Тарабарит площадь – ничего не разберешь.

– Подойдем поближе, Мосе, – говорит Дата, – поглядим, что там такое.

Подошли, и что же видим? Хромой псаломщик, Сетурова правая рука, который вчера за ужином и слова не проронил, – стоит на пне, который, видно, для этого дела и отесали, и бормочет, бормочет, слова не разобрать. Перед ним вытянулись в две шеренги человек тридцать и тоже бормочут как заговоренные. Побормотали и молчат. Опять со своего пня запиликал Табагари. Теперь я разобрал:

– Даритель же хлеба нашего насущного – отец наш и благодетель Архип – да здравствует во веки веков!..

«Архип» – в конце каждого стиха, а потом трижды: полихронион, полихронион, полихронион. Я это слово хорошо знал – одного Имедадзе из Сачхере так звали. Он мне и сказал, что по-гречески «полихронион» значит «многие лета».

Кончили молиться, Табагари сказал «вольно».

Все согнули ногу в колене – солдаты, да и только.

– Спиридон Суланджиа, сукин ты сын, нет для тебя сегодня работы! – своим тарабарским говором завел опять Табагари. – Пилат Сванидзе, гони его в шею из строя.

Пилат Сванидзе немедля двинул Спиридона Суланджиа по шее. Несчастный упал на снег и запричитал. Никто и ухом не повел.

– Смирно, направо, шагом арш! – выпалил Табагари.

И двинулся солдатским шагом весь этот обтрепанный люд.

– Куда это они, мамаша? – спросил Дата у старухи.

– На работу.

– А та вон каракатица тоже работать будет? – спросил Дата. – Это что за карлик?!

– Он и есть самый главный.

– А чего натворил Спиридон Суланджиа?

– Мало ему еще дали, будь он неладен, пусть Архипу спасибо скажет… – Старуха вдруг прикусила язык и давай на нас орать: – Нечего в чужие дела лезть, а то живо отсюда вытряхнетесь!..

Не поверите, мы как язык проглотили; глядим, как карлик, едва перебирая ножками, подгоняет свою паству, – и ни слова.

Повела нас старуха в дом Сетуры.

Хозяин возлежал на тахте, усыпанной пестрыми мутаками и подушками. Он поднялся нам навстречу, с важностью отдал поклон и пригласил к столу, который опять был хоть куда.

– Угодила ли ты гостям, Асинета? – спросил он старуху.

– Дурные они люди, – отрезала старуха.

Сетура нахмурился и, подумав, сказал:

– Ну… ладно, ступай! Сам разберусь.

Едва старуха исчезла за дверью, как Сетура откинулся на подушку и ну хохотать.

Вдоволь нахохотавшись, Сетура отер слезы и говорит:

– Так-то, братцы, дурные вы люди. Слыхали, как Асинета сказала?

От всего, что мы повидали в это утро, настроеньице было у нас хоть плачь. Смех Сетуры немножко взбодрил нас.

И правда, подумал я, – мало нам своих бед, из-за этих людишек еще переживать, пусть идут ко всем чертям, нам-то что… А вслух говорю вроде бы в шутку, как сам Сетура:

– Из-за чего это, мил-друг, твоя Асинета среди ночи нас подняла?

– В пять часов у меня подъем, – сказал Сетура, – люди должны видеть, что порядок есть порядок, для всех одинаково, каждый захочет валяться в постели до полудня, и дело пострадает. Не работа меня заботит – люди. Их жизнь и благо. Долгая это история, Мосе-батоно! Выпьем-ка за Евангелие от Матфея, вот сулгуни, берите, берите – отличная закуски к водке, лучше не бывает!

Мы выпили, и я опять спрашиваю у Сетуры:

– А Спиридону Суланджиа дали сегодня по шее и как паршивого котенка вышвырнули – что, тоже для его блага?

– А ты как думаешь? Лиши человека страха, он тут же почувствует себя несчастным. Знаешь, что Спиридон Суланджиа сказал? Архип, видите ли, дает нам ровно столько, чтобы мы с голоду не передохли! Богатство и роскошь – вот откуда вся порча и безнравственность. Ну, дам я этому вахлаку больше того, что даю. Он тут же скажет – дай еще; не получит большего – опять беда: начнет завидовать и воровать. Правильно говорят: нагулял козел жиру, потянуло волчьего мяса отведать. Что получается? Хочешь человеку добра – не дай ему обожраться. Почему Спиридон Суланджиа сказал то, что сказал? Выкормил он молочных поросят. Девять штук. Шестерых забрал я, трех оставил ему. Он их продал, в семью деньги пришли – отсюда и мысли. Забери я восемь поросят, оставь ему одного, и молчал бы, сукин сын, как миленький. Такие вот, брат, дела. Теперь недельку-другую Какошка Табагари не будет брать на работу этого болтуна, детишки его поскулят, он и пожалеет о том, что наболтал. И другим – пример: неповадно будет молоть языком чего не надо, и сам Спиридон рад будет до смерти, что его опять к делу допустят и заработать дадут. Сказанное Спиридоном – воистину грех великий. Сам оступился, в убытке остался – это еще куда ни шло. Но ведь и другого тем самым подбил: и ты, мол, скажи подобное, накличь на себя беду. Вот что главное. Если я и вправду кормилец этим людям, то должен понимать: все, что людей может совратить с пути истинного, от чего народу – страдание одно, всё надо в корне подрубать, в зародыше уничтожать, а то вырастет, силой нальется. Зачем мне торчать здесь, если денно и нощно по заботиться о людях, о том, чтобы им жилось хорошо? Прийти в этот мир есть, пить и не принести людям добра – разве это жизнь? Ну, выпьем! За второе Евангелие, от Марка. Вот осетрина, угощайтесь, сулгуни – хорошо на закуску, да рыбка лучше.

Мы слушали, боясь проронить слово, и Сетура, воодушевившись, продолжал:

– Так-то, милостивые государи! Если человеку страх неведом, если ему бояться нечего, он обречен. Но одного страха мало. Тут нужно еще кое-что. Во-первых, собранность: в человеке должно быть все натянуто, как струна чонгури. Дай человеку волю – он расслабится и падет духом, о-хо-хо! Тысяча недугов набросятся на тело и унесут его в иной мир. Непременно унесут. Забери у человека его заботы, расслабь волю и дух – и жизнь его оборвется. Это так, поверьте мне. А то с какой стати поднимать их затемно и муштровать как солдат? Возьмите горбатую Асинету, у другого хозяина она давно бы концы отдала. Понимает старая, что я жизнь ей продлеваю, оттого благодарна и преданна. «Умный ищет наставника, а глупому он обуза» – так говорит часто Какошка Табагари, и правильно говорит. Неразумен человек. Ты – за него, а он с дьяволом – против тебя. Так все и заведено. Хочешь людям добра – сей, в их сердцах любовь. Но разве неразумному внушишь любовь? Одним страхом, я вам говорю, ничего не добьешься. Нужно, чтобы имя твое он повторял изо дня в день, чтобы слышал, как другие тебя превозносят, и сам тебе хвалу станет возносить. Для этого из церкви святого Квирикэ и привел я Табагари. Он мне молитвы сочиняет. Одни в стихах, другие на музыку кладет, а некоторые – так просто. Складно у него получается – лучше не придумаешь. Мои люди трижды в день молятся: утром, во время работы и еще по вечерам. Время от времени молитвы надо менять. Приедается молитва – и сила ее уходит. – Сетура оглядел нас и разлил водку. – Выпьем за третье Евангелие, от Луки. И я скажу вам самое главное. Почему не берете маслин? Не любите? А зря. Приятнейшее ощущение от них во рту.

Сетура был в ударе. И если уж спрашивать, зачем он имя свое сменил, то сейчас.

– А знаешь, что означает Абель? – спросил хозяин. – Абель по-гречески… ну-ка дай мне вон ту книгу… так… вот… ага… Много хлопочущего, измученного хлопотами человека означает Абель. Стало быть, тщету, суету, призрак. Родители мои темные люди были. Не знали об этом. Теперь поглядим «Архип». Архип… Конюший, вожак табуна. Вот что такое Архип.

А твои люди знают, что ты себя называешь вожаком табуна?

– А ты как думал? Скажи им, что они не лошади, а люди, знаешь что ответят? – Сетура выдержал паузу и изрек: – Человеку нельзя говорить, что он человек, иначе он тебе скажет: «Раз я такой же, как ты, слезай со своего места». А слезешь – так в пропасть его толкнешь. Человеку надо внушать, что он лошадь, осел, ишак. Он этому легко верит, потому что сам

знает, это правда. Верит и счастлив. Живет честно. Вот так-то. Правда, говорить ему это прямо нельзя. Надо найти слова собые. – Архип замолчал и уставился на дверь. – Будь ты неладна, Асинета, дрянь подворотная, присосалась к двери как пиявка. А ну-ка войди!

Вошла Асинета и отдала Сетуре честь.

– Ну, что? Ни одного слова не пропустила? Ступай-ка на гауптвахту. Да не вздумай топить печку, а то тремя сутками не отделаешься. Добавлю.

– Пойти-то пойду, но слушала я не тебя, кормилец. Вот за этими дружками следила.

– А я что, слеп и глух, сам не вижу, не слышу?

– Так-то оно так, отец и благодетель. Да два уха хорошо, а четыре лучше.

Сетура потер подбородок.

– Ладно. На гауптвахту не ходи. Прощаю. А зайди-ка ты к Кокинашвили и так ненароком – болтать с Пелагеей будешь – скажи, что нынешним утром Спиридона Суланджиа наказали за то, что он про Архипа неладно говорил и Колпинов донес на него Табагари. Повтори!

Упала старуха на колени, и нельзя сказать, что пропела, – язык у этой ведьмы в глотку проваливался, – но четкой скороговоркой отрапортовала молитву, сочиненную Какошкой-псаломщиком. Встала, повторила задание своего благодетеля – и прочь, но не дошла двух шагов до дверей, как ее остановил Сетура.

– Если Кокинашвилевой Пелагеи не будет дома, зайди к Колпиновым и Терезии тоже так, между прочим, шепни, что на Спиридона Суланджиа Кокинашвили стукнул. Что так, что эдак – все едино. Ступай!

– Пока человек один и никому не доверяет, – Сетура дождался, когда в коридоре стихло шарканье Асинеты, – он может принести пользу и себе, и другим, а как пошел откровенничать – путного от него не жди. В любое дрянное дело может ввязаться. Беду на себя накличет. Со стороны посмотреть, нехорошо заставлять людей наговаривать друг на дружку – так ведь? А на деле я им хорошую службу служу. Не станут они доверять друг другу, будут жить каждый сам по себе, минуют их и злые умыслы, и дурные поступки. Господи, и за что мне такое наказание – изворачиваюсь, хитрю, мучаюсь. Но добро без страданий не добудешь. Начнешь себя жалеть – и, считай, все пропало… Ну, за третье Евангелие…

– Было уже! – напомнил я. – Пили.

– Нет, за третье не пили! А почему не едите? Или мой хлеб-соль вам не по вкусу?

Спорить было ни к чему. Мы и по пятой выпили за Евангелие от Луки. Другого тоста, подлец, признавать не желал. Обижался, когда отказывались, стыдил, – пропади он пропадом.

Не помню, сколько мы выпили, когда Сетура поднялся и сказал:

– Если гости желают, покажу вам мое дело и как люди мои добывают хлеб насущный.

Дата кивнул, да и мне после всех разговоров хотелось взглянуть на его хозяйство.

Шли недолго. Остановились на краю глубокого оврага. Сетура ткнул пальцем в провал, черневший на каменистом склоне оврага по ту его сторону. Это был рудник, где работали люди Сетуры.

– Тоннель прорыли уже саженей на двести, – пояснил Сетура, – долбят снизу вверх, землю выносят на спине. Здесь кругом такая земля. Работать, конечно, тяжело, но если человек добывает себе на пропитание без особого труда, он портится. Когда таскать приходится с этакой глубины, такую работу полюбишь. Что есть любовь? Во что труд и заботу вложишь, к тому у тебя и любовь. Хилое и немощное дитя мать любит больше, потому что больше труда на него положила. Но одной любовью здесь не обойдешься. Чтобы человек был счастлив, еще нужен голод. Не морить, конечно, голодом, но и чрезмерной сытости не допускать. Дальше – страх. Страх рождает любовь. Фимиам и молитвы тоже нужны для любви. Боготворит – значит, боится. Что еще необходимо для счастья народа? Здоровье. А здоровыми люди будут, если не дать им расслабиться и пасть духом. И еще одно: человеку надо надеяться. Надежду следует выдумать. Когда у народа есть надежда, он ничего лишнего себе не позволит. Для своих людей надежду я выдумал сам. Пойдемте, покажу…

Сетура свернул с дороги, и мы подошли к колодцу. Возле колодца стоял столб с колоколом. К языку колокола была привязана веревка, другой конец которой был опущен в колодец. В колодце сидел карлик и держал этот конец. Воды в колодце не было.

– Я ему плачу двадцать копеек в день, – сказал Сетура. – Он глухонемой.

– И что, так и сидит с утра до вечера? – спросил Дата.

– Так и сидит.

– А что он здесь делает, эта убожинка? – спросил я.

– Надежду, Мосе-дружище, надежду вон для тех людей! – Сетура кивнул на рудник по ту сторону оврага.

– На бога в небесах уже никто не надеется, а кому придет в голову надеяться на этого урода в колодце?

– Дело у меня тут поставлено надежно. Сейчас поймете. Те, что копают в пещере, надеются, что тоннель приведет их сюда, в этот колодец…

– Погоди, Архип, – не утерпел я, – ты же говорил, что долбят гору снизу вверх и уходят отсюда все дальше?!

– Говорил, ну и что?

– А то, что если эта твоя дыра все дальше уходит от колодца и все в гору, то как же выйти ей сюда?

– Никуда она не выйдет, ни вверх, ни в колодец. Стоит гора, как стояла, и они будут в ней кружить.

– А люди об этом знают?

– Додуматься до этого нетрудно. Вот они и соображают: раз до этого так легко своим умом дойти, значит, на самом деле все не так, как им кажется. Не стал бы Сетура, думают они, на такой простенький обман идти. Выйдет тоннель в колодец. Непременно.

– А колокол и карлик для чего? – спросил Туташхиа.

– Карлика зовут Зебо. Он – юродивый и слывет прорицателем. Говорят, как только тоннель подойдет к колодцу на сто саженей, Зебо услышит и тут же ударит в колокол. Знали бы вы, как они этого звона ждут! Все время начеку. Собираюсь прибавить им самую малость, да надо поглядеть, как дело пойдет. Лучше новую надежду придумать, чем заработок увеличить. Это будет ненадежней, но вот выдумать не так-то просто.

Я заглянул в колодец. Зебо то и дело прикладывал ухо к скале и что-то бормотал.

– Ты говорил, он глухой?

– Глухой.

– Ну, а если глухой, как он может услышать?

– Мосе-дружище, ну и бестолков ты, ничего не понял, а объяснять все сначала мне лень! – Сетура разозлился. – Поживешь здесь зиму, приглядишься, сам увидишь, что к чему.

– Не стоит беспокоиться, Архипо-батоно! – заторопился я. – Мы и так тебе обязаны. Может быть, нам стоит отдохнуть, а уж после еще поговорим?

– Пожалуй, и правда, отдохните, а за ужином я вам кое-что еще расскажу, – пообещал Сетура.

Не знаю, как у Даты, но у меня в голове тысяча сверчков трещала, и каждый – на свой манер.

– Обед вам Асинета принесет, – крикнул нам вдогонку Сетура.

Мы возвращались молча. В горле пересохло – хорошо, попался на дороге родник.

– Что будем делать, Мосе, – спросил Дата, – останемся или подадимся куда-нибудь еще?

Для абрага лучшего места не найти. И чего уходить? Полиции в эти забытые богом края не добраться. Хозяин не обделяет нас ни хлебом, ни кровом, ни покоем. Что нам?

– Видеть не могу этого человека и его людей, – сказал Дата. – Я себя знаю. На себя беду наведу и другому зло принесу. Это уж жди. Не в первый раз. Прожил я не так уж много, но мир повидал, исходил, исколесил вдоль и поперек, а такого дракона не видел. Да что видеть! Слыхать не слыхал и читать не читал!

Я взялся спорить. Вреда нам от Архипа или… как там его… никакого, а если и будет, что нам стоит отправить его на тот свет?

– Какое нам дело, что там выделывает со своими людьми Сетура? – пытался я уговорить друга. – Конечно, зло творит, но раз все эти холуи гнев божий за милость принимают, разве Сетура виноват? Это отребье еще похуже чего достойно. Нравится им быть рабами – и все дела. Что, их держит здесь кто-нибудь? Давай так договоримся: только нас тронут, хоть бы кто, мы обоих этих проходимцев на веревочку через сучок, и ищи нас, свищи.

– Ладно. Будь по-твоему, – сказал Дата. – Посреди зимы менять место не особенно меня и тянет… Надо было раньше думать, но поди знай, что так обернется.

Идем дальше. Человеку в бегах ходить по дорогам и тропкам заказано. Забыть об этом надо. Человек в бегах должен ходить так, чтобы дорогу или тропинку сверху видеть. Понимаешь, о чем я говорю? Сверху! …Так и шли мы по лесу. Вдруг Дата остановился и стал вглядываться в глубину ущелья.

– Мосе-батоно, видишь, что вон там в кустах происходит?

Вгляделся и я. Вроде бы дети то ли в войну, то ли в казаков-разбойников играют. И много их. Дата даже удивился, откуда у этих несчастных такое потомство… От бога, отвечаю. Господь для голи детей не жалеет, сам знаешь. Ходить по мостам нам не положено. Давай, говорю, обогнем.

Обогнули мы мосток и пошли вверх. Подъем был довольно крутой. Мост остался от нас по правую руку, шагах этак в двухстах – трехстах. Мы одолели уже половину склона, вдруг слышим – поют. В той стороне, где мост.

– Да это же те, что там у мосточка, – сказал я.

– Ты о ребятишках? – Дата рассмеялся. – Лучше я помолчу. Может, мне все почудилось и я пальцем попал в небо? Одно скажу: дай нам бог добраться с миром до Асинеты. Не понимаешь? После поймешь.

– После так после. Только гложет меня какой-то червь и не дает покоя. Скажи, прошу, может, и я с тобой посмеюсь.

Дата видит, вроде бы я обиделся, и говорит:

– У моста сейчас всего несколько мальчишек. Они-то и поют, чтобы нас отвлечь. Остальные в засаде нас дожидаются. Вот-вот выскочат, жди.

Слова Даты еще как следует не дошли до меня, как у самого моего уха раздался дикий вопль, да какой – меня дрожь забила, и туча палок и стрел обрушилась на нас. Вопили кругом так, что разверзнись небеса – и то не заметил бы. Ошарашенный, я не мог двинуться с места, пока камень величиной с кулак не своротил мне скулу. Дата бросился бежать. Вот уж не думал, что приведется увидеть Дату Туташхиа таким перепуганным. Сбежал. Набросилась на меня вся эта прорва детишек, посыпались невесть откуда – ну, саранча…

«Беда, Мосе Замтарадзе, – сказал я себе. – Держись!!!» Выхватил револьвер из-за пазухи, выстрелил. Всего раз и выстрелил, а хватило на всех! Одни тут же отбежали. Другие, побросав камки, остановились как вкопанные, стоят разиня рот, как смерть бледные.

– Чтоб ни один ни с места! Не то всех перестреляю, по одному перебью, змееныши! – крикнул я на всякий случай.

– Мосе, возьми себя в руки и не бери на душу грех детоубийства! – донесся снизу голос Туташхиа.

– Чего им надо, пропади они пропадом?

В ответ я услышал громкий смех Туташхиа.

– Кто вы такие, бесенята, чего вам нужно?

Ни слова. Стоят нахохлившись, губенки сжаты.

Дата вылез из оврага и говорит:

– Они же дикари. Чужого человека не видели. Да не только человека, покажи им паровоз или карету – камнями забросают. Вот с такими детишками да еще с женщинами врагу не пожелаю столкнуться… Спрятал бы револьвер – стрелять не придется!

– Ты что, спятил, Дата-батоно? Эти щенки чуть не перегрызли нас. Да я их всех вмиг на тот свет отправлю, другим неповадно будет. Перестреляю всех. Чтобы на Мосе Замтарадзе руку поднять! Да такого храбреца еще на свет не появлялось!

Мать честная, на кого они были похожи! Оборванные, грязные, одни кости торчат. Видел я лисиц в клетке – такой же хищный и острый взгляд был и у этой ребятни.

– Не бойтесь, ребята! – услышал я девчоночий голос. Нечего сказать – девочка! У таких девочек в наших краях уже трое бегают и четвертого ждут. – Мы – дети. Они в нас стрелять не посмеют.

– Что делать будем? – спросил я Дату.

Он молчит.

– Кто вы такие и чего от нас хотите? – обратился я к оборванцам.

– Вы враги Архипа, – закричала в ответ та же девочка, и все снова схватились за камни и палки.

– Враги?.. Да мы гости его. Он нас, как родных братьев, любит. С чего это вы взяли?.. Большая девочка, а такое говорить не стыдно?

– Бабушка Асинета сказала. Она всегда правду говорит.

Вот, оказывается, откуда напасть…

– Ну, хватит, ребята, ступайте играть, – сказал Дата.

– Не пускайте их! – крикнул кто-то, и шагу мы не сделали, как они окружили нас со всех сторон.

– А ведь и правда кое-кто из них сейчас вознесется на небо, – сказал я.

– Брось, Мосе, – сказал Дата, – сам знаешь, на детей у тебя рука не поднимется.

Это была правда. Я сам это знал, но они лезли и лезли, и как отцепиться от них – хотел бы я знать.

На каторгах, да и на воле за долгую жизнь в абрагах сколько перепадало на мою долю… но с детьми судьба не сводила. Поглядел я в одну сторону, в другую. Заметил мальчишку, который целился в меня острой, как вертел, стрелой…

У всех в руках голыши, и за пазуху полным-полно камней набрали. А что у них в головах, что через минуту выкинут – поди пойми! Такую кровожадную толпу, может, кто и видел, не знаю, а мне не случалось! Поглядел я на Дату – лица на нем нет.

– Скажите, родненькие, что вы с нами делать думаете? – спросил я.

– Брось, Мосе-батоно, не до шуток, так мы ничего не добьемся. Что-то придумать надо. Палить по детворе я не буду – как хочешь, не могу этого греха на душу взять, а что они нас на шашлык пустят, это уж поверь мне.

Дата Туташхиа, посули ему царский трон, врать не стал бы. Да и я не великий был охотник до хитрости и вранья. Но нужда и кузнеца научит сапоги тачать. Что верно, то верно. Припрет нужда, мозги так завертятся – после сам не поверишь: неужели я придумал?!

– Вот вы говорите, мы враги Архипа, а мы только что стояли втроем у колодца: Архип, я и господин Пориа… – повел я, и, представьте, эти бесенята чуть-чуть убавили шаг.

Ладно, думаю, убавить убавили, но не остановились, надо чего-то еще подбросить… Чего бы… чего?… Ну, будь что будет.

– Хотите знать, что нам показали? Тоннель! Вот-вот в колодец выйдет. Если не сегодня, так уж завтра ждите…

Застыли все, с места не сдвинешь, уставились на меня будто весть о явлении Христа принес.

– Кто сказал? – спросила девочка.

– Зебо. И господин Пориа подтвердил, а знаете, кто он, господин Пориа? Господин Пориа – первый в мире мастер по тоннелям и прочей такой чертовщине. В Лихской горе тоннель знаете? Это господин Пориа прорубил. Сетура просил меня срочно привезти господина Пориа из Кутаиси, и дело близко к тому, что Зебо вот-вот ударит в колокол, и тогда…

…Завопили все разом. Земля дрогнула. Качнулись небеса. Хотите верьте, хотите нет, а с перепугу я чуть оземь не грохнулся. Думал, они снова на нас поперли, но нет, они на радостях орали. От сердца у меня отлегло.

– Погодите! Перестаньте орать! – взвизгнула девочка. – Всем замолчать!

Стихло.

– Если вы не враги Архипа, почему и вы не радуетесь?

– Мы не радуемся? Покажите такого, кто больше нас рад!

– Тогда почему не кричите со всеми вместе?

– Кричали. Как не кричать! – сказал я, но в это уже никто не верил.

– Ни с места! – приказала нам девочка.

…Уж слишком они были близко. В руках у одного был длинный отточенный кол. Держать кол, видно, было ему не по силам, и он пристроил острие кола мне на ремень.

Ну и остер был кол!

Девочка отвела в сторону трех взрослых парней. Они пошептались и вернулись обратно.

– Сейчас увидим, рады вы или нет! Давайте петь вместе с нами!

Один совсем сопливый мальчонка взмахнул рукой – тоже мне регент хора! – и они затянули… Это была та самая песня, которую по утрам Табагари заставлял петь родителей этих чертенят, где в конце каждой строфы обязательно был «Архип» и троекратный «полихронион».

Слов этой тарабарщины ни я, ни Дата не помнили, а они все пели, и я почувствовал, как постепенно они начинают злиться и вот-вот опять на нас кинутся. Я прикидывал и так, и этак, как быть, что делать, голова разламывалась, а острый кол, что покоился у меня на ремне, потихоньку стал входить мне под ребро. Не переставая петь, без лишних слов они отправляли нас в лучший мир.

– Не знаем мы этой песни, – заорал я, – научите сперва, и будем петь вместе.

Заткнулись. Сели мы в кружок, как добрые друзья, и стали разучивать псалом. Ничего трудного в нем не было. Хромой Табагари сочинял псалмы по уму своей паствы. Мы быстро выучили его. Ребятишки стали в строй, нас поставили в голове. Выбежал бесенок, похожий на шмеля, зажужжал, как Табагари, и мы двинулись. До усадьбы шли с песней и выкрикивали имя Архипа. У ворот нас заставили трижды выпалить «полихронион» и, представьте, отпустили. Мы вошли к себе в комнату и упали на кровать. Пока нам было туго, Дата хоть и был начеку, но смех то и дело разбирал его, а как остались мы одни, он помрачнел и замолк.

– До чего докатиться, – сказал я, – ушел в абраги, чтобы от солдатчины отвертеться, и нá тебе, заставили маршировать и петь.

– Уйдем отсюда, Мосе-батоно, а то они и землю заставят нас копать. – Дата явно не шутил.

Мы долго не могли прийти в себя. Из чахлых домишек доносились песни, треньканье пандури и дробь доли. Это тянулось до самой ночи.

– Сегодня – что? У кого-нибудь день ангела или святой какой? Чего это все развеселились? – спросил Дата Асинету.

– Какие там ангелы и святые?

– А что с ними?

– Ничего! Оттого и поют.

Мы проглотили по куску хлеба, заснули и спали, пока ведьма Асинета не позвала нас к хозяину.

Дата поднялся неохотно, да и я тоже, но отказываться было нельзя.

Сетура возлежал на тахте в своих пестрых подушках и мутаках. Возле него на скамеечке примостился Табагари с книгой коленях. Это была та самая книга, из которой Сетура вычитывал утром толкования имен Абеля и Архипа. Табагари переворачивал страницы и что-то зудел своему повелителю. Сетура знаком пригласил нас сесть и обождать. Табагари то ли ушел с ушами в свой талмуд, то ли за людей нас не считал, но даже головы не поднял, когда мы вошли, а все шуршал страницами и талдычил себе под нос. Никто не предложил нам ни поесть, ни выпить. Оставалось только слушать Табагари.

– Ефимий значит добрый, – читал Табагари. – Это годится. Мелентий по-гречески будет заботливый, вот оно что. Вукол? Волопас. Это нам не надо. Ты и так табунщик, пастырь волов. Полиевкт… Хорошо… означает желаннейший… И Доментий годится – миротворец… Авессалом – еврейское имя – отец мира… Тихон – воистину хорошо! Очень, очень хорошо. Означает приносящий счастье. И вот еще одно… Каленик – блистательно победивший. Всего, значит, семь получается. Больше и не надо: Ефимий, Мелентий, Полиевкт, Доментий, Авессалом, Тихон и Каленик. Оставим их?

– Оставим.

– Сперва пусть запомнят имена, а после открою значение. Разом все равно не осилят. Пусть пока что зубрят.

Сетура поднял руку, благословил. Когда Табагари ушел, Сетура сказал:

– Человек, взявший на себя заботу о народе, не должен знать ни сна, ни отдыха. Я приметил, некоторые моим попечительством стали злоупотреблять. Это так оставлять нельзя. Других за собой потянут, и все попадут в беду. Что в таком случае делать? Надо их прижать – вот что. Всех разом. У Какошки Табагари они живо выучат все имена, а после он их смыслу обучит. Надо самому придумать, чем занять ум своих людей, а то они без тебя найдут и

неизвестно, какие еще накличут на себя несчастья.

Меня от его разглагольствований уже мутило, и, чтобы что-нибудь сказать, я выдавил из себя:

– А не спросят ли твои люди у Табагари, зачем им эти имена учить?

– А зачем им спрашивать? Он им наперед объяснит. Все эти имена – мои. Мало меня называть Архипом. Только зайдет речь обо мне – изволь все восемь имен назвать. Вот оно как.

– Я должен принести свои извинения, – поднялся Дата, – дурное самочувствие заставляет меня пойти отдохнуть.

Уйти вместе с Датой я не рискнул – боялся, Сетура разозлится. Просидел я у него довольно долго и ушел за полночь Когда я обогнул дом и подошел к нашему балкону, то увидел Дату, который в накинутой на плечи бурке сидел, прислонясь к перилам, на ступеньках и смотрел в небо.

Я заснул сразу и не знаю, когда лег Дата. Чуть свет нас подняли удары колокола и суета во всем доме. Мы не стали дожидаться прихода Асинеты, оделись и вышли во двор, который быстро заполнялся народом, тут же выстраивавшимся в шеренги. Явился Како Табагари, поднялся на свой пень и, отбарабанив положенные молитвы, возвестил о семи именах, которыми отныне будет именоваться «отец и кормилец». «Кто их не выучит, будет иметь дело с самим кормильцем», – пригрозил он. Во дворе долго молчали.

– Помоги выучить, а то пропадем! – прорезался у когото голос.

– «…который есть Архип», – как это скажете, так стойте, дальше слушать меня!

– Даритель же хлеба нашего насущного, отец наш святой и благороднейший, который есть Архип… – прогудела толпа и смолкла.

– А дальше будет так: Ефимий, Мелентий, Полиевкт, Доментий, Авессалом, Тихон, Каленик и, как прежде, «да здравствует во веки веков».

Ничего не получалось. Не запоминали. И третий раз, и четвертый перечислял Табагари – все понапрасну, повторить не могли. Табагари рассвирепел.

– Как же так сразу, Како-батоно?!

– Разговорчики!

Опять затихли.

– Что эти имена означают, хоть это знаете?

– Знать не знаем!

– Откуда нам знать!

– С Архипом будет восемь, правильно? – спросил Табагари.

– Восемь разве?

– Восемь, восемь!

– Сейчас я вам сообщу, что означает каждое имя, и чтобы к вечеру знали наизусть – все, как один! Слушайте: Архип – начальник конюшни – это все знают.

– Знаем.

– А теперь слушать особо внимательно. Имена, которые я перечислил, означают: добрый, заботливый, желаннейший, миротворец, отец мира, приносящий счастье и блистательно победивший. Поняли?

– Так и выучим, Како-батоно! По-нашему, по-грузински, оно доходчивей.

– Молчать! Учите, как я сказал. Знать ничего не хочу.

– Поучи нас еще! Не обидь.

– Дай нам срок, Како-батоно! Такая премудрость, да в один раз!

– Да! Да! Срок нам надобен…

– Разговорчики! Никаких вам сроков. Я напишу на бумаге. Серапион умеет разбирать буквы, он вам и поможет.

Табагари отправился за бумагой.

– Пропали мы. Заставит таскать свою землю! Носить нам Серапионову долю! Никуда не денешься!

– Не имеет права! Раз буквы знает, пусть помогает! Не обязаны мы за него работать!

– Вот те на! Я сапожничать умею. Так что же, должен я бесплатно обувь твою тачать?

Шум поднялся такой, можно было подумать, Како Табагари собрался перевешать их всех.

– Погодите! – закричал Дата Туташхиа, и народ притих. – Что с вами? На кого вы похожи! Поглядите только на себя. Горе вам, несчастные вы люди – похожи ли вы на людей? Во что превратили они вас, эта сволочь Сетура и сукин сын Табагари?

– Что он говорит, этот человек?

– Он говорит, что Сетура… что Табагари…

– Слыхано ли так говорить!

– Он беду на нас накличет…

Вдруг замолчали, сразу – все.

– Бей их! – завопил кто-то. И они набросились на нас, как свора взбесившихся псов. Дату огрели колом по спине, сбили с ног и кинулись на меня.

– Оружие у них!

У нас вырвали револьверы и били, пока сами не выбились из сил. Из конюшни вывели наших лошадей, нас привязали к ним и хлестнули по крупу что есть силы. Лошади проволокли нас по снегу шагов триста и стали. Мы долго не могли подняться. Наконец пришли в себя, кое-как распутали узлы, которыми были стянуты. Ни я, ни Дата не могли шевельнуть ни рукой, ни ногой. Не помню, как вскарабкались на лошадей. Еле доволоклись до места, где спрятали оружие. Один бог знает, чего нам стоило вытащить его из тайника. В горах много выше этих мест, я знал, были землянки гуртовщиков. Туда мы и поднялись.

Была середина зимы. Гуртовщики в эту пору спускаются в долины, на зимние пастбища. Живой души здесь не найдешь. Воды подать некому. О еде и не мечтай. Я уже говорил тебе, что дней десять мы даже в седлах сидеть не могли, а вид у нас был – лучше не вспоминать.

Что избили нас до полусмерти – это еще ладно. Главное, злость меня просто поедом ела. Поднимусь же я, в конце концов. Залечь бы тогда в Саирме, поближе к Сетуровой усадьбе, выследить и перебить их всех – от Сетуры и Табагари до карлика-пророка. Дата не дал.

– Мосе-батоно, человек живет и ведет себя, – сказал он, – как ему нравится, и в его дела вмешиваться не надо. Тебе кажется, он унижен, раздавлен, а он живет себе, радуется и судьбой своей вполне доволен. Помнишь, ты мне сказал о людях «Этому народу нравится быть рабом», Не согласился я с тобой – моя вина, а оно так и есть. Вот ты стоишь, вот – я, и вон бог на небесах: клянусь впредь ни в чьи дела не вмешиваться, пока не пойму, что лучше – вмешаться или уйти. Нет на свете человека, достойного участия и помощи. Так я теперь думаю.

Есть возле Поти местечко, не помню уж, как называется. Жил там один фельдшер, надежный был человек. Держал маленький лазарет. Другого выхода не оставалось – мне надо было лечить ребро, Дату мучила воспалившаяся рана. С трудом взобрались мы на лошадей и тронулись в путь.

Граф Сегеди

…То обстоятельство, что они выросли в одной семье, было для меня истинной находкой, открытием необычайно важным. Специфика сыскной и следственной практики состоит в том, что, с одной стороны, необходимо до тонкостей изучить психику преследуемого преступника и, следовательно, отчетливо представлять возможные его поступки, а с другой – составить исчерпывающее представление о том чиновнике или группе чиновников, которым поручено обнаружить его и взять. Здесь подразумевается комплекс профессиональных и природных данных. Случается нередко, что выслеживающий не справляется с задачей, и лишь потому, что его натура и натура преступника состоят в противоречии. К примеру, по природе своей излишне подозрительный детектив может оказаться беспомощным перед наивным, бесхитростным преступником, поскольку не может представить себе, что преследуемый способен использовать столь примитивные приемы. Тогда-то появляется надобность привести качества того и другого в соответствие, ибо нарушено равновесие психологических данных преследуемого и преследователя.

Когда сыскное учреждение имеет дело с тривиальным преступлением (в подобных случаях и сам преступник личность более или менее ординарная), главное орудие его розыска и ареста – установление почерка преступления. Это дает возможность отнести преступника к определенной группе преступников и продолжить его поиски уже в пределах установленной

группы. Метод исключения в конце концов и приведет к разыскиваемому лицу, причем, насколько явствует из практики, в девяноста случаях из ста – безошибочно.

Гораздо сложнее, когда криминальный багаж преступника содержит полную октаву методов преступления, а возможно даже – несколько октав. В этом случае не остается другого выхода, как счесть почерком преступника именно этот обширный диапазон, и тогда лишь аналогия способна приоткрыть тайну его психики. Аналогии же этого типа, к сожалению, малочисленны. Таким образом, психико-криминальный тип подобного преступника является феноменом, а на пути его обнаружения и ареста поднимаются такие же препятствия, какие встают перед бактериологом на пути открытия неизвестного микроба. Для преодоления этих препятствий криминалисты используют разнообразные методы. Сам я часто прибегал к методу двойника, то есть изучал людей, которые – по собранным сведениям – схожи с разыскиваемым лицом (но не с его преступлением) особенностями своего характера. Наблюдать за ними, изучать их было довольно легко, так как здесь возможны личные связи. Таким путем я не однажды получал ответы на вопросы первейшей важности – кто таков и что представляет из себя преступник? Когда этот ответ найден, можно считать, что личность разыскиваемого установлена.

Мне приходится повторить кое-что из уже сказанного. Досье Даты Туташхиа, на протяжении многих лет пребывания его в абрагах, содержало целую клавиатуру преступлений и приемов их совершения. Здесь и речи не могло идти о том, чтобы извлечь одно характерное качество, каким отмечены все его преступления. И еще труднее было установить, какое из преступлений совершил Туташхиа, а какое – другие. Следовательно, психические особенности Даты Туташхиа оставались непостижимы, а без этого попасть в наши руки абраг мог лишь благодаря слепому случаю.

Человек, лишенный возможности воспользоваться каким-нибудь средством для осуществления своих целей, похож на калеку, который, скажем, однорук и все свои неудачи объясняет именно этим: не будь я однорук, я бы мог догнать зайца. В таком именно положении пребывал я в течение нескольких лет, пока совершенно неожиданно не выяснилось, что мой подчиненный Мушни Зарандиа воспитывался вместе с Датой Туташхиа в одной и той же семье, в одних условиях, они жили вместе много лет и, стало быть, имели между собой много общего.

Как ни противоречит это профессии жандарма, но, приступая к изучению интересующего нас лица, я исходил раньше всего из своего первого впечатления от него, а не из выводов, полученных путем анализа фактов. Я всегда придавал первейшее значение личным достоинствам человека во всех областях деятельности. Не делал я исключения и для себя, всегда принимая в расчет особенности собственной личности. Что впечатление, полученное от первой встречи с человеком, – утверждаю смело – никогда меня не подводило и что способность эта никогда мне не изменяла, я считаю огромнейшим своим преимуществом. Это преимущество я использовал и сейчас, опустив анализ фактов, собранных другими, что диктовалось нашей обычной практикой, и дав волю собственной интуиции. Я составил полный список преступлений, приписываемых Дате Туташхиа, обратился к тому образу положительной личности Мушни Зарандиа, который сложился в моем воображении при первой встрече с ним, и, подчиняясь лишь собственной интуиции, вычеркнул те из внесенных в список преступлений, совершение которых мое чутье не могло связать с Мушни Зарандиа, заменявшим мне Дату Туташхиа. Перечтя после этого свой список, я был потрясен, ибо обнаружил, что питаю симпатию к Дате Туташхиа, то есть сочувствую уголовному преступнику, который много лет причинял столько неприятностей нашему ведомству, а следовательно, и мне самому. Метод методом, но передо мной лежал список преступлений абрага Туташхиа, которые в этом опыте я должен был принять как основание для последующего исследования. Я говорю «в этом опыте», так как тот же метод включает в себя и другой опыт, который нельзя забывать: мне предстояло считаться и с отрицательными сторонами личности Мушни Зарандиа, и действовать сообразно им. Однако пока мы займемся содержанием первого опыта.

Напомню: своеобразие метода заключается в том, что свойства знакомого мы предполагаем в незнакомом. Ведь условный список преступлений Туташхиа тоже был получен этим путем. Затем должно было найти ответ на вопрос о качестве действия. Скажу в пояснение: в парижский период моей молодости я был дружен с одним восточным аристократом. Он был

рожден в морганатическом браке: его мать танцевала и пела в ночных кабаре Парижа, отец был наследником престола. Принц любил искусство и весьма своеобразно судил о нем, строго и страстно отличая артистизм от заурядности. Если речь заходила о рассказе или романе, он называл его либо писаниной, либо произведением. Если он останавливался перед полотном или изваянием, то оно было для него или поделкой, или творением. Когда видел танцовщицу, то говорил – «эта пляшет». Или – «она парит». Первое он считал следствием выучки, навыка, профессиональной зубрежки. Второе – плодом катарсиса. Соответственно литераторов, артистов, художников он разделял на две группы: плебеев и аристократов. Но и всех других людей он воспринимал точно так же. Он не придавал никакого значения происхождению и генеалогии и приписывал каждого к той или иной группе в зависимости от его отношения к своему делу, ремеслу, занятию. Для него аристократом был лишь тот, кто своим ежедневным делом занимался деятельно и вдохновенно, как творец.

Конечно, точка зрения моего принца была слишком радикальна, но я находил в ней немало от истины. У меня были сотни подчиненных, но самым пунктуальным, усердным, исполнительным я предпочитал обладающих воображением, фантазией, пылко увлеченных своей должностью и, возможно, даже своевольных. От таких можно ожидать и провала дела, но сами действия их всегда прекрасны и сулят в будущем успех. Да, да будущее за ними, так как эти люди обогащают человеческий опыт, утверждают профессионализм, превращают свою службу в служение, отмеченное свободным творчеством.

Используя классификацию восточного принца, скажу, что до получения задания Мушни Зарандиа бывал чиновником, но с той минуты, как в его руки попадало новое дело, он превращался в артиста, которому доступно вдохновение. У него была тонкая интуиция, и в расследованном им деле не оставалось «хвостов» или неизученных, не освещенных вполне закоулков. Семь афинских мудрецов не могли бы ничего добавить к тому делу, которым занимался Зарандиа. Если же в ходе следствия намечал в своем подследственном хотя бы одну положительную черту, то впадал в жестокое противоречие с самим собой. Он начинал объяснять судье, присяжным, прокурору, адвокату, каким путем возможно вынести минимальный приговор, и ревностно защищал соображения, противоположные собственным заключениям. Ему свойственна была еще одна особенность, и ее я тоже считаю признаком артистизма: он ненавидел работу одного и того же рода и, если все же бывал вынужден браться за нее, терпеть не мог использовать известные уже методы пути. Таково было качество действий Мушни Зарандиа, и в полном соответствии с этим оказалось качество действий, присущее преступлениям Даты Туташхиа.

Итак, я получил ответ на вопрос – «как действует» Дата Туташхиа, и оставалось найти причину действий или ответ на вопрос «что им движет?». Приведу аналогию. Все добывают деньги, но для чего? Одними движет необходимость найти средства к существованию. Другими – страсть к накоплению. Третьи увлечены добыванием денег с помощью денег же, то есть увеличением капитала. Так и служба. Служат, потому что не обладают другим источником существования. До революции встречались люди достаточно богатые, но тем не менее служившие, потому что в службе они видели возможность сближения людьми; нередко в таких случаях служба оказывалась ареной филантропической деятельности, и потому они служили. Были такие, которые служили из чувства преданности престолу и отечеству и не гнались за жалованьем. Но для большинства людей служба все же была средством для возвышения из числа себе подобных, ареной карьеристских устремлений. Подобная цель часто порождается тщеславием, жаждой власти, большего обогащения и другими низменными человеческими свойствами. Замечу, однако, что служба для карьеры, для продвижения вверх кажется мне положительным признаком характера, если все это не осуществляется запрещенными приемами и нечистыми путями.

Выяснением причин действий Мушни Зарандиа в первые же месяцы его службы занялись соответствующие члены кавказской жандармерии. Прошло несколько лет, но определенного мнения так и не было найдено – личность Зарандиа никак не укладывалась в известные рамки. Все в этом человеке было непонятно. Так, он совершенно своеобразно относился к вознаграждению за свой труд и продвижению по службе. Был случаи, когда мы перевели его с одной должности на другую, более низкую, потому что Зарандиа был нужен именно на том

месте. Жалованье уменьшилось, но от него и слова не услышали ни о понижении, ни об уменьшении жалованья. В другом случае друзья Зарандиа вознамерились перевести его на должность заместителя управляющего каким-то налоговым ведомством. Он не обнаружил ни малейшего чувства признательности или радости, несмотря на то что и должность была высокая, и жалованье втрое больше, не говоря уже о других доходах, возможных на подобном месте. С течением времени я убедился в том, что причиной действий Зарандиа не были ни жажда продвижения по службе, ни желание увеличить свой достаток. Было бы также ошибкой приписывать верноподданническим чувствам и великодержавным убеждениям то усердие, добросовестность и честность, какие Зарандиа – по национальности грузин, по происхождению крестьянин – проявлял в своей деятельности. Он был далек от подобных чувств и убеждений. К тому же этот человек не оставлял впечатления идеалиста, но и не принадлежал к числу тех недалеких субъектов, коим с детства внушают покорность, послушание и слепое, неосмысленное чувство долга. Словом, Зарандиа был лабиринтом, выход из которого мог отыскать либо случай, либо время.

Настал день, когда случай подтвердил мои предположения, гипотезу превратил в факт, и это было следствием одной сыскной операции, которая была задумана настолько удачно, что ее можно считать созданием Зарандиа, но и проиграна она была, на мой взгляд, удачно.

В своих записях я не стремлюсь излагать отдельные случаи, какими бы занимательными они ни были, но именно в определенных ситуациях люди откровенно проявляют себя, и это дает возможность делать обобщения и выводы. В настоящем случае рассказ необходим для того, чтобы установить причину действий Зарандиа и дать ответ на вопрос, что двигало этим человеком.

В начале девятисотых годов мы получили зашифрованную телеграмму нашего резидента в Германии. В телеграмме было указано, что один известный доцент Московского университета, по происхождению грузин, на пароходе «Аделаида» приблизительно через месяц отправится в Батум. Доцент должен был везти нелегальную литературу.

Не раздумывая долго, я это дело и все связи с резидентом передал Зарандиа. Программа-максимум, говоря нынешним языком, предусматривала изъятие литературы, арест доставившего ее лица и обезврежение группы, которой предназначалась литература. Программой-минимум было – ни в коем случае не допустить распространения литературы. Через несколько дней Зарандиа представил план операции. Он показался нам несколько громоздким, но создатель плана настойчиво просил согласиться с ним, ничего не меняя. В конце концов он склонил нас к согласию и приступил к делу.

Он начал с того, что послал в Германию агента, которому резидент «сдал» доцента. Затем агент приобрел такой же комплект чемоданов, какой был у доцента. Когда доценту принесли в гостиницу нелегальную литературу, агент и резидент проверили, в каком именно чемодане находился интересующий нас груз и сколько он весил.

Настал день, когда на вышедшей в море «Аделаиде» находились доцент, наш агент и два совершенно одинаковых чемодана, принадлежавших двум этим лицам.

Пароход должен был прийти в Батум в полдень. В ночь накануне прибытия агент подменил чемодан доцента, в котором шла литература, своим чемоданом. Это было предусмотрено планом Зарандиа, поскольку к тому времени при переправке нелегальной литературы подпольщики стали прибегать к такому маневру: в четырех-пяти часах хода до порта, вблизи судна, которым везли литературу, обычно в сумерки, появлялась парусная рыбачья лодка или какое-нибудь мелкое суденышко. Если на лодке был условный знак и она шла к месту назначения курсом парохода, чемодан привязывали к спасательному кругу и выбрасывали его в море. Рыбак подбирал спасательный круг, и обнаружить литературу мы уже не могли. Нас уже несколько раз проводили таким способом, и теперь, даже выброси доцент свой чемодан, в руки подпольщиков попал бы этот пустой чемодан агента, а не литература. Хочу сразу оговорить, что доцент этим маневром не воспользовался и что обмен чемоданов нашим агентом имел иное назначение. Позже с вы в этом убедитесь.

«Аделаида» подошла к пристани, доцент сошел на берег, Сошел и агент. Нескольких пассажиров с их ручным багажом, в том числе и доцента, таможенные чиновники пригласили в таможню. Разумеется, с той минуты, как доцент сошел на берег за ним неотступно следили –

вознамерится ли кто-либо взять его черный чемодан, а если вознамерится, то кто именно, и если унесет – куда его доставит. Адресаты, коим предназначалась литература, были осторожны, к доценту никто не подошел. Наш агент, в руках которого уже был чемодан с литературой, смененный на чемодан с ложным грузом, вошел в таможню через заднюю дверь. Сначала таможенники осмотрели багаж других путешественников, а затем спросили доцента, что в его багаже подлежит обложению пошлиной. На протяжении всего этого времени Зарандиа внимательно следил за своей жертвой. Доцент волновался и на вопрос ответил, что в его собственном багаже нет ничего, подлежащего пошлине, а вот в этом черном чемодане он и сам не знает, что находится, – незнакомый человек в Одессе просил передать чемодан тому, кто придет за ним здесь, в Батуме, или Тифлисе. Пока шел осмотр других чемоданов, доцент держался более или менее молодцом, но когда стали открывать черный чемодан, он, заметно побледнев, опустился на стул.

– Вы нездоровы, сударь? – спросил Зарандиа и тут же принес ему воды.

Доцент пригубил стакан и стал ждать роковой минуты, когда из чемодана вынут литературу. Литературы в чемодане, конечно, не оказалось. О чувствах доцента говорить не приходится. В чемодане лежали напильники немецкого изготовления, равные по весу литературе. Этот товар подлежал пошлине, и, пока доцент в другой комнате выполнял необходимые формальности, чемодан вновь обменяли.

Через полчаса доцент вносил в номер гостиницы чемодан с литературой, вполне уверенный, что внес напильники. Все шло по плану Зарандиа. В этом не было ни цинизма, ни тем паче садизма, с каким кот играет с пойманной мышью: поймал – отпустил – снова поймал. Зарандиа было необходимо, чтобы доцент был твердо уверен в том, что теперь он чист перед законом и для закона недосягаем, что слежка и обыск позади, а вещественное доказательство, освобождающее его от ответственности, – при нем. Цель первого обмена чемоданов была в том, чтобы обменять их вторично, но чтобы доцент не знал об этом обмене и таким путем его психика была бы приведена в то именно состояние, какое и овладело им при выходе из таможни, – это состояние растерянности, недоумения, но одновременно и ощущение недосягаемости, которое должно было привести его к ослаблению осторожности. Не буду занимать внимание своего будущего читателя всеми вариантами дальнейшего развития событий, которые были намечены и предусмотрены Зарандиа, но прежде, чем рассказать о финале операции, замечу, что теоретически не было ни малейшего шанса на то, что и перевозимая литература, и люди, доставившие и принявшие ее, будут спасены, разве что произошел бы потоп или еще какой-нибудь катаклизм, когда погибает все и вся. Проанализируйте тщательно всю ситуацию – и вы убедитесь в этом. А теперь финал, который оказался не столь уж банальным.

Доцент устроился в номере и пошел в город, заперев дверь на ключ. Он нанес визит крупному батумскому миллионеру-грузину, известному нам своим фрондерством и крупными пожертвованиями в пользу преследуемых революционеров. У миллионера было шесть красавиц дочерей. Доцент провел в их обществе час-полтора, столько же времени потратил на прогулку по городу и вернулся в гостиницу. Вскоре к нему пришли двое. Хозяин впустил гостей и запер дверь, но через пять минут вынужден был отпереть ее – к нему явился Зарандиа. С ним было двое его подчиненных.

– Нас интересует цель вашей встречи, – сказал Зарандиа после того, как представился сам и представил документы, подтверждавшие его полномочия.

– Вам уже известно, что я прибыл сегодня из Германии на пароходе «Аделаида» и привез посылку для этих людей, – сказал доцент, подумав. – Они пришли за ней. Вот и все.

– Вы подтверждаете это? – обратился Зарандиа к гостям.

– Да, – не раздумывая ответил один из них.

Другой кивнул, но как-то неохотно.

Зарандиа внес в протокол вопрос и ответ.

– Прошу скрепить подписью верность ваших ответов.

Доцент прочел протокол и тут же подписал. Гости медлили и явно колебались. Наконец один из них сказал, что посылка предназначается ему, он и подпишет. Зарандиа не стал настаивать на подписи второго.

– В каком чемодане посылка? – спросил Зарандиа.

– Вон в том, черном, – ответил доцент, видимо уже начиная что-то подозревать.

– Мы должны присутствовать при передаче посылки.

Наступило молчание.

– Прекрасно, – сказал доцент. – Здесь комплект напильников. Вы убедились в этом еще в таможне.

Он поставил чемодан на стол и открыл его.

Излишне, наверное, говорить, что для ареста и привлечения к ответственности этих трех человек вполне достаточная и обоснованная документация была готова уже в Батуми, и успеху у нашего дела ничто не угрожало. Следственный материал был исчерпывающим. Выяснилось, а точнее сказать – было еще раз подтверждено местонахождение иностранного источника запрещенной литературы, имена эмигрантов, занимавшихся ее переправкой в Россию, связи лиц, получавших и распространявших ее, адреса явок, места встреч – словом, все, что в подобных случаях интересует сыскные учреждения. Мы повезли виновных в Тифлис, поместили в Метехскую тюрьму, как прошедших следствие и подлежащих осуждению преступников.

Доцент принадлежал к состоятельному аристократическому роду. Его родня пользовалась большим влиянием по всему Кавказу. К ней принадлежали и мои близкие друзья, и обычные знакомые, видные военные, высокопоставленные должностные лица и просто честные интеллигенты. Они много раз просили меня помочь их родственнику. Более того, заинтересовали судьбой доцента самого наместника. Но и помимо этого, по долгу службы мне предстояло самому ознакомиться с делом и обвиняемыми, и я приказал Зарандиа провести один допрос в моем присутствии. Кто я, обвиняемые не знали.

В начале допроса обвиняемые (и доцент также) полностью и без изменений подтвердили прежние показания. Стало ясно что облегчить их участь я не могу, а закрыть дело тем более. Я вернулся к себе с тяжелым сердцем и в том отвратительном самочувствии, какое бывает всегда, когда приходится отказывать в просьбе о помощи. Это мое состояние было усугублено тем, что Зарандиа вел допрос так, чтобы выяснить мое отношение к судьбе доцента. Он стремился узнать, чего хочу я, и вместе с тем не обнаружить этой своей заинтересованности. Все это открылось мне с полной очевидностью.

Зарандиа приоткрыл дверь моего кабинета и попросил разрешения войти. Не прошло и пятнадцати минут с тех пор, как мы расстались, и я не ожидал его прихода.

– У меня к вам просьба, граф.

– Говорите, Мушни.

– Спуститесь ко мне, если у вас есть время и желание… еще на полчаса.

– Хорошо, – тут же согласился я.

В кабинете Зарандиа был только доцент.

– Господин доцент, – спросил Зарандиа, – чего вы ждете от революции для себя? Ответьте, если считаете возможным и если до конца понимаете суть вопроса.

Доцент улыбнулся:

– Конфискации поместий и прочего имущества, принадлежащего мне и мне подобным, которую я сам осуществил бы давно, если бы был единственным владельцем их и, кроме того, если бы не считал фанфаронством единоличную передачу земли крестьянам в условиях всеобщей частной собственности на землю. Я надеюсь, что меня лишат звания, которое я ношу, как петух свой гребешок. Я жду, наконец, духовного удовлетворения от того, что каждый человек получит равные возможности для реализации своих достоинств, а человеческий гений обретет широчайшую арену для приложения своих сил. Разве не стоит, господин офицер, получить эти результаты ценою того наказания, которое вы мне вынесете?

– Стоило бы, если бы все оказалось, так, как вы изволите ожидать, но где гарантия тому? Сами вы абсолютно уверены, что резолюция непременно принесет человеку духовное удовлетворение и счастье? Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, что проповедь всякой новой идеи содержит значительный элемент авантюризма, а раз так, революционная деятельность противоречит в известной мере и добру, и нравственности?

– Думал, разумеется! Думал над этим и над многими другими вопросами! – Доцент был

заметно взволнован. Зарандиа очевидно, нащупал его больное место. – Я задумывался и над тем, что революция должна использовать ум и знания честных интеллигентов и аристократов, а затем рассчитаться с ними, как французская революция рассчиталась с Мишелем де Лепелетье и другими. Я считаю это закономерностью революции и при этом остаюсь на ее стороне… «На том стою и не могу иначе!» – Доцента, видимо, успокоила и придала сил собственная речь, и, уже улыбаясь, он спросил Зарандиа: – Знаете, чьи это слова?

Зарандиа покачал головой. Он вдруг ушел в себя, и я увидел, как поразила его эта мысль. Он и не думал о том, кому принадлежит.

– «На том стою и не могу иначе», – повторил Зарандиа ровным голосом и прибавил: – Я не читал и не слышал столь комичного и вместе с тем исчерпывающего объяснения причины действий определенного, достаточно редкого типа людей. Прекрасные слова! Чьи они, господин доцент?

– Мартина Лютера.

Молчание длилось довольно долго.

– Господни доцент, – сказал Зарандиа, – вашей вере и тому, что вы «не можете иначе», предстоит большое испытание. К сожалению, уже сейчас… Перед вами сидит начальник Кавказского жандармского управления генерал граф Сегеди.

От неожиданности доцент на мгновение смутился, а затем отдал холодный полупоклон. Зарандиа молчал. Клянусь честью, я всем телом ощутил, что сейчас окажусь свидетелем одного из тех трюков Зарандиа, какими он вносил в мою душу смятение, восторг, тревогу, все, что хотите, только не тусклый покой. Он что-то замышлял, иначе бы не позвал меня вторично.

– Ваши родственники, – продолжал Зарандиа, – всеми мерами стараются спасти вас и ваше общественное реноме. Из нашей беседы вам станет ясно, что эти две вещи нужно спасать по отдельности, поэтому будем последовательны. К его сиятельству графу Сегеди с просьбой оказать вам помощь обратились такие люди, что он, кажется, внутренне готов помочь вам, стоит только представиться возможности. Вашей судьбой заинтересовался и сам наместник. Наконец, и во мне нет враждебности, если это может быть важно. Все оборачивается так, что после незначительных хлопот вы сможете вернуться к своим обычным занятиям. Необходимо только кое-что выяснить и уточнить. – Зарандиа умолк. Не скрою, я и доцент с равным напряжением ждали продолжения сцены.

– Чтобы внедрить в умы новую идею или распространить какое-либо политическое учение, есть путь рациональный, неизбежно сопряженный с изворотливостью, хитростью, ложью, и есть путь мученической жертвенности. Это хорошо известно. Мы хотим знать, что выбрали бы вы: возможность освобождения или кару? Должен вас предупредить, однако, что выбора у вас нет. Ваша участь была предопределена уже тогда, когда укладывали литературу в чемодан. Цель нашей беседы и моего вопроса – уточнение оттенков.

Зарандиа говорил, не поднимая головы, и посмотрел на доцента, лишь закончив.

– Я поступил бы так, как было бы лучше, полезнее для того дела, служение которому привело меня в тюрьму. Мой поступок вытекал бы из моих убеждений, из особенностей моего характера. Хочу вас предупредить, господин офицер, что не пойду ни на какие сделки, не допущу никаких компромиссов, хотя вы имеете дело лишь с сочувствующим, с дилетантом, а не с профессиональным революционером. О чем еще вы хотите спросить?

– Мы ждем более определенного ответа. – Зарандиа, казалось, пропустил мимо ушей слова доцента о сделках и компромиссе. – Представьте, что перед вами сегодня здесь, именно в нынешних обстоятельствах, две возможности: будучи ученым и занимаясь политической деятельностью, что бы вы выбрали – свободу или ссылку?.. Повторяю, именно в этих обстоятельствах, сегодня и здесь!

– Если желаете знать – мне это безразлично! У меня есть сейчас два дела. Я должен завершить весьма солидный труд о течениях древнегрузинской философии, и в то же время мне предстоит работать на ниве просвещения и развития политического самосознания народа. Эти две цели я смогу осуществлять и в тюрьме, и в ссылке, и в университете.

– Должен вас огорчить, но вторую задачу вы осуществить не сможете. Я говорю о политической деятельности. Это вам не удастся.

– Почему же, господин офицер? Ведь это зависит только от моего желания и моих

способностей.

– Не думаю, – ответил Зарандиа, – хотя выход можно найти. Вы, разумеется, помните, что некий софист, которому его бывший ученик отказался уплатить за обучение, сказал ему: «Я буду судиться с тобой дважды и таким образом получу обещанную плату». Вы сможете осуществить свою цель, если после освобождения снова совершите преступление.

– Что ж, если придется, можно будет воспользоваться и этим способом, но я не понимаю, к чему вы ведете этот почти беспредметный разговор?

– К тому, что предать вас суду невозможно!

– Почему?

– Потому что так было предусмотрено с самого начала.

– Простите… как предусмотрено… Кем?

– Это было предусмотрено планом операции. В вашем деле оставлена лазейка, которая вернет вас прямо в университет. Я вызываю вашего адвоката и сообщаю ему, что существует составленный в батумской таможне протокол об осмотре вашего багажа и обложении пошлиной найденных там напильников. В протоколе ничего не сказано о том, что обнаружена запрещенная литература. В вашем багаже она не найдена. Не доказывает ли это, что вы не привезли из Германии ничего похожего? Возможен такой поворот событий?

– Но существует протокол обыска, проведенного в моем номере, изъятая литература и показания? Показания трех лиц.

– Когда к делу будет присовокуплен таможенный протокол следствие вынуждено будет доказать, что литература в номер принесена вами. Таких доказательств у следствия нет. На суд мы не можем выставить, а следовательно, рассекретить агента, который дважды подменял ваш чемодан. А если и представим его, суд не примет показаний сотрудника охранки как предпосылку и основание. Сам собою возникает вопрос: кто принес литературу в номер доцента? На это должно ответить следствие. В противном случае окажется, что литературу внесла сама жандармерия. Это само собой выходит.

– А показания?

– От показаний всегда отказываются, стоит возникнуть возможности оправдания по процессу и освобождения.

– А если я не откажусь от показаний?

– Если?.. Мы не сможем поставить под сомнение дело государственной важности.

– Господин офицер, ведь вы сами, его сиятельство и все ваше управление не сомневаетесь, что литературу привез я…

– Обратите внимание, – Зарандиа рассмеялся, – мы с вами поменялись ролями. Вам почему-то хочется во что бы то ни стало предстать перед судом, тогда как добиваться этого должен я. Ваши усилия преждевременны и в этой части нашей беседы – неожиданны. Немного позже, пройдет еще минут десять, ваша позиция и желание предстать перед судом, возможно, окажутся наилучшим выходом. А пока что продолжим беседу. Мы не допустим, чтобы процесс состоялся, так как ни один из результатов этого процесса нас не устраивает. Если вас осудят, в обществе распространится версия, что вы стали жертвой нашей провокации. Если вас оправдают, распространится версия, что вы оправданы в результате провала нашей провокации. При нынешнем положении дел в государстве дескредитация его сыскного учреждения для государства более опасна, чем ожидаемый ущерб от того, что вы и еще десять подобных вам, но уже разоблаченных виновников будете освобождены. Я говорю, кстати, о виновниках вашего ранга, вашей известности и возможностей.

Зарандиа достал из ящика документ.

– У меня в руках ордер на ваше освобождение. Он заполнен и подписан мной, нужна подпись его сиятельства и санкция прокурора, которую, я думаю, мы легко получим. Следствие по вашему делу будет прекращено, но прекращено до подходящего для нас момента, а не окончательно.

Все это оставило во мне столь сильное впечатление, что я, сколько ни силился, не мог заставить себя искать огрехи в логике Зарандиа. Думал ли доцент об интриге Зарандиа или не думал ни о чем, ошеломленный освобождением, свалившимся словно с неба, утверждать не берусь. Нить интриги он, однако, старался не терять.

– Хорошо, но ведь можно допустить, что мое столь быстрое освобождение в сознании общества отразится все-таки как провал вашей провокации. Да, идет борьба, и не стану скрывать, что настроенные против существующей власти силы, несомненно, будут распространять версию именно о провале провокации, тем более что все это не так уж далеко от действительного положения вещей.

– Да, это борьба, и нами не оставлена без внимания возможность такого рода акции, но по тому же праву, по какому силы, настроенные против власти, обратятся к распространению своей версии, по тому же праву, господин доцент, мы осуществим нашу версию происшедшей истории: освободим вас и двух ваших соучастников, арестуем всплывших в процессе следствия трех-четырех лиц, предадим их суду и распространим слух, что выдали их вы и этой ценой получили свободу. И эта версия, господин доцент, будет не столь уж далека от действительного положения вещей. Я предупреждал вас, что ваша вера и ваша уверенность, что вы «не можете иначе», подвергнутся серьезному испытанию.

Теперь становилось понятным, почему Зарандиа так упорствовал в желании, чтобы его план операции был принят без изменений.

– Господин офицер, – промолвил доцент, – вы такой рафинированный негодяй, что использование ваших способностей здесь, в этом заброшенном уголке империи, можно считать проявлением духовного краха существующей политической системы.

– Благодарю вас и прошу вспомнить, что за два месяца нашего знакомства вы не слышали от меня ни грубости, ни оскорбления. Я почел бы ваши слова за слабость, если бы вы и в самом деле не стояли перед тягчайшей альтернативой. Позволю себе поделиться лишь одним наблюдением: в вашем увлечении революцией есть что-то от форели, мечтающей стать лососем, тогда как я – трава и не пытаюсь стать кедром.

– Вы не имеете права… Я требую процесса! – закричал доцент.

– Чтобы дать трибуну демагогам? Процесса не будет – мы уже сказали вам, – ровным голосом ответил Зарандиа и, помолчав, продолжал: – Я читал статьи под вашим псевдонимом в легальной и нелегальной прессе. Прекрасные статьи. Плод возвышенной и честной мысли. Революция использует ваш интеллект – я уже заметил это вам. Время покажет, как она поступит с вами в будущем. Думаю, в лучшем случае вас ожидает участь марионетки, не говоря уже о забытых могилах и судьбе эмигрировавших из-за партийных разногласий борцов за общечеловеческую свободу. Но все это возможно лишь в случае, если вы останетесь на арене политической борьбы. А в этом я сомневаюсь.

– Цель этого вероломного плана – скомпрометировав, отстранить меня от политической борьбы?

– Нет. Официальной целью плана была реквизиция литературы, арест и наказание виновных. Однако, если хотите правды, в основе плана – мое собственное отношение к вашей персоне. Я использовал служебное положение в своекорыстных целях, точнее, мои служебные интересы совпали с моими частными пристрастиями. Кстати, не буду скрывать от его сиятельства, от службы престолу и отечеству я имею и выгоду.

– На какую же выгоду вы рассчитывали в моем случае?

– Я сын своего племени и народа, раньше всего. Мое представление о своих обязанностях – отсюда. И отсюда же существование вне всяких партий. Я, живая частица моей родины, как перст. И я хочу, чтобы вы приобщили мой народ тем знаниям, которые созданы гением наших предков, и к тем, которые будут рождены вашим талантом, талантом людей ваших дарований и природой грузина. В близком будущем открыт грузинский университет, возродятся древние традиции накопления научных знаний и духовных сокровищ. Деятельность на этой ниве ваша и подобных вам людей принесет моему народу больше пользы, чем проповедь анархистских идей и, тем более, ваша смерть на поприще их насильственного насаждения. Я питал надежду получить для себя эту выгоду, господин доцент!

Обвиняемый долго разглядывал Зарандиа и наконец произнес:

– Зачем столько притворства? А если это не притворство, почему вы так откровенны в присутствии его сиятельства? Вас могут уволить из жандармерии – вы не боитесь этого?

– «На том стою и не могу иначе», – улыбнулся Зарандиа.

Этот разговор постепенно терял для меня интерес, так как смысл его уже рассеивался в

пререканиях. Продолжать его, во всяком случае – присутствовать при нем мне больше не стоило. Откровенность сторон постепенно переходила в грубость. Мне не нравился вызывающий тон доцента. Кроме того, я понял, что расставленная Зарандиа сеть давала мне возможность без осложнений освободить доцента и доложить наместнику, что дело закончено.

– Господин доцент! – обратился я к подследственному. – Я подписываю ордер, и вы сейчас же отправляетесь домой. Вы сочли нужным сказать нам, что ни на какие сделки и компромиссы не пойдете. Не думайте, что мы предложим вам что-то подобное. Но мой долг вам сказать: мы никого не арестуем, не будем никого компрометировать, если стоящие за вашей спиной люди не используют ваше освобождение против нас. Надеюсь, моя мысль будет понята вами. Моим долгом будет так же предупредить вас: как только станет известно, что это условие не выполнено, мы незамедлительно начнем действовать, и репутация предателя навеки закрепится за вами. До свидания.

Чтобы придать рассказу завершенность:

Освобождение доцента и его соучастников все же было использовано против нас. Распространились слухи, благодаря которым за доцентом утвердилась слава героя, проницательного человека и самоотверженного борца. Тогда мы арестовали несколько выявленных в процессе следствия лиц и предали их суду. На этом процессе имя доцента прозвучало в нежелательной для него интерпретации. Вслед за этим были предприняты и другие шаги. В конце концов к нему был приклеен ярлык предателя.

Доцент не желал примириться с участью политического трупа, создал в Московском университете нелегальную группу анархо-синдикалистов и вскоре был сослан на Камчатку. Видимо, он воспользовался советом Зарандиа – подал в суд на ученика дважды: повторно провинился, умышленно навлек на себя кару и добился политической реабилитации перед единомышленниками. Жаль только, что он оказался слабого здоровья, в ссылке заболел и умер.

Верю, он «не мог иначе».

Я говорил уже, что Зарандиа удачно провел это дело и удачно его проиграл. Я имел в виду этот его финал, хотя сам Зарандиа не считал дело проигранным.

А теперь – заключение, ради которого я и рассказал эту длинную историю.

Время и ход событий подтвердили мои предположения. Причина действий Мушни Зарандиа проистекала исключительно из того, что он «не мог иначе». Это очевидно. Но здесь мне бы хотелось поделиться своими соображениями о натурах подобного нравственно-психологического склада и об условиях, их формирующих. Чтобы не соблазниться отвлеченностями, не впасть в многословие и не затуманить суть своей мысли, приведу диалог, происшедший между мной и Мушни Зарандиа и проливающий свет на существо дела.

В ту пору произвела сенсацию гибель в Атлантическом океане большого пассажирского парохода и большинства его пассажиров. Судно пошло ко дну всего за какой-нибудь час. Именно в этот краткий промежуток времени на борту парохода произошла история, которая получила резонанс хотя и комический, но несравненно более широкий, чем сама трагедия. Когда пароход шел ко дну и все было охвачено паникой, некий коммивояжер ухитрился не только вывести из истерики и успокоить незнакомую ему даму лет тридцати пяти, но и сбыл ей корсет изготовления мадемуазель Бриньон, а вместе с корсетом мясорубку новой конструкции. Из двухсот пятидесяти человек в живых остались лишь одиннадцать, и среди них коммивояжер со своей выручкой и дама, представьте, со своим корсетом и мясорубкой.

– Как бы вы трактовали эту историю, Мушни? – спросил я своего подчиненного, отдыхая после одного утомительного совещания.

– Это и смешно, ваше сиятельство, и в высшей степени занимательно. Я бы объяснил подобные явления односторонностью натуры, преобладанием в ней какой-либо одной черты. Такие люди являются в мир весьма редко. Не знаю, какое имя больше всего пристало бы, но догадываюсь, каким путем они появляются. – Зарандиа сделал усилие, собираясь с мыслями, и продолжал: – Возможно, в будущем наука сможет создать, подобно периодической системе Менделеева, систему нравственных качеств человека. Установят, что существует столько-то и столько-то уже известных свойств, скажем, любовь, ненависть, доброта, злобность и еще много других, а столько-то и столько-то клеток таблицы на время останутся пустыми. Пройдет время, и для каждой клетки найдутся свои жильцы. – Зарандиа остановился и взглянул на меня.

– Продолжайте, Мушни. Я слежу за вашей мыслью.

– Думаю, что у нормального новорожденного есть зачатки всех нравственных свойств.

– Вы говорите именно о нормальном новорожденном?

– Да. Об исключениях и аномалиях скажу позже. Нормальный новорожденный наделен в зачатке всеми нравственными свойствами и, следовательно, возможностью их развития, формирования, совершенствования.

– Согласен с вами.

– У одного и того же новорожденного разные нравственные свойства выражены с разной силой, пусть эти свойства только-только завязываются. Потенция одних свойств – больше, других – меньше. Если среда не вызывает убыстренного и усиленного развития какой-либо одной черты, нужно думать, что из этого новорожденного сформируется личность вполне нормальная, в которой все ее первоначальные задатки будут уравновешены друг другом. Теперь об исключениях и отклонениях. Можно предположить, что родится такой человек, у которого особенно будут сильны зачатки, скажем алчности, жадности, стяжательства, а завязь противоположных свойств будет слаба, немощна. Возможно такое?

– Конечно, возможно.

– Возможно и другое. Человек попадает в такие условия роста и развития, в которых бурно разовьются его сильные задатки, а слабые ослабнут еще больше, заглохнут, сойдут на нет.

– Возможно и это.

– Тогда путь, на который станет и по которому пойдет человек, сформировавшийся подобным образом, не вызывает сомнения, граф?

– Я понимаю вас.

– Мы говорили о коммивояжере и поклоннице корсетов и мясорубок. Такие «не могут иначе», а почему – это мы уже поняли. Как именовать подобных людей, я и в самом деле не знаю, но откуда и каким путем они появляются, я, кажется, начинаю понимать и об этом вам уже сказал. Они – плод влияния сильно действующей среды на безнравственные задатки. Когда человек таков, он и на тонущем корабле выведет незнакомую особу из истерики, чтобы всучить ей корсет. А сама особа, справившись со своей истерикой и ободренная возможностью заполучить корсет и мясорубку редкого достоинства, успокоится и купит все, что ей положено купить. Эту мясорубку, – увлеченно продолжал Зарандиа, – она еще привяжет к поясу и бросится с ней в воду. Везение всегда на стороне подобных людей – они из всех злоключений выходят невредимыми.

Возможно, он и сам не знал, что принадлежал к подобным людям. Аномалия и среда действовали в одном, благоприятствующем этой аномалии, направлении. Зарандиа – «не мог иначе».

Наконец-то я установил это его свойство, и согласно методу двойника ту же причину действия я должен был предположить в Дате Туташхиа, чтобы искать эту причину в его преступлениях, как тайный знак и признак, как неимитируемую печать его противозаконных поступков…

Коджи Ториа

Я так и понял, вас интересует не только сам Дата Туташхиа, но все, что творилось вокруг него. Почему он часто поминал крыс и сравнивал их с людьми – это я вам рассказать могу. Я много об этом рассказывал. Разным людям. Наверное, кто-то из них и послал вас ко мне. Вы и пожаловали сюда. Извольте расскажу.

Я давно заметил, очень много людей ищут знакомства со знаменитостями, чтобы после похвалиться: вчера вот с кем пришлось гулять.

В этом я всегда находил честолюбие и корысть. И всегда держался в стороне от заметных людей. Никаких близких отношений у меня с Датой Туташхиа не было. Но лет сорок тому назад довелось мне провести с ним месяц или немного более того. В ту пору мне было уже двадцать, а в первый раз я его увидел, когда мне было двенадцать лет. Нет, не то что увидел его, а жил он у нас. К тому времени наша семья переселилась в Турцию, есть там такой город

Самсун, и Туташхиа приехал гостить к брату моей матери. Две недели пробыл. Ребенком я хорошо запомнил его. Когда через восемь лет увидел его во второй раз – сразу узнал. Даже припоминать не пришлось. Мне показалось, и он узнал меня, а ведь какая разница между двенадцатилетним мальчишкой и парнем двадцати лет! Я сильно изменился, и, наверное, он не сразу сообразил, кто перед ним. Да и мне ни к чему было называть себя! Не посчитайте, бога ради, что из осторожности: мол, абраг, знаться с ним опасно – скажут, помогает. Ничего похожего. Будь я таким подлецом… да за поимку Туташхиа в то время большие деньги сулили. Захоти я – получить эти деньги ничего не стоило. Но мне ничего подобного даже в голову не приходило! А не стал я первым называть себя, потому что не люблю таких вот людей. Это искатели имени и славы, а стало быть, авантюристы. Наивысшим достоинством человека я считаю умение уважать людей. Так уж мне привили с детства. Фигура Туташхиа, как можете понять, меня мало интересовала. Расскажу только о том, что своими глазами видел. И, между прочим, поверьте мне, ничем особенным он себя не проявил. Может, это вам и не интересно будет, но раз просили, слушайте.

Мы –Ториа. Звучит наша фамилия как колхская. А между тем никто в нашей семье не знал, откуда мы родом. Возможно, мои предки еще в давние времена ушли из Колхиды. Наши однофамильцы и дальние родственники и по сей день живут в приморских городах. Там и осели. Отец мой, поселившись в Самсуне, взял жену из лазской семьи. А то, что всеТориа живут в приморских городах, это идет от нашего фамильного ремесла. Есть семьи, которые из поколения в поколение делают лекарства, мази и всякое зелье. Так и мы. Только мы не лекарства делаем – мы крыс выводим, крысоедов. Еще их «людоедами» называют. Знаете, какое это дело?.. В старые времена корабли сплошь были из дерева. Поэтому грызуны приносили страшный вред и товарам, и кораблям. А если на корабль пустить людоеда, он местных корабельных грызунов, будь их там тысячи, начинает пожирать, а какие ноги от него унесут, те сами с борта попрыгают в воду. Такая крыса была в большой цене, за каждого крысоеда платили по пятьдесят – шестьдесят червонцев золотом. Наш род один владел этим секретом, других – не было! Может быть, этой родовой профессии я обязан тем, что, когда пошел в медицину, избрал своей специальностью санитарию и гигиену.

Теперь расскажу о моем дяде МурманеТориа, а затем можно уже и о том, как сошлись наши с Датой Туташхиа пути-дорожки. Дядю моего, МурманаТориа, определили в фельдшерское училище. Выучился он и тридцать лет проплавал судовым фельдшером. Ни жены, ни детей у него никогда не было. Врачевал же он не хуже любых докторов. А главное, из восточных стран вывез он знание старинной медицины, лечил ее способами, и превосходно это у него получалось. С годами надоело ему бродить по морям, купил он близ Поти клочок земли, поставил домишко и пошел опять врачевать, уже на суше. За короткое время снискал он себе доброе имя. Откуда только не шли к нему люди, с какими только болезнями, самые безнадежные… Одно к одному, так стало складываться – открывай постоянную лечебницу. Он и открыл в своем домишке крохотный лазарет, на десять человек. И ходячих принимал, и лежачих лечил, и все сам. Был у него только один-единственный санитар, совсем старик, звали его Хосро. И все. Работящий был человек мой дядя Мурман. Ни сна, ни отдыха не знал, все больные да больные. И с оплатой дело у него было поставлено необычно. Придет к нему больной, по виду никак не скажешь, что беден, он с него и гроша не возьмет, а больной этот еще с полгода пролежать должен. Другой придет, голь голью, он его только раз осмотрит – и давай плати. Брал, как бог на душу положит. Но, видно, были у него свои мерки и признаки, по которым он плату назначал. Чего не знаю, того не знаю. Такой был человек мой дядя МурманТориа. В гимназические годы я часто проводил каникулы у него. К родным в Самсун наведывался недельки на две, и то летом. В лазарете мне было интереснее и полезней. Во-первых, я мечтал получить медицинское образование. Лазарет был для меня практикой, да еще набирался я у дяди мудрости восточной медицины. К тому времени, о котором я вам сейчас расскажу, гимназию я уже закончил и только-только приехал к дяде Мурману из Самсуна. В доме у Мурмана было три комнаты. В одной жил он сам, там и больных принимал, второй топчан туда уже было не втиснуть, поэтому Хосро спал на полу, по пояс высунувшись из-под стола. Но это бывало, когда я гостил. Вторая комната, большая, была мужской палатой, на шесть человек. Третья – считалась женской палатой, но женщины к МурмануТориа не

приходили, и в этой комнате спал я, когда приезжал, а без меня – Хосро. Стояли в этой комнате две кровати, умывальник и стол. От мужской палаты меня отделяла даже не дверь, а дверной проем, завешенный шторой. Мне было видно и слышно все, что происходило в палате, а меня оттуда видно не было.

Как-то утром меня разбудил шум. Слышу, дядя, окончив обход, разговаривает с больными.

– Вам всем четверым уже лучше. Чтобы совсем выздороветь, надо есть как следует. Для всех вас это теперь самое важное… Средства не позволяют мне кормить вас, да и нет здесь такой возможности. Вы и сами это видите, и ваши родные – тоже. Наверное, они и впредь будут носить вам еду. Если кому будет не хватать, пусть другие с ним делятся. Не поделиться с больным куском хлеба значит приблизить час его смерти. Лекарства, которые я вам прописал, будет, как всегда, приносить Хосро, их надо принимать, как положено. Квишиладзе, смотри не застуди ноги, держи их все время в тепле. Я ухожу. Не позволяйте себе скучать. Тоска и тягостные мысли усугубляют болезнь, помните это.

Только Мурман вышел из палаты, Чониа говорит Квишиладзе:

– Кучулориа и Варамиа вчера из своих мешочков последнюю муку вытрясли. Как же дальше-то быть, хотел я знать, что есть будем, как жить?

Кормить больных дядя Мурман и правда не мог. Тех, кому нужен был особый стол, он к себе не брал. Да и крестьянин в те времена был бедный, если даже и чувствовал конец, все равно платить за полный пансион не мог либо не хотел. Больные приходили со своими харчами, а как подберут последнее, им из дома хоть немного да принесут.

Чониа, о котором я говорил, пришел в лазарет позже других, худ был необыкновенно. Кожа и кости. Многие тогда жили плохо, но такого изголодавшегося, истощенного существа надо поискать было. Принял его Мурман в лазарет, расположился Чониа, где ему было велено. Лег и куска хлеба в тот день не видел – ничего у него не было. Утром, он отобрал у Кучулориа, который от болей в позвоночнике бледен был как смерть, мешалку – все равно, говорит, у тебя сил нет мешать гоми[7], да и не смыслишь ты ничего в этом деле. Он сварил гоми, и корка досталась ему. Квишиладзе, двадцатипятилетний малый, намертво прикованный к постели, тоже подкинул ему немного из своей порции. Новоявленный повар мигом проглотил и это вместе с куском сыра, который пожаловал ему Варамиа. Так завладел Чониа обязанностями повара, и Кучулориа даже слова ему не сказал – варить гоми было сверх его сил, так он был слаб. У Варамиа обе руки, от подмышек до кончиков пальцев, были в гипсе – не то что готовить, он и есть сам не мог. Квишиладзе и Кучулориа кормили его по очереди, благо его кровать стояла между ними. Когда Чониа сказал: «Что теперь есть будем и как жить дальше?» – Квишиладзе, конечно, понял, что речь идет о его муке. Видно, он об этом уже думал и к такому обороту дела был готов.

– Вот она, моя мука, – Квишиладзе ткнул пальцем в мешочек, висевший на стене, – дня на два на всех хватит, если по-хозяйски распорядиться, а за эти два дня придут к кому-то из нас.

Чониа снял мешочек с гвоздя и понес к плите. Квишиладзе с тоской в глазах проследил, как исчезают остатки его запасов.

– Хороший ты человек, Квишиладзе. Отдавать так отдавать вот так – с открытой душой, не думать, не считать, не маяться, – сказал Варамиа после долгой паузы и перекинул загипсованные руки к стене, будто поленья.

– Ну уж не думал, не считал, – слышать надо было, как дыхание у него свело, а поглядел… словно ястреб за перепелкой кинулся. Он как рассудил? Съем я муку один, другим не дам – больше чем на три дня мне все равно не хватит. А придут к кому-то из них, они мне шиш под нос. Вот он и размахнулся, а то как же!.. Один расчет, брат ты мой, – сказал Чониа и зачастил мешалкой.

Кучулориа поправил было подушку, забыв, что любое движение вызывало в позвоночнике острую боль, и вскрикнул.

---

[7] Гоми – плотная, вязкая каша, сваренная из чумизы или проса. Подается в Мингрелии и Абхазии к мясным и овощным блюдам вместо хлеба.

– Откуда тебе знать, так я подумал или по-другому? – сказал Квишиладзе. – А если даже на уме у меня один расчет, то и расчет не дурной, и поступок не худ. Если уж хочешь правды, так с такой мразью, как ты, делиться последним мне совсем не в радость, но долг есть долг, и я должен поступать по-человечески.

– Такие, как ты, Чониа, всегда готовы других ядом обмазать, – вступился Варамиа. – Квишиладзе поделился с нами мукой – плохо ли это? Нет, всегда найдутся охотники замарать, испоганить доброе дело. Раз завелась у тебя дурная мыслишка, гони ее от себя. А ты не только что подумать, ты и наговоришь дурного в лицо.

– Полно ссориться из-за пустяков, – остановил их Кучулория, – на два дня нам хватит, а там придет жена Квишиладзе… как жену-то твою звать, Квишиладзе?

– Она ему не жена, – с удовольствием вставил Чониа. – Звать ее Цуца, и жена она чужая, Квишиладзе мне сам сказал.

В палате замолчали. Часто-часто моргая, Кучулория переводил взгляд с Чониа на Квишиладзе. Не скрою, разговор их меня уже заинтриговал, и я прислушивался из-за шторы все внимательней.

Чониа собрал у всех посуду, поделил гоми, сыра не осталось ни кусочка. Они глотали пустое гоми и молчали.

– Так, значит, Цуца эта тебе не жена, – заговорил наконец Кучулория, – чья же она жена?

Квишиладзе облизнул пальцы и сказал:

– Была за Спиридоном Сиоридзе. Он пропал, не знаю где. Может, и в живых уже нет. А жениться я на Цуце не могу, пока не узнаю, жив он или нет. И священник говорит: пока точно не разузнаешь, жениться нельзя, а узнаешь, тогда уж можно.

– Ну, ладно, а Спиридону Сиоридзе, или как там его еще, в чего бы ему пропасть, а? – спросил Кучулория.

– Да пропади они все пропадом, все бабье племя, извести бы их, нынешних, всех до единой, – забарабанил вдруг Чониа, – поедом небось ела своего Сиоридзе, полюбовница нашего разлюбезного Квишиладзе. Терпеть, видно, мочи не стало, бедняга и подался куда глаза глядят.

– Не любовница мне Цуца – жена, только мужем своим назвать меня не хочет. «Не могу, говорит, пока перед богом и людьми я тебе не жена».

– Если она другому жена, как же она твоей стала? – спрсил Чониа.

– Расскажи, а… Послушать бы про этого Спиридона Сионидзе, что за история? – попросил Кучулория.

– Так и быть. Доем и расскажу, – подумав немного, согласился Квишиладзе.

Все приготовились слушать. Чониа быстро собрал посуду, сложил ее в котел и уселся на табуретке – весь внимание.

Квишиладзе кончил наконец жевать, еще раз облизнул пальцы, сунул под спину подушку, обвел глазами палату и сказал:

– Видит бог, не знаю, что и рассказывать. Три года тому назад Спиридон Сиоридзе взял и пропал. Вот и весь сказ.

Все ждали услышать длинную историю и теперь растерянно глядели на Квишиладзе.

– Вот так взял и пропал? И больше ничего? – заговорил Кучулория.

Квишиладзе кивнул.

– Была, наверное, причина. Ни с того ни с сего взять да пропасть – кому это в голову придет? – сказал Чониа.

– Была, наверное, как не быть! – согласился Квишиладзе.

– Ну, куда хоть поначалу отправился, не говорил? – спросил Варамиа.

– Ничего не сказал, совсем ничего.

– Видно, такой человек, жди не жди, ничего не скажет, – предположил Кучулория.

– Это почему же?! – удивился Чониа.

Кучулория задумчиво почесал в затылке.

– Человек, который возьмет да уйдет, провалится невесть куда и перед уходом слова не скажет, куда собрался… такой разве будет перед уходом языком чесать, куда да зачем иду? Нет не скажет!

– И чего он только мелет? Уши вянут слушать, – возмутился Чониа. – Чтоб у такого

здоровенного мужика да такие мозги куриные. Мать ты моя, чего он здесь накудахтал!.. Ну и что дальше было? Объявился он хоть раз или нет?

– Нет, не объявлялся. Говорю, пропал. Может, его и в живых нет, не знаю.

– И что же, эта беридзевская баба, ну Цуца твоя – что ж она, так ничего и не знает про своего мужа, про этого Спиридона Сиоридзе? – не поверил Чонна.

– Никакая она не Беридзе, а Догонадзе, но порядок есть порядок, и пишется она по мужу. Про Спиридона ничего она не знает. Сказала бы мне, если б знала. Что Цуца? Деревня наша Квеши какая большая, а что со Спиридоном Сиоридзе – ни один не скажет.

И опять стало тихо. Посидели, помолчали и вдруг как загалдят… Так дней пять и шумели, и все про Спиридона Сиоридзе, кто да что. Обо всем расспросили, все разузнали, даже во что обувался, и любил ли поесть, и что из еды-питья предпочитал – все выяснили. А вот зачем и куда пропал – в этом к согласию никак не могли прийти. Этот Спиридон Сиоридзе уже поперек горла у меня стоял, меня мутить начинало только от одного его имени. Я уже хотел было строго-настрого эти разговоры прекратить, но Чониа меня опередил. Соскочил он с кровати, схватил полено да как заорет:

– Если какая сука еще раз это имя протявкает… полено видите? Голову размозжу.

Все замолчали и больше про Спиридона Сиоридзе – ни слова, а то, ей-богу, я бы с ума съехал.

Все это, как я вам уже говорил, случилось позже, на пятый или шестой день, а до этого вот как все было. Квишиладзескую муку и правда съели за два дня. На третий день все кто как исхитрился – прилипли к окнам, но ни к одному из них не пришли. Вечером, уже в темноте, меня подстерег на балконе Чониа и попросил конверт: напишу, сказал, семье, пусть навестят, а то с голоду подохну. Я зашел в комнату дяди, где лежали мои вещи, и принес Чониа конверт, бумагу, перо, чернила. Он тут же сел писать.

– Зря ты, Чониа, в темноте пишешь, глаза испортишь, – сказал Кучулориа, видно рассчитывая слово за слово выведать, куда и кому пишет Чониа.

– Пусть лучше, браток, мои глаза пропадут, чем мы все – с голодухи. Родственник у меня здесь в Самтредиа, может, подбросит чего-нибудь, хоть по губам размазать, а то никого не видать, – ответил Чониа, поняв, что надо утолить любопытство своих соседей.

Время уже ко сну. Сидим мы втроем: я, дядя Мурман и Хосро, лампа у нас горит, ужинаем. Вижу, на столике лежит конверт, который я Чониа дал, вглядываюсь в адрес и разбираю: на конверте – имя возлюбленной Квишиладзе Цуцы Сиоридзе.

– Это что такое? – спрашиваю я своих.

– Да Чониа принес. Квишиладзе, видишь, грамоты не знает, так он за него написал. Прихвати, просил, как в Пот пойдешь, бросишь в ящик.

– Наверное, Квишиладзе харчей просит. С этим тянуть нельзя, да и лекарств из Поти привезти надо, – сказал дяди Мурман.

Мы ужинали, а я все думал о том, что Чониа говорил мне одно, а Хосро – другое, и адрес на конверте – совсем не тот. Но я ничего не сказал. Мне самому нужно было в Поти – крыс привезти. В прошлое лето я вывел одного крысоеда, назвал его Фараоном. Покупателя на него тогда у меня не нашлось. Я его сдуру и пустил в лазарете. А тут и покупатель объявился, но расставаться с Фараоном мне было уже жалко – отличный людоед из него получился, и стоил он куда дороже, чем покупатель давал. Так и остался Фараон при лазарете, всех крыс извел, на версту кругом – ни одной не найдешь. Теперь изволь ходить за ними в Поти – охотиться в пакгаузах потийского порта, я там крысоловки расставлял. Я и надумал – заодно захвачу с собой и Фараона, в Поти у меня клиент объявился новый.

– Я утром в Поти собираюсь, – сказал я Хосро.

– Тогда и лекарства прихвати, а я за дровами поеду, – обрадовался Хосро.

На том и порешили.

Я положил во внутренний карман письмо Чониа, и мы разошлись по своим углам. Чуть свет я стал искать Фараона, но его, подлеца, и след простыл: видно, охотился далеко. Махнул я рукой и отправился в Поти. Город был рядом, дядин лазарет считался теперь окраиной Поти. Прошел я уже порядочно, и тут стало меня заедать любопытство. Вытащил я из кармана письмо Чониа, кручу-верчу, вскрывать стыдно и… слабая душа, не выдержал. Конверт был заклеен

очень старательно, я по заклеенному смочил его слюной, клей размяк, и я вскрыл конверт, не повредив его совершенно. Чониа писал Цуце Сиоридзе в Квеши как бы от имени Квишиладзе и сообщал ей, что твой Спиридон Сиоридзе нашелся и лежит рядом со мной здесь, в лазарете. Харчи у нас все вышли, приезжай, привези что-нибудь, поесть – приезжай, нашей любви ради, только в лазарет не заходи, а то Спиридон догадается, что ты ко мне приехала. А в такой-то день мой друг Чониа встретит тебя по дороге к лазарету. Возле дороги ольховник небольшой и кусты у обочины – там он и будет тебя ждать, ты отдай ему все, что я у тебя прошу. А просил он у нее еще десять рублей – для доктора, писал, позарез нужно. Увидишь Чониа – он тебе все расскажет и про Спиридона, и про меня, и про все наше житье-бытье.

Стал я думать, как быть. В первую минуту хотел порвать и выбросить. Потом думал-думал, дай-ка, решил, припишу в конце, как все есть на самом деле, и пошлю Цуце Сиоридзе. Мыслей – туча налетела, и ни к чему я так и не пришел. А вот уже и Поти. А вот и почта. Послал я все к дьяволу, раскрыть эту грязную подноготную, думаю, никогда не поздно, и бросил конверт в ящик. Бросил и еще больше стал маяться – так не так сделал. Измучился вконец, целый день ни о чем думать не мог.

Взял я в аптеке лекарства, зашел в пакгаузы, собрал в клетку крыс и обратно домой. Дома разместил свою живность, как полагалось, а тут и смеркаться стало. Поужинали мы, заснул я без задних ног, набегавшись за целый-то день.

Утром – еще как следует не проснулся – слышу голос Кучулориа:

– Ночью я сон видел – не иначе к кому-то из нас сегодня придут. Увидите – придут.

Все стали просить Кучулориа рассказать свой сон. Час битый он рассказывал, пока одышка не одолела.

Пошел уже четвертый день, как они голодали, и мне тоже начало казаться, к кому-то из них непременно должны прийти. Однако и этот день прошел, а никого не видно.

…В тот вечер и случилось это, а какой был год – убейте, не помню. Неохота мне теперь высчитывать, да и надобности особой не вижу. Уже давно стемнело, часу в одиннадцатом, наверное… сидим мы с дядей Мурманом, в нарды играем. Рядом Хосро то носом клюет, то за игрой следит. Как сейчас слышу, донесся издали топот копыт.

– Хосро, а постели ты приготовил? – спросил дядя.

Хосро кивнул.

– Кого вы ждете так поздно? – полюбопытствовал я.

Помолчав, дядя ответил:

– Больных. Приезжал здесь днем один гуртовщик, поехал за другим. Наверное, они и едут, кому бы еще?

– А что с ними?

Опять дядя Мурман с ответом не торопится.

– Медведи их задрали, – сказал он нетвердо.

Чувствую, что-то скрывает дядя. Посмотрим, думаю, надолго ли его хватит. А топот все ближе.

– Мурман-батоно! – позвали со двора.

Дядя велел мне посветить гостям, а Хосро – принять лошадей и поставить в конюшню.

Один спешился сам. Другому помог Хосро – нога у него была сильно изувечена.

Поставил я лампу на стол и поглядел сперва на хромого потом на его приятеля. Хромого я никогда не видел, второй был Дата Туташхиа. Я его сразу узнал! Он нисколько не изменился, разве виски немного поседели. Он тоже взглянул и меня, как бы припоминая, но сделал это так, что я мог и не заметить его внимания к моей особе. Ну и бог с ним! Зачем показывать, что я его узнал?

Надо было осмотреть и обработать раны, но чувствую я, тянет мой дядя Мурман, не хочет при мне начинать осмотр. Да и мне ни к чему. Все и так было ясно, оставаться с ними только лишний труд.

Я им – «спокойной ночи!» и к двери, а тут гляжу, мой Фараон изволил объявиться: сел на задок, лапки вытянул и давай раскачиваться. Зол я был на него за то, что вчера утром его, подлеца, найти не мог, и как крикну:

– А ну, пошел отсюда!

Фараон поглядел на меня обиженно так и – вон из комнаты.

– Такого сытого да гладкого мне и поросенка видеть не приходилось. А этот еще и прирученный, – сказал спутник Туташхиа.

Я промолчал. Туташхиа едва усмехнулся и тоже ни слова. За все время, что мы вместе пробыли в лазарете, это был знак того, что он меня узнал. Я убрался восвояси.

Наша фамильная профессия давно потеряла спрос, и то, что я вам расскажу, сейчас уже не секрет. К тому же, все это крысиное дело прямо связано с той историей, которую вы хотите услышать, и вам ничего не понять, если я не расскажу о крысах.

Выводить крысоедов можно двумя способами – голодом и обжорством. И так, и так – все равно получится людоед, но я предпочитал голод – меньше времени потратишь. Крыс надо брать непременно семь или девять штук. Отловленных животных сажают в пустую бочку. Если выводить крысоеда голодом, бочку надо брать железную. Иначе, оголодав, крысы прогрызут дерево и удерут. Если предпочитаете обжорство, хороша и обычная бочка – сытые животные сидят смирно, стен и дна не трогают. Что еще необходимо – так темнота. Без темноты людоеда не получишь. В бочке на самом дне темень полная. Если, конечно, самому с фитилем не лезть. Будете выводить голодом – держите их на одной воде. Если обжорством – корма давай сколько влезет, только что-нибудь одно: кукурузу или пшеницу – это уж как придется. Я вам коротко рассказываю, а так это целая педагогическая система.

Ну, оставил я гостей, ждать никого не стал. Лег спать. И даже не слышал, как Хосро привел ко мне в комнату новых больных.

Утром, как всегда, я проснулся от шума в большой палате. Дата Туташхиа лежал спиной ко мне, и не видно было, спит он или нет. Его приятель глядел в потолок и, увидев, что я проснулся, пожелал мне доброго утра. Немного погодя пришел Хосро и налил воды в умывальник.

– Бесо-батоно, – сказал он, – когда пожелаете кушать, крикните меня, я подам.

Я хорошо расслышал это имя «Бесо», но так же хорошо я знал, что человек, пришедший с Датой Туташхиа, свое настоящее имя не скажет. Ходили слухи, что Дата Туташхиа завел себе нового товарища Мосе Замтарадзе. «Наверное, это он» – подумал я. Так оно и оказалось.

– Отиа-батоно, проснись, завтракать пора, – так Замтарадзе будил Дату Туташхиа.

Еле-еле двигаясь, с трудом помогая друг другу, они наконец поднялись и умылись. Хосро принес им жареной свинины, яичницу, картофель и по стопке водки. Мосе Замтарадзе поел и опять лег, а Туташхиа, достав из хурджина «Витязя в тигровой шкуре», погрузился в чтение.

– Ты говорил, что из страха перед Фараоном ни одна крыса на пушечный выстрел к этому дому не подойдет, – сказал Замтарадзе Туташхиа, – а здесь их полным-полно. Под моей кроватью или к стенке поближе, точно не скажу, они на рассвете свадьбу устроили, а может, на свой крысиный базар сбежались. – В комнате было тихо, и Замтарадзе прислушался. – Вон и сейчас черт знает что вытворяют!

Кровати моих соседей стояли изголовьем к стенке, выходившей на балкон, а на балконе была моя бочка с крысами.

Туташхиа прислушался, и я почувствовал, как он напрягся.

– Сегодня опять пасмурно, – сказал он и встал.

У него была повреждена ключица, ходить ему было трудно. Чтобы пройти на балкон, надо было пересечь большую палату, протиснувшись по дороге через узкий проход между печкой и кроватью. В проходе стоял Чониа. Туташхиа повернулся боком, чтобы не задеть его. Он бы прошел, но Чониа загородил проход.

– Здесь двоим не разминуться. Не видишь, с той стороны обходить надо!

Абраг невольно подчинился и, повернувшись, обошел печку с другой стороны.

– Вот так-то! – сказал Чониа.

Туташхиа остановился и смерил Чониа взглядом с макушки до пяток. Ну, думаю, нарвался Чониа, тут его хамству не пролезть.

Чониа глядел на Туташхиа наглыми зелеными глазами. «Здесь я хозяин, – казалось, говорил он, – и подчиняйся порядку, который нравится мне. А то найдется на тебя управа, кто ты ни есть». А порядок такой, что Чониа подмял под себя всех.

Дата Туташхиа разглядывал Чониа, как мальчишка новую задачку, только что

написанную на классной доске. Он улыбнулся чуть заметно, и это было похоже на радость, когда в голову уже является разгадка. Будто соглашаясь с собственными мыслями – да-да, знаю… – он наклонил голову и вышел им балкон.

Я вскочил с постели и стал одеваться. Мосе Замтарадзе тронул меня за рукав и шепнул:

– Прошу прощения, батоно, дайте взглянуть, который это…

Я посторонился. Он едва коснулся Чониа взглядом и снова опустился на постель. Чониа разворошил в печке угли, и пламя вспыхнуло с шумом и треском. Квишиладзе в надежде, что Чониа не услышит, тихо-тихо сказал Кучулория:

– Видал, как он нового-то…

Кучулория покосился на Чониа и, убедившись, что Чониа его не видит, чуть заметно улыбнулся Квишиладзе. Чониа прикрыл печную дверцу и, откашлявшись, словно оратор, собирающийся выступать, завел:

– Болтать ты болтаешь, батоно Квишиладзе, а как мозгами раскинуть, так тебя нет. Вот нас здесь четверо калек, а сколько дней у нас во рту крошки не было – ты об этом подумал? И денег нет. Да если б и были, так ты вон без ног. И кому из нас хотя бы через плетень Мурмана Тория перелезть под силу? Я уж говорю, добраться до Поти, накупить еды и притащить ее сюда… – Красноречие вдруг оставило Чониа, и он умолк, так и завершив свою мысль.

– Твоя правда! – Кучулория произнес это так горячо, что Чониа впору было снова взяться за свое.

– Правда-то правда, только хотел бы я знать, в чем этот новенький виноват, раз припасы наши кончились и сидим зубы на полку. Ему-то что делать прикажете? – спросил Варамиа.

– Я знаю, о чем говорю, убогий ты человек, Варамиа! – отрезал Чониа. – Эти двое явились сюда вчера ночью. Думаешь, в хурджинах у них пусто? Так войди и скажи: так и так, все мы под богом ходим, давайте поделим, что нам бог послал, а кончится у нас, так придут же к кому-нибудь из вас, тогда и ваше на всех поделим… А они вместо этого что делают? Я скажу тебе что – обжираются жареным и пареным, а рядом голодные лежат, животы у них сводит – так они еще расхаживают здесь… Я от их «здрасьте» сыт не буду…

– Ну, хорошо, что же им делать? – опять спросил Варамиа.

– Будь в них хоть что-нибудь человеческое, хоть крупица ума в голове, они бы сделали, как я говорю. А то дождутся, я такое им устрою… Пусть только услышу, как они по ночам чавкают под одеялом… Не в первый раз… И видеть такое видел, и как быть с такими молодцами, тоже как-нибудь знаю. Можешь мне поверить.

– Прижмешь, говоришь, так, что кусок в горло нам не полезет и мы свой чурек втихаря грызть будем? – засмеялся Замтарадзе.

– А вот увидишь, – подтвердил Чониа.

– Ну и силен, бродяга, уж как силен. В самую пору бежать отсюда, мать моя родная!

В комнате стало тихо. Я подошел к балконной двери, взглянуть на своих зверьков, и открыл было ее, как за спиной моей опять заговорил Замтарадзе:

– Если хочешь знать, нет у нас ничего, а если б и было, тебе с твоей наглостью крохи у нас не вытянуть. Тебе это в голову не приходило?

– Что у меня выйдет, а что нет, увидишь сам! Чониа слов на ветер не бросает. Вам мясо жрать, а нам волком выть? Не будет вам этого!

– Послушай, друг, нет у нас ничего. Мы договорились с Хосро: он нас кормит, мы ему платим наличными. Чего ты от нас хочешь? Раз вы голодны, то и нам голодать?..

– Черта с два, такой, как ты, на это ни в жизнь не пойдет! А был бы на твоем месте человек хоть мало-мальски стоящий, выход бы нашелся… И кончай канючить. От твоего нытья хоть беги отсюда.

– Вижу, тебе, подлецу, на тот свет захотелось…

– Ну уж, на тот свет! Ты не очень-то губы распускай. На много тебя, падла, все равно не хватит. А если и хватит, какой тебе расчет? Мне в зубы дай раз, я и протяну ноги. И качаться тебе на виселице – другого вместо себя не заставишь. Об этом тоже подумай, если котелок твой еще варит.

Замтарадзе промолчал. Горел огонь, и в тишине только хворост потрескивал.

Я вышел на балкон. Дата слонялся по двору вокруг дома. Мне пришлось воевать в первую

империалистическую. То, чем занимался Дата Туташхиа, на войне называется рекогносцировкой.

Я заглянул в бочку. Животные опрокинули банку с водой. Я налил воды и поставил банку на место. Увидев меня, Туташхиа поднялся на балкон, постоял, понаблюдал за крысами и спросил:

– Один из них станет людоедом?

– Да.

– Наголодались уже?

– Наголодались, но до настоящего голода еще далеко. Нужно время, много времени, чтобы наступил настоящий голод.

Через час я пришел к Хосро завтракать. Дяди не было, его увезли к больному, а мне не терпелось рассказать о том, что творилось в палате и как голодали наши больные. Поев, я вышел на балкон. Вижу, Дата сидит на перилах, пригревшись на солнце, и читает. Надо было заниматься, я вернулся к себе и сел за стол.

Просидел недолго. Замтарадзе ткнул мне в спину пальцем и поманил к себе. Вижу, хочет что-то сказать, а не говорит.

– Чем могу быть полезен, батоно? – спрашиваю я его.

– М-м-м… Делать-то что дальше будем? – сказал он едва слышно.

Я понимал, что говорить надо шепотом, но – почему, взять в толк не мог.

– Слышал Отиа мой разговор с этим подлецом Чониа, как вы думаете?

– Нет, не слышал. Он во дворе гулял.

– Видите ли, – сказал Замтарадзе, подумав, – хоть и блевотина этот Чониа, а говорит правду. Мы тут обжираться будем, а им – голодать. Некрасиво получается.

– Мой дядя Мурман сам беден. Что имеет, тратит на больных и на лекарства для них. Столько людей ему не прокормить. Он одному Хосро за восемь месяцев жалованье задолжал. Отдавать нечем.

– Да я вам не о том, бог с вами! Я о чем думаю… Раньше случалось здесь, чтобы голодали? И что вы тогда делали?

– Право, не помню, чтобы такое бывало… Впрочем, если у вас есть деньги, купите со своим товарищем в складчину пуд кукурузной муки и немного сыру. Это обойдется вам недорого. И они будут сыты, и вам спокойно. А там придут к кому-нибудь из них, хоть немного да подбросят. Это будет проще всего.

– Я сам об этом думал, но мой товарищ ни за что не согласится.

– Почему?

– Это у него спросите.

– А как бы он поступил?

– Как поступил бы?.. Возьмет и не притронется к еде, пока у них не появится что есть. Так и будет, уверяю вас. Но сам помогать им не станет и мне не даст. Это я знаю наверняка. Такой зарок он положил себе и от своего не отступит.

Что мог я ответить?

В большую палату вошел Хосро, роздал лекарства и принялся за уборку.

– Есть в нашей деревне человек, – услышал я голос Квишиладзе, – был он на войне, с турками воевал. Ел, говорит, там шашлык из конины. Не такой он человек, чтобы врать, да и сам думаю, а чем плох шашлык из конины? Ведь если прикинуть, чем кормят армейских лошадей? Травой, сеном, ячменем, овсом. Ничего другого и не дают.

– Про конину не скажу, не знаю, – это говорил Кучулориа, – а с дичью бывает: сразу ее не выпотрошат, она и даст запашок, подумаешь – испортилась, а ведь нет, мясо как мясо. Бывало, убьешь зайца, домой принесешь, а запах от него – бери и выбрасывай. Ан нет, не выбрасывал. Выпотрошишь, шкуру сдерешь, промоешь как следует и ешь себе на здоровье. Не хуже другой еда, а по правде сказать, так и вкуснее. Проткнешь его вертелом, покрутишь над огнем, и как пойдет аромат, а жирок как закапает да зашипит – ну и ну, скажу я вам!

Хосро обвел взглядом палату, покачал головой и вышел.

– Ты как в воду смотрел, Кучулориа, – сказал Квишиладзед, – я как раз об этом думал. Помню, нашел я в горах убитую куропатку. Дня три уж прошло, не меньше…

– Вы понимаете, что голод толкнул нас на этот разговор, – прервал их Варамиа. – Нельзя, когда голодаешь, говорить про еду, от этого еще хуже будет. Только дразните себя понапрасну. Бог милостив, все образуется.

– Чтобы я больше не слышал про пищу ни слова! – приказал Чониа.

И все замолчали.

– А-у-у-у! Пропал народ. – Замтарадзе повернулся ко мне зашептал: – Вот вам деньги, молодой человек. Передавать им из рук в руки – не дело, пойдут благодарить, Отиа поймет, откуда у них еда взялась, и конец нашей с ним дружбе. Не откажите в любезности, отдайте эти деньги Хосро, пусть купит в Поти еды и раздаст им от имени Мурмана.

И двух часов не прошло, как Хосро от имени дяди Мурмана втащил в палату порядком муки и фунтов шесть-семь сулгуни.

Все замерли, и только Варамиа, спохватившись, стал благодарить дядю Хосро, который уже выходил из палаты.

К тому времени Туташхиа уже вернулся в комнату и перелистывал «Витязя в тигровой шкуре», отыскивая любимые места, но весь он, как и Замтарадзе, был в большой палате.

У наших соседей еще долго молчали и вдруг – как взорвалось. Чониа схватил котел, притащил воды, раздул огонь в печке, развязал мешок, попробовал муку на язык – не прокисла ли… Остальные на все голоса давай хвалить дядю Мурмана! Квишиладзе завел, как там-то и там-то и такой-то и такой-то человек сделал такое-то и такое-то доброе дело. Кучулориа давай спорить, что, дескать, быть того не может, чтобы человек тот был добрее и щедрее нашего доктора. Палату как вихрем подняло. Пока варили гоми и приступали к еде, языки не останавливались ни на минуту, галдели – хоть святых выноси. В тот день Чониа еще раз сварил гоми и накормил всех. Уже было за полночь, когда Кучулориа высказался в том духе, а не сварить ли нам еще разок. Все согласились, и опять – гвалт и нескончаемый лязг печной дверцы.

Галдели чуть не до рассвета, сон отбили начисто, и в каком часу проснулся я на следующий день, теперь и не вспомню. Часов одиннадцать было, а может, и больше, но в комнате опять стоял пресный запах гоми и палата шумела не стихая. Даты Туташхиа не было. Замтарадзе улыбнулся мне и сказал:

– Долго вы сегодня спали. – И добавил чуть тише: – С утра уже второй раз варят. Пока глаз сыт не будет, желудка не набьешь. Это голод.

– Чужое добро, ну и жрут в три горла, жалко им, что ли, – ответил я.

Хосро принес завтрак для Замтарадзе и Туташхиа. Замтарадзе был бодр и оживлен, легко приподнялся и заглянул в миски.

– Как приказал Отиа, – сказал Хосро. – Гоми и сулгуни. Велел ничего больше не подавать.

Замтарадзе взглянул на меня, потом на Хосро:

– А не пронюхал ли Отиа… что я вам деньги дал. Никто не мог ему сказать?

– Нет, вроде ничего не говорил, – ответил Хосро.

– Откуда ему узнать? – добавил я.

Замтарадзе немного успокоился, лег на спину и стал ждать товарища. Пришел Туташхиа, и они приступили к завтраку.

– Что-то не припомню, Отиа-батоно, чтобы ты постился?

– Что будет к месту, то и будем есть, сколько впрок пойдет, столько и возьмем, – сказал Туташхиа.

В следующие пять дней ничего примечательного не случилось. У Замтарадзе спала опухоль на ноге, трещина, видно, заживала. Он смело взялся за костыли. У Даты Туташхиа боли тоже прошли, он двигал рукой почти свободно. Все, что принес Хосро, больные съели до последней крошки. Замтарадзе пришлось опять раскошелиться. Про конину и дичь с запашком никто уже не вспоминал. Ели, когда хотели и сколько желудок мог вместить. И очень уж подозрительно молчали. Разговаривали редко, и росло в большой палате странное напряжение.

Как-то утром болтали мы с Замтарадзе – он расспрашивал меня про грузинские племена, обитающие в Турции. Туташхиа, как всегда был во дворе. В большой палате собирались завтракать.

– Чониа, а, Чониа! – послышался голос Квишиладзе. – Вот уж с неделю приглядываюсь я

к тебе, и знаешь… Смотрю все, смотрю и… ты, конечно, дели гоми и сыр, но уж не забывай, пожалуйста, что всем поровну должно достаться!

Чониа, подававший в эту минуту гоми Кучулориа, замер, и миска повисла в воздухе.

– Вот смотри, опять, опять, – зашептал Замтарадзе. – Едят все одно и то же, а глаза голодные, ему и кажется, что в его миску меньше попало.

– Вы поглядите на него! – заорал в эту минуту Чониа. – Выходит, я тебе меньше кладу, а себе больше – ты это хочешь сказать?

– Что ты себе кладешь больше, да еще корку всегда забираешь, это ладно: раз ты у котла, тебе и положено, а вот Кучулориа даешь больше, чем мне и Варамиа, – это не порядок. Чтобы этого больше не было! – сказал Квишиладзе.

– Что ты, что ты, он дает мне никак не меньше, чем другим. Что ты выдумываешь? – залопотал Варамиа, испугавшись, что вспыхнет ссора.

– Не пойдет Чониа на такое, – вступился Кучулориа. – Да и глядеть положено в свою миску, а не в соседскую.

– Не нравится, как я делю? Вот тебе мука и сыр, а вон огонь, и вари себе сам. Я на тебя больше не варю, баста!

– Ну, не ссорьтесь, пожалуйста, не надо, – попытался унять их Варамиа, – были б мы голодные, и то надо бы удержаться, а тут сыты по горло, и зачем нам поедом друг дружку есть. Мне и половины моей доли хватит, и так через силу ем. Возьмите у меня, вам и будет в самый раз.

– Не варю я для Квишиладзе, и точка, – упорствовал Чониа.

– Ни мне, ни Кучулориа готовку не одолеть. Что же теперь, голодать, Квишиладзе?

– Не знаю я ничего!..

В палату вошел Туташхиа, и разговор оборвался.

– Нажрались, из горла прет, теперь друг за друга взялись, – прошептал Замтарадзе. – Пресытились!

Туташхиа был явно взволнован. Ему не сиделось на месте, где не притронулся, послонялся по комнате и вполголоса, будто доверяя важную тайну, сказал мне:

– Что-то происходит в бочке.

– Что? – спросил я спокойно.

– Одна крыса сидит посередине и, кажется, подыхает. Остальные – вокруг нее, сидят и смотрят… ждут, когда сдохнет.

Неожиданности для меня в этом не было. Когда самая голодная крыса начинает издыхать, другие бросаются на нее и сжирают. Тут-то и надо запомнить, какая рванется первой. Ее надо будет беречь, холить, защищать. Когда все крысы бросаются на одну, между ними начинается драка, и в драке больше всего могут искусать ту, которая рванулась первой. От укусов она может ослабнуть, и ее съедят. Бывает, когда выводишь людоеда, гибнет даже последнее животное – укус не заживет, рана загноится, крыса и подохнет. Тогда, считай, весь труд пропал даром.

– Вот это уже настоящий голод, Отиа-батоно, – сказал я и отправился на балкон.

Туташхиа последовал за мной, но в бочке ничего интересного уже не было, только вместо семи в ней сидело шесть крыс. Одной из них достался хвост съеденного животного, и она лениво покусывала его. Увечья или укуса я не заметил ни на одной крысе, а это значило, что каннибализм в тот день не должен был повториться.

Дата Туташхиа уселся на перила и стал глядеть на море.

Когда я вернулся и сел за стол, из соседней комнаты послышался голос Варамиа. Он говорил размеренно и обдумывал, видно, каждое слово:

– Господин Мурман кормит нас и не вмешивается. Он не говорит: вот вам на один раз и больше не просите. К чему же нам спорить и ссориться? Если одному из нас не хватает, сварим побольше, и дело с концом. Зря ты говоришь, Квишиладзе-батоно, будто Чониа тебе кладет меньше, а другим больше. Обманывают глаза тебя, оттого и говоришь нехорошо. И ты, Чониа-батоно, не обижайся понапрасну. Бывает, у человека ум за разум зайдет, скажет не к месту, делу вред, а от твоей обиды и злобы он еще больше вреда натворит. Будешь упрямиться, так и выйдет. Ни к чему обиду копить и счеты сводить! Мелка ваша ссора – зачем она вам?

– Ты, часом, не поп, Варамиа? – спросил Чониа.

Варамиа опять переложил негнущиеся руки и повернулся на бок.

– Нет, не духовное я лицо, – сказал он, лежа ко всем спиной.

– Тогда кончай свои проповеди. Тебя не спрашивают, что делать!

Кучулория громко рассмеялся – смех был такой, что и Чониа, и Варамиа – каждый из них – могли подумать, будто Кучулория на его стороне.

В полдень Чониа поставил котел на огонь и отмерил муки, как всегда, на четырех человек. Я уже подумал, что он отказался от своей угрозы. Но ошибся. То ли оттого, что Чониа и так уже решил ничего не давать Квишиладзе, то ли оттого, что Квишиладзе перед тем, как Чониа начал раскладывать гоми по тарелкам, пошел рассуждать уже и вовсе ни к селу ни к городу, – отчего, не знаю, но Чониа поделил еду на три, а не на четыре доли.

А сказал Квишиладзе вот что:

– Варамиа-батоно, по тебе видно – человек ты толковый. Вот и скажи. Евангелие учит нас: утопающему протяни руку вытащи из воды. А ведь в жизни все не так было. Слышал я будто тот, кто веру и Евангелие выдумал, однажды сам тонул, а тот, для кого он веру и Евангелие выдумал, шел мимо. Жалко ему стало тонущего, он и протяни ему руку и вытащи его из воды. А спасенный-то взял и съел своего спасителя, как цыпленка. Конечно, что написано в Евангелии и чему вера учит, человеку знать надо, но поступать он должен наоборот: увидишь, утопающий вылезает уже из воды, ты его ногой обратно пусть себе тонет, а то выберется, отдышится и тебя же съест.

Варамиа собрался было ответить, но, заметив, что Чониа Квшиладзе не дал гоми, приподнялся и сказал:

– Возьми, Квишиладзе-батоно, мой гоми, съешь половину, а после и меня покормишь.

Чониа ухмыльнулся.

Квишиладзе ни в какую – умру, говорит, а не притронусь. Варамиа от своего не отступает: не возьмешь, тогда и я есть не буду. Но Квишиладзе ни с места.

Кучулория съел свою долю и говорит Варамиа:

– Я уже поел, повернись, я тебя покормлю.

Варамиа отказался. Кучулория упрашивал, увешевал – напрасно, Варамиа ни в какую. Так и не стал есть. По правде говоря, милосердие Кучулория отдавало фальшью. Он вроде бы и хотел, чтобы Варамиа поел, но и против не был, чтобы Варамиа до еды не дотронулся.

– Не будешь есть, Варамиа-батоно, остынет твой гоми, весь вкус пропадет, – Кучулория ткнул пальцем в миску Варамиа.

– Он уже не мой, – сказал Варамиа.

– Если не твой, тогда ничей… – Кучулория взял гоми и быстро задвигал челюстями – видно, боялся, что Варамиа передумает и попросит миску обратно.

На том и кончилась перепалка.

– Это гоми их погубит. Увидишь, – шепнул Замтарадзе Туташхиа.

– Видно, так тому и быть, – ответил Туташхиа. – Все от набитого брюха. Они обречены.

Замтарадзе не понял, что хотел сказать Туташхиа, и знаком просил его объяснить.

– Сюда бы Сетуру с его восемью именами, хоть плохонькую надежду этому люду подбросить… А можно и не надежду. Нашлась бы добрая душа, подбросила к их гоми и сыру ткемали, они бы и успокоились – на время. На время, – говорю я.

– Как бы, Бесо-батоно, – добавил немного спустя Дата, – не попасть бы нам в тот же переплет, что и на Саирме. Боюсь только, что другого такого лазарета тебе не найти. И куда нам тогда деваться?

Что подразумевал Дата Туташхиа, я не понял, но Замтарадзе покраснел, как мальчишка. Кто накормил большую палату, Дата Туташхиа уже не сомневался.

– Они есть хотели, что же мне было делать? – промямлил Замтарадзе.

– Ты их накормил, они и взялись друг друга сжирать, – сказал Туташхиа. – Нечего было к ним лезть…

Вечером Чониа опять приготовил гоми. На этот раз он и Варамиа ничего не дал. Старик молчал, но Чониа сам пустился в объяснения.

– Ты все равно не ешь, я и не стал тебе варить. Чего сам не хочешь, того пусть господь

тебе и не отпустит.

– Вы поглядите на этого попрошайку! – возмутился Квишиладзе. – Ладно, ты на меня окрысился. Но что тебе, пес ты бессовестный, от бедняги Варамиа надо? Он мне свою долю предложил – ты за это на него взъелся? А ты забыл, как он для тебя последнего куска хлеба не пожалел? Ты нищим сюда приполз, тебя накормили, а теперь ты турком над нами торчишь и голодом нас извести хочешь? Каков, а?..

– Квишиладзе-батоно, – прервал его Варамиа, – ты не забывай: поделиться последним куском – это не благодеяние и не добродетель. Это человеческий долг. Поймешь это – попрекать не будешь, а совесть твоя будет чиста. Все наши размолвки отойдут, забудутся, а ты сколько раз вспомнишь про свои попреки, столько раз и покраснеешь, и тяжесть будет на душе твоей. Не надо так говорить больше.

– Этот бандит обдирает нас и не краснеет, а мне-то чего краснеть?

– Воздержись от того, о чем после жалеть придется. Потерпим. Придут же к кому-то из нас. Раньше или позже, а придут, – увещевал Варамиа.

– Ну, болтайте, болтайте, сколько влезет, – сказал Чониа уверенно и спокойно, и тут я вспомнил, что через два дня он должен встретиться с квишиладзевской Цуцей.

В палату вошел Хосро с коробкой лекарств, и перебранка замолкла.

– Смотри, Чониа, – сказал Хосро, раздав лекарства и собираясь уходить, – как бы не узнал Мурман о твоих делах, а то попросит тебя из лазарета.

Квишиладзе фыркнул.

– Чего смеешься, свинья! – оборвал его Чониа.

У Кучулориа испуганно забегали глаза, он поднялся, постанывая.

– Господи, никогда так живот не болел. И чего я съел?

– Был бы я на ногах, ты бы узнал, кто здесь свинья, – рявкнул Квишиладзе.

Держась за живот, Кучулориа убрался на балкон.

– Живот заболел у этого прощелыги! – сказал Замтарадзе приподнявшись, поглядел в окно на балкон. – Стоит себе, ухо в дверь воткнул.

– А откуда Хосро все узнал? – тихо спросил Туташхиа, уловил в его голосе упрек Замтарадзе.

– От меня, но и без меня он уже обо всем догадывался, – сказал я. – Хосро – мудрая голова. Кто-то должен вправить им мозги, иначе они кости переломают друг другу или еще чего-нибудь похуже… Жалко все-таки.

– Себя пожалеть надо – смотреть приходится на их непотребство, – сказал Туташхиа. – Они делают, что им положено, без этого им жизнь не в жизнь.

– Ты вот что, Чониа, – громко сказал Хосро, – пропускай мимо ушей, если кто тебя обидит. Ты здоровее других, ты и помогай всем. А вы тоже держите себя в руках! Скучно, конечно, каждый день друг на дружку глядеть, вот и дрязги. Но это искушение. Не поддавайтесь ему.

– Хосро-батоно, – сказал Чониа, – никто мне не надоел, И Квишиладзе этот, сукин он сын, или кто другой, плевать я хотел на все обиды. Худо мне, слаб я. Котел и мешалка не по силам стали. Скажете мне – бросься, Чониа, в воду, пойду брошусь. Если завтра с утра будет мне так же худо, как сегодня, не сварить мне гоми. Клянусь могилами родных на земле и богом на небе – не вру.

Скрипнула балконная дверь, и в притихшую палату вошел Кучулориа.

– Ладно, не будем столько хлопот доставлять Хосро, – сказал он, будто и не выходил из палаты. – Может, и правда, совсем ослаб Чониа. В последнее время мне полегчало. Я буду варить. Что поделаешь, всяко в жизни приходится.

– Вот и дело. Давай, Кучулориа, берись за котел. – Хосро улыбнулся лукаво и вышел.

– Вернул себе Кучулориа котел, мешалку и корочку, – отметил Замтарадзе. – Сменился губернатор.

Прошло около часа. Кучулориа поднялся и объявил:

– Мурман приказал вам кормиться как следует. Все, конечно, слышали? Варить буду я, но делить, Квишиладзе-батоно, будешь ты, не беда, что без ног остался. И чтоб никто спорил… припасы общие, и ведать надо сообща.

Решительный тон Кучулориа и новая совместная дележка возымели свое действие. Все ели с удовольствием, кроме Варамиа. Он открывал рот, когда Квишиладзе подносил ложку, жевал отрешенно и плакал.

На другой день Туташхиа сообщил мне, что в бочке назревает новый каннибализм. Абраг с таким усердием помогал мне выводить людоеда, будто был моим компаньоном.

– Куджи-батоно, они оголодали и пожирают друг друга – это все понятно. Но вы говорили, что людоеда можно вывести и обжорством. Будь они сыты, как же тогда?.. Вот чего я никак не пойму.

– Сытыми-то они будут, но эта сытость – от одной пищи: от кукурузы, к примеру, или от пшеницы, все равно. Когда они наедятся до отвала и раздобреют – надо бросить им кусочек прокопченной свиной кожи. Кто посильнее, тот и захватит этот кусочек, но съесть не сможет – кожа жестка как камень, и выпустить ее тоже не выпустит – уж очень заманчиво пахнет. Этот запах и притягивает всех. Хозяин этого ошметка, хоть убей, другой крысе его не уступит. В конце концов крысы сообща нападают на того, кто захватил копченость. Начинается драка, и в драке хоть одну крысу да съедят, а кожица опять кому-то одному достанется. Придет потом и его черед – и так одна крыса за другой…

Все это хорошо, назавтра предстояла встреча Чониа с квишиладзевской Цуцей, и это самое важное! Я и так прикидывал, и эдак – что делать, как быть? Не поверите, но настолько меня все это волновало, что уснул я далеко за полночь. Проснулся, едва светать начало. Ни плана, ни решения в голове моей так и не сложилось. Все произошло само собой. Я позавтракал, поймал своего Фараона, сунул его в карман и понес в Поти продавать.

Продал я его довольно быстро, почувствовал голод и зашел в духан. До прихода Цуциного поезда оставалось часа два. Надо было торопиться, чтобы прийти к месту свидания пораньше, а то Чониа обогнал бы меня, и мне тогда ни скрыться, ни спрятаться. Успел я вовремя, все обошел, осмотрел и тихонько подкрался к тому самому месту. Чониа еще не было. У обочины в ольховнике, вижу, много-много дров разбросано, я собрал их и сложил маленький сруб, внутри которого можно было даже лечь. Снаружи забросал поленьями помельче – ищи, не найдешь. Устроился хоть куда, одно меня беспокоило: чтобы Чониа и Цуца Квишиладзе расположились так, чтобы было слышно их, а видно оттуда было за версту.

Был конец декабря или начало января. Ветры в это время года – с моря. Дуло, но все равно было тепло.

Вскоре появился господин Чониа. Видно, он хорошо знал, когда придет поезд, да и на такое дело шел, похоже, не первый раз – шагал он важно, как индюк, уверенный в себе и в успехе. Сначала он поглядел на дрова. Потом перешел на другую сторону дороги, где был кустарник, и сел на камень. Видно, заднице его стало холодно, он вернулся на мою сторону, выбрал полено, подложил под себя и уселся на то же место. Еще немного погодя вынул кисет и закурил. Когда он выплюнул окурок, у потийского семафора раздался свисток паровоза.

До чего же он был мал и тщедушен, когда приковылял в лазарет. Я принял его тогда за ребенка. Позже он немного окреп, но все равно очень уж был щуплый. Сейчас я смотрел на него из своей засады и думал, на что же жил этот гном. Возьми он лопату или мотыгу, свалился бы со второго взмаха. Он не знал грамоты, чтобы служить. Наверное, пристроился где-нибудь сторожем или в духане на побегушках. Чониа начал насвистывать собачий вальс, да еще с вариациями, и тут меня осенило. А-а-а, знаю, где он служил. У исправника, при его дочерях состоял, ну не гувернером, конечно, а в конюшне, убирал за лошадьми барышень. Но ведь и для этого нужна сила?.. Так я развлекал себя и превосходно себя при этом чувствовал, пока не услышал за спиной шорох. Обернулся – но что мог я увидеть, если, сооружая свою крепость, не сообразил, что подойти могут и с тыла, и никакого просвета для наблюдения не оставил. Какие были щели, в те и пытался я хоть что-нибудь да разглядеть. Никого я не увидел, а шорох между тем превратился уже в явственный звук шагов – кто-то подкрадывался к моему убежищу. А вдруг это хозяин за дровами пришел? – подумал я. Спугнет свидание, да и меня накроет – что мне тогда говорить, что делать? И тут в одну из щелей я увидел чьи-то ноги и руки. Кто-то стоял на четвереньках. Лица и фигуры видно не было. В растерянности, надеясь хоть что-нибудь разглядеть, я метался от одной щели к другой, пока не ударился головой о верхнее полено, и довольно сильно, должен вам сказать. И тут – вот те на! – я увидел Дату Туташхиа!

Глаза у него были как кинжалы – это я и раньше за ним замечал. Он в упор смотрел на мое укрытие, ни на вершок в сторону. Видно, он уловил движение внутри поленницы, не, знаю, испугался ли, только в руке у него был огромнейший маузер, и, клянусь, если б ненароком он спустил курок, пуля пришлась бы мне точно между бровей.

– А ну вылезай, – шепотом приказал абраг, но шепот этот показался мне сильнее грома – все с непривычки.

Я раздвинул поленья в задней стенке и высунул нос, чтобы он увидел меня. Мы молча смотрели друг на друга. Дата убрал маузер за спину и жестом спросил: чего ты здесь делаешь? Я знаком объяснил, что слежу за Чониа. Абрага разобрал смех, он даже рот рукой зажал. Я позвал его в свое убежище, отсюда – объяснил – удобнее наблюдать. Он подумал, подумал и влез ко мне.

– Что здесь происходит? – спросил он.

Я рассказал ему все по порядку. Абраг рассмеялся, прикрыв лицо башлыком. У этого человека было одно странное свойство: он либо пребывал в глубокой задумчивости, либо веселился. Сколько ни наблюдал я его, середины он не знал.

Мы всласть нашушукались, но я так и не понял, почему ему понадобилось следить за Чониа. Об этом я и строил догадки, поджидая свидания Чониа и Цуцы. Может быть, в Туташхиа заговорило чутье на приключения, понятное в абраге, и любопытство привело его сюда? А может быть, заметив, что Чониа собирается улизнуть из лазарета, он решил из предосторожности проследить за ним – не отправится ли негодяй в полицию, почуяв что-то подозрительное в них с Замтарадзе?

Туташхиа толкнул меня локтем: не спускай глаз с Чониа. Чониа все еще восседал на полене, сосредоточенно вглядываясь в дорогу, ведущую в Поти. Несколько раз он даже ладонь приложил ко лбу, встал, одернув на себе пиджачишко, опять сел и, уронив голову, погрузился в задумчивость. Мне показалось, он нарочно напустил на себя вид человека, измученного ожиданием. «Что за нудное дело взвалили на меня», – говорила, казалось, вся его убогая фигурка.

Вскоре и мы разглядели то, что с таким усилием пытался увидеть Чониа. По дороге шагала здоровенная бабища. На плече хурджин – под стать ее росту. В руке – корзина.

Она двигалась, как слон на водопой, степенно и тяжело отмеряя шаг.

– Такую великаншу вы когда-нибудь видели? – спросил я Туташхиа.

Абраг широко улыбнулся.

А баба шла, как большой корабль, и, поравнявшись с нами, стала.

Чониа лениво поднял голову и оглядел женщину с полным безразличием:

– Ты чего это уставилась на меня?

Женщина поставила корзину на землю и подбоченилась.

– А тебя что, мил-человек, отец с матерью кланяться не научили?! Чего уставилась! Небось такого ладного да пригожего на свете не видела.

– Давай иди себе, куда идешь, а то я тебя!.. – Чониа поднялся, одернул пиджачок и зашагал взад-вперед.

Вышагивал он с великим удовольствием, но руками размахивал, как необученный первогодок.

– Ой, мама родная, а расхаживает-то как важно этот коротышка! – искренне удивилась баба. – Мальчонка, ты чей, а? Меня здесь человек должен был ждать – где кустарник и дрова в ольховнике.

Чониа остановился, вгляделся в лицо женщины, сошел с обочины и сказал возмущенно:

– Ты, часом, не Цуца Догонадзе, жена Спиридона Сиоридзе, а идешь к Бесиа Квишиладзе?

– Да, так оно и есть.

– Так оно и есть, говоришь? А где у тебя совесть, столько времени ее жди. Бесиа твой погнал меня ни свет ни заря – утренним поездом, сказал, приедет. Я – Чониа. Давай, да побыстрее, чего там передать надо, времени у меня в обрез.

– Бери, да вон сколько притащить велел дурень-то мой. Я и то еле тяну. А тебе, птенчик ты мой, и с места не сдвинуть.

– Кончай болтать! В два приема унесу.

Квишиладзевская Цуца опять усмехнулась и взялась за корзину:

– Ну, как там мои мужики поживают?.. Пойдем-ка туда, к дровам, посидим, расскажешь по порядку.

Баба поставила свой багаж прямо перед нашим носом. Чониа устроился по другую сторону хурджина и корзины. Пока Чониа загибал про житье-бытье Квишиладзе и Сиоридзе, баба достала из хурджина вареную курицу, свежий сыр, копченую свинину и водку. Появились два граненых стакана. Чокнулись, выпили.

Что говорилось в лазарете про Сиоридзе, Чониа, конечно, запомнил. Другой наслушается всякой всячины о незнакомом человеке, а пересказать так, чтобы поверили, будто сам он этого человека знал, ни за что не сумеет. Но в правдивости Чониа сам черт не усомнился бы. Да зачем далеко ходить, даже я поверил было, что он и со Спиридоном Сиоридзе не разлей вода.

– Оголодали, вот оно что, – определила баба. – А Спиридон, сукин сын, знает, что Бесиа в мужья мне набивается?

– Да ты что, в своем уме? Они же поубивают друг друга.

– Поубивают, а то как же… У Спиридона-то, поди, уж и седина в волосах?

– У Спиридона твоего уж пять лет как на голове ни волоска, чему бы там седеть, ты мне скажи!

– А тебе откуда знать, что на голове у Спиридона пять лет назад было?

– А как же мне не знать, если мы с ним на аджаметской станции вместе служили. Спиридон в стрелочниках ходил, пока у него паровоз с рельс не сошел. Я там шпалами ведал. Как Спиридона прогнали, я хотел на его место пристроиться, да не взял меня Эртаоз Николадзе.

– А что этот в Аджамети делал?

– Что делал? У Спиридона твоего на ногах пальцы считал! Чего же было ему еще делать, если он начальником станции был, Эртаоз Николадзе, да и по сей день, говорят, там сидит. Давно я в тех краях не бывал, может, и правда там, а может, и нет.

Квишиладзевская Цуца и Чониа опрокинули еще по стаканчику.

– Твоя правда, шестипалый – Спиридон. Только одного я в толк не возьму: как это ты, с куриный помет мужичонка, шпалы на себе таскал, а?

Баба, прищурившись, поглядела на Чониа.

– Болезнь да недуг, как возьмутся, кого хочешь одолеют. Я разве тогда таким был?

Баба подумала-подумала, пропустила еще стаканчик, но Чониа не дала – уж очень ты плох, сказала, в чем только душа держится, свалишься, не дотащишь моей поклажи до лазарета.

– Ну так что он говорит, Спиридон Сиоридзе, где пропадал столько времени?

– А ничего не говорит. Помалкивает себе. С твоего Бесии честное слово взял, что ничего тебе о нем не скажет.

В наступившем молчании Чониа не останавливаясь двигал челюстями – жевал и глотал, жевал и глотал. А женщина ушла в свои мысли.

– А Бесиа мой скоро домой вернется? Что доктор говорит, когда отпустит?

– Доктор сказал, через две недели ходить будет. Вот и придет.

– Уж больно ты врать горазд, а такой плюгавенький! – удивилась квишиладзевская Цуца. – Ладно, переложу из хурджина в этот мешок, а ты уж проворней, пока туда доползешь, да обратно, да еще один конец, глядишь, поезд уйдет.

Баба быстро управилась, отхлебнула водки, сунула бутылку в мешок Чониа и взвалила ему на спину.

– Ну, поживей!

Чониа и налегке был не ходок. Как он этакую тяжесть собирался допереть до лазарета, было непонятно. Но жадность и успешный оборот дела, видно, придали ему сил, и он зашагал на удивление резво.

– Измучается, бедняга, да бог с ним, зато моим мужикам недельки на две хватит! – говорила баба сама себе. – И где это на свете видано, чтобы у одной бабы два мужика в одном лазарете лежали, да еще рядышком, а?! – Квишиладзевская Цуца залилась было смехом, но тут же, заткнув рот кулаком, оглянулась. – Господи! Господи! Увидит кто – с угла, скажет, баба свихнулась! Муж – тоже мне! Он потому на мне женился, что десятину кукурузы могу за день переполоть, да еще потому, что баба я в теле и не то что Спиридон, негодяй, а любой мужик рад

бы со мной улечься. Баба я хоть куда, все говорят, да я и без них знаю. А вдруг и Бесиа ко мне потому же льнет? Откуда им знать, как бабу любить? Ну, вот хоть раз додумался… хоть один из них, ну хотя бы конфеточку мне купить? Батрачка я им, бык да вол… – Цуца разрыдалась, слезы в три ручья, и ну причитать: – Да будь проклят тот день, когда родилась я женщиной, только и знаешь, что горе мыкать, из беды не вылазишь. Одно слово – баба! Ладно еще, если господь детишек пошлет, а нет их – так последний мужичонка за человека тебя не считает. Спину гнуть – бабе. По покойнику выть – и то бабе, а мужикам что? Сидит на поминках, дует вино – и на том спасибо. На свадьбах, пока мужики не напьются, с ног валятся – баба сиди и гляди на них. Напьется, глаза зальет – совсем дураком делается. Да и от трезвого – какая от него радость? А от пьяного? Домой на себе тащи, дома он на тебя с кулаками. Была б я мужиком! И что было бы? Как что? Привела бы в дом жену, нарожала б она мне детей – сама и крутись, а я – живи себе, на белый свет радуйся. Нет, ей одной крутиться-мучиться нехорошо, нет. А я б и вовсе не женилась! – Баба смахнула слезы платком, всхлипывания прекратились. – Не женилась бы, и все. Мало баб на свете… нашла б – только захоти. Пошла б… где эти… с ружьями, – в караульщиках стала б служить. Да во мне девять пудов – что, дела б мне не нашлось? С моей статью – хоть куда возьмут. Погоди, погоди… В борцы, вот куда надо – в борцы. Да я б эту мелюзгу пораскидывала, только считать успевай! Симонику Вачарадзе взять, посильнее его много найдешь из тех, что по городам борьбой на хлеб зарабатывают? И не ищи – не найдешь. Так я этого Симонику у Пелагеи на свадьбе на себе таскала. Как кукурузный початок, могла зашвырнуть, куда б захотела… Выучилась бы их ремеслу – и ходила б по городам, искала славу. Ну и дури в тебе, Цуца Догонадзе! Ни отца у тебя, ни матери, ни мужа, ни детей. Ветер в голове, и все.. – И опять запричитала баба… – Хоть бы брата или сестру господь послал, а то одна как перст на всем белом свете.

Не буду тянуть с рассказом. Поплакала квишиладзевская Цуца, поплакала и сама, видно, не заметила, как стала напевать потихоньку, а потом и вовсе замолчала – сон ее сморил. Ольховых дров кругом набросано, а Цуца спит себе тихо-тихо, жалко ее – сил нет.

Дата Туташхиа лежал, отвернув лицо, можно было подумать – он раньше ее заснул. Я ему ни слова: все равно, пока они не расстанутся, нам отсюда не выбраться. Немного погодя Туташхиа поднял голову и подал мне знак – приближался Чониа. Цуца не могу сказать что храпела – не храп это был, а сопела она, и довольно звучно. Чониа склонился над ней и, убедившись, что женщина спит, обшарил пустой хурджин и, ничего не обнаружив, стал рыться в корзине. Женщина зашевелилась. Чониа выпрямился и громко сказал:

– Вставай, Цуца, я уже здесь!

Она протерла глаза, села и принялась перекладывать из корзины в мешок кульки, банки, свертки. Чониа уселся рядом уставился на нее, будто лишь сейчас впервые увидел.

– Тебе сколько лет, Цуца? – спросил он.

– Сколько? Тридцать два. А тебе зачем?

– Не дашь тебе тридцать два. Двадцать пять – двадцать шесть от силы. Уж очень ты хороша, баба, в самом соку…

Она замерла и опять принялась перекладывать банки и свертки из корзины в мешок.

– Все при тебе. Только как же ты, в самом цвете женщина, царица прямо, без мужика обходишься – удивляюсь просто!

– Ладно тебе! – Цуца смутилась и тут же вся подобралась. – Как только у тебя язык поворачивается спрашивать про такое?.. Терплю, и все. А что мне делать, как не терпеть? – закончила она искренне и печально.

– Где были у него глаза, у этого Спиридона Сиоридзе? От такой жены чего искать?.. Подлец он распоследний… Таких молодцов и искать не надо, чтобы захотели в мужья к такой женщине. Я сам таких наберу, – рассыпался Чониа.

Квишиладзевская Цуца сияла. Она млела от болтовни Чониа, она смущалась, эта громадина, словно девочка.

– Господу богу до нас и дела нет. Справедливость его не про нас. Одну всего сладость послал он человеку, а во всем другом – горе да беда. У тебя же и эту радость господь отнял, одну-то единственную. Да за что?

– Бесталанная я, Чониа, нет мне счастья, – ответила Цуца. – Не дал мне господь ни семьи,

ни очага.

– Да ты сама на себя беду накликаешь, глупая ты баба… – ласково попрекнул ее Чониа. – Когда о мужниной ласке вспоминаешь, что с тобой бывает?

– Чего бывает? Терплю!! Куда денешься? Про коров вспомню, про кабана или про кур, а то сад или поле на ум придут, про них думаешь-передумаешь, глядишь – позабудешь и мужа, и все… Да не заводи ты со мной об этом, далась я тебе, – неожиданно рассердилась Цуца.

– Э-э-зх! – вздохнул Чониа. – Вот тебе и справедливость божья.

Он вдруг помрачнел и поник весь, да так горестно, что мне показалось – еще минута, и он заплачет, но он не заплакал, а заговорил душевно и вкрадчиво:

– Телочка ты безгрешная, птица райская, Цуцико, сердце мое, кто ж это сказал, что нет бога на небесах! Без бога – кому еще послать нас друг к другу? Вот я возле тебя. Обниму, приласкаю, и не забыть тебе мою любовь никогда, по гроб жизни. Так оно и будет – попомни мои слова.

Глаза Чониа скользнули по груди Цуцы. Он подобрался поближе к ней и дал уже было волю рукам, но поостерегся. А квишиладзевская Цуца все перекладывала и перекладывала свою снедь, но так и ждала, что еще скажет Чониа или позволит себе. Корзина была уже пуста; Чониа, видно, сообразил, что дальше тянуть нельзя, и его рука ящерицей скользнула по ее дородной груди. Баба оторвалась от корзины и уставилась на своего соблазнителя.

– Я сильный, очень я сильный. Поди ко мне, такого, как я, у тебя и не было никогда, сама увидишь.

Она расхохоталась:

– Тебе чего надо, Чониа, скажи бога ради?

Чониа рванулся к ее губам, но она взяла его виски в свои ладони и, откинув голову, спросила:

– А вот я сейчас раскрою рот, вдохну поглубже и с воздухом тебя втяну – чего будешь делать, а?

Квишиладзевская Цуца, видно, живо представила себе эту картину, и так ей стало весело, что у нее от смеха слезы потекли. Но смех вдруг оборвался, она замерла, вся напрягшись, и бросилась на Чониа с кулаками… Господи, как она его колотила! Лупцевала что есть силы, лупцевала, да еще приговаривала:

– Это ты, да моим мужикам дружок? С бабой моих мужиков, дружков-то своих, поиграться захотел? Вот тебе, да еще разок, да еще получи! Сильный он, ах какой сильный! Все вы хвалиться горазды, кобеля паршивые! Глаз еще не прикроешь, а они бежать, сам сатана их не догонит! На тебе, да еще, еще получи, чтоб не забыл – раз уж такие вы все сильные, сильнее не видать нам.

Цуца так отделала подопечного моего дяди Мурмана, что я и Дата Туташхиа чуть не выскочили из нашей засады, чтобы унять разъяренную бабу.

Чониа не сопротивлялся. Он только прикрывал лицо руками, пока не ослаб так, что и руки уронил, – тут-то разошедшаяся Цуца и исполосовала ему всю физиономию.

– А теперь бери мешок, и чтоб духу твоего здесь не было. – Видимо, ей самой надоела эта возня.

Чониа еле поднялся. Цуца взвалила на него мешок и подтолкнула в спину. Чониа двинулся, но не сделал и десяти шагов, как баба его окликнула:

– Брось мешок и поди сюда!

Чониа подчинился, но с явной нерешительностью, – на лице его был страх.

Держа его за шиворот, женщина пошарила у себя на груди толстыми короткими пальцами, вытянула сложенную ассигнацию, сунула ее в карман Чониа и, повернув его лицом к мешку, приподняла и отшвырнула прочь. Он упал возле мешка.

– А теперь вставай и сам поднимай мешок. Я тебе десять рублей дала. Это доктору. Отдай деньги Бесии сполна, дрянь ты распоследняя, а то приду через неделю и покажу тебе, какой ты сильный, и еще добавлю.

Баба смотрела вслед Чониа, едва волочившему ноги, пока он не скрылся за пригорком.

– Многовато получилось, пожалуй, – промолвила она. – Отделала я его… а в чем только душа у мужика держится!

Мы возвращались медленно и молчали. Уже показался лазарет, когда Дата Туташхиа сказал:

– Чем же все это дело кончится, хотел бы я знать?

– Какое дело? – Я не сразу сообразил, о чем он.

Мой спутник шагал в глубокой задумчивости. Мы прошли еще шагов сто, прежде чем он очнулся. Я уже забыл, что он не ответил мне.

– Да все эти дела, они одной веревочкой перевиты.

– А как мне быть, что вы посоветуете? Ведь Чониа может легко прикарманить деньги, предназначенные дяде моему Мурману.

– Может, свободно может.

Мы шли молча до самого дома и уже поднимались на балкон, когда Туташхиа сказал:

– Мне кажется, все прояснится само собой. Образуется. Они сами договорятся между собой, и деньги сами найдут своего хозяина.

На балконе я заглянул в бочку. Там все еще было четыре крысы. Я понаблюдал за ними и, не заметив особенных перемен, сказал Туташхиа:

– Кир будет съеден.

– Но вы говорили, что Кир-то и выживет?

– Тут, видите ли, что получилось? Эта крыса гораздо сильнее и здоровее других. Кир одолел всех и, когда были разодраны первые две крысы, получил самую большую долю. Он обожрался. Не сможет переварить. Подохнет. Видите, как его скрючило? Не сегодня, так завтра уж непременно его прикончат.

В палате Чониа выкладывал из мешка провизию, разбирал, рассовывал, развешивал. Он взглянул на нас, и я почувствовал, как в нем натянулась струна подозрения. А может быть, он насторожился оттого, что мы застали такую пропасть всякой снеди, свалившуюся на него будто с неба, тогда как сам он уверял дядю Мурмана, что у него на свете нет никого и нечего ждать, что к нему придут.

Больные, разумеется, не принимали ни малейшего участии в хозяйственных хлопотах Чониа. Казалось, они не замечали ни Чониа, ни его богатства, но было видно, все терялись в догадках – откуда свалилась на него этакая благодать?

На подоконнике стало тесно от бутылок и банок всех калибров. Чониа приспособил даже гвозди, торчавшие в стене: на одном висел мешок с мукой, на другом связки лука и чеснока, на третьем – перец и сулгуни, нанизанные на шнур. Свисали дородные куски копченого и вяленого мяса. Словом, палата походила теперь на кладовую зажиточной семьи и на крепостной бастион, под который были подложены бочки с порохом, – разом.

Чониа закончил свою возню и приступил к ужину. Подогретый хачапури он запил водочкой и отведал вареного сома под острым соусом. После этого ему почему-то захотелось холодного чурека с чесноком, и на десерт он пососал сахарный песок. Вроде бы сыт! Он собрал остатки ужина, вымыл миску и прилег было, но ему захотелось пеламуши, и в полной катхе его заметно поубавилось. Он насыщался с таким остервенением, будто час тому назад не мне и Дате Туташхиа летели в голову косточки от курицы квишиладзевской Цуцы.

Варамиа лежал лицом к стене и, казалось, спал. Квишиладзе перебирал четки и ни разу не взглянул в сторону Чониа. Кучулориа исподволь, но с острым вниманием наблюдал за церемониалом ужина Чониа, за разнообразием блюд и, убедившись, что Чониа и в голову не приходит потчевать его, бросил ядовито:

– Хотелось бы знать, откуда у такого бедолаги, как ты, столько жратвы взялось?

Чониа и ухом не повел.

Дата Туташхиа упоенно рассказывал Замтарадзе о нашем приключении и о свидании. Замтарадзе еле сдерживал смех, и, когда не мог пересилить себя, от взрывов его хохота вздрагивали стены.

– Кучулориа, туши лампу, спать пора! – весьма решительно приказал Чониа.

Палата опешила.

– Помилуй, мы ведь не куры – лезть на насест, едва стемнеет, – мягко заметил Кучулориа после минутного молчания. – Сварим гоми, остатки сыра наскребем, поедим, а спать или не спать – об этом уж после поговорим.

– А какое мне дело, ужинали вы или нет, что там у вас – ошметки сыра или жмых. Сказал – тушить лампу и спать! И чтоб звука не слыхал – устал я сверх всякой меры!

И слова поперек никто не сказал.

– Не человек ты, вот что я тебе скажу! – едва слышно проворчал Варамиа.

– Тушите, тушите, некогда мне с вами разговоры разговаривать! – Чониа оглядел больных и, поняв, что подчиняться ему не собираются, встал, подкрутил фитиль и лег.

Квишиладзе без чужой помощи встать с постели не мог, да и лампа от него была далеко, что правда, то правда, но хоть словом мог он ему возразить? Ни звука он не произнес. Варамиа и вставать, и ходить мог, но руки у него были в гипсе – ему ли с фитилем возиться? Да и трудно было ждать от такого человека чего-то большего, чем он уже сказал. И Кучулориа тоже ни словом, ни делом не обнаружил своего отношения к происходящему. Судя по всему, фитилю суждено было остаться опущенным и вечернему гоми – несъеденным.

Прошло минут десять – пятнадцать, и звук фанфар раздался совсем с другой стороны; расторопней обычного Чониа вскочил с постели и стремглав бросился к балкону… Балкон, разумеется, был тут ни при чем – до того места, куда торопился Чониа, было совсем не близко, если б, конечно, он не ослушался строгих неоднократных наказов Хосро.

Дверь захлопнулась, и Квишиладзе расхохотался.

– Ты чего, дурак, смеешься? – набросился на него Кучулорна.

– А чего? – Квишиладзе оторопел.

– Как это чего?.. – Кучулориа бросил взгляд в сторону нашей комнаты, подбежал к Квишиладзе и наклонился над его ухом.

– Что?.. Как?.. – закричал Квишиладзе. – Неси сюда!

Кучулориа поднял фитиль, поднес катху с пеламуши Квишиладзе и ткнул пальцем в шарнир ручки.

– А-у-у-у! – завопил Квишиладзе. – А-у-у-у!

Повернулся Варамиа.

– А-у-у-у! Катха моей Цуцы!

– Да-а, Чониа будет съеден, как пить дать! – сказал Замтарадзе.

– Одолеют, думаешь? Слишком уж нагл, мерзавец. – Туташхиа был в сомнении.

– Таких, даже будь он царь, съедают вместе с войском, – уверил Замтарадзе.

– Катха моей Цуцы! А-у-у! – ничего другого не мог вымолвить потрясенный открытием Квишиладзе.

– Очнись! Почему это твоей Цуцы катха? По всей Гурии и Аджарии полно таких катх, да и в Имеретин их не меньше, – сказал Варамиа.

– Да замолчи ты! – одернул его Кучулориа. – Цуцину катху не то что Квишиладзе, я сам среди ста катх, глаза закрыв, узнаю. У Цуцы на катхе с обеих сторон всегда кресты вырезаны. Послушай, Квишиладзе! Ты лежи себе и помалкивай, а катху в руках держи. Он как войдет, мы поглядим, что он, подлец, скажет!

Палата затихла в ожидании, но Чониа не показывался.

– Подумать только! Как он чужой хлеб жрал, а! Эге-е-е! – Голос Кучулориа громом рассек напряженную, готовую разорваться тишину.

И опять сомкнулась тишина. Квишиладзе вперился глазами в Кучулориа и готов был испустить свое «а-у-у», но Кучулориа погрозил пальцем, и у Цуциного возлюбленного вопль застыл на губах.

В палату вошел Чониа.

– Кто засветил лампу? – Он произнес это так, будто человека, совершившего это, ждала верная смерть.

Квишиладзе хлопнул крышкой катхи. Чониа обернулся. Оторопь длилась не более секунды. Он прыгнул кошкой и вцепился в катху. Квишиладзе одной рукой схватил Чониа за шиворот, а другой поднял полено и трахнул им его по голове. Чониа свалился на пол, Кучулориа мигом оказался рядом и, пока я сообразил выйти и разнять их, с такой ловкостью и сноровкой колошматил застрявшего между кроватей Чониа, будто никогда и не слышал о болях в позвоночнике. На крики и возню в палату вбежали мой дядя Мурман и Хосро. Население лазарета Мурмана Ториа сбежалось на место происшествия.

– Что здесь происходит?! – закричал Хосро.

Чониа дали понюхать нашатыря и привели в чувство.

– Да ничего такого, Мурман-батоно, пошутил я немного, – простонал Чониа и укоризненно – Квишиладзе: – И как это шуток не понимать?

– Вот, поглядите, будьте добры!.. – воскликнул Квишиладзе и тут же осекся.

Мурман долго ждал, чтобы ему объяснили, что здесь стряслось, но все хранили молчание.

И на меня поглядел Мурман. Знаком я объяснил ему, что все расскажу позже.

– Баловства здесь не допускайте. Обходитесь без ссор и драк! – сказал дядя Мурман и удалился.

Вернулись к себе и мы.

Чониа лежал под одеялом, свернувшись калачиком как пес. Перебрав всю провизию Цуцы Догонадзе, Кучулориа переносил ее на новые места и, послушно выполняя все, что скажет законный владелец, рассовывал снедь под койкой и у его изголовья.

– Чониа съеден! – отметил Замтарадзе.

Разложив все по местам, Кучулориа поставил котел и начал готовить ужин. Пока варилось гоми, Чониа то и дело со стонами и проклятьями выбегал во двор. Всякий раз это сопровождалось солеными замечаниями Квишиладзе и Кучулориа. Варамиа ворочался с боку на бок и стонал. Душа его была не на месте. Квишиладзе накрыл стол по-царски, даже по стакану водки роздал. Наелись до отвала. Поболтали, пошутили, и затих лазарет.

Утром меня разбудил Замтарадзе – он звал к себе Чониа.

Отодвинув занавески, Чониа остановился на пороге.

– Подойди ближе! – сказал Замтарадзе.

Чониа послушался.

– Что собираешься делать с деньгами, которые Цуца Догонадзе передала Квишиладзе для доктора? – спросил абраг.

Чониа – на дыбы, отпираться, но вдруг сник и, сунув руку за пазуху, вытащил деньги Цуцы Догонадзе.

– Откуда знаешь? – шепотом спросил он, протягивая ассигнацию Замтарадзе.

– Зачем мне суешь, я что – Мурман Ториа?

Чониа осекся.

– А как же быть?

– Надо хозяину вернуть.

– А хозяин кто? Квишиладзе или доктор Мурман?

– Квишиладзе. Он должен передать Мурману.

– Опять бить будут. В третий раз. Убьют.

– Не надо доводить до того, чтобы тебя били. Эти деньги доктора, но отдать их должен Квишиладзе.

– И вам не надо было доводить дело до того, чтобы вас били… там! – сквозь зубы отпустил Чониа.

У Замтарадзе глаза на лоб выкатились.

– Где это, мой дорогой?

– А там, на Саирме.

Я ничего не понимал. Ясно было только, что Чониа где-то видел, как били Замтарадзе. Иначе Замтарадзе должен был бы возражать, протестовать, но он молчал, вглядываясь в лицо Чониа, и думал, думал…

Чониа ожил, растерянность Замтарадзе была ему на руку, и не мешкая выпал.

– Когда Цуца мне деньги давала, она сказала – отдай доктору сам.

От сердца у него отлегло, он перевел дыхание – вывернулся, даже самому понравилось.

– Тогда отнеси и отдай, – Замтарадзе махнул рукой.

Чониа постучался в дверь Мурмана и вошел.

– Не говорите Отиа про нас разговор с Чониа, – попросил Замтарадзе.

Когда я после завтрака вернулся в палату, у Кучулориа уже готов был утренний гоми. На стуле стояли четыре миски. Табуретка, на которой покоился котел с гоми, он пододвинул поближе к Квишиладзе, принес сыра, и, как это повелось в последние дни, Квишиладзе стал

делить пищу, ничего не положив, однако, в миску Чониа. Он сунул руку под кровать, вытащил окорок и, срезав тоненькие кусочки, разложил их по местам.

– Ткемали заправим, вон бутылка стоит, – сказал он. – Беречь надо, кто знает, как дела пойдут.

Кучулориа свою миску поставил поближе к Варамиа. Он был явно не в духе – видно, надеялся что завтрак будет поплотнее.

– Есть вместе будем, – сказал Кучулориа Варамиа. – Ложку из твоей миски тебе, ложку из моей – мне, а то пока я тебя покормлю, мой гоми остынет, вкус уже не тот будет.

– Почему Чониа обделили? – спросил Варамиа.

– Животом мучается, нельзя ему, – фыркнул Кучулориа.

– Вчера мучился, сегодня вроде полегче.

– Он моего, слава богу, как следует попробовал. Столько нажрал, что и впрок не пошло. Все – мое, и мне лучше знать, кому давать, а кому – нет! – твердо сказал Квишилидзе.

– А я говорю разве, чтобы ты его своим кормил? – вступился Варамиа. – Гоми и сыр – от доктора Мурмана. Он на всех дал. Что виноват Чониа перед богом и тобой – это одно. А гоми и сыр ему положены и его долю вы должны ему отдать. Раз за справедливостью дело – вот вам она, справедливость.

– Ты что, спятил? Какая там справедливоть – полно молоть! – вспылил Квишиладзе.

– Да-да, конечно, конечно, – зачастил Кучулориа. – Чего это ты вступаешься за подлеца? Это как понимать, а?!

– Я ни когда ни за кого не вступаюсь, – спокойно отвтеил Варамиа. – Что скажет доктор Мурман, если узнает? Я за справедливость. Отдайте Чониа его долю из того, что дал Мурман! – И опять притихла палата.

– Что еще нужно этому несчастному? – сказал я Замтарадзе. – Сам он без чужой помощи куска хлеба положить в рот не может. Обозлит всех, и некому будет его кормить. И жаловаться он не будет – не такой этот человек. С голодухи отдаст богу душу, и понимай как звали.

– Вот что я подумал! – обьявил Квишиладзе. – Кучулориа, переложи из миски Варамиа кусок моей свинины себе. Так-то. Теперь поди сюда и это гоми положи Чониа. – Квишиладзе вынул из своей миски кусочки окорока и отодвинул миску от себя. – Варамиа-батоно, я не стану есть гоми и сыр, поднесенный Мурманом, мне своего хватит, и я благодарен доктору Мурману – он помог мне перебиться, пока у меня своего не было. Ну, как? Теперь – по справедливости?

– Теперь – да. Пусть так и будет! – согласился Варамиа, но было ясно, такого поворота дела он не ожидал.

– Неси сюда свою миску, Кучулориа, и оставь в покое этих справедливых и честных людей! – медленно и внятно произнес Квишиладзе.

Кучулориа съел гоми с кусочками сыра и пожевал совсем крохотные кусочки мяса. Квишилидзе уплетал не на шутку. Варамиа сидел на своей постели и уныло глядел в свою миску. Чониа лежал спиной ко всем не шевелясь и, видимо, соображал, что ему теперь делать. Вдруг он вскочил, пересел к Варамиа и поднес к его губам ложку гоми.

Вошел Туташхиа.

– Остыло все! – встретил его Замтарадзе.

– Ну и отделали тебя, беднягу, – услышали мы голос Варамиа. – Это же надо так измордовать человека.

– Тебе, Варамиа, перепало не меньше. Ешь и помалкивай.

– Больше всех и больнее всех достается всегда таким Варамиа. – тихо сказал Туташхиа. – Можете мне поверить.

– И все же ты оказался прав, Отиа батоно, – промолвил Мосе Замтарадзе немного погодя.

Дата Туташхиа удивленно посмотрел на Замтарадзе.

– Вот и утряслось все, – сказал Замтарадзе. – Каждый сверчок на свой шесток попал. Смотрите: Квишиладзе любит что послаще. Послаще ему досталось. Кучулориа – лиса, такие лакейством живут. И он свое место занял. Чониа, правда, не досталось, сколько он заслужил, но все-таки всыпали ему дай бог. Только честный – несчастен. У справедливого хлеб должен быть, но только лишь хлеб – ничего больше. Поглядите, Варамиа ничего, кроме гоми, и не досталось.

Все образовалось само собой.

– Что так сложилось – это правда, – сказал Туташхиа. – Но неужели только так и должно все получаться. Они сожрали друг друга, и теперь они уже не люди.

– Ты слишком хорошо о человеке думаешь. А он вон каков, Отиа-батоно! – Замтарадзе кивнул в сторону большой палаты. – Какие они есть, такую по себе и жизнь устраивают. Ты первый сказал мне, и теперь я сам это понял – никогда не надо вмешиваться в чужие дела и в чужую судьбу. Кормили мы их, кормили, а что путного получилось?

– Я не говорил, что никогда не следует вмешиваться. Я не буду вмешиваться до тех пор, пока не пойму – что лучше, вмешаться или остаться в стороне. – Туташхиа взял книгу.

А в лазарете и правда воцарилось спокойствие. На следующий день мой дядя назначил Квишиладзе прогулки по часу три раза в день и снял гипс с рук Варамиа.

Прошло еще дня три-четыре. Все было по-старому. Чониа и Варамиа ели гоми и сыр Мосе Замтарадзе, думая по-прежнему, что их угощает Мурман Тория. Кучулория получил из этих даров свою долю, а Квишиладзе каждое утро отрезал ему по кусочку мяса. Зато сам Квишиладзе обжирался как мог и сколько влезало. Я наблюдал за ним, и у меня составилось впечатление, что он старался как можно быстрее сожрать все, что получил.

Замтарадзе совсем поправился, только немного прихрамывал. Дни шли за днями, и никто из больных даже слова не проронил, будто дали обет молчания.

Однажды ночью, часа в три, в палате раздался вопль Квишиладзе:

– Кучулория, зажги лампу! Сейчас же! Какой сукин сын потушил, только бы мне узнать! Зажги лампу немедля!

– Что случилось? Что ты орешь среди ночи? Какая муха тебя укусила? – откликнулся Варамиа.

– Зажги лампу, Кучулория, зажги, не тяни! – продолжал орать Квишиладзе. – Стой, Чониа, ворюга ты и подлец! Ну, теперь не уйдешь. Не рвись напрасно, не вырвешься!

В палате возились, тузили друг друга, но лампу зажигать не торопились. Мосе Замтарадзе поднялся, засветил лампу и пошел было в большую палату.

– Поставь лампу на место и ложись, ради всех святых, – ледяным голосом остановил его Туташхиа.

Замтарадзе удивился, видимо, не привык к такому тону, однако лампу не поставил.

– Перебьют друг друга и сожрут сами себя, – Замтарадзе встретился взглядом с Туташхиа и осекся. – А мы будем сидеть сложа руки?

– Да, пока не станет ясно, как быть.

– Ясно никогда не станет, – сказал Замтарадзе, сдаваясь и ставя лампу на стол.

– Несите лампу, люди вы или кто?! Вы что, не слышите, что здесь творится?! – кричал Квишиладзе.

Я взял лампу и вышел в большую палату. Варамиа сидел на постели и глядел во все глаза. Чониа лежал на боку, ладошка под щеку и, ехидно щурясь, ждал развязки.

Кучулория лежал на полу лицом вниз, а его правую руку мертвой хваткой зажал обеими руками Квишиладзе.

Дяди Мурмана и Хосро в ту ночь в лазарете не было, их увезли к больному, довольно далеко, а то раньше Хосро никто бы на шум не прибежал.

Квишиладзе отпустил свою жертву. Кучулория медленно поднялся, озираясь кругом, и, сорвавшись с места, вмиг выскочил на балкон – в ночной тишине шарканье его шлепанцев донеслось с дороги, идущей в Поти.

– А-у-у-у! – вырвалось у Квишиладзе. – Змею я пригрел на своей груди, змею!

Мосе Замтарадзе рассмеялся и снова улегся в постель.

– Стой, Чониа, сукин сын! Из моих рук не вырвешься, – передразнил Чониа Квишиладзе и, повернувшись лицом к стене, добавил надменно: – Был бы Чониа способен на такие дела – поглядел бы я на тебя!

…Рассвело.

Мы с Датой Туташхиа стояли на балконе, наблюдали за моими животными. В бочке осталось две крысы, и уже не было сомнения, которая из них будет продана шкиперам. Туташхиа прежде меня заметил молодого человека, идущего к лазарету, долго еще

приглядывался и, сбежав по лестнице, пошел к нему навстречу. Они перекинулись несколькими словами, и молодой человек ушел. Под вечер абраги оседлали лошадей и распрощались с нами. С тех пор ни одного из них я не встречал. Вот и все, что я знаю про Дату Туташхиа.

К Варамиа пришел брат, принес уйму всякой снеди, но Варамиа не захотел оставаться в лазарете, расплатился с Мурманом и, оставив Чониа все, что ему принесли, ушел.

Было за полдень, когда Квишиладзе, взяв костыли, спустился во двор гулять. Чониа уложил провизию, оставленную Варамиа, все перевязал, перекинул через плечо и отправился в сторону Поти. Квишиладзе проводил его взглядом, вернулся в палату, проверил свои припасы – не прихватил ли кто-нибудь из отбывших его добро.

Мешочки, кульки, катхи… в одних насыпана была земля, в других зола…

Вот так все и было.

ГЛАВА ВТОРАЯ

И когда народ ступил на стезю порока и малодушие взялось вершить дела, доселе великодушием вершимые, сказали иные:

– Кто нас кормит и холит, тех мы и нарекаем своими ближними.

И тогда померкло Добро и умалился народ – ибо в душе даже самых праведных погибли благие семена, а любовь стала подобна плевелу на почве сухой и бесплодной. Произошло же это потому, что много было осаждающих, да мало осажденных.

И содеялось:

Совесть – звуком пустым и бряцающим, а в устах гонителей бранью и поношением; Сила – мечом, подъятым на собственную душу, и ярмом для ближнего; Доброта – ангельской личиной на лике дьявола; Женщина – игралищем страстей, блуда и бесплодия; Друг – наперсником в злодеяниях и пороках и собратом в низменном страхе; Отчизна – ристалищем стяжателей и пашней для сеяния лжи, поросшей терниями и дурманом: Хлеб и прочее добро – уделом мздоимцев и мытарей, а весь Мир – царством ненависти.

И когда совершилось все реченное, померкло даже солнце, ибо затмило его сияние злата. И начал народ молиться ненависти и отмщению, ибо они и стали его богом. А жрецом того бога и вершителем судеб и дел своих народ нарек дракона, чья пища была плоть и сердца человеческие. Дракон же жрал их, не ведая насыщения. Но был он, однако, не только зверем, но и созданием, ибо гнездился в глуби души человеческой и был основой всех составов ее. Тогда оскудел Разум и страшны стали дела его; вольный предался в рабство, сняли ярмо с выи вола и возложили на шею человека; двинулись орды, опустошая землю и увели с собой мудрейших и красивейших, а прочих обложили непосильной данью; мудрецы забыли завет отцов, и искусство чтения звезд стало на порабощение души человека. Льстецы и безумные избороздили моря златоверхими судами, дабы еще умножить богатство и роскошь своих поработителей; лжепророки и пустосвяты обучили народ волшбе и кудесничеству, дабы удушить настоящую веру; безумные сожгли нивы и посеяли ядовитые злаки, дабы вкусившие их забыли разум и совесть.

И народ въявь зрел дракона, яко живущего в палатах и садах, но чтил его не как зверя, а как стража, и утверждение Маммонова царства – ему же и конца не будет. Ибо для маловерных и слабых духом был тот дракон желанным и возлюбленным, хотя питался он кровью и душами народа.

И рек тогда Туташха:

– Убила любовь не ее же слабость, а сила врага, ибо не было у нее ни острого меча, ни крылатой стрелы ни железного панциря дабы защитить достояние свое. Не будет же сего! Ибо не добром, не мудростью, а лукавством завоевал дракон мир, попрал вольность, изгнал мужество.

И воссел богатырь на белого коня, вознес копье к солнцу и поклялся отныне попирать и карать зло только силой.

Ибо не был богом Туташха.

Граф Сегеди

Сыск вынужден классифицировать разбой по видам и разновидностям, ибо без этого невозможно определить метод борьбы. Дата Туташхиа принадлежал к абрагам. Насколько позволяют мне судить длительные наблюдения, простой люд весьма деятельно сочувствует абрагу, и не только тому, кто хоть раз показал себя народным заступником, но и тому, кто, спасая собственную шкуру, пустил в преследователей пулю и скрылся. Подобное сочувствие произрастает на почве извечного и перманентно действующего противостояния власти, независимо от образа правления и правовых условий. Каждый сопротивляется властям средствами, ему доступными. Диапазон способов неподчинения и противостояния весьма обширен – от укрытия доходов и обычного воровства до укрытия абрага, который, сопротивляясь, способен схватиться за оружие. Такое состояние умов обусловлено и отвлеченным началом – стихийной жаждой изменений, развития, и мотивом обыденным, корни которого следует искать в материальном интересе.

Если верно, что близость людей питается нуждой друг в друге, то согласиться следует и с тем, что слава абрага в народе растет в той мере, в какой он заступается за народ, и как следствие – укрепляется его опора среди населения. Народ не отказывает в помощи даже грабителям и убийцам. Такая помощь, однако, вызвана преимущественно страхом. Помощь, оказанная абрагу, народному заступнику, питается и страхом, и уважением. Помощь есть забота, труд во имя благополучия абрага, что подразумевает пренебрежение собственными интересами, а порой смертельный риск. В совокупности получается то, что принято называть любовью. В случае с Туташхиа людьми правил страх и уважение. О нем заботились, из-за него рисковали и в конце концов начинали любить, до тех пор, разумеется, пока была нужда друг в друге.

Но под солнцем ничто не вечно и не бесконечно. Безупречная репутация Туташхиа заколебалась. Трудно поверить, но казалось, он сам добивался этого намеренно, методично и целеустремленно. Мы, как могли, способствовали его компрометации.

Гиго Татишвили

Я завершил образование, вернулся в Грузию, жить было не на что, и пришлось сразу искать место. В Западной Грузии акционерное общество чиатурского марганца прокладывало дороги, мне предложили снимать профили в окрестностях Чаладиди, и я заключил с ними контракт.

Чтобы таскать приборы и снаряжение, пришлось нанять двух человек из местных крестьян. Как-то вечером, когда палатки были уже разбиты и мы поужинали, они попросили выплатить им жалованье. Сроки уже подошли, и я рассчитался. Я влез в свою палатку, они – в свою, и мы заснули. Утром не оказалось ни рабочих, ни лошадей. Лошади были угнаны, рабочие исчезли. Места эти были безлюдны, вокруг на десять – пятнадцать верст одни болота в тучах малярийных комаров. Кладь мою и раньше едва тащили две вьючные лошади. Куда же мне было деваться одному, да еще с немецкой измерительной оптикой, которая в те времена ценилась очень дорого?! Я взвалил на себя ящики и двинулся по болотам в надежде найти хоть какую-нибудь тропу.

Уже перевалило за полдень, когда я вышел на проселочную дорогу, утопавшую в грязи. Но чего это мне стоило! Плечи от ящиков и ремней были как не свои. Ноги стерты до крови. Об усталости не говорю. К тому же, не знаю как, но, блуждая по болотам, я потерял часы. Хорошие часы – «Павел Буре». Я сел у обочины и стал ждать – авось арба проедет или кто-нибудь лошадей погонит.

Сколько времени я просидел – ни души. Только проковыляла старуха с ребенком на руках. Я проклинал себя и весь белый свет, но лучше было просидеть в этой грязи еще три дня и три ночи, чем случиться тому, что случилось. Никогда не знаешь, что тебя ждет! Судьбе было угодно, чтобы я встретил самого Дату Туташхиа.

В ту богом проклятую ночь стряслась большая беда. Сколько потом в полицию и жандармерию меня таскали, столько другие в должность свою не ходили. Прошло и десять, и

пятнадцать, и двадцать лет, а совесть все терзала меня. Я искал и не находил себе оправдания. Раскаяние теснило душу, а поделиться было не с кем, да и самого меня не тянуло на откровенность. Теперь позади уже полвека. С течением времени человек все прощает себе, со всем примиряется, всему оправдание находит. Сейчас мне уже не так тяжело вспоминать правду, и я расскажу все, как было.

…Вечерело, а помощи ждать было неоткуда. Я вспомнил, что верстах в семи-восьми отсюда есть духан. Я бывал в нем не раз и однажды даже ночевал. Называли этот духан – по имени хозяина – духаном Дуру Дзигуа. Сидеть дальше не имело смысла, и я потащился по дороге. Стертые, распухшие ноги горели в сапогах, оказавшихся вдруг тяжелыми и тесными. Снял сапоги – еще хуже. Я не привык ходить босиком, содранную кожу жгло, будто ноги опустили в соленую воду.

Пройдя версты две, я понял, что, если не покажется луна, мне в темноте и шагу не сделать. И тут я услышал стук копыт. Но не радость, а страх охватил меня: вдруг, думаю, мерещится. И правда, все стихло. В отчаянии я только что по лбу себя не бил. Прошел еще немного, прислушался: были отчетливо слышны стук копыт и говор. Я присел у дороги и стал ждать, счастливый, как никто на этом свете.

…Их было двое. Оба пешие, но один вел за уздечку коня. Когда они подошли ближе, я различил в одном из них монаха, который, как объяснял он позже, собирал пожертвования на монастырь. Второй был богато одетый молодой человек. Под распахнутой буркой мерцал золотой кинжал, а сбоку висел маузер в инкрустированной деревянной кобуре. У акционерного общества была своя милиция, и поначалу я принял этого человека за милицейского. Роста не особенно высокого, но широкий в плечах, крепкого телосложения. Оставлял впечатление физической силы. Этот молодой человек, как оказалось вскоре, и был Дата Туташхиа.

Когда они поравнялись со мной, я поднялся и приветствовал их. Монах остановился и спросил, не нуждаюсь ли я в чем-либо. Туташхиа и шагу не сбавил, сухо поклонился и продолжал путь. Монах был мне ни к чему, мне нужна была лошадь Туташхиа, и я крикнул:

– Погоди… Христианин ты или турок, окаянный?..

Он остановился.

– Что вам угодно, сударь? – вполне доброжелательно спросил он.

В Западной Грузии все вежливы, все доброжелательны. Гостя угощают доброжелательно; наверное, и головы сносят тоже доброжелательно.

Я объяснил ему свое положение и попросил уступить лошадь, чтобы довезти приборы до духана Дуру Дзигуа.

– Ничем не смогу помочь вам, сударь, – сказал Туташхиа, немного помедлив, и двинулся дальше.

Я оторопел. Это было единственное спасение, и оно ускользало.

– Вы бросаете меня в беде, в этих глухих местах! – закричал я.

Он опять остановился, теперь уже довольно далеко от меня, и снова задумался.

– Пожалей его, ведь тоже дитя божье, – сказал монах. – Помоги, и господь наградит тебя за доброе дело.

Туташхиа усмехнулся и пошел себе дальше, а монах, потоптавшись, вернулся ко мне и взвалил на себя добрую половину моей ноши. Не прошли мы и десяти шагов, как Туташхиа оглянулся и стал подтягивать подпругу коня. «Сядет сейчас в седло, и поминай как звали», – подумал я, но он дождался нас и, приняв наш груз, перекинул его через седло.

– Садитесь, сударь, прошу вас, – он подсадил меня в седло.

Я понимал, что благодарность тут неуместна, даже опасна, и молчал. Монах, видно, тоже это понимал. Молчал и Туташхиа. Лишь немного спустя он проронил:

– Вынудили все ж таки!

– Бог милостив! – сказал монах, которому послышалось раскаяние в словах абрага.

– Я хотел сказать, что напрасно пожалел вас, батюшка! – уточнил Туташхиа.

Монах перекрестился, а я молчал, боясь разозлить абрага. Ссадит еще и груз сбросит. Слава богу, от таких страданий избавил. «Что ж, мир велик, – думал я, пытаясь оправдать его, – и у каждого свои представления о добродетели. Какой он есть, этот человек, такой и есть, и ничего здесь не поделаешь».

Из кустарника на дорогу выскочили козы. За ними с криками и гиканьем несся сынишка духанщика Дзоба. Он круто остановился перед нами и поклонился каждому в отдельности. Туташхиа о чем-то спросил мальчика, и Дзоба, принимая поводья, ответил:

– Проехали уже, дядя Дата. Теперь их до завтрашнего полудня не будет!

Я ничего не понял, потому что не расслышал вопрос Туташхиа, – кваканье тысяч лягушек оглушало меня. И как квакали, проклятые! Каждая на свой лад!

Дзоба был на редкость сметливым мальчишкой. Еще раньше он поражал меня своим природным умом. Его никто не учил, он сам умудрился выучиться грамоте и счету и обучал еще свою старшую сестру Кику. Но Кику была туповата. Грация и красота сочетались в ней с ограниченностью несколько даже странного свойства. Эта странность носила весьма недвусмысленный характер. Иначе чем можно объяснить то обстоятельство, что однажды она спросила меня:

– А правда ли, что дети рождаются оттого, что женщина и мужчина ложатся в одну постель?

Тогда я растерялся. Спрашивала почти незнакомая девочка лет четырнадцати-пятнадцати. Пришлось ответить, что это именно так. Через час она опять спросила, а как именно происходит это. Глаза у нее блестели, и было ясно, что все-то ей известно, только хочет она поглядеть, как я буду выкручиваться. То ли просто дурочка, то ли больная… Глупых женщин легко совращать. Мужчины инстинктивно чувствуют это, и для посетителей заведения своего отца Кику была очень притягательна. Словом, все способности и разум, которые бог послал семье Дуру Дзигуа, достались Дзобе, а Кику и, между прочим, сам Дуру Дзигуа остались внакладе.

Однажды Дзоба увидел у меня в руках маленькую книжку стихов. Я отдал ему эту книжонку. Не прошло и месяца, я опять попал в духан. Все стихи он знал наизусть, да еще с каким чувством их читал!.. Он помогал отцу, не очень-то грамотному, подсчитывать расходы и доходы. Мальчишка никогда не видел пароход и спросил меня, какой он на вид. Я рассказал ему и объяснил принцип работы. Он сел и нарисовал пароход. На рисунке были подробности, о которых я даже не упомянул. «Откуда ты все это знаешь?» – «Иначе и быть не может», – ответил он. Дзоба слышал, что существуют гимназии, и мечтал учиться в одной из них. У Дуру в Кутаиси был брат, и отец как-то пообещал сыну – отправлю к дяде учиться. Мальчик хотел стать художником.

– Ну, как живешь-поживаешь, Дзоба-браток? – Туташхиа пошарил в кармане и вытащил огрызок карандаша.

– Да ничего, спасибо, дядя Дата, живу себе помаленьку.

– Вот я тебе карандаш привез.

Дзоба схватил огрызок и послюнявил его.

– А бумага… бумаги у тебя не найдется, дядя Дата?

– Вот бумаги нет, но в следующий раз привезу непременно.

Мальчик улыбнулся и вдруг переменился в лице.

– Ты принесешь! Ты меня никогда не обманываешь. Это отец меня вон с каких пор обманывает: поедешь, говорит, в Кутаиси, в гимназию…

– Я дам тебе бумагу, Дзоба. Много бумаги, целую тетрадь, – пообещал я мальчику.

Духан стоял на перекрестке дорог и был единственным пристанищем во всей округе. Клочок пахотной земли – вот и все владенье Дуру Дзигуа. Хозяин сам вел буфет, сам и стряпал – жена у него давно умерла. Кику убирала, стирала, прислуживала за столом и следила за спальными комнатами. Дзоба бегал по мелким поручениям, да и то изредка, а так топтался в духане, учился премудростям трактирного дела.

– Постояльцев у вас много? – спросил Туташхиа, когда показался духан.

– Всего трое. Вот и вы втроем пожаловали. Будет шестеро. Поставим в комнаты еще по топчану, и отдохнете за милую душу, – обнадежил нас Дзоба.

Одно было странно: по здешним дорогам можно было идти часами, и ни души не встретишь. Но в духане всегда были постояльцы. У входа в духан Туташхиа спросил Дзобу:

– Что там за люди?

– Бодго Квалтава и два его человека.

«Бодго Квалтава и два его человека» – меня как громом ударило. Это же те разбойники, что обчистили в Поти греческую шхуну, взяли деньги и драгоценности. Может быть, конечно, это другой Квалтава… Но такое совпадение!

Дата!.. Он явно от кого-то скрывается или чего-то избегает. …Дзоба сказал ему, что они не проедут раньше завтрашнего полудня. Кто не проедет?.. В конце концов, вовсе не обязательно, что этот Дата именно тот абраг Туташхиа. Но почему тогда у меня из головы нейдет Дата Туташхиа?..

При имени Квалтавы Дата Туташхиа заколебался. Он медлил переступать порог, посторонился, пропуская вперед монаха, еще помешкал и, будто махнув про себя рукой – раз пришел, так входи, – убрал оружие, запахнул бурку поглубже и последовал за монахом.

Вошел и я.

Духан представлял из себя довольно большую комнату с четырьмя столами вдоль стен и маленькой стойкой Дуру в левом углу. Две двери в одном конце зала вели в комнаты для приезжих. Дверей как таковых, собственно, и не было – одни проемы. В другом конце была кухня и две комнаты, где жили хозяева. Едва Туташхиа переступил порог, как духанщик Дуру вышел из-за стойки, подошел совсем близко к нему и тихо произнес:

– Добро пожаловать, Дата-батоно! Прошу вас.

Тут и Кику появилась, встала рядом с отцом на правах хозяйки дома, поклонилась нам и уставилась на мои ящики.

Дуру явно не хотелось, чтобы его особое почтение к Дате Туташхиа было замечено другими, но я стоял близко, и от меня не ускользнуло, что он заискивал перед абрагом. Духанщики обычных гостей встречают с преувеличенной учтивостью. Посетителей именитых – с тем восторгом, неподдельно искренним, с каким Дуру встретил Туташхиа.

– Когда они проехали? – вполголоса спросил Туташхиа, и я понял, что там, на дороге, он не расслышал ответ Дзобы: все из-за этих чертовых лягушек.

– Были, были они уже, Дата-батоно. Теперь раньше завтрашнего полудня их не будет, – Дуру повторил ответ Дзобы. – А эти тебя в глаза не знают, спрашивали, не видел ли я когда-нибудь Дату Туташхиа.

– Ступай к гостям, – приказал Дуру дочери, – и уважай их как положено… Учить тебя и учить.

– У них большие деньги, очень большие! – Глаза Кику заблестели весело и жадно.

Мои подозрения подтвердились. Мой спутник оказался Датой Туташхиа, Бодго Квалтава и его два человека – знаменитыми разбойниками.

Квалтава и его люди расположились за столом так, чтобы ни у кого из них дверь не была за спиной. У каждого на стуле висела бурка. Два винчестера со взведенными курками были прислонены к столу, третий – к стене. Все трое были вооружены маузерами в деревянных кобурах, за поясом у каждого – по пистолету и кинжалу, богато инкрустированному драгоценными камнями. Они были разодеты как на праздник, и взгляд их не обещал ничего доброго. В пять секунд эти молодцы могли уложить на месте десятка полтора человек.

И я, и монах были едва знакомы с Туташхиа, и было бы естественней каждому из нас занять отдельный стол, но ни мне, ни монаху даже в голову это не пришло. Мы сели за стол Туташхиа – нет, мы прятались за спину Туташхиа. Эта мысль пришла мне в голову и только развеселила меня. Я почувствовал себя уверенней и мог спокойно разглядывать опасных гостей духанщика Дзигуа.

Бодго Квалтава было лет тридцать пять. Второму – лет на десять поменьше. А третий был безусый мальчишка, высокого роста и с повадками, по-детски развязными. Стол у них ломился от еды, вино разливалось в огромные чаши, и все их застолье казалось вздыбленным и ощетинившимся, как встревоженный еж.

Не знаю, как монах, а о себе скажу: меня все сильнее забирал страх. Я забыл про израненные ноги, про ломоту в плечах и усталость. Страх наваливался на меня, и была минута, когда я готов был вскочить и бежать на все четыре стороны. Мозг мой просверлила мысль, что Туташхиа вовсе не рад нашему обществу, что вот сейчас он встанет и пересядет за другой стол. Наверное, и монах боялся этого. Мы разом взгляну, на Туташхиа – он был спокоен и равнодушен. Его спокойствие передалось мне. «А ну их к черту, – подумал я. – Будь у них, хоть

пушки, а на том шампуре шашлык из человечьего мяса, чего мне бояться, если я ничего плохого им не сделал?»

Квалтава и его приятели тоже разглядывали нас в упор, медленно переводя осоловелый взгляд с одного на другого. Потом возобновили трапезу, и этим как будто все обошлось.

А Дзоба между тем понемногу перетаскивал мои вещи. Большой тяжелый ящик они втащили вместе с Кику. Кику подошла было к нам, но тут ее настиг окрик:

– А ну, девка, поди сюда. Чего ты там не видела?

– Сейчас, батоно. Выслушаю господ и подойду. Одну минуту.

– Или ты не слышишь, что я тебе говорю, – вновь заорал Бодго Квалтава.

– Погоди, Бодго, – вступился младший, которого звали Куру Кардава. – Ты же не знаешь, что это за люди.

Но Квалтава не собирался уступать. Это поняла и Кику. Она подняла глаза, как бы прося у нас прощения и за гостей, и за себя, и поспешила к столу Квалтава.

Туташхиа, казалось, даже не заметил выходки Квалтава. И следа раздражения нельзя было уловить в нем. Он сидел с видом безразличным и отрешенным.

– Принеси нам еще кувшин вина, – сказал Квалтава Кику. – А другой подай вот тем, – он кивнул в нашу сторону. – И сыра еще давай.

Третий из них, Каза Чхетиа, все это время жадно разглядывал Кику и, когда она поспешила к стойке, не удержался:

– Ох-х-х!

В тогдашней Мингрелии этим возгласом выражали и восторг, и удивление, и страсть. Но порой – и злость.

Каза Чхетиа не мог оторваться от Кику. Было в ее глазах и во всем ее облике что-то такое, отчего казалось, будто она только-только проснулась и еще нежится в постели.

Уже совсем стемнело. Дзоба принес свечи. Кику подала кувшин вина, другой кувшин – подношение Квалтава – поставила на наш стол и снова спросила, чего бы мы пожелали на ужин.

Я и Дата заказали не помню теперь что. Монах отказался от еды и попросил принести только воду.

И снова не успела Кику дойти до стойки, как Квалтава ее окликнул:

– Убери со стола… Все убери. Оставь вино, огурцы и сыр. Вытри и принеси еще одну свечу.

Кику тут же все сделала.

Каза Чхетиа попытался заглянуть в вырез ее платья, но Кику быстро прикрылась рукой.

– Ей, видите ли, стыдно, – хохотнул Квалтава, доставая из кармана колоду карт.

Каза Чхетиа скользил глазами по шее, груди, бедрам Кику.

– Стыдно ей стало… тоже мне, богородица! За пять рублей вот здесь догола разденется, – сказал он, когда Кику отошла.

– Будет тебе, – одернул его Куру Кардава, младший из них.

– Много ты знаешь, молод еще. Женщине бабки покажи, за бабки она на все пойдет. Порода у них такая. У них у всех ноги короткие. Приглядись – увидишь, – сказал Каза Чхетиа и бросил Квалтава: – Ну, сдавай, если взялся!

– Короткие, говоришь, ноги? – процедил Квалтава. – Вот принесут свечу, тогда и сдам.

– Да, короткие, короче, чем у мужчин. Поэтому и делают женскую обувь на высоких каблуках. Чтобы ноги длинней казались.

Дзоба принес еще одну свечу. Квалтава разлил вино, все трое выпили, и началась игра.

Наконец Кику принесла ужин и нам. Монах налил себе воды, добавил немного вина из кувшина, достал из торбы хлеб и покрошил в чашку. Разбойники много пили и крупно играли. Они было заспорили, и еще немного – началась бы пьяная драка, но Куру Кардава пошел на мировую:

– Ладно! Бери четвертак и больше не зарывайся. В другой раз это у тебя не пройдет.

Каза Чхетиа сгреб деньги с таким видом, будто угроза Куру относилась не к нему. Квалтава не вмешивался и не отрываясь смотрел в нашу сторону.

– Сдавайте. Я сейчас, – он двинулся к нашему столу.

Монах перекрестился и поднял на него глаза. Поглядел ему в лицо и я, но меня замутило, и я опустил голову. Туташхиа по-прежнему не проявлял к Квалтава ни малейшего интереса, но я почувствовал, что он сжался, как пружина, и вот-вот взорвется.

– Бодго, давай сюда, играть так играть! Чего ты там потерял? – позвал Куру Кардава.

Я встретился глазами с Казой Чхетиа. Он смотрел на меня, как на Кику. Только там он зарился на плоть, а здесь на кровь.

– Сейчас приду! Играйте! – Квалтава стоял перед Туташхиа. – Хотелось бы знать, почему это вы не пьете вино, которым вас угощают?

Туташхиа и впрямь не притронулся к кувшину. Я – тоже. Ведь меня никто не приглашал. Да и настроения пить не было, хотелось только добраться до постели.

– Благодарим вас за угощение, очень сожалею, но я не пью, – сказал Туташхиа.

Левая бровь у Квалтава изогнулась и поползла вверх, будто хлыст, который тут же со свистом опустится.

На Туташхиа это не произвело впечатления. Он лениво жевал мясо. Квалтава перевел взгляд на меня, окатив наглостью.

– Пьем, как не пьем? – засуетился монах. – Вот вашим вином я ужин себе заправил.

Но Квалтава и не думал слушать монаха.

– А ты что не пьешь? – спросил он меня.

– Видите ли, мне тоже нельзя. Но за ваше здоровье – с удовольствием, – неожиданно для себя услышал я собственный голос. Я залпом выпил вино и перевернул чашу вверх дном. – Пусть так будет пусто вашим врагам.

А что мне было делать?

– Так-то, – сказал Квалтава и резко повернулся к Туташхиа: – Ты кто такой?

– Вы меня спрашиваете? – не поднимая головы, произнес Туташхиа.

– Тебя. Кого же еще?

– Путник я, – ответил Туташхиа.

Квалтава смутился и как-то осел.

– Будешь играть или нет? – раздался раздраженный голос Куру Кардава.

Перед Куру Кардава высилась куча ассигнаций. У Казы Чхетиа опять ничего не осталось.

– Дай-ка мне, Бодго, из моей доли тысячу рублей. Я проиграл, – сказал Каза Чхетиа.

Они вмешались весьма кстати. Квалтава пора было убираться, но не мог же он уходить, поджав хвост, оставив последнее слово за Датой. Он бы опять полез к нему, и к чему это могло привести – один бог знает. Из внутреннего кармана черкески Квалтава вытащил толстую пачку денег, отсчитал тысячу рублей и, надменно оглядев всех, вернулся к своему столу.

Духанщик облегченно вздохнул.

Мимо нас проскользнула Кику с постельным бельем на вытянутых руках. Как только она ухитрялась ходить, не касаясь земли!

– Ох-х-х, – выдохнул Каза Чхетиа, – не я буду, если не разденется за пятерку! – сказал он, когда Кику исчезла за занавеской.

Она тут же вернулась, и он поманил ее. Туташхиа быстро поднял глаза и тут же отвел их.

В камине затрещало сухое полено, вспыхнуло пламя и весело заплясал огонь.

Каза Чхетиа придвинул к Кику золотой червонец и, метнув взгляд в сторону стойки – не заметил ли духанщик, – сказал:

– Вот золотой. Хочешь, будет твоим? Червонца твой папаша за месяц не заработает. Разденься догола, покажись нагишом… и забирай.

– Ты что, сдурел? – Куру Кардава швырнул монету Казе.

Кику глянула на поблескивающий в пламени свечки червонец и покосилась на гостей.

– Тебе что за дело. Сиди и не лезь! – Чхетиа выскочил из-за стола.

Куру спокойно тасовал карты.

– Садись, ради бога. Ты меня сперва пугаться научи, а после пугай.

Квалтава положил руку на плечо Чхетиа.

– Пошевеливайся, девочка, – крикнул Дуру. – Пора постели стелить. А ты, Дзоба, помоги мне топчаны принести.

– Видишь ли, Куру, – сказал Квалтава, когда Кику вышла, – мне самому голая Кику ни к

чему, но каждый отвечает за себя, и не твое дело встревать поперек пути. Это и есть дружба, и другой она не бывает. По совести говоря, прав ты, а не Чхетиа. Ладно б какой-никакой доход он с этой девки имел. Здесь ничего не скажешь. Деньги – это все. И женщина – это тоже деньги.

Игра пошла с новым азартом и ожесточением, Куру Кардава беспрерывно выигрывал.

– Ставлю тысячу рублей – в долг! – объявил Чхетиа.

– Нет, друг, такие обещания – пыль. Даю тебе в долг, ставь наличными, если хочешь.

Куру отсчитал деньги.

– Будешь должен мне тысячу рублей. Бодго, ты – свидетель.

Каза Чхетиа поглядел в свои карты и вывел ставку в пятьсот рублей. Куру Кардава это не понравилось, но он промолчал и дал партнеру еще две карты.

В духане воцарилась тишина.

Дата Туташхиа с любопытством следил за игроками. Когда выяснилось, что Каза Чхетиа сделал девятку и выиграл ставку, Туташхиа вновь повернулся к камину. За каких-нибудь три-четыре минуты куча банкнот Куру перекочевала к Казе Чхетиа.

– Вот тебе еще червонец, – Каза Чхетиа снова подозвал Кику, положил на первую монету еще одну и пододвинул их к ней.

Куру вспыхнул, но на этот раз не сказал ни слова. Видно, наставление Квалтава сделало свое дело. Он повернулся спиной к своим друзьям и принялся разглядывать простенькую икону на стене.

– Ты что, девка, язык проглотила? Раздевайся, коли надумала, – сказал Бодго Квалтава.

Кику стояла не шевелясь и только часто-часто моргала. Монах сидел спиной, ничего не видя, но слыша все.

– Господи, помоги, господи, помоги, господи, помоги, – прошептал он и трижды перекрестился.

Стояла напряженная тишина.

В камине чуть затрещали дрова, но в тишине их треск прозвучал как выстрел. В задних комнатах что-то глухо стукнуло. Наверное, Дуру и Дзоба передвигали топчан.

И снова – тишина.

– Какие, однако, подлецы! – тихо, почти про себя проговорил Туташхиа.

Сказать-то он сказал, но мне показалось, тут же прикусил язык, словно одернул себя – будет болтать, абраг!

Предложить такое чистой пятнадцатилетней девочке, которой отец внушил преувеличенное представление о силе денег, мог только человек, глубоко падший. И никто другой. Я готов был сорвать затею Каза Чхетиа, но что мог я, безоружный одиночка, духовно не готовый к такому шагу, неопытный к сопротивлении?

Кику стояла, опустив голову, впившись глазами в монеты, и я чувствовал, каких лихорадочных сил стоит ей собрать в себе волю и стойкость. Понимал это и Бодго Квалтава.

– Ей, видите ли, мало, – сказал он. – Ты только погляди на нее. За два червонца потийский полицмейстер разденется. Слышишь, девка! Ну, ладно. Вот тебе еще червонец, и раздевайся. Считай, что в Риони купаешься, на тебя из кустов глаза пялят, а тебе и невдомек.

Бодго Квалтава швырнул третий червонец, будто собаке обглоданную кость.

Каза Чхетиа взял монету и положил стопкой поверх первых двух.

Кику всю передернуло, да так явно, что все заметили. Меня трясло от собственного бессилия… Ждать дальше было нельзя.

– Надо вмешаться, – едва слышно прошептал я своим сотрапезникам. – Стоит ей один раз пойти на это, и ее не удержишь. Поти под рукой. Быть ей портовой шлюхой. Кому-то надо вмешаться!

Я смотрел на Туташхиа – и требуя, и упрекая, и уговаривая. Он поглядел на монаха, перевел взгляд на меня и сказал подчеркнуто равнодушно:

– Не мое это дело. Не буду вмешиваться. – Немного помолчал и добавил: – Ничего путного из этого не выйдет, и никому это не нужно. Если это у нее в крови, в натуре, так тому и быть. Все равно она по-своему сделает, хоть разбейтесь вы здесь. Нет таких, кто достоин заступничества.

Монах слушал, боясь проронить слово, а когда Туташхиа замолчал, вдруг обернулся к

Кику и пролепетал:

– Дочь моя, сказано: «Если же правый глаз твой соблазнит тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое ввержено было в геенну».

Разбойники вперились в монаха, пытаясь вникнуть в его слова, но тщетно. Кику не поднимала головы – казалось, до нее вообще ничего не доходило. Она поглядела на монаха, лишь когда он замолчал, и перевела взгляд на дверь, откуда должны были появиться Дуру с Дзобой. Чхетиа уловил ее волнение.

– А ну заткнись, старый хрыч, – топнул он, – а то живо забудешь у меня и ветхий завет, и новый.

Монах опустился на стул как подкошенный, вжав голову в плечи, будто ожидая удара, и затих.

На лице Куру Кардава не было ни злости, ни возмущения – он весь сиял от любопытства и азарта.

– Что этот дедушка хочет, Бодго? Чего он там говорит?

– Вот в чем загвоздка, оказывается, – протянул, пораженный своим открытием, Каза Чхетиа. – Ей перед ними стыдно. А ну, отвернитесь! – крикнул он тоном, каким минуту назад велел убираться монаху. – Чего не видели? Поворачивайтесь спиной, и поживей.

Монаху не надо было поворачиваться. Он сидел спиной и покорно дожидался воли божьей. Я подчинился с легкой душой – хоть не буду видеть эти мерзкие рожи. Туташхиа обвел спокойным взглядом всех троих и остановился на Кику, которая все не сводила глаз с червонцев.

– Кому было сказано? – взвинтился Каза Чхетиа.

Туташхиа и бровью не повел. Чхетиа вытянулся у него за спиной и тихо сказал:

– А ну, повернись сюда!

Туташхиа помедлил и обернулся вполоборота. Монах зачерпнул из миски и уставился на перекосившееся лицо Чхетиа.

– Куда я смотрю и в какую сторону повернусь – это никого не касается. – Туташхиа движением плеч сбросил бурку, и она повисла на спинке стула.

Рука Казы Чхетиа поползла к маузеру, он хотел было что-то сказать, но маузер Туташхиа уже был выхвачен из деревянной кобуры – никто не успел заметить когда. И тут же раздался выстрел. Сложенные в стопку червонцы, предназначенные для совращения Кику, со звоном рассыпались по полу.

Все замерли.

Пуля Туташхиа прошла под локтем монаха, пронеслась у виска Бодго Квалтава, смела червонцы, оставив царапину на краю стола, и впилась в стену.

Меня окатило холодным потом.

Монах окаменел с ложкой в зубах.

Квалтава вскочил, едва соображая, на кого бросаться.

Куру Кардава смеясь глядел то на Туташхиа, то на свежую царапину на столе.

Каза Чхетиа одеревенел. Туташхиа все так же через плечо взглянул на незваного гостя, сунул маузер в кобуру и, отщипнув кусок хлеба, стал жевать.

Не отрывая глаз от монет, рассыпавшихся по полу, Кику медленно начала собирать их, выпрямилась, зажав их в кулаке и, сорвавшись с места, пулей выскочила из комнаты. Хлопнула дверь, заскрипели ворота конюшни, и все стихло.

В дверях появились встревоженные Дуру с Дзобой.

– Что здесь было? – спросил духанщик.

– Все в порядке, Дуру-батоно, что было, то прошло, – ответил Туташхиа.

Каза Чхетиа вернулся к своему столу и стал тасовать карты. Опустился на стул и Бодго Квалтава. Лишь Куру Кардава все улыбался бегающими глазами.

Отец с сыном потоптались еще немного и отправились за топчанами.

Игра возобновилась, но было ясно, что никто об игре не думал.

В дверь просунулась Кику. Она оглядела всех, кто был в зале, и, убедившись, что нет ни отца, ни брата, подбежала к дверям в хозяйскую половину, заглянула и туда, прислушалась –

родных поблизости нет, подлетела к столу Квалтава и, схватившись за подол платья, быстро сдернула его и осталась нагой.

Она стояла, в одной руке держа платье, другой – прикрыв глаза. Стройное упругое тело в свете свечей переливалось молочной белизной. Кику была тоненькой, в меру округлившейся изящной девочкой.

Едва разбойники подозвали Кику, Туташхиа понял – все, что должно произойти, неминуемо произойдет, и, повернувшись лицом к камину, сидел уже не шевелясь. Бодго Квалтава лишь украдкой, искоса взглянул на Кику. Куру Кардава побагровел и, опустив голову, бесцельно ворошил деньги.

– Ох-х-х! – вырвалось у Казы Чхетиа, и его рука потянулась к груди Кику. Вытянутый палец осторожно, будто испуганно, коснулся соска. Кику вмиг очнулась, набросила платье и кинулась прочь.

Квалтава кивнул на Куру Кардава, сидевшего не поднимая головы, и загоготал:

– Чего это мальчик рот раззявил?

Куру только теснее сжал губы.

Каза Чхетиа победителем оглядел нас.

– Ну, что я говорил? Разденется как миленькая. – Это он обратился ко мне.

– За три червонца потийский полицмейстер разденется, – повторил Бодго Квалтава.

Кику вернулась вместе с отцом и братом.

Дуру поспешил к стойке. Он явно ничего не подозревал и был совершенно безмятежен, но Дзоба был как взведенный курок.

– Иди, сынок, спать, – сказал Дуру.

Однако встревоженный мальчик заупрямился, и отец твердо повторил свои слова. Дзобе пришлось повиноваться – ноги, казалось, едва несли его.

Кику бегала из комнаты в комнату, расстилала постели.

– Поди-ка, Дуру, взгляни на лошадей, – сказал Каза Чхетиа.

– Сию минуту, Каза-батоно, иду! – с готовностью ответил Дуру, вытер тарелку и отправился на конюшню.

– Поди сюда, девка, – немного выждав, позвал Каза Чхетиа.

– Чего еще тебе? – Кику выглянула из-за занавеси.

– Поди сюда, говорю… тогда и узнаешь, чего мне.

Она подошла.

Каза Чхетиа вынул кисет, развязал шнурок и высыпал на ладонь золотые монеты. Их было штук двадцать – двадцать пять, червонцев и пятирублевок. Раскрытой ладонью, на которой поблескивало золото, он медленно провел у самых глаз Кику, высыпал монеты обратно в кисет и сунул кисет в карман.

– Видала, да?.. Приходи ко мне сегодня ночью, и все эти деньги будут твои!

Я посмотрел на Кику. В ее глазах светилась алчность поярче, чем в глазах Казы Чхетиа.

– Придешь?

Она помолчала.

– А что мне у тебя делать?

– А что женщины у мужчин делают… – сказал Каза Чхетиа и улыбнулся.

Она смутилась и пошла на свою половину.

Монах наскоро помолился и отправился спать.

Я никогда не был смельчаком и не искал славы сорвиголовы. Я всегда был осмотрителен и разумен, но здесь меня словно поднесло к краю пропасти. В голове мигом сложился план действия. Я сказал Туташхиа:

– Дата Туташхиа! Я много хорошего слышал о вас. Вы пользуетесь репутацией честного, справедливого человека. Почему вы безразличны к этому злу? Ведь гибнет человек!

Туташхиа взглянул на меня, и явно лишь потому, что я назвал его истинное имя. Потом перевел взгляд на разбойников – и опять, чтобы понять, услышали они мои слова или нет. Лишь убедившись, что никто ничего не слышал, он сказал:

– Не мое это дело. Только если дело коснется меня самого, оно – мое. Никто не стоит моего вмешательства. Придет к нему Кику сегодня ночью. Если вмешаться, может, и не придет.

Но потом все равно по-своему сделает, только еще похуже… Покончил я с такими делами.

Я бросился к Казе Чхетиа и затарабанил:

– Что вы делаете? Как вам не стыдно?! Лучше уж силой… Слышите?.. Лучше изнасиловать…

Дружки с интересом разглядывали меня, как собачонку, невесть с чего залившуюся лаем, пока Каза Чхетиа не наградил меня звонкой оплеухой и не взялся снова за карты.

Туташхиа раскуривал трубку, выпуская причудливые клубы дыма, и был явно поглощен своими мыслями.

Я едва доплелся до своей комнаты, упал на постель и заплакал.

Скрипнула входная дверь духана, стукнули засовы. Я испугался, что Дуру услышит мои всхлипывания, заподозрит неладное, а эти мерзавцы решат, что я нарочно хочу предупредить хозяина, и тогда мне конец. Я сглотнул слезы.

Из окна было видно чистое, усеянное яркими звездами небо. Одна звезда сорвалась, пересекла небосклон и погасла.

На меня навалилась усталость, сковало напряжение, и я заснул.

Сколько времени прошло – не знаю. Скрипнул топчан, и я проснулся. Монах, казалось, невозмутимо посапывал в своей постели. Туташхиа лежал под буркой не раздеваясь и глядел в потолок.

Меня, как древесный червь, точила мысль: придет или нет Кику забирать обещанный кисет?

Комнаты разделяла стена из досок каштана. Квалтава и его дружки были рядом. Слышался шепот и могучий пьяный храп. О чем шептались, я разобрать не сумел.

Прокричали полуночные петухи. Туташхиа привстал, набил трубку, задымил. Докурив, снова завернулся в бурку и лег.

Прошло еще около часа. В соседней комнате тихо спросили:

– Кто там?

– Это я! – послышался шепот Кику.

Это был сдавленный шепот, будто ее взяли за горло и заставили произнести эти слова.

За стеной торопливо заговорили, завозились, шум стих, и Каза Чхетиа сказал:

– Входи, милая, чего стоять там?

Туташхиа приподнялся и снова набил трубку. Заворочался монах и застыл, прислушиваясь.

По шуму шагов я понял, что Бодго Квалтава и Куру Кардава вышли из комнаты в зал, оставив своего дружка одного.

– Заходи, девочка, заходи, чего там стоять! – повторил Каза Чхетиа, и опять ни звука.

– Ступай, зовет, не слышишь, что ли? – Это был голос Бодго Квалтава.

Некоторое время было тихо.

– Не знаю я этого… боюсь, – услышал я голос Кику.

– Да здесь и знать нечего. Поди ко мне, милая, ну иди!.. Вот-вот…

Туташхна встал, поправил черкеску, застегнул пояс с кинжалом, пригнал на место наган и маузер.

– Дайте мне наган. Я помогу… если будет возможность, – Попросил я.

Он ке ответил. Я повторил, но он молчал, будто не слышал.

В соседней комнате сильно скрипнул топчан.

Туташхиа взвел курок нагана и сунул его мне.

Пока я был безоружен, мне казалось, что моей ярости не хватает лишь огнестрельного дула. Но едва я ощутил прикосновение смертельного металла, как по телу забегали мурашки – смерть дохнула мне в лицо, своя ли, чужая… И тотчас я спрятал наган в карман.

– Мальчишка духанщика где-то рядом вертится, – шепнул мне Туташхиа. – Сейчас здесь произойдет кое-что похуже. Не сомневаюсь… Я ухожу.

Он нахлобучил паку, забрал полы черкески за спину и накинул бурку. Этого я не ожидал! Я был уверен, что в нем проснулась совесть и он вмешается.

Из соседней комнаты донесся слабый крик.

В зале послышалось торопливое шарканье шлепанцев, и следом за Дзобой вошел Дуру,

держа в руках свечу.

– Кику! Где ты?! – закричал он. – Выходи оттуда сейчас же! Ты слышишь? Выходи! Господи! Позор-то какой… Не жить мне теперь…

– Придержите этого сукина сына! – заорал Каза Чхетиа. – Если он вопрется сюда, я заколю его, как кабана!

– Что я говорил! Зачем ввязываться в это поганое дело? – сказал Куру Кардава.

– Господи! Что вы со мной сделали, мерзавцы, – опять запричитал Дуру.

– Проваливай отсюда, скотина. На кого кидаешься, старая жаба! – Бодго Квалтава загородил духанщику дорогу.

Куру Кардава последовал примеру старшего товарища. Они оголили маузеры.

Духанщик перестал метаться, замер на минуту и, повернувшись, бросился из комнаты, теряя шлепанцы.

Туташхиа поднялся, чтобы выйти из комнаты.

– Ты сказал, что здесь произойдет кое-что похуже, – неожиданно сказал монах. – А сам убегаешь. Значит, ты трус!

– Трус? – обернулся Туташхиа.

– Кто изменил богу, кто для людей не совершил того, что мог совершить, кто дитяти божьему в беде руку не протянул – тот трус и обрек себя на одиночество. Раз ты отвернулся от людей, то и ты им не нужен, и доля твоя – доля загнанного зверя! – спокойно закончил монах.

Туташхиа отодвинул меня с дороги, вышел в зал, не спеша дошел до входных дверей и тронул засов.

Дзоба вцепился в его бурку:

– Дядя Дата, не уходи… не уходи, дядя Дата, мы погибнем!

Туташхиа окаменел. Стало очень тихо.

У Даты Туташхиа была слава необыкновенно смелого и решительного человека. Другого мнения я не слышал, да его и не существовало. Но в эту минуту он боялся оглянуться, чтобы не увидеть глаза и лицо Дзобы. И не оглянулся.

– Я должен уйти отсюда, – упрямо и зло, будто уговаривая себя, сказал он.

Он отодвинул засов и вышел из духана.

Заливаясь слезами, Дзоба кричал ему вслед:

– Ты бросил нас, дядя Дата. Почему ты оставил нас?.. Не помог?.. – Мальчик повторял это, даже когда Туташхиа уже не мог слышать его, – он седлал коня.

Все остальное произошло в какие-нибудь десять секунд. Духанщик вбежал в зал со взведенной двустволкой в руках.

– Отпустите мою дочь, сукины дети! – закричал он и выпустил пулю.

Куру Кардава уронил маузер и схватился за правое плечо. Бодго Квалтава прицелился в духанщика.

– Не стреляй, Бодго!.. – крикнул Куру, но Квалтава выстрелил дважды.

Духанщик рухнул на пол, схватился за живот и в корчах покатился по полу.

– Что ты наделал, Бодго… Зачем убил невиновного человека? – проговорил Куру.

– Не время сейчас об этом! – ответил Квалтава и заорал: – Каза, оставь эту потаскушку!.. Одевайся немедленно!.. Куру, одеваться… Кому я говорю?..

– От кого бежим? – Каза Чхетиа вышел из комнаты, на ходу одеваясь и нацепляя оружие.

Дзоба опустился на колени, в ужасе глядя на умирающего отца.

Из комнаты Чхетиа вышла Кику. Ока шла, медленно ступая, глядя куда-то в пространство мимо всех нас, и лепетала:

– Вот деньги, папа! Много денег. Вот они, деньги, папа!.. – и потряхивала кисетом Казы Чхетиа.

Дуру прохрипел:

– Ты пустил их по миру… Твой грех… Дата Туташхиа…

Он не проронил больше ни слова, затих и испустил дух.

Бодго Квалтава и Каза Чхетиа остолбенели, услышав имя Даты Туташхиа. Куру Кардава, позабыв про боль в плече, смотрел на место у порога, где только что стоял абраг.

Со двора донесся топот копыт. Уходило несколько лошадей.

Бодго Квалтава взвел курок маузера и выскочил из духана.

Его приятели последовали за ним.

– Он увел наших лошадей!

– Ты почему угоняешь наших лошадей, Дата Туташхиа?

– А ну, давай обратно!

– Стрелять будем!

– Вы – мразь, годная лишь на то, чтобы стрелять в старого духанщика. В меня вам не выстрелить, негодяи. Не той вы породы, собачье отродье…

Это оказалось правдой. Разбойники ни разу не выстрелили и не подумали преследовать его. Они остались у входа в духан и не шевелясь смотрели, как Дата Туташхиа угонял их лошадей.

Каза Чхетиа вбежал в духан, отнял у обезумевшей Кику кисет и бросился догонять своих.

Они исчезли и не вернулись.

Дзобу покидало оцепенение, он опять забился в слезах. Кику, даже не почувствовав, что кисет у нее отняли, звала отца и отдавала ему деньги, все так же глядя куда-то в пространство.

Я вернулся в комнату. Монах так и не вставал.

– Подымайся, отец. Не время спать в день Страшного суда!

– Когда человек грешит, господь безмолвствует.

Мы вынесли топчан Даты Туташхиа в залу и уложили на него покойника.

Обе пули угодили Дуру в живот.

Монах начал молиться.

У меня заболел живот, и я вышел во двор. Стояла спокойная ночь. На небосклоне красноватым светом горела утренняя звезда.

Я вспомнил, что у меня в кармане наган. Не думая и не колеблясь, я швырнул его в отхожее место. От сердца сразу отлегло. Если станут обыскивать, при мне уже не будет оружия. И по сей день не могу понять, как сама мысль не то что выстрелить, а поднять оружие могла прийти мне в голову. Видно, Что-то подсказало мне: окажи я сопротивление – и мне конец.

Умирать никому не хочется.

В тех местах я пробыл еще год. А может, и больше. Кику после той ночи сошла с ума. Несколько месяцев спустя Дзоба нашел ее в лесу сидящей под ольхой. Она была мертва. Как сидела, так и умерла.

Дальнейшая судьба Дзобы мне не известна. Говорили, что его забрал к себе дядя из Кутаиси.

Наверно, он и забрал.

Граф Сегеди

…В то время Мушни Зарандиа уже занимал должность офицера особых поручений. Мы были приглашены к наместнику, явились в назначенное время и были приняты без промедления. В кабинете наместника нас ожидал прибывший из Петербурга полковник Сахнов, один из помощников шефа жандармов. Его присутствие не удивило меня, так как уже три дня, как он жил в Тифлисе, хотя и не давал нам о том знать. Это было нечто иное, чем пренебрежение, мне выказываемое. Я же о его приезде знал из сообщений агентуры. В ту пору в Закавказье не происходило ничего примечательного, что могло потребовать визита столь важной особы. Поэтому приезд полковника Сахнова инкогнито возбудил мой интерес. Разница наших положений в служебной иерархии не была особенно значительной и для меня существенной. К тому же, был он личностью весьма легковесной. Мне не раз доводилось убеждаться в ограниченности его ума. Высокое положение, им занимаемое, объяснялось тем, что крестнику великого князя прощалось все. В довершение скажу: когда впоследствии Сахнов подал в отставку, его место занял Мушни Зарандиа. Деятельность Зарандиа в Петербурге началась с этой должности.

От меня не ускользнуло, что серьезность, с какой держался наместник, была напускной. Таинственность, с какой держался Сахнов, могла вызвать лишь улыбку. Не было сомнения, что наместник и полковник намеревались провести совещание особой важности. Чтобы завладеть

моим вниманием, вряд ли следовало разыгрывать подобную комедию. По всей видимости, она предназначалась Зарандиа. Но, на свою беду, авторы фарса не сознавали, с кем имеют дело. Я лишь однажды взглянул на Зарандиа и удостоверился, что он понимает все. Он уже знал, куда направить ход событий. Направить – говорю я, ибо не припомню ни одного предприятия, где дела, его волнующие, получили иной ход, чем тот, которого желал сам Зарандиа. Во мне шевельнулась жалость к наместнику и Сахнову, и собственное добросердечие обрадовало меня: ведь снисхождение к глупцу – первейший знак добродетели. На душе у меня стало светлее, хотя, в противность всем правилам, наместник не уведомил меня предварительно о делах, которыми нам предстояло заниматься, и, даже входя к нему, я не знал, о чем пойдет речь. Чтобы дать представление о моем состоянии, скажу, что мною владело беззаботное любопытство и предвкушение забавы.

Мы обменялись любезностями и светскими новостями петербургского и тифлисского происхождения, прежде чем наместник предложил начать, попросив Сахнова предводительствовать в нашем небольшом собрании.

– В каком родстве находитесь вы с преступником Туташхиа? – сразу же спросил полковник у Зарандиа.

Такого начала не ожидал даже я. Зарандиа был явно обрадован глупостью вопрошавшего.

– Его мать и мой отец – родные сестра и брат, – спокойно ответил он. – И он, и я выросли в семье моего отца. Дата Туташхиа и его сестра Эле остались сиротами еще в раннем детстве. И хотя я и Дата Туташхиа росли как родные братья, должен уведомить вас, что с тех пор, как Дата Туташхиа ушел в абраги, я с ним не виделся ни разу и не увижу его, если этого не потребует мой служебный долг.

Второй вопрос, который должен был задать человек такого убогого ума, как Сахнов, – в каких отношениях были в ту пору Зарандиа и его двоюродный брат, ушедший в абраги. Но Зарандиа успел предотвратить вопрос, еще только подготовляемый. Глядя на Сахнова, можно было подумать, будто он собирался сесть, и в это время за его спиной убрали стул. Подобным образом несколько раз и в другом положении Зарандиа поступил и со мной. Он объяснил это желанием сберечь время, на самом же деле стремился внести путаницу в мысли противника. Сейчас, в беседе с Сахновым, это удалось ему совершенно. Полковник долгое время пребывал в растерянности, но, придя в себя и заглянув в лежащий перед ним листок, спросил:

– Правда или нет, что братья арестованного вами еврея-контрабандиста поднесли вашей жене бриллиантовые серьги в пять тысяч рублей ценой?

– Совершенная истина! – Зарандиа раскрыл портфель и принялся рыться в нем.

Сахнов повеселел, взглянул на наместника, укоризненно – на меня и, обернувшись к Зарандиа, собрался было еще спросить… но не успел. Зарандиа протянул ему извлеченную из портфеля бумагу.

– Ту операцию мы осуществили в мае, – сказал он.. – Во время следствия – это был уже сентябрь – братья еврея-контрабандиста предложили мне взятку. Предложение было сделано в такой форме и в такой обстановке, что изобличить их в злокозненности было невозможно. Заставить их предложить мне взятку более откровенно – значило бы поставить себя в положение виновного. Единственная возможность, которая оставалась у меня, – это обнадежить их, сказав, что их брат за незначительностью обвинения довольствуется, по счастью, двумя годами тюрьмы. С этим я и отпустил их на все четыре стороны. Три дня спустя, все тогда же, в сентябре, у моей жены, оказались серьги, о которых говорилось столь невнятно. Я узнал об этом через неделю, а спустя еще несколько дней – третьего октября – нотариус в Кутаиси составил и заверил вот этот документ.

Документ уже перекочевал от Сахнова и наместника ко мне. Кутаисский нотариус заверял факт возвращения серег евреям.

Я рассмеялся. Наместник пригубил стакан с водой и тихо сказал Сахнову:

– Je vous assure qu'il eest un vrai diable![8]

Зарандиа сам знал, кто он и чего стоит. В поручительстве наместника ему нужды не было.

---

[8] Уверяю вас, он истинный дьявол! (лат.)

– Господин Зарандиа, я надеюсь, вас не задела происшедшая в нашей беседе неловкость, которая была лишь неизбежной формальностью? – спросил наместник.

– Несомненно! – откликнулся Зарандиа, и в кабинете наступило молчание.

Наместник взглянул на Сахнова раз, другой – словно хотел спросить, почему же молчит господин полковник. Сахнов перебирал бумаги, явно желая показать: вот кончу, и пойдем дальше. Мушни Зарандиа излучал довольство. Я пытался разгадать, зачем понадобилось это совещание, окутанное такой таинственностью. Ведь не затем же приехал Сахнов из Петербурга, чтобы задавать Зарандиа свои младенческие вопросы.

Наконец полковник собрался с мыслями и, откашлявшись, сказал:

– Внутреннее положение в империи таково, что необходимо возможно быстрее завершить все запущенные или отложенные дела. В краю, подведомственном вам, самоуправствуют шайки разбойников, числом не менее двадцати, и разбойники-одиночки – без числа. Все усилия, которые предпринимались для установления спокойствия, ни к чему не привели. Чем можно оправдать подобную безуспешность?

Сахнов ждал ответа от меня. В два-три месяца раз наше ведомство отправляло в Петербург доклады, и о положении дел в краю Сахнов был осведомлен. Однако он настаивал на разъяснениях. Я не позволил себе подробностей и был немногословен.

– Мы боремся с бандитизмом устаревшими, негодными средствами, – это первое. Борьбу ведут сразу несколько ведомств: полиция, жандармерия, военный округ, а по сути дела – никто. Действия упомянутых ведомств часто входят в противоречие друг с другом и оттого безуспешны. Это второе. Третье: бандиты окружены сочувствием народа, находят в нем надежную опору и пользуются его помощью. Мы этого лишены вовсе. Четвертое: с нашей стороны этой борьбой занимаются люди ограниченных дарований и недалекого ума, а каждый из бандитов – личность отважная и многоопытная. Я говорю – личность! Разбойников, которые умом и душевными достоинствами не превосходят своих преследователей, мы вылавливаем легко. За последние пять лет таких собралось пятьдесят человек!

– Какого мнения вы? – обратился наместник к Зарандиа.

– Сказанное его сиятельством вытекает из многолетних наблюдений и опыта, многократно проверенного. Соображения его сиятельства кажутся мне несомненной истиной.

Физиономию Сахнова исказила гримаса: к чему здесь сей иезуит? От наместника это движение не ускользнуло, и он залился краской. И не оттого, что ответ Зарандиа задел его, а оттого, что все, о чем я говорил, лишь повторяло бесчисленные доклады, с одобрения наместника посылаемые в Петербург. Гримаса Сахнова, адресуясь наместнику, уничижала его мнение.

– Граф прав! – произнес наместник с твердостью в голосе.

– Да и мне так кажется, – поспешно согласился Сахнов и, помолчав, проговорил, будто решая для себя: – Итак, необходимо менять способ борьбы с бандитизмом, передать это дело под начало лишь одного ведомства, подорвать опору бандитизма в народе, лишив бандитов сочувствия, и привлечь к делу людей мыслящих и умудренных опытом.

Чтобы сделать подобное умозаключение из всего, что было мной сказано, большого ума не требовалось. Вывод, зримый и досягаемый, уже лежал на поверхности. Да и письменные доклады, как я уже говорил, посылались нами в Петербург один вдогонку другому. И все же сообразительность Сахнова озадачила меня, пока я не заметил, как он исподтишка заглядывает в свои бумаги, из которых взгляд мой выхватил знакомые страницы наших докладов.

– Мы собрались здесь, чтобы найти выход из положения. Жду ваших соображений, господа. – Сахнов уставился на наместника.

– Граф в своих докладах недвусмысленно обращал наше общее внимание на положение вещей. Оно известно и вам, однако, если его сиятельство пожелают, мы можем выслушать вторично.

Мне было скучно говорить о вещах, о которых говорилось, писалось, докладывалось тысячекратно. Меня вынуждали переливать из пустого в порожнее, и потому я сказал, едва сдерживаясь:

– Наместнику его величества на Кавказе должны быть предоставлены особые полномочия. Это позволит нам действовать всякий раз сообразно ситуации и обещает успех.

Его императорское величество не откажет своему наместнику в этой привилегии, если будет соблюдена одна тонкость: шеф жандармов должен подтвердить необходимость особых полномочий поначалу министру внутренних дел, а затем и его величеству. Чтобы это произошло, вы должны, разделив наши воззрения на этот предмет, убедить шефа жандармов в разумности наших претензий.

– Что означают особые полномочия?

– Наместник должен получить право амнистировать прошлые преступления бандита и право помилования. Ордер наместника о помиловании должен иметь силу закона.

Сахнов задумался и, видимо, желая быть любезным, обратился к Мушни Зарандиа:

– А что думаете вы?

– Господин полковник! Я полагаю, что умозаключение, сделанное вами из слов его сиятельства графа Сегеди, определяет наши поступки и дает нам программу, с которой нельзя не согласиться. Если вам будет угодно, я позволю себе лишь развернуть вашу мысль, придать ей ясность и форму с той лишь целью, чтобы самому себе сделать ее отчетливой и понятной до конца…

– Позже, господин Зарандиа… Как-нибудь в другой раз! – остановил его Сахнов.

– Я бы просил господина полковника позволить господину Зарандиа принять участие в нашей беседе и высказать свои соображения, – сказал я холодно.

Я был настойчив, потому что Зарандиа принадлежал к людям, которые по каждому случаю имеют свое мнение и способны составить разумный план действий. Его план бывал всегда остроумен и предполагал действия весьма энергические. Были в нем и риск, и странность, и необычность, – оттого лицам недалеким либо мало сведущим в деле он казался порой сомнительным и едва ли осуществимым. Поэтому свой план Зарандиа обычно – и довольно беззастенчиво, надо заметить, – приписывал самому значительному лицу из участвующих в обсуждении, имея в виду, что влияние этого лица возведет его план на высоту, самому Зарандиа пока недоступную. Таким путем Зарандиа завоевывал для своего плана благожелательность значительного лица, и судьба плана решалась счастливо, ибо влиятельный человек охотно и быстро начинал считать себя истинным создателем хитроумного плана. То же самое проделывал он со мной, и не раз. Должен сознаться, я легко впадал в это заблуждение из-за понятного человеческого свойства: ведь в глубине нашей души всегда теплится мысль или зародыш ее по поводу предмета, однажды уже задевшего наше внимание, и когда совсем другой человек вдруг произнесет эту мысль, отчетливо ее выразив, нам она может показаться истиной уже знакомой, к тому же – установленной именно нами.

С первых слов Мушни Зарандиа я понял: план у него готов, и Сахнову предназначена роль его мнимого создателя. С равным интересом принялся я следить и за изложением плана, и за тем, как одурачивали Сахнова.

Не успел Сахнов и слова сказать, как наместник попросил Зарандиа не прерывать свою мысль.

Смущенно улыбнувшись, Зарандиа ответил ему почтительным и благодарным наклоном головы.

– Господин полковник, – начал он, – главнейшим в нашем деле почел искоренение той поддержки, какую бандит находит в народе, широко пользуясь его помощью и сочувствием. Мнение Господина полковника естественно и справедливо, поскольку это и есть проблема наиболее сложная и трудная. Тем не менее она разрешима, если привлечь к делу людей опытных и умелых. Переведенные на язык практических действий, мысли господина полковника складываются в следующую дефиницию: искоренение доверия и помощи бандиту со стороны населения путем компрометации самого бандита. Следующая ступень – примирение бандита с властями. И наконец, привлечение его на службу к нам с последующим использованием в борьбе против других бандитов.

Если я правильно понял господина полковника, наши действия, вытекающие из этого положения, будут располагаться в такой последовательности: распространение компрометирующих слухов, умно и тонко сочиненных нами, столь же дальновидная и тонкая имитация действий бандита, направленных якобы против простого люда: запугивание, шантаж, ограбление, убийство невинных жертв и прочие действия, призванные запятнать бандита в

глазах народа и превратить его в народном мнении из героя в негодяя. В конце концов перед нами предстанет человек, обезоруженный и впавший в отчаяние, который либо сдастся нам по собственной воле, либо примет условия примирения, нами предложенные. Возможно также, он будет передан нам из рук в руки каким-нибудь завербованным нами человеком, который сделает это без особых усилий и зазрения совести. Разумеется, все это потребует длительного и кропотливого труда, а не случится в одночасье и не будет однократной кампанией. Надо, однако, сознавать, что перед некоторыми бандитами и этот метод окажется бессильным, но, как любит напоминать его сиятельство граф Сегеди, исключения лишь подтверждают правило, и разумность нашего правила также будет подтверждена. На этом, господа, завершается первый круг нашего предприятия.

Теперь о последовательности наших действий во втором круге. Ордер наместника о помиловании будет прощением преступлений, совершенных в прошлом, а не гарантией будущей неприкосновенности. Новое преступление, совершенное бандитом, разумеется, поставит его перед новой ответственностью. Инспирирование преступления с последующей вербовкой попавшего в капкан преступника и использованием его в наших целях, при умелом подходе, задача не столь уж трудная. Когда господин полковник предлагал привлечь к делу умелых и опытных людей, он, вне всякого сомнения, подразумевал именно этот источник пополнения наших сил. Остается раскрыть еще два положения, заключавшихся в мыслях господина полковника и связанных между собой: поскольку метод, предложенный господином полковником, мы в борьбе с бандитами еще не применяли, а он чрезвычайно своеобразен, требуется, само собой, борьбу с бандитами сосредоточить в руках жандармерии.

Так понял я программу действий, продиктованную нам господином полковником. Она непреложно требует, чтобы наместнику его величества на Кавказе были предоставлены особые полномочия. Считаю своим долгом сказать, что с планом господина полковника я всецело согласен и участие в его осуществлении почту за честь для себя.

Мушни Зарандиа умолк.

Лишь в первую секунду Сахнов выказал растерянность, обнаружив себя автором неизвестного ему плана. Последующие рассуждения Зарандиа он уже выслушивал, как учитель выслушивает вызубренный ответ отстающего ученика. И едва Зарандиа кончил, как он взял менторский тон:

– Господа! Теперь, надеюсь, вы уяснили себе, почему мы не ходатайствовали перед его величеством о предоставлении особых полномочий наместнику на Кавказе. Министр внутренних дел, шеф жандармов и я не располагали планом, осуществление которого требовало бы особых полномочий. Ныне, когда дело мною изучено, его объем и детали стали ясны и, как вы могли убедиться, созрел даже план действий, надеюсь, он получит высочайшее одобрение и будет осуществлен.

Наглость Сахнова превзошла все мои ожидания. С подобным я, пожалуй, и не сталкивался.

– Я обещаю вам, – продолжал Сахнов, – что наместник его величества на Кавказе получит в скором времени эти полномочия. Остается подумать еще о двух вещах. План должен получить свое название, смысл которого будет доступен лишь нескольким доверенным лицам… – Сахнов на мгновение задумался. – Да… да, пожалуй, это подходит: «Киликия»! Помнится, Юлий Цезарь похожим образом действий победил киликийских пиратов. Итак, «Киликия»! Теперь, господа, прошу вас назвать мне имя того чиновника, под чьим началом будет осуществляться план.

Немало позабавился бы тот, кто в это время наблюдал за мной и наместником. Это было больше, чем шок, – мне казалось, я теряю рассудок. Мозг отказывался переваривать подобную мешанину противоположностей. Изуверская изворотливость, строжайшая логика и… отчаянная глупость.

– Однако Юлий Цезарь не ограничивал себя в выборе средств, – произнес наместник. – Ваше сиятельство, кого могли бы вы предложить господину полковнику?

– Офицера особых поручений нашего ведомства, господина Мушни Зарандиа.

– Я согласен с вами, – не медля и минуты, сказал наместник. – Жду вашего письменного представления.

– Если вам так угодно, я не возражаю, – Сахнов сделал жест, означавший великодушное согласие.

Не сомневаюсь, Зарандиа уже обдумывал детали предстоящих операций, когда наместник спросил его:

– Надеюсь, господин Зарандиа, ваш двоюродный брат Дата Туташхиа окажется в поле вашего внимания и ваших действий?

– Несомненно, ваше превосходительство! Признаюсь, он пробуждает во мне азарт. Дата Туташхиа – достойный противник. Умен, смел, наделен богатейшей интуицией.

Наместник отвел глаза – залюбовался пейзажем за распахнутым окном.

– Великолепно! – воскликнул Сахнов. – Помимо всего… господин Зарандиа достоин быть представлен к очередному чину. Новый подотдел – «Киликия» также возглавит господин Зарандиа. Назначьте ему жалованье за счет имперского управления. Это подбодрит его, придаст рвения. Курировать новый подотдел буду я.

Сдержанным полупоклоном Зарандиа поблагодарил полковника, но перспектива сахновского кураторства явно была ему не по душе.

Наместник наконец отвлекся от пейзажа:

– Господа! Наше совещание завершено!

Зарандиа немедля поднялся, чтобы учтиво откланяться. Наместник жестом остановил его и протянул руку. Это означало, что отныне во дворце наместника его величества на Кавказе Зарандиа будет принят как лицо приближенное и желанное. Офицер принял эту почесть со сдержанной благодарностью. Стоило, однако, ему покинуть кабинет, как наместник вынул платок и вытер руку, которую только что пожимал истинный автор «Киликии».

Последствия этого совещания не замедлили сказаться. Спустя месяц наместник и вправду получил особые полномочия, мы создали новый подотдел, и его начальник Мушни Зарандиа развернул деятельность со всей энергией, на какую был способен. Лишь по мере надобности я буду говорить о канве его действий. В несравненно большей мере волновали меня нравственные принципы этих действий, так как изучение их приближало меня к пониманию нравственных принципов действий Даты Туташхиа. Все это было для меня скорее увлечением, капризом, чем занятием, диктуемым служебным долгом. Однако подобный анализ не был помехой и делу. В моем сознании столкнулись два противоположных нравственных принципа, и это неожиданно повлияло на мою собственную жизнь… Все же проследим за событиями, не нарушая их последовательности.

Принято думать, что жизнь человека есть сумма его поступков, то более, то менее значительных. Каждый из нас беспрерывно действует, создает и разрушает, непременно находя каждому поступку нравственные основания. Здание наших дел покоится на фундаменте нашей собственной нравственности. Один сначала действуют, а потом подыскивают своим действиям оправдания или же сочиняют их, если ничего стоящего подыскать не удалось. Другие, остерегаясь закона или общественного мнения, тщательно маскируют свои дурные поступки, набрасывая на них покров благородства и бескорыстия. Третьи сначала обдумают свой шаг и соотнесут его со своими нравственными убеждениями и лишь тогда позволяют себе действовать или, напротив, воздержаться от действия. Но встречаются люди, которым не надо ни обдумывать заранее свои поступки, ни соотносить их со своими нравственными представлениями, ни подыскивать им оправдание – все равно их поступки исполнены добра и правды. Я подразумеваю при этом одну операцию, проведенную Мушни Зарандиа в ту пору, когда он создавал свою систему распространения слухов и вылавливания циркулирующих в обществе сведений и новостей.

В каждом уездном городе или большом селении существовал чиновник нашего ведомства, назначением которого было распространять слухи. Тайна соблюдалась тщательно, и о новых функциях своего сотрудника местное начальство осведомлено не было. Этот чиновник подчинялся только Зарандиа и распространял сведения, лишь от него полученные. Еще по одному сотруднику Зарандиа подобрал для сбора сведений, которые непосредственно должны были пересылаться к нему в подотдел. Тайна существования этих агентов также была скрыта от местного начальства. Два сотрудника одного и того же ведомства действовали независимо друг от друга. Наверняка они были знакомы, уезд – поприще невеликое, но что они – звенья одной

цепи, об этом даже не подозревали. Механизм собирания слухов прост, надежен и застрахован от осложнений. Чтобы привести его в движение, достаточно двух сплетников. Напротив, распространение слухов – дело, требующее подхода, чрезвычайно деликатное. Сделать своим агентом простолюдина нельзя, ибо на вопрос собеседника, откуда он взял свои новости, ему придется называть источник. Не станет же он говорить, что, дескать, я агент и мне ведено распространить такой-то слух. Впутывать в это дело интеллигентов – опасно. Психологическое амплуа каждого второго интеллигента – фрондерство, и здесь трудно уберечься от огласки и скандала. Остается малочисленная каста верноподданных, которым местное население не доверяет. Но главная беда в том, что умственный диапазон этих адептов режима, как правило, умещается в тесном пространстве между наивностью и глупостью. Доверить им важное дело может вынудить лишь печальная необходимость. Чиновнику, отвечающему за распространение слухов, не обойтись без пяти-шести надежных и хорошо подготовленных агентов. Все это было мне ясно с самого начала. Я ждал, что Мушни Зарандиа разрешит эту трудность самым простым образом – хорошо заплатит, то есть подберет подходящих для дела людей из обедневшего дворянства. Однако все произошло по-другому.

Когда пришло время начать действовать службе слухов, Зарандиа доложил мне, что все готово и можно сделать первую пробу. Я спросил его, во сколько обойдется нам вознаграждение агентов. Финансовая сторона значила немало: содержание ста – ста пятидесяти агентов в тридцати уездах могло стоить нам около ста тысяч рублей в год. Добиться столь крупных ссуд было весьма трудно.

– Ваше сиятельство, – сказал Зарандиа, – плата за распространение слухов не превысит почтовых расходов. Доставка собранных сведений не будет стоить и копейки, поскольку докладные записки с мест будут поступать через фельдъегерей, состоящих на постоянной службе.

– Любопытно! Вы собираетесь пересылать свои материалы обычной почтой?

– Именно так! Материал, подлежащий распространению, будет пересылаться резиденту под видом письма от близкого друга, посланного заказной почтой. Даже попав в чужие руки, эта корреспонденция не сможет повредить нашему делу. Напротив, ложный адресат окажет нам услугу, если разгласит содержание письма. К тому же письмо будет отсылаться в двух экземплярах, и резидент должен будет подтвердить его получение.

– Понятно, – промолвил я, подчиняясь течению новых для себя мыслей… Я думал о том, что остроумные изобретения, крупные политические и военные победы, высокие творения искусства отмечены одним и тем же – простотой. Я начинал понимать и то, что этот человек и думать не думал решать свои задачи путем сложным и витиеватым. У него был простой, ясный ум, и создавал он простые, ясные планы. Его переселение из акциза в жандармерию имело под собой простую и потому прочную философскую почву. В памяти моей ожили все хитроумные приемы, открытые Зарандиа, все, что принесло ему громкое имя среди коллег и обеспечило блестящее продвижение вверх… Все эти приемы, каждый в отдельности и в совокупности своей, были классическим образцом простоты! На меня навалилась тоска. До сих пор не могу понять – почему. Безучастно и вяло я спросил, что за люди служат агентами у наших резидентов.

– Обычно – неверные жены. Изредка – неверные мужья.

– Чем же верные вас не устраивают?

– Ничем совершенно, но они, как правило, сидят дома и воспитывают детей. Иное дело – неверные. Чтобы поболтать и узнать новости, они за день перебывают в четырех-пяти домах.

– Разве в гости ходят лишь неверные жены?

– Из десяти верных жен, ваше сиятельство, по гостям любит бегать одна, а из десяти неверных девять предпочитают проводить куда больше времени в чужой семье, чем у себя дома.

– Легкомысленная публика!.. Опираться на нее в столь серьезном деле?!.

– Легкомысленная? Пристрастие неверных жен к болтовне и сплетням не так уж невинно и бесцельно. Им постоянно приходится проверять, не просочилась ли в общество их тайна. Не исключено, что я и ошибаюсь. Однако для нашей службы важно другое. Прежде всего то, что жены они неверные и что они и в самом деле любят ходить по гостям и вертеться в обществе.

Их неверность облегчает сближение с ними. Их любовь к светским удовольствиям открывает широкое поле для распространения нужных нам слухов.

В этом Зарандиа был совершенно прав, и не только по соображениям, которые сам он и привел. Страх, что любовная связь получит огласку, заставляет завербованную женщину выполнять наши задания на совесть, сознаться же в связи с жандармерией ее не могла бы заставить даже святая инквизиция. Это обнадеживало, но в то время наш опыт агентурной работы с женщинами был весьма мал, да и сам я внутренне не был готов к ней. Приобщение женщин к важному делу смущало меня, и словно бы в шутку я сказал Зарандиа:

– В содеянном вами, сударь, можно усмотреть женоненавистничество, дошедшее до садизма. – И добавил уже без доли иронии: – Наша вера в бога на протяжении последних веков не смогла ничем обогатить человеческий дух. Она лишь тщится сохранить прошлые завоевания, противостоя жестокости, бессердечию и злобе. Обязанность каждого, кто хочет служить добру, суметь подчинить свою деятельность наивысшей цели, какая только доступна человеку, – не ущемить, не обобрать, не унизить дух – ни в себе самом, ни в ближнем своем. В том, что это первейшее назначение нашей с вами службы, я убежден. А вы?

Мой подчиненный был само внимание. Его бесконечно поразило, что истинами, казалось, открывавшимися лишь ему одному, оперировал другой, и это был не кто иной, как начальник кавказской жандармерии.

– Мне, ваше сиятельство, не совсем ясны причины ваших опасений, – промолвил он не без учтивости.

– Не ясны? – Я взглянул ему прямо в лицо, желая понять, в самом ли деле он не понимает или лукавит. Но уж слишком безмятежным казался он, и я не стал менять тона. – У ваших агентов, поставляемых лучшей половиной человеческого рода, девичьи мечты о счастье и беспечальной будущности обернулись изменой мужу. Как ни жаль, но это обычная доля. Сказано – «не прелюбодействуй!», но грех сладок, тем более грех тайной любви. Бедняжка зажата в тиски – ее мучает совесть и манит сладость греха. И тут является сатана в образе вашего резидента и, в обмен на обещание не разглашать скандальную тайну, заставляет ее распространять грязные слухи. Теперь она вдвойне грешна и вдесятеро измучена. У этих неверных жен – почти у всех – есть дети. Что может дать им мать, ввергнутая в грязь, опустошенная вероломством? Каково ей воспитывать детей? В подчинении у ваших резидентов сколько таких агентов?

– Сто тридцать три, ваше сиятельство!

– М-да, сто тридцать три матери и детей их – сотни четыре-пять, не меньше. Посчитайте, одно наше движение – и растоптано достоинство шестисот человек. И это метод!.. Господи, никогда не думал, что придется пересчитывать неверных жен, живущих на Кавказе.

Зарандиа рассмеялся. Я был так возбужден своими мыслями, что тоже рассмеялся, неожиданно для себя самого.

– Ваше сиятельство! Все эти дамы судачат для собственного удовольствия и, сами того не зная, невольно оказывают нам услугу. Их измены помогают нашим резидентам сделать знакомство с ними более коротким, но не было случая, чтобы их принуждали или шантажировали. Здесь я наложил наистрожайший запрет, и, насколько мне известно, никто его не преступал. Наши резиденты добились близких, дружеских отношений с нужными нам людьми – вот и вся выгода. Что же до распространения слухов и собирания сведений, то это происходит само собой, быстро и никого не задевая. Болтая с женщиной, взятой им на прицел, резидент как бы между прочим обронит новость, пускаемую нами в оборот. Через два-три дня эта новость уже известна в нескольких домах. Прислуга этих домов и всякий сброд, который кормится около состоятельных семей, выносят эту новость на улицу, в толпу, и круг распространения новости расширяется беспредельно. Что же касается собирания сведений, то здесь и говорить не о чем – заткни уши, сплетня вползет в тебя через ноздри. Второму резиденту остается только скрипеть пером.

Теперь передо мной предстала совсем другая картина. Новую тактику Зарандиа можно было уподобить использованию энергии ветра.

– Отлично все придумано, Мушни, – сказал я. Дружеская фамильярность, которую я позволил себе, была равносильна награде. А он и впрямь был достоин награды. – Я полагал, что

только деньги позволят вам справиться с вашей задачей.

– Мне это и в голову не приходило, но сейчас, пока мы беседовали с вами, я понял, что деньги здесь и не могли ничего решить. Рассчитывать на них в таком деле было так же бессмысленно, как рассчитывать на мужское посредничество. Мужчины живы верой, а не хлебом единым. Один из столпов этой веры – честь и незапятнанность престола и его учреждений. Когда же под сенью святости истинного мужчину вынуждают к вероломству, вера начинает колебаться, нравственная почва уплывает из-под ног, и сколь солидным ни будь вознаграждение, разрушения веры в святость правопорядка уже не остановишь. Нравственность человека, приобщившегося к нашей работе, подточена, а безнравственный человек ради своего благополучия идет на все, и первым делом прямо или в обход сам начинает подтачивать государственные основы. Наше же назначение и призвание – бороться против этого, – закончил Зарандиа свою мысль.

…Нигде с золотом не обращаются так рачительно и бережно, как на монетном дворе. Если в каждой из выпущенных монет золота окажется больше или меньше положенного хоть на сотую долю золотника, размеры вызванной катастрофы невозможно ни предвосхитить, ни даже представить себе. Служба, призванная охранять государственные основы, нравственность и достоинство подданных должна считать главным предметом своего попечительства. Рачительно и бережно относиться к ним – первейшая необходимость. Это звучит парадоксом, но для посвященных – элементарная истина. О Зарандиа я уже говорил. Он никогда не анализировал поступки, ему предстоящие, и не подыскивал оправдания уже совершенным, и тем не менее каждый сделанный им шаг оказывался единственно правильным. Я обратил внимание на эту особенность, ему свойственную, еще в первый год его службы под моим началом, но ведь невозможно представить себе, чтобы человек, действующий импульсивно, по наитию, ни разу нигде не споткнулся…

– Господин Зарандиа, вы сказали, что нравственные основания ваших действий никогда не занимали ваш ум, – так ли это?

– Конечно. И во всех прочих жизненных обстоятельствах я над этим не размышляю. Думаю я лишь о том, что необходимо сделать, а какие средства при этом избрать, подскажет интуиция. То, что подсказывает интуиция, мне и в голову не приходит сверять с нравственными нормами. Продиктованное интуицией наверняка – уже без моего вмешательства – проверено моей нравственностью.

– Следовательно, трон и государство здесь ни при чем, и вы служите самому себе?

– Я служу трону и государству, но при этом ни на пядь не отступаю от себя и ничем в себе не жертвую. Все совершается само собой. Моя нравственность не пойдет на компромисс, наверное, даже под угрозой катастрофы. Она не уступит и толики своего влияния на меня, и не в педантизме здесь дело – просто это моя натура, в которой запечатлелась и наследственность, и воспитание. В нашей семье все таковы.

– И ваш двоюродный брат Дата Туташхиа тоже?

– Да! Но при этом он наделен огромной силой воли, гораздо большей, чем я.

Мне было известно и о том, что произошло в лазаретеТориа, и о трагедии в духане Дуру Дзигуа. Зарандиа был прав. Однако в действиях Туташхиа я находил не одну лишь волю, но и ненависть ко всему человеческому роду. Если б не она, разве могло случиться все, что случилось?

Моя беседа с Мушни Зарандиа вернулась к своему началу и завертелась вокруг службы слухов, проверки ее надежности, использования собранных сведений и новостей и возможностей контроля над их распространением. Прошло совсем немного времени, и она принесла плоды, столь неожиданные и крупные, что привлекла к себе внимание имперского ведомства. Но это уже особая история, лишь отдаленно касающаяся главной темы моих записок, и потому ограничусь примером, заключающим в себе подробности, которые понадобятся для дальнейшего повествования.

В деле первостепенной важности, каким является искоренение бандитизма, есть одна особенность. Об этом деле не принято говорить в официальных беседах. Служебная этика почитает это дурным тоном. Рассказывая о совещании у наместника, я умолчал о политическом смысле тех предприятий, которые нами замышлялись. Вслух тогда ничего не было сказано, но

безопасность государства как главная цель наших усилий подразумевалась сама собой. Сейчас каждому известно, что одна из главных целей русско-японской войны заключалась в том, чтобы ослабить брожение, усилившееся во всех слоях российского населения. Недовольство народа, пробудившийся протест против существующего порядка вещей следовало направить в русло, выгодное государству. Давно уже понято, что разжигание патриотического великодержавного духа – спасительный выход из подобных ситуаций. Скажу только, что подотдел Зарандиа был создан в годы, предшествовавшие русско-японской войне, когда брожение в народе усиливалось и созревали политические страсти. Мы развернули свои действия в ту пору, когда ходом обстоятельств знаменитый абраг, почитаемый народом как благородный разбойник, мог легко превратиться в атамана шайки, тяготеющей к бунтарству. Абраг – неуловим, и одно это говорит о том, что фигура он незаурядная и способная стать серьезным противником сил, призванных охранять существующий правопорядок. Словом, острие вновь созданной службы было направлено против завтрашних вождей. Я предпринял этот экскурс, чтобы объяснить истинное значение деятельности Мушни Зарандиа.

В тогдашней Грузни имел распространение бандитизм трех родов. К первому роду принадлежали грабители, обуреваемые лишь духом стяжательства. Ко второму – абраги, чуравшиеся грабежа и защищавшие справедливость от тех, кто на нее покушался. В их действиях я усматриваю протест социального и национального характера. Бандитизм третьего рода был присущ последователям антигосударственных революционных учений, кои осуществляли террористические акты и экспроприации денежных средств по заданиям нелегальных центров.

Ограничив себя пределами Мингрелии и Самурзакано, Мушни Зарандиа в каждом из трех родов наметил по одному бандиту, считавшемуся в своем клане первым по могуществу и славе. Победа над сильнейшим, как предполагалось создателем плана, должна была открыть путь к изведению мелкоты. Этот расчет был, однако, уязвим, – сорвись план, и бандиты, достоинством поменьше, лишь оживились бы, преследовать их стало бы еще сложнее. Риск был несомненный и не всякому по плечу. Однако у Зарандиа было на уме свое, он держался уверенно и твердо и, хотя в предостережениях и советах, поступаемых от начальства, недостатка не было, стоял на своем.

Вот эти три человека.

Ража Сарчимелиа – тридцати четырех лет. Наглый, безжалостный и алчный грабитель. Укрывался от преследования уже девять лет. До этого отсидел пять лет за воровство. Неграмотен.

Дата Туташхиа – в ту пору ему было тридцать два. Скрывался почти двенадцать лет.

Буду Накашиа – двадцати семи лет. Осторожен, умен. Член нелегальной националистической организации. Террорист. Четыре года ходил в абрагах вместе со своим братом Лукой Накашиа. Сын священника. Закончил шесть классов гимназии.

Мы начали с того, что попробовали предложить мир Раже Сарчимелиа. Сорвалось. Что он сразу и не колеблясь помирится с нами, мы и думать не думали. Но надо было посеять в его душе замешательство, вторгнувшись в психику, вывести ее из равновесия, заставить ее вибрировать, заронить в его воображение мысль о возможности примирения. Человек, подосланный к Сарчимелиа якобы от уездного полицмейстера, получив отказ и уже уходя, бросил разбойнику: «А может, подумаешь? Впереди еще полгода, понадоблюсь – заходи».

То же самое было предложено Луке Накашиа – именно Луке, а не старшему брату – Буду. Согласия, разумеется, мы опять не получили, но зерно соблазна и сомнения было брошено и здесь.

За этим последовало распространение вымышленных слухов. Между собой мы называли их версиями. Ежедневно и методично подотдел Зарандиа рассеивал сплетни, компрометирующие каждого из этих трех в глазах народа. Тщательно разработанные версии призваны были стянуть в треугольник три независимые друг от друга линии, то есть между Сарчимелиа, Туташхиа и братьями Накашиа должна была завязаться смертельная вражда.

Первая версия была адресована Дате Туташхиа и дошла до него через кузнеца Малакию Нинуа. Нинуа ходил в ближайших друзьях Даты Туташхиа, хотя полиции ни разу за многие годы не удалось уличить его в предоставлении абрагу крова и помощи. Вероятно, Туташхиа

избегал встреч с ним, и лишь крайняя нужда, да и то на короткое время и наверняка вне дома Нинуа, заставляла его видеться с другом. Эти особые случаи предусматривались ими, заранее обговаривались места встреч, и все это было нам известно.

Одна из завербованных дам наших агентов – точно по графику операции – отправилась из Зугдиди в Самурзакано повидаться с родственниками. Ее муж, не желая выказывать снедавшую его ревность, под тем предлогом, что в дальнее путешествие женщине одной пускаться опасно, послал сопровождать жену ее младшего брата и своего кузена. Путешественники остановились возле кузницы Малакии Нинуа, так как у коня госпожи ослабла подкова.

– Мне кажется, твоя лошадь из тех, что Дата Туташхиа угнал у Бодго Квалтава и его дружков? – спросил у госпожи кузен ее мужа.

Дама звонко рассмеялась.

– Леван, браток, ты все перепутал, вроде нашего деда Чичико, а ведь ты еще не так стар. При чем тут Дата Туташхиа?

– Но ведь была же эта лошадь угнана?

– Угнана-то угнана, но Дата Туташхиа здесь ни при чем, – вмешался брат госпожи. – Лошадь угнал Ража Сарчимелиа, продал ее, а уж потом полиция нашла ее и возвратила Давиду.

– Да-да-да, так оно и было! – вспомнил кузен мужа. – Говорят, Ража Сарчимелиа остановил фаэтон уездного начальника, обчистил его семью, даже с девиц рубашки содрал…

– Откуда ты это взял? – спросила госпожа.

– То есть как это откуда? – вспыхнул кузен. – Ведь при тебе же об этом рассказывал полицмейстер Никандро Килиа!

Госпожа и вовсе развеселилась.

– Теперь я поняла, отчего у тебя в голове все перепуталось…

– То есть как? – обиделся кузен.

– А вот так. Никандро Килиа рассказал, что Ража Сарчимелиа умудрился передать начальнику уезда, что я вот не побоялся вашего Туташхиа и вон как с ним разделался. Если ты от меня не отстанешь, то же самое будет с твоей женой и дочерьми. А теперь смотри, что у тебя получилось. Из всей этой истории тебе в память врезался Туташхиа. Что коня отобрала полиция, ты знал раньше. Все это в голове твоей перемешалось, и получилось то, что ты здесь наплел.

Кузену стало неловко, и, чтобы выйти из ложного положения, он сказал:

– Пусть так, но что такого Сарчимелиа устроил Туташхиа, что могло напугать начальника уезда?

– Любовницу он у него отбил – вот что… Есть такая красотка Бечуни Пертиа. Ее и увел!

– Чтобы этот сопляк Сарчимелиа пошел на такое?.. – усомнился брат дамы. – Нашла чему верить… Враки все это!

Дама предпочла промолчать.

– А что тут такого, – вступился за нее кузен мужа. – Карабином и маузером Сарчимелиа владеет не хуже Туташхиа!

– Помолчи, ради бога! Любовниц не карабинами и маузерами отнимают.

Все это говорилось в расчете на то, что кузнец услышит. Так оно и вышло – услышал. К тому времени конь уже был подкован, путники сели в седла и отправились дальше, а Малакиа Нинуа, не терял времени, позаботился о том, чтобы все это поскорей дошло до Туташхиа.

С первого взгляда версия могла показаться наивной и рассчитанной на дураков, тем более что и цель ее была вся на виду – вынудить Туташхиа на резкий отпор. Туташхиа был слишком проницателен, чтобы клюнуть на такую приманку. И все же замысел оказался точным. Зарандиа руководствовался классическим принципом: если хочешь, чтоб тебе поверили, ложь должна ошеломить. К тому же он знал, что у Сарчимелиа за пазухой всегда хранился камень для Туташхиа. Был случай, когда Сарчимелиа с дружками, устроив у дороги засаду, затащили в лес – по одному, по двое, по трое – с полсотни людей и обобрали их до последней нитки. При этом случился Туташхиа, велевший вернуть награбленное. В драке один из грабителей был отправлен на тот свет, а Сарчимелиа и два его приятеля едва унесли ноги. Позже Сарчимелиа сам говорил, что Туташхиа дал им бежать. Добро возвратили владельцам, и слава об этом приключении Туташхиа разлетелась повсюду. С тех пор Сарчимелиа только и ждал случая

отомстить Туташхиа – хоть прямо, хоть исподтишка. Но ему ли было не знать, что сводить счеты с Туташхиа опасно и конец мог быть плачевен? Да и время брало свое – Сарчимелиа давно мог махнуть рукой и на убитого приятеля, и на отнятую добычу. План Зарандиа предусматривал еще один факт: Сарчимелиа и впрямь был неуемный бабник. Дате Туташхиа ничего не стоило поверить, что Сарчимелиа мести ради отбил у него любовницу. И даже если бы Туташхиа не поверил в ее измену – Зарандиа предусмотрел и этот вариант, – все равно он не простил бы позора, свалившегося на него из-за пустой болтовни Сарчимелиа.

Так был выстроен первый угол треугольника.

Далее. В отличие от пиратов Ража Сарчимелиа не закапывал награбленное на необитаемом острове и не прятал в большой Касской скале, как Арсен Одзелашвили. Но жила тогда в Сухуми гречанка Евтерпия Триандофилиди, одинокая женщина лет сорока, довольно бедная и необычайно жадная. Она жаждала разбогатеть во что бы то ни стало и превратилась постепенно в жесточайшую ростовщицу. Еще до того как Сарчимелиа впервые попался за воровство, она принимала у него ворованное, уступая от выручки в лучшем случае треть, а то и четверть. В торговле краденым так заведено с основания мира.

…Лучшие идеи и планы озаряют воров, грабителей и коммерсантов в заключении. Отбыв срок наказания, Ража Сарчимелиа отнес припрятанные деньги Триандофилиди, чтобы пустить их в рост. Так был создан альянс грабителя и ростовщицы, давший ей дополнительный доход, а ему – дополнительный стимул к грабежам. Немного времени спустя компаньоны получили вполне ощутимые суммы. Ростовщица уже скупала земельные участки и обзавелась домиком с садом. Ее отношения с Сарчимелиа стали известны сыскному отделу и полиции из агентурных каналов, однако получить вещественные доказательства полиции никак не удавалось. Немного позже удалось накрыть Евтерпию Триандофилиди с подозрительным товаром – при посадке на пароход в Поти у нее обнаружили пятьдесят рулонов мануфактуры. Полиция установила, что товар ворованный и что продал его гречанке господин Сарчимелиа. Был установлен и пострадавший, но ростовщице удалось выкрутиться – она назвала человека, якобы продавшего ей мануфактуру. Человека посадили, а Евтерпия отделалась штрафом. Однако сыскной отдел с тех пор не спускал с нее глаз.

Когда накопилось достаточно материала для ареста Ражи Сарчимелиа, его персоной заинтересовалась жандармерия, в частности подотдел Зарандиа. Получив от сыскного отдела весьма внушительное досье Ражи Сарчимелиа, Зарандиа углубился в его изучение, и тут сама собой всплыла фигура Евтерпии Триандофилиди. Если верить сыскному отделу, Ража Сарчимелиа встречался со своей компаньонкой редко. Передача награбленного осуществлялась, несомненно, через посредника. Предстояло его найти, но Зарандиа с этим не торопился. Он выжидал.

Однажды ночью, спустя месяц-два, по дороге из Ахалсенаки в Зугдиди на богатого офицера и его денщика напали двое. Офицер распрощался с кошельком, лошадьми и великолепным оружием (сабля, кинжал, револьвер), инкрустированным благородными камнями. Денщик же отделался несколькими тумаками за то, что пустился в столь дальнее путешествие с тремя рублями в кармане. Зарандиа тут же оказался на месте преступления. Почерк ограбления с несомненностью указывал на Сарчимелиа. Имя Ражи Сарчимелиа назвал и денщик. Теперь все зависело от того, как повезет, и от терпения – доставит или нет награбленное к Триандофилиди посредник, и если доставит, то когда. За ее домом была установлена слежка, чрезвычайно осторожная и тонкая. В течение десяти дней ростовщицу посетило семь человек. Под мышкой одного из них торчал сверток, в котором угадывалось оружие ограбленного офицера. Нетрудно было установить, что из семерых шестеро – обычные клиенты ростовщицы, седьмым же оказался владелец кофейной в Сухуми по имени Мушег. Ему дали отойти шагов на сто и доставили следователю в полицию. Низкорослый, невзрачный человечишко оказался крепким орешком и никак не мог признать ни свертка доставленного мадам Триандофилиди, ни даже ее самое. Розги и обещание отпустить сделали свое дело – Зарандиа получил от следователя показания Мушега, согласно которым Ража Сарчимелиа прятал награбленное в условленном тайнике, а оттуда владелец кофейной переправлял его Евтерпии Триандофилиди либо в другие места за проценты, отчислявшиеся от награбленного. Установили и остальные адреса, отыскался и человек, сообщавший Мушегу о том, что в

тайнике появился товар.

С владельца кофейной взяли подписку о неразглашении, взяли залог, заставив принести все ценности, какие у него были в доме, и, заверив, что простят преступление, если он и в самом деле будет молчать, отпустили на волю, приказав, однако, сохранить все отношения с Ражей Сарчимелиа.

Тем временем Зарандиа вместе со своими подчиненными беседовал с госпожой Триандофилиди в ее собственном доме. Один из подчиненных и был тем богатым офицером, которого ограбил Сарчимелиа. Трое других, чином поменьше, производили обыск. Офицерское оружие было найдено без труда, так как припрятать его хозяйка не успела, но обнаружить кладовку никак не удавалось. Однако Зарандиа это трогало мало. Он не сомневался, что заставит свою подследственную сделать все, что нужно для осуществления плана.

Поединок сыщика высокого класса и опытной преступницы длился четыре дня. Видно, Гермес наделил Пандору лишь малой толикой коварства, хитрости, лжи и красноречия. Все ушло на мадам Триандофилиди, но, на ее беду, кроме этих качеств, за ее спиной ничего сейчас не стояло. Зарандиа, напротив, помимо утонченнейшего профессионализма и неуязвимой честности, располагал внушительным томом донесений сыскного отделения и точно сделанными выводами из этих материалов, чистосердечными признаниями человека, согласившегося за хорошие деньги посидеть в тюрьме по поводу истории с мануфактурой, и исчерпывающими показаниями владельца кофейной, подкрепленными целым списком клиентов и соучастников ростовщицы. Существовало и вещественное доказательство – оружие ограбленного офицера и прочее, и прочее. Перед Евтерпией Триандофилиди встала реальная угроза не только потерять имущество, нажитое ценой постоянного страха и риска, но и оказаться в тюрьме на срок довольно продолжительный. Люди с ее нравственными устоями в таких ситуациях идут на любые компромиссы, чтобы спасти шкуру. Евтерпия Триандофилиди пошла на так называемые чистосердечные признания и обнаружила в этой роли столько прилежания, что даже сам Зарандиа порой терялся, кто перед ним – обвиняемый или обвинитель.

Эта операция дала казне прибыль в двести шестьдесят тысяч рублей: девяносто было конфисковано у Сарчимелиа, пай Евтерпии Триандофилиди составил сто семьдесят тысяч. Мадам осталась, однако, владелицей движимости и недвижимости и векселей на десять тысяч рублей, выданных в рост. Она получила заверение наместника о прощении и ежемесячное маленькое жалованье тайного агента сухумской полиции. Зарандиа получил то, что хотел, – Евтерпия Триандофилиди через владельца кофейной послала Раже Сарчимелиа толково составленное письмо, из которого явствовало, что весь капитал их альянса похищен Буду и Лукой Накашиа.

Это был второй угол треугольника.

По роду и долгу своей службы я был хорошо осведомлен о буднях кавказской жизни. До меня доходило все мало-мальски примечательное, и особо курьезные происшествия в том числе. Любителей потасовок и драк хватало везде. Но семья Дороте Тодуа из горной мегрельской деревушки превзошла всех. В семье было шесть человек: отец – Дороте Тодуа, мать – Нуца, урожденная Накашиа, и четверо верзил, один сильнее другого. Традицию создал Дороте Тодуа, еще в ранней молодости прославившийся как отчаянный драчун и отменный кулачный боец. Драки были смыслом его жизни, его духовной пищей. Это была страсть, доходящая до фанатизма, и, пока силы позволяли ему драться, он не женился и думать не думал жить, как все, а бродил себе по свету, ища приключений. Бил и бывал бит. Пока годы не взяли свое. В сорок лет у него впервые появился гурт, в сорок пять – жена из дома Накашиа, в пятьдесят он начал учить кулачному бою четырех своих мальчишек. Ребята пошли в отца, но намного превзошли его. На этом поприще прославилась и Нуца Накашиа-Тодуа. И не только как жена и мать знаменитых кулачных бойцов, но больше всего как большой мастак составлять мази и притирки от ушибов, синяков, нарывов. Была она и костоправом, правила вывихи и переломы. Словом, семья Тодуа была грузинским вариантом английских Hooligan's, с той лишь разницей, что все они были трудолюбивы и среди тогдашних крестьян считались состоятельными.

Но в одном отец отличался от сыновей. Дороте Тодуа любил в драке помериться силой,

ценил в ней игру, состязание, азарт. По нынешним понятиям, он любил спорт. Его сыновей привлекала в драке возможность унизить противника, поиздеваться, поиздеваться над слабейшим. Стоило им появиться где-нибудь на свадьбе, на гулянье, всюду, где собирался народ, все, кто знали братьев, торопились убраться с богом. Не уйдешь – станешь их жертвой. Оттого и врагов у них было не счесть. Оскорбление снесет не всякий – каждый из братьев по разу, а то и по два бывал ранен, кто кинжалом, кто пулей. Отец времени не жалел – учил их уму-разуму. Братья от своего не отступали. Старику надоело, он махнул рукой, пас свой гурт и домой являлся редко.

Дату Туташхиа с Дороте Тодуа свели пастушьи тропы. Они глубоко почитали друг друга: Дата Туташхиа чтил в Дороте старшего по возрасту, по высокому благородству и доброте. Тодуа ценил Дату как достославного и справедливого абрага. Несколько раз Дата Туташхиа бывал гостем в семье Тодуа. Младшие Тодуа, наглецы по природе, пытались фамильярничать с абрагом и однажды где-то на горных пастбищах, когда в палатке Дороте Тодуа шел кутеж, по пустяку придрались к Туташхиа. Драчуны низкого пошиба особенно любят задирать подобных людей. Они рассчитывают на их выдержку и нежелание ввязываться в пустую драку, а если терпение и кончится, все равно дело до крайности такие люди стараются не доводить. С другой стороны, избить одного знаменитого человека выгоднее, чем десяток ничем не примечательных людишек. Это капитал, пускаемый в оборот последующих драк. Цепляясь к Туташхиа, братья рассчитывали, вложив капитал малый, завладеть большим. Из-за уважения к Дороте Тодуа Туташхиа терпел до конца. Однако братья лезли в драку и в конце концов измордовали Туташхиа. Утихомирить их оружием и даже больше, чем утихомирить, Дате ничего не стоило, но он решил перетерпеть и, смыв с лица кровь, сказал, уходя: «Я еще увижу беду, которую вы на себя накликали». С тех пор Дата порвал все отношения с семьей Тодуа. Не прошло и года, как всех Тодуа, кроме старика, бродившего где-то со своим гуртом, вырезали в одну ночь – и четырех братьев, и мать! Видно, убийцы торопились – один из полицейских, прибывших на место преступления, подобрал завернутые в пестрый платок украшения и незаметно сунул их в карман. Это были украшения Нуцы. Не вдаваясь в подробности, скажу, что еще через год украшения вместе с платком перекочевали в сейф уездного полицмейстера. Об этом доложили Зарандиа, который приказал не сообщать Дороте Тодуа о находке, пока не раскроют преступления.

Преступников и след простыл, а в народе поползли самые разноречивые слухи, и среди них слух о том, будто кровавое это преступление совершил Дата Туташхиа. В доказательство приводилась фраза, которую избитый абраг бросил на прощание братьям Тодуа. Преступление так и не раскрыли. Я уверен, Туташхиа был тут ни при чем, но для Зарандиа важно было, чтобы в глазах народа, и больше всего в глазах Буду и Луки Накашиа человеком, свершившим это тягчайшее преступление, был Дата Туташхиа. Нуца Накашиа, мать убитых братьев, приходилась родной теткой Буду и Луке Накашиа. Завязать смертельную вражду между братьями Накашиа и Датой Туташхиа стало ближайшей целью Зарандиа. Была приведена в действие служба слухов, и сплетня вскоре добралась до братьев Накашиа. Для братьев она была уже не новостью, но, поскольку сплетня приползала к ним с разных сторон, они решили выяснить, откуда она сочится.

Это был третий угол треугольника.

А теперь о том, как Мушни Зарандиа свел прочерченные им углы в одну геометрическую фигуру, что, кстати, потребовало работы не меньшей трудности. Необходимо было, чтобы каждая версия, дошедшая до разбойников, имела свои несомненные доказательства. Все они являлись отменными мастерами по части разгадывания всякого рода хитроумных ребусов, шарад и уравнений со многими неизвестными, и обмануть их было совсем не легко. Поверить они могли лишь тому, что, как принято говорить, можно руками потрогать, – факту, вещественному доказательству, в крайнем случае, слову верного человека. Туташхиа нужно было подсунуть новое доказательство, подтверждавшее, что Сарчимелиа и правда отбил у него любовницу, а если не отбил, то, по крайней мере, распускает слухи, что отбил, с тем, чтобы рассчитаться с ним. Сарчимелиа должен был окончательно поверить в то, что Буду и Лука Накашиа ограбили Евтерпию Триандофилида, взяв все ее деньги и добро. У братьев же Накашиа не должно было оставаться сомнения в том, что кровь их тетки и четырех

двоюродных братьев лежит на Дате Туташхиа.

И с этой задачей Зарандиа справился виртуозно. В его плане била предусмотрена и такая тонкость: Туташхиа мог ничего не предпринять, но не заинтересовать его этот слух не мог. Поэтому был пущен еще один слух о том, у кого именно освободилась Бечуни Пертиа от последствий любовной связи с Сарчимелиа. К повивальной бабке, имя которой было использовано в этой версии, дней через десять явилась вполне уважаемая дама, княжна Терезиа Чичуа. Болтая с бабкой о том о сем, княжна поинтересовалась, между прочим, связью Бечуни Пертиа с Ражей Сарчимелиа, и бабка, прикинувшись, что доверяет тайну, подтвердила, что оказала помощь Бечуни Пертиа как раз она. Одним выстрелом Зарандиа уложил двух зайцев: он установил, что так или иначе, но Дата Туташхиа на приманку клюнул, и обнаружил до того не известную ему связь абрага с княжной Терезией Чичуа. Не оставалось сомнения, что Дата Туташхиа предпримет что-то против Сарчимелиа.

Время и место террористического акта, который был доверен Буду Накашиа еще за четыре года до описываемых событий, наше ведомство установило заблаговременно. Террорист попал в капкан, не сумел выполнить задания и, уложив двух казаков, скрылся в лесу. Младший брат, Лука Накашиа, в этом деле участия не принимал, так как от рождения был слаб разумом. Когда Буду Накашиа ушел в абраги и снискал на этом поприще славу, Лука собрал манатки и, отыскав брата, наотрез отказался возвращаться домой. Так и он стал абрагом. Против Луки Накашиа наши учреждения никакими материалами не располагали. Известно было только, что он расхаживал довольно открыто и, надо полагать, выполнял то, что поручал ему старший брат. Возникла было мысль взять Луку и припугнуть Буду, что, если он не явится с поличным, его младшего брата закуют в кандалы и сошлют в Сибирь, но кто-то вспомнил, что Лука не в своем уме, отдавать его под суд нельзя, Буду знает это не хуже нас, он и не подумал бы сдаваться. Лука, однако, не был настолько слабоумным, чтобы навести нас на след брата, но чтобы скрыть от полиции маршруты, по которым он ходит, разума у него все-таки не хватало. Для Зарандиа и этого было не мало. На тропинку, по которой ходил Лука, подбросили великолепный маузер. Человек, которому было поручено осуществить эту маленькую хитрость, уверял, что Лука не менее получаса осматривал оружие, не прикасаясь к нему. Видимо, в эти полчаса его мозг охватил ситуацию во всех пределах, ему доступных, и не обнаружил опасности, ибо, схватив маузер, Лука лихо заткнул его за пояс и отправился своей дорогой, насвистывая ту же песенку, какую насвистывал, пока не наткнулся на свою находку. Буду Накашиа находкой младшего брата был весьма озадачен, тоже обдумал ее со всех сторон и, не обнаружив ничего подозрительного, приписал все случайности. Маузер, отнятый у богатого офицера и затем отобранный у Евтерпии Триандофилиди, стал собственностью Луки Накашиа. Теперь нужно было, чтобы Сарчимелиа своими глазами увидел это…

Я уже, кажется, говорил, что Дата и Эле Туташхиа росли и воспитывались в семье Мушни Зарандиа. Добавлю, что в этой семье царила нежнейшая любовь друг к другу и каждый был окружен заботой остальных. Мне известно с совершенной достоверностью, как близко к сердцу принимал Мушни Зарандиа судьбу Даты и Эле, и страдание его было истинно и глубоко. Он не только помогал Эле Туташхиа деньгами наравне с помощью своим родителям и старшему брату, но заботился о доме и хозяйстве этой одинокой незамужней женщины. И Мушни, и его старший брат, и старики родители были для Эле и Даты близки, как могут быть близки лишь родные братья и собственные родители. Для стариков же Зарандиа судьба их осиротевших воспитанников была постоянным источником горя и слез. Я твердо знаю, что, хотя жизнь развела Мушни Зарандиа и Дату Туташхиа по сторонам, до крайности противоположным, их уважение друг к другу и братская кровная любовь не были ничем поколеблены. Такова истина, как ни парадоксально она звучит, и если я не прав, пусть господь рассудит и трагическую судьбу этих двух людей, и мое отношение к ним.

В то время, когда Мушни Зарандиа начал выстраивать свой треугольник, Эле гостила у него в Тифлисе. Старый деревенский дом Туташхиа давно уже нуждался в основательном ремонте, и Мушни дал Эле денег, чтобы перекрыть крышу, а об остальном, сказал он, подумает позже. Он назвал человека, который найдет ей хороших мастеров, и, посадив сестру в поезд, отправил домой. Когда Эле пришла к человеку, рекомендованному двоюродным братом, он сказал, что мастера сейчас заняты у другого хозяина, и как только закончат работу, он пришлет

их к ней. Разумеется, этот человек был нашим агентом и придерживал плотников до нового распоряжения Зарандиа. Эле Туташхиа пришлось ждать не так уж долго. В одно прекрасное утро мастера явились, и работа закипела. Один из них, улучив момент, спрятал на чердаке в назначенном месте украшения Нуцы Тодуа, завернутые в ее же платок. Покрыв крышу, мастера удалились, а спустя три дня Эле Туташхиа пришлось опять отправиться в Тифлис, куда ее поспешно вызвали по случаю болезни жены Мушни Зарандиа. Она уехала, заперев дом, на чердаке которого лежало теперь вещественное доказательство того, что именно ее брат извел семью Тодуа. Теперь надо было, чтобы братья Накашиа пробрались в дом Даты Туташхиа и обнаружили там платок с украшениями.

На этой стадии Зарандиа перепоручил дело своему подчиненному, а сам выехал в Тифлис, где его ждали другие дела. Надо заметить, что Зарандиа одновременно завел еще пять подобных дел в разных уездах Кавказа. Я знал, что до окончания операции еще далеко, и его возвращение удивило меня. Он явился ко мне сам, прежде чем я успел пригласить его, и доложил о ходе дела.

– Вы вернетесь туда? – спросил я.

– Нет, там уже нечего делать.

– Каких результатов вы ожидаете?

– Предугадать можно лишь приблизительно… тем более в таких делах – вы знаете это лучше меня. Полагаю, однако, что задуманное нами должно состояться.

– То есть ликвидация старшего Накашиа или их обоих, примирение Сарчимелиа с дальнейшим использованием его по нашему ведомству, полнейшая компрометация Туташхиа, доведенная до степени, когда иного выхода, как примириться с нами, у него не останется… Так я вас понимаю?

– Именно так, – подтвердил Зарандиа. – Но всему этому посчастливится произойти, если только Туташхиа не распутает наш клубок и не успеет оповестить и успокоить остальных преступников. Чем больше уходит времени, тем реальнее эта угроза.

– Если братья Накашиа обнаружат украшения своей тетки на чердаке Туташхиа, неужели и тогда еще влияние Туташхиа способно будет провалить наш замысел?

– Все может быть, – сказал Зарандиа, – но так или иначе, мое присутствие там уже ничего не изменит.

Был вопрос, который с самого начала волновал меня, но я никак не мог выбрать минуты, в которую можно было его задать. Мне было неловко и сейчас, меня одолевали сомнения, пока наконец я не поймал себя на мысли, что любая минута годна для этого, лишь бы не подвела смелость.

– В сложившихся обстоятельствах, – сказал я, – не исключен вариант, когда будет убит один Туташхиа, а все остальное останется неизменным. Не так ли?

– Это исключено! В двух углах из трех непременно будет принято решение, желательное для нас, и при всех случаях Туташхиа останется жив.

– Отчего такая уверенность?

– Оттого, что Туташхиа много сильнее Сарчимелиа и двух Накашиа, вместе взятых!..

– Почему же столь различны их возможности?

– Так распорядилась природа, наделив их разными способностями. А потом – нравственность, да еще отточенная воспитанием. Я знаю, люди не могут достичь совершенства, но Туташхиа из тех, кто ближе остальных к нему.

– Человек предполагает, бог располагает. Ну, а если все же сложится так, что Туташхиа погибнет? – не отступал я.

– Это произойдет, если Туташхиа окажется слабее других. Проиграет – неизбежно – слабейший. Мы здесь ни при чем. Однако с Туташхиа, повторяю, ничего не случится.

На том мы и расстались.

Братья Накашиа отыскали того субъекта, который утверждал, что Дата Туташхиа уничтожил семью Тодуа, и пригласили его в заранее условленное место вместе с человеком, наведшим братьев на след этого обвинителя.

– Гектор Куправа, почтеннейший, откуда вам известно, что нашу тетю Куцу и ее сыновей убил Дата Туташхиа? – спросил Буду Накашиа.

– Да откуда мне знать?.. Ничего я не знаю! – заюлил Куправа.

– Вы поглядите на него! – возмутился посредник. – Ты же мне сам говорил, что это его рук дело.

Куправа – опять отнекиваться, но в его словах явно сквозили трусость и ложь. Накашиа настаивали. Куправа ни с места, пока дело не дошло до угроз и взведенных курков.

– Буду-батоно! – бросился он в ноги братьев. – Не оставляй моих детей сиротами! Я все скажу, только не выдавайте меня! Разве мало под солнцем грехов да убийств! Открой я рот, и одним убийством станет больше… Не мучайте меня! Заклинаю вас богом на небе и всеми, кто дорог вам на земле!

– А ну выкладывай, а то раскрою тебе череп! – прикрикнул Лука Накашиа.

– Перед тем как Дороте Тодуа взять в жены несчастную Нуцу, вы, помнится, только что новый дом закончили ставить, ровнехонько накануне это было? – спросил Куправа.

– Так оно и было, ну и что из того? – сказал Буду, припоминая.

– Ну, а то, что те мастера, которые у вас плотничали, отлично ведь знали вашу Нуцу, и когда пришли за Нуцей шаферы Тодуа, они при этом были… помните?

– Были вроде бы…

– Были, точнехонько были. Я сам там был, и помню, что и они были. Может, ты и про меня не помнишь? – обиделся Куправа.

– Ладно тебе, помню.

– Вот как Дороте Тодуа вашей Нуце украшения подносил как засватывал ее – этого я и правда не скажу, чего не помню, того не помню, а мастера и сейчас помнят: серебряное кольцо, говорят, было с бирюзой – огромных три камня, брошь – тоже серебряная и тоже с бирюзой, и серьги такие же. Нуца, говорят они, с тех пор так и не снимала их, всегда в них ходила. Мы и запомнили. А теперь ты скажи, была у бедной Нуцы эта бирюза?

У Буду Накашиа уже кровинки в лице не было, его трясло.

– Была. Носила. Все правда!

– Вот эти-то мастера, про которых я вам толкую… видели не так давно Нуцины драгоценности.

– Где?!

– Меняли они крышу у Туташхиа… Нашли на чердаке.

– …Они что, и место назвали? – спросил Буду после долгого и тяжелого молчания.

На Куправа навалились сомнения. Пересилив себя, он процедил:

– Сказать-то сказали… а вдруг врут… ну, как не найдешь ты ничего на том месте, что со мной будет?

Братьям было не до Куправа. Они живо заставили его назвать злосчастное место и, едва рассвело, были уже у дома Туташхиа, облазили все вокруг и, не обнаружив и тени опасности, перемахнули через забор наглухо запертого дома. Еще несколько минут – и в руках их пестрел платок тети Нуцы, в котором хранились украшения. Лука взломал дверь кладовки, вытащил керосин, плеснул на стены дома и поднес огонь. Все это произошло на глазах всей деревни и сопровождалось пространными и крепкими разъяснениями, на которые братья не скупились, желая быть хорошо понятыми местной публикой.

Что же до Сарчимелиа, то он, естественно, не поверил своей компаньонше. Для этого у него было немало оснований, и прежде всего то, что сам он пошел бы на любой обман даже малых денег ради.

И Евтерпия Триандофилиди была той же породы – ради заработка она могла пойти на все. Зарандиа нетрудно было предусмотреть, что такого глубокого скептика, как Сарчимелиа, не убедишь, пока не представишь свежие и сильные доказательства. Сама мадам Триандофилиди была бы здесь бессильна. Поэтому следующая сцена была разыграна в ее собственном доме и, разумеется, с ее же согласия. В комнате со следами только что произведенного обыска, где все было перевернуто вверх дном и царил неописуемый хаос, была оставлена накрепко стянутая веревками мадам Триандофилиди. Через полчаса после того, как Зарандиа покинул ее дом, мадам выбралась на улицу, и вопли ее разнеслись по округе. Сбежался народ, явилась полиция, обнаружившая на улице часть вещей, якобы разграбленных братьями Накашиа.

Расследование продолжалось два-три дня, и, конечно, про ограбление Триандофилиди

узнал весь город. Ретивая полиция устроила повальные обыски у всех родственников братьев Накашиа, в каком бы уезде и в какой бы глуши они ни жили. Арестовали, допросили, задержали на время, а потом отпустили на поруки треть или даже добрую половину всех подельцев госпожи Триандофилиди, в том числе и владельца кофейной, с которым у Сарчимелиа несколько позже произошел свой разговор. При этом выглядело все так, будто полицию интересует лишь одно – кто навел братьев Накашиа на дом Триандофилиди?

Сарчимелиа терялся в догадках, и чем больше размышлял, постигая истину, тем очевидней становилась для него невиновность компаньонши, недоверие к ней гасло, а необходимость встречи с Накашиа все больше завладевала его умом. Но чтобы встретиться с ними и потребовать вернуть деньги, нужно было иметь на руках доказательства совершенно неопровержимые. Поэтому, не довольствуясь фактами, известными ему от надежных людей, он решил заполучить показания Луки-дурачка. Пути-дорожки младшего Накашиа Сарчимелиа знал получше полиции, и не прошло двух недель, как встреча эта состоялась. Маузер Луки Накашиа был засечен Сарчимелиа тут же – они едва успели обменяться приветствиями. Установить, что маузер, торчащий за поясом Луки, именно то оружие, которое было отобрано у богатого офицера на дороге между Ахалсенаки и Зугдиди, а затем переправлено к мадам Триандофилиди, для Сарчимелиа не представляло ни малейшего труда. Один взгляд – и все. И разговора не понадобилось – бандиты тут же расстались. Факт был установлен, и двух мнений для Ражи Сарчимелиа уже не существовало. Не мешало, однако, проверить саму Евтерпию Триакдофилиди и установить, каков убыток. Он пошел ва-банк – объявился в Сухуми. Слежку, разумеется, и не думали снимать, однако полиции было ведено не трогать разбойника, даже если он сам полезет в петлю. Сарчимелиа навестил компаньоншу и, убедившись лишний раз, что морские пираты и Арсен Одзелашвили были поумнее его, убрался восвояси, размышляя о предстоящих переговорах с братьями Накашиа. Он уже не сомневался, что деньги похищены ими, но сомневался, что экспроприаторы их вернут.

– Ничего от них не получишь! Это же политические – ты что, не знаешь? Сдали они своим мои денежки, – ответил Ража одному из приятелей, который сунулся с советом найти братьев и потребовать у них деньги.

– Тогда надо взять с собой человека, которого Накашиа уважают и станут его слушать.

Этот совет показался Сарчимелиа разумным, но кого взять? Тут-то и родилась мысль позвать Дату Туташхиа. Препятствия теперь были немалые. Во-первых, старые счеты, а во-вторых, слухи о том, будто он отбил у Туташхиа любовницу, уже дошли до Сарчимелиа и, стало быть, не могли не дойти до Туташхиа. Посмотреть с другой стороны, так для посредничества и переговоров, для воздействия и давления лучше Туташхиа и не найти. Мысль была очень заманчивой, но можно понять и сомнения Сарчимелиа. Поди узнай, найдешь ли общий язык с Туташхиа. И тут он слышит, что братья Накашиа сожгли дом Туташхиа, и узнает, в отместку за что сожгли. Не долго думая, он бросился его искать. Еще бы! Не то что повлиять на братьев, тут интерес получался один – на союз против Накашиа можно было рассчитывать.

Но одно дело – хотеть, другое – исполнить. Разыскать Дату Туташхиа Раже Сарчимелиа было так же трудно, как и полиции: работа по компрометации Даты Туташхиа, хоть и медленно, но уже приносила свои плоды, и вполне внушительные. Уже во многих местах, где раньше принимали его с распростертыми объятиями, он теперь не появлялся. Два-три прежних его почитателя сказали ему в лицо, чтобы на их уважение и доверие он не рассчитывал. Другим такой смелости не хватило, но Дата сам почувствовал холод и порвал старую дружбу. Он ни перед кем не оправдывался, не опровергал слухов и не удостаивал никого своими объяснениями. Был только один случай. Настоятельница женского монастыря с резкостью, позволяемой себе лишь ортодоксами, обвинила его в грехах, ему приписываемых.

– Не тот я человек, мать, чтобы пойти на такое! – только и сказал он ей.

И ответ его, и спокойствие озадачили настоятельницу.

– Народ поверил, – сказала она, теряя уверенность.

Чтобы версия, пущенная Зарандиа, превратилась в аксиому общественного сознания, необходима была самая малость. Платок с украшениями и сожженый дом Туташхиа превратили смутные толки в факт, реальность которого уже никем не оспаривалась. Туташхиа обнаружил, что в глазах народа из благородного абрага, всеми почитаемого и лелеемого, он превратился в

злодея, обагренного кровью невинных жертв. Ему не оставалось ничего иного, как принять на себя бремя изгнанника и отшельника.

А Ража Сарчимелиа рыскал как шакал – все искал его. У Туташхиа еще сохранились приверженцы, люди с ясной и трезвой головой. Сарчимелиа обошел их всех, уговаривая устроить ему свидание с Датой. Туташхиа, конечно, эти просьбы передавали, но ответ до грабителя так и не доходил. Он не унимался – искал. В конце концов то ли Туташхиа надоело скрываться от Сарчимелиа, то ли новые идеи посетили его, но он назначил разбойнику свидание в Бандза, в хижине слепого Мордухая. Сарчимелиа появился за полночь. Дверь была не заперта. Когда он вошел, Мордухай лежал на топчане. Приход ночного гостя его не удивил, но и вставать он не подумал, а лежал вытянувшись и был похож на мумию.

– Привет тебе, еврей Мордухай!

– Дай бог тебе здоровья, если для добрых дел ходишь по свету, – рука Мордухая протянулась в сторону другого топчана – старик давал разбойнику ночлег.

Больше он не проронил ни слова. Туташхиа заставил прождать себя трое суток. Видно, кружил где-то поблизости, высматривая, нет ли ловушки. Лишь на третьи сутки Мордухай заговорил. «Придет», – сказал он, почувствовав, что Сарчимелиа теряет терпение.

Туташхиа пришел, когда Сарчимелиа спал. Перед его приходом Мордухай незаметно вынул патроны из карабина и револьверов разбойника, положил их на стол. Туташхиа сбросил бурку и устроился на скамье возле очага. Мордухай развел огонь, и когда затрещали дрова, разбойник поднялся и протер глаза.

– Здравия желаю, Дата-батоно, но я бы ушел, если б ты и сегодня не появился.

Туташхиа наклонил голову. Разбойник не понял, отвечал ли Дата на его приветствие или что-то другое было у него на уме. Держался Сарчимелиа браво – ему хотелось произвести на Туташхиа впечатление человека лихого и сильного.

– Мне бы хотелось поговорить с тобой один на один, – кивнул Сарчимелиа в сторону Мордухая.

Туташхиа махнул рукой, и Сарчимелиа понял, что настаивать не следует.

– Скажу тебе сразу, Дата-батоно, не за тобой была правда, когда на дороге ты отбил у нас людей, которых мы взяли, но я зла не помню и камня за пазухой не держу. И то вранье, будто я спутался с Бечуни Пертиа. Наплели люди!

Сарчимелиа подождал ответа Даты Туташхиа, но абраг не проронил ни звука, глядя в лицо собеседника, освещенное огнем.

Сарчимелиа подумал было, что Туташхиа молчит, подавленный твердостью его тона, но в позе абрага были лишь усталость и спокойствие.

– Дата Туташхиа, – заговорил он, уже волнуясь, – нет нужды ни мне, ни тебе в наших с тобой распрях. У нас один враг, и если нам вместе прижать его, лучше будет. – Сарчимелиа опять замолчал, ожидая, что скажет Туташхиа, но ответа по-прежнему не было.

До разбойника, видно, дошло, что не так пошла его речь, и он смутился.

– Дата-батоно, Накашиа сожгли твой дом. Тебя найдут – убьют. Я в Сухуми у одной бабы деньги хранил – они их забрали, а было этих денег столько, что на них таких домов, как твой, сотню можно поставить – не меньше.

И опять – ни малейшего впечатлении. Ни один мускул не дрогнул в лице абрага. И по-прежнему он не отрываясь глядел в лицо Сарчимелиа.

– Давай вместе стребуем с него каждый свое. Лучше будет.

Мордухай подсел к Дате Туташхиа. Разбойник уставился на слепого, будто взглядом хотел заставить его вытащить из Туташхиа хоть слово. Конечно, взгляда этого Мордухай видеть не мог, и ни одного слова он не сказал, но разбойник почувствовал, что старик вот-вот заставит его уйти.

– Ты что думаешь, Дата-батоно, я разделаюсь с братьями Накашиа, а с тебя взятки гладки? Может, так оно и выйдет, да все равно твоим грехам на тебе висеть. Ты послушай только, что народ о тебе говорит… Ты же умный человек… – Сарчимелиа уже давился словами, но Дата молчал. – Дата-батоно, тебя одного послушаются Накашиа. Помоги мне забрать у них деньги. Половина – твоя.

Слабая улыбка скользнула по лицу Туташхиа, а может, искра мелькнула в его глазах и

погасла. Сарчимелиа понял, что лихой его тон давно уже перешел в мольбу, что не пойдет с ним Туташхиа к братьям Накашиа, но все равно разбойнику хотелось услышать от Даты хоть слово.

– Ступай, Ража-браток, своей дорогой, – сказал Дата.

Мордухай пошарил по столу, нащупал патроны и протянул их разбойнику. Сарчимелиа помедлил, прежде чем подняться, рассовал оружие и вышел.

Донесся лай соседских собак, сначала вблизи, потом издалека, и все стихло.

Вошел Исаак, внук Мордухая, и стал собирать ужин.

– Все это одних рук дело, Дата, – сказал Мордухай. – Одной головой придумано. Одной веревочкой перевито. Очень уж все одно к одному.

– Кто же он, этот человек? И почему такие умные люди идут к ним на службу, хотел бы я знать? – спросил Дата.

– Каждому – свое. Бог многим отпустил ума, а разумом наградил немногих. По разуму человека и дела его. У тех, о ком ты говоришь, поганый разум. Какими же быть делам их?

– А когда ты жить начинал, Мордухай-батоно, какой у тебя был разум?

– Выгода да прибыль.

– Ну, а потом?

– Понял, что все это – прах, но ничего лучшего мне не попалось, и тогда пошел до конца – копил и умножал нажитое. И так почти до ста лет. – В очаге шипела сырая коряга. – Хорошее ел, хорошее пил, в хорошей одежде ходил, но на другой день об этом уже не помнил. Все превращалось в ничто… – Мордухай помолчал. – А знаешь, что из всего этого в памяти осталось?.. В Мартвили на базаре мальчонка однажды козу продавал. Одежонка на нем была такая грязная и изодранная, какой я в жизни не видел. Торговала козу старуха вдова: мор выбил всю семью, только внук остался, грудной младенец. Чтобы выходить его, и покупала она козу. Слезами умывалась – просила мальчишку уступить скотину за шесть гривенников, больше у нее ни гроша не было! Мальчишка – ни в какую. А я в ту пору черкеску продавал, досталась она мне по дешевке. Отдал я мальчишке черкеску задаром, ничего не взял. Забыть не могу его глаз: и верить не верит, и рад до смерти, а удивлению – края не видно. И еще помню: взял он у меня черкеску, тут же отдал старухе козу за шестьдесят копеек. Я ему. Он – ей.

Туташхиа оторвал наконец взгляд от огня и перевел на слепого Мордухая.

– Пробовал я по-твоему. Сам знаешь, сколько раз пробовал.

– Ну и что?

– Кого я одел-обул, тот меня разул-раздел. А не меня, так другого. Здесь уж разницы никакой. – Туташхиа налил себе водки.

– Ну, а если б не одел, не обул, что ж, ты думаешь, тот человек не пустил бы другого голым по свету? Или даже тебя – тоже ведь разницы никакой?

– Это в голову мне не приходило, – сказал Туташхиа и опорожнил стопку.

Кончили есть. Туташхиа раскурил трубку.

– Не пойдет он один к братьям Накашиа, – сказал Мордухай, – смелости не хватит. Но и покоя ему не будет, пока не отомстит.

Исаак убрал посуду. Вытер стол.

– Найди, браток, Буду Накашиа, – сказал Дата Исааку, – расскажи обо всем. А то нахлебаются они горя от этого шакала.

На рассвете Исаак набрал мелкого товара и пустился в путь по горным деревушкам, но братья Накашиа заметали следы, как никогда прежде, – попробуй найди их. Не успели слова Даты дойти до них, как случилось то, чему суждено было случиться: Сарчимелиа подстерег их и одним выстрелом уложил Буду на месте. Лука, решив, что это полиция, удрал. Сарчимелиа явился к посреднику, помирился с полицией, согласился служить и через две недели вышел охотиться на разбойников.

Лука Накашиа скрывался еще несколько месяцев, время от времени возвращаясь домой, – погостит недельку и обратно в лес. Понемногу он привык к дому, и мы его не беспокоили. Наконец ему и вовсе надоело играть в казаков-разбойников, и он взялся за мотыгу.

Как и было между ними договорено, Туташхиа через месяц появился в хижине слепого Мордухая. Вошел, поздоровался, дальше – ни слова. Старик понял, что Дата знает и про

убийство Буду Накашиа, и про все остальное.

– Что Сарчимелиа пошел к ним служить и теперь гоняется за абрагами – известно тебе? – спросил хозяин.

– Известно. Вывели из крысы людоеда!

Мордухай не понял, о чем речь, и спрашивать не стал.

– Мордухай-друг, скажи, что делать человеку, который не знает, как быть и жить дальше?

– Ваша вера дает выход, лучше которого в других верах нет ничего… Монастырь!

Дата покачал головой.

– Все религии и наше Евангелие мне понятны до тех пор, пока они говорят человеку, каким ему надлежит быть. А что дальше этого, никуда не годно и никому не нужно. И ведь что удивительно: в монахи идут, чтобы на это ненужное себя тратить. А для добрых дел надо жить мирской жизнью. В этом правда. Не по мне монашество. Уйду.

– Куда?

– Со мной и вокруг меня столько произошло, что не понять мне теперь, как жить и что дальше делать. А знать надо, без этого не могу. Хочу взглянуть на все издалека. Может, там, куда ухожу, пойму, что делать. Может, ждет меня там то, что ищу. Пойду погляжу. – И, немного погодя, добавил: – Мордухай-друг, нужно мне, и непременно сегодня, десять тысяч. Не вернусь – плакали твои денежки. Тебя в живых не застану – отдам Исааку. Оба живы будем, за мной не пропадет – сам знаешь.

Слепой встал, взял костыль и, вернувшись через четверть часа, положил перед Датой деньги.

Ираклий Хурцидзе

Я сидел в своем кабинете после вчерашней пирушки и машинально листал газеты. Но строчки расплывались, голова моя раскалывалась на части, и я ничего не соображал. Что там говорить – состояние известное! Проще всего было лечь в постель и хорошенько выспаться, но вместо этого пришлось тащиться в контору на свидание с клиентом. Свидание назначено было на час дня. Дело это сводилось к несчастному клочку земли и тянулось уже восемь лет. Стороны прошли все судебные инстанции, но никто не мог доказать своего права на землю. Бесконечная тяжба и судебная волокита измотали всех вконец, и именно это обстоятельство я надеялся использовать для того, чтобы как-нибудь примирить их.

Юридическую контору я завел лет восемь назад. Контора как контора: два присяжных поверенных, нотариус, два комиссионера и несколько мелких служащих. Брался я за самые разные дела – составлял документацию при крупных коммерческих сделках, был посредником в купле-продаже, вел комиссионные дела. Нельзя сказать, чтобы я был слишком богат, но денег было достаточно для беззаботной холостяцкой жизни. И хотя мне уже исполнилось тридцать пять лет, но все свое свободное время я тратил самым легкомысленным образом: кутил, играл в карты и веселился, как мог. На это, естественно, уходили кругленькие суммы, и я их спускал, нисколько о том не жалея. Месяца два в году я проводил за границей, ездил в Москву, ездил в Петербург. Конечно, по большей части то были сугубо деловые поездки, которые я совершал по милости своей юридической конторы, не отказываясь при этом от радостей нашей быстротекущей жизни.

Короче говоря, я был в то время весьма известным и вполне преуспевающим адвокатом. Само собой разумеется, что двери домов тифлисской знати были для меня всегда открыты, хотя я редко пользовался своим положением и переступал их порог. Потому, наверно, что я никогда не придавал особого значения чинам и должностям. У меня была собственная мерка для людей, свои суждения.

…Итак, я сидел после ночных развлечений в конторе и ждал клиентов, когда вошел секретарь.

– Турецкий подданный, – доложил он, – по национальности лаз [9],

[9] Лазы – грузины, живущие на турецком побережье Черного моря

дворянин-землевладелец, господни Арзкев Мускиá.

И повторил:

– Мускиá, ударение на «а».

– Арзнев Мускиá? Ударение на «а»? – переспросил я.

– Да, сударь.

– По какому делу?

– Он хочет купить имения в Картли и Кахети – сады и виноградники, – пояснил секретарь.

Хотя подобные, сделки обычно заключались при посредничестве дворянского банка, удивление мое было не слишком велико, – юридическая контора Ираклия Хурцидзе день ото дня становилась все известнее, и появление этого клиента было лишним тому подтверждением.

– Просите через десять минут! – сказал я секретарю, желая поднять в глазах нового клиента значение фирмы, хотя, должен сказать, мне самому не терпелось увидеть господина Мускиа. Дело в том, что в это время земельные проблемы казались мне чрезвычайно важными, затрагивающими не только частные, но и национальные интересы. В ту пору грузинские дворяне за гроши продавали свои поместья. Покупали их чаще всего землевладельцы, но не грузины, и мне представлялось патриотическим долгом спасти землю какого-нибудь разорившегося дворянина, а с ним и богатства моей страны от чужестранцев. Именно поэтому приход лаза взбудоражил меня, и я перебирал в памяти все, что смогу предложить этому, как мне казалось, с неба свалившемуся спасителю наших земельных угодий.

Ну конечно, я не мог не думать и о тем, чтобы встретить с достоинством своего богатого соотечественника, и к тому же патриота, не уронить себя в его глазах.

Но вот секретарь открыл дверь и, пропустив лаза вперед, представил его мне.

Я вышел из-за письменного стола:

– Адвокат, князь Хурцидзе. Прошу вас сесть. Я к вашим услугам!

Я попросил секретаря оставить нас и вернулся к своему столу.

Арзнев Мускиа сел в кресло, пристально на меня взглянул и, опустив голову, как будто погрузился в себя. Это меня не удивило: деловые люди перед беседой с адвокатом иной раз долго собираются с мыслями, однако молчание моего нового клиента, тянулось без конца, перешло все границы, и мне показалось, если я не прерву его, это будет попросту невежливо.

– Господин Арзнев Мускиа! – с почтительностью обратился я к нему. – Я слушаю вас внимательно! Мы соотечественники, и я считаю себя обязанным помочь вам в вашем благородном деле.

Гость доброжелательно поглядел на меня и, мягко улыбнувшись, сказал:

– Я пришел не по тому делу, о котором вам доложили. Я пришел совсем по другому делу.

Когда человек в течение десяти минут готовится вести речь о покупке виноградников и неожиданно узнает, что виноградинки тут как раз-то ни при чем, понятно, он может растеряться.

– Я слушаю вас, – с трудом выдавил я.

Гость снова задумался, в глазах его мелькнуло напряжение. Потом он метнул на меня острый взгляд, встал и прошелся вдоль моего письменного стола. На меня он не смотрел и, казалось, даже забыл о моем существовании. Он был, наверно, моего возраста. Красив. В больших и ясных голубых глазах – едва заметная печаль. Белокожий, светловолосый… На нем была чоха из верблюжьей шерсти, украшенная газырями старинной и редкой работы, и такой же пояс с кинжалом.

Вдруг он остановился и деловито опустился в кресло.

– Господин адвокат, – тихо сказал он. – Я пришел по такому делу, за которое, наверное, никогда не брались ни вы, ни ваша контора. Об этом деле и не скажешь, что это – дело. Я попытаюсь все-таки вам объяснить. У вас есть друг в Кутаиси – Элизбар Кочакидзе. И вот этот ваш друг направил меня к вам – поговори, мол, с ним, может, он возьмется помочь тебе. Ему я все объяснил.

Арзнев Мускиа снова замолчал. Не скрою, в этом человеке было какое-то очарование, и я это почувствовал сразу, как только он вошел, а после его слов, хотя я и не узнал, что за ними скрывается, мне показалось, что на меня накинули аркан и волокут, как ясырь, чтобы продать в мамлюки на стамбульском базаре, а я и не собираюсь сопротивляться.

– Я не знаю, как называется товар, который я хочу купить, – продолжал между тем мой гость, – может быть, веселье…. Дружеские встречи, игра… Любовь… Мне трудно подобрать слова. А может быть, просто светская жизнь… Вы понимаете меня?

Я был несказанно удивлен, так удивлен, что веки мои невольно задергались в нервном тике, клянусь богом! Опомнившись, я стал вдумываться в то, что он сказал, а вдумавшись, неожиданно расхохотался, – ничего себе предложение… Правда, в нем есть свой смысл, может быть, стоит открыть контору, которая будет принимать от клиентов предложения такого рода. Я сказал ему об этом.

– Ведь в самом деле, – я стал развивать его мысль, – если мы помогаем клиентам покупать различные материальные ценности, почему бы не помочь им в иных случаях – купить то, что они хотят, ведь это тоже ценности. Но, должен сказать, таких предложений я никогда не получал и в ведении подобных дел не имею никакого опыта… Скажите, как вы сами представляете, что мы должны делать, чтобы осуществить ваши желания.

– Я все это обдумал, – ответил он. – Выслушайте меня, и если мой вариант вам будет по душе – хорошо, а если нет и вы найдете лучший, я не буду спорить. – И продолжал более уверенно: – Элизбар Кочакидзе знает, я хочу купить то, что вы сами для себя покупаете каждый божий день. И потому направил меня к вам. Но у меня есть одно условие – деньги вы должны получить вперед. Потому что ведь никто не знает, во что может вылиться моя покупка. Но путь к ней я вижу один: куда бы вы ни шли – вы должны брать меня с собой, с кем бы ни встречались – мы должны быть вместе. Если мы сойдемся, сблизимся и станем друзьями, то будем вести себя так, чтобы обоим это приносило радость и удовольствие. Я надеюсь, что вам не придется краснеть за меня, но если и случится какая-нибудь неловкость, что ж делать, раз вы взялись за такое дело… В деле всякое бывает… Но я хочу, чтобы вы ответили мне прямо – может быть, у вас нет времени, а может быть, я вам не по душе – тогда найдите мне достойного человека и поручите ему выполнить мою странную просьбу.

Признаюсь, Арзнев Мускиа вызывал во мне столь острое чувство притяжения и столь живое чувство любопытства, какие редко мог кто-либо вызвать при первом знакомстве. Я слушал его с малопонятной, невнятной радостью. И предложение его показалось мне удивительно заманчивым. Настолько заманчивым, что я готов был тут же дать на него согласие, но, как известно, наша профессия не терпит необдуманных, скоропалительных решений, и потому, немного придя в себя, я стал взвешивать его слова.

Воцарилось молчание. Арзнев Мускиа терпеливо ждал моего ответа. Вошел секретарь, доложил – пожаловали, мол, клиенты, те, что с земельной тяжбой.

– Не скрою, – сказал я, обращаясь к моему новому клиенту, – и вы сами, и ваш необычный заказ увлекают мое воображение, но на нашем пути есть сложности, и вы должны понять, в чем они заключаются. Для того чтобы расходы ваши себя оправдали, для того чтобы результаты их принесли вам удовлетворение, нужно, чтобы мы понравились друг другу, нужно, чтобы наши встречи приносили нам радость. Понимаете? Люди веселятся с друзьями… Как бы это сказать… Одним словом, с приятными им людьми. В противном случае развлечения приносят одну только тяжесть и становятся непосильным насильственным грузом. Однако мне вы уже симпатичны, но я не знаю, сможете ли вы ответить мне тем же, доставит ли вам удовольствие мое общество? Это прежде всего. Теперь о другом: как бы там ни было, я в первую очередь грузин, а потом уже адвокат. И я плохо себе представляю, как это мы будем развлекаться вдвоем, а расходы будете нести вы один, мой гость?

– Расходы будете нести вы, сударь мой, – ответил он горячо. – Забудьте, что деньги мои, и тратьте их, как вам будет угодно… Хочу вам сказать, вы тоже мне нравитесь, я говорю правду и постараюсь быть вам хорошим другом. Мне кажется, вместе мы сможем хорошо провести время… – И после секундной паузы: – Только одно условие: наш контракт должен остаться тайной для всех. Это непременно. Меня должны считать приехавшим к вам в гости другом. Но когда я стану своим среди людей, в круг которых вы меня введете, я, может быть, не буду после этого держаться за вас, если вы сами не захотите быть со мной или у вас появится новое дело. Конечно, я не хотел бы потратить на все это слишком много времени, хотя трудно понять, сколько времени на это уйдет… Теперь я пойду, – сказал он, вставая. – Я знаю, вы не можете мне ответить, не обдумав мои слова, да и сам я не хотел бы получить поспешное согласие или

поспешный отказ… – Арзнев Мускиа поправил свой пояс и кинжал. – Когда можно видеть вас снова, князь? – спросил он.

Я улыбнулся, в душе я уже был согласен. У меня не было даже малейшего желания отказать ему. Еле сдержавшись, чтобы не сказать ему об этом, я ответил:

– Завтра, Арзнев-батоно. Часа в четыре.

– У меня еще одна просьба. Если вы примете мое предложение, вам придется оформить все это документально. Мне документ этот ни к чему, но вам он может пригодиться. Кто знает, что произойдет в той жизни, какую мы будем вести вместе: ссора, случайный выстрел или еще что-нибудь, не знаю, но перед законом мы должны быть клиентом и поставщиком. Я человек спокойный, не скандалист. Не думаю, чтобы нас ждала какая-нибудь неприятность, но все же знайте: что бы ни случилось, я один беру на себя все перед людьми, законом и богом. Это мое слово! Всего хорошего, батоно Ираклий! До завтра.

Мы расстались дружески.

К этой истории я пытался подойти с профессиональной точки зрения, но у меня ничего не получалось, так как я никак не мог посчитать только что ушедшего человека простым клиентом. Какой же он клиент… Я думал так, думал этак, но мысли крутились в одном направлении: пришел такой же человек, как ты, к тому же обаятельный, обходительный и интересный. Он хочет прожигать жизнь в Тифлисе – в столице своей разорванной на части родины, ему интересно повидать свет, узнать людей. Он искал то, что я имел всегда, – как же позволить ему платить за это, ведь наша совместная жизнь не могла внести существенных изменений в мой бюджет: я был человеком беззаботным и расходами не тяготился. Тревожил меня еще этот документ. Ясно, что Арзневу Мускиа он нужен для моей безопасности, но я привык жить беспечно и не желал страховать документами свое благополучие. Да и что вообще могло у нас произойти при моем весе в обществе, влиянии, многочисленности знакомых и друзей? Какая неприятность могла нам грозить? В каких сетях могли мы быть запутаны?

Но как бы я ни относился к этому документу, я понимал, что Арзнев Мускиа ни за что от него не откажется, он не похож на человека, который согласится платить за свои прихоти чужими деньгами. Я долго колебался. И в конце концов решил составить этот документ, первый экземпляр отдать Мускиа, а вторым не пользоваться никогда и после завершения всех дел вернуть ему обратно деньги.

Я принял ожидавших меня клиентов, часа через два отпустил их, как мне казалось, примиренными и успокоенными и принялся за составление документа.

Как мы и условились, Арзнев Мускиа явился на другой день в назначенный час, вошел ко мне улыбаясь, словно был смущен своим вчерашним предложением. Одет он был по-европейски, ладно и изящно.

Арзиев Мускиа внимательно прочел бумагу, которую я ему подал, и кивнул головой в знак согласия.

– Здесь оставлено место для обозначения суммы. Сколько денег я должен внести? – спросил он.

– Я не взял бы с вас и рубля, – засмеялся я, – но вижу, мне не удастся вас уговорить. Пусть будет столько, сколько вы считаете нужным.

– Двадцати тысяч хватит? У меня с собой всего тридцать. Десять я оставлю себе на всякий случай.

– Что вы изволили сказать?! – воскликнул я. В то время за двадцать тысяч можно было купить прекрасное имение.

– Я хочу, князь, чтобы мы были свободны в деньгах, – ответил он.

«Хорошо еще, что этот наивный человек попал ко мне, а то бог знает, что осталось бы от его состояния», – подумал я.

– Нет, господин Арзнев, я возьму с вас три тысячи, не больше. Если этого не хватит, можно будет добавить еще.

– Дешев, оказывается, мой товар, – тихо произнес Мускиа, доставая из внутреннего кармана деньги.

Я заполнил место, оставленное для суммы. Мускиа подписал бумагу и спрятал ее у себя. У него оказался красивый четкий почерк, но чересчур нервный, лишенный покоя.

– Ну что ж, господин Арзнев, отныне наш контракт входит в силу! – торжественно объявил я и позвонил.

Секретарь принес шампанское и фисташки. Пробка ударила о потолок.

– Пожелаем успеха друг другу, каждому отдельно и нам обоим вместе! – сказал Мускиа, чокаясь со мною.

Секретарь передал ему приходную кассовую квитанцию.

– Как у вас с европейской одеждой? – спросил я, переходя к делу.

– Когда я приехал сюда, то сшил у Паперно четыре костюма, – сказал Мускиа. – Если этого мало или портной не годится, я сошью еще. Но когда какой надевать, должны мне подсказывать вы.

– Конечно… Но портной хороший и костюмов достаточно. А где вы остановились, господин Арзнев?

– В гостинице Ветцеля. Первый этаж, четвертый номер.

– Да, знаю… В этом номере месяц тому назад жил месье Дорнье – французский богач и нефтепромышленник. Удобный номер, ничего не скажешь… С чего же мы начнем, Арзнев-батоно?

– Это вам решать, Ираклий-батоно, – улыбнулся Мускиа. – Видите, я с самого начала подчиняюсь вам, и так будет всегда.

Мы провели вместе всего недели две, после чего он исчез.

Но он прошел через мою душу, и след от него – как борозда. Этот человек был рожден для того, чтобы порабощать, покорять людей, которых встречал на своем пути. Странно, но до сих пор живо во мне то давнее чувство – смесь острого, смутного, так и не удовлетворенного любопытства, жгучего интереса, которые он вызвал в первый день нашего знакомства.

А сейчас я, – вы видите, – глубокий старик, хотя всевышний не лишил меня памяти… Да, я помню все, но не стану рассказывать вам об этом. Потому что у меня есть тетради… Вот, откройте тот ящик… Да, этот… Там тетради разного, цвета, старые тетради, тонкие… Да-да! Благодарю вас, молодой человек! Эти тетради лучше меня помнят то, что было когда-то. Конечно, я писал не для того, чтобы печатать… Нет. Я писал для себя, и мне доставляло радость вспоминать то время и того человека, наверно, потому, что я вспоминал свою молодость, а молодость, всегда приятно вспомнить… Садитесь и читайте. Если нужно, перепишите… А я… Э-эх! Старость не радость, так, во всяком случае, принято говорить.

Белая тетрадь

Итак, наш договор вступил в силу, и мне надо было придумать программу развлечений для Арзнева Мускиа. Сам он сидел передо мной в кресле и ждал моих слов. По правде сказать, для меня это не составило бы труда, но мешала неестественность наших отношений. Согласитесь, все-таки это странное дело. Ведь Арзнев Мускиа заказчик, покупатель, и если он тратит деньги, то должен тратить их с пользой, должен быть доволен результатом, доволен своим поверенным в делах, новыми встречами и новыми впечатлениями. Это с одной стороны… А с другой…

Секретарь открыл дверь и, пройдя мимо Арзнева Мускиа, положил мне на стол визитную карточку. Я был так погружен в свои мысли, что сначала ее не заметил.

…Да, с другой стороны… С другой стороны, – и я это понимал, – этот человек притягивал меня как магнит, мне хотелось стать его другом, просто другом, погружаясь вместе с ним и в развлечения и в приключения, и я не знал, чего он ждет от меня, каких ищет особых ощущений и сможет ли получить их в моем обществе. И значит, как клиент он может в конце концов остаться недовольным мною.

– Ираклий-батоно, – Арзнев Мускиа будто подслушал мои мысли, – не надо ломать себе голову. Скажите, куда вы собираетесь идти вечером? Я тоже пойду туда, если, конечно, вы не будете против. Мне будет приятнее, если все пойдет само собой, специально не надо ничего придумывать.

– Вот и хорошо, – с облегчением вздохнул я. – Я об этом как раз и думал, и я согласен с тобой… Видишь? Я говорю тебе – ты. Мы ведь близкие друзья, не так ли?

– Так, так, – смеясь, подтвердил Мускиа. – А теперь я пойду. Ты ведь занят… Только надо условиться – когда мы встретимся?

Пока он говорил, я машинально взглянул на визитную карточку. Странное дело… Не подозревал, что у женщин могут быть визитные карточки, никогда их не видел. И эта фамилия – откуда я ее знаю… Я вертел перед собой эту карточку, не отвечая на вопрос гостя.

– Подожди, Арзнев, не уходи, – сказал я.

И вызвал секретаря.

– Какого возраста эта дама, ну, приблизительно, конечно?

– Я знаю, что ей лет тридцать пять, но выглядит моложе.

– Можешь идти. Я тебя позову.

Уходя, он унес бутылку от шампанского и бокалы.

У меня на полке стояла конторская книга – список клиентов, не только бывших клиентов, но и, возможно, будущих. Тут были разные сведения: адреса, движимое и недвижимое имущество, сфера деятельности, капитал… Я раскрыл эту книгу на именах Ширер, Тавкелишвили, Нано Парнаозовна Тавкелишвили-Ширер.

Не потому, что я забыл ее имя, нет, просто чтобы проверить свою память. Ведь Нано Тавкелишвили я знал еще в детстве. А в прошлом году я получил от нее приглашение, но почему-то не пошел и послал извинение.

Я протянул визитную карточку Арзневу Мускиа:

– Посмотри.

Он взял ее в руки и прочитал вслух то, что было написано. Я удивился, что человек, живший в Турции, так свободно читает по-русски. Я и раньше заметил, что грузинский акцент в его русской речи чувствовался меньше, чем в моей.

– Где ты научился так хорошо говорить по-русски?

– Учили в детстве. А потом я долго был на Кубани и там говорил по-русски. И русские книги читаю иногда, хотя в гимназии мне не пришлось учиться.

Я был смущен: Арзнев Мускиа производил впечатление образованного, воспитанного на аристократический лад человека. Правда, два дня слишком короткий срок, но первое впечатление не бывает обманчивым.

– Кто эта женщина? – спросил он.

– Как тебе сказать… В детстве наши семьи были близки. Мы с ней ровесники, часто играли вместе. Окончив гимназию, она убежала из дому, вышла, вероятно, замуж за этого Ширера. Об этом Ширере я узнал только несколько лет назад. Не знаю, может быть, сначала она ушла с другим, а потом встретилась с ним? В общем, вернулась в Тифлис она с ним. Ширер иностранец, владеющий достаточно крупным капиталом. Тогда ему было года тридцать два, тридцать три. Он повез эту девочку в Европу, дал ей высшее образование, кажется, она окончила Женевский университет. Они жили за границей, и в Тифлисе о них долго ничего не было слышно. Вернулись они четыре года назад. Ширер купил большие леса в окрестностях Закатала, Кахи и Кобахчо. Все орех и дуб. Забыл сказать, что Ширер лесопромышленник. В Закатала они выстроили дом. Здесь, в Сололаки, купили у армянина другой дом. Оба прекрасно обставили. Детей у них нет. Эта женщина шесть месяцев в году живет в Тифлисе. Остальное время проводит в Закатала и в путешествиях. Да… Теперь, круг… – я заглянул в книгу, – она вращается в узком кругу, избегает знатных семей, а купчишек к себе на пушечный выстрел не подпускает. Хорошо, что мы еще знаем об этой даме?! У нее два лакея, два дворника, две горничные, один повар… Повар по имени Катран! Ее муж редко, приезжает в Тифлис. Видно, она одна в таком большом доме! Их дела ведет юридическая контора Шахпарунова… Тем более странно, что она пожаловала ко мне!

– Пожалуй, мне лучше уйти… – сказал Мускиа, возвращает мне визитную карточку.

– Нет, если у тебя нет ничего срочного, подожди, Арзнев. Тебе может быть интересно – по нашему договору, ты можешь присутствовать на приеме… Правда, есть тут одно деликатное обстоятельство… К адвокатам чаще приходят с чем-нибудь секретным… Для разговора наедине. Поэтому лучше пройди сюда, в заднюю комнату, а дверь мы оставим чуть-чуть приоткрытой. Кстати, в шкафу есть все для легкого завтрака и вино. Подкрепляйся и слушай, может быть, услышишь что-нибудь занятное.

– Не знаю, должен ли я оставаться, Ираклий?

– Не волнуйся, я не поставлю тебя в неловкое положение.

Я захлопнул книгу, открытую на госпоже Ширер-Тавкелишвили, и понес ее к полке. Пока я возвращался к письменному столу, через порог уже переступила госпожа Нано. После первых приветствий мы расположились в креслах. Между креслами стоял низкий круглый стол, на нем лежала красивая табакерка. Я снял крышку – пожалуйста, если курите.

– Спасибо, я курю очень редко, – услышал я ее голос. – Только тогда, когда у меня хорошее настроение и мне весело.

– Получается, что в хорошем настроении вы бываете очень редко?!

– В очень хорошем?.. Конечно, редко! Разве может быть иначе?

Мы вспомнили детство и наши прежние связи, помянули всех усопших и живых. Затем я извинился, что не явился по ее приглашению. Спросил о муже, о семейных делах. Рассказал две-три новости, и после этих любезностей разговор как будто увял.

Госпожа Нано была одета очень просто. Дамы ее сословия обычно навешивали на себя драгоценности. У нее же были лишь обручальное кольцо и золотая цепочка на шее.

– Чем могу служить, госпожа Нано? – решил я заговорить первым. – Если, конечно, вы по делу… Но тогда надо было позвать меня, и я явился бы по вашему зову без промедления.

– Что вы!.. Зачем вас беспокоить? Да и кроме того, мне хотелось увидеть вас именно в конторе. – При этих словах Нано как будто смутилась, но сейчас же овладела собой и с улыбкой спросила: – Я надеюсь, в этом доме умеют хранить тайны…

– Вот несгораемый шкаф. В нем хранятся тайны около двухсот моих доверителей! Ни один из них не имеет оснований быть недовольным… Однако, видишь дверь, – она слегка приоткрыта. В той комнате завтракает мой ближайший друг, лаз, дворянин, господин Арзнев Мускиа. Закрыть ее?

Я перешел с официального языка на дружеский – из нашего детства, как бы предлагая ей восстановить те прежние связи.

Госпожа Нано задумалась и, пожав плечами, сказала:

– Если этот господин твой ближайший друг… – Она сразу заметила мой переход и охотно приняла его. – Разве не все равно, услышит он все от меня или, после моего ухода, от тебя?

Мы засмеялись. Нано снова умолкла. Видимо, она обдумывала, как начать.

– Дела моей семьи и моего мужа ведет адвокат Шахпарунов. Было бы естественно, если бы я обратилась к нему. Но он трус и, конечно, уклонится от разговора. И кроме того, я не хочу, чтобы мой муж узнал об этом… Во всяком случае пока… Тем более что жандармерия… – Нано говорила негромко, старясь, чтобы до Арзнева Мускиа слова не долетали отчетливо.

Женщина замолчала. В задней комнате что-то звякнуло.

– Арзнев, прошу тебя – тише, а не то я закрою дверь! – крикнул я больше для того, чтобы подчеркнуть перед Нано свою дружбу с лазом.

– Ну, что ты, друг мой, я же не из револьвера выстрелил, только нож уронил, – ответил Арзнез Мускиа. – Нож – значит быть еще одному мужчине при вашей беседе, это уж безусловно!

– Да, Нано, я слушаю.

– Мне нужен твой совет, – начала она, – ты, конечно, хорошо знаешь, что такое Закатала – наш небольшой уездный городок. Все на виду у всех, все знают друг друга как облупленных… Есть у нас один полицейский чиновник. Фамилия его Ветров. Лет, наверное, тридцати. Я встречаюсь с ним только в гостях. Он многим нравится, говорят, что он мил и даже симпатичен. Я, правда, этого не нахожу, что-то в нем есть противное. И напоминает собачонку, которая навострила уши. Но приходится соблюдать этикет вежливости, от этого ведь не уйдешь, не правда ли?

– Конечно, – поддержал я ее.

– И вот однажды, совершенно неожиданно, этот Ветров, – продолжала Нано, – в гостях у Васенковых избрал меня предметом своих шуточек и наплел с три версты о каких-то моих тайных связях… И, представляешь, даже назвал фамилии двух офицеров. Я была оскорблена до глубины души и хотела поставить наглеца на место, но сдержалась, так как решила вытерпеть и дослушать до конца. Знаешь, иногда это очень полезно. Конечно, он заметил, что его болтовня

не приносит мне удовольствия, и начал вилять и даже извиняться: мол, госпожа Нано, клянусь честью – все это только шутка, не примите за дерзость и простите. Я не уверена, что выходка Ветрова была продиктована его нахальством и только. Дело в том – и я хочу, чтобы ты это понял, – что в сплетне его не было ничего похожего на правду и с этими офицерами у меня не было других отношений, кроме дружеских. Ветров видел, что я с трудом сдерживаю ярость, – я прямо сказала ему, что он лжет, – но он продолжал вести себя так, как будто мои слова ничего не значат. Теперь я хочу, чтобы ты знал – ведь ты поверенный моих тайн, хотя нет, вы оба поверенные – ты и тот турецкий дворянин.

– Лазский дворянин, сударыня, – раздался голос Мускиа.

– Да, да, лазский дворянин, – поправилась Нано. – Как странно, что у меня сразу два исповедника, первый раз… Так вот я хочу подчеркнуть, что в пределах досягаемости Ветрова у меня грехов нет. Это святая правда, и, чтобы ты не думал, что я оправдываюсь, я могу добавить: сама я могу допустить в своей жизни что угодно, так как чувствую себя во всех отношениях свободной – и как женщина, и как человек!

Из задней комнаты донесся настойчивый кашель.

– Не обращай на него внимания, – сказал я, – мой друг перепутал сигары, он не знает фирм, не отличает крепких от слабых и вот расплачивается за это.

– Твой друг кашляет не от сигар, – ответила Нано, – он не верит моим словам.

– Вы правы, сударыня. Но не поверил я только одному – тому, что вы свободны.

– Но я и вправду свободна, – повторила супруга Ширера.

– Если так, – донесся к нам голос Мускиа, – значит, вам удалось решить вечную загадку рода людского, главную заботу – со дня сотворения мира и до наших дней. Я встречал еще нескольких человек, которые утверждали нечто подобное. И был бы чрезвычайно благодарен вам, клянусь честью, если бы вы объяснили, каким образом вы стали свободны.

Нано задумалась, видно, сомневаясь, стоит ли отвечать на этот вопрос. И все-таки сказала:

– Я не отказываю себе никогда и ни в чем. Делаю, что хочу. Разве это не свобода? И потом… Я победила страх! Вам понятно?

Арзнев Мускиа молчал. Пауза затягивалась, и я решил ее прервать:

– Продолжай, Нано! Я понимаю, что все, что ты рассказала, – только вступление.

– Ты прав, – сказала она. – Я буду продолжать. После той стычки Ветров почему-то стал вести себя со мной более развязно, более фамильярно, что ли. Я заметила, что он старается встречаться со мной чаще, и насторожилась, чтобы не дать ему повода для новых сплетен. Но когда мы оказывались с ним в одном обществе, болтовня его сводилась только к сплетням, слухам да служебным анекдотам. Он делал все, чтобы остаться со мной наедине, а когда это получалось, то вел себя как заговорщик, так, будто у нас с ним общие тайны. Сначала я думала, честно говоря, что он в меня влюбился, и из себя выходила, что он медлит с объяснением. Это дало бы мне возможность поставить его на место и прервать эти дурацкие отношения раз и навсегда. Но потом я заметила, что он и к другим дамам нашего города относится точно так же, что вызывало среди них ожесточение, а вокруг него создавало определенный ореол, шумиху, какую-то возню. Тогда я подумала: может быть, Ветров – просто опытный Дон-Жуан, и в этом вся загадка. Но скоро мне пришлось убедиться, что и это не так, что у него вообще нет никаких любовных целей. Сначала я сама пришла к этой мысли, а потом совсем случайно получила подтверждение. На ужине у Переваловых я заметила, как у Ветрова из внутреннего кармана мундира выпала какая-то бумага. Я хотела было сказать ему – возьмите, мол, подберите, но почему-то не сказала. А когда кончился ужин, подняла сама. Как ты думаешь, что это было? Список! Список с именами восьми женщин, около каждого имени стояли точки. Эту бумагу я принесла тебе. Вот и весь мой рассказ. Я хочу, Ираклий, чтобы ты помог мне понять, выражает ли поведение Ветрова какой-нибудь особый интерес его к моей личности, скажем, служебного характера… А если это так, чего он ищет, чего хочет от меня? Только не думай, что это бред взбалмошной дамочки. У меня есть веские доказательства… Во-первых, Ветров жандарм по особым поручениям, переодетый в полицейский мундир, а во-вторых, и это самое главное, – интуиция никогда меня не обманывает.

Нано замолчала и провела платком по лбу.

Есть женщины, красота которых открывается не сразу, а в постепенном общении. Именно

такой женщиной – я это сейчас почувствовал – была Нано, с каждой минутой она казалась мне все более привлекательной.

Трудно было не прийти ей на помощь.

– Попробуем вместе разобраться во всем этом, – сказал я, – но, прежде чем приступить к анализу, я бы хотел задать один вопрос: есть ли у тебя основания думать, что жандармерия может интересоваться твоей личностью?

– Да, такие основания есть, они могут мною интересоваться!

Я был несколько обескуражен и, растерявшись, мог только промямлить:

– Понятно. Но необходимо при этом понять… – Тут я запнулся, но все-таки сказал то, что хотел сказать: – В той области твоей жизни, что представляет интерес для жандармерии, не нарушила ли ты правил конспирации, не переступила ли границ осторожности? Ну, например, не доверила ли тайну какому-нибудь третьему лицу? А кроме того, может быть, твое имя фигурировало в связях подпольных или тюремных?

Нано задумалась и молчала, видно взвешивала про себя слова. Вот что я услышал в ответ:

– Видишь ли, хотя я женщина, но хорошо разбираюсь в политических течениях нашего времени. Если живешь в Европе, то без этого не обойтись, надо понимать, что к чему, надо быть в курсе жизни. Да и у нас тоже… Но нет ничего такого, что было бы мне по душе, что выражало бы именно мои взгляды и представления. Потому, наверно, сама я не могу принять участия в борьбе, не то, думаю, могла бы на что-нибудь пригодиться. И вместе с тем мне не дает покоя способность ненавидеть зло и против него ополчаться. Я все не могу постичь себя, понять, как мне жить, как найти собственную форму жизни, действия, ты понимаешь? Человеку, который находится в таком душевном состоянии, как я, не остается ничего другого, кроме благотворительности. В ней он может найти для себя призвание. Так я живу, и такая идет обо мне слава… Однажды пришел ко мне, человек, который убежал из тюрьмы, и попросил спрятать его… С того момента я поняла, что помощь гонимому – тому, кто борется, не щадя себя, ни во что не ставит смерть, сидит в тюрьме, убегает из тюрьмы, потому что не может не делать так, как велит ему совесть, что помощь такому человеку – это самое святое, потому что, как сказал поэт, «…мы сыны земли, и мы пришли на ней трудиться честно до кончины».[10]

Я виновата перед законом в том, что за четыре года укрыла двух людей, находящихся вне закона, дала им кров, еду, все, что нужно для жизни, и отпустила их тогда, когда можно было отпустить. Странно, но ты и твой друг – первые, кому я доверила эту тайну. Те двое – не в счет, перед ними я чиста, я выполнила долг любви к ближнему и уверена, они и сегодня хранят обо мне добрую память и берегут мое имя. Для этого нужно немного благодарности и немного благоразумия. Они обладают и тем и другим. Это порядочные люди. И я отвечаю на твой вопрос: что же может знать обо мне жандармерия?

Нано вдруг замолчала и повернулась в сторону задней комнаты.

На пороге стоял Арзнев Мускиа.

– Разрешите мне, сударыня, выйти из своей засады… – сказал он. – Простите, но я ведь и так все слышу… – Мускиа улыбаясь глядел на мою собеседницу. – Я очень хочу быть здесь… С вами! Вот Ираклий осудил меня на заточение, а я сбежал, и, может быть, вы приютите меня?

Нано молчала и сосредоточенно, пристально разглядывала Мускиа.

Скрываться в задней комнате и правда не имело больше смысла, но я не знал, как посмотрит на это наша дама. Нано, поняла, о чем я думаю, и сказала:

Пожалуйста, мне все равно. Вы, наверно, хотели что-то у меня спросить?

Слова ее прозвучали чуть холодновато. Может быть, ее задела шутка: не приютите ли вы меня, и она увидела в ней насмешку, ведь только что она рассказывала, как помогает гонимым. А может быть, она ничего и не вкладывала в свой вопрос. Я только не мог понять, почему она смотрит на него настойчиво, так напряженно.

– Арзнев Мускиа! – Лаз поклонился с почтительностью и откинулся в кресле.

– Нано Тавкелишвили-Ширер, – в некотором замешательстве, не сразу ответила она. Это был скорее шепот, и легкий кивок в знак приветствия, казалось, предназначен был не ему, а

---

[10] Н. Бараташвили. Раздумья на берегу Куры (перевод Б. Пастернака)

себе самой, какой-то своей догадке.

Ничего не скажешь, прекрасен был Арзнев Мускиа. На моих глазах присутствие женщины облагораживающе расковало его движения, жесты. Что значит для мужчины женский глаз…

Наша дама, видно, тоже оценила его аристократическую простоту.

– Я видела вас раньше?.. – спросила Нако. – Где же я вас видела?..

Она пыталась что-то вспомнить. Оба мы смотрели на нее улыбаясь: я – с ожиданием, он – с изумлением.

– А-а-а, вспомнила. Да, да… Но фамилия другая. Конечно, я ошибаюсь. Тот человек, на которого вы похожи, – Нано засмеялась, – абраг!

– Ты и с разбойниками, оказывается, знакома? – спросил я. – Да у тебя, я вижу, широкие связи с преступным миром, прекрасная моя госпожа!

– Неплохие! – ответила она весело. – Мне везет на них.

– Вы изволили сказать, – обратился к ней Арзнев Мускиа, – что победили чувство страха. Но ведь страх… Страх – многолик. Какой же из них победили вы?

Нано посмотрела на него в упор, а потом отвернулась, достала папиросу, поиграла ею и проговорила:

– Это нужно обдумать, господин Арзнев. Подождите, я сейчас объясню вам.

Я принес шампанское и бокалы. Разлил, но Нано все молчала.

– Арзнев, что ты наделал! Красивой женщине идет улыбка, а ты задал ей забот…

– Извините меня, я готова ответить. Но боюсь, ваш друг не успокоится, начнутся споры, и, чтобы отстоять свои взгляды, мне понадобятся примеры. Поэтому я сразу начну с одного случая. Вы не против?

– Конечно, нет! – воскликнул я.

– Мы слушаем вас, сударыня! – добавил Арзнев Мускиа.

– Что такое страх? В конце концов, на свете есть только один страх – страх смерти! Вытекает он из инстинкта самосохранения, не так ли? И если подумать трезво, его можно обнаружить во всех поступках почти всех людей. Выслушайте меня внимательно, и вы согласитесь, что я права. То, о чем я расскажу, случилось в первый год нашего возвращения в Грузию из-за границы… Мы с мужем гостили у нашего друга неподалеку от Очамчиры – дом стоял на берегу моря, был сентябрь, теплое море, чудесная погода, много книг. С берега мы не уходили, воткнули в песок огромный зонт, купались, валялись, одним словом, жили как хотели. Однажды, когда в полдень мы вернулись домой, после обеда и отдыха, хозяин велел оседлать для нас лошадей – чтобы мы прогулялись верхом. Но просил не забираться далеко, ведь вечер не за горами. Лошади шли отлично. Мы проехали Очамчиру, впереди – Самурзакано. На мне – сшитая в Лондоне новенькая амазонка, настроение приподнятое, хочется щеголять, скакать, гулять хоть до ночной прохлады. Муж несколько раз осаживал меня – хватит, мол, надо возвращаться. Но я летела вперед, не слушая его, что-то вело меня – и завело, как вы увидите, далеко… Но пока я хочу подчеркнуть только одно: муж просил вернуться! Просил вернуться потому, что слышал, на дорогах случались грабежи. Но я сказала – нет! И он не спорил, не настаивал, мы продолжали скакать вперед. Почему он так легко согласился? Почему не требовал, не настаивал на своем? Да потому, что боялся, как бы его желание вернуться я не приняла за трусость. А я не посчиталась ни с тем, ни с другим, мне хотелось одного – гулять, скакать верхом, значит, я думала лишь о своей прихоти, а она, в свою очередь, была страхом – страхом, что, если мы повернем назад, я буду лишена этих радостей жизни. Так вот, даже в этом как будто простом стечении случайностей проявилось три различных формы страха, и все три несут одну печать – эгоизм. Вы согласны со мной, что все три вида эгоизма вытекают из одного источника – инстинкта самосохранения?

– Безусловно, – ответил я.

Лаз ничего не сказал, только кивнул головой.

– И что инстинкт самосохранения и страх смерти – это одно и то же, с этим вы тоже согласны?

– Да, конечно, – сказал я.

– Тогда вглядитесь лучше, и вы поймете, что в моем рассказе страх смерти вызывал к жизни только эгоистические пружины действия. Здесь не было ничего похожего на любовь к

ближнему, на чувство долга, не говоря уже о добре.

– Но когда муж советовал тебе вернуться, разве он заботился не о твоем благополучии? Разве исходил не из ваших общих интересов? – спросил я.

– Я знала, что кто-нибудь задаст мне этот вопрос. Не беспокойтесь, ответ придет сам собой… Я возвращаюсь к своему рассказу… Мы углубились в лес, лошади шли шагом, мы вяло переговаривались друг с другом. Я не сразу заметила человека у края дороги. Перед ним лежал хурджин, и похож он был на путника, присевшего отдохнуть. Очень скоро нам пришлось узнать, что этот тихий путник – разбойник и грабитель Ража Сарчимелиа. Как только наши лошади поравнялись с ним, он встал, вытащил два револьвера и приказал нам спешиться и молчать. Несмотря на револьверы, разбойник выглядел так мирно и доброжелательно, что муж не понял, в чем дело, и по французски спросил меня: что он говорит? Я перевела. Откуда-то появился другой разбойник с ружьем. Мы спрыгнули на землю. Оцепенение прошло, и я представила себе вполне отчетливо, что может нас ждать впереди. Сначала они велели отдать оружие, но у нас его не было. Потом тот, который с ружьем, увел лошадей. И, наконец, Сарчимелиа приказал следовать за ним – и нас погнали в лес. Когда мы дошли до холма и обогнули его, то очутились на небольшой лужайке. Здесь сидели человек тридцать – сорок полураздетых мужчин и женщин. Их охранял третий разбойник, тоже с ружьем. Поодаль валялись несколько мешков, набитых, вероятно, награбленным. У нас отобрали кошельки, драгоценности и потребовали, чтобы мы сняли одежду… Да, я забыла вам сказать, что Рудольф Ширер человек с богатым прошлым. Не знаю – то ли он родился таким, то ли постоянные приключения и опасности выковали его характер, но иногда – и я в точности знаю, когда именно, – он становится исполненным самолюбивой гордыни, безоглядным храбрецом. И вот когда нам велели снять одежду, Ширер ловким ударом сшиб с ног Ражу Сарчимелиа, а после этого сразу же сам стал стягивать с себя куртку. Но тут второй разбойник ударил моего мужа прикладом по затылку, и он упал без сознания. Третий же разбойник, который сторожил ограбленных, обнажил кинжал и бросился к нам, собираясь убить Ширера. Я преградила ему путь и пыталась сбить его с ног. К этому времени Ража Сарчимелиа пришел в себя. Он приподнялся и сказал разбойнику с кинжалом, чтобы он вернулся на свое место. Тот отступил, бранясь последними словами. Ширер же в этот момент опомнился, вскочил и продолжал как ни в чем не бывало разоблачаться.

– И вы, сударыня, вы тоже! – закричал Сарчимелиа. – Снимайте все, что есть, мне это интересней!

Пришлось выполнить его приказ – не потому, что я испугалась, просто не хотелось новых приключений. Нашу одежду тоже запихали в мешок, а нас самих посадили рядом с другими жертвами.

Была суббота. А по субботам и воскресеньям в Очамчире обычно бывают ярмарки. Наверно, люди эти возвращались с ярмарки. Знали бандиты, кого и где подловить.

Ража Сарчимелиа подошел к нам и стал меня разглядывать. Он изучал меня так, будто я была неодушевленным предметом, который он нашел на дороге и не мог только решить, какая от этого ему будет польза. При этом смотрел он только на меня, на Ширера не бросил и взгляда, будто бы тот был пустым местом. Так продолжалось несколько секунд, пока он не сказал:

– А вы, оказывается, хорошо боретесь, барыня. Вот отпущу этих людей, а вас заберу с собой, и, пока ваш муж пришлет выкуп, мы будем время от времени бороться.

Сарчимелиа расхохотался и ушел за следующей жертвой.

А мой муж зашипел мне в ухо:

– Это все из-за тебя. Из-за твоих капризов… Из-за тебя должен я терпеть, что меня бьют, грабят, а мою жену сделают наложницей и будут держать до тех пор, пока я же не принесу выкуп. И все это свалилось мне на голову из-за твоего упрямства. Потому что я знал, предупреждал, предчувствие меня не обмануло, я говорил тебе – вернемся…

На этих словах мой муж махнул рукой и замолчал. Теперь вы, надеюсь, убедились сами, что Ширер – человек бесхитростный, не лукавый? Он прямо назвал все своими именами и объяснил, почему хотел вернуться. Будь другой на его месте – тот сказал бы: не думай обо мне, лишь бы выручить из беды тебя. Но не таков мой муж. Вот, господин адвокат и господин моралист, ответ на вопрос – о ком думал Ширер, когда хотел повернуть назад. Удивляться тут

можно только одному – прямоте, с которой Ширер обнажил то, что другие умеют скрывать… Неожиданно произошли события, которые смешали все карты. Но, прежде чем рассказать о них, я хочу вместе с вами подвергнуть исследованию то, о чем поведала вам. Я думаю, мы не будем спорить о том, что такое грабеж и насилие, и согласимся, что они были злом во все времена. Не так ли? Но чем вызвано это зло? Я могу ответить только одно: эгоизмом. Никто ведь не скажет, что Ража Сарчимелиа со своей шайкой напал на нас из любви к ближнему? Это, по-моему, не нужно доказывать. Но покоряться насилию – разве это не такое же зло! И не говорите, что мы, безоружные, бессильны перед вооруженной шайкой.

– А разве не бессильны, – прервал я ее, – что вы могли тогда сделать?

– Ну, хотя бы умереть, – ответила Нано. – Это ведь в нашей власти. И я уверена, что если бы из всех людей, обреченных на ограбление, хотя бы третья часть была способна сопротивляться вооруженному злодею – не на жизнь, а на смерть, – многое бы изменилось в мире. Жертвы, конечно, были бы, но постепенно, в конце концов, что осталось бы от самого насилия?

Вопрос был обращен ко мне.

– Конечно, – сказал я, – страх смерти заставляет человека покоряться насилию и сгибаться перед ним. Ты права, госпожа Нано.

– Разве в этом можно сомневаться! – воскликнула Нано и продолжала: – Помните, как мой муж ударил разбойника и свалил его с ног? Как вы считаете, что таилось в этом ударе? Разве не умнее было нанести его раньше, на дороге, когда Сарчимелиа был один? Вы скажете, что Ширер, возможно, сначала растерялся, а потом, у мешков, взял себя в руки и вступил в бой. Но это не так. Я видела не раз, как Ширер попадал в опаснейшие истории, но никогда не видела растерявшегося Ширера. Он владеет собой как бог. Но бог этот – тщеславное дитя и может совершить свои подвиги, только если вокруг толпа, публика, общество, тогда он хочет показать, какой он великодушный, бескорыстный, благородный, какой смельчак, храбрец, богач, он лучше всех, умнее всех, и жена у него такая, какой ни у кого нет. Но это только на людях, когда все видят, а когда никого нет и он один или вдвоем со мной, то это совсем другой человек, можете мне поверить, я знаю это хорошо. И тот удар был взвешен и рассчитан на секунды. Мой муж все сумел предусмотреть – и храбрость показал, и по приказу куртку снял, понимал, что разбойники не захотят подымать шума, не захотят стрелять и убивать, что им нужны наши вещи, а собственная честь их беспокоит очень мало. Видите? Все произошло именно так, а не иначе. Проницательность Ширера могла бы вызвать восхищение, если бы в его поведении движущей пружиной был не эгоизм. И в результате эгоизма – снова зло. Убийство, которое чуть не произошло, и не одно, а два. И меня оставляют заложницей, чтоб отомстить Ширеру. А кроме того, Ширер показал всем дурной пример.

– Как это – дурной? – воскликнул я. – По-моему, пример был хороший, пример неповиновения, сопротивления, борьбы.

– Нет, ты не прав, – вмешался лаз. – Пример мог быть хорошим, если бы он довел дело до конца. Ты ведь знаешь, Ираклий, что такое человек! Если в одном поступке есть и плохое и хорошее, он будет подражать плохому, а хорошему не будет ни за что. Знаю я это.

– Я об этом и думала, господин Арзнев, – обратилась к нему Нано, – когда сказала, что он подал плохой пример. Теперь вы согласитесь со мной, что все поступки героев моего рассказа рождены себялюбием и страхом смерти, что, кроме зла, в них нет ничего, нет ни крупицы добра. И так всегда в жизни, сколько я ни наблюдаю, страх смерти и вытекающий из него эгоизм приносят одно только зло. Я не знаю ни одного примера, который мог бы опровергнуть эту истину.

– Нет, – сказал я. – Бывают случаи, когда страх приводит к добру.

– Какой?! Когда?! – воскликнула Нано.

– Ну, страх перед законом, – ответил я. – Страх перед возмездием. Человек просто боится преступить закон и совершить задуманное им зло.

– Конечно, – сказала Нано. – Может случиться так, что злой человек испугается закона и не пойдет на преступление. Но, Ираклий, злодей потому и злодей, что он обойдет закон и все равно добьется своего. Закон же в силах достигнуть одного – чтобы человек нашел способ его обойти и совершить преступление, избегнув наказания… – Нано задумалась. А потом сказала: –

Да, главное – это страх смерти, и я его победила!

Видно, ей стало неловко от этих слов, она покраснела, смутилась.

– А как ты связываешь свободу с победой страха смерти? – спросил я ее, стараясь помочь ей побороть смущение. Вообще-то во время разговора меня больше занимала сама Нано, нежели ее рассуждения.

– Ну, это-то понять легче всего, – вмешался в разговор лаз, – если нет страха, тогда ничего не связывает, не гнетет, не мешает, и ты поведешь себя так, как подскажет сердце. Это и есть свобода. Не так ли? Другой вопрос, как человеку победить страх, если бог не дал ему на это сил? Для этого нужны топор, огонь и кинжал!

– Разве можно, господин Арзнев, топор, огонь и кинжал назвать добром? – возразила Нано.

– А корысть, злоба, жадность – не могут ли они победить страх смерти? Адской силы орешки, – сказал лаз.

– Нет, – ответила Нано.

– Почему?

– Потому что, я думаю, добро – это способность отказаться от себя, пожертвовать собой ради других. На худой конец – ради кого-то одного, но не за счет других, не во вред другим. Только человек, отмеченный этим даром, может победить страх смерти, конечно, в той мере, в какой провидение одарило его способностью к добру.

– Чего тут говорить, – мне хотелось свести беседу с ее высокого тона, – если ты будешь думать только о других и у тебя не останется никаких собственных желаний, тогда и терять нечего. Тогда и умереть не страшно!

– Не думай, что ты загнал меня в угол, – сказала Нано. – Нет! Лучше жить без желаний, чем быть рабом своих желаний, рабом страха. Ты знаешь, что случилось с одним моим знакомым? Он умер от апоплексического удара. И знаешь, отчего? Оттого, что хозяин его конторы в то утро посмотрел на него косо.

Арзнев Мускиа, видно, был увлечен разговором.

– Увы, госпожа Нано, – сказал он, – человека такой доброты можно считать почти что богом. Но и он боится смерти.

– Я с вами не согласна.

– Тогда скажите мне, что за цель у этого человека?

– Цель одна – творить добро, уничтожать зло.

– Это его назначение, содержание его жизни, и на своем пути он будет стараться до конца исчерпать себя. До конца исчерпать тот талант доброты, что дало ему провидение, и лишь потом умереть. А до этого он будет хотеть жить и будет бояться умереть. Не так ли?

– Нет, не так. Страх – это совсем другое, от него разрывается сердце, как у моего знакомого, а то, о чем говорите вы, не страх, а иное, возвышенное и прекрасное чувство.

– Удивительно, – сказал я, – люди с таким предначертанием не умирают, пока не исполнят того, что им должно исполнить на земле. Я знаю много примеров… Живут, пока не выполнят свой долг, не растратят сил, а потом и умирают, чаще всего как-то необычно.

– Да, умирают, – подхватила Нано. – Но для таких людей смерть – это начало другой жизни, не так ли, батоно Арзнев? Они сами исчезают, но семена, брошенные ими в землю, будут совершать свой вечный круговорот и давать плоды тогда, когда имена их сотрутся в памяти людей.

– То, что вы говорите, – сказал Арзнев Мускиа, – напоминает мне слова настоятельницы одного монастыря, матери Ефимии. Она любила говорить красиво. Мне кажется, и стихи потихоньку писала. Как-то она сказала мне: «Сын мой, расплавленный воск до конца догоревшей свечи и сам по себе прекрасен, но проступает в нем и та красота, что тихо мерцала и разгоняла мрак».

– Красиво! – У Нано заблестели глаза.

– Да, красиво, – задумчиво сказал Арзнев Мускиа. – Все что я знаю хорошо, но одно дело знать, а другое – верить, суметь возвыситься до веры… Я не переступил еще этот рубеж… Мне это нелегко дается…

Он говорил улыбаясь, но в словах его звучали доверчивость и печаль, и я увидел своего

нового друга как будто в ином свете. А ведь ему тяжело, так тяжело, будто на его плечи легла самая большая ноша на земле, но прячет он ее глубже преисподней. Так показалось мне в эту секунду, но вот Арзнев Мускиа заговорил в прежнем тоне, и я отогнал свои мысли.

– А почему зло не может победить страха смерти, скажите мне, госпожа Нано? – спросилон.

– Арзнев, мне кажется, вы думали об этом больше, чем я. И можете ответить лучше, чем я. А то, боюсь, если я буду опять говорить, мы станем похожи на суфию и его паству. Только с одной разницей, что у нас паства знает больше, чем суфия.

Нано рассмеялась.

– Но я хочу знать ваше мнение.

– Извольте! Ведь мы согласились, что зло родилось на свет в результате страха смерти. А если так, то между ними – мир и согласие. Они не могут вступить в конфликт.

– Вы правы, – сказал Арзнев Мускиа. – Но ведь и добро может перестать быть добром, если человек, вместо того чтобы делать добро, будет спрашивать: а что такое добро?

Нано собиралась ответить, но я прервал ее, потому что хотел взглянуть на листок Ветрова:

– Ты говорила, что захватила его с собой?

Нано протянула мне листок и ответила лазу:

– Нельзя мудрить, а то мы дойдем до бессмыслицы. Я уверена, истина проста: добро это то, что хорошо для всех. Делай добро и не жди ни вознаграждения, ни результатов. Иди дальше и опять делай добро. Вот и все, что нужно, когда сеешь семена добра, вот условия для доброй жатвы.

Я стал разглядывать листок бумаги. На нем и вправду были имена женщин с какими-то точками вокруг каждого. У одних пять точек, у других – две. Около имени Нано стояло пять точек.

Я повертел список и передал его Арзневу.

– Эти точки сделаны разными чернилами, – сказал он. – А некоторые карандашом. Ставились, стало быть, в разное время.

Я взял список снова. Арзнев Мускиа был прав.

– Как ты думаешь, что это значит?! – спросил я лаза, как будто госпожа Нано Парнаозовна Тавкелишвили-Ширер пришла за советом к нему, а не ко мне.

– Можете ли вы вспомнить, – спросил Мускиа, обращаясь к Нано, – сколько раз вы виделись с Ветровым с тех пор, как он наговорил вам дерзостей об офицерах?

– Сколько раз? Сейчас соображу. Я помню, что он при этом каждый раз рассказывал, и могу сосчитать по рассказом.

Нано задумалась.

– Знаете что, – воскликнул я, и оба посмотрели на меня, – пообедаем сегодня вместе! Пока мы соберемся и доедем… Нано… Если ты будешь столь любезна и поедешь с нами, – клянусь честью, мы решим эту головоломку и разгадаем все секреты, какие только у тебя есть!

Нано улыбнулась и спросила:

– А куда?

– К Гоги.

– Я слышала про него, но не бывала никогда. Там, кажется, хор, поют старинные песни и гимны, да?

– Поют, и как поют!

– Странно, что в ресторане поют гимны, – сказала Нано.

– Так принято у Гоги. Там и посетители другие. Поедем – увидишь.

– В другой раз! – Нано оглядела свой костюм и, видно, решила, что он не подходит для столь многолюдного места.

– Сегодня лучше где-нибудь за городом, где меньше народу… На воздухе, ведь такая погода…

– И я так думаю, Ираклий. Не хочется сегодня видеть людей, – поддержал ее лаз.

– Пусть будет так.

Я хотел распорядиться, чтобы запрягли коляску, но Нано остановила меня:

– Не нужно. Моя стоит перед конторой.

– Что ж, едем, – сказал лаз. – А по дороге попробуем раскусить этого Ветрова.

Когда мы садились в коляску, Арзнев Мускиа спросил Нано:

– Что вы кончали там?

– Факультет словесности… Правда, тому, о чем мы говорили, я научилась не там.

– Я понимаю… Научить можно всему, но это – знание, а не вера, вере научить нельзя.

Через несколько минут рыжие жеребцы мчали нас к Ортачала.

– Сколько же раз видел вас Ветров, вы не вспомнили? – спросил Арзнев Мускиа.

– Вспомнила… Пять раз, если не считать разговора об офицерах.

– Вы в этом уверены?

– Безусловно.

– Значит, после каждой встречи он ставил, видимо, по точке на этом листке у вашего имени.

Нано взяла листок, взглянула на него и, помолчав, спросила:

– Ну и что же?

Я уже понял, в чем дело, и попытался ей объяснить:

– Видишь, после тебя тут вписана Сусанна, около нее три точки, значит, она встречалась с Ветровым три раза. Выше Надежда Иванова – пять точек. Кроме того, обрати внимание на то, как стоят эти точки.

Первая точка была в начале каждого имени: видно, Ветров видел всех по одному разу, поставил точки и этим исчерпал первый круг встреч. При втором обходе, надо думать, с тремя ему не удалось встретиться, поэтому в конце их имени место для второй точки осталось пустым. При третьем круге бедняга, видно, так старался, что выбился из сил, без точки осталась только одна женщина – Алла. У Аллы – две точки, и те только вначале – одна за другой.

– Эта Алла уехала, может быть, из вашего города? – спросил Арзнев Мускиа. – Он видел ее только два раза, и больше не удавалось.

– Ее мужа перевели в Темирханшуру. Он – офицер, – пояснила Нано.

– Ну конечно, он не мог ее больше увидеть. В Темирханшуре свой Ветров, и тот Ветров наверняка найдет ее!

Мы расхохотались. Хотя ничего смешного в этом не было, но, когда людям хорошо друг с другом, они легко и охотно смеются.

– Арзнев, ты думаешь, эти встречи могли носить специальный характер? – спросил я.

– Специальный? – переспросил он. – Не знаю пока. – И обратился к нашей спутнице: – Госпожа Нано!..

Но она прервала его:

– Знаете что, зовите меня просто Нано… Мне кажется, мы знаем друг друга сто лет…

Лаз улыбнулся и после секундной паузы ответил:

– Спасибо вам за это. Но я отношусь к вам с таким почтением, что говорить вам «вы» доставляет мне радость. Но при одном условии, что вы будете называть меня просто Арзнев или лаз, и на «ты». Такая форма дружеских отношений мне кажется самой достойной вас, не отказывайте мне, прошу…

Меня поразил душевный такт этого человека… Казалось бы, пустяк, но в этом пустяке, как в капле воды, отразились отношения лаза и Нано такими, как они сложились в тот день. Это почувствовала сама Нано и проговорила как бы про себя:

– Подобрал все-таки ключ к замку! – А потом весело и громко: – Лучше – лаз.

– И теперь, – сказал Арзнев Мускиа, – вспомните, о чем говорил с вами Ветров. Что рассказал он при первой встрече?

– О разбойнике, – ответила Нано. – В окрестностях Закатала, оказывается, есть разбойник, и зовут его Мамедом. Так вот этот Мамед в Лагодехи ворвался к кому-то в дом, задушил малыша в люльке при отце с матерью, поджег дом и убежал.

– Рассказал ли он об этом еще кому-нибудь из этих женщин?

– Рассказал.

– Откуда вы знаете?

– От той женщины. Она думала, что я не знаю, и передала как занятную новость.

– Ну, хорошо, а что он рассказал, когда вы увиделись второй раз?

– Тоже о разбойнике, теперь об Абрико. Он орудовал здесь, в горах Грузии. В лесу он насиловал маленьких девочек. Да, все его истории были про разбойников…

– И одна страшнее другой, не правда ли? – спросил я, хотя мне и так все было ясно. И Арзневу Мускиа тоже.

– Такими методами они борются с разбойниками, абрагами и вообще людьми вне закона, – сказал он.

Я вспомнил, что рассказал мне по секрету один мой знакомый, весьма осведомленный в подобного рода делах.

– Этот Ветров, – сказал я, – очевидно, служит распространителем слухов. Такое отделение недавно создано. Им, говорят, руководит сам начальник закавказской жандармерии. Значит, новому начинанию придают большое значение.

На этих словах Мускиа вдруг рассмеялся.

– Понимаешь, Нано, – сказал я, – этих женщин, и вместе с ними тебя, хотят использовать для распространения слухов. Ты можешь спокойно заниматься своей филантропией. У меня на примете есть человек, который бежал с каторги, не прислать ли его к тебе?

– Я согласна, но что означала болтовня про офицеров?

– В тайной полиции есть копилки сплетен. Оттуда он и почерпнул все это. В сущности, это своеобразный шантаж, вымогательство. Дал тебе понять – знаю, мол, твою тайну! Подобным приемом пользуются, когда вербуют в агенты.

– Ничего себе… Вот идиоты!

– А историю о грабеже ты так и не досказала, – я вспомнил об этом не только для того, чтобы переменить тему разговора, но и потому, что рассказ ее показался мне весьма занятным.

– Да, правда! Когда мы узнаем, чем все кончилось? – спросил лаз.

Нано посмотрела ему в глаза и сказала:

– Когда разговор зайдет о добре, Арзнев Мускиа!

Наша коляска въехала в ворота сада и остановилась у входа в духан.

Голубая тетрадь

Прошло три дня. А мы почти не расставались. Все время были вместе и развлекались как могли – то дома, то в гостях, то на прогулках. Как дети, придумывали забавы и подчинялись своим капризам. Мы были счастливы, что нашли друг друга, и мечтали о том, чтобы нашей дружбе не было конца.

Несколько раз мы собирались в ресторан Гоги, но все время что-то мешало – то одно, то другое. И вот наконец решили, что больше откладывать нельзя. Ехать надо к пяти часам, когда начинает петь хор.

Ресторан открывал свои двери в три часа дня и не закрывал до тех пор, пока последний посетитель не оставлял его порога. Здесь были самые ловкие, проворные и обходительные слуги, самые лучшие повара. Обычно хор пел до восьми часов, а с восьми выступал сазандари[11]. В общем зале три ступени вели на балкон, где были ложи-кабинеты, отделенные от зала резными перилами и занавесками. Эти занавески почти всегда были раздвинуты. А все сидящие в ресторане были на виду друг у друга, что создавало атмосферу всеобщей раскованности и непринужденности. Этому, возможно, помогало и то, что в ресторан приходили одни и те же люди, все они были друзьями и знакомыми, что упрощало их отношения. Мне случалось приводить сюда и новых людей, но они обычно очень быстро осваивались и чувствовали себя как дома. Конечно, во всем этом была заслуга самого Гоги. Он умел покорять сердца. Посетитель окунался в эту атмосферу доброжелательства в ту же секунду, как перед ним распахивались двери ресторана. Правда, швейцаром здесь был дидубиец[12] Арчил – в прошлом кулачный боец и забияка, а в гардеробе служил флегматичный

---

[11] Восточный инструментально-вокальный квартет.

[12] Один из районов Тбилиси.

великан и силач Ерванд из Велисцихе[13], и оба при случае были отличными вышибалами, но гостей они встречали с веселой почтительностью, умели пошутить, побалагурить, рассказать веселые новости и были весьма привлекательными и симпатичными людьми. Вы еще не вошли в зал, но уже успели настроиться на веселый лад, услышать добрую шутку, занятную историю. В зале редко бывало, чтобы сам Гоги не поднимался вам навстречу. Он всегда сидел за чьим-нибудь столиком, лицом к двери, чтобы видеть тех, кто входит в зал. Надо сказать, что Гоги был хромым, на правой ноге ниже колена у него был протез, но ходил он очень легко. Бывало, только увидит, что вы входите в зал, извинится перед своими сотрапезниками, слегка приподнимется степенно со своего места, и, смотришь, он как будто с якоря снялся и плывет навстречу тебе, широко и дружески улыбаясь. Это не заученная фальшивая ресторанная улыбка. Нет… Это улыбка, с которой он родился на свет, улыбка искреннего и доброжелательного человека. Глядя на него, я думал, что сам Гоги был рожден для дружеского застолья, чистосердечного веселья. Конечно, он находился на службе, но я знаю, он плохо разбирался в денежных делах и постоянно был в долгу у владельцев ресторана. Да и могло ли быть иначе, если каждый вечер он сам платил то за одного, то за другого посетителя? Правда, расходы эти возмещались потом в разное время и разными путями, но все равно бедняга постоянно нуждался. Бедняга – сказал я и сразу как будто осекся от неуместности этого слова. Не знаю, но, может быть, не сыщешь на свете человека счастливее Гоги. Во всяком случае ничего, кроме радости жизни, нельзя было прочитать на его лице, если, конечно, оно не омрачалось скорбной вестью об усопшем друге или какой-нибудь другой большой печалью. И все печали – только о других, о себе он не думал никогда. Не знаю, может быть, и молва о том, что дела у Гоги идут хорошо, родилась лишь потому, что он держал себя так, будто дела у него идут хорошо. Может быть… Откровенно говоря, я любил Гоги как брата. И не я один. Я давно заметил, что сам Гоги притягивал меня больше, чем веселые пирушки в его ресторане, – он сам, его немногословные речи и добрые шутки.

И сейчас, когда я ввел в ресторан своих новых друзей, мне хотелось, чтобы нас встретил Гога. Но когда мы вошли в зал, оказалось, что Гоги там нет. Да и вообще ресторан был полупустой: видно, приехали мы слишком рано. Было занято всего несколько столиков, и за одним из них, в левом углу, засела какая-то компания. Я сразу узнал их – то были Элизбар Каричашвили, Сандро Каридзе и Вахтанг Шалитури. Они увидели нас. А Элизбар встал и начал махать рукой, приглашая к своему столу.

– Мой двоюродный брат, – сказала Нано.

– Кто? – спросил я.

– Элизбар.

– Элизбара знаю и я, – сказал лаз.

Я удивился, хотел спросить, откуда, но удержался, не спросил. Ведь для Нано – мы близкие друзья, и я должен знать, с кем он знаком, с кем – нет.

– Сколько времени ты в Тбилиси? – обратилась Нано к лазу.

– В этот приезд? – спросил он. – Почти месяц. Я бывал в этом ресторане. Несколько раз.

– И с Гоги знаком?

– Гоги я знаю лет шесть. И сюда хожу обычно к нему.

Но Гоги начал служить здесь года три-четыре назад. Значит, они познакомились в другом месте. Но где? Я пожалел, что не успел расспросить его обо всем. Ведь это было так важно.

– Смотрите, смотрите, кто пожаловал! – воскликнул Элизбар Каричашвили, когда мы поравнялись с их столом. – Никуда я вас не отпущу, вы должны быть с нами. Сандро, Вахтанг, познакомьтесь: моя двоюродная сестра Нано, мой приятель Арзнев Мускиа, лаз. С Ираклием вы знакомы… Да, а это Сандро Каридзе и Вахтанг Шалитури – мои друзья. Садитесь, садитесь, где кому угодно. Где же Гоги, а?! Я говорил ведь, что видел сон? Теперь-то мы повеселимся на славу!

Элизбар Каричашвили вытащил из кармана платок и взмахнул им так, будто собирался

---

[13] Небольшой городок в Кахетии.

плясать кинтоури.[14]

Нам хотелось отказаться.

– Посидим за тем столиком, – сказал я, – а потом присоединимся к вам.

Легко сказать, но трудно сделать. От Элизбара Каричашвили не так-то просто отделаться. Если что-то взбрело ему на ум, он от этого ни за что не отступится. Что делать – пришлось принять его приглашение. Собственно говоря, сам Элизбар был мне по душе, добрый малый, неглупый и общительный. Да и с Сандро Каридзе можно было посидеть за одним столом, он слыл среди грузин человеком образованнейшим, держался в стороне от освободительного движения, к тому же состоял на службе и был цензором. Мне он нравился, хотя, я знаю, не все разделяли мои симпатии. Но вот кого я опасался, так это Вахтанга Шалитури. Я знал: стоит ему выпить, он начнет задираться. Его и трезвого трудно было выносить, вечно обижался по пустякам, характер имел заносчивый и мелочный, всем грубил и хамил. Не хотелось мне, чтобы мои гости оказались с ним в одном обществе, но было уже поздно.

Тем временем слуги слетелись к столу и стали его снова накрывать. А тут и хор запел. Всегда он начинал с «Шен хар венахи»[15] и кончал тоже «Шен хар венахи». Элизбар замолчал и сделал нам знак рукой – слушайте. Сам он не умел петь, голоса не было, но был очень музыкален, тонко чувствовал все оттенки исполнения и любил грузинскую народную музыку. Я замечал, что в ресторане Гоги тосты, которые произносил Элизбар, были словно навеяны только что отзвучавшей песней, ее ритмом, ее настроением. А у Сандро Каридзе и голос был, и слух, и стоило запеть хору, смотришь, а слезы уже текут по его щекам – ни больше, ни меньше, своеобразная реакция, ничего не скажешь.

Помню, как-то раз Гоги посмотрел на него и сказал: «Что же, братец ты мой, получается, днем ты цензор, покорный властям, – в руках твоих меч, и ты казнишь тех, кого они хотят казнить. А вечером приходишь сюда и оплакиваешь тех, кто пал от твоей руки днем, не так ли? Не знаю, что это, может быть, садизм особый…»

Но на такие речи Сандро Каридзе обычно только рукой махал: дескать, что ты в этом смыслишь, хотел бы я знать…

Пока звуки «Шен хар венахи» радугой переливались над нами, пока Сандро Каридзе вытирал слезы, Элизбар Каричашвили погрузился в себя, слушая песню. А когда она кончилась, взял в руки бокал.

– Я пригласил вас за свой стол, – сказал он, – и хочу, чтобы первое слово было за мной. Я буду тамадой только на этот один тост, чтобы предложить вам распорядок нашего вечера, а потом сложить свои полномочия. Здесь встретились такие люди, которым есть что сказать друг другу. Я думаю, вы все согласитесь со мной, – нам не к лицу обычная пирушка. Первый тост – за нашу встречу – хочу поднять я. Хочу представить вас друг другу и выпить за здоровье каждого из вас. Но потом бокалы мы будем поднимать по очереди. И каждый будет говорить то, что ему нравится. Итак, я буду первым, я подаю пример.

Элизбар Каричашвили говорил свободно и легко, и все мы его внимательно слушали.

– Дорогие друзья, – продолжал он. – У нас есть все для того, чтобы провести счастливо этот вечер. Не только еда и вино… Но и божественные песни… С нами прекраснейшая дама, наша Нано, присутствие которой делает каждого из нас лучше. Скоро подойдет и Гоги… Будем же веселиться, и пусть каждый откроет свою душу друзьям. Пусть будет так.

– Пусть будет! Мы согласны, – подхватили все.

Только Каридзе промолчал.

– Не можешь без мудрствований, – пробурчал он. – Какой ты, право! Люди хотят вкусно поесть и выпить хорошего вина, дай им эту возможность, вот и все, что нужно.

– Не распоряжайся! – воскликнул Каричашвили. – Это тебе не цензура, будем веселиться, как нам угодно, у нас свобода!

Каридзе усмехнулся, сунул в рот редиску и, показывая на рот, покачал головой: вроде он

---

[14] Тифлисский шуточный танец.

[15] Древний гимн виноградной лозе.

заткнул себе рот – молчу, мол, молчу, а ты говори, сколько твоей душе угодно.

Я знал за Элизбаром Каричашвили эту особенность – на многолюдных церемонных вечерах ему бывало не по себе, он молчал и слушал высокопарные тосты с таким видом, будто ему было неловко за говоривших. Но в дружеском кругу его нельзя было узнать, он загорался каким-то внутренним светом, и поток его красноречия лился неудержимо. Начнет, бывало, говорить о страданиях человечества, потом со стремительностью и остротой подведет нас к неожиданному выводу, который заставит всех задуматься, а после этого с такой же естественностью и изяществом тост его завьется вокруг одного из присутствующих, чтобы в конце концов опять вернуться к прежнему, к тому, чтобы не страдал человек. Некоторые недоумевали – зачем нужны такие длинные тосты, но это были люди, которых питье интересовало больше, чем беседа. Да и сами они лишены были дара слова. Такие люди любят присоединяться к чужим речам, пролепетав одну или две фразы. По-моему, чувство меры никогда не изменяло Элизбару Каричашвили, разве только после многих чарок, но и тогда то, что он говорил, не теряло своего обаяния.

И сейчас Элизбар остался верен себе и выпил прежде всего за человеческое достоинство, за каждого из нас, что для нашего знакомства было, конечно, необходимо. Первой в этом тосте была Нано, а последним – лаз. Элизбар не расточал чрезмерных похвал и не сказал ничего лишнего. Но говорил прекрасно и закончил такими словами:

– В сознании человека, опьяненного водкой, поселяется тьма, его язык уродлив и жесток. В сознании же человека, возбужденного вином, водворяется свет, его язык – язык любви и красоты. Водка – принижает, вино – прощает!..

– Теперь я понимаю, – прервал Элизбара Каридзе, – почему ты по утрам так невыносим.

Но Элизбар пропустил это мимо ушей и продолжал:

– Провидение одарило нас любовью к вину, чтобы наши, мысли обрели красоту и благородство. Оно избрало застолье местом, где предназначено нам выразить себя в честных и прямодушных суждениях. Вы знаете – грузинский стол похож на грузинскую песню: мы поем на разные голоса, но объединяемся в хоре, так и наше единомыслие рождается из разноголосицы мнений – и нет на свете более высокого единства!.. Я кончил, выпьем за это!

Видно, Нано никогда не видела своего двоюродного брата в роли тамады, его ораторский дар поразил ее.

– Тебе надо было быть адвокатом, – сказала она. – А ты выбрал провинциальную сцену.

– Грузинскую сцену, Нано, – поправил ее Элизбар.

– Да, конечно, ты прав, грузинскую, – подхватила Нано. – Но как ты красиво говоришь!

– Красота и очарование, наверно, у вас в роду, – улыбаясь сказал Вахтанг Шалитури, обращаясь к Нано, – я это понял и тогда, когда услышал Элизбара, и тогда, когда увидел вас.

Мы снова чокнулись. А когда начался негромкий разговор, хор запел кахетинское мравалжамиери. Элизбар, как всегда, замолчал, а Каридзе, как всегда, вытащил носовой платок. Наверно, они и подружились из-за болезненной любви к музыке, это единственное, по-моему, что могло их свести. Мы тоже слушали молча, но потом, как обычно бывает за столом, кто-то нарушил молчание, н опять потекла беседа.

– Скажите, Нано, – обратился к ней Шалитури. – Почему я раньше никогда не видел вас? Вы живете в Тифлисе?

Должен сказать, меня покоробила развязность Шалитури, то, что он назвал Нано по имени, без слов «госпожа» или «сударыня». Я заметил, что и Нано была этим задета.

– Я живу в разных местах, батоно Вахтанг, – ответила она, – но больше всего в Тифлисе. Разве обязательно нужно меня замечать?

– Но я адъютант военного коменданта. – Шалитури не сводил глаз с Нано. – Все меня знают, и я всех знаю… Как же я мог вас пропустить!

– Наше счастье, что ты еще не комендант, – как бы выплывая из своих музыкальных глубин, произнес Каридзе.

Шалитури мельком взглянул на него и сказал, отвернувшись:

– Смотрите, совсем как кукушка на стенных часах! Выскочит, скажет «ку-ку» и снова спрячется.

Это сравнение развеселило Элизбара настолько, что, отключившись на момент от музыки,

он громко захохотал, но потом опять погрузился в музыку. Нано протянула руку, взяла из вазы яблоко и начала ножом срезать кожуру. А Арзнев Мускиа пристально посмотрел на Шалитури, затем отвел глаза и пожал плечами. Нано почему-то не могла управиться с яблоком, видно, нож попался тупой, ей это, кажется, надоело, и она крикнула:

– Лаз, помоги мне! Разве ты не видишь, как я мучаюсь!

– Давай помогу тебе, – Шалитури стал вырывать яблоко из рук Нано.

Вот это выглядело нагловато.

– Простите, госпожа Нано, я не привык к обществу дам и могу ошибиться, – сказал лаз, щурясь, но при этом чуть-чуть покраснел.

Нано отвела руку Шалитури и передала яблоко и нож Арзневу Мускиа.

– Вахтанг, сколько тебе лет? – спросил я Шалитури, желая намекнуть ему, что нужно вести себя приличнее, хотя бы потому, что он моложе других.

Шалитури очертил пальцем линию от меня к лазу и Нано и сказал:

– Я младше вас, ну, лет на десять, – и громко и самодовольно засмеялся.

Я понимал, что именно мы трое вызывали раздражение Шалитури, и он старался нас задеть.

– Какой он, оказывается, юный! – отметил Каридзе.

– Я думаю, разница больше, батоно Вахтанг! – сказала Нано. – Мне тридцать шесть лет.

Сандро Каридзе с изумлением взглянул на Нано.

– Вам двадцать пять, – уверенно сказал Арзнев Мускиа. – Больше никто не даст.

Я был согласен с ним, он прав, Нано на самом деле двадцать пять лет.

Шалитури тем временем не унимался.

– Женщина всегда женщина, – объявил он. – Пусть у тебя острый язык, но немытые руки, она все равно захочет, чтобы яблоко очистил ты.

Арзнев Мускиа не произнес ни звука. И остальные тоже молчали. Хор кончил мравалжамиери. Но молчание продолжалось. Вдруг Элизбар вскочил со своего места и, наполнив бокалы, вскричал:

– Господа! Эта песня родилась на свет для того, чтобы принести умиротворение людям и покой. А за нашим столом как будто наоборот. Но я не могу с этим примириться и все равно хочу выпить за любовь. За ту любовь, о которой поют в кахетинском мравалжамиери, которой под силу поднять из руин то, что разрушено враждой и злом!

И он опрокинул свой бокал.

– То, что разрушено враждой и злом, можно восстановить только враждой и злом! И больше ничем иным! – заявил громко Шалитури. – Так поется и в кахетинском мравалжамиери: чтобы не победил нас враг!.. Имеющий уши да слышит.

И он налил себе вина.

– Нет, – вмешался Сандро Каридзе. – Там поют про любовь, это идет сначала, а только потом слова, которые ты привел. Любовь – исходное условие победы над врагом. И слова, и музыка создавались тысячелетиями, поэтому разночтений быть не может.

Я слушал его с превеликим удовольствием. Надо знать, что Сандро Каридзе имел две формы речи, как две формы одежды: будничную, обычно разговорную, и, если можно так выразиться, полемически-ораторскую. В его повседневной речи было немного юмора и много цинизма. Это давало ему возможность болтать, с кем он хотел и о чем хотел, острить на любые темы, даже об идиотизме царского режима или несправедливостях жизни. Он говорил с такой неуловимой зашифрованностью, что сам царь Соломон не мог бы вывести прямой смысл из его речей. А в полемическом его языке все было открыто и логично. Я думаю, служебные дела он должен был вести на этом языке, если только служба его нуждалась в разговоре. Но вообще-то он держал себя в узде, боялся, верно, повредить карьере, но случались взрывы, редкие вспышки, надо отдать ему должное, очень яркие, и сейчас я почувствовал приближение такой вспышки. Поэтому я не сводил с него глаз.

– Мне кажется, господин Сандро близок к истине, – сказала Нано.

– Я тоже не против любви и добра, – сказал Шалитури, обращаясь к Нано. – Особенно когда о них поется в кахетинском мравалжамиери. Я только хотел сказать, что возвращение того, что отнято, и восстановление того, что разрушено, требует жестокости и смерти, требует

уничтожения врага. Все это под силу лишь ненависти, а не любви. Ненависти!

Все растерялись от его слов, наступила тишина, и в этой тишине отчетливо прозвучал голос:

– Все это под силу только любви!

То был голос Гоги, подошедшего к нашему столу.

– Что ей под силу? – спросил Шалитури.

– Даже такая ненависть, – ответил Гоги и обратился ко всем нам: – Добрый вечер, друзья! Добрый вечер, сударыня! С вашего разрешения я присоединюсь к вам.

Я заметил, что Нано смотрела на Гоги с большим удивлением и, слегка кивнув ему, тихо сказала:

– Господи! Уж не во сне ли я вижу все это… – Она засмеялась, но в это время опять резко заговорил Шалитури:

– Все это похоже на бредовые идеи блаженного Тадеоза.

– Тадеоз? – переспросила Нано с излишним оживлением, стараясь не смотреть в сторону Гоги. – Кто это такой? Никогда не слыхала… В какую эпоху он жил?

Вопросы Нано вызвали громкий хохот и Шалитури, и Элизбара.

– Понимаешь, Нано, – пояснил Элизбар. – Тадеоз – это гувернер Вахтанга. Фамилия его Сахелашвили. Говорят, он из монахов. То ли из монастыря его изгнали, то ли сам ушел, – не знаю. Потом был учителем, но и в гимназии не удержался, прогнали и оттуда, это святая правда, было на моих глазах, вот и стал гувернером. Переходил из дома в дом, пока судьба не наказала его таким недорослем, как Вахтанг. Тогда Тадеоз понял, что бросает семена в неблагодатную почву, – и сбежал. Теперь, говорят, ходит по деревням и продает книги.

– Уже не продает, – сказал Шалитури. – Считает, что и в книги проник разврат. Он нашел себе новое дело. Живет в Тианети, бродит по лесам и делает прививки диким яблоням и грушам. Если урожай хороший – свиньи едят.

– Но я не понимаю, – спросил Элизбар, – что может проникнуть в книгу, если она прошла через руки Сандро Каридзе?

– Я занят изящной словесностью, Элизбар, – ответил Каридзе. – По мере сил я стараюсь, чтобы ею не завладели невежды и властолюбцы. Я уверен, что мои старания способствуют процветанию родины. А прекрасные творения, я знаю, не подвластны цензуре. Ей не под силу погасить ослепительное сияние их красок. Но бывает мертвенный, тусклый цвет, разбойничий серый цвет бездарности. Я борюсь с этим цветом, мой дорогой Элизбар!

– Хороший, видно, человек бедняга Тадеоз, – неожиданно произнес Арзнев Мускиа.

– Очень, – подхватил Каричашвили. – Замечательный человек!

– Нет, ты все-таки растолкуй мне, – обратился Шалитури к Гоги, – как же так любовь может породить ненависть?

– Я отвечу тебе, – сказал Гоги. – Но сначала объясни, как ненависть может восстановить разрушенное?

– Как может? – переспросил Шалитури. – Да очень просто. Скажи сам, как случилось, что мы, грузины, дотащили свои бренные тела до наших дней? Разве наши предки встречали врага чурчхелами и пеламуши?.. Вот пришел враг, взял приступом наши крепости, одержал победу и вырезал тех, кто ему не подчинился… Враг порой приходит как друг, втирается в наши души, а потом, раздавив нас, возглашает, что мы в его руках и должны быть теперь тише воды ниже травы. Так что же, молчать, смирившись с судьбой? Да?! А враг раздает леденцы трусам и предателям, тому, кто продал родного брата, кто сделал свободного рабом, кто продал душу дьяволу, забыл родной язык и плюнул на могилу предков… – Вахтанг Шалитури вскочил со своего места, кровь прилила ему к лицу, и он сжал кулаки. – Кто бы он ни был, пришлый или свой, саблей его, огнем, в волчью яму, в западню, отравляй, убивай!.. Ложь, предательство – все оправданно! Все справедливо!.. – Он запнулся и замолчал, словно выпалил накопившийся за долгое время запас злости и отвел душу. Сел на свое место и руки потер, будто неловко ему стало от бурного взрыва. – Плохое или хорошее, – продолжал он спокойнее, – но это твое. Он пришел и все разрушил… Враг! Он хочет тебя извести… А ты встречай его добром, подари свою любовь, прости за все… То, что разрушил он, само встает из развалин? Нет! Никогда! Нужно ненавидеть, убивать и истреблять до тех пор, пока враг не поймет – овчинка выделки не

стоит, пока не уйдет ко всем чертям. Только так можно спастись. Ненавистью! Жертвами! А вы хотите стоять и петь: любовь спасет… Ненавидеть вы должны, если любите свободу, если хотите дожить до тех дней, когда сможете восстанавливать то, что разрушено. Надо ненавидеть!.. А после этого я и за любовь с удовольствием выпью, всему свое место!

Воцарилось молчание. Не потому, что слова Шалитури поразили всех своей новизной. В те времена встречались люди крайних взглядов, особенно среди молодых людей, настроенных патриотически. И Шалитури не сказал ничего такого, что несло бы печать своеобразия. Своеобразным был, может быть, только его злобный, желчный темперамент.

– Вахтанг, – вставая, сказал Каричашвили, – тебе бы не адъютантом быть, а террористом. Настал момент… Хотя и раньше я говорил тебе. А кроме того…

– Подожди, дай я скажу ему, Элизбар, – прервал его Гоги.

– Пожалуйста, говори. Видите, какой я тамада. Всем уступаю, – засмеялся Элизбар. – Говори, Гоги!

– Ты сказал, – начал Гоги, – что наши отцы и деды-встречали врага войной? Ты прав, почти всегда было так… Но сейчас этого нет… Куда все девалось, ты можешь сказать? Нынешние грузины, отцы и деды будущих поколений, почему они не воюют, не убивают, почему они тише воды и ниже травы, почему?

– Выродился народ, – ответил Шалитури. – Продался за леденцы и побрякушки.

– Не так просто, батоно Вахтанг, – вмешалась Нано. – Не так просто, как вам кажется. Что же случилось с народом? Какое свойство, по-вашему, он потерял?

– Я уже сказал – ненависть.

– Нет, не ненависть, – воскликнула Нано. – Он потерял любовь! Любовь к свободе, к родине, к государству.

– Как вы изволили сказать, госпожа Нано? – Сандро Каридзе, сморщив лоб, с интересом посмотрел на Нано.

– Разве это нельзя говорить, – засмеялся Каричашвили. – Запрещено цензурой?

Каридзе задумался, постукивая пальцем по столу.

Гоги тоже, видно, не ожидал, что его взгляды разделяет эта дама. Но взглянул он на Нано как-то странно, словно что-то связывало их, была какая-то тайна, которую они скрывали.

Я заметил, что Арзнев Мускиа тоже вовлечен в эту тайну. Он то переводил глаза с Нано на Гоги, то утыкался в поданный на плетенках цоцхали, стараясь не подымать глаз. Казалось, лаз, Нано и Гоги внутренне объединены между собой. Но что они могут скрывать?

– Пока еще не все понятно, – воспользовавшись паузой, сказал Арзнев Мускиа.

От его слов Гоги, казалось, пришел в себя, будто спустился с небес на землю, и пытливо взглянул на лаза.

– Я постараюсь объяснить, – сказал Гоги, возвращаясь к прерванной мысли. – Когда человек убивает человека, на это должна ведь быть причина? Грабитель убивает ради наживы, это понятно. Грузин, служащий в войсках царя, шаха или султана, убивает, потому что он верен присяге или мечтает о повышении, мечтает о награде. Если заглянуть в глубь вещей, то и он, в конце концов, убивает ради наживы, ради достатка в будущем, но скрывает от себя эту правду. Больше того, он считает себя человеком, так как прикрывает зверство человеческими формами. А на самом деле цель одна… Но вернемся к тому, чего мы начали… Итак, враг пришел на твою землю, растоптал веками сложившиеся устои твоей жизни, осквернил твою веру, взял в плен и угнал за тридевять земель твоих соплеменников и не собирается уходить… Конечно, ты должен убить врага, но убить не потому, что ты его ненавидишь, а потому, что он отнял то, что ты любишь. Любовь, а не ненависть – поймите! – диктует мужество в бою и волю умереть за свободу. Но мы разучились вести себя так, как диктует любовь. Почему? Госпожа Нано сказала правду – мы потеряли любовь к свободе, к родине, к государству. И я не знаю, сможем ли мы вернуть то, что потеряли, если будем резать и убивать? Есть на свете другие, более человечные пути. Культ резни может принести только резню. Он противоречит даже здравому смыслу, потому что насилие способно посеять только насилие. Это, правда, уже другой разговор. Но то,

что разрушено враждой, восстановится любовью[16]. Я считаю это истиной и пью за это.

С этими словами Гоги поднес свой бокал к губам.

– Подожди, Гоги! – воскликнул Элизбар, – за это надо пить чашами. Если останемся трезвыми, то беседа наша не сладится.

И он протянул Гоги наполненную до краев чашу.

– И мне тоже, – объявила Нано. – У меня веселое настроение. Дайте мне папиросу и чашу вина. Я тоже хочу говорить. Налей мне, лаз!

– Чашу? – удивился Каричашвили.

– Чашу!

– А вдруг ты опьянеешь и начнешь плакать? – сказал я.

– Все равно! – смеясь заявила Нано.

Арзнев Мускиа взял чашу Нано и стал наполнять ее вином.

А Шалитури в этот момент, повернувшись лицом к Каричашвили, негромко, но вполне отчетливо сказал:

– Профессионально наливает! Он что – из официантов?

– Никак нет, ваше благородие, – ответил лаз спокойно.

– Сиятельство! – поправил Шалитури.

– Да ну? – сказал лаз и поставил перед Нано полную чашу.

Все были подавлены и не знали, как быть. Все понимали, что любое слово с любой стороны может вызвать скандал. Но нельзя было и промолчать – ведь Шалитури за этот вечер второй раз оскорбил гостя. Молчание могло выглядеть как одобрение… Не знаю, как поступил бы каждый из нас и что из всего этого бы вышло, если бы не зазвучал снова хор. Да, «Чона» пришла нам на помощь, принесла успокоение, дала возможность подумать. Только Каричашвили успел сказать:

– Понять бы, Вахтанг Шалитури, что распаляет в тебе такую ярость?

– Запоздали с очередным чином, – небрежно бросил Каридзе.

Шалитури не ответил, сидел молча и напряженно, горделиво улыбался, как победитель. А голос Самниашвили звенел и переливался: «Деди, чонас могахсенеб…»[17] Нано притихла, но не потому, что слушала песню. Мне кажется, она думала, как поступить и что вообще может произойти после наглой выходки Шалитури. А я уже знал, что буду делать, и, как только кончилась песня, поднял свою чашу.

– Я начну, а закончить свой тост предлагаю Нано, – сказал я. – Она женщина, она лучше всех соединит в один узел то, что мы все говорим про любовь. Пусть Сандро и Арзнев простят меня, я начал говорить раньше них. Но я не хочу молчать, потому что гостей привел сюда я. И за их веселье отвечаю я. И за нанесенное оскорбление – тоже. Поэтому, Арзнев Мускиа, прими мои извинения… Ты видишь сам, что происходит! Мы встретились под этими сводами, говорим о предметах божественных и возвышенных, поклоняемся добру и любим друг друга. Но наш порог переступило недоброе слово, оно как порох легло под фундамент нашего здания, чтобы взорвать тот порядок отношений и чувств, который завещан нам нашими предками… Да, пришел враг… Так что же, из-за него мы должны забыть про любовь, про то, что для нас святая святых? Вооружиться ненавистью и уничтожить друг друга? Нет, мы не согласны на это. Объявим бескровную войну и противопоставим злу великодушие. Наша любовь от этих испытаний лишь закалится, и мы поднимемся еще выше и поймем тогда, как себя вести. Будем помнить: то, что разрушено враждой, восстановится любовью! Мы покажем, на что способна вражда и на что способна любовь. Подними чашу, Арзнев Мускиа, алаверды к тебе! Жить – это устоять.

Мне казалось, я сделал все для того, чтобы обуздать Шалитури и смягчить лаза. Не знаю, что еще можно было сказать.

– Я не во всем согласен с тобой, Ираклий, – сказал Арзнев Мускиа, вставая. – Все на

---

[16] Строка из песни «Мравалжамиери».

[17] «Матушка, чону тебе поем» (слова из песни).

самом деле, конечно, сложней. Маленьким народам плохо живется, мы это знаем хорошо. И люди мечутся, ищут выхода, ищут и не находят. Отсюда нити озлобления. А вышедший из себя человек легко может ошибиться, Не так ли? Но мы, грузины, – кем бы он ни был, своим или чужим, – должны его понять, понять и простить, дать время подумать. Пусть батоно Вахтанг сказал что-то лишнее, пусть я не мог принять за шутку то, что он сказал, – все равно теперь я простил его и надеюсь, мы не будем сваливать друг на друга…

– А если бы ты не простил, – прервал его Шалитури. – Скажи, что бы ты сделал?

– Это зависит от того, что бы предложили мне, батоно, – помедлив, ответил лаз.

– А если бы я предложил дуэль? – сказал Шалитури и громко захохотал.

– Я не принял бы дуэли. Это было бы бессовестно с моей стороны.

– Ах, так! Почему же? – язвительно усмехаясь, спросил Шалитури.

Арзнев Мускиа не отвечал. В ожидании грозы все молчали. Люди за соседними столиками насторожились. Лаз оглядел зал, потом, повернувшись к Гоги, взглянул ему в глаза и будто прочитал там ответ на свой вопрос, не торопясь поднялся со своего места и сказал, обращаясь к Нано:

– Нано, простите меня. Это необходимо… Здесь не случится ничего, поверьте мне, но все равно, простите… И вы тоже, Сандро-батоно, – Арзнев Мускиа повернулся к Шалитури: – Это было бы бессовестно с моей стороны потому, что у меня слишком большие преимущества перед вами.

Я вскочил было, думая, что мне придется их разнимать, но Гоги положил мне руку на колено.

– Сиди, Ираклий, – сказал он тихо.

Я растерялся, так как не мог понять, что может сейчас произойти. Кажется, кроме Арзнева Мускиа, этого не представлял никто. Во всяком случае Нано сидела вся побелевшая, Каричашвили порывался что-то сказать, но глотал слова, боясь, чтобы не было хуже. А Каридзе повернулся лицом к двери, казалось собираясь бежать.

Вахтанг Шалитури схватил бокал с вином:

– Я хочу убедиться в вашем преимуществе, – с этими словами он плеснул вино в лицо лазу. Но тот ловко отскочил в сторону, и вино лишь забрызгало ему рукав.

– Ну, убеждайте меня, я жду, – повторил Шалитури.

Арзнев Мускиа покачал головой, затем вынул из кармана пистолет и, передавая Гоги, сказал:

– Ты должен попасть, иначе испортишь потолок.

Нано подавила крик и прижала руки к ушам. Гоги отодвинулся вместе со стулом и взял пистолет в руки.

– Э-е-х! – воскликнул он. – Жить – это устоять. Так, кажется, сказал Ираклий.

– Хо! – Лаз подал ему знак, и в один миг пустая чаша из его рук взвилась под потолок.

В тот же миг раздался выстрел и осколки чаши с глухим треском посыпались на пол. Гоги поднес пистолет к губам, сдул дым, поцеловал дуло и сказал:

– Где только этот человек добывает такое оружие? И целиться не надо, само находит цель, благослови его господь!

– Хорош пистолет? – переспросил Арзнев Мускиа.

– Тебе лучше знать!

– Тогда пусть он будет твоим.

Гоги внимательно посмотрел на лаза, и, когда глаза их на секунду встретились, лицо его просветлело от радости. Гоги сунул пистолет в карман:

– Пусть лежит! Будет нужда, станем ходить из города в город и простреливать чаши.

– Дал бы бог, – ответил лаз. – Святому Георгию Илорскому поставил бы свечу в твои рост.

Была гробовая тишина.

– Как вы стреляете, батоно Гоги! – с изумлением сказала Нано.

– Ничего особенного. Можно и лучше. Когда бросают вверх гривенник и он не возвращается назад… Лаз это умеет, из десяти – девять раз!

Как это ни странно, но выстрел, мне показалось, разрядил атмосферу, а разговор Нано и

Гоги мог бы ввести беседу в спокойное русло.

– Эй, садись, что ты застыл как истукан! – шутливо прикрикнул Каричашвили, обращаясь к Шалитури.

Но тот продолжал стоять.

– Лучше помолчи, – ответил он и повернулся к Гоги: – Кому нужна ваша меткость… Если дойдет до дела… Вы можете только, как клоуны, показывать фокусы… И один, и другой… А так…

– Что так? – спросил Гоги.

– А так на что вы способны? Ухаживать за женщинами? Для этого не нужно ни ружья, ни пушки. Да какой толк из вашей стрельбы, умей вы стрелять и в пять раз лучше? Зачем вам это?

Шалитури громко засмеялся.

– На что мы способны, – сухо сказал Гоги, – это тебя, молодой человек, не касается. Хотя бы на то, чтобы привести в чувство такого наглеца, как ты.

– Вы думаете, я испугался, да? – Шалитури опять наливался бешенством. – Дело совсем в другом. Допустим, мы будем стреляться… От меня вам пощады не будет. А вы, тряпки, не станете меня убивать! Это меня не устраивает. Пусть никто не думает, что Вахтанг Шалитури боится смерти. Смотрите! – Он достал револьвер из кармана, разрядил его, высыпал на стол патроны и начал их пересчитывать, приговаривая: – Енки, бенки, сикни, са, енки, бейки, сикни – вон!

Патрон, на который, по условиям игры, пал жребий, Шалитури вложил обратно в револьвер. После этого он взвел курок и обвел взглядом всех сидящих за столом.

Я не мог понять, что он задумал, да и другие тоже смотрели на него с недоумением. Только Элизбар Каричашвили хорошо знал, что может выкинуть его приятель. Он схватил Шалитури за руку, в которой был зажат револьвер.

– Знаешь, довольно! – сказал он с раздражением. – Когда-нибудь эта игра кончится плохо. Не лезь на рожон… Если тебе хочется свернуть себе голову, выйди в сад, там никого нет, тихий вечер, легкий ветерок, деревья шелестят…

Шалитури грубо оттолкнул Каричашвили. После этого он ударил ладонью по барабану револьвера, цилиндр завертелся, в этот момент он приставил дуло к виску и нажал пальцем курок… Выстрела не было, револьвер чихнул, барабан остановился. Шалитури спрятал револьвер, сел за стол и почему-то начал торопливо есть.

Мы сидели не шелохнувшись. Потом вскочил Каридзе и, воздев руки к небу, простонал:

– Несчастная Грузия, куда ты идешь?!

И снова уселся на свое место.

– Я не понимаю, что тут произошло? – спросила Нано. – Объясните мне, ради бога.

Она не могла поверить в то, что жизнь человека так дешево стоит.

– Ничего не произошло особенного, – ответил Элизбар. – Просто могло стать одним идиотом меньше на свете.

Нано побелела.

Арзнев Мускиа уставился в стол, перебирая пальцами скатерть.

– Что ты хотел доказать этой детской бравадой? – спросил Гоги, обращаясь к Шалитури. – Для чего это нужно?

– Нужно! – пробормотал Шалитури, продолжая есть.

Нано постепенно приходила в себя. Она глотнула лимонаду и сказала:

– И все потому, что мы не знаем, для чего живем и для чего умираем.

– Я согласен с вами, – отозвался Шалитури.

Нано повернулась к Гоги.

– А женщина может научиться так стрелять?

– Может, – ответил Гоги. – Это метод трех тысяч пятисот патронов.

– В чем же он заключается? – заинтересовался Сандро Каридзе.

– В него входит несколько операций: сначала неподвижно стоящий человек должен выпустить тысячу пятьсот патронов в неподвижную цель. Затем пятьсот патронов – неподвижно стоящий в движущуюся цель. После этого тоже пятьсот – движущийся человек в неподвижную цель и, наконец, последнюю тысячу – движущийся человек в движущуюся цель.

– Сколько же на это нужно времени? – заинтересовалась Нано.

– От двух недель до месяца, у кого какие способности.

– Лаз, научи меня, ладно? – взмолилась Нано. – Нет, обещай перед людьми.

Арзнев Мускиа улыбнулся в ответ:

– Мне еще нужно закончить свой тост.

– Внимание! – закричал Сандро.

– Когда я слушал вас, – сказал Арзнев Мускиа, – я знал, что вы правы… Да, то, что растоптано злом, можно вернуть к жизни одним лишь добром. Но мы оба – и Гоги, и я – впустили сюда вражду. Пусть простит меня уважаемый Вахтанг, и, если он меня не оттолкнет, я предлагаю ему свою дружбу от всей души. Все началось тоже с любви, с нашей любви к пирам и веселой беседе… И может быть, мы не посчитаем злом то, что нас заставила сделать любовь! Но разве знает человек, когда сделанное им добро обернется злом? Сколько примеров тому известно каждому… На твоих глазах творится зло, ты не можешь стерпеть, бросаешься на помощь, так велит сердце. Но, спасая, ты употребил силу, ответил насилием на насилие. Ты хочешь спасти человека, а способствуешь его гибели. Один только просто дурно воспитанный человек – нет, не злодей даже! – сколько насилия приносит он в мир!.. А в наше время таких невоспитанных – пятьдесят на сто. И тот, кого ты выручил, такой же. А тот, кого ты наказал именем добра, думаешь, он ангелом станет? Тебе кажется, что любовь твоя восстановила разрушенное. И порой это и в самом деле так. Но, применив насилие к обидчику, не вверг ли ты его в беду? И возродив одно здание, не испепелил ли тут же другое, соседнее? Пусть кто-нибудь скажет, что делать рабу божьему, как ему поступать?

«Верно, когда он болен, у него бывает такое лицо и такие глаза», – подумал я, глядя на Арзнева Мускиа.

– Признаюсь, я давно не вмешиваюсь в чужую беду. Я потерял веру в добро! Но сегодня я нарушил слово, данное себе, может быть, потому, что задет был я сам. Со своего, личного, и начинается гибель человека… И я молю провидение вернуть мне веру, веру в то, что… разрушенное враждой восстановится любовью. Э-х-х, была ж она у меня когда-то. – Лаз залпом опустошил свою чашу. – Долго я говорил. Терпеливый вы народ, тифлисцы!

– Разве это долго! Ты сейчас поймешь, что такое долго, когда будет говорить Сандро, – сказал Каричашвили улыбаясь, довольный тем, что все уладилось и пошло по мирному руслу. – Сандро знает столько иностранных слов и будет говорить до тех пор, пока не иссякнет их запас. Вот тогда нас можно будет пожалеть, а твой тост был и коротким, и простым, и умным.

Хор начал «Черного дрозда». Слуги принесли новые блюда и расставляли их по столу. Видно, пауза была нужна, чтобы спало нервное напряжение. Мы не смотрели друг на друга, хотелось отключиться от всех и погрузиться в себя. А между тем народу в ресторане заметно прибавилось, только два балкона были еще пусты. А в зале – ни одного свободного столика. Правда, Гоги за этот вечер ни разу не поднимался навстречу посетителям: видно, то, что происходило за нашим столом, приковало его к нам.

«Черный дрозд» подходил к концу, когда лакей, пыхтя от напряжения, появился около нас с огромным подносом, уставленным бутылками и фруктами.

– Кто это прислал? – спросил Гоги.

– Симоника Годабрелидзе дарит это вашему столу, батоно Георгий, – ответил лакей, – вино мужчинам, шампанское госпоже – за терпение, велел сказать, рубль он дал Кето за то, что она убрала черепки от чаши, и рубль мне – за этот поднос. Пусть бог пошлет щедрым людям больше денег, а моим детям – больше щедрых людей!

– А-а-а! Симоника! – крикнул Элизбар Каричашвили и послал в зал воздушный поцелуй. – Дешево хочешь отделаться!

Второй лакей принес маленький столик, и они поставили на него то, что было на подносе. Потом оба выпили за нас и ушли.

Тут и Сандро Каридзе взялся за чашу. Все затихли.

– В природе, наверно, ничто так не зависит друг от друга, – сказал он, – как нравственность личности от судьбы его нации, как нравственность гражданина – от достоинств и недостатков его государства. И наоборот… Они так слиты, что не знаешь, что сначала, что потом…

– Как курица и яйцо, не так ли? – засмеялся Каричашвили. – Вахтанг, перестань злиться и скажи, что было сначала – яйцо или курица?

– Мой швейцар, дидубиец Арчил, говорит, что сначала был петух, – сказал Гоги.

– Он прав, так и было на самом деле, – сказал Арзнев Мускиа со смехом, – не будем мешать господину Сандро, он говорит так интересно.

Шалитури сидел с мрачным видом; думаю, он сам не понимал, почему все еще находится среди нас.

– Что мы называем нравственностью? – продолжал Каридзе. – Мне кажется, нравственность это та внутренняя сила, с помощью которой личность управляет своим поведением, подчиняет его каким-то нормам, упорядочивает, что ли… Во всяком случае, сочетает свои желания с интересами своего народа, своего государства…

– Упорядочивает и управляет в той мере, в какой обладает нравственностью, не так ли?.. – на этот раз Каридзе прервал я.

– Ты прав, Ираклий, именно так, – ответил он и продолжал: – Маленький народ не сможет создать своего государства, если государство это не будет необходимо человечеству или хотя бы значительной его части. Каждое государство имеет поэтому свое международное и историческое предназначение, свою функцию, что ли…

– Это еще не все, – опять вмешался Элизбар Каричашвили. – Сначала должна возникнуть историческая необходимость самой функции. Кроме того, народу, принимающему на себя ту или иную миссию, нужны для этого талант, энергия, воля к борьбе и одолению.

– Разумеется, Элизбар. Начнем тогда вот с чего, – продолжал Каридзе. – …Смотрите, что получается. В одной из областей земного шара – в Закавказье, скажем – возникла потребность, а следовательно, и историческая необходимость создания государства. Возникла независимо от того, кто населял эту часть суши. А населяли мы, грузины, и осуществили эту необходимость – создали государство. Фундамент христианского государства Грузии был заложен благодаря тому, что мы взяли на себя роль крайнего бастиона христианской цивилизации на Востоке. С другой стороны, для Персии и Византии мы были той силой, которая сдерживала напор северных кочевников, устремляющихся к югу. Одновременно создание государства внесло порядок и устойчивость в нашу жизнь. По грузинской земле пролегли и скрестились на ней большие торговые пути, развилась национальная экономика, которая обрела большой вес в азиатской торговле. Но чтобы жребий, выпавший на нашу долю в истории мира, был нами исполнен, мы были вынуждены постоянно отражать нападение врага, вести постоянные войны, и потому наше государство было построено как государство военное. Отдельная личность повторила функцию государства и стала осуществлять его миссию – отражение врага. Война стала для человека основным занятием, его повседневной жизнью. Я говорю – жизнью! Жизнь – это процесс добывания духовной и материальной пищи, а нравственность – сила, организующая этот процесс. Удачи и беды гражданина находились в прямой зависимости от бед и удач государства. Желать чего-нибудь для государства значило желать этого для себя. Отсюда возник и с течением времени утвердился моральный принцип: сначала я отдаю народу и государству все, что имею, уж после этого беру у них столько, сколько сумею отхватить или сколько мне дадут или подбросят. Разумеется, с точки зрения высокой справедливости подобный принцип ничего не стоит, но тогдашнее человечество пребывало на этом уровне, имея свое представление о справедливости. Так или иначе этот нравственный принцип был порожден функцией нашего государства, а сформированная веками нравственность оберегала и сохраняла в свою очередь государство. Я говорю о том, что утратила потом наша нация. Госпожа Нано сказала святую правду: мы утратили любовь к вольности, к стране, к государству… Потеряли те основы нравственности, о которых, мой дорогой Элизбар, я говорил так долго и к тому же иностранными словами. А тост мой будет коротким. Гоги прав. Когда наши предки побеждали чужеземцев, их вела любовь. Тогда у грузин и у других народов близкой к ним истории в фундаменте жизни была любовь. Любви под силу все восстановить и все исцелить. Я пью за такую любовь!

Сандро Каридзе приник к своей чаше и не торопясь, с паузами, ее опорожнил.

Все мы с увлечением его слушали.

– Это очень важно, – сказал я, – что в те времена в фундаменте жизни была любовь. Я не

числю себя знатоком искусства, не берусь судить, но, по-моему, все самое прекрасное в грузинской музыке, в литературе, в народной поэзии, все, что мы любим, появилось как раз тогда. И никогда в них ложь не одерживала победы, никогда насилие не подымалось на пьедестал. Великодушие и самопожертвование – кровь и плоть нашего искусства.

– Возьми хотя бы тот же мравалжамиери, – поддержал меня Гоги. – И слеза и музыка создавались именно в ту пору.

Тут и Нано включилась в общий разговор.

– Слова и мелодия этого гимна, – сказала она, – утверждают: восстановить то, что уничтожено враждой, нельзя без вражды и ненависти… И тут Вахтанг, конечно, прав. Но при одном условии: что ненависть – результат любви, а не зависти, эгоизма, жадности, алчности, властолюбия или других низменных стремлений.

– Если это так, – подал голос Шалитури, – тогда зачем надо было колотить чашки о мою голову.

Все мы сделали вид, что в возвращении Шалитури к общей беседе нет ничего неожиданного. Да и реплика его прозвучала совсем безобидно. Все, по-моему, были рады этой размягченности.

В это время Арзнев Мускиа начал говорить, глядя на Нано:

– Я вспомнил басню, она не наша… Смертельно ранен лев, из груди его льется кровь, а вокруг торжествует стая шакалов, радуясь, что лев умирает и труп достанется им. Лев не может стерпеть их ликования и, собрав последние силы, бросается на шакалов, раздирает их в клочья. И шакалья кровь лужей стекает к его ногам. Изнемогающий от долгой борьбы лев бросается в эту кровавую лужу. По басне получается, что кровь врагов и завистников должна исцелить льва, вернуть его к жизни, – Арзнев Мускиа на секунду запнулся и продолжал: – Вы все знаете грузинское стихотворение «Орел». Великий человек написал его, Важа Пшавела, по-моему, самый великий из современных грузин. Ему не пришло в голову исцелить раненого орла кровью воронья. Потому что, кончив так свое стихотворение, он призвал бы к насилию и мести. А он не хотел, он не мог. Сколько ни читай, сколько ни повторяй эти строки – в первый раз, в сотый раз, – и всегда одно чувство – любви к орлу. Любовь к слабому, к обреченному – вот к чему взывает поэт. А бог с избытком наделил его этим даром – даром понимания, сострадания. А когда нам передается его чувство, значит он доверяет нам. Знает, что твой поступок тоже теперь будет продиктован любовью, и потому он не учит, не диктует, не заставляет. Так, верно, во всех великих творениях, я только не думал обо всех.

– Нет, ты думал, – горячо сказала Нано. – И все увидел глубоко, как есть на самом деле.

– Все это прекрасно, – объявил Каричашвили. – Но кто же станет делать дело, если мы будем говорить до рассвета. Нано, теперь твой черед. И следующий тост пьем двумя чашами, а то Арчил и Ерванд вышвырнут нас отсюда как трезвенников.

– Не потому ли тебя в последнее время все чаще называют бывшим артистом, что ты целиком посвятил себя другому искусству, нашему застольному грузинскому? – пробурчал Сандро Каридзе.

– Я художник, Сандро, – с огорчением ответил Каричашвили. – Когда я был молод, меня увлекла сцена и шквал аплодисментов. Но разве я знал свой жребий, разве понимал, что такое высокое искусство!

– А теперь ты понимаешь?! – усмехнулся Каридзе.

– Теперь понимаю! – сказал Каричашвили. – Высокое искусство, Сандро, это – совесть. Я не имею права играть плоско! Это прежде всего. И я не имею права лгать людям. Лгать соотечественникам, сбитым с истинного пути трагедией их истории, толкать их в яму… Поэтому я играю не всё… Уж год, как репетирую новую роль. Может быть, на это уйдет еще год. Не знаю… Но выйду на сцену только тогда, когда смогу показать то, что возвышает душу. И если по глазам зрителей я пойму, что достиг своей цели, то слушать аплодисменты в театре останешься ты, а я побегу сюда, чтобы выпить вина и поговорить с Гоги и Ервандом о грузинской борьбе. Давай, генацвале! Называй меня бывшим артистом… Чего можно ждать другого от такого циника, как ты! Я не возражаю… Нано, голубушка, – он повернулся к Нано, – мы слушаем тебя! А ну, слушать! – загремел его голос.

– Нет, не сейчас, – сказала Нано. – Мне хотелось бы еще послушать Сандро Каридзе,

пусть он поделится с нами своими богатствами.

– Ради бога, госпожа Нано, я готов, но не знаю, чем делиться.

– Сейчас я объясню… Вы говорили о том, что мы имели и что потеряли. А как потеряли, почему… Кем мы стали, кто мы теперь… Это нужно мне для моего тоста, без этого он будет бессвязным и может показаться чепухой.

Каридзе был явно польщен просьбой Нано.

– Я буду рад, – улыбаясь ответил он. – Но общество наше должно набраться терпения, хотя я постараюсь быть лаконичным. Ведь я думал над этим не один год и знаю то, что мне предстоит сказать, как «Отче наш».

– Начинай, Сандро, – подхватил Каричашвили. – Наговоримся, во всяком случае. Кто знает, какие превратности несет нам завтрашний день…

Сандро Каридзе не заставил себя долго просить и начал без промедления.

– К сожалению, не все вечно на нашей грешной земле, – сказал он не торопясь. – Появились славянские феодальные государства и ослабили опасность северных нашествий для южных империй. И грузинское государство потеряло свое назначение – быть форпостом в сдерживании набегов степных народов. А разложившуюся Византийскую империю прикончили, как все вы знаете, крестоносцы и турки. Католическое же христианство до того источилось червем, что нашло необходимым учредить инквизицию. А когда колеблется цитадель, то судьба бастионов висит на волоске. Разладились наши связи с единоверным миром, и идеологическая функция Грузии постепенно начала отмирать.

Прошло еще немного времени, и в результате развития мореплавания великие торговые пути перекочевали на моря и океаны. Тем самым мы лишились и экономической своей функции. Короче говоря, в один прекрасный день стало ясно, что мы лишились международной функции. Наше могучее государство, недавно еще вершившее добрые дела для человечества, превращалось в арену междоусобной возни мелких князей и приманку для всевозможных удачливых или неудачливых завоевателей. Чем были для истории Грузии пять ее веков до присоединения к России? Их смело можно назвать пятисотлетней войной за физическое сохранение нации и спасение ее культуры. И что примечательно – национальное, грузинское политическое мышление всегда отдавало себе отчет в том, что существование нашей страны целиком определяется ее исторической функцией.

В крупном масштабе это впервые пытался воплотить, в жизнь Вахтанг Горгасали. Когда Грузия перестала быть форпостом при нашествиях степных народов, Давид Строитель и его политическое окружение пытались сделать грузинское государство культурной и экономической силой Малой Азии и Ближнего Востока и многого достигли на этом поприще. Когда дрогнули основы мировой христианской цивилизации и погребли величие Византийской империи, государство Тамар пыталось претендовать на гегемонию в православном мире и наведение порядков в мусульманском. И тут дела пошли бы успешно, если бы не нашествие монголов, принесшее нашей истории величайшие потрясения. И, как вам известно, не только нашей. Впоследствии, уже в новые века, Ираклий Второй хотел совершить операцию, географически обратную той, какую совершил в свое время Вахтанг Горгасали, – с опорой на севере, меч повернут на юг, но к этому времени мы были так обессилены, что сами нуждались в покровительстве. И нашли его в союзе с Россией. Грузины пришли к покровительству… – Ровно звучащий до этого голос Каридзе чуть зазвенел. Помолчав, он продолжал: – Я говорю об этом для того, чтобы не была предана забвению мудрость напряженных и неустанных поисков наших предков, чтобы их исторический подвиг был оценен по заслугам…

Да, пятьсот лет под пятой восточных завоевателей; тот, кто широко образован и достаточно объективен, может найти для сравнения только один пример – американских индейцев. Другие параллели мне не припоминаются. Конечно, физическое сохранение нации и ее культуры тоже может быть смыслом жизни страны, ее назначением. Но назначением узко национальным, недостаточным для жизнедеятельности сильного государства. Грузинское государство, увы, перестало существовать. Наш народ потерял активное чувство собственной ответственности за радости и горести своей страны, а бесчисленные поражения и опустошения отняли у нашего гражданина уверенность в себе и чувство непобедимости. И наша нравственность сделала первые шаги к упадку. Узко-национальный смысл жизни и

незначительность международных функций не могли не дать своих опустошительных результатов. Жизнь сводилась теперь лишь к тому, чтобы продлить свое существование, что не могло не деформировать нравственные устои общества, не усилить эгоизма, не внести низменности и мелочности, чего не было в этических нормах сильного государства.

И все-таки, несмотря на это, можно сказать, что честь и совесть грузинского народа до девятнадцатого века оставались незапятнанными. Хотя и во имя узко-национальных интересов, но все же наш народ еще оставался сплоченным, способным к единству и самопожертвованию. Но пятьсот лет ожесточенного сопротивления, как я уже сказал, принесли ему физический разгром и духовное изнеможение. У нас не было другого выбора, кроме того, который мы сделали, обратившись под защиту единоверного государства.

Древнее наше стремление к культурным связям с Западом осуществилось в новой форме: мы стали частью крупнейшего государства Европы! Присоединение к России решило многие острые проблемы нашей жизни. Нас освободили от войн, от набегов горцев, от страха истребления, от тысячелетней династии Багратидов и даже от налогов… Эта передышка была нам необходима. Но она несла свою закономерность: грузин, привыкший за свою историю к ответственности перед человечеством и перед своей страной, остался без смысла жизни… От него теперь ничего не требовали, абсолютно ничего! И наш народ стал похож на пущенное в луга стадо, у которого есть только одно дело – щипать траву! Сто лет мы пасемся… Наша единственная цель – есть, пить и растить детей. Конечно, эта цель свела на нет основы старой традиционной нравственности… Но если и по сей день можно встретить людей, которые сберегли любовь к свободе и любовь к родине, то это потому только, что нравственность – самая стойкая духовная категория, свойственная человеку…

Вот, госпожа Нано, как произошло то, что мы все потеряли. А что представляем мы сейчас – я отвечу вам, но прошу меня простить за грубость моей правды. Мы – разрозненный, лишенный единства народ, занятый стяжательством, мы – бывшая нация! Добавить мне осталось только одно. Известно, что ни один поработитель не освобождал из ярма добровольно, из каких-то гуманных соображений. И мы не будем просить царя Николая Второго, чтобы он совершил этот небывалый акт… Я кончил, Элизбар!

– Как же так! – воскликнул Шалитури. – Выходит, пока на Кавказе не возникнет эта самая твоя миссия, для грузин государство – ни-ни!

– Ни-ни! – подтвердил Каридзе.

Шалитури расхохотался.

– Ты выдумал все это, мой Сандро, – сказал Гоги, – чтобы оправдать свое равнодушие к судьбам родины.

– Гоги, ты не прав, – вмешался я. – Человек плачет, чуть услышит грузинские напевы, а ты обвиняешь его в равнодушии.

Гоги не ответил, только махнул рукой.

– Знаешь, почему он плачет? – спросил меня Каричашвили.

– Ну, почему, объясни, – сказал Каридзе.

– А потому, Сандро, что тысячу лет назад ты был достойным человеком, а сегодня – ты червь.

– Святая правда, Элизбар! Я и не спорю, – серьезно сказал Каридзе. – А разве по этому поводу не стоит плакать?

– Если то, что вы сказали, святая правда, – вмешалась Нано, – тогда нам всем, вместе со всем народом, надо не только плакать, но и убираться в мир иной. – Нано взяла в руки чашу. – Я хочу досказать вам историю, – начала она, – которую не успела закончить в конторе Ираклия. Тогда я набрела на нее случайно, к слову пришлось, и вспомнила, как в Абхазии на нас с мужем напали разбойники… Ираклий и Арзнев Мускиа! – Она повернулась к нам. – Не сердитесь на меня, но то, что вы слышали, я расскажу в двух словах.

Она сначала повторила то, что мы знали. Но, странное дело, ее слушали затаив дыхание не только новые друзья, но и я, и Арзнев Мускиа. Нано обращалась чаще всего к Шалитури, видно, для того, чтобы окончательно вернуть его нашему веселящемуся царству. И действительно, Шалитури начал понемногу оживать и даже развеселился. А Нано рассказывала свою историю совсем по-другому, стараясь сосредоточиться на курьезных сторонах, на

нелепостях и несуразностях.

– Можете себе представить, что всю эту операцию, – сказала она, – удалось осуществить четырем разбойникам. Сам Сарчимелиа со своим помощником ловил людей на дороге, заводил в лес, грабил и складывал вещи в мешки. Другой разбойник караулил нас, чтобы мы не подняли бунта. От холма, что был за нашей спиной, время от времени несся такой отчаянный свист, будто главные силы разбойников залегли именно там. А оказалось, что там под деревом сидел только один разбойник, следил за дорогой, сторожил награбленное добро и время от времени поднимал свист, чтобы нагнать на нас страху, что ему отлично удавалось.

– Постой, – смеясь перебил ее Элизбар Карачашвили, – что же вы, так и сидели, в чем мать родила, и мужчины и женщины вместе?

– Нет, – ответила Нано, – у бандитов оказалось больше такта, чем у тебя. Между нами было расстояние шага в два, и было хорошо слышно, что мы говорили. Одним словом, сидим и ждем, когда вернется Сарчимелиа. Все шепчутся друг с другом, каждый о своем. Какая-то полураздетая старуха посмотрела на голубое небо и сказала: «Ой, что с нами будет, если пойдет дождь…» Один приземистый человек был увлечен предположениями насчет того, кто на этот раз попадет в сети Сарчимелиа, и очень хотел, чтобы попал его знакомый, не помню кто по имени – то ли Бабухадиа, то ли Митагвариа, – он заранее ликовал, потирал руки от удовольствия и помирал со смеху. Разговор больше всего вертелся вокруг того, кто что потерял… Пострадавшие называли стоимость отнятых вещей и количество денег, как будто хвастались друг перед другом размером потерь. Только один безусый юноша признался, что у него нечего отнять, и он сам не знает, почему сидит здесь, с нами. Он был слугой богатого турка, Сарчимелиа захватил его вместе с хозяином и не отпускал. Прошло уже немало времени, и можно было даже шутить по поводу того, что с нами произошло. Но, откровенно говоря, мне было не до шуток. Временами на меня нападало отчаяние, когда я представляла со всей отчетливостью, что будет, если Сарчимелна выполнит свою угрозу и уведет меня в залог до выкупа. Да и другим было несладко. Одну девочку лет пятнадцати Сарчимелиа захватил с дороги вместе с пожилым мужчиной. Девочка на коленях, рыдая, умоляла ее отпустить – у нее умирает мать и она везет из Очамчиру врача, чтобы ее спасти. Какая-то женщина рвала на себе волосы, причитая, что она вдова, всю жизнь копила деньги на приданое дочери, собрала двести рублей, а эти негодяи отняли… Всего не расскажешь. Помочь не мог никто, на душе было противно… Вдруг до меня долетел мужской голос.

– Простите, пожалуйста, – говорил кто-то по-русски, обращаясь к моему мужу. – Госпожа, ограбленная вместе с вами, это ваша жена?

Я обернулась и поняла, что это говорит человек с ампутированной ниже колена ногой. Мой муж Ширер ответил не сразу и очень сухо:

– Да, сударь, госпожа, ограбленная вместе со мной, это моя жена.

– Я хочу вам дать совет. Грабители, конечно, злодеи порядочные, но в женщин стрелять не будут. Это мне известно, можете поверить на слово, сейчас не время объяснять. Шепните вашей жене, чтобы она уговорила женщин… Пусть они начнут кричать во все горло, пусть не умолкают, даже если грабители будут им угрожать.

– Что это даст, сударь?

– Ну, в худшем случае приблизит конец этой мерзкой процедуры… Передайте жене на вашем языке, а то часовой подслушивает.

Ширер, видно, обдумал эти слова и не торопясь сказал:

– Это ни к чему. Сидите спокойно, сударь.

Но я и сама все слышала и догадалась, что незнакомец на это и рассчитывал. Мне его идея показалась стоящей, только я не знала, как ее осуществить. В конце концов решилась. Когда охраняющий нас бандит отошел подальше, я начала шептать:

– Женщины, не сидите молча. Давайте вместе выть, вопить, кричать. Мы женщины, они нас не тронут, не бойтесь. Кто-нибудь услышит на дороге и поможет. Давайте кричать. Плохого не будет!

Некоторые из женщин знали грузинский язык и поняли, что я шептала. Другие не поняли ничего, стали спрашивать – что, мол, она говорит? Через несколько минут уже все знали о моих словах, но стояла тишина и никто не двинулся мне навстречу. Я спросила сидевшую рядом

женщину:

– Что ты об этом думаешь?

– А если будут стрелять?

– Не будут, не будут!

– Они отняли у меня всего семь рублей, и из-за семи рублей я должна умирать?!

– А у меня, проклятые, взяли девяносто рублей, но я не оставлю своих детей сиротами даже из-за них!

– Пусть другие закричат, тогда закричу и я.

– Если все закричат, тогда – да!

Так они поговорили и замолчали. И я вдруг решила, что должна подать пример. Если начну я, то другие меня поддержат. Я стала негромко причитать. Но никто не присоединился ко мне. Тогда я крикнула громко, но опять оставалась в полном одиночестве. После этого я начала вопить изо всех сил. Но достигла только того, что все женщины перепугались, как бы им не влетело из-за этой глупой барыньки. А я тем временем так вошла в роль, что не так просто было меня утихомирить. Наш часовой сначала был ошеломлен моим криком и смотрел на меня с изумлением. Потом подошел вплотную, продолжал меня разглядывать. А затем, не долго раздумывая, отвесил мне здоровую оплеуху. Я не ожидала такого хамства и от неожиданности замолчала, ошалело глядя на него. А он, воспользовавшись неожиданной тишиной, сказал, хладнокровно улыбаясь:

– Хотел бы я знать, чего ты орешь?! Если ты думаешь, что они поддержат твой крик, то ошибаешься, они привыкли молчать и покоряться. Э-э-эх, берешься не за свое дело, не понимаешь ничего… Мы знаем свое, видишь, у нас все идет ладно и справно, а кто не знает, пусть сидит и молчит, пусть не лезет.

Повернулся и ушел. Ширер громко расхохотался. Я не обиделась, по мне было неловко. И стыдно. Так стыдно… Я даже покраснела. Успокоившись немного, я посмотрела в сторону мужчин, на лице их было написано насмешливое превосходство. Мне снова стало не по себе. Только безногий человек не улыбался и сидел, покручивая усы, о чем-то думая. Чтобы утешить себя, я решила, что он сочувствует мне. А Сарчимелиа, видно, никак не мог дождаться на дороге новой жертвы. Время шло, а его все не было. Наконец он появился, ведя впереди себя двух мужчин и трех женщин – целая толпа. Он начал их ловко обдирать и так погрузился в это дело, что не заметил появления двух человек. Это было странное зрелище. Один шел впереди и был, представьте себе, до пояса голый, а ноги его были продеты в рукава рубахи, подол которой, поднятый до пояса, он придерживал рукой. Видно, другого выхода у него не было, потому что за ним двигался элегантно одетый человек с револьвером, нацеленным ему в спину. На человеке нацеплено было много различного оружия, в том числе и того, что недавно принадлежало его пленнику, облаченному в столь диковинную одежду. Они направились прямо к Сарчимелиа и награбленному им добру. Появление этих двух людей было столь неожиданно и причудливо, что потрясло всех. Наш часовой буквально остолбенел, решив, возможно, что видит все это во сне. Когда вооруженный человек поравнялся с ограбленными мужчинами, кто-то из них крикнул:

– О-о-о-ох! Дата Туташхиа!

– Что случилось, Дзуку? – беспомощно пробормотал наш часовой, обращаясь к полуголому пленнику. Но пленник не отвечал, ухватившись за подол рубахи и покорно шагая вперед. Тогда часовой перевел взгляд на человека, которого назвали Датой Туташхиа, тупо следя за его движениями. Сарчимелиа и его помощник тоже застыли. А тем временем безногий человек, выбрав момент, лег на живот, с молниеносной быстротой, рывком, подполз к часовому, схватил огромный булыжник и, вскочив на одну ногу, ударил часового камнем по голове. Сарчимелиа собрался было бежать на помощь своему товарищу, но вооруженный гость навел на него револьвер, и он тут же осел. Сбитый с ног часовой получил еще один удар по голове, на этот раз прикладом собственного ружья. Потом безногий лег на землю, используя тело часового как заслон и опору для ружья, и прицелился в Сарчимелиа. Все замерли, кто-то крикнул:

– Ой! Тот в рубахе вместо штанов… Это бандит, что сидел на пригорке и свистел!

Дата Туташхиа сделал несколько шагов и поравнялся с Сарчимелиа. Я не знаю

мегрельского языка и понимала не все. Но потом мне перевели все слово в слово. Так, по порядку, я и расскажу…

– Сарчимелиа, – негромко сказал Туташхиа. – И ты… Не знаю, как тебя величают, – он показал на второго разбойника. – Ну-ка сложите оружие, вот сюда!

Он показал, куда… Разбойники не двинулись с места. Сарчимелиа, конечно, знал, что на него наведено дуло безногого, револьвер Туташхиа упирался чуть ли не в зубы другому, а третий держался за свою рубашку. Сопротивляться нелегко, ничего не скажешь, но и сдаваться им тоже ох как не хотелось. Безногий в эту секунду выстрелил. Пуля просвистела между разбойниками и потонула в листве.

– Руки вверх! – закричал Туташхиа.

Один из бандитов с готовностью выполнил приказание, Сарчимелиа медлил, но потихоньку тоже поднял руки.

Тогда Туташхиа повернулся к мужчинам:

– Пожалуйста, кто-нибудь подойдите сюда!

Ширер оказался проворнее всех и, не ожидая указаний, отобрал у грабителей оружие, сложив его в кучу. При этом он их тщательно обыскал и все, что нашел, тоже отобрал. После этого ударил изо всей силы по голове Сарчимелиа, затем его товарища и, оглушенных, свалил их на землю. А безногий поскакал к мешкам с награбленным, нашел там свой протез и быстро надел его. Потом он вывернул из груды вещей мою амазонку и поднес мне:

– Сударыня, я так виноват перед вами, из-за меня этот мерзавец ударил и оскорбил вас.

…Нано передохнула.

– Вот в каких условиях я познакомилась с Гоги. Тогда мы не знали имен друг друга. А встретились только сегодня, – под общий хохот досказала она.

Гоги обошел весь стол и, церемонно поклонившись, поцеловал руку Нано. Все стали перебивать друг друга, но Нано заговорила снова:

– Об остальном я постараюсь поведать вам короче, чтобы вы все же знали, как закончились наши приключения… Туташхиа подозвал к себе ограбленных и велел им разобрать свои вещи. Когда разбойники увидели толпу людей, направившихся в их сторону, они бросились наутек. Не знаю, чего больше они испугались – разъяренных мужчин или разъяренных женщин. Во всяком случае, было совершенно ясно, что они не хотят попасться в руки ни к тем, ни к другим. Сарчимелиа бежал проворнее всех, но, когда деревья закрыли его от нас, мы услышали его голос:

– Дата Туташхиа! Понимаешь ли ты, кого берешь под свою защиту? Запомни мои слова: когда придет время умирать, ты умрешь от их руки!

А Ширер разыскал свою золотую табакерку, всю усыпанную драгоценными камнями, и протянул Туташхиа – возьмите, мол, на память о нашем избавлении. Туташхиа поблагодарил, но табакерку взять не захотел. Тогда я стала его упрашивать, уламывать, но он был непреклонен. Так и не взял. Уехать сразу мы не смогли, пришлось сдерживать пострадавших, желающих поживиться чужим добром. А потом сели на наших лошадей и поскакали…

Так Нано закончила свой рассказ.

– Извините, что получилось так длинно, – сказала она. – Но я надеюсь на то, что история эта не наскучила вам… А теперь я хочу поднять тост, и не один, а сразу два… Гоги и Туташхиа бросились нам на помощь во имя добра и человечности. Они двигали их поступками, когда мы, ограбленные и униженные, сидели в лесу. Добро явилось нам в образе этих двух людей. Я пью за реальное добро, которое раскрывает себя в реальном деле таких вот реальных людей!

Должен сказать, что Нано была очаровательна, и все мы были в восторге и от нее и от ее рассказа. Мы зааплодировали ей так громко, что все сидящие в зале повернулись в нашу сторону. Нано поднесла свою чашу к губам, но отпила лишь половину.

– Лаз, – сказала она, – мне нужна вторая чаша. Элизбар сказал, что мы будем пить двумя чашами… Вахтанг, долейте мне, – Нано протянула Шалитури недопитую чашу. – А кроме того, мой рассказ рассчитан на две чаши.

– Скажите, пожалуйста, госпожа Нано. – почтительно негромко, скрывая неловкость, обратился к ней Шалитури. – Тот человек, который вел разбойника в рубахе… Как его фамилия? Вы сказали…

– Туташхиа.

– Откуда он взялся?

– Он услышал мой крик и пришел на мой голос.

– Совсем как сказочный принц? Не так ли? – Шалитури покачал головой. – Это не тот ли Туташхиа…. Разбойник?

– Абраг, – ответила Нано.

Элизбар снова начал нас утихомиривать:

– Не мешайте Нано говорить!

Она продолжала:

– Здесь не место выяснять, как сложилась, откуда пошла легенда о святом Георгии. Никто не станет спорить, что этот культ идет еще с дохристианских времен и укоренился с такой неколебимостью, что мы, грузины, празднуем день святого Георгия триста шестьдесят пять раз в году… Спаси попавшего в беду, спаси его любой ценой, даже ценой твоей жизни… Таков смысл легенды. Знаете, я никогда не любила странствовать по святым местам. Единственный раз, в детстве, попала в Атоци на праздник святого Георгия. И больше не была нигде. Но сегодня, если говорить словами поэта, «я храм нашел в песках. Средь тьмы лампада вечная мерцала…»[18]. Прекрасный храм, исполненный чудес, украшением которого является человек, а не икона. Обещаю господу богу приходить сюда как можно чаще, чтобы принести благоговейную молитву живому – на все триста шестьдесят пять дней – святому Георгию! У меня есть старинная икона, а на ней надпись приблизительно такая: святой Георгий! Непобедимый воин за справедливость, великомученик во имя народа, будь заступником перед небом, укрой всемогущей силой твоей недостойную слугу свою Нано Тавкелишвили!.. Вот слова моей молитвы!… Итак, за здоровье Гоги, господа, нашего хозяина, истинного сына своей отчизны, рыцаря и выразителя нашей застольной государственности… И моего спасителя!

Мы кричали во весь голос, приветствуя Нано. Но она подняла руку, показывая, что еще не кончила.

– Видите, – сказала она, – тосты вытекают из моего рассказа. Поэтому я хочу вторую чашу поднять за отважного Дату Туташхиа. Это отчаянно смелый, благородный человек, но я понимаю, что смелому человеку часто бывает тяжелее, чем трусливому. Пусть поможет ему бог и в беде, и в радости. И раз мы ударились в молитвы, я хочу дать еще один обет. Если когда-нибудь случится так, что я окажусь нужна двум прекрасным людям, переполнившим наши чаши, я буду счастлива протянуть им руку… Всегда и везде… Не потому, что хочу заплатить добром за добро. А потому, что оба они заслуживают того чтобы мы служили им… – Нано встала из-за стола и обратилась ко всем сидящим: – И еще я пью за всех вас и благодарю за чудесный вечер… И прошу простить, что покидаю вас. Видит бог, я не хотела бы уходить, но оставаться дольше не имею права. Всех, кто сидит за этим столом, я приглашаю в гости через три дня, двадцать шестого, в восемь часов вечера. Покорнейше вас прошу… Ираклий, поручаю тебе привести гостей. Кроме вас будет человека два или три, не больше…

Арзнев Мускиа и я тоже поднялись со своего места.

Неожиданный наш уход, как это бывает всегда, вызвал небольшую суматоху – все кричали, просили не уходить, взывали к нашей совести и чести. Но Нано настояла на своем. Правда, напоследок нас с лазом заставили осушить еще две огромные чаши, что мы и выполнили с успехом. Все хотели идти нас провожать, но Нано запретила всем, кроме Гоги.

– Лаз, откуда ты знаешь Элизбара? – спросила Нано, когда мы вышли из зала.

– Вот Гоги познакомил, хороший человек Элизбар, мне он нравится очень.

– А кто познакомил тебя с Гоги?

– Это старая история…. Расскажу когда-нибудь, – уклонился от ответа лаз.

У выхода торчал Арчил.

– Вы накормили кучера барыни? – спросил его Гоги.

– И накормил, и напоил. Еле на козлах держится.

– А где Ерванд?

---

[18] Н. Бараташвили. Нашел я храм (перевод Б. Пастернака).

– Вынес стул во двор, сидит и спит. Не спит, конечно, а только делает вид, свесил голову, как старая лошадь.

– Почему? – удивился я.

– Три дня назад, когда он заснул, сидя во дворе, у него вытащили из кармана шесть рублей. С тех пор он каждый вечер притворяется спящим, ждет, что жулик снова придет… Как бы не так, жди, очень нужно ему приходить.

– Придет, можешь не сомневаться, – послышался с улицы голос Ерванда.

– Нужен ты ему больно… Иди сюда, гости уезжают!

Появился Ерванд, стал водить щеткой по нашим костюмам, приговаривая при этом:

– Не дают человеку поспать… Конечно, он не сумасшедший, если я не сплю, зачем ему приходить!

– В-а-а! – возмутился Арчил. – А если ты снова заснешь? А он опять все вытащит и опять уйдет! Ну, не индюк ли ты… И как для индюка такого на белом свете кусок хлеба находится, диву даешься!

Они проводили нас до экипажа, продолжая спорить и убеждать друг друга – придет или не придет жулик. А пока Гоги помогал Нано сесть, я, выбрав минуту, когда он не видел, положил Ерванду в карман деньги, чтобы он расплатился за нас в ресторане.

Мы тронулись в путь.

– Ты позвала нас на двадцать шестое? – спросил я Нано.

– Да.

– А то двадцать седьмого я занят, жду клиентов.

– Кого?

– Долабашвили, два брата. Интересное дело!

В ночной тишине приятно цокали копыта наших лошадей.

– Почему вы заспешили, госпожа Нано? – спросил Арзнев Мускиа. – Скучно стало?

– С тобой… И с Ираклием мне никогда не будет скучно! – ответила Нано.

Мы долго молчали.

– Лаз, я знаю, кто ты, – тихо проговорила Нано.

– Эх! Царица наша, я сам не знаю, кто я, – послышался его голос. – И вы, я думаю, тоже!

Ночь была лунная, светлая. Ветер трепал тополиные листья.

В ту ночь в душу мою в первый раз вселились сомнения.

Розовая тетрадь

Сначала, в первые дни нашей дружбы, каждую встречу с Нано и лазом я принимал восторженно, но проносились они обрывками, и каждый из них в сознании моем не соприкасался с другим, хотя и приносил возвышенную радость уму моему и сердцу.

Но в один прекрасный день мир в душе моей замутился и все разрозненные и клочковатые впечатления нанизались друг на друга, сплелись в цельную картину, в некое единство, состоящее из тысячи тайн.

И они навалились на меня, взывали к ответу, будоражили душу, не давали успокоения. Это острое прозрение охватило меня вчера ночью в номере Арзнева Мускиа, после того как я задремал там, сморенный усталостью. Да и визиты к Нано наставляли терзаться, мучиться и гадать. Все лепилось в одни ком, который надо было распутать и понять. И самое главное – кто такой Арзнев Мускиа и чего он ищет на земле? И госпожа Тавкелишвили-Ширер – что связывало их прежде и что связывает нынче? И почему я сам так завяз в их отношениях? Кем стал я для каждого из них и для них обоих вместе?

Пройдет не так уж много времени, и для меня все станет по своим местам, все загадки, все ребусы будут разгаданы. Но это потом… А пока… Вы можете сами понять, как терзали меня сомнения.

А между тем мы прошли еще один рубеж в наших отношениях. Нам наскучило вдруг бывать на людях, в шумном обществе и, кроме Элизбара Каричашвили и Гоги, никого не хотелось больше видеть. Эти двое могли заменить нам всех, им хватало на это душевного богатства.

Мы поняли это после ночной встречи в казино. Там мы решили, что сегодняшний день проведем в моем доме, Арзнев Мускиа приготовит эларджи, а Элизбар – люля-кебаб. Утром из гостиницы Арзнева я забежал в свою контору, провел там часа два и отправился домой. Гости пришли в назначенный час, сначала Элизбар, Гоги и лаз, а чуть попозже приехала Нано. Гоги с Нано остались в гостиной и громко хохотали, вспоминая подробности вчерашней игры. Лакей во дворе разводил мангал, а лаз и Элизбар орудовали на кухне. Я пытался им помочь, но они гнали меня и кричали, чтобы я убирался восвояси. Я не сдавался, и в конце концов Элизбар уступил мне топорик для рубки мяса, помянув при этом осла, на которого надели золотое седло, а он все равно остался ослом. Я подвязался полотенцем и с азартом погрузился в работу.

Но тут зазвенел звонок. Я, конечно, не мог открыть дверь и встретить посетителя в таком виде, с руками, перемазанными мясным фаршем. Наверно, какой-нибудь запоздалый клиент, подумал я, и крикнул Нано, чтобы она объяснила, что я занят, принять не могу, пускай завтра приходит в контору.

Нано направилась в прихожую, но скоро вернулась на кухню и сказала с недоумением:

– Он не уходит, говорит, что не клиент, а гость.

– Какой гость? Откуда? Как его фамилия?

– Не сказал… Такой высокий, худой, лет, верно, пятьдесят, пятьдесят пять. Русский, кажется, хотя на русского не очень похож.

– Где он?

– Я ввела его в приемную, не оставлять же на улице… Сидит и ждет.

– Прими его, – сказал Элизбар. – Мясо уже готово, управимся без тебя.

– Придется, хотя я никому не назначал.

Я привел себя в порядок и направился через гостиную в приемную. Но сидевший в гостиной Гоги начал делать мне знаки, а когда я подошел вплотную, он, кивнув в сторону приемной, зашептал мне в ухо:

– Ты знаешь его так близко, что он приходит в твой дом без приглашения?

Вид у Гоги был озадаченный и смущенный.

– Кого? – Я не мог понять, что он говорит.

Гоги зашептал еще тише:

– Но там… Я не ошибаюсь… Генерал… Граф Сегеди… Шеф жандармов Кавказа…

– Но я не знаком с ним… Видел, конечно, когда… Но так… Никогда…

Гоги схватил меня за руку и приложил палец к губам:

– На кухне у тебя есть выход?

– Есть. На балкон, а оттуда по лестнице во двор. Что ты задумал?

– Потом… Потом… Ты займи его… Не вводи сразу… А лучше бы спровадить…

Гоги повернулся и пошел на кухню.

– В чем дело? – спросил я, обращаясь к Нано.

– Сейчас не время, – зашептала Нано. А потом отчетливо, чтобы было слышно в приемной: – Сюда, Ираклий! Гость ждет тебя в приемной.

Я призвал на помощь весь свой адвокатский опыт, чтобы овладеть собой и придать лицу независимое выражение. Улыбаясь, я переступил порог. Нано шла следом за мной.

Гоги не ошибся. С кресла и в самом деле поднялся шеф жандармов и назвал свое имя.

Одет он был по-европейски. Внушительного роста, с подтянутостью худощавого человека. Глубоко посаженные глаза поблескивали умом, а улыбка была не лишена приятности и благорасположения. На всем облике – печать аристократизма, а бледная тонкая кожа говорила о жизни, которая текла в кабинетной тиши.

– Очень рад, ваше сиятельство, – сказал я как можно оживленнее. – Вы даже не можете себе представить, как удачно вы избрали время для своего визита!.. – Я обернулся Нано: – Вот познакомьтесь – госпожа Нано Парнаозовна Тавкелишвили-Ширер… В соседней комнате сейчас будет накрыт сказочный стол, и я смогу через считанные минуты познакомить вас со своими прекрасными друзьями, чтобы ознаменовать ваше посещение лукулловым пиром! Разрешите, ваше сиятельство, вам помочь…

И я дотронулся рукой до его пальто в твердой надежде, что он отведет мою руку, откажется и уйдет.

Но не тут-то было.

– Не беспокойтесь, князь, – услышал я в ответ, при этом он сбросил пальто и добавил улыбаясь: – Я только потомок венгерского графа, а в Венгрии, да будет вам известно, на пять человек по одному графу, такова статистика.

– Но в Грузии на двух человек по одному князю, так что мы обскакали вас, граф!

Я пытался скрыть смущение, шеф жандармов, оказывается, вовсе не думал уходить.

– Князь, – заговорил он снова. – Я пришел просить как раз о том, что вы сами только что предложили.

– О чем просить? – Я ничего не понимал.

– Просить, чтобы вы разрешили мне посидеть за вашим дружеским столом. Не спорю, это странная просьба для незнакомого человека. Но, честное слово, я не буду вам в тягость, а быть может, даже сумею позабавить и развлечь.

Мне показалось, что граф Сегеди даже чуть-чуть волнуется, стараясь быть непринужденным и простым. Но все-таки, согласитесь сами, это вторжение в мой дом – невероятная наглость! Что мог я ответить ему?

– Конечно… О чем говорить, – сказал я, ощущая фальшь, которая вязла в моих словах.

Я провел его в гостиную, и он все с той же улыбкой, исполненной внимательного расположения, опустился в одно из кресел.

– Я слышала, что вы прекрасный пианист, – обратилась к нему Нано. Видно, готовилась завести с ним длинный разговор, чтобы задержать подольше на этой половине, как того хотел Гоги.

Но граф Сегеди почуял, верно, ненатуральность нашего поведения.

– Вы, сударыня, волнуетесь так же, как и я, – сказал он. – Я уверен, что и ваши друзья взвинчены не меньше вас. И совершенно напрасно. Меня привела сюда мирная цель, мирная, но не простая. И я не смогу ее осуществить, пока в доме этом не воцарится покой и доверие. И вас как женщину я прошу помочь… Ведь вы одна среди стольких. Начните вы, постарайтесь вести себя со мной как со старым знакомым, это снимет тяжесть с вас, с меня и поможет остальным найти верный тон. – Он засмеялся и добавил: – Вы скоро сами убедитесь в доброте моих помыслов.

Нано молчала, не зная, что сказать, а я извинился, пробормотал, что должен наведаться на кухню, и оставил их вдвоем.

Я зашел в свою спальню и подошел к окну. Хотел собраться с мыслями, но мысли прыгали, не зацепляясь друг за друга. Нет, я не понимал, что случилось, но понимал, что может случиться что-то очень страшное, опасное для моей жизни. Я выглянул в окно: перед подъездом, рядом с экипажем Нано, стоял еще один экипаж, и в нем сидел незнакомый мужчина в котелке, нахлобученном на лоб. «Человек Сегеди», – подумал я. А так на улице было пустынно.

Я отправился на кухню. Арзнев Мускиа как ни в чем не бывало колдовал над кипящим котлом, а Гоги и Элизбар насупленно и сосредоточенно молчали. Мне показалось, что мое появление застало их врасплох, в их молчании была какая-то неловкость.

– Как вы объясните все это? – спросил я.

– Сами ломаем голову, – ответил Гоги.

– А он что говорил? – подал голос Элизбар.

Я передал им то, что услышал от графа Сегеди.

– Ну, и что тут такого? – воскликнул Арзнев Мускиа. – Прослышал, верно, про мой эларджи и пришел отведать… Ясно как день божий… Не думаю, чтоб твой люля-кебаб смог его завлечь! – Лаз повернулся к Элизбару Каричашвили.

– Да, это эларджи притянуло его, – согласился Гоги.

Мне стало грустно, потому что я понял: все, что нужно было сказать, они сказали без меня. И я закипел от негодования.

– Если того, что вы говорили, – воскликнул я, – вы не хотите повторить при мне, то поделитесь со мной хотя бы выводами, к которым вы пришли!

– Мы не пришли ни к каким выводам, – сказал Арзнев Мускиа.

– Но ведь Гоги ради чего-то спросил меня, есть ли в доме еще один выход?

– Ради человека, которому мы обязаны этим визитом, – ответил лаз.

– Ну! Что мы, заговорщики, что ли? – воскликнул я. – Ведь это каким надо быть преступником, чтобы сам шеф жандармов являлся за ним на дом!

Скажу откровенно, я очень волновался и пытался шуткой прикрыть свой испуг, уговорить себя и их, что нам нечего бояться.

Но они не приняли моей шутки, не тронулись мне навстречу. Арзнев Мускиа по-прежнему стоял над котлом, Гоги смотрел в пол, а Элизбар насаживал на вертел мясо, но руки его, я заметил, дрожали. Может быть, они и хотели мне что-то сказать, но никто не решался начать, каждый уступал место другому. Молчание тянулось не так уж долго, но мне на душу оно легло бесконечной изматывающей тяжестью и пробудило малодушие, испуг, предчувствие неминуемой катастрофы. Сейчас я могу назвать все своими именами – и знаю, что то была мгновенная вспышка панического страха, страха за свое благополучие. Будто кто-то швырнул сейчас об пол мою безоблачную жизнь и она вот-вот разлетится на мелкие куски. Не уверен, могла ли сила воли обуздать тот ядовитый клубок чувств…

Все кричало во мне… Да, да, вы вместе совершили что-то страшное, втянули меня в роковую бездну. Но я не хочу… Я не знаю… Я не с вами… Я не хочу страха и риска. Я не борюсь с царским строем, я вижу в нем не одно зло, вижу и добро! Я не хочу… Уходите сами и уведите эту отвратительную змею, которая из-за вас вползла в мой дом, в мою жизнь, в мою душу, в мое будущее… Кто этот человек?

– Наверно, я тот человек, Ираклий! – раздался в этот момент голос лаза.

– Ты? Какой человек? – спросил я, но мне показалось, что это сказал не я, а кто-то другой.

– Тот человек, из-за которого пришел граф Сегеди.

Знаете, меня не смутили его слова, как будто я заранее знал все, что он может сказать, будто держал их в памяти после первой встречи, семь дней тому назад. И эти несколько мгновений принесли мне опыт долгих лет жизни. В эту секунду я понял, что человек, стоящий передо мной, – прекрасен, что он не может совершить преступления против людей и мира, и, значит, он ни в чем не виноват передо мной, и Нано, Гоги, Элизбар – тоже не виноваты, что справедливость – на его стороне, а мое место там, где справедливость. И я обрел спокойствие, чувства мои подчинились разуму, а разум требовал вмешательства, такого действия, которое при этом причудливом стечения обстоятельств было бы самым уместным.

– Арзнев, – сказал я, – ты должен поступить только так, как будет лучше для тебя. Не думай о нас, мы готовы на все.

Глаза Арзнева Мускиа блеснули благодарной теплотой, но он сказал с беспрекословной твердостью:

– Я должен поступить, брат Ираклий, так, как будет лучше для всех. Я здесь не один, и я никуда отсюда не уйду!.. Мы выйдем к графу вместе! – И, чувствуя мою неуверенность и колебания, добавил: – Да, так будет лучше! – Он подошел к умывальнику, вымыл руки и, поправив полы чохи, сказал:

– Веди нас, Ираклий! Ты – хозяин!

Мы молча двинулись в комнаты.

Когда мы вошли, Сегеди поднялся со своего места. Что было делать? Я представил ему каждого. Все, как заведено, – вежливые улыбки, легкие поклоны… Очень приятно… Очень приятно…

Я попросил всех присесть, пока не будет готов стол. Опускаясь в кресло, Сегеди не сводил глаз с Арзнева Мускиа, уставился так, будто встретил старого знакомца, с которым не виделся целую вечность.

Но лаз, словно не чувствуя этого взгляда, как ни в чем не бывало повернулся к Нано:

– Вы знаете, эларджи удалось на славу, очень вкусно, почти так, как я обещал вам.

А Сегеди, будто отвечая своим мыслям, сказал по-грузински:

– Такое сходство я встречал только у близнецов! – С этими словами он опустил голову, будто чрезвычайно заинтересовался замысловатыми узорами ковра, лежащего на полу.

– Вы так отлично говорите по-грузински, ну, замечательно! – Нано изо всех сил старалась поддержать светский разговор.

Граф и вправду говорил по-грузински довольно чисто, на специфическом, хорошо

заученном грузинском языке. Видно, практика была богатая. Единственный дефект – не получались гортанные звуки.

Забегая вперед, скажу, что мы незаметно перешли на русский язык, и весь вечер никто не говорил по-грузински, кроме лаза, который все время переходил с одного языка на другой.

– Какое сходство? С кем? – спросил я.

– Могу удовлетворить вашу любознательность, – ответил Сегеди с некоторым напряжением, даже как будто смущаясь от того, что должен открыть. – Я говорю о том, что Мушни Зарандиа так поразительно похож на Дату Туташхиа, батоно Ираклий… – Сегеди сделал эффектную паузу, дожидаясь, что будет со мной. Но я сидел не шелохнувшись, и он продолжал: – Похожи, как близнецы, а ведь они только кузены… И один из них – мой помощник, а другой – ваш друг и клиент – Арзнев Мускиа, а в действительности – Дата Туташхиа.

Честное слово, за последние полчаса чудеса сыпались на меня как из рога изобилия, и я, по-моему, уже потерял способность чему-нибудь изумляться. Во всяком случае, если бы на моих глазах кто-то из нас сейчас превратился в обезьяну или крокодила, даже это не вывело бы меня из той душевной застылости, того неподвижного оцепенения, в которое я был погружен.

Я оглядел своих гостей.

Арзнев Мускиа, только что превратившийся в Дату Туташхиа, хладнокровно перебирал янтарные четки. Он чуть улыбался, как будто вспоминал милые проделки детских лет. А Нано вся покрылась красными пятнами, на верхней губе выступили капельки пота, она прерывисто и тяжело дышала, откинувшись в кресле. Элизбар, почувствовав, что смертельно бледнеет, старательно растирал руками щеки. Кто был спокоен, так это Гоги, – умел держать себя в узде и, казалось, был поглощен одним лишь только созерцанием.

– Святая правда, – негромко сказал Туташхиа. Скажет слово – отбросит бусинку четок. – Мы как близнецы… Мой отец и мать Мушни, моя тетка, двойняшки… Мы так похожи, что, не подоспей к месту полицмейстер Паташидзе, вместо меня забрали бы его. Он работал тогда в акцизе.

Сегеди улыбнулся:

– Я слышал эту историю.

И опять эта гнетущая тишина.

Замороженность моя вдруг растаяла в этой накаленной атмосфере и сменилась бурным порывом раскаяния в том, что в моем доме случилась эта встреча, а я, хозяин, веду себя так, будто подстроил ее с начала и до конца и теперь с хладнокровием жду неизбежной развязки, развалясь к тому же еще в кресле.

– Я ваш гость, господа, – продолжал тем временем Сегеди, стараясь говорить как можно ровнее. – И что бы я ни сказал, и что бы я ни спросил, поверьте мне, не будет выходить за рамки обычной беседы.

Что мы могли сказать ему в ответ?

– И мне хочется задать вам один вопрос, – продолжал граф. – Господин Туташхиа, я уверен, что хотя бы один из ваших друзей убеждал вас бежать из этого дома… На кухне есть выход во двор. Почему же вы не воспользовались такой возможностью?

Дата Туташхиа молчал, перебирая четки.

– А вы сами что об этом думаете, ваше сиятельство? – спросил он.

– Я не знаю, что и думать… И был бы благодарен… Был бы рад услышать ваш ответ.

– Ну, что ж, извольте, – Туташхиа сосредоточенно подбирал слова. – Видите ли, я не имел права уйти. Для господина Ираклия Хурцидзе я клиент, а он мой адвокат, мы связаны с ним договором; для Элизбара Каричашвили я – лазский дворянин Арзнев Мускиа. Батони Гоги и госпожа Нано, правда, знают, кто я такой… Но, встречаясь друг с другом, в эти дни мы не совершали противозаконных дел, и вы не можете состряпать против них никаких обвинений. Их можно обвинить только в одном – в том, что они не донесли на меня. Но такое обвинение, как всякая ложь, будет шатким. Ведь, общаясь со мной, они не знали, кто я. А укрывательство подразумевает, что человек знает, кого он скрывает, знает, что готовится преступление, и не сообщает об этом полиции. Но если бы я на глазах у вас удрал из этого дома, то этим поступком втянул бы их в свою жизнь и обрек на визиты жандармов. Раз я сижу здесь, они чисты перед

законом, а я чист перед своей совестью и перед своими друзьями. Но это не все… Я живу в Тифлисе почти полтора месяца. И живу открыто, не прячась, не таясь. Не скажу, на второй день, но на двадцатый – узнали ведь жандармы о моем появлении? Что я здесь… Дата Туташхиа… Они могли арестовать меня, где бы вам ни заблагорассудилось, хотя бы вчерашней ночью в казино. Для этого не нужно ни особого усердия, ни таланта. А еще… Я не слышал никогда, чтобы шеф жандармов бегал по домам и самолично арестовывал людей. Почему же я должен считать, что вы, ваше сиятельство, явились сюда именно с подобной целью? А вас, допустим, привела сюда совсем другая цель… И если я не держу в тайне от жандармов того, что живу теперь в Тифлисе, почему я должен бояться встречи с вами? Скажите, почему? Ведь мы даже не знакомы и никогда не видели друг друга… Ну, а если я ошибся, и вы пришли лишь для того, чтобы накинуть мне петлю на шею и затянуть в эту петлю моих друзей, убив одним выстрелом двух зайцев, то все равно, чего добился бы я, убежав из дома? Разве я не понимаю, что мне еще надо будет ускользнуть от вооруженных людей… И значит, семь из десяти шансов – мои, а три все-таки ваши. – Туташхиа взглянул шефу жандармов прямо в глаза и добавил, улыбаясь: – Конечно, когда мне предложили уйти, а я не ушел, а остался, я не понимал всего так, как сейчас… Тогда сердце мне подсказывало – делай так, а не делай этак. А уж потом разум подсказал, что я поступил правильно.

– Пока что все десять шансов ваши, господин Туташхиа! Но я почему-то думал, что вы не так безрассудны.

– У меня такая профессия, ваше сиятельство, быть безрассудным. Тот, кто не считает, что риск – благородное дело, не годится для настоящего дела.

– А если сейчас нагрянет полиция? – спросил граф Сегеди.

– Я не уверен в этом почему-то, ваше сиятельство… Нет такого предчувствия, – без тени волнения ответил Туташхиа. – Иначе я не сидел бы напротив вас… Зачем говорить о том, чего нет. На нет и суда нет… А что я сделал бы – не знаю сам и потому не могу поделиться с вами.

В этот момент в дверях показался лакей и сделал знак, что стол накрыт.

Мы перешли в соседнюю комнату в полном молчании, не перекинувшись даже словом. Были слышны только наши шаги. Каричашвили немного оживился, усевшись за стол, подвигая блюда и угощая соседей. У меня был с давних времен припасен шустовский коньяк, и ради этого случая я вытащил его на стол. Разливая коньяк, я говорил какие-то фразы, которые ничего не значили, и мы выпили в честь нашей встречи, снова набросившись на еду. И так тянулось время, и нас томило собственное молчание и надежда, что заведешь речь не ты, а кто-нибудь другой.

Поднимая второй бокал, Элизбар промямлил, что эларджи и коньяк созданы друг для друга. Все дружно закивали в знак согласия, и граф вместе со всеми, но потом снова – тишина и только стук ножей и вилок. Невероятно громко пробили стенные часы. Нано, казалось, ждала только их сигнала и, улыбаясь, сказала Сегеди:

– Ваше сиятельство, вы только после третьего тоста раскроете нам тайну своего визита? Вы так загадали?

– Что вы? – Граф засмеялся от внезапности ее атаки. – После третьего у меня начнет заплетаться язык и голова может пойти кругом… Нет, лучше сейчас… Но не знаю, с чего начать, как одолеть крутой рубеж… Один щекотливый момент…

– А нельзя ли одолеть его вместе, – спросил Каричашвили, – дружными усилиями?

– Вместе мы горы можем свернуть, – добавила Нано.

Сегеди не отвечал, погрузившись в неведомые нам думы. И вдруг произнес решительно:

– А может, правда, еще по рюмке? И мы сдвинемся с мертвой точки.

Но когда я снова разлил коньяк, он лишь пригубил его и сказал:

– Я хотел поведать вам, господа, что наместник его величества на Кавказе получил право частной амнистии. Значит, он может помиловать непойманных преступников, неуловимых абрагов, скрывающихся от закона.

Надо ли говорить, что мы затаив дыхание слушали Сегеди.

– Указ его величества, – продолжал тем временем граф, – предусматривает, что прощенный за прошлые грехи преступник, получивший от наместника документ о помиловании, будет менее опасен для государства, когда он свободен, чем когда он гоним.

Опасен не более, чем любой мирный житель Российской империи. Так будет точнее… А право решать, на кого падет помилование, дано Кавказскому жандармскому управлению, а проще сказать, человеку, который стоит во главе его.

Граф не спеша, несколькими глотками опорожнил свою рюмку.

Мы молчали как завороженные. Слова его свалились нам как снег на голову, оглушили и потрясли. Когда же мы смогли что -то сообразить и поняли , что́ несли они нашему другу, а значит, каждому из нас, то настроение наше взыграло и подскочило вверх, как на ртутном столбике. Все вдруг оживились до невероятности, начали что-то переставлять на столе, орудовать ножом и вилкой, доставать портсигары из карманов… Но тишины никто не нарушил, мы понимали, что Сегеди сказал далеко не все и самое важное, быть может, еще впереди.

И действительно, снова послышался его негромкий голос:

– Вы понимаете, что от меня целиком зависит, представить или не представить к помилованию уголовного преступника Дату Туташхиа. Но я не имею права совершить ошибку. И выход у меня есть только один – самому понять, что за человек Дата Туташхиа и когда он опаснее для государства – с документом о помиловании или без него.

Я воспользовался паузой и поспешил вставить несколько слов.

– Дата Туташхиа, – сказал я, – не только мой новообретенный друг, но и, заметьте, клиент. Вероятно, путь для узнавания один – допросы, беседы… Имеет ли он право при этом пользоваться услугами адвоката? Я готов без промедления приступить к своим обязанностям!

– Это мало что даст, – ответил Сегеди. – Нет, нужно просто поговорить по душам, за дружеским столом, проверить старые наблюдения, подкрепить их новыми. И сравнить мои впечатления с вашими, ведь шеф жандармов не может знать того, что знают близкие друзья. – Повернувшись к Нано, он добавил: – Вот почему, госпожа Нано, я вторгся в этот дом как незванный гость!

Все было непостижимо странно в его словах, хотя, должен признаться, до меня и прежде доходили слухи, что и должность свою, и профессию граф Сегеди почитает призванием, дарованным ему провидением. Поэтому его намерения непросто было разгадать, у него могли быть свои подспудные мотивы, свои тайные цели.

– Простите, ваше сиятельство, что я все время перебиваю вас, – снова заговорил я. – Вы правы, конечно, раскованность, искренность и естественность должны стать главным условием нашей беседы, почвой под ногами, без них все будет колебаться, потеряет смысл, превратится в фальшивую, а может, и коварную игру.

– Я рад, что вы понимаете меня, – сказал граф Сегеди. – Но как, скажите сами, нам обрести доверие и натуральность неподдельных чувств?

– Это зависит прежде всего от вас, граф, – сказал я. – Вы должны открыть свои мотивы с такой широтой, которая захватит нас и поднимет в наших душах ответные чувства доброжелательности и согласия.

– Ну, а если еще яснее?

– Мне кажется… с самого начала… Вы должны убедить нас, что сегодняшний наш обед имеет для вас бо́льший интерес, чем обычный допрос после обычного ареста.

Сегеди некоторое время молча ел, а мои друзья с нетерпением ждали его ответа.

– Я не скрыл перед вами, – начал он, – что стою перед сложной задачей… И объяснил вам, почему я сюда пришел… Повторять, наверно, не надо. Теперь осталось доказать, что только сидя вот здесь, рядом с вами, я могу добиться того, чего хотел бы добиться, что все иные приемы и формы не принесут богатых плодов. Но я скован, вы должны понять сами, своим служебным положением, которое лишает меня возможности раскрыть перед вами сразу самый мой веский довод, привести его я смогу, бог даст, к концу нашей беседы… Поверьте, что на моем посту меня убеждают чаще, чем я убеждаю других.

Слушая его, я даже на минуту подумал, что веду себя негостеприимно, выспрашивая, зачем он пожаловал ко мне. Может быть, надо попросить прощения… Но Сегеди опередил меня и заговорил снова:

– Итак, частная амнистия и Дата Туташхиа… С тех пор, как возникла эта связь, мы перестали за ним следить, и все гонения на него, естественно, прекратились. Уже четыре месяца… За это время мы много раз пытались его найти, чтобы понять, можно ли его

помиловать и рассказать о наших желаниях, но найти его не смогли.

– Думаю, что и других кандидатов найти было не легче, – сказал я. – Кто же захочет по доброй воле попасть в западню?

– Вы правы, и других найти было не легче. Но другие нам не нужны, мы знаем про них все, что нам нужно знать. А господин Туташхиа – исключение, загадка… И обнаружить его невозможно… Правда, случилось так, что недели две назад наши агенты распознали абрага Дату Туташхиа в турецком гражданине Арзневе Мускиа. А мы уже наметили программу амнистирования и примирения… И хотя на этот раз арест его не составлял особого труда, мы не пошли на это, так как преждевременный арест может извратить наши нынешние планы и вообще ничего, кроме вреда, принести не может. Вы скажете, что целых шестнадцать лет мы не могли его поймать, теперь же эта возможность есть, при чем же здесь наша программа? Но, как говорится, человек предполагает, а бог располагает. У нас и в прошлом были случаи, когда, казалось, мы могли его захватить. Но это ни разу не удалось осуществить. Такой конец возможен и сейчас. И поэтому я решился. Зачем же нам лишние заботы? Вот я и пришел, чтобы сказать: если можно, давайте примиримся, а если нельзя, ну что ж… Тогда разойдемся, а поймать его… Поймать его мы попытаемся потом. Так мы решили, вы поняли меня?

Вопрос его был обращен ко мне, и я незамедлительно отозвался:

– Понял, конечно. Но это не вся проблема, а только часть ее. Есть еще причины… И даже не одна.

– Да, батоно Ираклий, есть и другие причины… Вы сами согласитесь со мной. Ведь все, кто сидит за этим столом, так или иначе, но имел отношения с тайной полицией… И знает, что такое следствие и допрос!

– Как это все? – возмутился Элизбар Каричашвили. – Я понимаю, Туташхиа, Гоги или я, грешный… Ну, Ираклий и граф Сегеди как юристы. Но при чем же здесь Нано?

Сегеди улыбнулся.

– Я тоже, Элизбар, – сказала Нано. – Приходилось… За границей. И знаю, что такое следствие и допрос.

Как говорится – чем дальше в лес, тем больше дров.

– Допрос, по-моему, – подал голос Гоги, – это борьба двух сторон, борьба двух людей. И каждый хочет повернуть истину в свою сторону.

– Я согласен с вами, – ответил Сегеди. – У допроса своя цель, свой смысл – раскрыть обстоятельства дела. Что же касается души человека, ее глубин и оттенков – что может дать допрос? Только легковесные и случайные штрихи к портрету, но не сам портрет. Дело Даты Туташхиа, не скрою, мы знаем хорошо. Но у нас нет его портрета. Его внутреннего мира, склада его души не узнаешь из допроса… Поэтому я решился прийти к вам. Должен сказать, что господин Мушни Зарандиа тоже весьма заинтересован в этом, а я не имею права не считаться с его желанием… Итак, встреча в вашем кругу, в вашем присутствии, при вашем участии, живой разговор, столкновение взглядов, обмен впечатлениями. К этому я стремлюсь. Есть еще одно обстоятельство. Господин Туташхиа как человек интересует меня самого не по службе, а по жизни. Каждому своя страсть… Одни собирают марки, другие – картины, а меня влечет философия поступков, природа поведения, незаурядность личности. – Сегеди обвел нас взглядом и добавил: – Кажется, я открыл все, Что имел. Добавить могу лишь одно: я отвечаю за свои действия и занимаю достаточно высокий пост, чтобы сдержать слово, которое вам дам. Если в результате нашей встречи положение господина Туташхиа не изменится и сумма моих впечатлений сложится не в его пользу, я гарантирую ему неделю неприкосновенности. Если же случится наоборот, он в ближайшие дни получит документ о помиловании. Итак, я перехожу к делу… Я изложу вам один эпизод из внезаконной жизни Даты Туташхиа. Обсудим его, оценим, пусть каждый скажет свое мнение и ответит на мой вопрос со всем прямодушием – что принесет представителям властей мир с Туташхиа, будет ли он тогда опаснее, чем теперь?

Все как будто прояснилось самым достойным образом. По моим представлениям, о лучшем трудно было бы и мечтать. Что там говорить, если помилование моего друга оказалось в конце концов в наших руках и решалось в моем собственном доме. Надо только сказать: нет, он не опасен для людей и мира. Но если такой вывод не знаю почему, но будет для нас непосильным, все равно Дата Туташхиа сможет уйти от нас невредимым и свободным, честное

слово графа Сегеди будет тому порукой. И тогда все шахматные фигуры станут на старые места и вся игра начнется с самого начала, что во всяком случае несравнимо лучше того, чего мы так боялись, – тюремной решетки и кандалов.

Я, естественно, посчитал, что как хозяин дома и юрист, имеющий немалый опыт в подобного рода делах, должен принять на себя главную роль в разговоре, который нам предстоит вести. Поэтому я сказал:

– Господа, прежде всего, по-моему, надо, чтобы каждый из нас сказал, как он относится к словам графа Сегеди. А кроме того, надо, чтобы Дата Туташхиа согласился стать участником этой процедуры. Итак, я буду первым и объявляю: я согласен!.. Нано, что скажешь ты?

– И я согласна… Конечно, – сразу же отозвалась Нано. – Обещаю быть беспристрастной, быть справедливой!

– Гоги, твое слово!

– О чем тут говорить! И я согласен… Но беспристрастным, честное слово, быть не могу… Потому что хорошо знаю Дату Туташхиа… Только потому! Знаю, что он замечательный человек. Скажу вам наперед, я буду пристрастным – с начала и до конца. Решайте сами – могу ли я навязывать вам свое отношение, которое не изменится нигде и никогда! Даже если история, о которой расскажет граф Сегеди, несет в себе один лишь, отрицательный заряд. Что делать тогда? – Гоги пожал плечами и развел руками.

– Ну что ж, и такая позиция возможна, – сказал Сегеди. – Господин Георгий заранее, без наших споров и доказательств уверен, что прощение не сделает Дату Туташхиа более опасным. История, которую я собираюсь вам поведать, как бы мы ни отнеслись к ней в целом, будет непременно нести в себе приметы – мелкие ли или крупные, – которые подкрепляют именно вашу позицию. И вы сможете не только укрепиться в ваших чувствах, но и проверить, справедливы ли они… Со своей стороны, господа, клянусь, что буду беспристрастным не только в своих суждениях, но в подборе фактов и обстоятельств жизни, о которых собираюсь рассказать вам.

– Я согласен, – сказал Элизбар Каричашвили.

– Я тоже должен согласиться, – Гоги снова махнул рукой.

– Теперь, господа, слово за Датой Туташхиа, – сказал я. – Даете ли вы нам право стать судьями вашей прошлой жизни и хотите ли принять условия графа Сегеди?

Дата Туташхиа не торопился с ответом. Он молча оглядел нас всех и после этого сказал:

– Я согласен. Я принимаю условия.

Сегеди, извинившись, попросил подождать его несколько минут. Он встал и направился к парадному входу. Не зная, как поступить, я двинулся следом за ним. Сегеди попросил открыть дверь и вышел на улицу. Он торопливо сказал что-то человеку, сидевшему в его экипаже, после чего экипаж двинулся со своего места и поехал по улице. Но человек, сидящий в нем, пристально взглянул на меня, и я отступил в испуге, так как мне показалось, что это Дата Туташхиа. Да, Мушни Зарандиа потрясающе похож на своего кузена!

Мы вернулись к столу.

– Ну что ж, давайте начнем! – сказал Сегеди. – Я уже говорил вам, что изучил досконально дело Даты Туташхиа. И потратил немало труда, чтобы выбрать случай, который собираюсь предложить вашему вниманию. Я стремился, чтобы он был простым, недлинным и вместе с тем давал богатую пищу для любопытных суждений и наблюдений… Однажды ночью господин Дата Туташхиа появился в доме некоего Зарнава. Этот Зарнава работал грузчиком в порту, скопил немного денег, купил в деревне дом, но связи с портом не порывал и был скорее рабочий, чем крестьянин. Надо сказать, что Туташхиа редко пользовался его гостеприимством, но на этот раз почему-то выбрал его, предупредив за несколько дней о своем посещении. Но дня и часа не назвал. Не успел он прийти, как к Зарнава вваливаются еще три человека – с типографским станком, ящиками со шрифтами и бумагой. Все это они надумали спрятать у Зарнава, сказали, что более надежного места у них нет, а сами они скрываются от полиции. Да, забыл сказать, что во дворе Зарнава, кроме домика, где спали жена и дети, была еще стоящая отдельно кухня. В эту кухню хозяин сразу же ввел Туташхиа, вслед за ним и пожаловавших новых гостей. Сначала он спрятал ящики, которые они принесли, а потом предложил всем поужинать. Во время ужина новые гости несколько раз заводили речь, не обращаясь прямо к

Туташхиа, что теперь, мол, пора уходить. Было ясно, что они добивались, чтобы господин Туташхиа покинул дом прежде них. Но господин Туташхиа сделал вид, что не понимает их намека, и даже вел себя так, будто сам дожидается их ухода. Это взаимное ожидание тянулось довольно долго, и тогда один из гостей прямо сказал Туташхиа, чтобы тот уходил. Но господин Туташхиа отказался решительно, а когда его спросили – почему? – он охотно объяснил. Сказал, что вошел в этот дом никем не замеченный, а если где-то поблизости сидят в засаде люди, чтобы его поймать, то они все равно понятия не имеют, где он сейчас. И уйдет он только так, как пришел, и сидящие в засаде люди не увидят его исчезновения, как не видели его появления. Но, сказал господин Туташхиа, гости Зарнава могли проговориться, куда идут, и привести за собой хвост. И если он уйдет первым, а они вслед за ним и с ними случится что-нибудь плохое, то винить будут его, Туташхиа, и больше никого – он знал об их приходе, а ушел прежде них. Туташхиа добавил, что не позволит, чтобы его заливали грязью, достаточно о нем наплели былей и небылиц, не хватало еще предательства. Пусть гости идут своей дорогой, а он никуда не уйдет и будет сидеть здесь хоть до будущего года, никого это не касается… Логика и правила конспирации были на стороне господина Туташхиа. Гости подчинились и, попрощавшись, покинули этот дом. Но только они ушли, как донеслись выстрелы. Туташхиа спросил хозяина, знал ли он, что к нему придут эти люди. Зарнава ответил, что не знал, и то была святая правда. Стрельба длилась довольно долго, но когда она затихла, хозяин схватил карабин, принадлежавший Туташхиа, и бросился к выходу, говоря, что надо бежать на помощь. Но господин Туташхиа отнял карабин у хозяина, вышел из дому и больше никогда сюда не возвращался. В результате перестрелки убили двух гостей Зарнава, а из тех, кто их окружил, один был убит и один ранен. Через несколько дней полиция обыскала дом Зарнава и обнаружила спрятанные ящики. Зарнава, отсидев три месяца в тюрьме, вернулся потом к себе домой… Вот и вся история, во всяком случае по тем сведениям, которые получил о ней я. И я хочу спросить господина Туташхиа: соответствует ли истине мой рассказ?

– Да, ваше сиятельство, соответствует, – с грустью ответил Дата Туташхиа. – Именно так все и было на самом деле!

– Считаете ли вы, – обратился тогда Сегеди ко всем нам, – этот эпизод достаточно насыщенным смыслом и содержанием, чтобы подвергнуть его нашему исследованию?

Мы ответили утвердительно. Но я сказал, что Дата Туташхиа должен все-таки растолковать нам некоторые подробности.

– Конечно, – сказал Туташхиа. – Без этого ничего не получится.

– Я тоже имел это в виду, – присоединился к нам граф. – Прошу вас, господа, пусть каждый спросит, что желает!

Но мы молчали. Все, по-моему, боялись одного – неуместным вопросом испортить дело: не представляя всех глубин замысла Сегеди, сослужить ненужную службу каким-нибудь тайным его планам.

Видя, что никто не решается начать, Сегеди повел речь сам.

– Скажите мне, господин Туташхиа, – сказал он, – как могло случиться, что Зарнава знал заранее, что вы появитесь? Опытный и умный преследуемый, как известно, не допустит подобного промаха.

– Не спорю, ваше сиятельство, предупреждать заранее – это всегда опасно. Но что делать, если зачастую нельзя обойтись без такой ошибки! Я должен был повидать Зарнава во что бы то ни стало! А ходить впустую не имело смысла. Надо было знать, что он дома, а как узнаешь, если не предупредишь. Лучше всего в таких случаях – если сообщаешь, что придешь тогда-то, – нагрянуть или раньше того дня или позже. Тогда ошибка не так груба. Опасность, конечно, остается, но уже из того ряда, о котором мы говорили, – когда у тебя семь шансов из десяти… Скажите сами, граф, а вам – в ваших тайных делах – всегда удавалось сделать так, чтобы тот, кто хочет прийти, сумел это скрыть от того, к кому он должен прийти?

– К прискорбию, никогда почти не удавалось, – ответил Сегеди.

– Так случилось и со мной в тот раз. Хотя я был и предусмотрительным, и осторожным. До назначенного срока я дня два следил не только за домом Зарнава, но и за всей округой. И после назначенного срока тоже целый день – с утра до вечера следил. И если бы хоть что-то было подозрительным, я не переступил бы порога этого дома. Но не было ничего… И я не

ошибся, я был прав… Но об этом мы поговорим потом.

– А как получилось, – спросил я, – что Зарнава хотел бежать на помощь с твоим карабином, а ты не пустил и отнял его у него?

Я задал свой вопрос не просто так – у меня была своя цель: вытащить на свет как можно больше свидетельств о том, что Дата Туташхиа старался избегать враждебных столкновений с властью.

– Все это не так, как может показаться. – Дата закурил и сделал несколько затяжек. – Поймите, Зарнава бежал не для того, чтобы сцепиться с полицией, – он бежал для того, чтобы дать им знать, что они ошиблись, что убили совсем не тех людей, а человек, который им нужен, – вот его карабин! – сидит беспомощный у него на кухне. Полиция охотилась за мной, а не за ними, она не знала, кто они, не ведала, зачем пришли, не видела, когда вошли. Она считала, что там только я и мои друзья!

На этих словах Сегеди чистосердечно расхохотался, а Дата Туташхиа замолчал, с удивлением глядя на графа.

– Что привело тебя к этим соображениям? – спросила Нано.

– То был сложный путь… Когда началась стрельба, в ней можно было угадать не меньше десяти ружей, и если три исходили от гостей Зарнава, то семь или восемь принадлежали посторонним. Теперь попробуем рассудить… Допустим, что следом за этими людьми с типографским станком шел кто-то из полиции… Это мог быть один человек, ну, скажем, два, но не больше. И если они увидели, что станок доставили к дому Зарнава, то должны были побежать, чтобы сообщить об этом полиции. Согласимся, что при этом стечении обстоятельств один должен бежать, а другой должен остаться и следить за домом, на случай, если гости здесь не задержатся и потащат свое имущество в другое место. Он должен идти за ними следом, куда бы они ни повернули. Что же произошло на самом деле? Эти люди провели у Зарнава часа полтора, до полиции ходу было три часа, а полиции к дому Зарнава – еще три часа… Значит, выследивший их человек не мог им устроить такой засады. Это бесспорно и не может вызвать сомнений… Но, может быть, полиция заранее знала о том, куда понесут станок, и, окружив тот дом, пропустила трех человек лишь для того, чтобы потом, когда они будут идти назад, открыть стрельбу. Так могло бы быть, но так не было, ведь накануне я облазил все места вокруг дома Зарнава, лежал у него в огороде, навострив уши, как гончий пес. Нет, угрозы не было никакой, ни с какой стороны. Я был убежден в этом и только потому так уверенно вошел в дом. А эти люди пришли, вы помните, через пятнадцать минут. И, значит, все было спокойно, когда они шли, и полиция о них не знала ничего. И я в свою очередь хотел бы спросить вас – для кого была устроена та засада?

– А не могло ли быть так, чтобы за ними следом ехали не два человека, а все восемь? – спросил Гоги.

– Как же это так, брат? – воскликнул Дата Туташхиа. – В ночной тишине по долгой дороге за тобой движутся восемь вооруженных всадников, а ты даже не замечаешь их?

– Это невозможно, – сказал Сегеди.

Мы погрузились в обсуждение этого случая и все в конце концов единодушно сошлись на том, что дом был окружен не из-за людей с печатным станком. С нами согласился и Сегеди. И, значит, мы были правы – кто лучше, чем шеф жандармов, мог знать, как все было в доподлинной жизни.

– Хорошо, – сказал Каричашвили. – Но теперь еще остается доказать, что засаду устроили именно тебе.

– Дойдет и до этого. Только налей мне, а то я не могу так долго говорить в трезвом состоянии!

Мы перешли на шампанское. Дата Туташхиа выпил свои бокал до дна и продолжал:

– Значит, мы остановились на том, что полиция не знала о появлении трех человек в доме Зарнава. Окружать самого Зарнава, его жену и детей, вы сами согласитесь, имеет мало смысла. Кто же еще оставался в доме? Ради кого можно было затевать всю эту кутерьму? До того, как мы ответим на этот вопрос, я поделюсь с вами еще одним наблюдением. Неподалеку от деревни, где живет Зарнава, лежит имение князя Чичуа. И вот за два дня до назначенного мною срока к тамошнему управляющему пришли восемь косарей и нанялись на работу. Ранним утром

все восемь вышли на покос. Они косили, а я следил за ними с горы. Весь день они косили, а когда темнело, скрывались в доме управляющего, чтобы утром снова взяться за косу. Так прошел еще один день, и за ним еще одна ночь. Только потом я прикинул, что к чему, и понял – то были не косари, а полицейские, приехали они к управляющему ночью, спрятали лошадей на его конюшне, а туда-то я как раз не догадался заглянуть. Что говорить, косить они ходили без ружей, а одежду нацепили самую нищенскую. Ничто поэтому не наводило на подозрения. Косари как косари! Так я ошибся в тот день. А теперь, смотрите, как все было на самом деле… Вот Зарнава ввел меня на кухню, но сам выскочил на крыльцо и крикнул соседу: «Завтра утром в лес иди без меня!» И тут же вернулся назад. Когда принесли печатный станок и типографские шрифты, тот сосед, с которым он отказался идти в лес, был уже далеко, он во весь дух мчался к управляющему, чтобы сообщить полицейским, что Туташхиа – вот он, на кухне Зарнава. Сосед, как вы понимаете, не мог знать о новых гостях. И приведенные им люди, которые окружили дом, тоже не имели о них никакого понятия. Полицейские, я думаю, ворвались бы в дом, если бы новые гости не вышли в этот момент сами им навстречу. И я снова хочу подчеркнуть свой вывод: сосед Зарнава сообщил обо мне полицейским. А дальше судите сами… Если бы сукин сын Зарнава и вправду хотел помочь своим гостям, то почему он не побежал к ним тогда, когда началась стрельба? А когда перестрелка стихла, то, видно, с перепугу он схватил мое ружье и хотел убежать с ним, понимая, что я догадаюсь, кто предатель, и захочу его убить. Но силенок не хватило… Не вышло ничего. Вот как сплелось все в ту ночь в домишке Зарнава. Я хотел, чтобы господин Сегеди подтвердил, что засада была устроена для меня.

– Подтверждаю, что еще остается делать, – сказал Сегеди и рассмеялся.

А мы засмеялись вслед за ним с чувством, освобождающим от гнета и придавленности. Казалось, что на наших глазах наш друг, благодаря уму своему и проницательности, только что спасся от верной погибели.

– Браво, господин Туташхиа, – Сегеди поднял свой бокал. – Я пью за вашу удачу, пусть поможет вам бог и дальше – во всем и везде! Я догадывался, не скрою, что вы за человек, но реальные впечатления оставили позади все догадки. Если бы эту беседу слышали мои петербургские начальники, ей-богу, они извинились бы передо мной за те попреки, которыми осыпали меня из-за вас.

Меня обрадовало, что Сегеди был в таком же приподнятом настроении, как мы все. Поэтому обсуждение всех деликатных сторон отношений Даты Туташхиа с жандармами шли теперь под град шуток, хохот и тосты.

– Господа, – сказал Сегеди, желая ввести в разговор деловую струю. – Все ли вам ясно? Есть ли у кого вопросы?

Все утихли, и за столом воцарилась тишина.

– Я думаю, все ясно, – ответил за всех я.

– Тогда пусть каждый скажет в заключение, что он думает и как оценивает все, что слышал.

Мы согласились.

И так как все посмотрели на меня, я понял, что начать следует мне, тем более что по своей адвокатской привычке я все время старался собрать воедино все обстоятельства, которые позволяли утверждать, что у моего подзащитного Даты Туташхиа, который предстал сейчас перед нашим судом, не было никакой склонности к нарушению моральных и правовых норм, что он, при всех поворотах дела и всех гонениях, был человеком нестроптивым и мирным. И не может быть никаких сомнений, останется таким же после помилования.

– Господа, обратите внимание на то, – сказал я, – что своими поступками Дата Туташхиа преградил путь для нападения на представителей закона. Он вырвал ружье из рук Зарнава. Конечно, как теперь нам это открылось, у злоумышленника была иная цель, но в тот момент сам черт мог запутаться в этом лабиринте, а уж Туташхиа и подавно. И, значит, он хотел оградить существующий порядок и его охранителей от угрозы нападения.

Скажу честно, я перебрал лишку в своих доказательствах! Но каши маслом не испортишь, а в адвокатской практике того времени подобные аргументы часто производили на противника сильное впечатление, подрывали его уверенность в себе, вызывали колебания, и после такой атаки даже справедливое обвинение тускнело, что приносило защитнику большой перевес, а

иногда и большой успех.

– А что случилось после того, – продолжал я, – как господин Туташхиа отнял свое ружье у Зарнава? После того, как он увидел, как тот в смертельном страхе хочет бежать, и понял что перед ним предатель? Как повел он себя, оставшись с ним лицом к лицу? Нужно ли убеждать вас, что Зарнава – подлец из подлецов, только что он предал человека бесправного и гонимого и на деньги, вырученные за это, собирался кормить своих детей. Я уверен, каждый, будь он на месте Даты Туташхиа, убил бы его не сходя с места. Убил спокойно, в полной уверенности, что ни одна живая душа на свете не узнает об этом. И любой самый пристрастный суд не нашел бы улик против него. Ведь нельзя было даже доказать, что он был у Зарнава, а тем более что он его убил. У Туташхиа хватило бы на это ума, захоти он мстить. Но он не захотел, он не поднял руки на предателя, не наказал того по заслугам. Он повернулся и ушел! И я не представляю себе стечения обстоятельств, при которых помилованный Дата Туташхиа был бы более опасным, чем гонимый… Я сказал все, что хотел!

Мой пример оказался, вероятно, заразительным, я увидел, что все зашевелились, всем захотелось говорить. Но среди нас была Нано, и как даме следовало уступить ей очередь. Я как адвокат был не в счет, я должен был задать тон всему разговору.

Нано поняла, что ждут ее слова, и сказала:

– Нет, не сейчас…. Я хочу подождать… Послушать других… Лучше потом.

– Тогда разрешите мне! – воскликнул Элизбар Каричашвили. – Это будет мое заключение и мой тост!

Все замолчали.

– Провидение наградило небольшую часть рода людского талантом доброты и красоты, – начал Элизбар, – живым, непреходящим чувством прекрасного, умением оставлять неувядаемые ростки всюду, куда б ни заносила их судьба. Такие люди – цвет человечества. Я всего месяц знаком с Датой Туташхиа. И за этот месяц я не заметил ни одного шага, ни одного жеста, который не был бы отмечен таким талантом. И случай, о котором мы так много говорим, одухотворен тем же светом. Это человек, весь, какой он есть, от любого его жеста до самых сокровенных чувств, – натура глубоко поэтическая, поглощенная исканием и созиданием. Но поле, которое он избрал для приложения своих богатырских сил, так трудно для возделывания. Каждый выбирает ту крепость, которую хочет взять. Для одного это соперник, наделенный дарованиями, большими, чем он, и гонимый тщеславием, он тратит все свои духовные силы на то, чтобы побороть этого соперника. Таковых, увы, большинство среди тех, кто считает творчество своим призванием. Но есть и другие – цвет человечества, – они осаждают и штурмуют единственную крепость – собственную личность. Не зная устали и компромиссов, не на жизнь, а на смерть сражаются они с собой, чтобы как можно больше взять от собственных способностей, принести людям как можно больше плодов. Это возвышенная часть тех, кто творит. Борьба первых, возможно, увенчивается богатством и материальным преуспеянием, но борьба вторых приносит плоды духовные. И таков Дата Туташхиа. Он ведет великую войну только с самим собой… И нет в жизни ничто способно изменить лицо и смысл этой великой войны. – Элизбар Каричашвили перевел дыхание и, подняв бокал, завершил свой тост: – Может ли такой человек таить опасность для государства? Нет… Никогда… Я пью за самую благородную, бесконечную и беспощадную войну – войну с самим собой!

– Я готов присоединиться к вам, – сказал Сегеди. – Но это целая философия! Я не встречал в развернутом виде этих выводов… Кто ваш предшественник, хотел бы я знать?

– Представьте, граф, – сказал Элизбар, широко улыбаясь. – Я тоже не встречал… А предшественник у меня один – Сандро Каридзе. А у него, может быть, – Руставели и Гурамишвили. Может быть, говорю я, потому что в таком разработанном виде нет этого учения и у них.

– Может быть, это идет от неоплатоников и Псевдо-Дионисия… – сказал я. – Гоги, что же до сих пор не слышно твоего голоса?

– Я уже сказал, что думал, – отозвался Гоги. – Могу лишь повторить… Все, что я знал, и все, что узнал, – как звенья одной цепи. Человек такой, как Дата, не был опасным раньше, не будет опасным потом. Но не забудьте про закон… Закон и царский строй доводят до того, что пустяковая история оказывается преступлением. И мирный человек, рожденный для мирной

жизни, называется злодеем и преступником… Многое зависит от того, как поведет себя власть, как отнесется к Дате Туташхиа закон… Вы хотели правды, я сказал то, что думал!

– Это очень хорошо, – подхватил Сегеди. – Но пока есть на свете государство со своими законами, такая зависимость неизбежна в любой стране, не только в нашей. Больше или меньше, но с такой угрозой люди встречаются повсюду, и мера ответственности гражданина, высота его сознания должны быть компасом поведения… – Сегеди замолчал, собираясь, видимо, с мыслями, и снова заговорил: – Что я могу вам сказать? У меня нет особых расхождений с вами, хотя я догадываюсь, что ваши суждения о господине Туташхиа не могли быть свободными от пристрастных преувеличений. Но я понимаю, что речь шла о будущем вашего друга, о том, как жить ему дальше на земле… И я согласен с вами… Мне тоже кажется, что господин Туташхиа, помилованный и прощенный, не будет вступать в конфликты с законами и с учреждениями, призванными их охранять. Но скажу откровенно: важнее всего для меня, что думает обо всем этом сам господин Туташхиа… И так как госпожа Нано отложила свою речь напоследок, может быть, мы попросим Дату Туташхиа…

Туташхиа откликнулся не сразу, какое-то время он сидел сутулясь и перебирая четки. Потом вопросительно поглядел на Нано, как бы желая пропустить ее впереди себя.

– Говори, Дата, я потом, – тихо ответила ему Нано.

Но он продолжал молчать, потом развел руками так, словно отталкивал мысли и слова, готовые сорваться с его уст. После этого он вытащил папиросу, собираясь закурить, но не закурил и отложил ее в сторону, продолжая молчать, словно колебался, стоит ли ему начинать.

– Ваше сиятельство, – наконец заговорил он, – жизнь сделана для меня изрядным скептиком, я перестал различать, где правда, где ложь, перестал верить тому, чему, может быть, и можно было верить. А ведь когда-то я был доверчив, как ягненок, и готов был вступить в бой с человеком, который утверждал, что на земле торжествует коварство. Я бы не хотел обидеть, вас, но не могу не сказать, что вы пришли сюда с иной целью, не для того, чтобы обсуждать то, что мы обсуждаем добрых два часа. И хотя цель ваша покрыта для меня туманом, мне ясно только одно, что вы – человек доброжелательный и благородный, и коли так, вы не могли прийти сюда не с добром и миром. В это я верю! И мне остается только сказать вам спасибо и низко поклониться! Добро всегда остается добром, и хороший человек – хорошим человеком! И люди всегда будут нуждаться в них… Но вы хотите услышать, что я думаю… Вам это интересно, хоть я и не знаю, почему… И я не имею права отказаться, я должен принять вашу просьбу, это долг вежливости и взаимного благорасположения… Но, говоря откровенно, мне почему-то трудно это сделать… – Туташхиа поднял свой бокал: – Алаверды к вам, ваше сиятельство! Надеюсь, вы примете мой тост?

– С удовольствием! – ответил граф Сегеди.

– В давние годы, – сказал Туташхиа, – в Кутаиси один мой друг затащил меня в ресторан. Там за наш столик пристроились еще трое знакомых, и пошла отчаянная гульба. Чаша была стопудовая, и опорожнить ее стоило немалых сил. И когда тамада поднял очередной тост, один из сидевших за нашим столом – звали его Датико – вдруг отказался пить. Тогда его друг Салуквадзе начал его уговаривать: «Что с тобой, брат? Почему ты не пьешь?» – «Не могу больше пить, сил никаких нет, трудно очень». – отвечал Датико. Салуквадзе очень удивился и сказал: «Быть грузином вообще трудно…» Сказал, как говорят о ремесле. Я, помню, засмеялся тогда, но слова эти врезались в мою память. Да, господа, быть грузином вообще трудно! И не потому только, что грузин должен пить кувшинами и чанами. Это еще полбеды. А главная беда в том, что сядет грузин за стол, начнут все пить за его здоровье, вознесут до небес, сравнят с богами, а он должен сидеть и слушать! И нет у него, бедняги, другого выхода, он обязан смириться и молчать… Большое нужно тут терпение! Очень большое! Я думаю, что грузин учится терпению за столом. Мы пропали бы без этого обычая! Потому что не за столом мы все время грыземся друг с другом, ссоримся, враждуем, ненавидим – должны же мы хоть где-нибудь любить и восхвалять друг друга. Для этого и придуман грузинский стол, и это, право же, не так плохо! Я тоже грузин, и все, что вы здесь говорили обо мне, посчитал за тосты и только потому смог смириться и дослушать до конца, хотя, видит бог, было это вовсе не легко. Ваше сиятельство, вы столько лет живете в Грузии и успели, верно, узнать грузинский народ и понять грузинский характер. Поэтому прошу вас отпустить грехи моим друзьям и

выпить вместе с нами за нелегкий труд быть грузином!

Последние слова Туташхиа потонули в шуме, мы спорили и дружно уверяли, что не отступали от правды ни на шаг. Туташхиа молчал и, казалось, ждал лишь одного – чтобы снова наступила тишина.

– Оставим в покое дом Зарнава и его хозяина, – сказал он чуть погодя, – забудем об их существовании. Последние пять лет я и вправду провел так, что перестал быть угрозой для государства. Но скажу вам от души: я не всегда был таким и не знаю, каким я буду потом… Разве может человек предсказать свою судьбу… Думаю, граф Сегеди это превосходно знает сам, и потому, верно, он не стал прочерчивать по одному лишь эпизоду прожитой мною жизни контуры моего будущего. Но сам я могу открыть вам больше, чем граф Сегеди, чтобы легче вам было ответить на его вопрос. И вы, господа, можете извлечь из моих слов, что вам будет угодно… Я вступил в жизнь заносчивым и самолюбивым гордецом. И таким оставался на многие годы, почему и стал абрагом… Был у меня когда-то старший друг, бывший офицер. Я верил ему, а он позволил себе непристойность, недостойную ни его, ни меня. Я не хотел прощать его, он и не искал прощения. И получилось само собой, что мы оказались по разные стороны барьера и по очереди начали стрелять друг в друга. Первым стрелял я и нарочно промахнулся, но так, чтобы пуля прошла под мочкой уха моего нового врага и врезалась в ствол дерева. Он не мог стерпеть и уже не желал целиться мимо. Он выстрелил, и пуля попала мне в правую руку, которой я держал пистолет. Из руки пошла кровь; я мог с таким же успехом стрелять левой рукой, но не хотел, чтобы он видел, что это из-за его пули. Той же рукой я прицелился и направил дуло ему в правый глаз. Мне не надо было его убивать, но меня обуревало одно желание – чтобы он дрогнул передо мной. И я навел пистолет так, чтобы непременно попасть. Он догадался об этом и, почуяв, верно, смерть, то ли испугался, то ли удивился, что мне не жалко его убивать… И он вздрогнул, склонил голову и отвел глаз, в который я целился. Добившись своего, я спустил мушку к его правой руке и выстрелил. Я не рассчитал сил, не догадался, что моя раненая рука лишена прежней твердости. Пуля попала ему в живот и прострелила печень. Видит бог, я не хотел этого! Несчастный мой друг прожил еще несколько дней и умер – прекрасный и мужественный человек…

Такова природа всех моих поступков – до того, как я стал абрагом. И немало лет спустя… Тогда я был опасен для государства и людей…

Шло время, я получал удары от жизни с безмерной грубостью и беспощадной хлесткостью. Но не один лишь мой своевольный нрав был тому причиной. Нет, причина была и в том, что с детства я не мог вынести, когда один человек топтал другого человека, унижал его достоинство и честь. Сострадать попавшему в беду, протянуть ему руку помощи… А за это ходить в синяках и ссадинах… И если в юные свои годы я не мог стерпеть ударов по себе, то к зрелым годам для меня невыносимым стали удары по другим, унижение и бесчестность. Я готов был умереть – поверьте, то не пустые слова, – но только одержать победу над человеком, который жил насилием и злобой. И я добивался своего и ходил по земле, одержимый своей целью, своем мечтой. Не было у меня другого дела, другой мечты. И тогда я тоже был опасен – для государства и для насилия.

Так тянулось долго. Мне приходилось, конечно, играть в, прятки с правительством, на что я тратил не так уж много времени и ума. Но это было недурным развлечением… Вы знаете, как устроены люди… Если человек, стоящий вне закона, сделает добрый шаг, его раздуют, разукрасят и будут кричать о нем, не замолкая ни на миг. И с дурными делами точно так же. Но дурного я ничего не делал, поэтому пошла обо мне широко дорогой добрая слава… Но и она, как все на свете, имела свои конец. Потому что я задумался над тем, что сталось с людьми, которых я спас и защитил. Я не говорю о том, что многие заплатили мне злом за мое добро. Не это, быть может, самое печальное. Много хуже то, что спасенные мною, набравшись сил, сами становились насильниками и палачами. Да что там говорить! В горечи я отвернулся от всех: живите, как хотите, черт с вами, я больше не стану вмешиваться в вашу жизнь! Тогда все забыли о моих добрых делах и стали повторять злые сплетни злых людей и повернулись ко мне спиной. Я остался один как перст, понял, что был не прав, и все-таки не знал, что делать и как жить… Когда вы обсуждали, как вел я себя в деле Зарнава, вы не сказали главного: человек, который не рвался на помощь попавшим в западню борцам против царской власти, не может

быть угрозой государству. Я уже не опасен, вот почему я не опасен вообще.

Я знаю, всем вам интересно, почему я пришел к вам, чего ищу среди вас и во имя чего решил сунуть свою голову в петлю. Скажу и об этом… Поймите, я не одинокий волк, думающий только о добыче, и не мирный бык, живущий для того, чтобы щипать траву. Я сын своего народа. И хотел бы делать что-то во имя своего народа! Я не могу сложа руки, хладнокровно, со стороны взирать на свою родину!.. И я хотел проникнуть в ваш мир, узнать, чем питается ваш ум, где черпает силы сердце. Да, мы мечтаем об одном и том же и говорим, говорим, говорим… Как и я, вы не знаете цели, как и я, вы мечетесь и рветесь к ней. Может быть, вы и выбрались на дорогу, но пока по ней дойдете до дела, пройдет, наверно, целый век!

Дата Туташхиа вскочил со своего места и зашагал по комнате, чтобы унять волнение. Ни разу не видел я его в таком возбуждении. Но оп умел управлять собой. Заговорил он успокоенно и устало.

– Ваше сиятельство, – сказал он. – Не знаю, конечно, вручите ли вы свой документ мне или не вручите, но, простите меня, это не будет иметь значения для будущей моей жизни. Я сказал вам сам, что я не опасен. Но кто лучше вас знает, сколько раз за минувшие семнадцать лет менялся мой характер и образ жизни… И я не знаю и не могу узнать, что будет со мной завтра или через год… Прав был Гоги: это зависит от закона не меньше, чем от меня. Закон и власть пока что умеют лишь озлобить и ожесточить людей, втравить в их душу лютую ненависть и вражду. Не думайте, я не имею в виду одну лишь Российскую империю, так обстоит дело в любой современной стране с любым современным строем. Пройдет время, и – постепенно или сразу – мир изменит свое лицо, люди поймут, как надо жить. Но пока этого не случилось, я не имею права лгать и не позволю себе давать мнимые обещания, что, получив бумагу об амнистии и засунув ее в карман, я на другой же день постригусь в монахи и обобью себе колени в молитвах о долголетии царя и его государства. Нет, я все равно пойду только тем путем, каким поведет меня сердце! Вот и вся моя правда… Вы сказали: если Туташхиа не будет вручен тот документ, он получит недельный срок неприкосновенности. Я не хотел бы, чтобы вы были связаны словом. Поэтому можете считать, что этих слов вы не произносили… А куда вынесет меня сердце и десница божья, пусть то и будет моим уделом.

Никто не решался заговорить. С моих глаз будто упала пелена, и я во всей осязаемой плотности ощутил, что помилование – звук пустой для Даты Туташхиа. Он будет жить с ним только так, как жил без него, потому что человек этот может существовать по своим, только ему отмеренным, высшим законам и рвется лишь к одному – к действию.

– Господин Туташхиа! – послышался голос графа Сегеди. – Вы выразились так, что государство, как институт, есть начало, озлобляющее человека… Мне интересно, как остальные… Вы разделяете этот взгляд?

– Я разделяю, – поспешно ответила Нано.

– А не могли бы вы растолковать мне… Объяснить поглубже? Дело в том, что существуют теории, которые совпадают с этим взглядом.

– Я готова, граф, – ответила Нано. – Хотя не думаю, что сказанное мною может с чем-нибудь совпасть. Мыслитель, на которого опираюсь я, никогда не повторяет чужих слов, не приводит цитат из чужих книг, не ссылается на другие авторитеты. Он говорит о самом насущном, о чем думаем все мы, но свет его чистого ума и доброго сердца придает неповторимую свежесть его суждениям.

– Расскажите об этом, – попросил Сегеди.

– Ну что ж, я воспользуюсь вашей любезностью, – сказала Нано. – Тем более что из всех, кто сидит в этой комнате, я одна все время молчала. А я хочу сказать… Сначала об этом мыслителе… Трудно, вы сами понимаете, повторять чужие мысли… Но попытаюсь… Итак, речь идет о великих государствах… О том, что в своей истории – и это главная их черта – они постоянно стремились к расширению, к покорению новых народов, к мировому господству. Они не случайно называются империями, потому что всегда готовы вести захватническую войну. Главная фигура такой войны, конечно, солдат. А главное условие непобедимости государства – ненависть как основное боевое настроение солдата. Когда идет оборонительная война, то в бой ведет любовь… Любовь к своей земле… Это понимает каждый. А как повести людей на истребление, на захват чужой земли, заставить бросить родной дом, жену, детей,

чтобы в конце концов умирать где-то на чужбине?

Чтобы добиться этого, есть один-единственный путь – вселить в его душу ненависть! Ненависть – пружина, движущая поработительными войнами… Ненависть, озлобление, дух стяжательства… Поэтому имперское государство по самой своей сути, по своей природе должно будить и развивать в людях низменные черты, разрушать веру в божественное предназначение человека. Это как цель, так и итог существования такого государства!.. Вот, ваше сиятельство, ответ на ваш вопрос… Все философские и религиозные учения, все общественные течения прошлых веков учили и наставляли человека – не быть злым. Но ни одно из них не создало такой модели общества, в глубинах которого лежало бы не озлобление, а доверие и любовь. Только марксизм, мне кажется, обещает нам это. Это учение набирает силы с поразительной быстротой и, надо думать, в ближайшее время станет ведущей идеей человечества, начнет новую эпоху в истории нравственности… А пока человек, которого ведут по жизни добрые чувства, любовь которого активна и прекрасна, такой человек не может не оказаться противником государства, живущего по иным законам, чем живет он. Конечно, если любовь и доброта для него не маска, прикрывающая корыстолюбие, а природные свойства его богатой натуры.

Человеколюбие и справедливость – вот плоды, которые вырастают на этой плодотворной почве, и они неизбежно и бескомпромиссно ведут к противоречиям с великодержавным духом и строем империи. Да, такой человек – враг империи. Это непоправимо. Потому что его доброта – дурной пример для других людей, его любовь к родине может испугать своей бескорыстной мечтой о мирном благоденствии народа, его чувство прекрасного слишком прекрасно для нравственных, а вернее, безнравственных устоев общества. Такой человек – сын своей земли, истинный, а не мнимый патриот, создающий бесценные нравственные богатства народа. И потому он подчиняет свою жизнь благополучию народа, но такому благополучию, к которому ведут мирные и человечные пути, справедливость, умеренность, уважение к правам других наций. И в этом высшая мудрость, которая называется интернационализмом… Так вот, граф, если в вашем распоряжении, как вы сказали, и на самом деле разнообразные и богатые сведения о Дате Туташхиа, то вы и сами отлично понимаете, что такие люди, как Дата Туташхиа, конечно, в высшей степени опасны для государства. Всякий иной вывод, увы, по-моему, невозможен.

Нано замолчала, а в тишине отчетливо прозвучал голос графа Сегеди:

– Интересный человек этот Сандро Каридзе.

Глава кавказских жандармов еще раз давал нам возможность убедиться, что для него нет ничего тайного.

– Вы думаете, что это мысли одного только Сандро Каридзе? – воскликнула Нано. – Совсем нет! Просто Каридзе лучше других выражает то, что думают все.

– Вам не кажется, – сказал Сегеди, – что мы с вами – свидетели рождения новой философии… Свидетели и участники… Таково время!.. Вы кончили, госпожа Нано?

– Нет, еще два слова…

Нано заговорила с неподдельным волнением, голос ее прерывался так, будто она явилась на прием и ничего не доказывает, не разъясняет, а только просит, умоляет:

– Ваше сиятельство, взгляните на него доброжелательным взглядом… Хотя бы один раз… Ничего больше не нужно. Разве часто встречались вам люди такие, как Дата Туташхиа, обаятельные и добрые? Доверьтесь своему сердцу, и сердце вас не обманет. Может ли такой человек быть опасным, преступным, жестоким? Могут ли гнездиться в его душе преступление и обман? Разве недостаточно претерпел он лишений и бед? Разве не заслужил кров над головой, семью, дом, спокойный сон?!

Нано не могла договорить и, задыхаясь от слез, вскочила со своего места и побежала из комнаты. Но граф догнал ее, задержав на пороге.

– Госпожа Нано, – заговорил он почтительно. – Мне грустно, что мой приход стал причиной вашего волнения и слез. Простите меня, бога ради! Но, поверьте, серьезного дела нельзя решить без волнения! Это может меня оправдать, но не может утешить. Прощение на небесах я все-таки, надеюсь, получу, но потому лишь только, что вам так идут слезы! Не прячьте лица! Теперь я понимаю, вас нужно нарочно доводить до слез… Вы так очаровательны,

госпожа Нано… Я не могу допустить, чтобы вы нас покинули и приняли на душу грех погибели всех сидящих за этим столом мужчин!

Нано засмеялась, повернувшись, но лицо ее было мокрым от слез, и она пыталась отвести его в сторону, стыдясь своей слабости и чувствительности. И улыбалась сквозь слезы… Нано была прелестна, что там говорить, граф Сегеди конечно же был прав.

– Вина! – воскликнул он, сам бросился наполнять бокалы и обратился ко мне со смехом: – Князь, я устроил вам недурное развлечение, не так ли?

– Ни с чем не сравнимое, граф! И весьма поучительное!

– Да здравствуют женские слезы! – сказал он, поднимая бокал. – Самый неоспоримый, веский и плодотворный довод из всех, какие существуют на свете! И за здоровье госпожи Нано, которая только что продемонстрировала его в самом прекрасном варианте!

Сегеди подошел к Нано и поцеловал ей руку.

Этот тост окончательно расковал всех, мы зашумели, заговорили все разом, подливая друг другу вина.

Но граф снова поднялся над всеми и попросил тишины.

– Господа, – сказал он, – я очень сожалею, но вынужден вас покинуть. Спасибо вам за ваш гостеприимный пир, за ваше дружелюбие и радушный прием. Я унесу отсюда наилучшие впечатления и добрую память о вас как о прекрасных собеседниках и незаурядных людях. И был бы счастлив, если бы оставил подобный же след в вашей душе… Мое служебное положение до сих пор лишало меня возможности открыть вам все мотивы моего появления здесь. Но теперь я могу положить на стол перед вами свой главный козырь.

Сегеди достал из кармана два листа бумаги, сложенные пополам, и протянул их мне. Один из них был документом о помиловании Даты Туташхиа, а другой – протоколом, свидетельствующим о вручении документа, который следовало подписать как поверенному в делах Туташхиа.

– Господин Ираклий, – сказал граф Сегеди, – представьте ваш контракт и приступайте к своим обязанностям.

– С удовольствием, – ответил я. – Но, к моему прискорбию, он остался в юридической конторе.

– Может быть, сгодится этот? – Дата Туташхиа достал свой экземпляр и передал графу.

Пока граф читал наш договор, я передал другим документ о помиловании, а сам побежал в кабинет за чернилами и ручкой. Потом я взял протокол и подписал его как адвокат и поверенный в делах Туташхиа.

Граф стоял посреди комнаты, держа в руке контракт между Ираклием Хурцидзе и лазским дворянином Арзневом Мускиа.

– Сколько лет вы не виделись со своим двоюродным, братом Мушни Зарандиа? – спросил он.

– Шестнадцатый год, ваше сиятельство, – ответил Дата Туташхиа.

– Два часа назад он был здесь, – граф показал рукой на улицу.

– Зачем? – спросил Туташхиа.

– Если бы вы собрались бежать… Он должен был вернуть вас, уговорить, что вам ничего не грозит. – Сегеди вынул из кармана часы и, посмотрев на них, добавил: – Мушни Зарандиа просил передать, что сегодня в девять часов вечера он будет у вас в гостинице.

Все мы вышли на улицу проводить графа, а когда экипаж скрылся за углом и мы вернулись к столу, Дата Туташхиа сказал негромко:

– Зачем такие люди идут в жандармы?

– Сейчас Сегеди едет к своим жандармам и думает: зачем люди идут в абраги? – ответил ему Элизбар Каричашвили.

Желтая тетрадь

Прошло одиннадцать лет с той поры, как навсегда исчез из моей жизни Дата Туташхиа, и семь лет с того дня, как Нано Тавкелишвили-Ширер оставила нашу страну и поселилась в Калифорнии.

По принятым у нас нормам юриспруденции и нотариальным законам, как раз к этому времени истекал срок хранения бумаг, которые эти два необычных моих клиента оставили на попечение в моей конторе. Одни пакеты они отдали мне сами, другие присылали потом разными путями. Оба они уже больше семи лет хранили молчание, и я обязан был вскрыть пакеты, чтобы узнать, не проливают ли они света на тайну жизни их владельцев, нет ли там прямых распоряжений и просьб, которые по каким-либо причинам они не могли предать гласности в прежние годы.

Одиннадцать и семь лет! Достаточный срок, чтобы забыть нашу дружбу, теплоту наших встреч, чтобы человек моей профессии взял нож и хладнокровно, как мясник, взрезал конверты. Но я перебирал их один за другим, а руки мои дрожали. Потом я отложил нож, с трудом удерживаясь от подступивших к горлу слез. Конечно, я и прежде много думал о тех днях, но сегодняшние мои воспоминания были переполнены особой печалью, особой тоской по этим людям, которые так недолго и так бурно переполошили мою жизнь и скрылись стремительно, как скрывается упавшая с неба звезда.

Скрылись – и нет их!

Вахтанг Шалитури кончил свою отчаянно озлобленную жизнь офицером во время осады Порт-Артура, когда упавший снаряд не оставил от него и следа. Сандро Каридзе пришел к заключению, что монастырь – лучшее место для уединения и философских раздумий, бросил свою службу и постригся в монахи. Однажды я столкнулся с ним на станции Дзегви, но он отвел глаза и сделал вид, что не узнал меня. А Элизбар Каричашвили, тот и вовсе исчез с моего горизонта. Говорят, в деревне у него оказался старый-престарый дом и клочок захудалой земли. Он поселился там, хозяйничает и разводит цветы. Гоги, это я знаю сам, осточертела его ресторанная жизнь, он принимал участие в серьезном политическом деле; на его деревянную ногу снова надели кандалы и отправили в Сибирь. Каждый месяц я посылал ему десять рублей, пока он был жив.

Я уже сказал, что от Нано не доносилось ни звука… Будь она жива, она не могла не дать мне вести о себе, хотя бы мимолетной. Значит, ее не было уже в живых… Но эхо жизни Даты Туташхиа время от времени докатывалось до меня. Он жил, он яростно боролся с собой, он оставался таким, каким был всегда: прекрасным, единственным, ни на кого не похожим. Во всяком случае, полгода назад было так. А к моменту вскрытия конвертов, может быть, и его не было на свете…

В пакетах, хранившихся в моей конторе, оказались важные документы и переписка этих двух людей. Все письма, полученные от Даты, Нано держала в отдельном пакете. Письма же Нано были главной ценностью Даты Туташхиа. Моя совесть чиста перед ними, я исполнил все, что они возложили на меня. Их письма я хранил долго, до последнего дня существования моей адвокатской конторы. А когда пробил час и я обязан был уничтожить архив, то писем Даты и Нано я не смог сжечь сразу, а сначала переписал в эту тетрадь.

«Лаз! Я должна тебе сказать… Но мешают люди, а мы никогда не бываем вдвоем. Мне зажимает рот страх – вдруг ты считаешь, что женщина не может прикасаться к таким делам?

День вчерашний для меня так же необычен и тревожен, как и тот минувший день, когда я первый раз увидела тебя на дороге в окрестностях Очамчиры. Видно, встречаться в таких загадочных, невероятных условиях написано нам на роду и предначертано свыше.

Подумай сам и скажи – разве я не права?

Вчера я долго не могла уснуть, все из-за нашей встречи. И спрашивала себя, почему же я думаю о ней непрестанно, как и тогда, в очамчирскую ночь. Только под утро я задремала, не понимая, что происходит со мной.

А утром пришла ясность, все стало на свое место, и я смогла наконец понять, что меня так бесконечно волнует. Конечно, я не открою тебе ничего нового, но не могу не сказать – ты так безрассудно ведешь себя, лаз!

Ираклий, по-моему, твердо уверен, что ты Арзнев Мускиа. Но даже если бы он знал правду, от него не может быть ничего дурного. Дело не в нем, дело в тебе самом, в том, как вчера, в Ортачальских садах, ты был так губительно неосторожен! Ты знаешь сам, за то, чтоб тебя изловить, обещана награда, и какой-нибудь негодяй будет счастлив выстрелить тебе в

спину.

Зачем тебе все это? Почему ты появился здесь? Я не имею права спрашивать, но от тюремной решетки тебя отделяет только шаг… Ради бога, скройся скорей, уезжай! Я посылаю тебе это кольцо в память нашей возвышенной дружбы. Аметист мой любимый камень и камень месяца моего рождения.

Лаз, уезжай!

Н.»

«Госпожа Нано! Я был поражен, когда получил ваше письмо. А потом радовался, как дитя. Потому что, поверьте, я никогда в жизни не получил ни одного письма. Писать мне было некому и некуда! И все-таки я счастливец, не смейтесь, но это так. Я утверждал это и раньше, но все смеялись в ответ, зная мою жизнь. Но не будь я счастливцем, разве встретил бы я вас в Очамчире? И после этого жить и бродить по белу свету лишь для того, чтобы встретить вас второй раз. Только с избранником судьбы возможны такие чудеса. И сегодня еще одно чудо – первое в жизни письмо, написанное самой прелестной в мире рукой! Конечно, вы сами не можете и понять, что значит ваше письмо. Этого никто не сумеет понять. Человек, подобный мне, не сможет устоять на земле, если нет никого на свете, кто бы подумал и потревожился о нем. А я уже давно живу так, что принужден в полном одиночестве думать и о себе, и обо всем на свете. Оба эти груза вместе я должен нести один. Их нельзя разделить и каждый тащить отдельно или суетливо взвалить на плечи только один из них… И, верно очень хорошо, что я один, что весь мир во мне одном. Однако человек такой, как я, в конце концов забывает, что о нем может думать другой человек. Забывает… И потребность в таком чувстве притупляется и словно отмирает, будто зарастает мхом и покрывается пеплом. Так ты и живешь – то тяжело, то легко, то весело, то печально – и не подозреваешь даже, что человек одарен еще одним прекраснейшим свойством – радостью от того, что кто-то другой думает о тебе, искренне и бескорыстно беспокоится о твоей судьбе. Как драгоценный камень, редка и дорога та радость. Сколько невидимых нами усилий совершается на небесах, чтобы спустить нам эту благодать. Всевышний я уверен, делает это для избранных. И таким избранным стал я… Как же не считать себя счастливцем, если вы одарили меня такой радостью.

Вы спрашиваете, зачем я приехал сюда… Отвечать слишком длинно, но, когда мы встретимся, может быть, сумеем поговорить об этом – так предсказывает мне сердце. Пусть вас ничто не волнует, госпожа Нано, у меня нет дурных предчувствий… Не думайте, что я целиком полагаюсь на случай, но я верю в свой дар предвидеть. Как мне не верить… Природа вручила мне его заведенным, как часы, и я имел тысячу возможностей испытать его на прочность. Только не думайте, бога ради, что я эгоист и не считаюсь ни с кем, кроме себя. Если человек, как я, провел всю жизнь в гонениях, в поисках прибежища и укрытия, он превосходно знает, что его удачи целиком зависят от людей, с которыми он связан, благодаря которым он жив. Если я сам хочу быть на свободе, то я должен думать о свободе тех, которые протянули мне руку помощи, о том, чтобы их не настиг закон, расплата и наказание. Эта простая истина для меня как заповедь – если друг в беде, и ты в беде. То же самое, что я писал о двух грузах… Я принял меры, знайте, госпожа Нано, я не принесу зла никому из тех людей, с кем встречаюсь сейчас здесь, в Тифлисе.

Ваш бесценный дар вверг меня в крайнее смущение. Это я должен был преподнести вам подарок, но я боялся, что покажусь вам назойливым и фамильярным. Принимаю ваш камень как дар королевы и благодарю нижайше как ваш рыцарь и один из подданных вашего королевства.

Это письмо я пишу в задней комнате конторы Ираклия, его доставит вам посыльный, верный человек… Я молю вас об одном: верьте мне, доверьтесь мне, не избегайте меня, не вставляйте меня. Без вас жизнь моя потеряет смысл.

Ваш верный раб Д.Т.

«Я был убит, госпожа Нано, тем, что обидел вас. Вы сказали: ты оскорбил меня, лаз, ты вел себя недостойно! С этими словами вы вышли из экипажа, еле попрощавшись со мной, поднялись по ступенькам крыльца, уходя так, как уходят навеки. Я чуть не помешался с горя и,

перестав владеть собой, хотел мчаться вслед за вами, чтобы просить прощения… Хорошо, что вовремя взял себя в руки и сумел сообразить, что вы можете принять за оскорбление. Пешком я вернулся в гостиницу, подавленный и несчастный.

Всю ночь я писал это письмо. Молю бога лишь об одном, чтобы вы в гневе не вернули мне его назад нераспечатанным.

Клянусь вашей жизнью – самым дорогим, чем я могу поклясться на этом свете, – все, что я сделал, я делал только для вас. О себе я думал лишь тогда, когда спросил, почему вы в дурном настроении. Спросил для того, чтобы получить ваш ответ и суметь оправдаться.

Но вы не дали мне этой возможности, и теперь я вынужден писать, а писать труднее, чем сказать. И я мучаюсь, не нахожу верных слов, зачеркиваю и снова пишу. А то, что выходит из-под моего пера, так далеко от того, что живет в моей душе.

Помните, когда мы вошли в зал, вы оперлись на мою руку? Ираклий отстал от нас, и получилось, что внимание всех присутствующих было устремлено к нам, вернее – ко мне, потому что меня мало кто здесь знал. И я заметил улыбочки и подмигиванья… А когда нас пригласили сесть и к нам подскочила та самая госпожа Мариам, с которой я познакомился в вашем доме, я тотчас же догадался, что она успела обежать всех и оповестить, что видит нас вместе не в первый раз. Скажите сами, разве не обязан я был предпринять что-то решительное, чтобы развеять сплетни, которые завихрились вокруг вашего имени?

А тут как нельзя кстати Ираклий передал, что госпожа Элисо Церетели хочет познакомиться со мной, так как ее чрезвычайно интересуют лазы. Я извинился и отошел от вас. Это было еще до начала танцев.

Вспомните, госпожа Нано, что последовало вслед за тем. Все, конечно, решили, что вы остались в одиночестве, и стали крутиться вокруг вас, вся эта знать – и Багратиони, и Дадиани, и Гуриели. И каждый из них, состязаясь друг с другом, старался покорить вас, развлечь и увлечь. Сегодня все они, я думаю, пребывают в унынии, так как ни один не завоевал пальмы первенства, не добился успеха и победы. Но разве могли они взглянуть на вас так, как смотрел из своего угла я, и оценить с преклонением, как великолепно держались вы среди этих неотразимых вельмож. Но сплетники тут же нашли свое толкование, и Элисо Церетели, нарочито возвысив голос так, чтобы все кругом услышали, спросила меня: как вы добились, что эта прелестная женщина и взглянуть боится на других мужчин? Я ответил равнодушно, что она заблуждается, а нас с вами ничего не связывает, кроме вашего гостеприимства. До этого мы рассуждали о лазах, и Элисо Церетели вела себя при этом чрезвычайно игриво, а после моих слов и вовсе стала кокетничать напропалую. Я стал подделываться под ее тон – пусть все видят, что я ухаживаю за этой женщиной, а Нано Тавкелишвили тут ни при чем. Этого я хотел. А когда нас пригласили к столу и Элисо Церетели попросила, чтобы я сел рядом, то я согласился. И просидел так до самого конца. А когда мы выходили из зала, кто-то громко сказал: увезут нашу Элисо в Лазистан! Это донеслось, конечно, и до вас. Да, я вел себя так, чтобы злые сплетни и дурные пересуды не омрачили вашего имени. Вот и все.

Как будто так… А вместе с тем: «Ты вел себя недостойно, лаз!» И это правда, и королева на самом деле была оскорблена!.. Я, кажется, понял, в чем дело, и, так как нам не девятнадцать лет, должен написать и об этом.

Госпожа Нано, вы – огонь, и ваше желание представить обществу Арзнева Мускиа вашим рыцарем было вспышкой этого огня. Ваше прекрасное, исполненное благородства сердце велело вам принести в жертву вашу женскую честь для того, чтобы на долю Даты Туташхиа выпал еще один счастливый вечер. Но холод каменной моей души не позволяет мне поддаваться соблазнам простых радостей жизни. Я отшельник и принес клятву не ждать благодарности за свои молитвы, а получать вознаграждения только за выполненный долг.

Вы хотели сделать мне подарок. Я не принял его. И виноват в том, что не придумал лучшего пути, чтобы его не принять. Пусть королева простит меня. Уповаю на ее доброту и великодушие.

Наказанный вами раб – Д. Т.

«Эх, лаз! Причина в том, что я женщина, а ты – мужчина. Потому-то к одному и тому же эпизоду мы подобрали разные ключи.

Знаешь, о чем я мечтала в тот вечер? Чтобы благороднейший из рыцарей постоянно был рядом со мной и чтобы ему, как и мне, это приносило радость. Вот и все. Разве думала я о зависти? Никто ведь не узнает никогда, что ты не лазский дворянин, а Дата Туташхиа. Конечно, может быть, меня вело и незлобивое мое тщеславие, но больше всего, поверь, мне хотелось, чтобы тебе было хорошо. Разве ради этого не стоит принести в жертву свое доброе имя и честь? Женщина всегда на это готова.

Ты поднялся на защиту… Не для того, чтобы прослыть благородным рыцарем, я знаю. Да, кто мог догадаться, что оставить меня и провести вечер с Элисо Церетели тебе в тягость? Ты исполнил свой долг и получил свое духовное удовлетворение. Этому легко принести в жертву «простую радость», как ты назвал пребывание в моем обществе. Такова натура мужчины.

Тайна моей женской природы была недоступна тебе, как и твоя – мне. Что делать, если мы встретились, как два противоположных полюса! Но примирить и соединить их воедино может только бог. Так принято считать в философии. Бог для меня – добро и любовь. И если добро способно найти в человеке свое самое совершенное выражение, то таким человеком являешься ты…

Во всяком случае, приближаешься…

И ты, конечно, прав, а я, конечно, не права, во всяком случае, если судить по результатам. Верно, на том вечере я думала не только о тебе, но и о себе. Да, ты ни в чем не виноват… Виновата только вспышка пламени!

Прости меня!

Я еще раз перечитала свое письмо… Может быть, и правда, было б лучше, если б нам обоим было по девятнадцать лет?

Н.

P. S. Ираклий считает тебя другом, и нехорошо, мне кажется, что он не знает, кто ты. Надо хотя бы намекнуть. Если ты согласен со мной, то сегодня в ресторане у Гоги дай мне знак, я что-нибудь придумаю.»

Когда кто-нибудь, госпожа Нано, видит нас вместе, недоумевая и завидуя, как это рядом с таким бродягой может быть такая прекрасная женщина, то вы, конечно, согласитесь, что радость этого бродяги – простая радость. Я это и хотел сказать, когда писал вам. Может быть, я сказал неточно, в этом виноват мой дурной грузинский язык.

То, что произошло вчера у Гоги, было неосмотрительно, вы правы, но с такими людьми, как Шалитури, иначе себя не поведешь. Они всегда норовят сесть вам на голову. До конца их, я знаю, не исправишь. Но уроки, вроде вчерашнего, принесут какую-нибудь пользу, в другой раз он не будет таким наглецом, можете мне поверить.

Когда вы сказали в экипаже: лаз, я знаю, кто ты, – Ираклий, я видел, насторожился. Он и раньше, несомненно, что-то подозревал, слишком много вокруг него чудесных совпадений, но свести все в один узел без нашей помощи он не сумеет. Не лучше ли сказать ему все прямо? Вы придумали эту фразу, чтобы навести его, как друга, на правильный путь, а вышло так, что мы задали ему еще большую головоломку. Это моя вина, и мне нетрудно ее исправить… Просто рассказать все как есть. Когда я подал вам знак в ресторане, я думал именно об этом. Но не вышло! И все-таки что ж лучше – открыться или молчать?

Вы знаете, в подобных случаях вообще-то полагается молчать. Для него самого лучше, чтобы он ничего не знал. Тогда, допустим, если я попадусь, то он ни в чем не виноват. Он не преступил закона, не стал соучастником… Он не отвечает за меня. А если ему известно все, то так ли, иначе ли, но его принудят в этом признаться. Естественно, наш договор потеряет свою силу, и кто знает, что будет с ним потом. Конечно, проще не говорить, но не знаю… Решайте вы, госпожа Нано, как вы скажете, так и будет.

Вы знаете, мне исполнилось шестнадцать лет, когда я вступил в самостоятельную жизнь. Уже в семнадцать лет я имел немалый опыт зрелых наблюдений. А в восемнадцать понял, что любая женщина в отношениях с любым мужчиной всегда бывает духовно угнетена. Ее любовь сопровождается тысячью страхов. Они терзают ее и мучают. И самый главный страх – потерять любимого человека, чтобы кто-то не отнял его, не увел, не угнал, чтобы сам он не бросил ее по

непонятной для нее причине. Конечно, это случается иногда с мужчинами, но страдают они из-за этого неизмеримо меньше. И вот когда наступила ясность, общение с женщинами становилось для меня все трудней. Я не мог быть в себе уверен, и меня пугало, что я не смогу остаться верным до конца, что я остыну, охладею, разочаруюсь, а она погрузится из-за меня в вечные мучения. За всю свою жизнь я не написал ни одного любовного письма… Но наша переписка заставила меня оглянуться назад и представить, что было бы, если бы я встретил вас в девятнадцать лет, какое письмо я вам сочинил бы тогда. Оказалось, письмо это было бы таким: «Наша встреча и наша любовь, Нано, это наша судьба, предначертанная на небесах, нам не спрятаться от нее, не убежать никуда. И может быть, тысяча причин будет принуждать отступить на тысячу дорог, им не развести, не отнять, не оторвать нас друг от друга. Знай, что нашу любовь благословил господь бог! И если высшие силы захотят снять с меня мой долг перед тобой, все равно я не расстанусь с ним и буду нести всю жизнь потому, что сердце никогда не позволит нам разлучиться, моя любимая. Помни, небеса не простят нам, если мы отречемся от их дара, и бог тоже не простит – ни тот, в которого верим мы, ни тот, в которого верили наши предки.

Любовь приносит счастье только отважным, только тем, кто, не зная сомнений, бросается в ее омут. Любовь же труса оплетена страхом и расчетом. Он не заслужил и крох счастья.

Жизнь моя, моя Нано, не бойся ничего, не думай ни о чем, покорись зову сердца, не гадай, куда оно тебя приведет и что оно тебе принесет. Быть вместе – наша судьба. Остерегайся удела трусов, не променяй радости на страх, моя желанная!

Я бегу, чтобы поклониться снова тебе. Но если ты опять скажешь «нет», я унесу тебя за тридевять земель, не спросив твоего согласия.

Я буду любить тебя до гроба – на этом свете, а на том свете у нас начнется все с самого начала».

Госпожа Нано, я почуял страх, хотя вы и сказали, что победили его. Помните, в тот день, когда мы встретились у Ираклия… И добавили, что можете допустить в своей жизни, что хотите, потому что вы свободны во всем и всегда. Тому, что вы побороли страх, я мог бы еще с грехом пополам поверить, но в то, что вы свободны… Нет, не верю! По-моему, вы сказали так, чтобы доказать нам, что наветы наглеца Ветрова не имеют почвы под ногами. А вы совсем другая, не та, какой хотели в тот день предстать, клянусь, что это так.

Простите, что я осмелился подойти к вам так близко, униженно прошу не посчитать мое письмо за дерзость.

Вечно ваш Д. Т.

«Вчера ты снова заговорил о страхе – вечном спутнике женской любви. Я знаю, ты хотел вовлечь меня в тот разговор, но я не захотела. Не потому, что он невозможен, а потому что он возможен, только когда мы вдвоем.

Я хочу ответить тебе на «любовное письмо». Чтобы сказать, что я думаю, и отблагодарить за эти несколько строк, которые принесли мне такую радость, о какой я могла мечтать только в самых пылких девичьих мечтах. Я бы хотела, чтобы в ответ ты получил от меня в дар хотя бы несколько крупиц такой же радости.

Ты счастливый человек, ты можешь вообразить себя девятнадцатилетним и говорить о любви на языке тех лет. Ты счастливый человек, потому что и сейчас в твоей груди бьется юношеское сердце, и так будет всегда, пока ты есть. А я не могу предложить тебе ту наивную любовь, не имею сил взглянуть на себя теми глазами, не смею стать другой, чем я есть. Да, чистейший человек, я люблю тебя тридцатишестилетней и пишу письмо из нынешних, а не из прошлых лет.

Нет, я не давала тебе повода увидеть страх в моей любви. Разве в первый же день я не рванулась к тебе навстречу? Разве не понимаешь ты, что мне нет дела до других, что я хочу лишь одного – рабски покориться зову сердца. Ты только дай мне знак, что ты зовешь меня, и я приду. Все, что у меня есть, принадлежит тебе. А мне для счастья хватит и гордости, что я была твоей, что ты любил меня и был со мной, пока любил. Настанет день, и ты уйдешь, а я останусь и буду знать, что в этом твой долг. Сперва я разгадала твою душу, а вслед за тем пришла любовь. Я хочу внести в твою жизнь хотя бы крупицу счастья и думаю лишь о тебе. Я люблю

тебя ради тебя, а не ради себя, ты понимаешь это? И значит, я люблю как смелый человек, а не как трус! Я готова на все, я жду тебя, зову… Но думаю, ты не придешь.

Я опоздала – целых два дня писала письмо. Говорить легко, писать так трудно, бумага не терпит хаоса и сумбура. Времени потеряла много, а доказать ничего не смогла.

Твоя Н.»

«Все у нас выходит слишком сложно, госпожа Нано, но иначе мы уже не сможем, вероятно, – вот где причина всех причин. Наши размышления и колебания разрослись и превратились в преграду для нашей любви. В юности так не бывает, слава богу. Если бы Адам и Ева так истово искали бы правду, сомневались и выясняли отношения, род людской не существовал бы на нашей земле.

Мужчина может идти на близость с женщиной только тогда, когда считает себя достойным ее. Наверно, и женщина испытывает те же чувства, если она, при этом, еще человек. Она не согласится добровольно на любовь мужчины, считая, что он хуже ее. Я много думал об этом и понял, что я не сто́ю вас. Вы сами согласитесь, что это так. И значит, ваша готовность на все – это просто подарок или возвращение долга. Раньше я думал иначе, но, узнав вас близко, понял, что принял за сияние добра жажду отплатить за добро. А возвративший долг что может получить в ответ? Наверно, только благодарность. Но я уже писал вам, я не хочу благодарности за свои молитвы и не принимаю вознаграждения за неисполненный долг.

Но есть еще одна причина. Случайно я оказался человеком, который спас от позора подругу жизни господина Ширера. Могу ли превратиться в человека, который потом принудит ее к измене? Конечно, в жизни все легче и проще, но я знаю себя, знаю свою совесть, которая изгрызет мне душу за то, что я бессовестно принял такую расплату. Поймите, что всем нашим друзьям вы равно нужны для поклонения. Наша близость, как бы мы ее ни таили, неизбежно отдалит нас от них, окружит если не каменной стеной, то, во всяком случае, глухим забором. Есть ли у нас на это право? И заслужили ли эти благородные люди от нас такой удар?

Госпожа Нано, знали бы вы, как сильно я люблю вас! Так сильно, что боюсь моей любви. Она переполнила мне душу. Такое чувство при первой близости или вспыхивает мгновенно, как порох, и сгорает тоже мгновенно, оставив после себя один лишь легкий дымок, или тлеет и чадит назойливо и тяжко, как сырая осина. Прийти не трудно – я приду, но что, если моя нескладная судьба превратит этот приход из первого в последний, из радостного – в горький. Что тогда останется вам для воспоминаний обо мне? И что унесу я с собой как мечту?

Судите сами, достоин ли вашей любви такой мужчина… Его зовут, а он не идет, он думает, он гадает, он вытаскивает одну причину за другой. Но что поделаешь, мне не девятнадцать лет, а мыслью, как ярмом, наделил меня господь.

Но я знаю, госпожа Нано, знаю, что есть вихрь, который может налететь, закрутить, унести, не спрашивая ни о чем. Я чувствую, он надвигается. Тогда я буду прав перед богом и людьми, невзирая ни на что, даже если вы перестанете желать моего прихода.

Целую ваши руки – Д. Т.»

Никандро Килиа

Что там говорить, Мушни Зарандиа был большим хитрецом. Что правда, то правда. Хитрецы, не спорю, бывают разные. Он же был добрым хитрецом, а не злым. Это я вам сейчас докажу, если вы не будете меня прерывать. От чего зависит судьба маленького человека – кто может угадать? Сильный виноват, а у слабого – голова с плеч, вы же видели, как это бывает… Да и сам человек может в такую западню попасть, никакой мудрец не поможет ему вылезти. Маленький человек должен ведь исполнять то, что приказывает сильный, хозяин? С этим никто не будет спорить. А если хозяин хочет, чтобы он совершал нечестивые дела? И он потеряет службу и пустит семью по миру, если осмелится отказаться. Как тогда быть маленькому человеку? Я вам и это сейчас растолкую. Он должен, поверьте мне, спотыкаться, но не падать. А если и упал, то встать ему должен помочь тот, из-за которого он упал. Так надо изловчиться маленькому человеку, как это сделал я, когда меня изгнали с должности начальника таможни.

Целый год я жил без жалованья, а потом те самые люди, которые лишили меня службы, дали мне должность полицмейстера. Как я добился этого? Только почтением и уважением начальства. Начальник должен понимать твою благодарность, считать, что ты человек добропорядочный, покорный и благовоспитанный, а вместе с тем он должен чуть-чуть, но побаиваться тебя… Надо что-то держать за пазухой, секретишко какой-нибудь, чтобы тот боялся его огласки. Дело – деликатное, без опыта и знаний ничего у тебя не выйдет. Не думайте, что я заболтался, забыл, о чем повел речь. Помню, что о Мушни Зарандиа. О нем и будет разговор.

В один прекрасный день получил я из Тифлиса депешу, а в ней предписание – выведать и сообщить, встречается ли Мушни Зарандиа с Датой Туташхиа и в каких они состоят отношениях. А узнавать-то не о чем, раз они двоюродные братцы! Велено мне было еще выяснить, как вел себя Мушни Зарандиа в нашем акцизе все пять лет, пока служил, и не числится ли за ним каких-либо противозаконных дел. Чиновник без опыта и понимания рассудил бы, конечно, так: провел бы расследование, написал донесение и – конец, как говорят, всему делу венец! А для меня конец – не венец, а начало. Разве можно козырную карту упустить, раз она сама тебе в руки попалась? Только дурак круглый не догадается, что с козырями делать надо. Что я знал преотлично? Что Мушни Зарандиа ради казенных дел хоть на виселицу бы полез, честный был до болезненности, а с братцем своим двоюродным не виделся никогда. Какой же я полицмейстер Никандро Килиа, чтобы этого не знать! Но были у меня и свои суждения. Вы слышали, говорят, что по теленку можно будущего быка распознать, вот и я доподлинно был уверен – быть Мушни Зарандиа большим человеком, а большому кораблю – большое и плавание. И разве плохо, согласитесь сами, чтобы такой человек страх перед тобой затаил, когда-нибудь страх этот еще как сгодиться может.

И была тут такая история. Мушни однажды выловил у нас всех контрабандистов и засадил их в тюрьму, а с ними вместе и тех их дружков, кто предлагал ему сто тысяч рублей за их вызволение. После этого пришли к нему два еврея – брат их тоже сидел в тюрьме – и посулили огромные деньги за то, чтобы он выручил их брата. Мушни денег не взял и евреев пристыдил, сказав: «Брату вашему дадут год, самое большее два, не выбрасывайте на ветер денег и не предлагайте мне нарушить закон…» Ну, с тем и ушли те евреи. Но не смирились. В Сухуми тогда один ювелир жил – Доментием Руруа звали, так они у него бриллиантовые серьги за пять тысяч купили и без ведома Мушни жене его поднесли, чтобы она мужу о том ничего не говорила, но за брата ихнего ненароком бы заступилась, хотя бы два слова замолвила, и на том спасибо. Я, конечно, про это узнал, на ус намотал и замолчал до поры до времени.

Так и шло время. А когда получил я предписание, то, как вам про то рассказал, все как есть проверил, но ничего из того, что навредить Мушни могло, обнаружить не смог. А отписав о том, донесения отсылать не стал, а начал копаться в истории с бриллиантами. Но копался нарочно так, чтобы до Мушни Зарандиа в Кутаиси о том доползло. Доползти-то доползло, а он не откликается, будто воды в рот набрал, будто к нему это касательства не имеет. Но недолго так длилось. Захотел все-таки со мной повидаться. Поехал я к нему, а он и говорит: «Запомни, что ничего незаконного я не совершал. Смотри не ошибись». А мне только это и нужно было. Намекнул ему, что молчать буду, но что ювелир Доментий Руруа при этом жив-живехонек, те два еврея тоже рядом живут, а твоя глупая жена у тебя дома сидит, и серьги те у нее в сундуке лежат. Конечно, прямо так не сказал, о таких вещах вслух кто говорить будет, дал ему понять, что про себя таю.

А потом в Тифлис поехал и свое донесение по начальству вручил, но устно про бриллианты присовокупил, объяснив, как положено, что писать об этом не писал, разговоры шли, а доказательств пока нет… чтобы потом не упрекнули: дескать, знал, а не сказал? Неизвестно еще, как все обернется; если делу этому суждено будет двинуться дальше, я всегда право имею сказать: ведь говорил я вам, а вы ко мне не прислушались.

Но не поверили мне тогда: аджарцы, говорят, Мушни Зарандиа взятку в сто тысяч совали, а он не взял, стал бы он потом из-за каких-то серег руки марать! Я спорить не стал, что верно, то верно. Но был доволен весьма, ведь какого человека в сети свои подловил. Ну, споткнусь я теперь где-нибудь, он непременно мне руку протянет, выхода у него не будет другого! Но, скажу вам наперед, все по-другому вышло. Мушни Зарандиа по всем статьям перехитрил меня,

таким оказался человеком…

Пришло время, и затребовал он меня к себе, теперь уже в Тифлис. Едва я вошел, велел положить на стол список людей, что сидели у меня в тюрьме. Список при мне, пожалуйста, труда никакого в том нет. В тюрьме в тот момент было шесть человек. Стал он про каждого расспрашивать, кто за что сидит и на что способен. Особенно приглянулся ему мелкий воришка Матариа, который вместе с Хазава, таким же, как он, шакалом, в Цаленджихе козу украл. Я их обоих в полиции держал. Почему он этого тупого мужичка выбрал, об этом я только в самом конце узнал. А пока он вроде о другом заговорил и совсем меня из колеи вышиб. Прямо быка за рога взял.

– Ты, – сказал он, – должен захватить Дату Туташхиа. Но так, чтобы арест его хоть на два дня тайной оставался. Втихую надо все сделать!

Хорошенькое дело!

Конечно, со своим человеком, если даже он высоко сидит, надо уметь так разговор вести, чтобы он помнил всегда, что он для тебя свой человек, иначе никакой пользы тебе от него не будет. После этих серег я с Мушни этакий грубоватый панибратский тон избрал; впрочем, откровенно вам скажу, и он на этот тон шел и охотно его поддерживал.

– Ничего себе, Мушни-батоно! – воскликнул я. – Кто же подложил тебе такую свинью?

Сидит он, не отвечает.

– Ведь это ты добился, чтоб его помиловали! Зачем же теперь нам его хватать! Да еще так, чтобы все было шито-крыто и никто об этом не узнал. Могли бы, так поймали прежде, пускай бы с шумом и стрельбой! А теперь, когда он сидит у себя дома, кому же это под силу, да так, чтобы он и выстрелить не успел! Ну, а если выстрелит раз, то выстрелит еще раз, а потом еще. И кончится так, как кончалось всегда с ним в таких историях.

Зарандиа поднял руку, прерывая меня.

– Давай все-таки говорить о деле, – сказал он спокойно. – Так вот этого Матариа ты должен выпустить из тюрьмы. И с одним условием: чтобы он выкрал у Даты Туташхиа черного теленка и принес к тебе в полицию. Снабди его большим мешком, пусть запихнет его в мешок и так к тебе тащит. Обещай, что освободишь его. И если он исполнит все как надо, то и вправду отпусти его на все четыре стороны, а дело его закрой. Такой Матариа далеко от тебя не уйдет, утащит какую-нибудь индюшку и опять к вам возвратится, тогда и козу ему можешь припомнить. Имей в виду, что из Петербурга приехал полковник Сахнов. Мы с ним вместе в Поти в гостинице будем ждать, а ты дай нам знать, когда теленок в полиции будет. За тем пошли человека по деревням, пускай рассказывает, что вора поймали, теленка у него отобрали, пусть хозяин, мол, в полицию придет! Дата Туташхиа, думаю я, за своим теленком обязательно придет! Ты впусти его на конюшню, где теленок будет стоять, дверь снаружи запри и тотчас посылай гонца в Поти с этим известием. Продержи его в конюшне, пока не стемнеет, а потом переведи в свой кабинет. Пусть сидит там, пока полковник Сахнов из Поти приедет. Что дальше – уже полковника дело. Только смотри, если перепутаешь, не сомневайся, быть тебе тогда городовым. Вот и все, что тебе надлежит выполнить.

Долго мы с ним в тот день проговорили. Он отпускать меня не хотел, все поучал, как вести себя при разных поворотах дела. А потом заставил, как попугая, повторить, что он говорил, назубок все вызубрить. И пока не убедился, что добился своего, не разрешал уйти.

После этого сел я в поезд и отправился домой. И тотчас – к себе в полицию. Приказал, чтоб привели поскорей того Матариа. Можете мне поверить, такого кретина я еще в жизни не встречал, чуть с ума меня не свел, пока удалось ему вдолбить, что от него нужно. С грехом пополам, кажется, наконец, удалось. Из какого стада надо было стащить теленка, он знал, конечно, но кому принадлежит тот теленок, понятия не имел.

Через двое суток ночью приволок он в конце концов теленка. А у меня, понятно, в той деревне свой человек был, и от него я уже знал, что у Туташхиа теленка украли.

Дал я нашему вору пять рублей. «Ступай, – говорю, – отсюда подальше». А он топчется на одном месте, будто хочет что-то сказать, но смелости не хватает. «Уходи, – говорю я, – подальше от греха, а то снова в подвал засажу, будешь там сидеть».

Матариа, видно, перепугался, затарабанил что-то во весь голос, хоть уши затыкай. Я разобрать не мог, чего он хочет. Но потом догадался. У меня, говорит, на примете еще один

черный теленок есть, тоже с белым пятном на боку. Украду я его для вас, а вы за это моего дружка Хазава тоже отпустите.

Прогнал дурака прочь. А затем послал полицейского в Поти сообщить Сахнову и Зарандиа, что теленок в полиции. А на другой день как снег на голову пожаловал к нам сам полковник Сахнов. Вроде мы так не договаривались, вроде приехать было положено только тогда, когда Дата Туташхиа будет сидеть у меня на конюшне. Осмелился я ему об этом сказать, а он в ответ:

– Не рассуждать!

И прав, конечно, что ни говори. Не дело маленькому человеку вмешиваться в планы петербургских чинов. Я замолчал и послал человека наверх – по деревням…

Беглар Гвалиа

Теленка того прозвали Бочолия, сам Дата мне про это не раз рассказывал, а я другим без конца повторял, так и засело в памяти. Дата говорил, бывало:

– Жизнь абрага, дорогой мой Беглар, если ты не круглый дурак, хочешь не хочешь, а научит тебя хитрости. За мной гонялись, скажу тебе правду, глупые люди и не могли меня поймать именно потому, что были глупы. Они не способны придумать путного, и все их уловки я давно разгадал, еще до того как ушел на Кубань. Как орешки, разгрыз их ухищрения, так как на них лежала печать тупости. Им не за абрагами, а за индюшками бегать. Но как только в дело вмешивался один умный человек, я тотчас попадался впросак, как мальчишка. И так случалось несколько раз. И сейчас, поверь мне среди них никто гроша ломаного не стоит, кроме одного. Этот один, чувствую я, и сумеет меня одолеть.

Да, я начал про Бочолию… О стаде Туташхиа когда-то вся Мегрелия знала. Да что там Мегрелия – от Новороссийска до Батуми слава о них гремела. Бедный наш отец продавал скот где только мог, пускай, говорил, добрая порода по всему свету разбредется. Потому и знаменита была. Скот как на подбор, все быки черные с белыми отметинами, нигде таких не найдешь. Идет пятилетний бык, а силы больше, чем у двух быков Кварацхелиа, рога – с локоть, один от другого отстоит на два локтя. Есть такие люди, они считают, что у вола шея должна быть короткой и толстой, ноги тоже толстые и короткие, чтобы крепче в землю упирались, а голова вниз опущена. Ничего они в этом не смыслят. У хорошего вола шея должна быть, конечно толстой, не спорю, но если шея короткая, то ярмо ее быстро изранит. Нет, шея длинной должна быть и ноги – тоже длинные, тогда шаг большой. А голова, как у оленя, гордо вверх закинута. Хороший бык и осанку красивую иметь должен. И если он, как царь, величественно и спокойно движется по земле, знай, это замечательный бык. И еще одно, о том только старые люди знают: если у него глаза голубые, жить ему дольше других и работать тоже на шесть-семь лет больше. Бедный мой отец любил говорить: мы, грузины, – потомки Ноя. Помните, Ной посадил в ковчег и быка, и бык этот сорок дней и сорок ночей, кроме неба и воды, ничего не видел. Потому и глаза у него стали голубыми. От того быка и пошло наше стадо…

Когда Дата доходил до этого места, он всегда замолкал, молча набивал свою трубку и только потом продолжал:

– Когда нашего отца в горах растерзали медведи, в гурте было шестьсот сорок голов. Пока мы узнали, какая беда стряслась, и пока мой дядя Магали Зарандиа поднялся наверх в горы, немало времени прошло. Скот, что не разорвали и уцелел, разбрелся кто куда. А дядя – ты же знаешь! – не от мира сего, всех одинаково жалеет – честного и вора, доброго и проныру, громкого слова сказать не может. Он, ей-богу, за всю жизнь гроша ломаного от паствы не принял. Что мог в горах сделать такой человек? Собрал он голов триста, триста пятьдесят и отдал наш гурт Шавдиа с условием, что одна четверть приплода будет нашей, а три четверти – его. Я мальчишкой тогда был, матери давно в живых не было, нас с сестрой Эле дядя Магали Зарандиа и тетя моя Тамар к себе, в дом забрали, не меньше, чем своих детей, нас любили. Я конечно, ничего тогда поделать не мог, но как исполнилось мне шестнадцать лет, пошел я в горы за своим гуртом. И что же? Шавдиа как будто возвратил мне стадо – сколько от дяди принял, столько и мне отдал. Но вместо быков и коров одних только телят. Ничего не попишешь, взялся я за дело, и через несколько лет у нас прекрасное стадо было. Но тут

сложилась моя жизнь так, что пришлось мне уйти в абраги, и снова остался наш гурт без хозяина. Эле, сестра моя, еще девочкой была, справиться, конечно, не могла, и опять пришлось отдать стадо чужим людям, и опять под четвертую часть. Но не Шавдиа, а Хацациа. Пока я в Грузии был, наш договор выполнялся честно – скотину выхаживали как надо, а четвертую часть доводов исправно отдавали Эле. Но покинул я Грузию, и четыре года нога моя не ступала на родную землю. Решили тогда Хацациа, что я сгинул навсегда, пропал, а может, и погиб. Знаешь, что такое душа человеческая, какие мы жадные да ненасытные? Вот и попутал их дьявол так, что растащили они мое стадо. Когда я вернулся, от него ничего не оставалось. У Эле в хлеву стоял только один, огромный, как слон, бык да корова дойная. Одним словом, рожки да ножки. Едва я вернулся, Хацациа ко мне своих друзей подослали, плакали и божились, что скот погиб во время мора, а как теперь быть, они и ума приложить не могут. А потом сказали мне люди – никакого мора и не было в помине, а стадо мое они продали ахалкалакским молоканам. Что я мог поделать? Всучили они мне тогда десять тысяч рублей. Я взял и оставил их в покое. Вот как все было на самом деле.

На этих словах снова замолкал обычно Дата. Только улыбался… Знаешь, как улыбался? Как улыбается смущенный человек, вспоминая о том, о чем ему не так уж приятно вспоминать. Так умел улыбаться только Дата. А потом он продолжал:

– Когда брат мой двоюродный, Мушни Зарандиа, выхлопотал мне помилование, бросил я абражничать и вернулся домой. И как раз через месяц после этого отелилась наша корова. Теленка красивее не было на свете. Эле места не находила от радости. Для нее этот теленок, вернее, телка была даром даром божьим, предвестником благополучия и добра. «От нее пойдет снова наше стадо, – восхищалась она, – и в нашем доме, как наших дедов и отцов, снова воцарится покой и достаток». Эле пошла в Мартвили и отслужила там благодарственный молебен, сто рублей пожертвовала монастырю.

До самой весны возилась она с любимым своим теленочком, держала в тепле, осыпала ласками, ухаживала как за ребенком. И назвала Бочолией. Бог не дал ей детей, так она на теленка всю нежность свою изливала.

Без мужчины, сам понимаешь, какое хозяйство. Пришлось мне засучить рукава. То пашня, то сад, то виноградник, то забор, то ворота… Дел хватало, что там говорить. И хотя я один был на все руки, но труд есть труд, и скоро все у нас на лад пошло. К осени богатый урожай мог быть, на три семьи хватило бы. Из дому я не выходил, не тянуло меня к людям. Именины, свадьбы, крестины – все проходило без меня.

Так и было, что правда, то правда. Не хотелось ему на людях бывать. Если откровенно говорить, на то своя причина была. Вы знаете ведь, Дата Туташхиа таким уж уродился на свет, чтобы от истины своей не отступать ни на шаг, жизнь свою за нее отдать. За то и любили его люди. Но он в один прекрасный день спиной ко всем повернулся, в неистовство пришел: почему все не такие, как я, почему все хуже, а не лучше меня?! А если бы все такими были, как Дата или Магали Зарандиа, что его воспитал, о чем еще мог бы мечтать бог на небесах и люди на земле? Но не получается так.

Что поделаешь, нельзя же из-за этого так бушевать, сердиться на людей и отворачиваться от мира? А ведь всю жизнь-то прежде как одержимый какой лез в чужие дела. И врагов сколько от этого нажил. Враги-то, конечно, люди плохие, а от этого ему не легче, а горше: от вражды хорошего человека беды особой не будет, а плохой-то тебя непременно со света сживет. А Дата на всех – и плохих и хороших – рукой махнул, и на несчастья их тоже. И на полном ходу с дороги своей свернул, да так круто, будто держал свой путь ну хотя бы в Сухуми, а потом вдруг на потийскую дорогу вышел. Знал бы ты, каким он был тогда, перед тем как Мушни Зарандиа с властью его примирил. Конечно, вреда от него не было никому, но если бы при нем самого святого Георгия кинжалом проткнули, он и тогда пальцем бы не пошевелил. Я только про те годы говорю. А мир знаешь как устроен – если я тебе не нужен, так уж ты мне и подавно ни к чему. Увидел народ, что Дата Туташхиа от всех бед человеческих и несправедливостей всех голову воротит, и сам отвернулся от него. Так и не осталось у него в несчастье верных друзей, всех растерял по дороге. А от этого еще пуще ожесточился и рассвирепел наш Дата, но не мог с собой ничего поделать, не понимал, что сам виноват во всем. А Паташидзе эти, Килиа и их подручные, уж на что безмозглые, других таких не сыскать, а все же догадались, где как абрага

съесть можно, и начали через своих людей тысячи всяких небылиц о нем распускать, дурные сплетни и слухи. Народ всему верил. И не только верил, но и сам присочинять стал, и такие истории про Дату пошли гулять по свету, что волосы на голове дыбом вставали. Потому-то и не тянуло его к людям, потому и работал не покладая рук… На чем я остановился?

Да, Дата рассказывал так:

– Был конец сентября. Почти восемь месяцев прошло с тех пор, как примирился я с властью. И вот однажды вечером стадо возвращается в деревню, а нашей телочки с ним нет. Эле побежала искать, может, у забора где-нибудь травку щиплет. Нет, не нашла. Тогда на поиски отправился я. Разыскал пастухов, говорят, утром, когда стадо на водопой гнали, вашей телки там не было, мы решили, что она домой убежала. Что делать – ума не приложу. Знаю, сидит сейчас моя Эле на кухне с распущенными волосами, плачет и причитает, бедняжка. По матери родной плакать не пришлось, ее тогда только от груди отняли, по отцу тоже не плакала, семь лет ей было, когда он погиб. А теперь плачет, заливается… Что поделаешь, женщина без слез не может прожить! Не могу же я к ней с пустыми руками вернуться? Обшарил я все овраги вокруг деревни, все кустарники и полянки, на пять-шесть верст все кругом обошел. Ничего нет! Темнеть начало, но ночь была лунной, и я продолжал искать. Как сквозь землю провалилась наша Бочолия. Ничего не сделаешь, надо идти домой. Все как я думал – корова не доена, чурек из печи не вынут. Эле волосы на себе рвет, щеки в кровь исцарапала.

– Как тебе не стыдно! – рассердился я. – Столько у нас потерь было, все стадо теряли – не раз и не два. А тут – теленок. И не пропал он, уверен я. Вот увидишь, завтра я найду его, выйду пораньше и найду.

Слова мои на нее не произвели впечатления. Заперлась в своей комнате, до утра простояла на коленях перед иконой Святого Георгия, плакала и молилась. Ее горе и мне не дало сомкнуть глаз до утра.

– Святой Георгий Илорский! – доносился ко мне ее голос. – Прости, что произношу имя твое, великий бог Туташха! Молю тебя, обрати свой взор к моему Дате, помоги ему в беде!

Чуть свет я был на ногах, собрал себе на дорогу еды, пытаясь успокоить Эле, уговорить, что не вернусь без Бочолии, что раз святой Георгий Илорский послал ее нам как добрую примету, то не может же она пропасть. Я был уверен, что управлюсь очень быстро, но снова начало темнеть, а я не напал даже на след нашей телочки.

Теперь и я понимал, что ее украли. Если б растерзал ее зверь какой, не мог же он утащить ее на спине, ведь телка уже шестимесячная. Даже здоровенный волк, и тот оттащит чуть-чуть в сторону, чтобы место было поукромней, чтобы мог он насытиться, а потом или бросит ее, или зароет в землю. Но как я ни искал, нигде следов задранной телки обнаружить не мог. Значит, украли – и все. Но кто, интересно, все-таки мог решиться на то, чтобы украсть у меня? Именно у меня… Ведь про меня столько всего наврали, что люди бояться должны со мной связываться. Я и сам пугался этих рассказов…

Когда я вернулся домой, Эле была в своей комнате. А я пытался все обдумать. Если украли для приплода, чтобы вывести туташхиевскую породу, то для этого еще и бык нужен, не потащит же вор корову на случку к нашему же быку, а больше тащить ее некуда. Для чего же тогда воровать? А может, угнал мелкий воришка, который и не знал, что телка эта моя? Но как же он гнал ее, сукин сын, в таком случае, не оставив никаких следов на дороге!

Прошло дня два. И отправились мы с Эле в поле, где лежала наша земля, где посеяли мы гоми и теперь думали, когда снимать урожай. Видим, идут из леса женщины с вязанками хвороста.

– С добрым утром, Дата-батоно!

– С добрым утром!

– Вы знаете, – говорит одна, – из полиции человек приходил, вы слышали, конечно, что он говорил?

– Что? – опередила меня Эле.

– Говорил, что вора они задержали и какую-то телку у него отняли. Если, мол, кто-то из вашего ущелья пострадал, пусть в полицию придет, приметы телки назовет и получит ее назад.

– А какой масти та телка, он не говорил? Возраст ее не назвал? – спросила Эле.

Чего только женщине не придет в голову!

– Нет, не говорил, Эле, – ответила соседка.

И долго еще кудахтали они о том, мог ли человек из полиции сказать, как выглядела тетка или не мог.

Женщины с хворостом ушли, а Эле теперь твердила только одно:

– Это наша Бочолия! Чует моя душа!

Когда вернулись домой, стал я прикидывать, могла или не могла попасть наша телка в полицию и что ей там, собственно, нужно. Но никаких хитросплетений обнаружить не мог. Не украли же ее для того, чтобы меня заманить? Если б захотели, они и так могли меня арестовать, что у них, полицейских не хватает или казаков? Документ о помиловании всегда со мной. Не может же наместник вдруг отменить свое решение? Да и мой двоюродный брат Мушни не допустит этого. Тысячу раз я все взвесил, отмерил и ничего подозрительного не нашел. И все-таки решил – моя ли телка, чужая ли, все равно в полицию я не ходок! И никакая сила не сдвинет меня с этого места. Ни за что! Но знаете, что бывает, когда женщина пристанет к тебе как репей, да еще если к тому она – твоя сестра, что всю жизнь провела в молитвах за тебя, а слезы, пролитые ею из-за тебя, ни в каком кувшине не уместятся. Разве можно устоять и не дрогнуть. А Эле не унималась, покоя мне не давала: иди, говорила, иди! Если мы потеряем Бочолию, снова рухнет наш дом, наша семья, у нас никогда не будет больше нашего стада… Чего только я ей не сулил, как не уговаривал! Придумал даже, что порода стада нашего вырождается, что мне она перестала нравиться, вот куплю десять телок другой породы… Эле слова мои приняла в штыки. Тогда я пошел на попятную и предложил, что поеду в Ахалкалаки и привезу телок из нашего старого стада, проданного Хацациа молоканам. Но в ответ только – нет да нет. Никто не заменит ей ее Бочолии – и все тут! В конце концов поссорились мы с ней. За весь вечер и словом не обмолвилась. Встал я на другое утро, а Эле и след простыл. Разузнал у соседей: говорят, пошла пешком в полицию за теленком. А дорога – сорок верст туда и сорок обратно. Сначала разозлился – пусть идет, научится уму-разуму. Но жалко ее стало. Оседлал я коня и поскакал. Догнал ее уже далеко от деревни. Молил, просил, еле уговорил вернуться, сам – что поделаешь? – поскакал в уездный наш городок. Все же был доволен, что бедняжке Эле не придется по полиции ходить, унижаться перед ними. Ни о каком обмане я по дороге и мысли не допускал. Конь у меня добрый, и было еще далеко до вечера, когда я подъехал к полицейскому участку. Соскочил на землю, привязал лошадь к дереву и вошел во двор. Двор – просторный, со всех четырех сторон высоким забором и службами обнесен. Полицмейстер, я знал, на втором этаже восседал. Подошел я ближе к его балкону и крикнул во весь голос:

– Никандро Килиа, выглянь на минутку, дело есть!

Вышел он на балкон, перегнулся через перила:

– Здравствуй, Дата Туташхиа! – Еще улыбается, мерзкая рожа. – Что это ты в такую даль проведать нас пришел? Стряслось у тебя что-нибудь? Или обидел кто ненароком?

– Украденный теленок у вас, говорят, есть. Не мой ли, проверить хочу.

Чуть от хохота не задохнулся, подлец. Выдавил только:

– У тебя… украли?

– Украли… у меня, – и самому смешно стало.

А Килиа посмеялся и спрашивает:

– Когда это случилось?

Отвечаю:

– Три дня назад.

– Габисониа, – закричал он, – поди сюда!

Вылез на балкон Габисониа, вытянулся в струнку перед своим начальником.

– Когда мы телку у вора отобрали?

– Два дня назад.

– А какой масти твоя телка? – спросил меня Килиа.

– Эй, не хитри, Никандро Килиа, ты же видел эту телку! Разве не так? А если видел, то знаешь, моя она или не моя. Или забыл, что у Туташхиа скотина черная с белой отметиной… Глаза голубые…

– Вот чудак, – ответил Килиа. – Конечно, видел. Потому и спрашиваю. – И, повернувшись к Габисониа, добавил: – Я думаю, это его телка. А ты что скажешь?

– Его, его! В точности такая, как Дата сказал.

– Ну, хорошо, Дата, – сказал Килиа. – Пойди на конюшню, там стоит та телка. Если твоя – забирай, и дело с концом. Ее тут не обижали – кормили, поили, а если бока у нее побиты, так это вор виноват. Как он ее тащил, ума не приложу. Ну, прощай, будь умницей!

Осмотрелся я. Нет, ничего подозрительного, поверь мне, заметить было нельзя. По двору слонялся конюх, у забора дремал полицейский. Открыл я дверь конюшни, смотрю, и вправду – наша телка. К столбу привязана конской уздечкой. Узнала меня, бедняга, замычала. Подошел к ней, погладил и – что ты думаешь? Клянусь честью, ее голубые глаза налились слезами. Ну развязал я ее, снял с нее уздечку, а что делать дальше – не знаю. Веревки я с собой не прихватил, разве думал, что найду ее, а кроме того, так разволновался утром, что совсем не до веревки было. Но догадался снять с себя ремень и обвязать им шею телки. И так двинулись мы из конюшни: я впереди, а Бочолия за мной, подпрыгивает и играет. Подошел к двери, толкнул ее, она не идет. Приналег посильнее – ничего не выходит. Вижу, закрыли с той стороны. Вышел я из себя, развернулся и саданул плечом. Но дверь не сдвинулась с места, толстенная была, крепкая, да, видно, колом подперли ее с другой стороны.

– Что с тобой, Дата Туташхиа? – услышал я со двора чей-то поганый голос. – Не можешь дверь открыть? Ничего, потерпи, потерпи!

– Открой сейчас же, сопляк! – закричал я. – Я пришел сюда не шутки с тобой шутить.

– А никто с тобой не шутит, Дата Туташхиа, – в форточке наверху появилась опухшая морда Килиа. – Так и знай! Ты арестован и перестань кричать.

– Да как ты смеешь, сукин сын, у меня бумага от наместника. И Мушни Зарандиа покажет тебе, где раки зимуют!

– Мушни Зарандиа далеко отсюда, за прокламациями гоняется. А на бумагу свою можешь плюнуть. Разве ты не знаешь, что в Тифлисе теперь новый наместник и он не отвечает за бумаги своего предшественника.

– Совести не было ни у отца твоего, ни у деда твоего! – крикнул я. – И ни у кого из рода вашего с первых дней после потопа. Откуда же ей взяться в таком негодяе, как ты?

– Из восьми лошадей, что стояли в этой конюшне, Дата Туташхиа, шесть угнал ты, из них две были мои кровные. Где же была твоя совесть, когда ты отнимал у своего земляка и единоверца лошадей и продавал их туркам? То твоя совесть, или отца твоего, или деда, или всех твоих предков после потопа?

– Да не угонял я тех лошадей, – сказал я. – Могу поклясться. Только болтаешь зря! Втемяшилось в твою тупую голову! И ничего доказать нельзя. Вы все одинаковые кретины – что Паташидзе, что ты… Как близнецы. Разве вас разубедишь…

В действительности было так: Титмериа угнал из конюшни лошадей, а потом подарил их мне. А у меня долг большой был, ростовщику Каже Булава. И потому лошадей я туркам в Натанеби продал. Что правда, то правда.

Через некоторое время они открыли все же дверь и крадучись стали заползать в конюшню. Было их человек, кажется, восемь, и у всех маузеры в руках. А я перед ними один, и ничего, кроме ремня, привязанного к телке, как ты сам понимаешь, нет. Правда, стоило бы мне гаркнуть как следует, у половины из них душа в пятки ушла. Знаю, пробовал не раз.

– Руки вверх! – крикнул торчащий в дверях Килиа.

– Ждите, еще ноги подниму! – Связываться сейчас с ними было бесполезно, и я добавил: – Нечего дурака валять, несите кандалы и кончайте поскорей вашу волынку.

Обрадовались, как дети, засуетились, притащили кандалы, надели мне на ноги и снова закрыли за собой дверь.

До ночи просидел я в конюшне. А когда стемнело, вывели оттуда бесшумно и завели в кабинет Килиа. Когда мы по лестнице шли, они звука не издали, только шептались – боялись, видно, как бы кто-нибудь о моем аресте не узнал. А я уже и сам догадался, что этот трюк с телкой не такой идиот, как Килиа, придумал. Но сердце подсказывало, что прорвусь и уйду. Ты знаешь, сердце меня не обмануло. Не только сам ушел, но и телку с собой увел. Вот как кончилась эта история, кто нашу Бочолию украл, да и кто всю эту кашу заварил, я и по сей день не знаю. Последний десяток лет трудно мне стало. Видно, умный человек взялся меня ловить. Куда умней меня. Узнаю, кто это, – получит от меня в подарок лучшего скакуна на Кавказе.

Быть посему.

Что произошло с ним в полиции и как он оттуда вырвался – о том не любил рассказывать Дата Туташхиа. Сколько лет после этого он провел в абрагах – тоже не вспомню теперь точно. Но именно в это время я услышал от него эту историю.

Никандро Килиа

Чуть стемнело, в полиции появился полковник Сахнов. Уселся в задней комнате, что была за моим кабинетом, и приказал:

– Килиа, приведите Туташхиа. Подготовьте его как положено. А я выйду к вам тогда, когда сочту необходимым.

Ничего себе, в хорошенькое положеньице я попал. Как ни вертись, сухим из воды не выйдешь… Когда получил я этот приказ, выходило, что Сахнов без Зарандиа и шагу ступать не будет. А теперь действует один Сахнов. И случись что не так, полковник умчится в свой Петербург, а с меня тут три шкуры сдерут, и виноват буду я один. Ну, а в случае удачи Сахнов все себе припишет; мне, может, тоже что перепадет, но Мушни останется с носом. Правда, Мушни за славой не больно гонится, но все равно не будет он доволен.

Но рассуждать не положено, я маленький человек и должен выполнять приказы полковника Сахнова. А один приказ я с первых же шагов не понял – Дата Туташхиа ведь не гимназист, к чему же я должен его готовить? Так прямо и спросил полковника. И получил ответ:

– Всыпать ему пятнадцать розог!

– За что, господин полковник?

Услышал громовый хохот – такой, что стены задрожали. Конечно, глупо было спрашивать, разве я сам не понимаю. Но вырвалось помимо моей воли потому, что если Дата выскользнет из наших рук, то до Сахнова он, возможно, не дотянется, но отыграется не только на мне, но и на моих детях. Но объяснять, этого я не стал. Вышел из комнаты и послал полицейских за Туташхиа.

Пятнадцать розог? Извольте, ради бога. Но людей своих я тоже знал как облупленных. Кто из них решится поднять руку на Дату? Есть у меня один дурак Мангиа – другого такого дурака не сыщешь на земле, но и он сообразит, что каждый удар, нанесенный Дате, будет стоить смерти. Сколько ударов – столько смертей.

Привели его. Стоит и смотрит на меня, ни слова не говоря. Разве поймешь, что он, мерзавец такой, задумал.

– Уложить! – приказал я.

Пять полицейских набросились на Туташхиа. Но каждый тут же получил от него по тумаку, как по конфете, – кому куда попало, и мои люди замерли как на параде.

– Уложить! – закричал я опять, распаляясь от собственного крика и злости.

– Не подходите близко, – спокойно сказал Туташхиа.

Потом посмотрел на розги, сам лег на пол, приговаривая при этом каждому:

– Ты – Сабагуа, ты – Толуа, ты – Мангиа, ты – Чилориа, а ты – Габисониа.

– Начинайте, – потребовал я. – Чтоб каждый ударил три раза. Вот и выйдет пятнадцать.

Должен сказать, не очень мои люди усердствовали. Замахивались, правда, лихо – так, что розги свистели в воздухе, а били тихонько, совсем не так, как принято было бить. Лежал абраг не шелохнувшись, в упор на меня смотрел, ни слова не произнес, ни звука.

И вдруг открывается дверь и на пороге появляется полковник Сахнов, и с таким криком, как будто бьют его, а не безмолвного Дату Туташхиа:

– Что тут происходит?! Прекратить это варварство! Кто дал вам право! Идиоты! Посмотрите на этих кретинов! Сейчас же вон! Килиа, гони прочь этих людоедов! За решетку всех!

Я-то догадался сразу, что за спектакль он устроил, не в первый раз принимаю участие. Но люди мои все приняли за чистую монету. Как услышали этот крик, побросали сразу розги и бросились прочь из кабинета, толкаясь и перегоняя друг друга.

– Вставайте, прошу вас! – сказал полковник таким тоном, что, казалось, он сию же минуту

начнет просить прощения.

Туташхиа встал.

– Снимите с него кандалы.

Я позвал Мангиа и велел ему выполнить приказ полковника. Мангиа забрал кандалы и ушел.

– Я прошу вас сюда, господин Туташхиа, – сказал полковник, направляясь в заднюю комнату. И снова ко мне: – Разве можно так оскорблять человека? Розгами…

Получилось, что это я все придумал, я во всем виноват. Но Туташхиа не такой дурак, не чета полковнику, он, я заметил, прекрасно понял, что к чему.

Расселись мы по своим местам. Я достал бумагу, чтобы вести протокол допроса. Смотрю на полковника, жду, с чего он начнет.

– Вы знаете братьев Чантуриа? – в упор спросил Сахнов.

Братья Чантуриа были абрагами – об этом знали все.

– Каких Чантуриа? – ответил Туташхиа.

– Разбойников.

– Нет. Не знаю.

– Знаете, знаете! – стал уверять полковник. – Расскажите, какие у вас отношения?

– Да не знаю я их! – уперся Туташхиа.

Тоже был упрямым и пройдохистым, не меньше чем Сахнов. Битых полчаса один твердил – знаете, а другой повторял – не знаю. А я все заносил в протокол, что поделаешь, если должность у тебя такая. Ну, полковник, конечно, ничего не добился замолчал. А подумав, сказал:

– Хорошо. Потом поговорим об этом. А теперь послушайте, что я вам скажу. По милости наместника вам были прощены все преступления, которые вы совершили прежде. Это, конечно, так. Но документ ваш теряет силу после того, как вы провинитесь в чем-нибудь потом. И тогда вас будут судить за все преступления, а их так много, что дело ваше нельзя вместить в самую толстую папку. Виселица – единственное, что вас ждет. Знаете ли вы об этом?

Туташхиа не отвечал.

– Достаточно доказать, что существует преступная связь между вами и братьями Чантуриа, – и ваша жизнь закончится на виселице.

– Не знаю я их, – в который раз повторил Туташхиа.

Полковник покачал головой, как будто сожалея об его упорстве, и, повернувшись ко мне, приказал:

– Повторить!

Снова я вызвал своих полицейских.

– Напрасно все это, – сказал Туташхиа, – ничего вы все равно не добьетесь.

– Добьемся, добьемся, – повторил полковник. – Приступайте!

– Килиа! – обратился ко мне Туташхиа по-мегрельски. – Полковник твой, как видишь, умом не блещет, по глупости, смотри, втянет тебя в историю. Братья Чантуриа, я вижу, тут ни при чем. Чего он хочет? Пусть скажет прямо, нечего со мной в жмурки играть, понимаешь ты это?

– Всыпьте ему как следует! – крикнул Сахнов, а сам поманил меня пальцем, требуя, чтобы я перевел ему то, что сказал Туташхиа.

В это время опять засвистели розги. Но Сахнову, видно, не понравилось, как работают мои полицейские. Он вскочил со своего места, вырвал розги из рук Габисониа и взялся за дело сам. Ух-х-х! Пошло дело! Сек, пока не устал. Туташхиа не шевельнулся. Полковник перевел дух и опустился в кресло, заставив повторить еще раз, что сказал мне Туташхиа. Потом жестом выпроводил полицейских из комнаты и снова погрузился в раздумья. Долго так сидел, будто голову над чем-то ломал. Даже глаза прикрыл руками. Я уже подумал, грешный человек, не задремал ли мой полковник. А Дата Туташхиа на боку лежал и смотрел на него так, словно спрашивал: какую еще глупость выкинут два этих болвана?

И что же вы думаете – как в воду глядел! Мы выкинули, конечно, еще одну глупость.

– Садитесь! – раздался голос полковника. – Сюда, – он указал рукой на стул.

Туташхиа поднялся лениво, с таким видом, будто ему гораздо приятнее лежать и получать

розги.

– Значит, вы не знаете Чантуриа?

– Нет, не знаю.

– Допустим, что это так. Но нам совсем не нужно, чтобы вы их знали. Ведь вы могли бы, скажем, с ними познакомиться?

– Мог бы. Но не испытываю в этом никакой потребности.

– Это не имеет значения. Главное, что это нужно нам. А вам нужна свобода и собственный дом. Не так ли?

Туташхиа только пожал плечами: дескать, не знаю, что мне нужно.

– Помогите нам арестовать или убить братьев Чантуриа. Или сами убейте их. Тогда вам не будут грозить неприятности, и виселица в том числе.

Туташхиа громко расхохотался, обрадовался, проклятый, что заставил полковника открыть свою цель. А тот сказанул тоже; виселица у него – неприятность.

– Ничего из этого не выйдет, господин полковник, – не торопясь ответил Туташхиа.

– Выйдет, выйдет, – опять заладил свое Сахнов.

Второго такого упрямца я не встречал нигде. Выйдет! И все тут… Голову на отсечение даю, что Туташхиа за такое дело браться не будет. А если бы и взялся, так Чантуриа не хуже, чем Дата, стрелять умеют и соображают тоже не хуже него.

– Откуда у вас такая уверенность, господин полковник? – спросил в тот момент Туташхиа.

– Всыпьте ему десять розог, – обратился ко мне Сахнов. – А потом я объясню – откуда.

И опять полицейские ввалились с розгами, и все началось сначала. Старались они не шибко, и все же – розги есть розги, да и порция какая.

Полицейские ушли, закончив свое дело. Сахнов приказал Дате сесть на стул.

– Теперь послушайте, что я скажу. – Сахнов, собираясь с мыслями, подал мне знак, что дальше записывать не нужно. Повернулся к Дате: – Разве вы не понимаете, что люди раскусили вас наконец. И если раньше они были вашими пособниками, то теперь стали вашими врагами. А дети тех людей, которых вы грабили и убивали, теперь, ставши взрослыми, не упустят случая пустить вам пулю в лоб из-за угла.

– Но это ложь! Я никому не принес вреда, никогда не совершал злых поступков и ни в одном убийстве не был грешен!

– Кто вам поверит! – закричал Сахнов и стал валить в одну кучу все, что мы в свое время пораспускали через своих людей и что народ еще от себя добавил. В Луци он – все знают – вырезал целую семью Тодуа, в Мартвили убил двух разбойников – Медзвелиа и Гомелагдиа, а в другом месте изнасиловал четырех девиц… Сейчас я не вспомню всего, что он наговорил.

– Все это ложь, – сказал Туташхиа, – я знаю сам, что говорят. Но ничего похожего на правду тут нет.

Сахнов встретил хохотом эти слова:

– Бедненький! Как, оказывается, тебя оклеветали!

Что там говорить, до трех часов ночи тянулась эта канитель. Дата Туташхиа, приметил я, начал как будто поддаваться уговорам, делался более сговорчивым и мягким. Но я-то видел, хитрил, сукин сын, ох хитрил!

Сахнов продолжал твердить одно и то же.

– В тяжелое положение вы попали, очень тяжелое, – говорил он. – Ведь самые преданные друзья отвернулись от нас, не так ли? Они отказались помочь и приютить вас. Я знаю об этом прекрасно. Теперь вы один, и вам негде приклонить голову. Вы обречены, можете мне поверить. Если вы останетесь на свободе, вас все равно убьют ваши враги из мести. А мы не имеем права потворствовать убийству и преступлению, к которым привело бы ваше освобождение. Следовательно, мы не имеем права вас освободить. А если мы не имеем права вас освободить, значит, мы должны судить вас за преступления. И результат один –виселица. Вы должны понять, что у вас есть один только выход – поступить на службу к нам. Эта служба принесет вам неприкосновенность, и враги ваши не осмелятся даже дотронуться до вас. Они хорошо знают, что ждет их за убийство нашего человека. Подумайте, какая перспектива откроется перед вами: жалованье, благополучие, награды и продвижение по службе. Вы должны решить сами – или тюрьма и виселица, или свобода и процветание. Для разумного

человека не может быть сомнений, но не только логика, а и то, что важнее всякой логики, – на моей стороне сила. Сила могущественной, самой великой на земном шаре Российской империи… Вы либо подчинитесь этой силе, либо погибнете… Поймите, мы требуем от вас на этот раз совсем немного. Доставьте нам братьев Чантуриа – живых или мертвых. Вот и все. А за это кроме благодарности вы получите вознаграждение в размере трех тысяч рублей золотом.

Воцарилась тишина. Так складно говорил полковник, что я разозлился даже, что этот мерзавец так долго ломается, не понимает своей же выгоды.

– Не спешите же так, – сказал Туташхиа. – Идти на такое дело, не подумав, ведь тоже нельзя.

Полковник еле сдержался, чтоб не крикнуть от радости, и решил, видимо, что надо жать на все педали, не давая передышки.

– Раздумывать тут нечего, – сказал он решительно. – Все, о чем я вам сказал, уже было и взвешено, и обдумано до нашей встречи. Я же больше не имею возможности ждать, в Петербурге у меня неотложные дела. Поэтому решать все надо сегодня, чтобы я успел распорядиться, а утром отсюда уехать. – Полковник достал из кармана часы и хлопнул крышкой. – Я жду ровно две минуты.

А когда две минуты прошли, Сахнов спрятал часы и сделал вид, что собирает бумаги со стола, чтобы уходить.

– А сколько времени вы на это даете? – чуть слышно спросил Туташхиа.

– Десять дней… Самое большее – две недели.

– А если не получится?

– Получится, получится, – опять стал повторять Сахнов, и я подумал было, что мне опять придется вызывать полицейских с розгами.

– Ну что ж, согласен, коли так! – выдавил из себя Туташхиа.

– Тогда оформим все, как положено, – заторопился Сахнов.

Он начал писать на отдельном листе, перечисляя все, что должен выполнить Туташхиа и в какой срок, указывая при этом, по какой статье и какому параграфу он будет отдан под суд в случае, если не выполнит того, что на него возложено. Это была обычная форма расписки, под которой должна была стоять подпись Туташхиа. Кончив, Сахнов спросил Туташхиа:

– Сумеете ли вы прочитать?

– Сумею, – ответил тот.

Туташхиа подвинул к себе листок бумаги, исписанный полковником Сахновым, и начал не торопясь читать. Держал он его перед собой, наверно, с полчаса, не меньше. Потом сказал:

– Я все обдумал. Двух недель мне не хватит. Как хотите. Полтора месяца – самый короткий срок… Давайте перепишем.

Это же надо, что придумал, прохвост! Я сразу понял, к чему он это тянет. Чтобы Сахнов не сомневался ни в чем, чтобы считал, что дело сделано, переманили мы к себе Туташхиа – и все. Хотел, чтобы согласие его на правду похоже было.

Видел я, хитрит абраг, за нос нас провести хочет, но Сахнову только одно нужно – бумагу эту подписать. Как примется он убеждать – две недели, куда, мол, больше, Туташхиа свое повторяет – полтора месяца, и ни днем меньше. Чуть не сцепились из-за этого. Но тут Сахнов на уступки пошел, предложил в конце листа примечание сделать, что срок исполнения продлен, – и расписаться там им обоим. Но Туташхиа на дыбы стал, весь документ переписать заставил, а потом опять читал его и перечитывал сто раз. Но подписал в конце концов. На том и закончили, назначив встретиться с ним через неделю в условленном месте. Пока выходили из кабинета, я успел шепнуть полковнику, что надует нас абраг. И что вы думаете, вытаращил он на меня свои рыбьи глаза с таким гневом, будто не Туташхиа, а я издеваюсь над нам и собираюсь оставить его в дураках.

Когда вышли во двор, Туташхиа заставил нас вывести ему теленка, потом сел на коня и уехал.

Сказать вам правду, с того момента я больше не видел его никогда.

А полковник Сахнов на другое утро вдалбливал мне без конца, что мне делать с Туташхиа после того, как с братьями Чантуриа будет покончено. И укатил в своем фаэтоне в Поти.

Неделя проскочила быстро, надо было выходить на встречу с Датой.

Но я не такой простак, понимаю, какой подарочек он может приготовить мне за розги. Умирать-то неохота! Послал я переодетого полицейского, а сам спрятался в кустах. Сижу и жду. Вот идет мой полицейский, подошел к условленному месту, там никого нет. Огляделся, увидел у моста мальчика лет восьми, я рядом с ним хурджин. Полицейский стоит и ждет, когда же появится Туташхиа. Потом спросил мальчика:

– Ты что здесь делаешь?

– Меня прислал Туташхиа, – ответил мальчик. – Он с кем-то должен тут встретиться.

– Это со мной, – отвечает полицейский. – Что он просил передать?

– Он просил передать вам хурджин.

– Зачем?

– Чтобы вы преподнесли его Никандро Килиа.

Когда в кустах мы развязали хурджин, то с одного бока в нем лежала курица, а с другого – индюк.

Вот все так и закончилось.

Но что после этого подлец Туташхиа наворотил – описать нет никаких сил. Все прежние злодейства – только детская игра рядом с нынешними. Делал все так, чтобы и следа не осталось нигде. Но можете мне поверить, что после того, как он второй раз ушел в абраги, все поджоги, убийства и насилия, что были в Грузии, – все дело его рук! Это говорю вам я – Никандро Килиа!

Всего месяц прошел с той поры, и вдруг приезжает из Кутаиси губернское мое начальство вместе с каким-то офицером и приказывает сдать ему дела. Кукиш мне под нос вместо должности!

Я, конечно, сразу в Тифлис, в кабинет Мушни Зарандиа. Увидел он меня, рассвирепел – стал ругать, да так, будто головешки горячие изо рта посыпались. Часа два орал, ослом обзывал. Я решил, что пропало все, разозлился и тоже стал кричать:

– Это по вашей милости я службу потерял! Из-за вас дети мои голодать будут! Вы все подстроили, вы и исправляйте, не то я покажу вам, где раки зимуют!

– Что ты мне показать можешь? – захохотал Зарандиа. – Поделись со мной, не томи мою душу.

– Небось твоя жена, Мушни-батоно, и теперь носит серьги, что ей евреи подарили? – спросил я.

Зарандиа поманил меня рукой.

– Подойди сюда, Килиа, – сказал он. – Садись-ка рядом. – Открыл несгораемый шкаф, долго шарил там, пока не вытащил какую-то бумажку. Положил ее передо мной и сказал: – Ты, конечно, идиот и наглец. Но читать, кажется, умеешь. Прочитай-ка, что тут написано.

То была расписка, заверенная нотариусом. В ней говорилось, что Мушни Зарандиа вернул серьги евреям ровно через неделю после того, как они поднесли их его жене. Вот тебе и на! От неожиданности я просто остолбенел. Можете себе представить, столько лет Мушни вел себя со мной так, будто испытывает благодарность, что я не донес про его взятку. А я считал, что держу его в руках и в любой момент заставлю плясать под свою дудочку и делать так, как выгодно будет мне. И вдруг что же открывается! Я чуть не рехнулся от досады и злости и начал вопить изо всех сил:

– Ты думаешь, Мушни Зарандиа, что выскользнул из моих рук! Не думай! Знай, беда моих детей падет на твою голову! Я буду каждый день писать доносы на тебя, каждый день буду рассылать их по всем присутствиям… Что Мушни Зарандиа – вор, что Мушни Зарандиа – взяточник, что Мушни Зарандиа – враг царю и трону его! Мне, я знаю, никто не поверит, но будешь ты весь в грязи – это так! Если не вернешь мне службу!

Мушни Зарандиа рассмеялся мне в лицо.

– На что ты способен, – сказал он, – я знаю и без тебя, Килиа. А теперь посиди тихо. Постарайся успокоиться. Я приму человека, поговорим потом.

Он позвонил, вошел посетитель, и они долго говорили о деле.

А я тем временем и правда пришел в себя, не скажу, что успокоился, а скорее опомнился и готов был головой биться о стенку, что наговорил столько глупостей.

Опустил голову, сижу, боясь шелохнуться.

А Зарандиа, выпроводив посетителя, вытащил из письменного стола еще одну бумагу и протянул мне.

– Перепиши, – сказал он, – оставь мне и уходи. Отдохнешь месяц-другой, а там посмотрим, что с тобой делать.

Начал я читать, глазам своим не верю!

Представьте себе, он за меня объяснение написал на имя министра с просьбой оставить меня на службе. Да как написал!

– Не думай, Килиа, – сказал он, – что ты меня напугал и я со страху это сделал. Не боюсь я тебя, поверь. Но с тобой поступили несправедливо, и по-человечески я должен прийти тебе на помощь. Конечно, не больно ты умный человек, но не взяточник, не казнокрад, к тому же человек – верный царю и отечеству. Свой уезд ты знаешь хорошо и место свое занимаешь по праву. Перепиши объяснение и уходи.

И что же? Через два месяца я снова был полицмейстером.

Вот я и говорю, что Мушни Зарандиа был хитрецом, но добрым хитрецом. Хорошим человеком! Вы убедились, наверно, сами, что я прав. И жить надо только так, как жил Мушни!

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Низвергнув на землю дракона, вонзил Туташха в его огнедышащую пасть копье и обезглавил. И увидев это, возрадовались те, малые числом, но сильные духом, что втайне следовали поучениям Туташха, ибо узрели в нем своего избавителя.

Но был подобен фениксу дракон, и вместо одной головы выросло у него семь. И все семь снова отрубил Туташха. Хлынул из них кровавый поток, и переполнились реки. Вышли они из берегов и унесли все содеянное предками. Не осталось на земле пахаря, и некому было ни сеять, ни пахать. Началась резня и братоубийство, ибо были все люди злы и неправедны, убивали без разбора и смысла, потому что, не ведая назначения человека на земле, просто жаждали превратить мир в пепелище. Всех ненавидели они и не знали, чего хотят кроме крови и смерти. Оправданием же был для них пример Туташха. Говорили, что он тоже пошел на дракона с мечом, желая силой своего меча одолеть драконову силу. Дракон же не погиб, но, напротив усемерился, ибо вместо одной отрубленной головы выросло семь, и семижды семь умножилось зло в мире. И увидев это, впал в отчаяние светлый юноша Туташха, ибо понял: никто не спасет род человеческий, кроме самого человека.

И решил тогда Туташха из духа всеобъемлющего и всемирного превратиться в человека.

И был он тогда в замыслах своих уже богом.

Граф Сегеди

Как это ни удивительно, но во все времена умные люди – большая редкость. Для монархов, президентов и канцлеров их малочисленность вполне очевидна и является истинной проблемой. Но проблема, еще более тягостная и неразрешимая, – люди заурядные. Это величайшая беда человечества.

Давно замечено, что достойными и призванными править государством считают себя раньше всего люди посредственного ума и нищие духом. С изумительной энергией и упорством они рвутся вперед, и наиусерднейшим из них удастся достичь цели, то есть захватить бразды правления в свои руки. Я много размышлял о причинах их успеха. Думаю, что не ошибусь, сказав, что первооснова здесь маниакальная: когда человек слепо, фанатично верит в свое превосходство над другими, тогда каждый поступок смел до бесстыдства. Наглость повергает крепости – это известно, но ею не обойтись, чтобы удержать завоеванное. Здесь необходим ум, способность анализа и обобщения, необходимо творчество, что для нашего случая исключено с самого начала, – ведь мы говорим о людях ограниченных. Довольно быстро захваченные крепости уплывают из рук тех, кто их завоевал, и тут-то «величайшая беда человечества» обретает иронический характер. Того, кто хотя бы раз, и пусть даже недолгое время, побывал на

высокой должности, боятся решительно все: он знает прегрешения других, и согрешившим приходится поддерживать оступившегося. Малочисленность умных людей – явление также хроническое, и поэтому наиболее реально, место одной заурядности займет другая заурядность. Те же, кто занимает должности еще более высокие, предпочитают оставить на старом месте известного им грешника, нежели посадить умницу, от которого неизвестно чего ждать. Лишившись одного кресла, заурядность пересаживается чаще всего в кресло еще более удобное. И так тянется до тех пор, пока он не предпочтет удалиться на покой в свою деревню, разводить спаржу, или не переселится в лучший мир. Его продолжительная деятельность тяжким бременем будет лежать на плечах народа и государства. Но беда в том, что к тому времени, когда пробьет час ухода одного маньяка, возникнут и окрепнут другие маньяки, ему подобные. Их череда бесконечна, это беспрерывный процесс, не знающий просветов, а не отдельные печальные случаи. Такова проблема серых, заурядных людей, именно серых и заурядных, ибо откровенные, безудержные карьеристы – это уже другой сорт.

Положение, создавшееся вокруг «Киликии», и события после того, как Дата Туташхиа вторично ушел в абраги, могут служить великолепной иллюстрацией и к деятельности людей посредственного ума, и к типу поведения умного, но для меня эти события важны больше всего тем влиянием, какое они оказали на мои собственные взгляды, деятельность и судьбу.

Однако, прежде чем приступить к рассказу, хочу поделиться еще одной мыслью. В зрелом возрасте люди, как я наблюдал не раз, свои отношения с другими строят по стереотипу, сложившемуся годами. Формирование стереотипа начинается с момента рождения и завершается к двадцати – двадцати пяти годам. В последующие годы сложившийся стереотип лишь совершенствуется, рафинируется либо же расчленяется на подстереотипы, и этот завершающий процесс длится на протяжении всей остальной жизни. Мною усвоен, допустим, такой стереотип: я непременно должен подавать нищему. Но какому нищему, в каких обстоятельствах подавать, а в каких нет? И если подавать, то сколько? Все это уже расчленение первоначального стереотипа. Еще в юности в моем сознании сложился стереотип: одеваться должно так, чтобы моя внешность не задевала внимания окружающих. Позлее я вооружился подстереотипами, отвечающими вкусам разных кругов общества, и стал варьировать свой туалет.

По мере того как в моем сознании расчленялись различные стереотипы и подстереотипы, развивался мой характер, менялась моя психология. Расчленение стереотипов моего поведения и поступков началось в годы учения за границей и на первых шагах секретной службы и продолжается до сих пор. Говоря фигурально, сколько раз встречались мне нищие, столько раз обогащался новыми разновидностями стереотип моего отношения к ним. Сколько светских и деловых визитов было в моей жизни, столько раз соответствующий стереотип заставлял меня обдумывать тонкости моего туалета и тем самым вырабатывать новый подстереотип своего поведения. Но основа – сочтем ее стимулом, импульсом, потребностью – оставалась неизменной: я должен подать нищему и не должен задевать своим туалетом посторонних. Стереотип – это прежде всего плод взаимодействия врожденных свойств и среды. Совокупность стереотипов определяет отношения человека и со средой, и с собственным внутренним миром. Таким образом, если стереотип – это предварительно выработанный способ взаимоотношений с одним явлением жизни, то принцип общения с целым миром обнаруживает истинное отношение человека ко всему на свете и истинное его душеустройство. Я говорю несколько упрощенно, но цель моя – разобрать и понять последствия возникшей ситуации, а не саму эту ситуацию в прихотливой логике ее событий, последствия и результаты которых остается лишь констатировать. Поэтому ограничусь тем, что сказал, и перейду к повествованию.

Полковник Сахнов, как и большинство его коллег по борьбе за преуспеяние и власть, отсиживался в крепости, взятой другим. Этот другой был его высочество великий князь. Сахнов же прочно сидел в дарованном ему однажды кресле, и комичность положения заключалась в том, что он вдобавок состоял членом чрезвычайного совета министерства. Всякий шаг против Сахнова расценивался как действие против августейшей семьи, и неприкосновенность полковника Сахнова считалась гарантированной, несмотря на то что и министерство внутренних дел, и шеф жандармов относились к своему подчиненному весьма сдержанно.

Сахнов отлично понимал, с каким удовольствием с ним распрощались бы, и отвечал своему начальству зрелой неприязнью. Но так как лучший вид обороны – нападение, то Сахнов не только грезил о портфеле командира жандармского корпуса, но и предпринимал энергичные шаги к его получению.

К тому времени, когда Дата Туташхиа снова ушел в абраги, нам удалось замирить пять банд, насчитывающих двух или более человек; у четырех банд осталось по одному человеку: четырнадцать человек из числа замиренных мы завербовали и их руками уже уничтожили восемь непокорившихся абрагов; оставшиеся абраги – их было не более четырех-пяти – стояли у порога уничтожения; было обнаружено около двухсот укрывателей разбойников и абрагов, не менее четверти из них дали подписку о тайном сотрудничестве с нами. Помимо всего, мы обладали прекрасно разветвленной и хорошо законспирированной сетью распространения и сбора слухов. Расходы по проведению операции не превышали восьми – десяти тысяч, суммы ничтожно малой. Дорожные, почтовые и телеграфные расходы, содержание агентуры – все входило в эту сумму. Благодаря настойчивости и влиянию полковника Сахнова наш опыт очень скоро стал практиковаться во всей империи. Согласно замыслу, он призван был обслуживать разнообразнейшие интересы державы и престола. Для того времени это было грандиознейшим новшеством. Насколько мне известно, тайные полиции европейских держав не располагали тогда подобными службами особого назначения. Единственным создателем «Киликии» – ее теоретических начал и практического их претворения – и в министерстве, и при дворе считался Сахнов. Он ходил в победителях, и излишне говорить о возможностях, открывшихся его честолюбию.

Несмотря на то что самовольная попытка переманить Дату Туташхиа окончилась плачевно, Сахнов остался куратором «Киликии» и неизменно получал от нас регулярные рапорты о ходе дел. Столь же регулярно мы получали от него ответные инструкции, однако все они дублировали уже осуществленные нами операции. И крупицы нового нельзя было обнаружить в них. Однажды, когда я находился в Петербурге, мне довелось выяснить, как составлялись эти инструкции. Получив очередной рапорт об успешном завершении какого-либо дела, Сахнов немедля составлял письмо на наше имя с предписанием безотлагательно решить то самое дело, о завершении которого мы только что доложили. Это письмо он давал прочитать товарищу министра или самому министру, если представлялся к тому случай, и запечатанный пакет отправлялся в Тифлис. Убедился я и в том, что полковник, по мере возможности, порочил служебную репутацию мою и Зарандиа. Находясь в Петербурге, я ни с кем не поделился своим открытием, но по возвращении в Тифлис рассказал все Мушни.

– Что вы об этом думаете, Мушни?

– Этого следовало ожидать, ваше сиятельство. Посудите сами. Пока вы и я находимся на своих местах, Сахнов живет под угрозой нашего протеста. Заяви мы претензию на авторство «Киликии», и ему придется доказывать, спорить, оправдываться. Его заслуги окажутся под сомнением. Он не намерен отказываться от чести быть автором «Киликии» и сделает все возможное, чтобы использовать ее успех в своих интересах. Он пойдет на все, сомневаться в этом не приходится.

Я и по сей день не думаю, что борьба полковника с нами была продуманной и планомерной. Скорее им руководил инстинкт самосохранения – он присвоил плоды чужих трудов, и страх разоблачения и осмеяния постоянно жил в нем. Поэтому мне пришло в голову, что недурно было бы уверить его в том, что мы и не думаем устанавливать, кто истинный автор «Киликии». Я сказал об этом Зарандиа.

– Полковник ждет разоблачения, граф, – улыбнулся Зарандиа. – Это стало его навязчивой идеей, даже психиатр был бы здесь бессилен. Под каким бы соусом ни преподнесли мы ему эту мысль, он все равно заподозрит коварство.

– Как же быть?

– В настоящее время я не вижу такого хода, который не был бы расценен как покушение на его реноме!.. Но не надо забывать, что мы имеем дело с Сахновым, а от него, как вы изволили однажды заметить, можно ожидать всего – глупости, между прочим, тоже.

– Мне остается кунктаторство – к этому сводится ваш совет?

– Да, саше сиятельство.

– Пусть так, – сказал я, поняв, что Зарандиа решил выжидать, пока яблоко само созреет. Другого пути и в самом не было видно. – Об этом нужно еще подумать. И прошу не предпринимать ничего без моего согласия.

– Слово честного человека!

Разговор закончился, но Мушни Зарандиа все не уходил, и казалось, погрузился в размышления. Прошло довольно много времени, прежде чем он поднял голову и посмотрел мне прямо глаза:

– Вы изволили сказать, что об этом нужно еще подумать. Я бы хотел ясности, – в каком направлении следует думать: только ли в том, чтобы не дать Сахнову возможности предпринять против нас что-либо серьезное, или и в том, чтобы полковнику доверили, скажем, надзор за государственными мельницами или публичными домами?

– У нас еще и выбор есть? – Я рассмеялся, так как вопрос Зарандиа выходил далеко за рамки наших возможностей и компетенции.

– Смотря по тому, как сложатся обстоятельства, ваше сиятельство.

– Но из чего мы исходим?

– Единственно из интересов империи и престола. Как всегда! Дать Сахнову возможность стать шефом жандармов было бы ошибкой, могущей обернуться трагедией для империи. Это была бы акция, направленная на подрыв государственных интересов. Я убежден в этом, и отвечаю за свои слова только я.

Мушни Зарандиа откланялся и покинул кабинет, не дожидаясь моего ответа.

Я вдруг обнаружил, что впервые за долгие годы своей бы – совершенно невольно и незаметно для себя – вступил во взаимоотношения, уязвляющие мое служебное достоинство. И с кем! Со своим подчиненным! И для меня, и для Зарандиа полковник Сахнов был вышестоящим лицом, и лишь только после этого – человеком с определенными достоинствами и недостатками. Всякий тайный поступок или помысел, направленный против него, мог трактоваться как нарушение профессиональной этики, приближающейся по своему смыслу к нарушению присяги. Бесспорно, действия Сахнова заслуживали порицания и осуждения, но для этого необходим был мой или чей-либо письменный рапорт, посланный по соответствующей форме в соответствующие инстанции, которые бы изучили его соблаговолили или не соблаговолили решить это дело.

Я почувствовал, что Мушни Зарандиа намерен бороться против Сахнова средствами, не дозволяемыми субординацией… Моей прямой обязанностью, и при этом безотлагательной, было потребовать от него письменного разъяснения, наложить взыскание если это будет необходимо, и обо всем, что случилось, рапортовать шефу. Так было принято, и ничего другого я не мог ни представить себе, ни допустить. Так я и предполагал поступить, но что-то удерживало меня. То, видимо, рефлектировал я, что я уже поддался влиянию своего подчиненного и боюсь признать свою вину. Я восстановил в мыслях всю цепь взаимоотношений Сахнова и Зарандиа, вспомнил все свои беседы с Мушни; нет, я не подстрекал его к действиям против Сахнова, не давал толчка, даже скрытого, я просил лишь задуматься о том, не угрожает ли нам что-либо… Только это и было, но не находил я в себе желания воздать Зарандиа по заслугам.

…А не мог бы он (моя мысль потекла вдруг по другому руслу) воспользоваться нашей последней беседой против меня? Мог! Стоило ему подать министру, шефу или самому Сахнову рапорт – и мне пришлось бы доказывать, что меня вовсе не втянули в грязную историю. Я взялся было за перо, но не смог вывести и строки; мало того, только сейчас, наедине с пером и бумагой, я понял окончательно, что не предприму против Зарандиа и шага, ибо не хочу этого! И это был уже компромисс. Один из важнейших стереотипов моего понимания служебного долга лопнул как мыльный пузырь – у меня на глазах и без малейшего моего сопротивления. Видимо, тогда впервые возникла трещина в моем сознании и в моих представлениях о духовных ценностях.

Почему?

Я долго размышлял над этим. Сахнов никогда не был мне страшен. Мой вес и мои заслуги надежно защищали меня. К тому же я был состоятельным человеком, и отставка не выбрасывала меня из жизни. Я попал под влияние Зарандиа? Говорю уверенно: я весьма

почитал этого человека, но настороженное отношение к нему никогда не исчезало во мне. Не оставалось сомнения: стереотип, о котором я говорил, прекратил свое действие…

Точи Микашавриа

В ту пору, когда я ушел в абраги, другие замирялись с правительством и возвращались к семьям. У меня в абрагах ходили два двоюродных брата со стороны матери – оба Чантуриа, и я укрылся у них. Мне шел тогда пятнадцатый год. Почему мне пришлось стать абрагом, я уже рассказывал, повторять не буду.

В тот год снова подался в абраги и Дата Туташхиа. Пришел он в Мухурские горы, нашел нас… Я говорю, конечно, о своих двоюродных братьях, на меня смотрели еще как на дитя, какие у него со мной дела? Меня и отослали – за чем, не помню, а сами наговорились всласть, и когда я вернулся, Даты уже не было. Только много позже я узнал, о чем они говорили и почему он вернулся в абраги. Дата им сказал, моим двоюродным братьям: «По каким дорогам ходите, где укрываетесь и что делаете, я знать не знаю. И знать не хочу. Но если что с вами случится, не моих рук дело. Так и запомните».

Леса в Мухурских горах такие – сотня абрагов укроется и знать друг о друге не будут. Уходить нам оттуда ни к чему. И Дата Туташхиа не уходил – было у него какое-то дело. Может быть, ждал кого?.. Мы редко попадались друг другу на глаза, да и то издали. Так и жили.

Быть абрагом, даже если нет на тебя облавы и место приглядел такое, что тебя не достать, все равно трудно. Убивает безделье. Сил нет, как оно осточертевает… Вот от этого абраг другой раз и теряет осторожность и попадает в капкан. Моим двоюродным братьям было полегче – все-таки взрослые. А как мне, мальчишке, усидеть на одном месте? Я и мотался туда-сюда. Все горы и скалы облазил, все леса прочесал. Деревья, овражки, пещеры наизусть знал.

Была там одна полянка. Вокруг холмы. Тихое-претихое было место. На полянке стоял когда-то дом, и жил в этом доме человек по имени Буху. Рассказывали, убил он брата. Случайно. Как получилось, и сам не знал. Вернулся после тюрьмы, в деревне жить не стал, а облюбовал эту одинокую поляну и поселился здесь до конца своих дней. От дома следов не осталось, а место с тех пор так и зовется – поляной Буху. Вода была далеко, и Буху вырыл колодец. Над колодцем поставил хибарку, входи, кому надо, двери не было. Колодец был очень глубокий. Крикнешь в него и долго ждешь, пока эхо назад вернется. Когда ноги приносили меня в эти места, я непременно спускался к колодцу и подолгу сидел, представляя, какое у Буху было здесь житье-бытье. Надоест думать, покричу в колодец, послушаю эхо. Вот и забава. Но не думайте, что я лазал по горам и лесам совсем уж без оглядки и опаски. Да и братья не позволили б. До ближайшей деревни было отсюда верст пятнадцать – двадцать. Сюда никто не поднимался, место славилось безлюдьем. Наблюдать и примечать я научился быстро – у ребят живая память. Примятая трава, сломанный сук, сдвинутый камень – все я замечал.

Спустился я однажды к поляне Буху, остановился на расстоянии выстрела, оглядел все вокруг – вроде ничего подозрительного, еще пониже спустился и вижу: под орехом человек сидит. Дуло ружья – прямо на меня. И глядит в упор. Я его узнал. Это был Дата Туташхиа.

– Здравствуйте, дядя Дата!

– Здорово, абраг! – ответил он весело. – Иди-ка сюда, только обойди колодец сзади.

Я подошел, мы потолковали о том о сем, он расспросил меня о братьях, и разговор вроде бы увял…

– Дядя Дата, почему вы велели мне обойти колодец? – решился спросить я.

– Я третий день тебя здесь поджидаю. Ты ведь любишь кричать колодец?

– Люблю. Ну и что?

– А то, что теперь в эту хибару хода нет, – Дата глядел на меня по-прежнему весело.

«Что-то он скрывает от меня», – растерялся я.

– Раз вы сказали – не ходи, я, конечно, не пойду. О чем тут говорить, дядя Дата…

– Не в том дело. Пойти-то пойдем, только осторожно. Ты ступай позади меня.

Так и сделали. Дата Туташхиа подошел к хибарке с задней стены. Хибарка была из клепки. Каждая клепка – аршина три в длину, толщиной в два пальца и шириной – в пядь. Он

раздвинул клепку, влез в хибару, я – за ним. Колодец был обложен камнем, примерно по пояс взрослому. Мы опустились на корточки, и, когда глаза привыкли к темноте, Дата Туташхиа спросил:

– Точи-браток, видишь в камнях рукоятку маузера?

– Вижу.

– Дуло его как раз против входа, сверху маузер и не увидишь, камнями прикрыт…

Меня и сейчас в пот бросает, как это вспомню, а каково было мальчишке? Сердечко колотилось, как у пойманной птахи. И ведь как придумано: войдет человек, переступит порог, еще шаг – и нога точнехонько у камня, за которым маузер. Выстрел – и какого ты ни будь роста, от ширинки до глотки, куда-нибудь пуля да попадет, это уже точно.

– А теперь послушай! Видишь веревку? Перережь ее осторожно, очень осторожно. Только режь самым острым ножом, тогда не опасно. И режь вот отсюда, от задней стены. Если и выстрелит – пуля пойдет в направлении входа, ты же будешь как раз напротив. Потом разберешь камни вот здесь и вместо пуль получишь маузер. А теперь пошли.

Мы вылезли наружу.

– Дядя Дата, это для нас готовили?

– Думаю, для тебя. Эта штука не для бывалого абрага. Бывалый абраг в таком тихом месте через дверь не пойдет. Тот, кто поставил капкан, знал, что ты любишь приходить сюда и входишь без опаски.

– Значит, хотели убить меня?

– Думаю, тебя. – И немного погодя Дата Туташхиа сказал: – Точи-браток, если кто тебя ударит без причины, а ты ему не ответишь, он пойдет своей дорогой и непременно пожалеет о своем поступке: врагом твоим этот человек не станет – помни это. Но если и ты его ударишь, он уже враг тебе. Ты оттого попал в абраги, что дал сдачи тому, кто ударил тебя без всякой причины. Он и стал твоим врагом. Власть и закон – твои враги. Поразмысли как следует, откуда взялась эта ловушка с маузером, и тогда поймешь, кто твой враг. Понял ты меня?

– Понял, дядя Дата. И теперь-то уж знаю.

– Вот и хорошо. Пусть господь пошлет тебе мир и победу над врагом. А я пойду.

Дата Туташхиа обнял меня и пошел вниз по склону. Тогда я не знал, что за холмом его ожидали двое. Мои братья выследили. Видно, Дата Туташхиа пришел в Мухурский лес, чтобы встретиться с друзьями…

– Куда ты идешь, дядя Дата? – Вопрос мой, конечно был наивен.

– Огород прополоть мне надо! – ответил он.

Стояла поздняя осень.

– Нашел время полоть, – рассмеялся я. Откуда было мне знать, что скрывалось в его словах?

– Еще не поздно. Огород и поле, которые мне отведены, надо полоть-мотыжить и зимой и летом.

Мы расстались.

– Кто это сделал? – крикнул я ему вдогонку, когда он было уже далеко внизу.

– Ража Сарчимелиа или Поко Качава… Их рука, больше некому. И не пошел бы никто на такое дело, кроме этих крыс. Расскажи все Максиму и Платону. Они поймут.

Теперь осталось рассказать вам, что мы с ними сделали, и пора кончать.

Ражу Сарчимелиа мы подстерегли на дороге. Я сидел возле те большого мешка с кукурузой. Максим и Платон засели в кустах. Идет Сарчимелиа. Подумал: сидит себе парнишка возле мешка – чего бояться? Он подошел, и мы сделали с ним то, что он сам, когда грабил народ: заставили поднять руки, ссадили с лошади, отобрали оружие и повели в лес. Платон сказал: «Ты засунул маузер в колодец на поляне Буху, а теперь давай вытаскивай. Мы знать не знаем, что ты там накрутил, нам вода нужна, без колодца нам нельзя». Он отпираться, не слыхал ни о колодце, ни о маузере. Мы связали его покрепче и пустили вперед. Шли целый день и всю ночь, привели на поляну Буху.

– Входи! – сказал Максим.

Он в ноги нам, и чего только не сулил – один бог знает. Мы стояли на своем. Негодяй, однако, никак не хотел входить в хибару. Мне стало жаль его, я выстрелил и снес ему череп.

Спустя две недели мы пошли искать Поко Качава. Но опоздали. Кто-то прикончил его дней пять до нас.

Граф Сегеди

Вскоре выяснилось, что наши опасения вполне основательны. В ответ на одну из наших докладных записок мы получили от полковника Сахнова письмо, исполненное негодования. Он был возмущен примирением с борчалинским абрагом Яхья Ибрагим-Оглы, – велено же было, по словам Сахнова, его уничтожить! Ничего похожего он не писал. Приехавший из Петербурга штабс-капитан Нарейко доверительно сообщил Мушни о том, что Сахнов не раз уверял министра и шефа жандармов в том, что граф Сегеди и Зарандиа якобы провалили переманивание Туташхиа. Сомневаться не приходилось, началась закладка динамита. Разумеется, можно было на каждую атаку Сахнова отвечать контрударом, но тогда складывалась весьма сомнительная ситуация: одно нападение – одна попытка оправдания, несколько нападений – уже несколько попыток оправдаться, а поскольку ты все время оправдываешься, – значит, виноват пусть не полностью, но отчасти наверняка. Полковника такое положение вполне устроило бы, к тому же оно давало ему повод для постоянных жалоб своему высокому покровителю: кавказцы не оставляют меня в покое, постоянно подстрекают против меня министра. Безрассудно было давать ему такую возможность, надо было действовать, а мы сложа руки ждали, когда наша крепость взлетит на воздух.

В одном из очередных своих посланий Сахнов обвинил меня в том, что Туташхиа жив лишь потому, что я попал под влияние Мушни Зарандиа. Зарандиа же обвинялся в пренебрежении служебными и государственными интересами из ложно понятого родственного долга. В то же самое время одному из моих заместителей стало известно, что Сахнов на заседании чрезвычайного совета министерства потребовал увольнения Сегеди и Зарандиа или же перевода их в другое ведомство. Чрезвычайный совет Сахнову, естественно, не внял, но Сахнов рад был и тому, что первое зерно сомнения было брошено. В остальном он уповал на будущее.

Полковник торопился, он явно нарушал темп, приличествующий избранному им методу. Отчасти эта торопливость была вызвана и нашим поведением – самолюбие Сахнова страдало оттого, что его советы и попреки мы пропускали мимо ушей и по существу ни во что не ставили его кураторство в «Киликии». Не мог не знать он и о том, что хоть немного, но мы осведомлены о его интригах, и наша пассивность не могла не тревожить этого вояку.

Затем посыпались письма, в которых Сахнов требовал немедленного уничтожения Туташхиа, будто для этого достаточно было одного выстрела. Министру он представил пространный доклад, где во всех деталях описывалось, как мы потакаем Туташхиа.

Спустя полтора-два года после того, как Туташхиа ушел в абраги во второй раз, я получил из Петербурга предписание немедленно уволить Мушни Зарандиа. Подписано оно было шефом жандармов и Сахновым. Мотивировки остались прежними: невыполнение неоднократных приказов об уничтожении Туташхиа и родственная связь Зарандиа с абрагом, будто и до того, и все это время Дата Туташхиа не оставался двоюродным братом Мушни Зарандиа. Письмо имело гриф канцелярии министерства, а это означало, что оно послано с согласия самого министра внутренних дел! Это меня и обрадовало. Дело в том, что и в управлении и в министерстве Зарандиа и еще несколько провинциальных чиновников считались людьми неоценимыми. Более того, Зарандиа даже числился официальным консультантом министра. Был случай, когда в беседе со мной министр сказал о Зарандиа: «Этот абориген – дядька, наставник и духовник сатаны». Меня не раз просили уступить Зарандиа, я всегда отказывался, и наконец меня оставили в покое. От Сахнова же все хотели избавиться, как от запущенной язвы, но придумать ничего не могли. И тут курица начала точить на себя нож. У меня создалось впечатление, что Сахнова исподволь, долго и настойчиво настраивали против Зарандиа, манипулируя документами и сплетнями, а затем стали подводить его к мысли избавиться от Зарандиа. Министр и шеф жандармов заставили Сахнова создать положение, при котором в увольнении Зарандиа был повинен сам Сахнов – и только он. Что разъяренный Зарандиа проглотит Сахнова, как пилюлю, – в этом не сомневались ни министр, ни шеф.

Для меня все было ясно, но не мешало все-таки проверить свои впечатления. Министра и шефа, каждого в отдельности, я известил шифрованной телеграммой о том, что отказываюсь уволить Зарандиа, тем не менее отстраняю его от «Киликии» И перевожу на вакантную должность начальника политической разведки!.. Возражений не последовало, и я незамедлительно это осуществил. Назначение было согласовано со всеми инстанциями, и был издан приказ…

Сахнов ликовал, хотя победа была не совсем полной. Меня же интересовало лишь одно: что предпримет в этих обстоятельствах «дядька, наставник и духовник самого сатаны»?

– Мушни, вы не забыли свой старый принцип – не откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня? – спросил я его однажды.

– Существует и другой принцип, граф: не спеши сегодня с тем, что лучше сделать завтра, – ответил он, отлично понимая, о чем идет речь.

Впоследствии я не раз вспоминал этот краткий диалог. Что двигало мною? Зарандиа пошел на повышение, для Сахнова стал недосягаем и никакой опасности со стороны бывшего своего куратора ждать не мог.

О себе я уже сказал: мелкие интриги – самое большее, чем мог донимать меня Сахнов. В этой ситуации, если быть верным стереотипу, от меня требовалось терпение и терпение: сахновы и так сворачивают себе шею, без чужой помощи. Но тогда зачем было мне подстрекать Зарандиа? Может быть, в привычной линии моего поведения возникло что-то новое, не известное мне самому.

План уничтожения Сахнова в голове Зарандиа тогда еще не сложился, да и не было у него для этого времени. Заботы нового назначения – знакомство с делами и переосмысление их, проверка и перестановка людей, укрепление связей и расширение их сети – надолго поглотили его время, энергию, талант. Но это не значило, что Сахнов забыт или прощен Зарандиа.

Судьба Сахнова очутилась в папке документов, кропотливо и блистательно подобранных Зарандиа.

Наверное, можно было бы найти способ куда более краткого и емкого изложения всего, что тогда произошло, но я этого способа не нашел. Поэтому поведу свой рассказ самым обычным порядком, тем более что некоторые факты требуют особого пояснения. Дело в том, что во всей истории существовал еще целый ряд обстоятельств, внешне совершенно не зависимых и от проблемы Сахнова и даже друг от друга. В пору, когда все это начиналось, трудно было предположить, что обстоятельства эти когда-нибудь вдруг сойдутся, чтобы лавиной обрушиться на Сахнова и унести его с собой. Итак, приступлю к своему повествованию.

– Вы помните Спадовского? – спросил меня как-то Зарандиа. – Того самого доктора Спадовского, что три года тому назад перебрался из Тифлиса во Владикавказ и дважды – благодаря своим связям – попадал в поле нашего зрения? Не припоминаете?

– Как же, отлично помню.

Зарандиа раскрыл папку и положил передо мной пять страниц, канцелярского формата, плотно исписанных.

– Копня его прокламации.

– Любопытно.

– Скорее наводит на серьезные размышления.

Я приступил к чтению.

Спадовский был честнейший интеллигент, но необыкновенно падкий на разного рода модные течения в нашей политической мысли. Всякая новая политическая идея, едва возникнув, немедля находила в нем горячего приверженца, и было бы пустым занятием требовать от него последовательности. Он жил и действовал по принципу: все хорошо, что подрывает основы самодержавия и способствует возникновению в России нового политического строя. Поэтому он не упускал малейшей возможности дли опубликования в печати статей, компрометирующих и порочащих существующий порядок вещей. Он не жалел красноречия, самолично понося и обличая царизм среди своей обширном клиентуры и многочисленных друзей и знакомых. Он оказывал посильную денежную помощь разнообразным бунтарским элементам и при этом не давал закону и карающим ведомствам

достаточных оснований для возбуждения против себя дела и привлечения к суду. Он был осмотрительный и хитрый человек. Его переезд из Тифлиса во Владикавказ был вызван тем, что в конце концов он нам порядком надоел, над ним сгустились тучи, и, чтобы избежать нежелательных осложнений, он решил переменить место жительства.

Это не повлекло, однако, за собой изменения его воззрений и образа жизни. Его деятельность во Владикавказе была та же, что и в Тифлисе, и тамошние полиция и жандармерия отреагировали на его появление незамедлительно и куда суровее, чем в Тифлисе, ибо Владикавказ той поры был гнездом монархических настроений. Не долго думая, они навалились на Спадовского всей тяжестью недавно основанной службы слухов. Прошло ничтожно мало времени, как среди монархически настроенных терских казаков распространился слух, что Спадовский немецкий шпион, а в очень узком кругу свободомыслящих стали упорно договаривать, будто доктор агент тайной полиции. Его переселение во Владикавказ связывали с каким-то судебным процессом, в котором Спадовский якобы играл роль провокатора. Со своей стороны, считаю долгом заметить, что ни одна из пущенных версий никаких оснований под собой не имела. Так или иначе, но Спадовский очутился в тисках подозрения, ненависти и презрения, что немало его, однако, не смутило. Он принялся изучать создавшееся положение и быстро обнаружил источник своей компрометации. Много позже по этому делу была образована специальная комиссия, которая выяснила, что Терская служба слухов в своей деятельности не совершила ни одного правильного шага. Начиная с инструкции о создании службы, спущенной Сахновым, и кончая организацией самой службы, все носило исключительно любительский характер, осуществлялось руками бездарных чиновников и поэтому дало трещину на первой же ступени своего существования. В подобной обстановке человеку типа Спадовского не составляло затруднений добыть фактический материал и доискаться истины.

В прокламации Спадовского, которую Зарандиа положил передо мной, содержалось описание структуры службы распространения слухов, излагалась методика работы и приводился весьма точный список резидентов и агентов. Теоретическая часть была подкреплена несколькими живыми примерами. Прокламация называлась «Вот в каком государстве мы живем!». Открывалась обвинительным прологом и завершалась революционными лозунгами. И в самом конце – обращение к читателю: «Честные люди! Срывайте маску с кровавого лика царизма! Переписывайте и распространяйте этот документ». Прокламация была составлена в стиле, который не давал возможности обнаружить автора.

– Откуда вам известно, что это принадлежит перу Спадовского?

– Сам Спадовский две недели назад привез подлинник в Тифлис и оставил его для распространения госпоже Анне Лукиничне Голяревич.

– Если я не ошибаюсь, Анна Лукинична Голяревич преподает в классической гимназии?

– Совершенно верно. Она близкий друг и единомышленник доктора Спадовского. Ей следует снять двадцать копий, которые затем переправят в Баку и разошлют двадцати адресатам, заранее предусмотренным.

– Кто непосредственно будет снимать копии?

– Госпожа Елизавета Петровна Терехова. Подлинник в настоящее время находится у нее. Мы располагаем фотоснимком подлинника, заключением экспертизы о тождественности почерка, копией списка адресов и другими документами.

– Терехова… Не припомню теперь, для чего нам нужна была эта дама? Кажется, на ее адрес должны были доставить шрифт?.. Я не ошибаюсь?

– Вы правы, граф. Пакету, о котором вы говорите, предстояло пройти через руки Анны Голяревич, но сложилось так, что он не попал на территорию, нам подведомственную. Этой истории уже четыре года. С тех пор – я тогда еще не принял дела контрразведки – мы почти не использовали госпожу Терехову. В настоящее время меня занимает приезд Спадовского, а Терехова, как вам известно, приятельница Голяревич…

– Я понял, по мне не совсем ясно, при чем тут вы – это дело не входит в компетенцию вашего отдела…

– Ваше сиятельство, госпожа Терехова осталась при мне, она сама не захотела, чтобы я передал ее под начало другого чиновника. Да и сейчас я не могу этого сделать, ибо она нужна

мне, и все это дело остается за мной.

– Что вы намерены предпринять?

– Пока что ничего. Надо посмотреть, как пойдут события, дождаться новых фактов.

– А вы не боитесь, что за это время прокламация все-таки просочится в общество?

– До сентября можно ждать спокойно – это срок, назначенный Тереховой для размножения прокламации.

– А что же Спадовский?

– Пока что он лечит свою прогрессивную клиентуру. Терскому округу ничего не известно ни о прокламации, ни о том, что мы кое-чем располагаем.

Итак, дело было начато, и по логике вещей мне следовало приказать Зарандиа, чтобы он отослал материалы в Терский округ. Я и не намеревался это сделать… И не сделал.

Что же меня, черт возьми, остановило? Трудно сказать, но свою пассивность я отношу теперь за счет не зависящего от моей воли процесса, который совершался тогда в моей душе: распадался, изничтожался стереотип, давно и прочно укоренившийся в моем сознании.

Зарандиа ушел, а мной овладело чувство, будто, вернувшись со званого обеда, я вдруг обнаружил, что при мне нет то ли табакерки, то ли пенсне, то ли трости, – я пытаюсь вспомнить, шарю по углам, по карманам, а вспомнить не могу. Что-то я хотел спросить у Зарандиа, но так и не спросил… Но что? Что? Я должен был вспомнить – и действительно вспомнил. Зарандиа сказал о деле Спадовского: «Это наводит на серьезные размышления». Я упустил уточнить, что он подразумевал при этом. Много позже, благодаря тому же Зарандиа, мучивший меня вопрос всплыл снова, но об этом – в другой раз.

Бекар Джейранашвили

Тихо-тихо, но так обложили, что и уголка не осталось для меня ни в Кахетии, ни в Кизики. Слухи пораспускали… Послушаешь – самому страшно. Деваться некуда, надо уходить. Раздобыл бумажку, будто я панкисский ингуш и подался в Картли. В верхней Картли дремучие леса. Купил доброго коня и пошел трелевать бревна для шпал. В те времена все шпалы от Тифлиса до Батуми были дубовые. Вот для этих самих шпал мы дуб и трелевали.

Таскаю дуб месяц, другой, третий. Никому и в голову не приходит, что я абраг, платят сносно, да уж больно одно с другим не вяжется – Бекар Джейранашвили и мотыга или Бекар Джейранашвили и какая-то там волокушка для бревен! Мне девятнадцати не было, когда я подался в абраги. Одиннадцать только и знал что бродить по лесам и долам. Работать для меня – ну совсем невмоготу. Отвык! Бросить к черту эту трелевку?.. А куда пойдешь? Тут случай подвернулся – я и ушел в Мегрелию. Но сперва расскажу, что за случай.

В тех местах, где я трелевал, было имение князя Амилахвари. В управляющих у него служил некий Шалибашвили, зали его все Никой. Поговаривали, что спутался, мол, он с одной осетинкой, вдовой грузина. Назначил он ей как-то свидание в ростомашвилевских хлевах. Лежат они себе или еще чем занимаются – врываются трое, вооружены до зубов. Шалибашвили связали по рукам и ногам и привязали к столбу, а бабу повалили и на глазах у него изнасиловали. Тот, что был у них за главного, говорит: «Я – Дата Туташхиа. Будешь про свои дела рассказывать, и про мои не забудь». Повернулись – и поминай, как звали.

Имя Даты Туташхиа тогда у всех с языка не сходило. Людей хлебом не корми, дай посудачить. Услышат на копейку, а наплетут – не расхлебаешь. Ну, а мне что делать? Я человек пришлый, откуда меня бог принес, никто не знает, из-под дубовых бревнышек нос не высовываю. Прикажете рассказывать всякому встречному-поперечному, что мы с Датой Туташхиа побратимы сколько лет… и такого за ним в жизни не водилось и водиться не будет? Да и без этого – какая муха его укусила, чтобы переть из Мегрелии в Картли из-за паршивой потаскушки Шалибашвили? Ну, расскажи я все это – кто слушать станет? Людям пустой слушок любой правды дороже.

Вижу – уходить пора. Самое время. Прикидываю и так и этак, как бы хуже не вышло. Начнут дознаваться – откуда взялся, да куда подался, да не с теми ли он дружками, что с шалибашвилевской бабенкой баловались. На мне и своих грехов висит – не счесть. Остался. Приехали из Гори полицмейстер, следователи, конвой. Рыщут, роются. Нас, рабочих, по

одному таскают, допрашивают, показывают Шалибашвили и его осетинке – те или не те? Потоптались, наугощались в свое удовольствие, и прощайте, люди добрые. Одно я приметил – вроде бы искали они, а вроде бы и не очень. Но об этом после.

Помаялся я еще недели две, взял расчет, пошел в Хашури, продал лошадь, сходил в баню, надел новую черкеску, купил иноходца, отличный попался, вскочил в седло за тридцать червонцев, махнул через Сурамский хребет и через две недели был в Самурзакано. А почему в Самурзакано? Нужно мне было найти Дату. У нас давно уговор был, через кого друг друга искать, если нужда пришла. Человек этот был кузнецом, он знал, что мы побратимы, и про наш уговор тоже знал. Ждал я его пять дней. Дата, показалось мне, постарел немного и забота его гнетет, а так – тот же Дата, что и раньше.

– Пойдем со мной, наши места посмотришь, – сказал Дата.

Поехал я с ним, поднялись мы высоко. Места там – дай бог! Знаешь, какие?.. В Кахети, скажем, гонишь арбу, заберешься в Сигнахи, глянешь оттуда на Алазанскую долину и такое увидишь, что злость к горлу подкатит и комом станет. Такая силища у тамошних мест, будто ходят по твоей душе, топчут ее и приговаривают: куда тебе до нас, дитятко! А ты возьмешь и, чтобы с души тяжесть эту стряхнуть, пошлешь своих быков по матушке, прочистишь глотку и запоешь так, что грудь колесом вздымается. Вот оно как бывает! И откуда только голос возьмется! И песня вольная выходит, гордая… А в Гурии и в Аджарии взглянешь на горы, долины, на море и небо, и мысли твои молнией засверкают, и захочется тебе стать ловким, быстрым, всех обогнать, всех победить. И песни у них там заносчивые, с норовом. А в Мегрелии и Самурзакано поднимешься не так уж и высоко, на какой-нибудь пригорочек, и такой у тебя мир и душе, такое ко всем расположение, браток! Хочешь всех любить, всех одарить, обласкать. С коня своего впору слезть морду его обнять и прощения попросить за то, что верхом на нем сидел да еще погонял. И песню затянешь тихую, душевную, будто сидишь у отцовского очага.

У каждого места своя душа, а все равно все места одним дышат – красотой. В Гурии и Аджарии человека, который от закона по лесам скрывается, называют пирали, в Мегрелии и Абхазии – абрагом, а по всей остальной Грузии – качаги. Но суть одна у них. Как ты его ни назови – пирали, абраг, качаги, – с ним его ум, его рука и человеческая справедливость, а все вместе это и есть мужество или, как в старину говорили, – удаль. Какие места выбрал абраг, такова и удаль его. Поэтому и зовутся они по-разному, а так бы люди их одним именем окрестили. Понятно или нет говорю – не знаю, только одно верно: тому, кто ушел в абраги, в Грузии везде хорошо, но во всей Грузии не найдешь мест лучше тех, что мне показывал Дата.

Ходили мы дней десять или около того, наохотились, накутились. Подошло время, и я рассказал ему о том, что случилось с Шалибашвили. Дата помолчал, подумал, развел руками – что тут поделаешь – и дня два об этом ни слова. На третий день мы убили козулю, я ее свежевал, Дата с костром возился И вдруг говорит:

– Далековато обо мне слава насильника расползлась.

Я знал, что история с Шалибашвили эти два дня из головы у него не выходила и до могилы не выйдет, – надо знать Дату, еще два дня прошло, а может быть, три, он и говорит мне:

– Пойдем, брат Бекар, поглядим на Шалибашвили.

Этого я, по правде говоря, не ожидал.

– Ну, раз идти, так пойдем, – сказал я, когда пришел в себя.

Дня два его не было, а я в его землянке отсиживался. Впрочем, какая там землянка, это у меня бывали землянки. А его землянка – как барские хоромы. Во всем красота, понимание хозяйская рука. Сам все устроил, на все красоту навел – времени у него хватало.

Вернулся он, мы в последний раз переночевали и утром тронулись в путь. Лесами прошли в Имеретию. Имеретию пересекли по глухим тропинкам. В Картли нас никто не знал – шли обычной дорогой. Добрались до Квишхети, пришли к Грише Гудадзе. Он приходился Дате кунаком. Гриша принял нас хорошо. Мы оставили у него лошадей и оружие, взяли по косе и в полдень отправились в Хашури. Одеты мы были как поденщики, но при каждом – наган и по сотне патронов. Раньше был обычай – если побратим скажет: «Мне надо, идем со мной», иди и не спрашивай, куда и зачем тебя ведут, пока тебе не скажут. Так было заведено издавна потому что побратим побратима звал на помощь только тогда, когда другого выхода у него не

оставалось. Он вел и первую пулю встречал сам. Я знал: мы идем поглядеть на Шалибашвили. А что еще лежало на сердце у побратима, я не знал и спрашивать не стал бы. Что-что, а это мне было известно: самую большую опасность Дата возьмет на себя, меня побережет. А не пойдешь, тогда где еще искать равенства в опасности и законной доли в риске?

– Ты только одно, Дата, помни, – сказал я, – меня не жалей и не прикрывай, а то ляжет на меня грех дурного побратимства… Понял меня?

– Думаю, большая опасность нас не ждет, – сказал Дата, когда мы прошли с полверсты. – Что кому перепадет, то и делать, брат, будем!.. Давай лучше пораскинем мозгами, с чего начать и как дальше дело вести.

– А что надо нам? Чего хотим?

– Чего хотим – сам видишь. Разнесли о нас сплетни, обмазали грязью и перекрыли все пути. Тебя из Кахети выжили, да и мне не легче. Где и нога моя не ступала, и там моим именем зло и гнусность творят. Таких делишек, как Шалибашвили, да еще похуже, не меньше сотни насчитать можно, и все записано на наш счет! Я знаю, чьих это рук дело. Власть наша старается, но одной ей не управиться, ее дело – приказать, а уж охотников довести этот приказ до дела – не сосчитать. Они шныряют в народе, как волки в овечьей шкуре. Кто способен на зло, какое над тобой и мной творят, тот на все способен. В этих прихвостнях – ее сила, без них государству не обойтись. Потому-то и обнаглела эта тварь – власть за них, закону к ним не подступиться. Чтобы удушить это зло в самом корне, нет у нас с тобой сил. Но чтобы руки у него отсечь, на это-то нас хватит?

– Хватит!

– Про что я и говорю. И что делаю! Ты спроси меня, зачем идем, по какой надобности? Надо эти длинные руки пообломать, а там поглядим, что жизнь покажет. Тебе полоть приходилось – огород там или поле?

– Ну и что? Сорняк-то опять прорастает.

– Прорастет – опять выдери!

– Да ты что? Чтобы нам одним такую прорву земли одолеть?

– Всю, конечно, не одолеем, твоя правда. Но у сорняка, который вырастает на прополотом месте, той силы уже нет. Это одно. И потом, начнем мы с тобой полоть, и другие за нами потянутся. Справедливость возьмет свое, таких, как мы, будет все больше, больше, и когда нас станет легион, мы рукой и пулей дотянемся до зла, что гнездится на самом верху.

– Ладно, давай думать, с какого боку к этому делу подступиться.

– Здесь, в Хашури, знаю я одного… И вором он был, и жуликом, и по тюрьмам намотался, словом, мерзавец отпетый. Но у всякого мерзавца особый нюх на чужую мерзость. Он всегда ее найдет и запомнит: худо будет – он заставит других мерзавцев выручить себя. Моего мерзавца зовут Дастуридзе, Коста. Наверняка он знает о здешних темных делишках. Заставим его выложиться, а там видно будет.

– А что за этим Дастуридзе тянется?

– Одно его дело пахнет если не каторгой, то десяткой в Александровском централе.

– Тогда ему не отвертеться.

Пока добирались до Хашури, обмозговали, с чего начинать. Этот Дастуридзе держал на железнодорожной станции ресторан. Первым должен был возникнуть я. Дата с косами остался в тени на скамейке, которых было не счесть на пристанционной площади. Я обошел ресторан сзади и заглянул в кухню. У стены, что против окна, дремал повар. Возле окна судомойка средних лет мыла посуду в корыте. На столе стояли штук тридцать мисок с чанахи, ждали очереди в духовку. Мух было столько, что, наверное, в Хашури ни одной уже не осталось – все сюда слетелись.

Повар продрал было глаза, хотел что-то сказать и не смог, Только со второго раза выдавил из себя:

– Коста, выйди, а то в миски мух набилось.

– Уже иду! – раздалось в ответ, но появился Коста не скоро.

Видно, это и был Дастуридзе – кому бы еще быть Костой? Выглядел он лет на сорок и похож был на трясогузку.

– Ты что наделал? – заорал он, заглянув в миски с чанахи. – Ты куда столько мяса

навалил? А ну давай сюда таз.

Таз был уже наготове, его и приносить не надо было. Дастуридзе прошелся вдоль стола, из каждой миски вынимал по куску мяса, бросал в таз и бормотал:

– Сколько мяса выбросить! Кто съест столько мяса? Погубить меня хотите? По миру пустить?.. Куда столько?.. Кому?..

Судомойка вытирала тарелки. Повар стоял позевывая, будто не слышал. Дастуридзе заглянул в последнюю и снова завел:

– И куда столько? Чистый шашлык! Поставь на лед! Разорить меня хотите? – Он уже остыл, только бормотал себе под нос с явным, как я заметил, удовольствием и уже повернулся уходить, как я крикнул:

– Коста, давай сюда, дело у меня к тебе!

Он подошел к окну и оглядел меня с головы до ног. То ли ему не понравился, то ли еще что, но он повернулся ко мне спиной.

– Плесни-ка этому мясного бульону, да побольше, – бросил к повару. – И хлеба дай!

– Дело у меня к тебе! – крикнул я ему в спину. – Нужен мне твой бульон…

Он оглянулся, долго так разглядывал меня и ушел, не сказав ни слова. Повар поставил на подоконник полную миску и принес хлеб и ложку.

– Поди поешь! Вот туда, – он показал на скамейку, где сидел Дата.

Я чуть было не протянул руку к миске, но спохватился, потому что заговорила баба:

– Господи! Он каждый день долбит нам, что мы его разорить хотим. А ты хоть раз возьми и разложи этого чертова мяса ровно столечко, чтобы и вынуть уже было нечего…

– Помолчи лучше. Пробовал я… В прошлом году… Тебя здесь не было, не знаешь…

– Ну и что было?

– Еще больше озлился.

– И что же ты? Прибавил?

– А что мне было делать?

– Ну, а он?

– Он добавку обратно вытащил… – Тут повар заметил, что я еще не ушел. – Ступай, ступай, только смотри, чтоб у миски ноги не выросли, а то пропавшие миски тоже на меня вешают.

– Он, видишь, – повар уже забыл про меня, – любит от всего хоть кусок оторвать, чтобы поменьше оставалось. Прямо страсть какая-то…

– Да зачем ему это?

– Ладно, баба! Помолчи… Все равно не поймешь.

«Вот он каков, этот Дастуридзе. С какого боку к нему подъехать?» – соображал я и не мог ничего придумать. А он, бог милостив, вдруг входит и прямо к окну. Поглядел на миску, ложку и хлеб, потом на меня… Тянуть дальше было нельзя.

– Обезьяна меня прислал. Дело есть, – сказал я.

У Дастуридзе слегка дернулась бровь, и такое удивление разлилось по лицу, что меня взяло сомнение – Дастуридзе ли это? А если и он, дело-то известно ли ему?

– Что?.. Кто?

– Обезьяна!!!

– Не знаю я такого… Знать не знаю… Слыхом не слыхал, – зачастил он сердито и негромко.

– Не знаешь, говоришь?

– Не знаю и знать не хочу! – сказал Коста, только потише и позлей.

– Эй, Кола, – крикнул он повару, – забери посуду с окна, бульону ему… многого захотел.

– Дело, конечно, хозяйское, – сказал я, – но только и Обезьяна тебя давно знает, и Яшка сурамский тоже привет тебе посылал.

– Никого из них не знаю. Что-то ты напутал! – выпалил Дастуридзе совсем почти неслышно и вдруг схватил ложку, зачерпнул бульону и заорал повару: – Ты что, Кола, соли жалеешь? Какой преснятины налил, а ну давай соль!

– Это где же видано, чтобы бульон солили? Соль на столе, соли на свой вкус. Соли, значит, мало, – веселился я. – Забирай свою бурду, и пусть твой Кола посолит ее покруче и

клизму себе поставит!.. А сам вали отсюда, гусиный помет, сказано тебе, дело есть!

– Уже иду, – промямлил он, едва ворочая языком, и пошел к дверям.

Пока Дастуридзе притащился, я устроился на одной из лавочек. Он плюхнулся рядом со мной, и я еще рта открыть не успел, как он затарабанил:

– Чего надо! Чего пристал?.. Откуда взялся? Прилип, как к маленькому… Думаешь, на дурака напал? Наплел черт знает что… С каким-то чертом лысым перепутал, а теперь лезет и лезет, скажи на милость…

И пошел, и пошел… Быстро, без передыху, слова путаются, брызжет. А в глазах и следа волнения нет. Чувствую, прощупывает он меня, выход ищет, а тарабарщина эта так, для отвода глаз. Он уже вконец запутался, порол бог знает что. Слова не разберешь. Тут-то и подошел к нам Дата, тихо-мирно, на плече две косы.

– Здравствуй, Коста! – Дастуридзе как язык проглотил. – Давненько мы, брат, с тобой не виделись… Годка четыре, не меньше, а?

Дата поставил косы на землю, оперся на них и спокойно разглядывал Дастуридзе.

На кресте и Евангелии могу поклясться: чтобы человека так шибануло, я в жизни не видел ни раньше, ни после.

– Эге… да это ведь Дата! – выдавил он из себя.

– Дата, он!

Он переводил глаза с меня на Дату, с Даты на меня – соображал, вместе мы явились или каждый сам по себе. Смекнул, Видно, что про Обезьяну Дата знать не мог. Но откуда я знаю, тоже не мог в толк взять. Видел он меня в первый раз. Присмирел наш хозяин, притих и так и эдак про себя прикидывал, откуда вся эта история с Обезьяной могла нам в руки попасть. Стал он наши косы разглядывать, лезвия пальцем попробовал – то ли время хотел выиграть, то ли чего еще ждал.

– Не слушает он меня, – сказал я Дате. – Думает, я за себя стараюсь. А мое дело маленькое. Мое дело сторона. Мне и отвар не нужен, я его и есть не стал, а уж какой был бульон, слава тебе господи! Просили меня слово передать. Станет слушать – хорошо, нет – дай ему бог всего хорошего, тебе – доброй косовицы, а я обижусь и пойду, куда ноги понесут.

– Так как же ему быть, Коста? – спросил Дата. – Говорить или уйти?

Дастуридзе молчал и уже не разглядывал нас, а сидел, уставившись в землю, и думал.

– Ну, раз так, говори! – сказал мне Дата.

– Они с Обезьяной – есть такой вор ростовский – в России богатый монастырь с мокрым делом обчистили. Ты говоришь, последний раз года четыре назад его видел? Вот тогда и свело их дело. След их взяли быстро, в лицо тоже знали, погоня на пятки им наступала, и они – прямиком в Грузию. Одного золота притащили одиннадцать фунтов – с икон золото поснимали, украшения всякие, цепочки да еще шестнадцать бриллиантов. Один – со сливовую косточку. Два – с абрикосовую. Тринадцать – с вишневую. Мельче не было. И еще набрали серебра, подсвечников и еще бог знает сколько всего, не перечесть… Поделили они все поровну и пришли в Хашури. Обезьяну Коста оставил здесь, а сам подался в Сурами, был у него там барыга – так он Обезьяне сказал. Вернулся и говорит: барыга дает каждому за все про все по восемьсот червонцев. Обезьяна прикинул: пока покупателя найдешь, тебя накроют, и восемьсот червонцев уйдут, и в тюрягу угодишь. Согласился. А Коста шакал что сделал? Он в Сурами сторговался с Яшкой отдать все за три тысячи червонцев, а напарнику, видишь, сказал – восемьсот. Мало того, пока шли в Сурами, он у товарища стянул бриллиант, тот, что с косточку сливы, и один, который с абрикосовую. И проглотил. Пришел в Сурами – нет обезьяновых бриллиантов. Обезьяна обшмонал дружка. А чего искать, когда они у него в кишках. Ну, известно, драка, мордобой, то-се. Коста и говорит: «О бриллиантах твоих я ничего не знаю, хочешь, забирай из моей доли две тысячи и проваливай на все четыре стороны!» Таким вот путем Коста с сурамским Яшкой спровадили Обезьяну с его тысчонкой. Коста остался при двух тысячах и парочке крупных бриллиантов. Про Якова и говорить нечего. Там тысяч на десять, не меньше было.

– Мда, слабоват мужик, – сказал Дата.

– Ты о ком это?

– Да Обезьяна или как там его.

– Обезьяна мне так сказал: я потому уступил, что мне на пятки наступали, деваться было некуда.

– Я не о том. Камушки свои зачем уступил – вот я о чем.

– Я сам Обезьяне говорил, прикончил бы дружка, распотрошил и нашел бы бриллиантики в желудке или и кишках.

– А он?

– Я, говорит, тогда в ворах ходил, а человеку воровской крови в свином дерьме не пристало копаться. Видишь, какой разговор?

– Можно было что-нибудь еще придумать…

– Я ему и это сказал, а то нет… Подождал бы, пока переварит, и заставил бы своими руками свое же дерьмо перебрать, перемыть и найти, а тогда бы и брал.

– А он что?

– А что? Дастуридзе, видишь, говорит ему, желудок у меня туго варит: запором мучаюсь, пока дождешься, нас накроют, а так бы отчего не подождать, сам бы увидел, что не брал я ничего и не глотал.

– Выходит, правда за Коста, ничего не скажешь! Брал не брал, а погоня ведь здесь!

– Обезьяне куда деваться? Выдал он Коста напоследок: барабану столько не перепадает… И прощай, друг дорогой!

– Ну, а ты-то откуда все узнал?

– А я уже неделю как из царицынской тюрьмы. Обезьяна там по другому делу срок ожидает. Про монастырь и мокрое дело там ничего не знают. Обезьяна узнал, что я освобождаюсь и в эти края путь держу, он меня и попросил Коста найти.

– Чего просил?.. Какая там Обезьяна? Косточки… бриллианты… Чего надо? – затарабанил опять Дастуридзе.

– О чем, спрашиваешь, просил Обезьяна? Он сказал, живет Коста там-то и там-то, поди и скажи ему… Словом, вот что он тебе велел: Обезьяна дал мне адрес – сто пятьдесят червонцев ты должен послать по этому адресу. Сделаешь – значит, ты согласен и на то, что я тебе сейчас скажу… Подтверждаешь вроде, и фамилию поставишь – Подтвердилов. Как деньги пошлешь, поедешь в Царицын, подмажешь следователя, чтоб Обезьяну освободили, а как он выйдет, ты ему и отдашь тот бриллиант, с косточку сливы, а который с абрикосовую – оставишь себе. Пусть, говорит, будет у Коста.

Многовато дел он тебе надавал! А ну, как не согласится Коста, что Обезьяне делать?

– Он сказал: приду с топором-топориком, дерево под корень, а его сховаю и деток его заодно!.. Детки-то есть у тебя?

– Не пойму я что-то, – сказал Дата. – Ты поясней давай!

– А чего ясней… Он сидит по такому делу, Обезьяна этот, что ни при какой погоде ему меньше двадцати лет каторги не светит. Если Коста не сделает, как он велел, Обезьяна расколется по монастырскому делу. Ему-то от него ни жарко ни холодно, Косту с собой рядом посадит – вдвоем-то веселее. Обезьяна уже не вор, трумленый он, так что в таких делах ничто ему не помеха и никто не судья. Он на это с легкой душой пойдет… Что, опять не понятно?

Видал я шакала в капкане. Дастуридзе был точнехонько шакал. Опять пошел он пришептывать, приговаривать, совсем громко забормотал:

– Бриллиант со сливовую косточку… с абрикосовую косточку… бриллиант… с косточку сливы, слива с абрикоса… абрикос в косточку… бриллиант в сливе… слива с абрикосовую косточку… абрикос с бриллиант… – видно, думал сойти за полоумного. Думал, мы от него отстанем. Или чего еще думал, не знаю. Помешаться тут было немудрено. Здесь любого посади, заставь думать и разбираться в этом деле – ничего бы не вышло. Вроде бы все ясно, а твердо все-таки ничего не известно, это Дастуридзе понимал.

– А что, если Обезьяне этому сказать: нет больше Дастуридзе, отдал концы, преставился? – спросил Дата, и Дастуридзе навострил уши.

– Ты что, в своем уме? Он пошлет меня к сурамскому Яшке, а тому – хоть нож, хоть петля, ничего из него не выбьешь, дело и раскроется, это уж не сомневайся!

– А ты… Яшка концы отдал… помер, и все! – закричал Дастуридзе.

– Держи карман… Мне что, из-за тебя пол-Грузии на тот свет отправить? Да и не поверит

Обезьяна!

– Бриллиант со сливовую косточку… бриллиант с абрикосовую косточку…

Теперь-то он уже кое-что понял. Первое – что мы с Датой заодно. Другое – он у нас в сетях, и от Обезьяны мы пришли или нет, а ему от нас никуда не деться. Одного он не знал: нужны нам бриллианты его, или денег нам хватит, или что другого у нас на уме. Он и пустился опять абрикосничать, чтобы с мыслями собраться.

– Я так понимаю, – сказал Дата, – вы монастырь ограбили в тот самый год, когда в Майкопе Бжалава призрел тебя голодного и босого, а ты в благодарность стянул у него два одеяла и смылся.

– Нет, нет, Дата… господь с тобой.

– Четыре года прошло… как раз, когда одеяла пропали. Ты уж не говори, что не крал, не серди меня. А то обижусь, и хоть не за тем пришел, вытряхну из тебя за парочку сотню одеял… не волнуйся!

Дастуридзе стал вдруг спокоен, хмур и прям.

– Не знаю я ни Обезьяны, ни Яшки сурамского, ни монастырь я не обобрал, ни Бжалаву. Пришли вы ко мне не дать, а взять. Я все это вижу и говорю вам честно: вас я не боюсь, прочности моей камень позавидует, а разговаривать здесь не место. Хотите, пойдем в дом.

– Ты, видно, из гимназии только-только, ей-богу!

– А он правда в гимназии учился, – подтвердил Дата.

Хозяин двинулся вперед, мы за ним к ресторану.

Он и бахвалился, и куражился, но видно было, сломлен человек. И сам он это знал. В небольшой комнате нам накрыли стол. Он сел во главе стола, как тамада, и сказал:

– Ешьте побыстрее, выкладывайте, с чем пожаловали, и проваливайте отсюда!..

Бедняга решил взять нас наглостью! Мы с Датой переглянулись… Я встал, двинул его кулаком в челюсть, и он вместе со стулом грохнулся оземь.

– Поднимись и сядь!

Он поднялся, сел, и я двинул его еще разок.

– Я спросил, зачем пожаловали, что тут плохого? – На всякий случай Дастуридзе прикрыл лицо локтем. Я преподнес ему в третий раз и сказал:

– За этим и пожаловали! А так чего нам еще?

– Кричать буду…

– Ну, много не покричишь. – Дата наполовину вытащил из-за пазухи рукоятку нагана, дал хозяину поглядеть и сунул обратно.

– Долго еще бить будете?

– Пока вежливости не научишься. Он тебе сказать кое-что хочет. Ты его послушай, – я кивнул на Дату.

– Стоило эту историю заводить. Говорили бы прямо, – проворчал Дастуридзе.

– Нужно было, дяденька, нужно. Нам правду надо было знать. А от такого, как ты, правды не услышишь, пока он лбом земли не достанет и целовать эту землю не будет. Я тебя, Коста, предупреждаю, одеяльный ты воришка, чтобы я здесь ни вранья, ни хитрости не видал! Ясно? А теперь вот что: как на Шалибашвили напали, знаешь?

– Знаю.

– Чья рука?

Дастуридзе скрючило. Видно, хотел сказать, что не знает, но осекся.

Еще бы не осечься! Кто бы ему тут врать позволил?

– Ну, ну, веселей, поживей да посмелей! – ободрил я его.

– Табисонашвили и еще двое.

– Зачем им это?

– Они люди Кандури, он их и навел.

– А Кандури что за фрукт?

– Кандури не знаете?

– Не знаем.

Дастуридзе почесал в затылке.

– Я скажу, но имя мое забудьте. Обещаете? Что у вас на уме, не знаю… А у меня дети

малые.

– Может быть, ему подписку о неразглашении дать, как ты думаешь, Бекар-дружище?

– Я же объясняю: мы все стоим при доходном деле! Где доход, там и закон поцарапан. Пришлет он мне ревизию – дороже станетт. По три раза в месяц присылать будет! Или по миру иди, или плати. Платить лучше. Я ему даю, и все знают, что даю. Меня и не трогают.

– Отлично, я вижу, все устроено!

– Ты говоришь, вместе сидели. За что ты сидел, ясно. А он?

– За кражу и так, по мелочи… за мелкое воровство.

– Что же он брал?

– Сначала он базарным воришкой был, шопчиком, ходил годный и вшивый. Звали его кто Бандурой, кто Чонгури. Когда с ним сидел, он три года отбывал – у своей невесты кусок на платье спер.

– У собственной невесты, говоришь?

– У нее. Отсидел он срок и постригся в монахи в Кинцвисском монастыре. Несколько лет там протянул. Потом как-то исхитрился, сменил черные ризы на белые, стал попом и служил здесь, в Хашури, пока экзархом не назначили архиепископа Алексия Опоцкого… А остальное я вам уже рассказал…

– Где он живет, ты, конечно, знаешь?

Дастуридзе махнул рукой.

– Вы мне скажите, где он живет. У него домов с усадьбами не перечесть. А живет он почти все время в Хашури. Сегодня служба, и у духовенства тоже какое-то их сборище. Без Кандури ни там, ни здесь не обойтись. В Хашури его и надо искать.

– А теперь скажи, какой порядок заведен у этого Кандури, Бандури, Чонгури, отца Алексия или как там его еще, чем занимается, к кому он ходит, кто к нему…

– Всего по горло! Женщины, пьянки, крупная игра. Все, конечно, шито-крыто. У них своя компания. Чужих и кто чином пониже они на пушечный выстрел не подпускают.

– А в тюрьме кто о нем пекся? Как жил? Что ел?

– Кашку! Он кашу обожает. Как все поедят, он соберет миски, все остатки соскребет в одну, да еще каждую миску пальцем оботрет. Съест остатки и опять по миске пальцем пройдется. Брюхо у него всегда как бурдюк. А все равно голодный. В тюрьме его и прозвали Кашкой.

– Понятно. А Шалибашвили как найти?

– Шалибашвили в Цхрамуха живет.

– Где это?

– Здесь неподалеку. Полчаса ходу.

– Знаешь, друг, что мы сейчас сделаем? Пойдем все втроем и проведаем этого Шалибашвили.

– Мне с вами? – Дастуридзе даже побледнел.

– С нами, Коста, с нами.

– Я… Я не знаю, где он живет. Что в Цхрамуха, знаю, а где дом стоит – не знаю.

– Так ты, видно, не знаешь, где и Кандури дом?

– Не знаю… Я с вами человека пошлю. Он все знает.

Я положил ему руку на плечо, и он замолчал.

– Эй, ты… что из мисок с чанахи мясо вытаскиваешь!… Это же надо таким ишаком быть, чтобы до простой вещи не допереть: жизнь твоя в наших руках, и пока мы здесь, нам с тебя глаз спускать нельзя. Куда мы, туда и ты! Хочешь без нас – ради бога, но только уж не взыщи: душу вынем, падалью валяться будешь…

– Ну, что ты, Бекар-дружище! Зачем так грубо? Падаль… Нехорошо, совсем нехорошо. Что за выражения? Можно ведь сказать: усопший, преставившийся, да и мало ли еще прекрасных слов в нашем языке!..

– Вот-вот, усопшим мы тебя и оставим, покойничком, а и живых тебя оставить – сам на себя беду накличешь. Нам-то что? А ты вздумаешь с нами развязаться, свинью нам подложить – и не дойдешь ведь пустой своей головой, что бриллиант, который с косточку кураги, останется тут, а ты на сахалинскую каторгу загремишь. Нет, дорогой, жалко нам тебя. Куда

тебя живьем отпускать? На собственную твою погибель? А с нас взятки гладки.

Деваться некуда – пошел он с нами.

– Что вам от Шалибашвили нужно? Может, я знаю?

– Мы хотим узнать: правда ли, тот, кто его осетинку изнасиловал, свалил все на Дату Туташхиа? Больше нам ничего от него не надо.

– Правда, чистая правда. На Дату свалил…

– Помолчи, Коста, ради Христа. С чужих слов нам не хуже тебя известно.

Опустил Дастуридзе уши, будто усталый осел.

Граф Сегеди

В ту пору на Кавказе существовала одна проблема, неразрешимая и живучая, отчего она и была предметом неукоснительных забот тайной полиции. Я говорю о проникновении влияния Турции в среду мусульман, особенно дагестанских. В начале двадцатого века это влияние обрело черты теоретической системы, целостного учения, получившего название панисламизма. Резиденты и шпионы султана энергично споспешествовали всему, что было направлено против интересов Российской империи на Кавказе. Эта деятельность требовала солидных затрат, в условиях Кавказа – преимущественно золотом, и туркам приходилось отыскивать все новые пути переправки золота на Кавказ.

Должен сделать небольшое пояснение. Использование турками и персами кавказских горских племен против христианской Грузии имело многовековую историю, берущую начало задолго до рескрипта императора Александра Первого. Грузины были весьма искушены и в противостоянии султанским шпионам и в умении прибирать к рукам высокопробное султанское золото. Не прошел для них даром и девятнадцатый век, когда грузинский опыт обогатился нашим собственным, и в канун двадцатого века каналы, по которым золото из Турции поступало на Кавказ, были нами уже хорошо изучены и контролировались весьма тщательно. Перед турками то и дело возникали препятствия, преодолевать которые становилось все труднее и труднее, однако и мы порой бродили на ощупь. Успех в этом состязании переходил с одной стороны на другую. К тому времени, когда Сахнов присвоил авторство «Киликии», уже пять лет турки брали над нами верх, и турецкое золото, как явствовало из агентурных донесений, без препятствий достигало адресатов, и как оно к ним доходило, по каким путям, через чьи руки, мы установить не могли. Зарандиа предполагал (и об этом он говорил во множестве докладов и на множестве совещаний), что на территории Кавказа существует постоянный казначей, который снабжает золотом подпольную сеть панисламистов. У этого казначея был счет в одном из иностранных банков, турки вносили на этот счет суммы, которые надлежало выдать резидентам, а казначея извещали, кому положено выдать и сколько. Чтобы подтвердить эту гипотезу, нужно было найти доказательства, их искали изобретательно и постоянно, а результатов как не было, так и не было. С годами дело осложнялось еще и тем, что по мере того, как росла добыча и обработка кавказской нефти, увеличивался капитал, больше становилось внезапно разбогатевших людей, и поди угадай, кто из них мог оказаться этим загадочным казначеем, кем нам следует заняться, кого изучать. Осуществить столь обширную слежку было физически невозможно. Предстояло выработать новую методику, ибо прежняя не давала уже ничего.

Как известно, один из краеугольных камней права в любом цивилизованном обществе стоит на том, что закон, предусматривающий наказание за преступление, вступает в силу лишь тогда, когда против преступника есть улики. Иными словами: как бы ни был сыск убежден, что данное преступление совершено именно этим человеком, человек этот пользуется правом неприкосновенности до тех пор, пока ему не будут представлены неоспоримые доказательства либо данного преступления, либо какого-нибудь другого, возможно совершенно нового. Это относилось и ко всей враждебной деятельности турок, прикрывалась ли она панисламизмом или какой-нибудь иной маской.

Мусульманское вероисповедание и, стало быть, Коран в Российской империи пользовались свободой. Идея панисламизма заложена в самом Коране, его исповедование не противоречит закону, и уличать в преступлении, применять закон там, где речь идет, казалось

бы, только о проповеди панисламизма, значит поставить себя в весьма сомнительное положение. Единственный вопрос, который мы могли задать панисламистам, звучал приблизительно так: под чьей эгидой вы видите объединение исламского мира? На это проповедники панисламизма отвечали: разве мы призываем к выходу из Российской империи? Кто и где мог это слышать? После этого на нашу долю оставалась лишь борьба с частными проявлениями сепаратизма, которую мы и осуществляли с большим или меньшим успехом.

Куда проще было осудить и наказать разбойника, бандита и любое подобного рода сопротивление властям или подстрекательство к такому сопротивлению. Здесь вина во всех случаях была налицо, оставалось лишь разоблачить преступника и наказать его.

Что же касается панисламистов, то мы своей борьбы не оставляли, и часто победа доставалась нам, но даже в случае успеха выяснялось, что мы лишь отсекли мелкие ветви и побеги, нам же надо было свалить все дерево, а корни его выкорчевать. Добиться этого было невозможно до тех пор, пока каналы, питающие панисламизм, не были перерезаны. Духовное противостояние панисламизму, то есть борьбу с самой идеей, осуществляла христианская церковь. Пищей материальной, его поддерживающей, то есть золотом, занимались тайная полиция и жандармское управление. Нам удалось захватить несколько курьеров, спешивших к резидентам с крупными суммами на руках. Мы точно знали, для чего предназначались эти деньги, а им хоть бы что! Ответ был всегда один: деньги – мои. Стоило нам поймать за руку непосредственно при передаче денег – все равно пустой результат: я ему должен, утверждал один; он вернул мне долг, подтверждал другой. Как слепые лошади ходили мы по этому кругу, а туркам, конечно, оставалось только радоваться и торжествовать.

Я рассказал все это затем, чтобы стало понятно, с чего пришлось начинать Мушни Зарандиа в деле о султанском золоте, и справедливость требует заметить, что для распутывания этого узла у него на руках поначалу не было ничего.

В моем ведомстве никто не справился бы с этим делом лучше Зарандиа. И действительно, едва приняв новый отдел, он тут же выдвинул дело о султанском золоте в первый ряд. Время, однако, шло, и не видно было, чтобы Зарандиа нащупал хоть какой-нибудь путь. Однажды я спросил его, что делается нами против турок.

– Вашему сиятельству известно, – сказал он, – что существуют и другие дела подобного рода, и не менее важные – между всеми ними угадывается связь. Я обдумываю способ, который позволил бы разрешить разом если не все эти проблемы, то хотя бы какую-то их совокупность. Дайте мне еще время, совсем немного – ну, месяц-полтора…

А смежных дел и правда было немало. Вот одно из них. Приказы по чрезвычайно важным или особо секретным делами я фиксировал номерами, непременно заканчивающимися нулем: 70, 120, 410 и так далее. Документ, помеченный таким номером, требовал немедленного продвижения или ответа, одно дело издать приказ, другое – его исполнить. На новом посту Зарандиа поджидало несколько невыполненных приказов, помеченных нулем. Один из этих приказов был вызван сообщением нашей разведки о том, что генеральный штаб австро-венской армии получает тайные донесения с территории Закавказского военного округа. Австрийцы располагали данными послужных списках офицерского состава артиллерийских частей, дислоцированных в Закавказье, и об общей численности их орудий. Кроме того, у них на руках был подробный доклад о политических настроениях гражданского населения, царящих и в армейских частях, расположенных в Закавказье. Такого рода сведения были доступны множеству офицеров и чиновников и в нашем округе, и в соседних, что больше всего и мешало решить этот ребус. Чтобы только напасть на след виновного, нужно было соединить усилия нескольких родственных ведомств и запустить в действие целую систему практических мероприятий.

Зарандиа видел все трудности, которые воздвигались перед ним, но дело заинтересовало его, и одновременно с другими столь же неотложными делами он дал немедленный ход документу об австрийском шпионаже. И здесь, как и в истории с султанским золотом, он не располагал ничем, кроме приказа, помеченного нулем. Работа же предстояла ему неимоверно трудоемкая. Ему предстояло подробнейшим образом изучить все закавказские связи с заграницей и с иностранцами, и это на территории, где почти десятая часть городского населения имела иностранное подданство. Изучать предстояло и вообще по линиям

политической разведки, и для того, чтобы выполнить мой приказ. Эта задача, по первому впечатлению, может показаться несложной, на деле же она почти неразрешима.

Изучив сообщение нашей австрийской агентуры, на основании которого был составлен мой приказ, и сопоставив этот документ с реальным положением вещей, Зарандиа убедился, что перед ним резидент, искусный в своем деле и весьма просвещенный, и что агенты этого резидента связаны с лицами, весьма компетентными. Коллекционирование подобных сведений – и Зарандиа был в этом, несомненно, прав – нельзя было приписать энтузиазму любителя, а то, что материал этот пересылался в Австрию, свидетельствовало о том, что патриотические мотивы здесь исключены. Было очевидно, что существует предатель и покупатель либо же поставщик фактов и вымогатель, его шантажирующий. Прошло еще немного времени, и Зарандиа установил, что те же сведения, которыми располагали австрийцы, попали также в руки турок и персов. Это означало, что на Кавказе действовали шпионы трех государств, или шпион был один, но работал на трех хозяев.

Теперь о методе, избранном Зарандиа, чтобы установить ту группу лиц, за которой надлежало следить и изучать ее. В его методе я ощутил нечто метафизическое, но ведь исключение сплошь и рядом более реально, чем тривиальность, и вызывает интерес несравненно более острый.

Первый вывод Зарандиа был таков: сообщение об артиллерийском вооружении и послужные списки офицерского состава доставлялись одним лицом, а донесение о политическом состоянии умов в армии и в обществе – другим. Что Зарандиа прав – не было никакого сомнения, но поскольку от точности этого вывода зависели все наши последующие действия, необходимы были неопровержимые доказательства, что дело обстоит именно так, а не иначе. Доказательств у Зарандиа не было ни малейших, тем не менее он стал действовать, исходя из предположения, что существуют два автора.

Правильным был и второй шаг, если можно считать правильным действие, вытекающее из предположения, лишенного доказательств. Зарандиа составил три списка. В первом списке числились лица, которые могли быть осведомлены о количестве и типе нашего артиллерийского вооружения и имели при этом широкие связи среди офицеров. Во второй список попали лица, ум и образование которых позволяли делать наблюдения над политическими настроениями общества. Третий список содержал имена возможных резидентов.

Дальше он опять свернул с пути, протоптанного и всеми принятого, и взялся за дело, на первый взгляд совершенно безнадежное. Он не стал расчищать и сокращать списки путем исключения лиц, которые по своему характеру, образу жизни и имущественному положению не могли заниматься подобным делом. Нет, он взял первые два списка и в каждом из них выбрал по одному человеку, который находился в связи с кем-либо из предполагаемых резидентов третьего списка. Таких трехчленных комбинаций Зарандиа получил около тридцати и лишь после этого обратился к методу исключения. В конце концов он положил мне на стол список, в котором значилось лишь шесть групп.

– Теперь остается только прочесать эти группы, ваше сиятельство.

Все это казалось столь произвольным, что походило больше на шутку или на игру праздного ума, чем на серьезную работу.

Я рассмеялся. Вслед за мной рассмеялся и Зарандиа.

– Чему вы смеетесь, Мушни?

– Я радуюсь, граф!

– Что же так обрадовало вас?

– Они здесь, у меня, – Зарандиа любовно похлопал пачку папок, покоящуюся у него под мышкой.

– Кто они? – Его упорная самонадеянность начинала уже меня раздражать.

– Шпионы. Один уж во всяком случае. Для начала нам и одного достанет. А здесь досье двадцати. Было бы неплохо вам с ними познакомиться. Разумеется, в свободное время.

Зарандиа положил мне на стол пачку папок. Я взял верхнюю и раскрыл ее. Не просмотрев и половины документов, я невольно перестал читать… Поразительная все-таки вещь – досье сыскного ведомства! Не надо думать, что это копилка из отрицательных данных об

интересующем нас лице. Отнюдь нет! Здесь сказано о заслугах и наградах, здесь отмечены высочайшие человеческие и гражданские достоинства.

И все же досье – это совокупность документов, подобранных против определенного лица, и будь вы исполнены самого пылкого доброжелательства, знакомясь с досье, вы будете искать в его герое нарушителя правопорядка, человека с нравственными изъянами, преступника. Мне доводилось читать досье людей, считавшихся гордостью нации и общества, и будь я читателем неопытным, неискушенным в подобных делах, я бы непременно подумал, что передо мной развернуты деяния подонка и висельника. Так и с этими двадцатью. Ничего не стоило заподозрить их всех в государственном преступлении, видя в каждом шпиона дюжины государств, а уж о прочих смертных грехах я и не говорю.

– Ну, так что? – Я оторвал глаза от досье и пристально посмотрел на Зарандиа.

– Пока что ничего. Но думаю, что вскоре кое-что будет.

– Вы исходите из этого? – Я положил руку на стопку папок и тут же понял, что наношу пощечину Зарандиа. Однако в лице его ничего не изменилось.

– Нет, ваше сиятельство, – сказал он спокойно, – я пришел к этому.

В дальнейшем этот список из двадцати человек перекраивался не раз. Одни и те же имена перекочевывали из группы в группу, и возникали совершенно новые комбинации. В конце концов осталось всего два звена. Одно из них – в нем было четыре человека – находилось в Баку. Все материалы об этих четырех, снабженные инструкцией и заданием, были переправлены в Бакинский подотдел. Ведение этого дела Зарандиа поручил своему заместителю, оставив за собой, разумеется, главенство и право контроля. Второе звено состояло из шести тифлисцев. Особые надежды Зарандиа были связаны именно с этим звеном.

Вот они, эти люди.

Полковник Андрей Николаевич Глебич – пятидесяти лет, инспектор артиллерии Закавказского военного округа. Могучего телосложения. Отец шестерых детей. Кутила, крупный игрок, любитель анекдотов и весельчак, душа общества.

Мстислав Старин-Ковальский, поручик, адъютант Глебича. Остер на язык, насмешлив, зол, циничен, бонвиван, охотник до женщин и их кошельков.

Петр Михайлович Кулагин – ему за шестьдесят. В молодости окончил духовную семинарию, но от служения богу почему-то отошел, редактирует газету и является политическим консультантом синода, советник штаба Закавказского военного округа по духовным делам, внештатный сотрудник цензуры, добровольный староста Тифлисского военного собора. Бездетен. Замкнут и молчалив. Муж молодой, красивой, склонной к флирту госпожи Ларисы Кулагиной.

Хаджи-Сеид, по паспорту Расулов, тифлисский перс. Довольно крупный негоциант, но настолько необразованный, что расписывается с трудом, а считает с помощью четок. Занимается скупкой ковров, тканей ручной росписи и ювелирных поделок местных кустарей. Его посредники вывозят эти товары в европейские столицы, сбывая тамошним антикварам. Сам Хаджи-Сеид за пределы Тифлиса – ни шагу. Дом – мечеть – баня раз в неделю. Других маршрутов он не знает. Исключение – чрезвычайно редкие визиты к мадемуазель Жаннет де Ламье, вызванные, как считают одни, амурной привязанностью, а другие – деловой, ибо предполагалось, что они компаньоны. Свою деятельность Хаджи-Сеид начал в тифлисских банях, будучи терщиком, затем, закинув за плечи суму паломника, отправился в Мекку и Медину, а вернувшись оттуда с деньгами, основал дело и продолжал богатеть.

Искандер-эфенди Юнус-оглы был секретарем и кассиром Хаджи-Сеида. Он владел почти всеми языками, необходимыми для ведения коммерческих дел в Азии. По восточным меркам был отлично образован. Этот отуреченный грузин кроме Оттоманской империи служил еще в Персии, Афганистане, Египте, в Москве и Петербурге, и всегда в должности секретаря, переводчика, советника при крупных негоциантах. Без роду и племени в свои шестьдесят лет был одинок и питал нежную склонность к проституткам самого дешевого разбора. В мечеть не ходил, совсем не пил, а свободное время убивал в чайных, погрузившись в размышления. Никаких других стоящих сведений у нас о нем не было.

Мадемуазель Жаннет де Ламье, приближающаяся к тридцатипятилетнему возрасту, была француженкой по происхождению, весьма привлекательной и пикантной, флер романтических

любовных приключений окутывал ее имя. Ей принадлежал тифлисский магазин дамского белья французской фирмы, и дамы Тифлисского света предпочитали одеваться у нее, ибо у мадемуазель де Ламье можно было узнать о новостях парижской моды раньше всего. Наша заграничная агентура выяснила, что родилась она в семье разорившегося дворянина, ставшего бродячим циркачом. До семнадцати лет кочевала вместе с родительским цирком, потом танцевала в варьете, была белошвейкой, и так продолжалось до двадцати семи лет, когда след ее вдруг терялся на целых четыре года, пока наконец, в возрасте уже тридцати лет, она не объявилась в Тифлисе в качестве владелицы крупного магазина.

Все эти сведения, разумеется, как-то приближали Зарандиа истине, однако сам он считал, что у него в кармане – ключ раскрытию преступления. Что же касается меня, то было бы странно, если б я не предполагал, что с равным основанием можно было выбрать шесть других досье, которые столь же доказательно свидетельствовали о преступлении, сколь и те, на которых остановил свое внимание Зарандиа. Словом, я не склонен был разделять его оптимизма. Ни один из моих подчиненных не мог получить права на дальнейшие действия, если я сомневался в целесообразности операции. Исключением был лишь Мушни Зарандиа. Ведь в конце концов, в который уже раз подумал я, главное – его отношение к делу, а результат получится сам собой. Как всегда, так и в этот раз его отношение к делу было исполнено ума и добросовестности, – можно ли в таком случае лишать его права на предприимчивость? И я махнул рукой: пусть делает как знает.

Бекар Джейранашвили

Мы вскинули косы на плечо, пустили вперед Дастуридзе и тронулись по дороге в Цхрамуха. Вечерело. Дом управляющего князя Амилахвари был неказист: наверху две комнатенки с галереей, внизу марана и не знаю еще что. Зато фруктовый сад – дай бог!

На цепи сидел пес, ростом с бычка, уши обрезаны, ошейник унизан какими-то бляхами. Такой он поднял лай, я думал, уши лопнут. Дверь марани [19] была открыта. Выходит Шалибашвили, коренастый, плотный мужик. Не помедлив и секунды, даже не взглянув на нас хорошенько, он проследовал по дорожке и распахнул калитку, приглашая войти.

– Добрый вечер, Нико!

– Пошли вам бог мира и здоровья! Входите, входите, чего стоять?

– Погоди, Нико… Послушай, что я скажу… – завел было Дастуридзе, но Шалибашвили его перебил:

– После, после… Входите, прошу вас! Да входите же!

Хозяин повел нас к дому.

– Этой стороны держитесь, сюда, вот так, сюда! Злющий пес, не приведи господь… Шатаешься по чужим имениям, так собственный пес волком стал. И на меня бросается, проклятущий… сюда, сюда! Ну, здесь ему нас не достать. Пожалуйте в дом. Так, так…

Мы вошли в марани.

– Мир и достаток дому сему, – благословил Дата на своем мегрельском наречии. Пожелали добра хозяину и мы.

– И вам дай бог здоровья, – ответил он. – Ты вот сюда садись. Вы – сюда. Садитесь, садитесь… Хозяйка! Гости у нас… Слышишь ты меня? – крикнул он кому-то наверху и, вернувшись в марани, продолжал чуть слышно, так что не только хозяйка, мы сами едва разбирали:

– Не забудь тушинского сыру и балыку. Вчерашнюю говядину так и неси холодную, мы здесь сами ее нарежем… Я же говорил тебе – испеки! Так тебе и надо – пеняй теперь на себя. Стой и подогревай вчерашние лаваши, не вздумай принести неподогретые, – получишь у меня. Вот плюну сейчас, и, пока высохнет, ты должна быть здесь… – Шалибашвили и правда плюнул и, повернувшись ко мне, сказал громко, почти на крике: – Похоже, ты мастак вскрывать

[19] Марани – винный погреб

квеври[20]. – И обернулся к Дате: – Подойди-ка сюда…

Дата поднялся и подошел к нему.

– Вот тебе двугривенный… Держи, держи… Теперь загадай на два этих квеври и подбрось. Какой стороной упадет, тот квеври и откроешь! Бросай, чего тянешь!

Дата загадал и подбросил монету.

– На эту выпало, на этот квеври!.. – Шалибашвили захлопал в ладоши, рад был – дальше некуда. Чуть в пляс не пустился.

– Иди снимай крышку, – закричал он мне, – иди, иди… Вино что надо, лучшего не найдете!

Я открывал квеври, Дата глядел, дивясь, на Шалибашвили, а Шалибашвили радовался от всей, видно, души:

– Вот сеятель идет, бросает семя и приговаривает: это птицам небесным, это вдовам сирым, это гостю… Так ведь? Вот и я… И я так же. Три квеври припас для гостей. Видит бог, не вру! Да что за недобрый год выдался? Куда все гости подевались? Нет и нет никого!..

Вошла хозяйка. На подносе у нее все, что приказал шепотом Шалибашвили… ей-богу, не вру! Мы с Датой встали и поклонились хозяйке. Дастуридзе и ухом не повел, пока я под тихую не двинул его легонько. Ну и хороша ж была женщина! И ладную, и статную послал ему господь жену! Такая она вся из себя… Такая… Я, грешным делом, подумал: у этого сукина сына такая дома красавица, а он еще к любовнице шастает. Но куда человеку от себя деться? Все ему мало, всего не хватает.

А Шалибашвили нес и нес, рта не закрывая:

– Вы-то меня кликнули, а я сидел и думал: видно, бог на меня прогневался, дурная это примета – стоят квеври нетронутыми. Тут слышу – зовут: Нико, Нико! Пошли вам бог всех благ, а божьей милости поклон, что вас сюда послала, ну в мое время, бальзам от тоски и душевной хвори, право… Коста, дай-ка сюда эти роги! Вон там они, там… Воды туда не капни! Вином, вином ополоснем… Чтобы вином ополоснуть, нужна мужская рука, женщина здесь не помощник, сам и ополосни… давай налью… У-у-х! Хорошо! Этот – тебе, этот – тебе, этот – тебе. А этот – мне… Встанем! Пить стоя!.. Да пусть будут над нами мощь и удача всех трехсот шестидесяти пяти святых Георгиев! Будем благословенны! Пусть не оставит нас благодать матери господа нашего Христа девы Марии! Святая троица и все четыре евангелия да пребудут с нами и ныне, и присно, и во веки веков! Пьем, братья мои!

Мы осушили роги и сели за низкий столик.

– А теперь эти вот роги, две парочки! Все четыре один к одному!.. Была у меня пара быков, во всей Картли таких не найти! Эти рога – от них. Все один к одному. На йоту друг от друга не отличаются. Хотите, смерим! Коста, что за людей ты мне привел?.. Ничего не едят… Берите это. Это попробуйте. Хорошие, видно, люди. Я говорю – видно, а там бог им судья…

– А ты дал мне слово сказать? – говорит Коста. – Я еще у калитки хотел вас познакомить, а ты – «после, после!».

– Конечно, после. Куда спешить? Кто нас гонит? А не захотят говорить – так и не надо. Гость – он от бога. И… по одному тосту скажем…

– Был бы твой волкодав с тобою в хлевах Ростомашвили, черта с два вломился бы к тебе Табисонашвили! – пролез я в болтовню хозяина.

– Верно говоришь, никто бы не вломился… это не собака, это сатана! А с чего ты взял, Табисонашвили это был, или Белтиклапиашвили, или Джиркигледжиашвили? Этого и власти не знают, а тебе откуда знать? Пес что надо, такого ни у отца моего не было, ни у деда, ни у прадеда… А про Табисонашвили кто тебе сказал?

– Он! – Я ткнул пальцем в Дастуридзе.

– Ну, эта лиса все знает. Он же человек этого безмозглого плута. Раньше они оба по мелочам воровали, а теперь в большой разбой ударились… Лиса! Позавчера взял я было лису, да ушла, паскудина, промазал… больно далеко шла.

– Я говорил? Я говорил? Ничего не говорил!.. Ничего не знаю. Просили привести к

---

[20] Квеври – керамический сосуд для хранения вина

Шалибашвили, я привел. А так ничего я вам не говорил, ничего…

– Да заткнись ты, Коста, бога ради! Не валяй дурака!

Он присмирел и, пока мы беседовали, молчал как мертвый.

– Ты про безмозглого плута говорил, а кто он? – спросил Дата.

– Кандури… Сколько на меня хлопот из-за него свалилось, не счесть. Но я на своем стою. Меня не сдвинешь. Пусть сперва вернет те бурдюки, что свистнул он у меня на горийском базаре.

– Погоди, кто украл у тебя бурдюки? Кандури?

– Кандури. Теперь напялил рясу, бороду до брюха отпустил и взялся учить народ уму и совести… Не на такого напал! Думаете, там пустые бурдюки были?! Два больших бурдюка и четыре поменьше. Большие-то были буйволиные. А вы знаете, сколько в самый большой буйволиный бурдюк вина войдет? Не знаете? Я бы сказал, да позабыл… Буйволиных то бурдюков у меня с той поры и не было – вот и позабыл. Лет пятнадцать прошло, как он их стянул. Помнил бы, и спрашивать не стал бы! Подставляйте роги, подставляйте!..

– Когда они учинили это бесстыдство и поднялись уходить, что тебе Табисонашвили сказал? – спросил Дата.

– Я что, дурак, что ли? Меня на мякине не проведешь! На хинкальный фарш искромсай Табисонашвили – я его узнаю. Я его прижал, он признался: не сам, говорит, пришел, не моя была воля. Знает, сукин сын, я его не продам, – вот и сказал. А в суд чего подавать? Собака собачью шкуру никогда не порвет, давно известно… Я тут с вами разболтался, может, лишнего наговорил – ничего не сделаешь, такой уж я с рождения. Вы думаете, я не знаю, зачем вы сюда пожаловали? Тут сидит с нами Коста, лиса и мошенник. Там – Табисонашвили и Кандури. Табисонашвили и скажи: «Я – Дата Туташхиа. Когда про свои дела будешь толковать, про мои тоже не забудь». Знать хотите, сам я это придумал или Табисонашвили сказал? И если сказал, то кто ему велел? И что было у того советчика на уме и на что он рассчитывал?.. Я вам все это уже выложил, И не по пьянке, – вижу, забота эта вам житья не дает, и сказал. А их я не боялся и не боюсь. – Шалибашвили щелкнул Дастуридзе по лбу. – Вот так вот. Только больше того, что я сказал, от меня не услышите. Вон Кандури в Хашури пьет да спит, а Табисонашвили в дверях у него сидит… Остальное как хотите, так и понимайте. А я знать ничего не хочу, пока он мне бурдюки не вернет. Ну, а теперь – кутим!.. В кутеже и застолье имена знать положено, без имени тоста нет. Ты, по выговору твоему слышу… – Шалибашвили подумал… – рачинец, зовись Симоникой, а ты, – он опять запнулся, – мохевец, будешь у нас Шиолой. Выпьем за тех, кто родил нас, дал нам имя и голову, грудью нас кормил и в дом хлеб приносил, выпьем за них, а тем, кто почил, вечный покой! – Шалибашвили залпом осушил рог.

Мы еще долго сидели. Шалибашвили болтал без умолку, но о деле ни слова. А мы и не просили.

Кончились тосты. Дата вынул свой «Павел Буре». Было около десяти. Мы поднялись. Шалибашвили достал турьи роги, наполнил их и протянул нам. «Идем по делу, – сказал Дата, – больше нельзя». Мы долго препирались – пить не пить, пока Шалибашвили не опрокинул себе в рот свой рог, за ним оба наших, а рог Коста Дастуридзе, огромный турий рог, вылил ему за шиворот после того, как он тоже отказался пить. Мы простились. Дастуридзе продрог и честил Шалибашвили чем свет стоит. Перепало и нам. «Не брани его, Коста, он порядочный человек, да к тому же и умница». «Это дьявол и сукин сын, – не согласился Дастуридзе. – Когда в Хони блоху освежевали и шкуру в Куру выбросили, прибило ее в Гори, горийцы сказали, что больно много мяса на шкуре осталось. Один из этих горийцев Шалибашвили дедом приходится. Броцой его звали».

– И силы у него хватает, и смелости. И не бурдюков он дожидается, – сказал Дата.

– Бурдюков, как же! – хихикнул Дастуридзе. – Кандури ночей не спит, мозги сломал, все гадает, отчего это Шалибашвили не мстит, что на уме держит!

– А ты сам думаешь, что у него на уме?

– Кто знает… Любит Шалибашвили одну поговорку: «Пойдет бык на буйвола – рога обломает». Не осилить ему Кандури. Он это знает и ждет.

– Чего ждет?

– Пока Кандури не споткнется. Тогда он на него навалится. Шалибашвили зла не

забывает.

– Есть еще одна поговорка: «Не пасть верблюду так низко, чтоб ноши осла не поднять».

– Видно, этой пословицы Шалибашвили не знает! – сказал Дастуридзе.

– Не в этом дело, – сказал Дата, – не совсем в этом… А теперь, Коста-дружок, веди-ка нас к Табисонашвили. Надо бы узнать, кто велел ему пустить тот поганый слушок.

– Кто велел? Чей он человек, тот и велел.

– Шалибашвили сказал, что Табисонашвили у каких-то дверей сидит. Это Кандури двери?

– Он у Кандури в охране. И правда, как пес, у дверей сидит.

– Давай и мы к тем дверям подойдем.

Дастуридзе замолчал и заговорил опять, лишь когда показались первые дома Хашури:

– Что делать собираетесь?

– Пока не знаем. Как обернется, так и сделаем, а ты будешь делать, как мы тебе скажем.

Мы подошли к дому Кандури. Это был, скажу вам, не домишко Шалибашвили – мы стояли у настоящего дворца. У самых больших господ не доводилось мне видеть такого огромного, просторного и красивого дома. Дом был в два этажа, с одного угла поднимался третий. Вокруг большой сад, обнесенный кирпичной оградой, оштукатуренной и крашеной. Поверх ограды в три ряда колючая проволока. На втором и третьем этаже было темно. Из окон первого падал свет.

Железные ворота были заперты наглухо. Покрытые золотой краской, они поднимались так высоко и были так крепки, что и великану через них было не перемахнуть. Коста повел нас в обход – где-то в ограде надо было найти и открыть маленькую дверцу. Все это Дастуридзе проделывал с такой готовностью и охотой, что я подумал, прикинул и понял: человек потрепыхался и положился на судьбу. Но я ошибся, и вскоре прояснилось, откуда в нем такая легкость.

Мы налегли на дверь. Она была заперта изнутри. Где запор и как его открыть, найти было невозможно, как и на больших воротах…

Делать было нечего. Я нашел две распорки, взобрался на плечи Дастуридзе, вставил их между двумя рядами колючей проволоки, раздвинул, пролез между ними и спрыгнул в сад. На двери был большой засов, укрепленный еще большим крюком. Я вытащил крюк, отодвинул засов, впустил Дату и Коста и снова все заделал, как было.

На первом этаже с задней стороны было два крохотных окошка. Оттуда падал свет. Мы подкрались и заглянули внутрь.

Это был марани – на коне скакать по этому марани! Подобного я не видел. Один большой угол занимали квеври, давильня и пропасть разной посуды. В дальнем от нас углу возвышался камин – двугорбого верблюда вместе с его тюками можно было изжарить в этом камине. В камине тлели, потрескивая и сверкая, огромные дубовые пни. Посередине тянулся длиннющий стол, вдоль которого стояло множество кресел – с полсотни людей, если не больше, можно было усадить за этим столом. Еще в одном углу была тонэ[21] с вытяжкой для дыма, выкрашенной под цвет золота. Стены были облицованы тедзамским камнем с резными изображениями из белого мрамора: тут тебе и голые бабы, и мальчишки с девчонками в чем мать родила, и бычьи головы, и раздутые птицы – то ли индюки, то ли орлы, и чего только еще там не было!.. Одна стена вся сплошь была отведена под портрет царя-батюшки, выложенный из мелких камешков, цветных и блестящих, а на стене напротив – Иисус Христос, распятый Христос, тоже из каких-то камешков и стекляшек. С потолка спускалась громадная люстра свечей на пятьсот. И тьма свечей в огромных подсвечниках по всем стенам, во всех углах, – у кого было время их считать? Перед камином стоял столик с резными балясинами. Миски, тарелки, кувшины, блюда – все из серебра. За столиками сидели два попа без ряс, а напротив них растянулся на львиных и тигровых шкурах длиннобородый мужик в красном халате. Шкуры были брошены на какую-то лежанку – то ли кресло, то ли тахта. Лежанка шла к камину под углом, но на чем держалось все это сооружение, не разобрать было. Еще свисали с потолка

---

[21] Тонэ́ – врытая в землю печь для выпечки грузинского хлеба (лепешек). Таджики называют ее танур (тандыр), армяне – тонир, а для грузин это тонэ́.

две керосиновые лампы – по обе стороны лежанки Кандури, – у одной желтое стекло, у другой – зеленое. Тот, что в красном халате, с одной стороны получался красно-желтым, а с другой – зелено-красным.

Не поверите, мне все казалось, я сплю и во сне все это вижу. Коста шепнул, что тот, в красном халате, и есть Кандури. Табисонашвили нигде не было видно. Коста сказал, он либо у балконной двери сидит, либо в прихожей кемарит.

Дата обошел дом справа, мы с Дастуридзе – слева. Табисонашвили сидел на балконе. Было темно, он курил, мы его и увидели. Справа мелькнула тень Даты – он крался по стене. Когда от Табисонашвили его отделяло шагов десять, я чихнул. Табисонашвили поглядел в нашу сторону, смотрел, смотрел, но что увидишь, когда темень несусветная, а мы на земле – распластавшись. Я хлопнул в ладоши. Табисонашвили поднялся и медленно двинулся на звук. В опущенных руках – по маузеру, во рту – папироса. Здоровый он был, негодяй. Шел, как вставший на дыбы медведь. За ним крался Дата. Нагнал его и, приставив дуло нагана к горлу, шепнул:

– Брось оружие!

У Табисонашвили папироса вывалилась изо рта, потом маузеры – из рук. Маузеры брякнулись о доски пола. Я поднялся и подобрал их. Ничего, кроме кинжала, я у Табисонашвили больше не обнаружил, обыскал очень старательно. Мы толкнули его впереди себя, завели в глубину сада и усадили на землю.

– Как это вы без собак, а?.. Опусти, опусти руки!

Табисонашвили будто обухом по голове ударили, рта раскрыть не мог, – пришлось почесать ему ребра маузером, стал приходить в себя:

– Гавкать начнут, звука не услышу… А вы что… кончать со мной будете?.. Убивать… или как?

– Тише давай!

– Когда ты со своими холуями вломился к Шалибашвили и бабу его изнасиловал, зачем понадобилось тебе назваться Датой Туташхиа?

– Не убьете – скажу.

– Подавно не скажешь, если убьем. Ты скажи, а мы поглядим, убивать или нет, смотря по настроению.

– Кандури велел…

– Перед ним подтвердишь?

– А как же, если, конечно, не убьете!

– Ты подтверди, может, и не убьем!

Дастуридзе поднял руку – что-то хотел сказать.

– На пальцах у Кандури кольца с крупными камнями видал?

– Видал.

– Кольцо с очень крупным бриллиантом?..

– Есть здоровенный камень, а как называется, не знаю.

– Похож на стекло этот камень?

– Да, совсем как стекло и блестит так же.

– И сейчас на нем?

– Сегодня видал.

– С абрикосовую косточку будет?

– Будет!

Дастуридзе от радости хлопнул в ладоши. В тишине это прозвучало как выстрел. Я своей ладонью проехался по его щеке, и снова все стихло.

– Веревка у тебя найдется? – спросил я Табисонашвили.

– Веревка?.. Веревка, веревка, веревка… Есть, есть, как же! Под грушами качели висят – веревки что надо!

Я быстро срезал веревки.

– Стань на четвереньки!

Табисонашвили не сопротивлялся. Я его связал. Получилось хорошо – передвигаться на четвереньках он мог свободно, а ни встать, ни другого чего уже не мог. На Алазани мы ослов

так стреножили.

– Ступай вперед и впусти нас в дом!

Табисонашвили – на четвереньках, мы – за ним. Приоткрыл дверь в коридор, мы – за ним. Приоткрыл дверь марани, мы – туда же. Я ему пинка, Табисонашвили пополз и замер посреди марани.

Три человека, потеряв речь и разинув рот, глядели на нас и Табисонашвили, а мы на них. Смотрю – нет Дастуридзе. Оглянулся – торчит за дверью, смотрит в приоткрытую щель.

– Сосчитай, сосчитай… деньги счет любят! – сказал кто-то.

Кому тут еще быть? Огляделся – вижу, попугай. Сидит в большой клетке. Тоже золотом покрашена. Ну до чего красив, сукин сын! Я не удержался, подошел поближе. А Табисонашвили стоит посреди марани на четвереньках, голову свесил, как старый конь…

– Убирайтесь! – завопил одни из попов, тот, что потолще. На меня даже слюна попала.

– Полицию, полицию позвать! – заорал второй.

У нас уговор был такой, что Дата начинает первым, а мы молчим, рта не открываем, ни на что не откликаемся. Я должен был обойти марани и все разглядеть как следует. Дата должен был следить за ними не отрывая глаз. Я отошел от попугая и прямиком к квеври. Оттуда – к тонэ. Двигался я не спеша, и вид у меня был такой, будто, кроме меня, здесь и нет никого.

– Убирайтесь! – закричал снова тот, что потолще.

– Полицию, полицию! – эго опять второй.

– Сосчитай, сосчитай… Деньги счет любят!..

У нас за поясом по маузеру, в руках по нагану – мы уберемся, ждите! И кому интересно полицию вызывать? Табисонашвили? Но ему на четвереньках и к утру до полиции не добраться, отпусти даже мы его.

Этак, прогуливаясь, подошел я к камину. Обыскал священников. Оружия при них не было. У Кандури из-за голенища вытащил здоровенный нож, сделанный из кинжала. Хороший был нож, он мне после лет десять прослужил. Осмотрел руки. На большом пальце правой руки сидело большое бриллиантовое кольцо, камень – величиной с абрикосовую косточку. Я осмотрел все кольца и нагнулся поглядеть, на чем это Кандури сидит. Поднял шкуры, львиные, тигриные, заглянул под них… Под шкурами лежали огромные, туго набитые и накрепко зашитые мешки! Шкуры и прикрывали это ложе.

Я полоснул ножом Кандури по одному из мешков. Посыпался рис. Провел по другому – полилось пшено. По третьему – гречка. Сунув наган под мышку, взял по жмене риса и ячменя и пошел к Дате.

– Обратитесь к ним со словом божьим, ибо «вначале было слово, и слово было к богу, и слово было бог», – кинул Кандури своей бражке.

Отец мой был пономарь, мальчишкой определил меня в бурсу. Кое-что в голове осталось, вот и запомнились все эти разговорчики.

Пока я дошел до Даты, один поп изрек: «…не хлебом единым жив человек», а второй подстроился: «Душа больше пищи и тело – одежды».

Я разжал руки и сказал Дате:

– В других мешках… еще и гречиха…

Дата глядел-глядел, как сыпалось из моих рук зерно, и вдруг изменился в лице, из горла его с хрипом вырвался воздух, и он закрыл ладонью лицо.

Попы друг за дружкой бормотали из Евангелия.

А Дастуридзе, не отрывавшийся от своей щели, хоть и видел, как я разглядывал руки Кандури, но разобрать не мог, снял я кольца или нет. Когда я разжал перед Датой ладони с крупой, он по своей шакальей натуре вообразил, что я показываю перстни, сорванные с Кандури. Душа его не выдержала, он ворвался в марани подлетев к нам, заверещал:

– Что… что… что это такое? Перстни?.. Перстни? Да? Где перстни?

– Где были, там и есть.

– Ни с места, Коста! – прошептал ему Дата. – На мешках с этим вот добром покоится ваш вожак!

У Дастуридзе глаза на лоб, на крупу уставился:

– Он ведь кашу любил… Я же говорил, «Кашкой» его звали.

Дастуридзе хлопнул было в ладоши, но тут же заслонил лицо – испугался, как бы опять не заехали ему по морде.

Попы все читали, а Табисонашвили все так же слушал их, повесив голову, как усталый конь.

Дата сел за столик у камина. Мы с Костой остановились рядом.

– Садитесь! – Рукояткой маузера Дата ударил по столику. Оба священника опустились как срезанные.

– Табисонашвили, поди сюда!

Охранник Кандури приблизился к нему.

– Что велел он тебе сказать, когда посылал изнасиловать любовницу Шалибашвили?

Кандури взглянул на Дату, лицо его покрылось синевой. Табисонашвили рассказал все, как было.

– А почему свалил именно на Дату Туташхиа?

Я еще рта не закрыл, как Дастуридзе налетел на Кандури и вцепился в кольца. Пошла возня, то один одолевал, то другой… а поп, что посолидней, вскочил и забубнил:

– «Берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия…»

Кандури наконец вырвал руки, двинул Дастуридзе в челюсть и пинком отшвырнул как котенка.

– А ну, садись! – закричал я попу.

Он сел, не переставая креститься.

– Я тебе что велел, Коста? – сказал Дата и повернулся к Кандури: – Говори правду, а то уже сегодня будешь вариться в кипящей смоле! И еще сто лет!

– В геенну… в геенну… в геенну, – закричал в тишине попугай.

– Если ты Туташхиа… твоим именем много зла творится. Да ты и сам не отстаешь… Поверить в это легко, я и велел назваться твоим именем.

– А еще почему?

– Только поэтому…

– Брось шалить, Кандури! Имя и чин того, кто велел тебе назвать мое имя!

– Никто не велел!

Три или четыре пули просвистели одна за другой. Запахло паленой шерстью от пробитых пулями шкур. Кандури ощупал грудь, живот, голову.

– Один из помощников экзарха! А кто ему велел – убей, не знаю!

– Не знаешь, говоришь?

– Клянусь богом!

– А ну встань!

Кандури поднялся.

– Ступай к тонэ!

Кандури едва волочил ноги. Попы заохали и стали креститься.

Кандури добрался до тонэ.

– Стань спиной ко мне!

Он повернулся.

– Имя и где служит!

– Не знаю, правда не знаю…

Я прицелился. Не прицелился, конечно, а сделал вид, что целюсь, и выстрелил.

– Не вспомнил?

– Говорю… не знаю, кто ему велел!

Я сделал еще несколько выстрелов, и вышло так, как мы и рассчитали: Кандури схватился за горло и плюхнулся в тонэ. Убивать его мы и не собирались. Его даже не царапнуло, но мы знали что хитрец непременно прикинется мертвым и свалится в тонэ.

Стало так тихо, что было слышно, как урчит в кишках Табисонашвили. Попы не шевелились, а у Табисонашвили челюсть так отвисла, что в пасти у него могла б уместиться наседка с цыплятами.

Дастуридзе кинулся к Кандури: видно, хотел стащить с него кольца, но не успел он добежать, как Дата закричал:

– Стреляй в него, швырнем и его туда же!

Я выстрелил. Дастуридзе рванулся назад и тут же оказался там, откуда кинулся за Кандури.

Угомонилась семейка.

Дата достал с камина Евангелие, полистал его и протянул священнику, что был потолще:

– Читай громко! От Луки одиннадцать, пятьдесят два и передай ему, – Дата кивнул на другого священника, – пусть и он прочтет, да погромче и поясней!

Священник откашлялся раз, другой, книга дрожала в его руках.

– «Горе вам, законникам, что вы взяли ключ разумения: сами не вошли и входящим воспрепятствовали.»

Другой священник повторил эти слова. Дата захлопнул Евангелие и положил обратно на камин.

– Погребем преставившегося во Христе раба божьего! – сказал Дата.

Вот об этом мы но договаривались, и теперь я уже не знал, что он собирается делать.

– Отбросьте шкуры! – приказал Дата попам.

Они подняли шкуры одну за другой и швырнули их на пол.

Крупы оказалось двенадцать мешков.

– Несите мешки и засыпьте покойника!

Попы, кряхтя и спотыкаясь, еле доволокли один мешок до тонэ. Я вспорол его, и попы, едва подняв мешок, высыпали его на Кандури. Это была гречиха.

– Все мешки высыпайте. И двигайтесь поживее! Силенок вам не занимать! Быстрей, быстрей поворачивайтесь!

На восьмом мешке Дастуридзе вскочил-таки и прыгнул в тонэ. Шум, треск, хруст… и Дастуридзе заревел, как бычок, которого ведут на бойню:

– Нет их… Нет колец!.. Бриллиант с абрикосовую косточку!.. Бриллиант с косточку сливы… А говорил, что большой бриллиант наместнику, а поменьше экзарху! Себе, подлец, забрал… Сам носил… Вы же видели, были перстни на пальцах. Нет их! Где они? Кто взял? Бриллиант с абрикосовую косточку… со сливу…

Попы пыхтели, таскали мешки, высыпали их в тонэ. А оттуда неслось Дастуридзево «с абрикосовую косточку…», «с косточку сливы…».

Кандури как упал в тонэ, так кольца с пальцев и стянул и засунул их, видно, куда поглубже. Он же понимал, что Дастуридзе кинется за ним.

Попы высыпали последний мешок.

А мы за дверь и – в Квишхети.

Грешным делом, если б не Дата, я бы бриллиантики прихватил. «Укравший у вора – блажен» – не нами это придумано.

Граф Сегеди

В списке Зарандиа, как я уже говорил, на одном из первых мест стояло имя Хаджи-Сеида. Зарандиа уверял, что казначеем панисламистов является именно Хаджи-Сеид, но вещественного доказательства у него не было, как и вообще не было каких-либо убедительных доказательств. Зарандиа начал с того, что решил приглядеться к Искандеру-эфенди Юнус-оглы. Скажу, что и мне, и моим помощникам именно Искандер-эфенди казался лицом наиболее подозрительным. И именно его решил использовать Зарандиа, чтобы проникнуть в тайну деятельности Хаджи-Сеида. Предстояло сблизиться с Искандером-эфенди и завербовать его. Зарандиа долго следил за ним, получил нужные сведения и в один прекрасный день подсел за его столик в чайной.

– День добрый, Искандер-эфенди! Не припоминаете меня?

Сидевший внимательно оглядел подсевшего.

– Кажется, вы изволите служить провизором в аптеке Оттена… Да, да, в аптеке Оттена на Сололакской улице… Я не ошибаюсь, простите? Где-то я вас встречал, но чем вы занимаетесь, уверенно не припомню, пет…

Зарандиа проткнул свою визитную карточку.

– Здесь, правда, не сказано, что я еще и руководитель политической разведки.

Тонкая улыбка блуждала по лицу отуреченного грузина, пока он разглядывал визитную карточку.

Зарандиа попросил слушать его внимательно и сразу же объяснил, зачем пришел и что ему нужно от секретаря и кассира Хаджи-Сеида. Он не преминул сообщить также, что высшие чины тайной полиции убеждены, что Искандер-эфенди Юнус-оглы является резидентом турок, однако он, Зарандиа, считает это ошибкой, которую хочет опровергнуть, но сделать это может лишь с помощью Искандера-эфенди.

– Я полагаю, Искандер-эфенди, – сказал Зарандиа, – что вашим призванием и долгом является служба, а не верность. Вы вовсе не обязаны сохранять верность ни Хаджи-Сеиду, ни своим многочисленным бывшим и будущим патронам. Вы обязаны быть верны нам, потому что вашего нынешнего патрона мы все равно уличим в преступлении, и тогда вы неминуемо разделите его участь. Мы не потребуем ничего особенного – лишь небольшой помощи, однако медлить с ответом мы вам позволить не можем. Вот… – И он вынул из кармана и положил перед Искандером-эфенди заранее составленное обязательство и даже протянул ему химический карандаш. – Или вы подписываете это и действительно оказываете нам упоминаемую в расписке услугу, или отправляетесь отсюда в тюрьму, а мы обойдемся без вас, вам же останется уповать на аллаха!

– «Дулкернаин снова отправился в путь…» – произнес Искандер-эфенди, дочитав расписку.

– Что вы изволили сказать?

– Это из восемнадцатой суры Корана… Бейрут, Дамаск… Афины тоже прекрасный город, и я там не бывал, но все же Дамаск, говорят, лучше… Эй, Абдурахман, подай господину… – Зарандиа быстро скосил глаза, и имя собеседника застряло в горле Искандера-эфенди. – Подай господину чаю покрепче, Абдурахман!..

Зарандиа кивнул.

Принесли чай. Зарандиа отхлебнул и после долгого молчания спросил с искренним любопытством в голосе:

– Дамаск, говорите… А в Риме не приходилось вам бывать? Прекрасный город. И прелестные девочки, должен вам сказать. И что забавно, в Италии до сих пор нет закона против садизма. А там как раз нам человек нужен. Язык вы знаете хорошо. Ведь с сеньором Массари вы изъясняетесь на итальянском совершенно свободно… Как удачно все складывается!

– «Род уходит и род приходит, а земля пребывает вовеки. Восходит солнце, и заходит солнце, и на место свое поспешает, чтобы там опять взойти», – прочитал Искандер-эфенди, словно для себя одного.

– Что вы изволили сказать?

– Это из Библии. Экклезиаст. Не помню, господин Зарандиа, чтобы мое пребывание и служба в любом городе заканчивались как-нибудь иначе. – И Искандер-эфенди ткнул пальцем в расписку. – Хотел бы я знать, почему вы являетесь именно ко мне, и непременно – всюду. Я понимаю, если б я провинился в чем-то. Но ведь совсем ни в чем. Ни в чем совершенно! И никогда.

– В наше время это больше всего и вызывает подозрение.

– То именно, что я ни в чем и никогда не провинился?

– Да.

– Дамаск…

– Об этом, Искандер-эфенди, мы поговорим позже! – Зарандиа тоже коснулся пальцем расписки.

– Разумеется… Но расписки я ни в одном городе не давал. Чем еще могу служить?

– В каких городах и банках за пределами России есть текущие счета у Хаджи-Сеида?

– Только в Стамбуле. Банк Стиннеса, счет номер № 1014, – Искандер-эфенди ответил немедля, и с этого момента и здесь, в чайной, и позже говорил только правду.

Многим, вероятно, покажется, что смелый шаг Зарандиа есть оскорбление профессионализма и авантюризм. С точки зрения теоретической такая оценка вполне справедлива, однако практика подтверждает, что большинство вербовок во все времена и во

всех государствах происходило именно так – нахрапом и откровенно. Вопреки взглядам некоторых профессионалов, большинство вербуемых остерегается осложнить отношения с тайной полицией и законом, и стоит вербующему достаточно твердо сказать о возможных осложнениях, как сомнения у вербуемого отпадают сами собой. В беседе Зарандиа с Искандером-эфенди Юнус-оглы не было ничего неожиданного, кроме тут же состряпанной версии о садизме. Таких сведений об Искандере-эфенди у Зарандиа не было, и ничего похожего мы не могли бы доказать, но Искандер-эфенди сообразил, что если он откажет Зарандиа, то тайной полиции ничего не будет стоить представить парочку проституток, которые подтвердят, что он садист. Он предпочел согласиться сам, чем быть втянутым другими, – случай самый обычный в аналогичных ситуациях.

Благодаря Искандеру-эфенди удалось установить, что стамбульский антиквар Чекурсо-бей четырежды в год вносит в банк Стиннеса на текущий счет Хаджи-Сеида суммы в турецких лирах. Каждый взнос равнялся двум тысячам русских рублей. По существующим правилам, банк посылал своему клиенту уведомление о поступивших суммах, и таким путем Хаджи-Сеид узнавал, что деньги пришли. Искандер-эфенди не мог сказать нам, кому Хаджи-Сеид рассылал эти деньги, но назвал имя Кара-Исмаила, скупщика серебряной посуды в Дагестане от фирмы Хаджи-Сеида, который раз в три месяца получал из кассы двести червонцев золотом сверх той суммы, которая выдавалась ему для закупки товара. Кара-Исмаил жил в Темирханшуре. Идя по его следам, мы могли обнаружить резидентов, рассеянных в Дагестане.

Однажды, выступая перед высшими чинами полиции закавказских губерний, Зарандиа развернул следующую мысль. Во все времена и во всех государствах полиция или администрация, взявшая на себя ее функции, представляла всегда и по сию пору представляет собой структуру, предназначенную для того, чтобы правящие круги располагали возможно более полными сведениями об образе жизни, способе существования и взглядах каждого гражданина. Существует целая иерархия от министра внутренних дел до квартального, без которой невозможно было бы исполнять законы, и нет государства, которое могло бы без этой службы обойтись. Когда мы видим, что определенная государственная система твердо стоит на ногах и падение ей не угрожает, это означает, что большинство граждан довольно существующим порядком вещей, что оно на стороне дебетующих законов, а стало быть, и своей полиции, и тогда можно быть уверенным, что необходимые сведения существуют в головах людей потенциально – надо только уметь их взять. Это положение звучит парадоксально, но в парадоксальности его сила: мыслящего человека парадокс толкает на анализ, а анализ приведет его к выводу, что перед ним вовсе не парадокс, а истина.

Деятельность Мушни Зарандиа протекала на моих глазах, и я могу свидетельствовать, что он неизменно руководствовался этим принципом. И в Дагестане он не искал других путей. Приехал и велел тамошней полиции собрать сведения, куда и к кому ходил Кара-Исмаил и кто из людей, оказавших ему гостеприимство, вызывает подозрение. Сведения эти лежали готовыми – надо было лишь взглянуть на них с определенной точки зрения. Зарандиа изучил доставленные ему сведения, поставил точки против шести фамилий, сказал, что четверо из них резиденты, прикинул, как действовать дальше, и, набросав план дальнейшей операции, отбыл в Тифлис.

Чтобы достичь успеха, Мушни Зарандиа сообразовался еще с одним обстоятельством. Известно, что турки накопили тысячелетний опыт в государственных и разведывательных делах. И одновременно они весьма бережливы. Если турок посылает деньги, он обязательно потребует подтверждения, что деньги дошли, и дошли полностью. Но искусство тайной войны никогда не позволит им расширять число лиц, приобщенных к тайне, ибо это увеличивает риск ее разглашения. Поэтому, чтобы получить подтверждение о получении денег, они не стали бы вмешивать новых лиц. Путь возможно короткий и возможно надежный оставался лишь один: Кара-Исмаил – Хаджи-Сеид – Чекурсо-бей – турецкая разведка. Здесь Искандер-эфенди был бесполезен. К этому узлу он не был прнчастен, и Зарандиа нимало об этом не сокрушался. Он был уверен, что подтверждения резидентов о получении денег будут обнаружены в кармане Кара-Исмаила.

Спустя некоторое время Кара-Исмаил появился в Тифлисе, и по распоряжению

Хаджи-Сеида Искандер-эфенди выдал ему двести червонцев золотом. Не прошло и часа, как мы уже знали об этом.

Однако само по себе получение денег Кара-Исмаилом ни о чем еще не свидетельствовало. Да, получил. Ну и что из того, что получил? Я уже говорил, что нам попадались курьеры с денежными суммами на руках и это ни к чему не приводило. Важно было доказать получателям денег, что получили они от турок и на дела, подрывающие интересы государства. Иначе установленный факт оставался фактом для внутреннего пользования, возможности действовать он не давал. Нужно было добыть документ, доказывающий вину адресата. Нужны были признания и показания. Как их взять? Вот с этой точки мы и не могли сдвинуться уже много лет. А Зарандиа сдвинулся с этой мертвой точки, но как это ему удалось, никто, кроме меня, не знал, до тех пор, пока желанный плод не попал нам в руки. Тогда сам результат объяснил способ его достижения. Сейчас скажу лишь, что все червонцы, полученные Кара-Исмаилом от секретаря-кассира Хаджи-Сеида, были фальшивыми.

Зарандиа окружил Кара-Исмаила своими людьми и, разумеется, уведомил Дагестанскую тайную полицию о том, что открывает действия. В Дагестане делать ему сейчас было нечего, и он остался в Тифлисе, с головой уйдя в дело об австрийском шпионаже.

– По какой схеме, предполагаете вы, пойдут сейчас события? – спросил я его однажды.

– По самой элементарной, ваше сиятельство.

– Почему вы так думаете?

– Когда шпион на протяжении многих лет работает, не ощущая внимания тайной полиции, будь он трижды осторожен, он теряет осмотрительность, где-то распускает себя и начинает нарушать даже простейшие правила конспирации. Мы столкнемся именно с этим явлением.

– Дай бог, но все же я бы хотел знать предполагаемую схему событий.

– Сведения военного характера, я полагаю, госпожа де Ламье получает от поручика Старина-Ковальского. Этот молодой человек постоянно вращается в обществе офицерских жен, ловит сплетни, комментирует их со свойственным ему остроумием и цинизмом. Выходя из его рук, сплетня становится еще пикантней и соблазнительней для дальнейшего распространения, он на ходу стряпает слухи, их вырывают у него из рук еще тепленькими. Он талантливый болтун. Подробности жизни, особенности характера, привычки и увлечения того несчастного, что попадает ему на язык, взлетают в воздух, как шарики и палочки в руках жонглера. Лицу заинтересованному достаточно послушать его, задать два-три вопроса, внешне совсем незначительных, и представление о человеке готово. Пользуясь благосклонностью и кошельком мадемуазель де Ламье, Старин-Ковальский поначалу чистосердечно полагал, что получает гонорар за услуги плотские и духовные. Таким путем в руки австрийцев попали послужные списки наших офицеров, и однажды мадемуазель де Ламье помогла Старину-Ковальскому обнаружить, что он не кто иной, как государственный изменник. Этот крючок она заставила его проглотить, а все последующее уже не нуждается в объяснении. Необходимо выяснить, какую роль в просачивании сведений о нашем артиллерийском вооружении играл полковник Глебич. Здесь возможны два варианта: либо полковник потерял осторожность, либо Старин-Ковальский подобрал ключи к его сейфу. Глебич – военная косточка и человек долга. Сознательная измена здесь исключена. То же самое и в случае с Кулагиным, Кулагин фанатично предан интересам империи и считает, что без его внутриполитических докладов, которые он отправляет наверх дважды в год, рухнут алтарь и престол. Прибавим еще доклады, которые Кулагин поставляет по долгу службы, и мы увидим письменный стол, усыпанный документами, весьма ценными для иностранкой разведки. Его супруга вечная клиентка мадемуазель де Ламье. Остается выяснить, продавала она документы мужа за деньги, обменивала их на дамское белье или мадемуазель де Ламье упражнялась в фотографии непосредственно в кабинете Кулагина.

Что же до Хаджи-Сеида, то это фигура сложная, ведущая двойную, а то и тройную игру. Обратите внимание, граф, что его закупщики мотаются по всему Кавказу и могут добыть любые сведения. С другой стороны, его постоянно посещают европейские посредники, переправляющие товар на запад. Ничего не стоит через одного из них переправлять агентурные сведения и получать инструкции. Это удобно в равной мере и для Хаджи-Сеида, и для мадемуазель де Ламье. Все это можно считать фактом почти доказанным. Не исключено также,

что Хаджи-Сеид и де Ламье торгуют между собой добытыми сведениями. Подобная купля-продажа, как известно, весьма распространенная форма коммерческих отношений между шпионами различных держав. Наконец, обнаружена новая небезынтересная подробность относительно мадемуазель Жаннет де Ламье. В течение трех-четырех лет она была владелицей небольшого отеля в Афинах. Правда, тогда ее звали Зизи Жермен.

– Как это выяснилось?

– Куплено нашим агентом в Стамбуле за двадцать лир у одного спившегося грека. Такова схема предстоящих событий, которых я ожидаю. Уверен, скоро обнаружатся новые детали и обстоятельства.

– О господи, будьте вы все прокляты и оставьте меня в покое! – едва не выкрикнул я.

Зарандиа удалился, чтобы продолжать свои многочисленные дела и ждать приглашения в Дагестан.

Это приглашение, как предполагал он, должно было последовать после того, как будут произведены обыски у резидентов и на дому у них обнаружатся фальшивые червонцы, Зарандиа должны были известить о том (так он предполагал), что резиденты арестованы и распределены по разным тюрьмам – друг о друге, таким образом, они ничего не знают, и семьям их тоже ничего о них не известно. Кара-Исмаил перехвачен после очередного своего вояжа в получасе езды до Темирханшуры, тщательно обыскан и взят так, что об этом не знает никто, кроме него самого и тех, кто его брал.

Вот так Мушни Зарандиа сидел и ждал, как вдруг в один прекрасный день что-то на него нашло, и он, столь невозмутимый при всех обстоятельствах и переделках, утратил выдержку и покой, а после того, как пришло известие, что в ближайшее время в Тифлис прибудет полковник Сахнов, и вовсе потерял голову. К этим двум причинам беспокойства, его охватившего, прибавилась вскоре еще одна, и, не выдержав душевной смуты, столь ему непривычной, он через неделю предстал передо мной.

– Ваше сиятельство, не откажите в добром совете, что мне делать: я должен быть у отца в деревне, ибо Дата Туташхиа согласился свидеться со мной, но в то же время никто не знает, когда прибудет полковник Сахнов, и мне в это время необходимо быть в Тифлисе. А в Дагестан мне нужно непременно, ведь это, в конце концов, важнее всего…

– Вы получили что-нибудь из Дагестана?

– Нет.

– Так зачем же вам ехать?

– Сам не знаю!.. – улыбнулся Зарандиа.

В ту минуту я понял (и думаю так и по сей день), что его порыв не был капризом, а был властным толчком, пришедшим из глубины души, и не был этот порыв навеян минутным состоянием, а был следствием долго созревавшей внутренней уверенности, что ему непременно надо быть в Дагестане.

– Вы рассчитываете уговорить Дату Туташхиа?

– Это дело почти безнадежное, граф, но говорят, риск – это половина удачи, и тем, кто рискует, сопутствует ветер судьбы.

– Но форма… Под каким соусом вы собираетесь преподнести ему наше предложение?

– Правда и откровенность, только они. Его не проведешь, Да и не пристала нам с ним ложь. К чему она?

Я покачал головой, ибо не верил во всю эту затею.

– А ведь и мне необходимо ехать… инспектировать наши губернии, – сказал я.

– Я помню об этом.

– Ничего не поделаешь, поезжайте вы…

Мне хотелось сказать ему, что в последнее время он заметно взволнован и что это может привести к спешке, а стало быть, и к оплошности, но я сдержал себя. По отношению к Мушни Зарандиа подобные предостережения были излишни.

Но он прочитал мои мысли и сказал:

– Не беспокойтесь, граф, я сделаю все, что нужно и возможно.

На другой день я отправился в Баку, а еще через два дня Зарандиа отбыл в Мегрелию. На обратном пути он из Мцхета повернул на север и, не заезжая в Тифлис, пройдя Крестовый

перевал, очутился в Дагестане.

Мне предстояло двухнедельное путешествие. Я боялся, что и этого времени мне не достанет, ибо предстояли совещания в трех городах, однако обернулось так, что я завершил дела раньше положенного срока и уже на десятый день вернулся в Тифлис. Зарандиа еще не было.

Димитрий Кодашвили

Совсем еще молодым человеком святейшим и праведнейшим синодом я был определен служить в высокогорное село, приютившееся в скалах Кавказского хребта. В селе жили мегрельские гуртовщики-скотоводы, и называлось оно Луци.

Тамошние жители в вере не тверды, и по наущению дьявола в первый же год моего служения свершился в Луци страшный грех: в одну ночь вырезали семью Тодуа – мать и четырех сыновей. Уцелел только отец семьи Доротэ Тодуа, который пас в горах гурт. Пристав сказал мне, что это преступление совершил вероотступник, враг престола, разбойник и убийца Дата Туташхиа. Перед всем приходом я проклял грешника и предал его анафеме.

Выше Луци, в горах, находятся летние пастбища и хижины пастухов. В этих хижинах нередко укрывались абраги, и каждое лето Дата Туташхиа поднимался туда. По пути он заходил в Луци. Когда пришла весть, что семью Тодуа вырезал Дата Туташхиа, в приходе началось смятение, толки и пересуды. Ясон Карчава, уважаемейший в селе гуртовщик, при всем народе сказал разбойнику, что дорога через деревню ему отныне заказана и чтобы в гости он ни к кому не приходил. Туташхиа, спокойно выслушав эту отповедь, предерзко заявил, что он не убивал, и отправился своей дорогой. Больше он в селе не гостил, но ходить через село не перестал и как ни в чем не бывало здоровался с каждым встречным, кроме меня. Были люди, которые годами не отвечали на его приветствие – он был отвергнут, и власти об этом знали.

Но хотя все от него отвернулись, некоторых посещало сомнение, а правду ли сказал пристав и не берем ли мы от излишней доверчивости грех на душу. За глаза многие прихожане осуждали меня. Туташхиа знал, что я его проклял, и я боялся его мести.

Доротэ Тодуа был крепкий старик, но горе и слезы сломили его. Он быстро дряхлел, и ему все труднее было управляться с гуртом. Каждую осень он говорил, что отгонит гурт вниз, в долины, и продаст.

Была у меня дойная коза, она бродила без присмотра, и однажды вечером не вернулась домой. Не пришла она и утром. Я прождал ее до полудня и пошел искать.

Я шел по узкой тропинке, бегущей по краю пропасти, и на другой стороне увидел трех путников. В одном из них я тотчас узнал Доротэ Тодуа. Он шагал не торопясь с кожаной сумой на спине. В эту пору ранней весны стада гонят из долин в горы, между тем Доротэ шел один.

Я подумал, что наконец-то он продал гурт, и стал вглядываться в его спутников. Один был в черной чохе и при оружии. Впереди путников шел саврасый, через седло его была перекинута бурка. Я узнал Дату Туташхиа и подивился лишь тому, что он идет вместе с Доротэ Тодуа, а что он был нагл и ничего не боялся, я знал и так. Второй был не знаком мне. Встречаться с Туташхиа было мне ни к чему.

Тропинка свернула вправо. Я надеялся найти козу в овраге и тоже свернул вправо. Склон оврага был крут, и подниматься было трудно. Я шел долго и, пока одолел подъем, очень устал, А козы все не было видно. Наверху оврага рос огромный, в три обхвата, граб, густо обвитый плющом. Если взобраться на дерево, подумал я, можно будет разглядеть все склоны. Они поросли густым кустарником, и белую козу в этой зелени легко заметить.

Я взобрался на граб, оглядел склоны, ничего не увидел и расположился отдохнуть, не сводя между тем глаз с кустарников.

Послышалось цоканье лошадиных копыт.

В десяти шагах справа был очень глубокий, узкий, как щель, овраг, дно которого пересохло. Тропинка, идущая снизу, обрывалась по ту сторону оврага. Для путников через овраг было перекинуто бревно, а по эту сторону снова начиналась тропинка и, извиваясь, вела через лес в Луци.

«Эге-е! – подумал я. – Видно, они останавливались на отдых, не то, пока я лазил по

оврагам, должны были бы уйти далеко за Луци».

Я стал спускаться с граба и хотел спрыгнуть, чтобы не попадаться им на глаза, но не успел и укрылся в плюще.

Сперва показался саврасый Даты Туташхиа. Он встал у бревна, перекинутого через пропасть, и обернулся к хозяину. Туташхиа шел опустив голову, за ним, стуча посохом, – Доротэ Тодуа, а последним – невысокий толстяк лет двадцати пяти.

Не получив от хозяина ответа, лошадь, осторожно переступая, прошла по бревну и остановилась по эту сторону, пощипывая траву в тени граба.

Дата Туташхиа, подойдя к бревну, остановился, поджидая спутников. Доротэ Тодуа снял со спины суму и отдал ее Туташхиа. Приняв ее, абраг перешел по бревну и опустил суму на землю. Вынув кисет, он набил трубку, и, пока высекал огонь, Доротэ ступил на бревно, но вдруг остановился, не решаясь идти дальше. Обойдя старика, незнакомец стал на бревно и протянул ему руку, приглашая идти за ним. Старик протянул ему не руку, а посох, и они двинулись. Незнакомец шел медленно, ведя за посох старика, и когда ступил на землю – старик в это время был на середине бревна, – вырвал у него посох и ткнул им старика в грудь.

Доротэ Тодуа полетел вниз, и оттуда донесся звук упавшего на дно тела.

Туташхиа обернулся.

Стоя на коленях, незнакомец вглядывался в глубину оврага. Туташхиа подошел к краю обрыва и тоже глянул в пропасть.

Незнакомец пошарил глазами по сторонам и бросился к суме Доротэ Тодуа. Он быстро развязал ее, вывалил на землю все, что в ней было, схватил кисет из козлиного пузыря, зубами развязал стянутый в тугой узел шнур и вытащил деньги. Много денег.

Увидев деньги, Туташхиа издал звук, я не разобрал – удивления или радости.

– Сколько их здесь! Гляди! Гляди! – Незнакомец трясся, перебирая деньги, пробуя их на вес, он мял их, разглаживал, складывал… и вдруг встретился глазами с Туташхиа.

Он замер, стоя на коленях, челюсть у него отвисла, и он глядел на абрага как моська. Абраг молча разглядывал его и, пыхнув трубкой, пустил дым.

Незнакомец отвел глаза и принялся делить деньги. Он не умел считать и раскладывал их на две кучки: направо – налево, направо – налево.

– Половина тебе, половина мне… Здесь вон сколько! – Он подобострастно поглядел на Туташхиа, опять снизу вверх, встретился с ним взглядом и окаменел. – Пополам… – Незнакомец был совершенно потерян. – Ты ведь Дата?.. Дата Туташхиа. А я Звамба… Звамба я!

После долгого молчания абраг спросил, откуда известно, что он – Туташхиа.

Звамба как язык проглотил.

Абраг ждал.

Звамба ткнул пальцем в ущелье.

– От него. Ты шел по дороге, и он сказал: вот Дата Туташхиа… А потом говорит: несчастный. Это про тебя.

И опять молчание.

– Положи деньги в кисет и не притрагивайся к ним, – приказал абраг негромко.

Звамба не мог шевельнуться от страха. Абраг повторил.

– Мои! – завопил Звамба. – Все мои. Я даю тебе половину, потому что ты Дата Туташхиа. Получил бы у меня кто другой… Что тебе еще надо? Все хочешь забрать? Все?..

Абраг и бровью не повел. Звамбу как подсекли. Он собрал деньги, затиснул их в кисет, затянул шнур и опять будто застыл.

Я не понял, что еще сказал Туташхиа, – очень тихим и низким голосом он говорил, но Звамба положил кисет, опять заглянул абрагу в глаза и быстро-быстро стал засовывать вещи Доротэ Тодуа обратно в суму.

– Пусть все достанется вам, Дата-батоно, – сказал он, сложив вещи и завязав суму. – Но знаете, сколько дней я охотился за ним?.. Есть тут и моя доля?..

Туташхиа опять выпустил дым и велел принести тело Доротэ Тодуа.

Не сказав ни слова, Звамба пошел по краю обрыва, разыскивая место, с которого можно было бы начать спускаться вниз. Он не сделал и десяти шагов, как абраг, вытащив оружие, отправился за ним.

Саврасый взглянул вслед хозяину и опять принялся за траву.

Только оставшись один, я смог собраться с мыслями и прийти в себя. За холмом дети пасли индеек. Я сполз с дерева, добежал до них и рассказал сынишке Кокочиа, что Звамба столкнул в пропасть Доротэ, вытащил из его сумы кисет с деньгами, а Дата Туташхиа отнял у Звамбы эти деньги. Что понял мальчик, а что нет, я сам уже не понимал.

Я вернулся на прежнее место и притаился в кустах.

Дата Туташхиа все еще стоял у края обрыва, не спуская глаз с разбойника. Гремели срывающиеся камни. Раза два до меня донеслась брань Звамбы.

Наконец появился он сам с изуродованным телом Доротэ Тодуа на спине. Он задыхался и все так же искательно смотрел в глаза Даты Туташхиа.

По знаку абрага Звамба опустил тело Доротэ Тодуа на землю и сразу схватился за сердце. Он едва держался на ногах.

– Принеси сюда суму и кисет, – приказал Туташхиа.

Звамба затрусил, спотыкаясь.

– Кисет возьми в зубы, а суму повесь на шею, – сказал Туташхиа, когда Звамба вернулся.

Звамба помедлил, но дожидаться повторения приказа не стал, а сделал все, как велел Туташхиа. Только суму он забросил за спину.

– Я сказал – на шею, – напомнил абраг.

Звамба немного удивился, но сделал и это. И опять взглянул на абрага: что еще?

– На спину! – сказал Туташхиа, глазами показав на труп.

Звамба оцепенел на мгновение.

– Не возьму… убей – не возьму! Мертвец!.. Мертвецов боюсь… – Голос его срывался, дыхание, казалось, вот-вот совсем оборвется. – Я его снизу тащил? Тащил… сердце у меня… Не видишь? Сердце!

Одна за другой просвистели две пули: одна – возле моего уха, другая – у ног, пыль засыпала мне глаза. Я хотел бежать – ноги не слушались меня. Туташхиа сунул оружие в кобуру, а я вознес молитву господу за то, что спас меня от верной гибели.

С белым лицом, весь дрожа, Звамба ошупал продырявленный под мышкой архалук, потом – разодранные в паху штаны. Оглядел руки – крови не было, и он засмеялся как безумный.

– Как прикажешь, Дата-батоно!.. Как велишь… – Звамба взвалил на себя тело Доротэ Тодуа и двинулся по тропинке.

Туташхиа долго глядел ему в спину и, негромко свистнув, позвал лошадь.

Согнутый в три погибели, Звамба тяжело переставлял ноги. Кисет, зажатый в зубах, не давал дышать. Ноги Доротэ Тодуа, ничком лежавшего на спине Звамбы, волочились по земле, руки свисали как плети. Сзади, шагах в десяти, шел Дата Туташхиа, а за ним глухо постукивал копытами по каменистой тропе саврасый.

Поравнявшись со мной, Звамба обернулся к Туташхиа:

– Чего тебе надо, Дата-батоно? Долго еще тащить мне его?

– Пока дух свой поганый не испустишь! – ответил Туташхиа и тоже прошел мимо меня.

Не проронив ни слова, Звамба поплелся дальше, кряхтя и спотыкаясь. Тропинка огибала холм, и они скрылись за поворотом.

А я, несчастный, остался лежать в колючем кустарнике, и мысли одна страшнее другой проносились в моей голове: наваждение ли это? божий гнев? шабаш сатаны? Да еще мальчонку я в деревню послал… Что будет, когда рассвирепевшие гуртовщики выйдут навстречу Туташхиа и Звамбе? Какая нечисть возьмет верх?

Подобрав рясу, я бросился бежать вверх по склону. Когда выбрался на дорогу, ряса висела на мне клочьями, штаны были в колючках, ноги по щиколотку изодраны в кровь. Я снова бросился в кусты: и потому, что обессилел, бегая по кручам, и потому, что дорога в Луци шла через это ущелье, и разбойники неминуемо должны были опять пройти мимо меня.

Отдышавшись, взглянул на дорогу, – никто пока не поднимался по ней, но – чудны дела твои, господи! – впереди, совсем близко от себя, я увидел четырех гуртовщиков, которые залегли в засаде, выставив на дорогу ружья.

Я окликнул их, и ружья повернулись в мою сторону. Со мной чуть не сделалось дурно.

Захлебываясь словами, я рассказал им, что здесь произошло. Они начали расспрашивать

меня, но больше я не мог вымолвить ни слова. Я сам не понимал того, что увидел, и не мог ничего путем объяснить. И тут на подъеме показался Звамба со взваленным на спину телом Доротэ Тодуа. Он уже не плелся, как прежде, а бежал, не переводя духа. За ним верхом, наступая ему на пятки и погоняя, следовал Дата Туташхиа. Видно, Звамба и вовсе обессилел – он сбавил бег. «Не прикидывайся!» – крикнул Туташхиа и огрел его кнутом.

И опять побежал несчастный убийца, волоча на себе убитого.

Они были уже почти рядом, а мы глядели друг на друга, и господь не посылал нам разумения – что делать, как поступить?

Вдруг раздался выстрел с нашей стороны. Звамба схватился за сердце и рухнул ничком на утоптанную землю. Ясон Карчава ударил прикладом по голове духанщика Джонджолиа, а Туташхиа, сидя в седле, выстрелил на пороховой дым. Пуля просвистела в листве над нашими головами. Соскочив с лошади и укрывшись за ней, Дата Туташхиа прицелился, уже видя, кто перед ним. Оба брата Чочиа исчезли, как видение, будто и не было их здесь. Я попросил у господа отпущения грехов и стал ждать своего часа.

– Не стреляй, Дата! – закричал Ясон Карчава, вскочив на ноги. – Это Джонджолиа стрелял, вон он валяется, сукин сын!

Я поднял голову и поглядел вниз. Туташхиа стоял на дороге. Левая рука его была в крови. В правой, собираясь перевязать рану, он держал платок.

– Выходите на дорогу! – громко сказал Туташхиа, зажимая платком рану. – Эй, вы там!.. Джонджолиа, и ты выходи!

Джонджолиа и не думал подниматься, пока Ясон Карчава не пнул его.

Мы вышли из кустов.

Дата Туташхна разглядывал лежащего ничком Звамбу и труп Доротэ Тодуа рядом с ним.

– Почему ты стрелял в меня, Джонджолиа? Правду говори! Только правду, если хочешь, чтобы я простил тебе эту кровь!

Духанщик опустил голову.

Звамба был недвижим. Я вспомнил, как он жаловался Туташхиа на сердце и как схватился за сердце перед тем, как упасть.

Я нагнулся к нему, пощупал пульс, приложил ухо к груди. Он был мертв. От него поднималась легкая испарина, а в зубах был зажат кисет Доротэ Тодуа. Я прочитал молитву и отошел от покойника.

– Я тебя спрашиваю, что тебе от меня было нужно, – Туташхиа не думал отступаться от Джонджолиа. – Говори сейчас же, зачем стрелял?

– Прости, Дата-батоно! Дурь нашла!.. Жадность обуяла! – запричитал он. – Не оставь детей сиротами! Правду говорю – жадность…

Лицо Туташхиа покрылось бледностью.

– Те пять тысяч, которые назначены были за мою голову, правительство отменило, – промолвил он к отошел в сторону.

Он размышлял долго, переводя взгляд с лавочника на тело Звамба, опять на лавочника, пока наконец взор его не остановился на мне. Он сверлил меня глазами и молчал, ожидая – мне было ясно, – чтобы я заговорил.

А что мог я сказать?

– Отдал богу душу грешник, – выдавил я из себя… – Видно, сердце не выдержало. – Я говорил о Звамбе.

Абраг вынул оружие и навел его на Джонджолиа. Я бросился между ними и вознес молитву господу нашему Христу:

– Господи, умиротвори душу вознамерившегося убить человека, и погаси гнев души его, и сдержи гнев сердца его, ибо останутся после смерти одного Джонджолиа пятеро Джонджолиа, сирот нищих, беззащитных, и, гонимые недоброй судьбой, станут все пятеро на путь неправедный, греховный, исполненный ненависти и зла.

– А если сам Джонджолиа будет растить своих пятерых, думаешь, отец Димитрий, хоть один из них станет лучше отца? Раз у тебя душа болит за судьбу его детей, просить надо, чтобы убил я этого скота!

Я бросился абрагу в ноги и опять вознес молитву:

– Господи, открой око разума и отвори врата истины рабу твоему Туташхиа Дате, дабы не взял он греха на душу. Вразуми его: искоренять зло злом – неразумно и неправедно, ибо зло, совершенное даже во имя добра, породит много нового зла, и не будет этому конца, и гибельно это…

Внял господь моей молитве, внушил абрагу отречься от своего помысла. Спрятал Туташхиа оружие.

– Джонджолиа, – сказал он, – Звамба не сделал ничего хуже того, что вознамерился делать ты. Знай это! Плачет по тебе пуля, но нельзя, чтоб послала ее моя рука. Скажут, Туташхиа убил Джонджолиа, потому что Джонджолиа в него стрелял. А кончать с тобой надо не за это, а за то, что деньги могут заставить тебя убить человека. Оттого и стоишь ты смерти, запомни мои слова. Подлость твоя и вероломство доконают тебя – и очень скоро!

Туташхиа вскочил в седло и стал подниматься в гору.

Доротэ Тодуа лежал на спине. В открытых глазах его стояли гнев и ярость. Крепко сжатые кулаки были воздеты к вечернему небу.

В одной руке был зажат камень.

Граф Сегеди

…В ту пору во главе сыскного отделения Тифлисской полиции стоял весьма сведущий в сыскном деле человек Иван Михайлович Усатов, которому тогда перевалило уже за семьдесят. Едва вернувшись в Тифлис, в тот же день я поспешил к себе, в свое ведомство, ибо сердце было не на месте. И правда, только я переступил порог своего кабинета, как мне доложили, что Иван Михайлович Усатов просит немедленной аудиенции.

Усатов был подвижный старик с неуемным темпераментом. Вошел он как-то суетливо, я усадил его в кресло и справился о здоровье. Он, однако, чрезвычайно торопился, поглядывал на меня, хитро прищурившись, и ему явно не терпелось узнать, известно ли мне, по какому делу он пришел.

Я не знал и спросил.

– Я явился по поводу ковра Великих Моголов, – промолвил Усатов, внушительно помолчав, и снова принялся сверлить меня хитрыми своими глазками.

– Ковра Великих Моголов… – протянул я, и мне показалось, что со мной заговорили о легендарном поясе Джимшеда или о лабиринте Минотавра. Я напряг память… нет, ничего похожего на легенду о ковре Великих Моголов на моем пути не возникало. – Я слушаю вас, Иван Михайлович.

– Так, значит, что ж… вам ничего не известно? – опять заерзал, засуетился Усатов.

Многие молодые чиновники, когда говорят с начальством, стараются обнаружить свою осведомленность по поводу незначительных дел и этим создать впечатление своей безупречной добросовестности, приверженности делу и энергии. Эта черта сохранилась в старом служаке с молодых лет, и сейчас она показалась мне в нем забавной.

– Нет, ничего не знаю. Так в чем же дело?

Еще один недоверчивый взгляд в мою сторону – может, и правда ничего не знает, ничего не слышал об этом ковре, и сказал:

– Тогда, ваше сиятельство, я должен с самого начала рассказать вам эту историю.

– Извольте…

– После похода в Индию Надир-шах подарил своему сподвижнику, тогда еще юному царевичу, а впоследствии царю Ираклию Второму, огромный голубой ковер, когда-то принадлежавший Великим Моголам. С тех пор ковер находился в Тифлисе, в Метехском дворце. Ага-Магомед-хан, взяв Тифлис, захватил вместе с другими сокровищами и этот необыкновенный ковер и подарил его Мелику Меджнуну, вассалу Ираклия, за то, что тот отрекся от своего сюзерена и дрался против него же не за страх, а на совесть. Потомки Меджнуна берегли ковер как зеницу ока. Сначала он находился в Ереване, потом его перевезли обратно в Тифлис. Два года тому назад англичане предлагали за ковер тридцать тысяч. В начале этого года Хаджи-Сеид не пожалел тридцати пяти. Владелец, однако, запросил пятьдесят, и ковер остался непроданным. В один прекрасный день ковер исчез. Этот

прекрасный день случился два месяца тому назад. Пострадавший, конечно, пришел к нам, и мы приступили к розыску. У владельца ковра многочисленная семья и уйма родственников. Можете представить себе, как они меня допекли. Они взяли меня в осаду, возле входа в полицию день и ночь болтается кто-нибудь из этого семейства. Они уверяли, что ковер продадут либо в Тифлис, либо в Баку. Три недели тому назад мы нашли и ковер, и вора. Как вы думаете, кто им оказался? – Усатов поглядел на меня с такой укоризной, будто вор приходился мне ближайшим родственником или был моим протеже.

– Представить себе не могу.

– Спарапет!

– Спарапет? – Это имя ничего мне не говорило. – Что-то не припомню… Спарапет… – Мне стало даже неловко оттого, что в рассказе Усатова все было мне не знакомо.

– Спарапет, ваше сиятельство, знаменитый тифлисский аферист, шулер и вор!.. Уже два года, как на него объявлен всероссийский розыск. Никто не мог его обнаружить и взять… кроме меня. – В голосе Усатова прозвучали гордость и опять… укоризна. – Ну, знаменитейший же вор и аферист… шулер!

Старая ищейка был потрясен моей неосведомленностью.

Моя жизнь сложилась так, что воры, аферисты и шулеры проходили как-то мимо меня, да и я ими никогда не интересовался. Помимо всего, человеку в моем положении вообще не пристало лгать подчиненному, а если б даже это было положено, я по природе своей не лгун. Но то ли оттого, что я испытывал неловкость, поскольку обычный в общем-то полицейский знает об этом Спарапете больше меня, а быть может, из простой любезности, но я ответил с твердостью в голосе:

– Да, вспомнил. Спаспет.

– Не Спаспет, а Спарапет, ваше сиятельство! – Усатов чуть не расплакался, так ему было досадно, что я не знаю толком кличку знаменитого вора.

– Да бог с ним! – рассмеялся я оттого, что попал в такое глупое положение. Старику же показалось, что все-то о ковре мне доподлинно известно, только почему-то я предпочитаю скрывать и отделываюсь шуточками. Я почувствовал, что пора брать себя в руки, утер слезы, выступившие от внезапного смеха, попросил Усатова извинить меня и продолжать свой интересный рассказ.

– Да, наше сиятельство, доставили мы Спарапета вместе с ковром, но тут входит господин Зарандиа и забирает все – и ковер, и Спарапета… Я думал, вам обо всем этом доложили. С этого дня с наших глаз исчезли и владелец ковра, и все его родственники, и осаду полицейского управления они сняли, и меня перестали изводить своими просьбами.

– Он и вора забрал, говорите? – Я почувствовал, забрезжило что то важное.

– Так точно увел Спараспета… и ковер забрал. Мне же приказал: мы ничего не находили, никого не забирали, никого не отпускали и вообще ни о чем слыхом не слыхали. – Усатов замолчал, и снова его прищуренные маленькие глазки принялись буравить и сверлить меня.

Было очевидно, что Зарандиа спровадил пострадавших подальше от полиции, обещав им что ковер непременно вернут.

– Но? – явно запоздало спросил я наконец Усатова.

– Но, ваше сиятельство, с неделю уже… как Спарапет продал ковер… за двенадцать тысяч и исчез из Тифлиса.

– Продешевил, однако?

– Известное дело – товар-то краденый…

– И кому же продал?

– Хаджи-Сеиду, а сам исчез, испарился… Я могу у Хаджи-Сеида конфисковать ковер как краденый товар, но сильно опасаюсь, ваше сиятельство, а вдруг господин Зарандиа имеет намерение распорядиться ковром как-то по-другому… а с другой стороны, я прикидываю, вдруг ковер опять исчезнет?!

У меня отлегло от сердца, ибо Усатов оперировал измерениями, мне доступными, – Хаджи-Сеид, Зарандиа… Большая проницательность тут была не нужна – кражу ковра подстроил Зарандиа, зачем-то это ему понадобилось.

Я пригласил кассира.

– Вносил ли Зарандиа в кассу какие-нибудь деньги перед отъездом?

– Двенадцать тысяч ассигнациями.

– Для сдачи в казну?

– Нет, для временного хранения.

«Ничего себе, он Спарапету даже вознаграждения не оставил», – подумал я.

– Вы изволили что-то сказать?

– Нет, нет, вы свободны.

Кассир ушел, и я сказал Усатову:

– Зарандиа сейчас в Дагестане, Иван Михайлович. Он должен вернуться через неделю. А пока вам надо делать так, как он просил.

– Я понимаю вас, ваше сиятельство, понимаю, но ведь Спарапет… да и ковер… тоже!

Я не мог обещать Усатову, что Спарапета вернут полиции, для этого старику пришлось бы заново искать и брать его, но что ковер непременно будет возвращен владельцу – это обещание я смог взять на себя. И вдруг меня осенило: Зарандиа заставил украсть ковер Великих Моголов совсем не из желания помочь казне. Раз ковер продан Хаджи-Сеиду, то само собой разумеется, ему предстоит оставаться у него до тех пор, пока Зарандиа не вернется из Дагестана. Сообразив все эти обстоятельства, я сказал Усатову:

– Иван Михайлович, я рассчитываю на ваш опыт и на ваши таланты. До тех пор пока Зарандиа не вернется, ковер должен находиться там, где он в настоящую минуту. Если его попытаются вывезти – немедленно вместе с покупателем к вам в полицию! Вам ясна моя мысль?

– Есть вместе с покупателем в полицию, ваше сиятельство! – Усатов вытянулся передо мной, щелкнул шпорами и вышел.

На душе у меня остался неприятный осадок. Я был задет тем, что операцию провели, не уведомив меня о ней заранее. Оправдывало Зарандиа то, что он покинул Тифлис двумя днями позже меня. Возможно, кульбит с ковром был вызван новыми неожиданными обстоятельствами.

Я пригласил заместителя Зарандиа, Шитовцева.

– Что вы можете рассказать об этой истории?

– Все. Я ждал от господина Зарандиа телеграмму. Сегодня утром я ее получил.

– Дальше…

– Основная операция требует подготовки: необходимо установить факт перепродажи ковра. Вслед за тем мы отправим Усатова к Хаджи-Сеиду с обыском, который должен обнаружить, что Хаджи-Сеид купил краденый товар и к тому же перепродал его… Напоминаю, до этого абсолютно необходимо установить факт перепродажи ковра. Усатов документально подтвердит этот факт и якобы для выяснения каких-то дополнительных обстоятельств ковер оставит у Хаджи-Сеида, взяв, разумеется, у него расписку. Господин Зарандиа особенно настаивал на том, что до его приезда ковер должен оставаться у Хаджи-Сеида.

– Понятно, – сказал я, хотя далеко не все было мне попятно. Одно я видел отчетливо: вся эта операция ставила Хаджи-Сеида перед Зарандиа в положение преступника. Эта позиция в их будущих взаимоотношениях давала Зарандиа важное преимущество. Все это так, но есть здесь что-то недосказанное. Я пытался разобраться в смутных своих ощущениях, как вдруг мне на стол положили телеграмму, извещавшую о скором приезде Сахнова. Давно мы ждали этого визита, но нужно было своими глазами прочесть это извещение, чтобы мысль моя тут же обрела прозрачную ясность. Меня осенило.

…Семьи высшей российской аристократии любили отличаться друг перед другом особыми вкусами и пристрастиями. Семья Романовых во всей империи, а может быть, и на всем белом свете считалась обладательницей самой богатой коллекции бриллиантов. Нарышкины владели великолепными конными заводами. У Голицыных была редкостная коллекция хрусталя и фарфора. У Юсуповых – столь же редкостная коллекция часов. Мать Сахнова, урожденная Шереметьева, получила в наследство сказочную коллекцию ковров, которую подарила единственному сыну в день его свадьбы. С похвальной пылкостью шереметьевский отпрыск продолжал пополнять эту коллекцию.

Одно время ходил слух, будто он заложил леса в Пермской губернии, приданое жены,

чтобы купить еще несколько ковров эмира Бухарского, и вообще большая часть его доходов уходила на ковры. Это было увлечение совсем не бескорыстное. По отцу дворянин скромного происхождения и состояния, он изо всех сил тянулся превзойти хоть в коврах людей того круга, куда ему посчастливилось подняться.

Предчувствие, меня томившее, начало обнаруживать свой источник – не в этой ли сахновской страстишке здесь дело?.. А Зарандиа… как много ждал он от этого визита Сахнова, как готовился к нему! Ковер Великих Моголов и приезд Сахнова… здесь угадывается связь, они звучат в унисон…

– План операции у вас готов?

– Так точно! – ответил Шитовцев.

– Кто составил?

– Я… но набросок сделан Зарандиа. Он приказал мне показать вам и лишь с вашего согласия действовать дальше. Если у вас найдется время… Дело-то спешное, если вы заняты, я, конечно, не смею… а так все готово.

– Верните Усатова и принесите план операции.

Опережая события, скажу, что операция была проведена, и если говорить о моих нравственных принципах, то и они не были уязвлены. Политическая разведка осуществила операцию, конечная цель которой временно оставалась скрытой. Но только почему я сразу же в своем сознания не перекинул мост между похищением ковра Великих Моголов и коллекционерской страстью Сахнова? Ведь интуиция моя не дремала и посылала мне тревожные сигналы? Будь это несколько лет тому назад, я бы счел эту операцию обычной нашей акцией, и мне бы в голову не пришло думать о каких-то косвенных последствиях – ведь я бы строго придерживался своих стереотипов. А сейчас я был пассивен, ничего не предпринимал, и одно это говорило о переломе, совершающемся в моем миросозерцании, но об этом я скажу позже.

Я посмотрел набросок плана, сделанный Зарандиа, и пояснения Шитовцева, обдумал все возможные варианты его осуществления и детали возможных осложнений, но все равно истинный замысел Зарандиа плавал в тумане.

Дело началось с того, что Хаджи-Сеида посетил некий богатый француз. Его визитная карточка свидетельствовала о том, что он был одним из директоров трансатлантического пассажирского пароходства и крупным акционером этой компании. При посредничестве Искандера-эфенди он сообщил, что хочет приобрести несколько уникальных ценностей. Хаджи-Сеид показал ему с дюжину самых разных вещиц. Клиент почти не торговался. Что ему понравилось – взял тут же, что не отвечало его вкусу – движением руки велел убрать. Вещи были при нем упакованы, и на пакетах и свертках был надписан его марсельский адрес. Затем он попросил подсчитать общую сумму своих затрат и оставил Хаджи-Сеиду вексель на весьма крупную сумму Все это он проделал с такой беззаботностью и легкостью, будто бросал на прилавок лавчонки гроши за адельхановские чувяки. Пальто, шляпа, перчатки, зонт – он уже был готов уйти и задержался у порога только затем, чтобы уточнить срок отправки своего багажа, а Хаджи-Сеида все продолжал мучить вопрос, который, с самого появления француза в доме, только и занимал его: мог бы или нет этот клиент купить ковер Великих Моголов и стоит ли заводить об этом разговор? Его соблазняла возможность одним выстрелом убить двух зайцев: избавиться от краденого ковра и за счет чужестранца получить огромную прибыль. Этот узел операции был затянут с точным психологическим расчетом. Покупатель уже протянул руку, чтобы попрощаться, и тут Хаджи-Сеид не устоял перед соблазном и попросил Искандера-эфенди перевести:

– Я вижу, вы истинный ценитель, и если средства вам позволяют, я мог бы показать вам весьма редкую вещь.

Француз согласился спокойно и с достоинством.

В ширину ковер Великих Моголов был восемь аршин, в длину – двадцать четыре, и был он легче мертвого слона фунта на четыре, не больше. По сей день поражаюсь, как умудрился Спарапет стянуть его и перетащить на новое место, когда лишь для того, чтобы показать его французу в большом зале наверху, понадобилось кряхтеть, потеть и галдеть всему штату Хаджи-Сеида.

Клиент долго и тщательно разглядывал этот воистину невиданный шедевр, проявив, однако, и знание дела, и холодную сдержанность опытного коммерсанта. Справившись о цене – Хаджи-Сеид назвал пятьдесят тысяч, – он достал из портфеля какой-то волюм, долго листал его и, переведя услышанную сумму во франки, сказал Хаджи-Сеиду:

– Прошу вас подождать до завтрашнего утра. Я должен подумать.

Ковер скатали, поместили обратно в огромный ящик, специально для него сбитый, и француз удалился.

Хаджи-Сеиду хотелось, конечно, чтобы сделка завершилась в тот же день, по он отлично знал, что настоящий покупатель, знающий цену деньгам, так сразу не стал бы их выкладывать, увидев ковер лишь раз. Именно это и убедило его, что клиент попался серьезный и достойный его предложения.

Главные события произошли на следующий день. Француз явился точно в назначенный час и предложил за ковер Великого Могола пятнадцать тысяч. Хаджи-Сеид покрылся холодным потом: неужели француз пронюхал, что ковер краденый, и потому предлагает так мало?

– Эта цена оскорбительна для родословной ковра, – перевел Искандер-эфенди ответ Хаджа-Сеида.

– Напротив, моя цена определена его происхождением, – возразил француз, только усилив подозрения Хаджи-Сеида.

У тифлисского купца ум за разум зашел. На что он надеялся, и что получалось? Весь последующий разговор походил больше на состязание в шантаже и вымогательстве, нежели на коммерческие переговоры. Хаджи-Сеид уже готов был отказаться от сделки, лишь бы его оставили в покое, но ведь не исключено, что надменный француз сообщит о ковре в полицию? Француз же настаивал на том, что либо Хаджи-Сеид уступит ему ковер за пятнадцать тысяч, либо он вообще потеряет ковер и еще навлечет на себя неприятности. Однако и Хаджи-Сеид не был младенцем в таких делах и не так просто покорялся судьбе. Он долго торговался и вынудил француза согласиться на двадцать тысяч, но неустойку за нарушение сделки в договоре не оговорил. Француз оставил вексель на двадцать тысяч, и Хаджи-Сеид отпустил его с тем расчетом, что ковер Великих Моголов завтра же будет отправлен на лондонский аукцион, а француз получит свой вексель на марсельский адрес вместе с письменным отказом от сделки.

Хаджи-Сеид считал, что он выскочил из канкана, и радовался несказанно. Мы тоже остались довольны, так как создали ситуацию, для нас желаемую: Хаджи-Сеид был уличен не только как скупщик краденого, но и как продавец его.

Опущу дальнейшие подробности. Скажу лишь, что Хаджи-Сеид пошел на тысячу уловок, чтобы уйти из осады Усатова, но все получилось, как и было задумано: чтобы арестовать Хаджи-Сеида, мы получили уже достаточно фактов и документов. Усатов прочитал ему ордер на домашний арест и взял подписку о неразглашении. На ковер Великих Моголов навесили пломбу, и он был передан на склад фирмы как реквизированный товар. Остальное должно было дожидаться приезда Зарандиа, как и было им велело.

Следующие два дня ушли на обдумывание дальнейших действий в их деталях и вариантах. Меня охватил настоящий азарт, и одновременно свербила душу тревога: в моей жизни случались операции несравненно более сложные, но сейчас мною владел страх не оплошать и, не приведи господи, не закончить это дело с меньшим успехом, чем оно получилось бы у Мушни Зарандиа. Эту внутреннюю тревогу и напряженность я обнаружил в себе еще в самом начале этого дела, и при всем желании взять себя в руки и не выдать своего смятения окружающим я смог лишь когда все было завершено. Где уж было мне думать о чем-то еще и о каких-то побочных последствиях происходящих событий.

Операция завершилась в субботу около трех часов дня, и тогда-то на меня навалилась страшная усталость и безразличие ко всему на свете. Мне захотелось в баню, захотелось попасть в руки терщика, вдохнуть приторный запах теплой серной воды. Я вызвал экипаж, и уже через полчаса мы спускались к Орбелиановской бане.

Я растянулся на мраморных плитах, и знаменитый на весь Тифлис терщик Кямбиз сдирал с меня шкуру. В голове моем клубком свернулись мысли, конца которым не было видно, и мысли эти были погружены в дремоту, как и сам я, замерший и отрешенный. Стоило мыслям моим чуть шевельнуться, как в беспощадной наготе представала передо мной истина, что ковер

Великих Моголов понадобился Зарандиа, чтобы затянуть Сахнова в западню – и ни для чего больше. Уже никаких сомнений в этом не оставалось, и единственное, чего я не мог себе вообразить, как именно исхитрился Зарандиа потащить Сахнова на этой наживке. Умный и коварный человек готовил заведомо безысходный, роковой конец человеку ограниченному, а если и хитрому, то по-дурацки. Нить моих размышлений на несколько секунд оборвалась, так как Кямбиз вскочил мне на спину и заставил трещать мои позвонки и суставы. Его ступня прошлась по мне от шеи до копчика, на меня сошла легкость, и… стало жаль Сахнова. Я увидел крестника великого князя, валяющегося в его ногах, и тут понял, что гибельная проделка была задумана Зарандиа, а провел ее я.

– Ваш сятельст-фф, прохладить нада? – услышал я Кямбиза.

Я опустил голову, и на распаренное тело обрушилась штормовая волна.

Кямбиз бросил на мои плечи огромную простыню и простился со мной.

Я шел домой пешком, и меня поедом ела совесть. Весь вечер я провел в кресле у камина. Ночью, лежа в постели, часа три вертелся как на вертеле. Проснулся чуть свет, провалялся до полудня, а от мыслей, донимавших меня, так уйти и не смог. Сейчас лишь в самых общих чертах я могу восстановить то, что меня тогда мучило, и попытаюсь рассказать об этом, потому что… потому что отсюда взяла начало вся моя последующая жизнь.

Мой седьмой предок граф Лайош Сегеди поступил на военную службу к русскому царю, женился на русской дворянке, и с тех пор к нашей ветви не примешивалось другой крови. Начиная с 1689 года все мои предки своей единственной родиной считали Русь и своим единственным сюзереном русского царя. Русскому престолу они отдавали все – совесть, талант, жизнь. Они были замечены, и заслуги их оценены высоко. Имения, крупные чины, звания, высокое жалованье, огромные связи – всем этим они владели свободно. Я был единственным прямым наследником титула, и уже с юных лет служение престолу олицетворяло для меня не только высокое положение в обществе и было залогом твердого имущественного положения, но, наверное, раньше всего оно являлось для меня поприщем, на котором моя преданность державе, моя честь и жажда высокого самопожертвования могли обрести свое наиболее полное выражение и способствовали рафинированию моих врожденных достоинств и недостатков. Согласно тому кодексу чести, который и исповедовал, я призван был отдавать отечеству все, а получать лишь столько, сколько нужно было, чтобы отдавать все. Пусть не буду сочтен за хвастуна, но я и вправду жил именно так, из-за чего остался холост, бездетен и на склоне лет одинок.

В студенческие годы, проведенные в Сорбонне, и много позже, еще в продолжение одиннадцати лет, я состоял на тайной службе русской империи в Европе. Но пришло время, и обстоятельства, в которых я не был повинен, заставили меня покинуть Европу и отправиться в Петербург, куда я был отозван. Я вернулся в чине полковника, и, если не изменяет мне память, из моих сверстников лишь несколько достигли подобного успеха. Даже мое фиаско в Европе принесло мне Александра Невского, одну из высших наград империи. Вспоминаю об этом не из желания выказать себя в выгодном свете, а лишь для того, чтобы отметить, что все двери были распахнуты передо мной и я мог пойти в любую. Я выбрал жандармерию, тайную полицию и Кавказ, где тайная служба протекала в условиях наиболее сложных. Вероятно, можно отыскать сотни духовных и материальных причин подобного выбора, но отыскивать и разгадывать их было бы напрасным трудом, ибо причина была одна: я знал, что сохранить достоинство и честь там труднее, чем где-либо. Жажда познать эти трудности лицом к лицу, наедине с ними, и привела меня в жандармерию. Это позволяло мне продолжить военные действия против самого себя, против всего наносного и суетного, что было во мне, что тянулось к соблазнам и таилось в душевных тупиках в противность моим собственным представлениям о достоинстве и чести. Я жил, служил, говоря словами Даты Туташхиа, «сражался с самим собой» и радовался победам. Служба была источником моего духовного равновесия, и без этого я не мог жить. Я обладал богатой коллекцией стереотипов, у меня было раз и навсегда выработанное отношение к вещам, и я – клянусь богом! – не осквернял себя компромиссами, пока не подкрался ко мне, как дьявол, Мушни Зарандиа. Компромисс компромиссу рознь. Я не говорю о том случае, когда надо пожертвовать своим в интересах общества или государства, а я, допустим, не мог совершить этого. Или о том, что Мушни Зарандиа силой своего обаяния или духа один единственный раз

добился с моей стороны нравственной уступки! Нет! Я говорю сейчас о коренной ломке устоев, о явных признаках перемены миросозерцания, о повержении идолов… Словом, сложилось так, что на этом поприще я растерял все, для сохранения чего избрал его.

Камнем преткновения стал Сахнов!

Хребтом моей гражданственности был стереотип, согласно которому все человечество разделяется на «мы» и «прочие». «Мы» – это те, кто верно служил трону и исповедовал целостность Российской империи, кто был убежден в ее великой и особой всемирно-исторической миссии и праведно служил этом идее. Те, кто этих взглядов не разделял, были для меня «прочими». Я должен оговориться: ни малейшей ненависти к «прочим» я никогда не испытывал. Была лишь настороженность. Я знал, что землю населяем не один «мы». «Прочие» существуют, и их – огромное большинство. Я был воспитан в этом убеждении, и воспитание зиждилось на принципе «убивать в себе в самом зародыше чувство ненависти, привить благоразумную терпимость и пестовать в себе самозабвенную любовь ко всему „нашему“.

Вернусь, однако, к главному. Стереотип, о котором я сказал, подразделялся на три подстереотипа. Я имею в виду все время специфику своей службы, своей профессии и поэтому хочу быть понятым правильно: фактором, регулирующим взаимоотношения империи с «прочими» государствами и их гражданами, я считал нормы международного права, дипломатию и военную мощь. Регулятором взаимоотношений между «мы» и «прочими» внутри империи я считал закон и законность, перед которыми равны все, независимо от умственных, сословных и имущественных различий. При расследовании преступлений, совершенных «прочими», будь эти «прочие» подданными Российской империи или других «прочих» государств, я считал допустимым любые средства, даже коварство, поскольку это была борьба с врагом. Напротив, если поступал донос на человека, принадлежавшего к моему кругу (это третий подстереотип), то противогосударственные деяния такого человека я трактовал как заблуждение ближнего, в нем самом, говоря нынешним языком, видел фракционера и поэтому действовал против него лишь достойными средствами. Правда, продолжалось все это до тех пор, пока я не начинал видеть в нем смертельного врага.

Полковник Сахнов был человеком довольно простого душеустройства, настолько простого, что, переберись он даже в лагерь «прочих» и стань непримиримым врагом, все равно большого зла от него не было бы. Но никуда он не думал перебираться и в мыслях не держал оказаться врагом престола и державы. Тот алтарь, которому я и мои предки служили на протяжении нескольких столетий, увенчивался его императорским величеством и августейшим семейством. Это была святая святых империи, а родство Сахнова с царской фамилией было признанным. Следовательно, мало того, что он был «наш», он олицетворял собой то начало, служению которому «я был обязан отдавать все, а получать лишь столько, сколько нужно, чтобы иметь возможность отдавать все»…

Мушни Зарандиа и я намеревались с Сахновым, то есть с «нашим», рассчитаться так, как если бы он принадлежал к «прочим».

Но это была лишь часть моей вины. Еще более тяжелая и куда более значительная доля вины состояла в том, что я посягнул на основу основ любой империи, которые когда-либо существовали в истории человечества, и преступил устав. Дело и том, что если речь идет об империи, то в рядах «мы» оказываются и «сыны державной нации», и инородцы. «Сыны державной нации» осуществляют собственную государственность, то есть служат величию и процветанию своей нации. Инородцы состоят на чужой службе и составляют неизбежную и необходимую в каждой имперской иерархии прослойку ландскнехтов и кондотьеров. Служа державной нации, они на самом деле осуществляют собственные интересы раньше всего, а вслед за ними хитроумно прикрытые интересы своей нации, что в конце концов противоречит интересам империи.

Исторически доказано, что в эпоху катаклизмов «сыны державной нации», несмотря на различие политических воззрений, твердо защищают целостность государства. Поведению же инородцев, как правило, свойствен сепаратизм. Хотя «сыны державной нации» и инородцы составляют единое привилегированное правящее сословие, каждая из сторон придерживается своего принципа в этом единстве. Прибегая к услугам инородцев, державная нация не должна

полностью доверяться им, несмотря на все их заслуги перед троном и империей. В столкновениях, которые могут возникнуть между сыном державной нации и инородцем, принадлежащим к нашему сословию, как в случае Сахнов – Зарандиа, моим патриотическим долгом было принять сторону весьма низкой, но устойчивой духовной стоимости, то есть сторону Сахнова. Я же принял сторону его противника, а это и было посягательством на основу основ нашей государственности, было преступлением против устава.

Что Зарандиа начал действовать против Сахнова средствами, допустимыми лишь в борьбе с «прочими», я почувствовал сразу, хотя догадка моя была весьма туманна. Но пришло время, и мне стало ясно, что Сахнов попал в сеть провокаций, которую раскинул Зарандиа, а я не только не противился этому, но даже помогал ему! Мне надлежало возвысить свой голос и вывести на свет божий эту интригу, но я не находил в себе ничего, кроме сознания, как должно себя вести, желания же вести себя должным образом во мне не было ни малейшего. Я знал людей, которые только так и поступают, только так и живут, не видя в этом ничего дурного и считая себя безупречными; для меня же все это было истинной драмой, и я казался себе жрецом, который потушил священный огонь по методу Гулливера. Я был похож на благородного человека, внезапно пустившегося в разгул и распутство и обнаружившего однажды утром, какая катастрофа с ним произошла, но не нашедшего в себе сил все оборвать и вернуть себя на прежнюю стезю. Подобные люди ищут спасения в новом загуле. Надо мной нависла страшная опасность: мне предстояло переселиться в мир компромиссов, беспрерывно разрушающих мои былые устои и так же беспрерывно порождающих мучения совести.

Госпожа Тико О…ни

…Опыт пришел, когда нужды в нем уже не было. И то сказать, к чему мне, в те мои пятьдесят лет, приобщение к тайнам искусства любви? А когда я жаждала этого знания, оно обошло меня, не одарив ни уверенностью в себе, ни упорством. Да и нужно ли было оно? Что же, я не последняя и не единственная – люди взнуздывают необъезженные химеры, и они волокут своих седоков куда им заблагорассудится. А седокам-то кажется, будто взнуздали они свою мечту и этот Пегас несет их по дорогам, которые они сами для себя избрали. У меня была подруга, которая всю жизнь искала, покупала и пробовала средства, предупреждающие зачатие. Все равно она родила четырех детей и едва не погибла, рожая пятого. В шестьдесят лет она призналась мне, что великолепно была осведомлена о всех способах, страхующих от зачатия. Однако жизнь ее свидетельствовала о противном, к тому же я не помню случая, чтобы она с кем-нибудь поделилась своим опытом.

С детства я помню сказку о старике, который перед смертью вытащил из дома сундук с золотом и темной ночью зарыл его в неведомом месте так глубоко, что никто уже не мог его найти. В старике жило два начала: одно заставляло его копить, чтобы потом употребить накопленное, другое заставило спрятать золото так надежно, чтобы употребить его никто уже никогда не смог. Эта сказка про меня. Я так и жила. Только в старости я поняла, что было во мне две души. Первая жила иллюзиями и действовала. Вторая знала правду, но молчала и заговорила, лишь когда это было уже ни к чему. Первая была похожа на курицу, которая думает, что снесла яйцо для хозяйского завтрака. Вторую можно сравнить с правоверными, которые ни разу не угостили своего муллу любимым пловом при жизни, а после смерти завалили пловом его могилу…

Нет, любовный опыт обрела я не в постели, – моя наблюдательность одарила меня этим опытом. Если б в постели, то опыт этот был бы у меня уже тогда, когда я еще на что-нибудь да годилась, а не сейчас, когда мне скоро семьдесят.

Господи! Куда же меня занесло! Я начала о бедняге Мито Зурабишвили, чтобы рассказать о Дате Туташхиа, а вернулась к себе. Видно, так суждено, по-другому я не умею. Как ни кручусь, все равно на мир гляжу сквозь сито, и это сито – я сама. О чем ни начну говорить, непременно приду к себе. У всех так, только признаться себе боятся. Слишком пристрастны к себе и оттого увидеть себя со стороны не могут – наблюдательности не хватает, а может, честности или смелости? Мне-то такое состояние отлично известно.

Когда я влюбилась в Мито Зурабишвили, мне казалось, я люблю его за то, что он

революционер, отдающий жизнь борьбе за счастье народа и человечества. Правда, в начале девятисотых годов разум людей уже был объят духом революции. Народ, угнетение, свобода – у этих слов была магическая сила, и политические убеждения больше всего диктовали личности ее побуждения и поступки. И все же любовь питается иными корнями. Взять хотя бы сельского учителя. Он несет в народ знания и правду. И полиция, бывало, усматривала в учительстве политическую деятельность. Когда я поехала в село учительницей, многие думали, что я жертвую собой ради революции. Да я и сама так думала. Мне казалось, я покинула Тифлис, чтобы бороться за свободу. А было у меня право так думать? Дело-то было в том, что меня вызвали… И в который уже раз вызывали, господи ты боже мой! Вызвали и сказали: «Выбирай! Либо отправишься в ссылку в Пензенскую или Костромскую губернию, либо поедешь в одну деревеньку, мы скажем, в какую, будешь там учительствовать, а заодно выполнишь одно наше деликатное задание!» Я сразу поняла, на что меня толкали. Стать тайным агентом! Но что было делать, когда тянулись за мной дела, за которые и правда полагалась ссылка? Уж в какие отчаянные предприятия пускалась я ради Мито – и вот все открылось… Когда я пошла за ним, мне казалось, иду революции ради. Все ложь! Пришла старость, а с ней и ясность ума: не революция, а любовь толкала меня на риск. Я без памяти любила Мито Зурабишвили. Во мне жила тайная надежда, что мы поженимся, а мое участие в борьбе… кому оно нужно? Разве я разбиралась в этом? А в Пензе или Костроме – что мне было там делать? Как существовать? Каким таким святым духом питаться? Когда они предложили мне ехать учительствовать, я подумала: пусть посылают, не велика беда, обещать обещаю, а пальцем не пошевелю – что они со мной сделают?

Я дала согласие, и с меня взяли подписку. Выхода не было… Да ведь я уже об этом вам сказала. С меня взяли подписку в том, что я поеду учительствовать в деревню, где живет любовница Даты Туташхиа Бечуни Пертиа, и сниму комнату в ее доме, если она мне не откажет. Она не отказала, ибо еще раньше ее уговорили: возьми постояльца, пусть полиция думает, что ты хочешь отвязаться от Даты Туташхиа и сдала комнату, чтобы он ходил пореже или вообще перестал приходить.

Когда я приехала, староста показал мне сперва несколько других домов, но я все отвергла. Ему посоветовали Бечуни. У старосты – глаза на лоб, но все же он повел меня к любовнице абрага. Тут мне понравилось, и я сняла две комнаты.

Мне понравилась и деревня, довольно большая, и окрестности. Дома стояли на почтительном расстоянии друг от друга, и у каждого хозяина была хорошо ухоженная усадьба. Кудахтали по деревне куры, пищали цыплята, с утра и до ночи не прекращался детский гомон. По ночам с болот доносилось кваканье тысяч лягушек, спущенные с цепи собаки лаяли на запоздалых путников.

Я знала, что моя хозяйка была вдовой лесного объездчика. Она показалась мне старше своих лет, но ей было всего под тридцать. Был у нее шестилетний сынишка. Вот и вся семья. Она была покойна, статна и тиха – настолько тиха, что целую неделю можно было не услышать ее голоса. Но одно я поняла сразу: она была молчалива не оттого, что несчастлива, и не от тоски по покойному мужу. Это было гордое отчуждение, которое прибавляло ей достоинства и степенности. От мужчин я слышала, что женщина не может оценить, насколько другая женщина хороша в постели. Это неправда. Мы видим лучше. Бечуни ничего особенного из себя не представляла.

Я собрала детей, и занятия начались. Время шло и, пораженная их памятью, способностями и жаждой знаний, я чувствовала себя счастливейшим человеком. Я жила на древней земле Колхиды и служила своему народу, подобно библейскому факельщику неся ему свет.

Свободное время я посвящала чтению, переписке с близкими и воспоминаниям о прошлом. Как и моей хозяйке, мне шел двадцать девятый год. По матери я мегрелка, была у меня когда-то няня-мегрелка, и я говорю по-мегрельски бегло. К моему стыду, в деревне я это скрыла. Знала, что скрывать знание языка равносильно воровству и подслушиванию чужой тайны, и все же скрыла. Видно, молодость толкнула меня на это. Пусть мне это простится – моей совести и так хватает терзаний.

Постепенно таинственная молчаливость моей хозяйки обрела для меня смысл, и я стала об

этом много думать против собственной воли.

Был воскресный день, и я шла домой. Пьяный Бардгуниа буянил, размахивая дробовиком. Он был сыном мельника, и обычной забавой этого двадцатилетнего парня было, напившись, гоняться с дробовиком за скотиной. Брань при этом сыпалась отборная. Ружье было испорчено, и Бардгуниа сам кричал «бах, бах, бах!». Пока хмель из него не выйдет, покоя не будет никому. Глазеть на это зрелище сбегалась вся деревня, дети бегали за Бардгунией стаей и тоже палили: «Бах, бах, бах!» Свернув на свою улицу, я увидела Бардгунию, который несся за теленком Каджаны. Я была уже у своей калитки, когда он увидел меня. Бросив теленка, он крикнул по-мегрельски, что явилась вот индюшка Бечуни, и бросился ко мне. Не успела я захлопнуть за собой калитку, как он преградил мне дорогу. В страхе я прислонилась к забору, к тут раздалась звонкая пощечина, которую моя хозяйка отвесила Бардгуниа.

…Те, что забавлялись зрелищем, перевесились через забор, чтобы не пропустить новых подробностей. Дети замерли, только – палец во рту.

У Бардгуниа желваки заходили по горлу, лицо побагровело.

– Ты у меня дождешься! – процедил он. – Думаешь, я очень боюсь его?..

– Думаю, боишься! – спокойно ответила вдова. – Убирайся!

У Бардгуниа голос пропал, он задрожал всем телом, замычал и, швырнув дробовик оземь, стал рвать на себе одежду.

Хозяйка схватила меня за руку и потащила за собой.

Бардгуниа изорвал на себе все, вплоть до исподнего, и тоже побросал на землю. Запричитали женщины, а мужчины, скрутив руки обезумевшему парню, поволокли его домой.

– Как же ты не побоялась ударить его? – спросила я, когда мы поднялись на балкон. – А если б он ответил тебе?

Хозяйка улыбнулась одними глазами:

– Меня никто здесь не тронет!

– Почему?

– Потому! – отрезала вдова и, взяв ведра, спустилась во двор.

Женщины за забором не сводили с нее глаз. Бечуни не торопясь пересекла двор и скрылась в кухне.

Зрители неохотно расходилась.

Вечером во дворе появились две старухи. Моя хозяйка усадила их под орехом. Окно в моей комнате было открыто, и мне слышно было почти все, о чем они говорили. Старухи просили простить Бардгунию. Но почему Бечуни, а не меня?

– Пусть он завтра извинится перед учительницей, – сказала Бечуни, проводив старух до калитки.

Меня прислали следить за Датой Туташхиа, но я ничего не знала ни о нем, ни о его жизни. Правда, имя его было мне известно, и о его приключениях кое-что я слышала: полковник, который брал у меня расписку – фамилия его, помнится, была Князев, – вывалил на меня кучу всяких россказней. Но пока судьба не свела меня с Датой Туташхиа, никакого представления о нем у меня так и не сложилось. Мне доводилось слышать о нем и дурное, и доброе, но ни то, ни другое не вызывало во мне доверия. Да и о любом мужчине я не могла ничего понять, сколько бы мне о нем ни говорили, до тех пор, пока не увижу его своими глазами и не почувствую мужской его породы. Такова уж я, и ничего здесь не поделаешь. И конечно, увидеть прославленного абрага, известного своими похождениями, тайно наблюдать за ним, проникнуться им, его ощутить – стало страстным моим желанием. Но увидеть Дату Туташхиа случая так и не выпадало. Бесконечным ожиданием испытывалось мое терпение, меня снедало любопытство, будь оно неладно.

Вечерами, уложив сына, она заходила ко мне с вязаньем и засиживалась допоздна. Горела лампа. Я исправляла тетради или читала. Порой мы вместе чаевничали. Мы думали найти много общего между собой, но разговаривали редко.

– Бечуни, для кого ты вяжешь столько шерстяных носков? – спросила я ее однажды.

– Для моего Даты.

– А кто это?

– Мой возлюбленный! Дата!

Наверное, таким тоном говорят: «Не подходи! Буду стрелять!»

Вот-вот, именно это было и в походке моей хозяйки, и в ее гордой осанке, и в манере держать себя. Этим тоном бросила она Бардгунии свое «думаю, боишься». И в ее молчании было это… Теперь-то я поняла, узнала. И в то же время такая откровенность… в крестьянке?.. Нет, не откровенность это была. Она хвастала, что была свободна в любви!

Я подняла голову и взглянула на нее.

Она была похожа на саблю, готовую опуститься.

– А кто он такой? – спросила я как ни в чем не бывало.

Моя гостья изменилась в лице. Удивление и недоверие появилось в ее глазах. Потом они стали мягче, светлее и улыбнулись.

– Дата?.. Абраг!.. Неужели не слышала?.. Дата Туташхиа.

– Почему же? Слышала… А как же ты с ним познакомилась?

Она притихла и сказала растерянно:

– А я и не знакомилась с ним.

Мне стало смешно. «Может, ты и сейчас с ним не знакома?» – чуть было не съязвила я, но удержалась: слишком хотелось мне вызнать у нее все.

– Ну, а где ж ты увидела его впервые?

– Мы шли куда-то… Не куда-то… в церковь. Был праздник. Мы шли с мужем. А навстречу – он. Он поглядел мне в глаза. В церкви его не было… Муж сказал – это Дата. Абраг Дата Туташхиа.

– Ну, а потом?

– Что потом?..

– Как он смотрел на тебя? Глаза у него были… какие?

– Какие?.. – Она замолчала, видно, вспоминая. – Удивленные! Мы пришли с обедни. Мой муж был объездчиком. В лесу у нас была кукуруза. Я ходила ее мотыжить. Всю неделю мне чудилось, будто Дата Туташхиа из кустов глядит на меня. Мне было страшно, я сказала мужу, что вроде ходит кто-то за мной, Он посмеялся.

Бечуни замолчала. Надолго. Странная она была женщина – говорила медленно, будто нехотя.

– А дальше, дальше! – Я боялась, просидит она два часа, рта не открыв, и отправится спать.

– Однажды он и вправду вышел из кустов – недаром мне казалось, что кто-то следит, и мужу я говорила… Он стоял и смотрел на меня… а потом стал подходить. Я поглядела ему в глаза, и такой страх на меня напал… Он остановился совсем близко и… и смотрит. Хочу крикнуть, а не могу, вся дрожу, язык отнялся. Руки у него были… такие! И грудь – широкая, сильная, красивая. Я… бежать, а он раскрыл руки, и я спряталась в них, а страха как не было. – Глаза Бечуни засияли. – Тогда на первую прополку ходили, кукуруза до колен не доставала. Нас отовсюду было видно, и мне захотелось уйти… не захотелось, а надо было, а двинуться с места не могу. Оторвалась я наконец от его груди… – Она снова замолчала, и опять надолго. – Семь лет уже миновало, восьмой год скоро пойдет с того дня, а я никому об этом не рассказывала… Пойду я, госпожа Тико, поздно.

Что было потом, я видела как наяву. Женщина шла впереди, за ней в трех-четырех шагах – он, и глядел на нее во все глаза. Она дошла до кустов, но не остановилась, а все шла и шла. И долго бы шла, но он положил ей на плечо руку. Женщина остановилась, трепеща всем телом, и ждала, ждала, когда гром обрушится на нее.

Господи! У тебя на всех хватает всего! А я в чем виновата перед тобой? Понимала эта женщина хоть что-нибудь? Может, и тяжесть ей была не нужна? Только слышала она, как трава к телу льнет и колючки кусают, и об этом лишь думала?.. Кто знает?

В моем воображении картина, которую я не видела, может восстать так ясно, будто все, что я вижу, происходило со мной или я сама при этом была. В молодости этот дар был у меня еще сильней, чем сейчас. Все, что случилось там, на кукурузном поле, стояло перед моими глазами и освещено было столь резким светом… так пылко я все чувствовала… так страстно! Не Бечуни Пертиа… я там была!..

Но и сюда снизошел покой. Моя участь – игра воображения. Для истинной жизни души

мне всегда не хватало того, что может принести лишь реальность, резкая и утонченная…

Хозяйка простилась и ушла. Я смотрела на нее и не понимала – что могло в этой женщине привлечь Дату Туташхиа? Может быть, он урод? Эту мысль я отбросила тут же – его уступить я не могла. Конечно, была в моей хозяйке и стать, и порода, но то, что притягивает мужчин… Что поделаешь? У каждого товара свой покупатель. До рассвета я не могла сомкнуть глаз.

Эта женщина была потомком Аэта – она рассказала мне про любовь Медеи и Ясона.

Мы очень сблизились, но в наших отношениях все время присутствовала фальшь. А почему бы ей и не быть? Покажите мне двух женщин, которые бы искренне любили друг друга! В близости женщин фальшь всегда берет верх над правдой и чистосердечием. Иначе не бывает. Я – женщина, я знаю.

Когда я ехала на каторгу к Мито, моими попутчиками оказались два офицера-грузина. Как-то вечером я лежала, дремала, они думали, я сплю, и разговаривали тихо. Один из офицеров рассказывал, как однажды в каком-то уездном захолустье он остановился на два дня у одинокой женщины лет сорока или немного больше. Они быстро стали близки, и, желая быть любезным, офицер спросил: «В молодости ты, видно, была хороша собой? От поклонников отбоя не было?» – «Со мной Шанаев спал», – с достоинством ответила она. Шанаев был тамошним городовым.

После этого я стала замечать, что женщины охотно идут на связь с людьми, близкими к власти или просто чем-нибудь да знаменитыми, и так же охотно при удобном случае хвастают этой близостью.

Мне стало казаться, что и Бечуни Пертиа кичилась близостью с Датой Туташхиа. Это раздражало меня в ней и в то же время – я сама не признавалась себе – разжигало мой интерес к Дате Туташхиа. Однажды я чуть не выдала себя – так захотелось мне попросить Бечуни Пертиа, чтобы она показала мне своего возлюбленного. Я сумела взять себя в руки – ведь я женщина! В другой раз Бечуни сама сказала мне: «Чует сердце, сегодня ночью придет Дата… Хочешь, покажу?» Странно, но ее слова были мне неприятны. Я поняла, вся прелесть встречи с Датой Туташхиа была в ее недозволенности. А дозволенная – она была не нужна мне.

Стояла ранняя осень, и было тепло. Я отворила окно и, потушив лампу, прилегла не раздеваясь. Мне не спалось.

Давно уже пробило полночь, когда я услышала скрип половиц на балконе, и мимо моих окон промелькнула темь, скользнувшая к окнам Бечуни. Я вся обратилась в слух. Еще минута, и в ночной тиши я различила прерывистый шепот.

Я лежала, усилием воли заставляя себя не встать, не выйти на балкон, не подкрасться к окнам Бечуни… В четыре часа утра я открыла глаза, переступив через подоконник, вышла на балкон и замерла под окном Бечуни. Там было темно. Прислушалась – шептались по-мегрельски. От стыда я покрылась потом. Я уличила себя в двойном преступлении: я скрывала от всех знание мегрельского, а любовники шептались бог знает о чем, и я была шпионкой без совести и чести. Ноги тащили меня обратно, но неведомая сила меня удержала. Я прильнула к стене, впитывала звуки чужой любви, которых мой слух не знал, и мне казалось, они – мои. Потом все стихло, и мне показалось, что я в пустыне и погибаю от жажды, мне дали воды… первый глоток – и кружку вышибают из рук. Я едва не закричала. Ноги подкашивались. Меня охватила злоба, я не помнила себя – в жизни со мной такого не бывало. В моем воображении сложилась картина… я видела как наяву… я отхожу от окна, перелезаю через перила балкона, бегу к старосте, бужу его… говорю, что Туташхиа здесь… у своей любовницы… полиция, дом окружен…

Из окна опять потекли звуки: «Когда тебя нет, бога молю, чтоб пришел. А придешь – и бога нет, и не нужен никто… Побудем вместе – и вот он, бог… мне так страшно, так страшно, Датуна, Датуниа мой…»

Я не лгу, меня и правда тянуло бежать к старосте. Совесть не пустила… Как раз это и велено было мне делать. Оттого и не побежала…

Разговор за окном бежал уже в другую сторону. В голове у меня все смешалось, я слушала и не слышала. О чем они говорили – дошло до меня много позже, когда бог весть в который раз перебирала в памяти события той ночи.

– Не то говоришь, Бечуни.

– Не хочешь, чтоб он любил тебя?

– Хочу. Какой отец не хочет, чтоб сын любил его?.. Но для него лучше – не знать и не любить.

– Правду скрывать?

– Такая правда ему ни к чему. Узнает, что незаконнорожденный, – озлобится.

– Незаконнорожденный?.. У Гудуны другого отца нет. Ты его отец!

– Закон это закон, Бечуниа. Станет большим, узнает, что родился от невенчанных, и затаит злобу, хитрым сделается, коварным.

– Мудришь ты что-то…

– Ты подумай, Бечуни! Полюбит он меня, а меня убьют или в Сибирь загонят… Что с ним будет? Изведется, зло начнет копить, а злой человек убог. Он хуже мертвеца. Мертвецу дела до живых нет.

– Ребенку нужен отец. Надо же ему любить кого-то?

– Надо. Ты и научи его. Пусть горы любит, землю свою, людей, мать… могилу отца… Чтобы добро любил! Я много об этом думал, Бечуни. Чье имя носит, чьим сыном народ его считает, пусть в том и видит отца. Так будет лучше… Не плачь, глупенькая моя… Не изводись… И не говори никому, а то начальство прознает… Не скажешь, Бечуниа?.. Не скажешь? Обещай…

Она всхлипнула.

– Как скажешь, так и сделаю. Пусть все остается, как было.

– Бечуниа, поклянись!

– Клянусь жизнью моего Гудуны! Клянусь жизнью моего Даты!

И опять поцелуи… и любовь. Больше выдержать я не могла и бросилась к себе в комнату.

Когда я пришла в себя, меня стал одолевать вопрос: что привело меня к окну – любопытство или что-то еще?

На другой день пришла хозяйка, посидела, помолчала и спросила, слышно ли было, как приходил ночью Дата.

– Слышно.

– Почему не зашла?

– Неудобно, Бечуни! – Я чуть было не призналась ей во всем, но удержалась. – Неловко… я постеснялась.

Если между нами и была искренность, то сейчас она и вовсе исчезла. А что было делать? Ответь я иначе – вышло б еще хуже.

– Ночь… Темно. Как я могла его разглядеть?

Но с другой стороны, где еще я могла его увидеть? Да я вообще его не увидела б больше… никогда! Сердце у меня оборвалось.

Бечуни смотрела на меня в упор, и я почувствовала, как билась ее мысль: «Скрываешь от меня? Но почему?»

Меня знобило, и я накинула шаль, но все равно не могла согреться. Закрыла окно – озноб не проходил.

– Пойду, госпожа Тико, – поднялась вдова. – Уже поздно.

С этого дня моя хозяйка все реже навещала меня. Из ревности.

…Уже кончалась зима. В тех местах снег почти не выпадает, но и дождей в ту зиму было мало. Ветер с моря приносил сырость, и она пронизывала до костей. У меня все время горел камин.

Однажды ночью я услышала осторожные шаги Даты Туташхиа. Он прошел садом и бросил камушек в окно Бечуни. Тихо скрипнула дверь, и все смолкло.

В соседней комнате у меня горела приспущенная лампа, сквозь занавесь, которая разделяла комнаты, проникал тусклый свет и рассеивался в спальне.

Вскоре возле дома послышался шум. Я выглянула в окно. По двору и за забором метались тени. На половине Бечуни снова скрипнула дверь, и в коридоре я услышала шаги. Не оставалось сомнения: дом окружен, и Туташхиа ищет место, где укрыться. Либо незаметную лазейку, чтобы уйти..

Ужас охватил меня, и я ничком бросилась на кровать.

– Туташхиа! – послышалось со двора. – Мы знаем – ты здесь. Если не хочешь, чтоб тебя повесили, выходи!

В соседней комнате с грохотом упал стул, прислоненный к двери, ведущей в коридор. Задвижки у этой двери не было, и я на всякий случай приставляла к ней стул – если кто-нибудь войдет без спроса, меня разбудит шум сдвинутого или упавшего стула. Я вскочила, подкралась к занавеси и заглянула в соседнюю комнату. В тусклом свете лампы я увидела мужчину в черкеске и сванской шапке. Мне не приходилось видеть разом столько оружия на одном человеке.

Он огляделся, снова приставил стул к двери и направился к моей спальне. У него были чуть кривые, но мощные ноги, и ступал он легко, словно не касаясь пола. Раздвинув занавесь, он уверенно вошел в комнату. Мы оказались лицом к лицу, и он остановился. Передо мной был Дата Туташхиа. Конечно, я понимала это.

Сквозь чесучовую занавесь проникал желтоватый свет и нимбом мерцал вокруг фигуры Туташхиа. Он возвышался надо мной. Его дыхание я ощущала на своей груди. Когда оцепенение прошло, первой мыслью было, что я стою перед мужчиной, а на мне лишь ночная сорочка с глубоким вырезом. Не абраг, попавший в засаду, – я чувствовала – смотрит на меня, а мужчина! Я прикрыла рукой вырез… Мужчин этот жест волнует не меньше, чем обнаженная грудь, уверяла меня одна дама спустя много лет.

– Бечуниа, потаскуха, гони из дома своего бугая! – закричали снизу.

Дата Туташхиа вздрогнул едва заметно и снова замер. Слышно было, как на балконе Бечуни распахнула окно.

– Эй ты, Никандро Килиа, курощуп! Не то что с Датой Туташхиа, лучше спать с дурачком Бардгунией, чем быть женой такого барана, как ты! Ты бы об этом подумал своей ослиной башкой. Ты спроси у своей гусыни, может, она тебе не соврет! Какой болван вдолбил тебе, ослу, что Дата у Бечуни?! Веди своих казаков да охранников, пусть ищут, раз время девать некуда! – И окно захлопнулось.

– Чего она там наплела? – спросил есаул у Никандро Килиа и прокричал что-то своим казакам.

Засуетились казаки, вокруг дома вспыхнули костры, слабо осветив комнаты. Дата Туташхиа стоял, скрестив на груди руки и переводя взгляд с меня на окно.

В мозгу что-то жужжало, часто-часто билось сердце, меня колотила дрожь.

– Кто ты и чего хочешь? – выдавила я из себя.

Ни слова в ответ. Чуть переждав, абраг двинулся к окну. Когда он пересек полоску света, падающего от костра из окна, я увидела его совсем отчетливо. Казалось, шла скала. На меня навалился страх. Пригнувшись и дрожа всем телом, я шла за ним.

Он остановился возле моей постели и посмотрел во двор. Я стала рядом и взглянула ему в лицо. Он дышал спокойно и глубоко. Плечи его были широки и руки крупны. Его тело излучало удивительное магнетическое тепло. Мне показалось, что я стала крохотной, как косточка, и могу вся уместиться на его груди. Меня потянуло прижаться к нему и обнять, но это длилось лишь секунду.

– Госпожа, я не смотрю на вас… – сказал абраг тихо. – Вы замерзнете, накиньте что-нибудь.

Господи! Да он и не смотрит на меня!

Не помню, легла я сама или упала на кровать, вся в слезах. Нет, я не плакала, мне и не хотелось плакать. Слезы текли сами собой. Абраг оторвался от окна и перевел взгляд на меня. Мне показалось, что-то очень удивило его, и он засмеялся, совсем тихо. Хотел заговорить, но с того конца балкона послышались шаги. Туташхиа мгновенно опустился на корточки, взвел курок маузера и уже не отрывал глаз от окна. Комната озарилась светом, в стекла окон будто брызнули гранатовым соком – показалась папаха казака, державшего факел, и тут же исчезла. И – ни шороха больше.

– Однажды я видел вас на дороге в Зугдиди, – прошептал мне в лицо стоявший на коленях абраг. – Вы необыкновенно красивы, сударыня!

– Лжешь! – вырвалось у меня.

Абраг улыбнулся.

– Лгут от страха, сударыня. Я никогда не лгу. – Он опять посмотрел на меня и сказал: – Не плачьте, ничего страшного не происходит.

Если это было не страшно, то…

Снова скрип на балконе, и снова свет.

– Чего они надумали? – спросила я и поразилась тому, что ничего уже не боюсь.

– Принесли факелы и, видно, начнут обыск.

– А дальше?

Туташхиа пожал плечами.

– Прав ты был, Толораиа. По-твоему выходит.

Я хотела спросить, о чем он, но в это время на балкон, в коридор, в комнаты полезли казаки. Захлопали двери. Толкнулись и в мою дверь. Грохнул опрокинутый стул.

Я вскочила с постели и босиком, в одной ночной сорочке выскочила в соседнюю комнату, подняла в лампе фитиль и бросилась к двери. В нее уже влезала рыжая рожа, настороженно вращая глазами.

– Ты чего, мерзавец, подглядываешь? – завопила я и захлопнула дверь.

Дверь ударила казака по физиономии. Он громко выругался и со всей силой налег на нее с той стороны. Одолеть меня ему ничего не стоило, и все же дверь приоткрылась лишь настолько, что не могла пролезть этакая здоровенная скотина, да еще обвешанная оружием.

– Вон отсюда, свинья, насильник… Помогите! – закричала я и впилась ему ногтями в лицо.

– Пусти, окаянная! – вопил казак, тщетно пытаясь от меня отбиться.

Он был так исцарапан, что на толстых щеках выступила кровь. Едва я захлопнула дверь перед его носом, как зарокотал чей-то бас:

– Что здесь происходит, Пептюк?

– Да баба, ваше благородие… впилась… исцарапала всего.

Я распахнула дверь и выглянула в озаренный факельным светом коридор.

– Я тебе, негодяй, не баба, а княжна! Я взываю к вашей чести, господин есаул!.. Ваш долг офицера и благородного человека защитить даму!

– Да, но… ваша светлость! Вы должны… я вынужден просить вас… позволить нам осмотреть ваши покои!..

– Господин есаул! Я в таком виде… Я подам жалобу его превосходительству губернатору… Ваша обязанность оказать мне покровительство… Я беззащитна!..

– В доме бандиты, ваша светлость! – попытался прервать меня есаул.

– Что? Как! А-а-а! – Не помню, чтобы в своей жизни я кричала так истошно. – Бандиты! – От моего крика дрожали стены. Я бросилась в комнаты, заметалась как одержимая, заглядывала под стол, под тахту, под кресла и стулья. Есаул и казаки, не переступая порога, смотрели на меня разинув рот.

Я влетела в спальню и с воплями пронеслась по ней. Дата Туташхиа, держа в каждой руке по взведенному маузеру, следил за мной глазами, и я чувствовала, что он хочет успокоить меня, но не знает как. Я покружила еще немного, выскочила обратно в первую комнату и прильнула к есаулу, осмелившемуся наконец переступить порог.

– Помогите! Они могут влезть через окна!

– Успокойтесь, ваша светлость! Там – охрана.

А я все кричала, хватала есаула за руки, пряталась за его спину… Едва одетая, я вся была доступна его взору, и от меня не ускользнуло, что мой спаситель исподволь разглядывает меня… Это подхлестнуло меня, и я закричала еще отчаянней и пронзительней. Видно, барабанные перепонки у него не выдержали, и он прогремел:

– Приведите себя в порядок, ваша светлость! Вам ничего не угрожает! – Он повернулся, чтобы уйти.

– Вы не смеете покидать благородную даму! Я не отпускаю вас… Ваш долг остаться со мной! – Я бросилась к нему.

– Но… ваша светлость! – Есаул был совершенно растерян. – Мне необходимо покинуть вас… Я оставлю вместо себя человека! Эй, Безроднов!

– Слушаю-с, ваше бла-ародие!

– Стань у дверей! Будешь охранять княжну! – Есаул с трудом расцепил мои руки, хлопнул дверью и заорал: – Обыскать чердак! К чертовой матери! – Последнее произнесено было тихо и относилось ко мне. Чердак был здесь ни при чем.

Я чуть не изнасиловала беднягу.

По дому снова загрохотали сапоги.

Оказалось, что успокоиться трудно. Я заталкивала в себя вопли, рвущиеся наружу. Мне хотелось метаться и бушевать.

Наконец я овладела собой, приставила стул к двери и отдернула штору в спальню.

Туташхиа смеялся.

Я подошла к постели, переполненная счастьем и гордостью. Спасенный мною Дата Туташхиа был тут, рядом, наедине со мной, так желавшей его.

– Я так испугалась, – прошептала я.

– Вы не были бы столь ловки, если б испугались. От страха люди теряются. Ни одному мужчине не под силу такое. Только женщина может, и лишь такая, как вы. – Он обнял меня и пристально посмотрел мне в лицо.

На моей спине покоились два маузера. Куда интимней…

– Что делается… – прошептала я.

Дата Туташхиа вздрогнул и склонился надо мной.

Я не помню, как с его поцелуем вошло в меня то чувство сопротивления, которое посещает каждую женщину в подобной ситуации, – она отрывается от своего соблазнителя и произносит: «Нет!» Но не слишком ли поздно?

Свое «Что это?» я произнесла так строго, будто сама не ответила на его поцелуй.

Туташхиа отстранился и сел.

– Это от радости, сударыня! – сказал он. – Случалось же вам радоваться при виде чего-то светлого, грациозного, совершенного?

– И это все? – вырвалось у меня.

– Нет, не все. И благодарность моя была в этом.

Я бросилась на постель и зарыдала. Абраг опустился на колени у моего изголовья и ласково погладил меня по голове. Душа моя смягчилась, и я все простила ему: и то, что он не думал смотреть на меня, когда я стояла перед ним полуодетая и жаждущая, и что поцеловал он меня лишь от радости, и что мне, охваченной страстью, сказал, что целует лишь из благодарности…

Он гладил меня по голове, как маленькую, а мне хотелось сказать одно: «Иди ко мне!» Произнеси я это, и моим первым мужчиной стал бы знаменитый абраг Дата Туташхиа!.. Эти слова надвигались, давили меня, как подступавший взрыв вулкана, но сила, бессмысленная и властная, удерживала их, смиряла и наконец посадила на цепь.

Я так и не произнесла эти слова.

Повторилось то, что случилось уже однажды и сколько еще раз потом – не счесть! Я и на Сахалин отправилась во многом для того, чтобы Мито Зурабишвили стал моим первым мужчиной, а уж станет он моим супругом или нет – как положит судьба! Я провела с ним две недели и каждый божий день говорила себе: «Этой ночью!» Лишь на вершок надо было продвинуться, чтобы исполнилось мое желание, а я вернулась в Грузию, так и не одолев этого вершка. Теперь мне трудно вспомнить, отчего это произошло. То внезапно и не к месту приходила мне в голову фраза из разговора моих попутчиков: «Со мной Шанаев спал». То еще набегало, и не вспомнишь что. А почему так сложилось с Датой Туташхиа, я и вовсе не могу понять. Но однажды – было мне уж лет тридцать пять – в решительную минуту я почувствовала, как в нутро мое вползает змея и останется теперь навсегда… Где-то в глубине моего сознания таится уверенность, что моя девственность – это иллюзия, мираж. Я же была сущей шлюхой. С кем только я не ложилась! – А мужчины… думают, бедняги, что блуд это от плоти. Слава богу, что осталась я старой девой. Иначе вариться мне на том свете в кипящей смоле.

…Вот опять понесло меня совсем не в ту сторону.

Я сказала, что не смогла произнести тех слов.

Я думала о своем, думал о своем и Дата Туташхиа. Я думала, что мужчин звать не надо,

сами придут, да еще как – не отобьешься… Но почему он не шел? Может быть, думал: свел же господь с таким странным созданием – смерть за спиной, как сума, висит, а ей любовь подавай!

– Господин Никандро! Господин Никандро! – послышалось со двора. – У меня к вам дело, срочное дело… неотложное, господин Никандро!.. Впусти! Впусти!

Мы вскочили сразу оба.

– Это Куруа! – сказал Дата Туташхиа. – Что бы это могло быть, интересно?

Два казака волокли к полицмейстеру и есаулу, которые засели за каменной оградой, этого Куруа. Заломив ему руки за спину, они тащили его, подбадривая пинками. Что за разговор там произошел, нам не было слышно, но казаки отодвинулись на несколько шагов, полицмейстер поднялся, приблизился и есаул. Перебивая друг друга, полицмейстер и есаул забросали Куруа вопросами, и есаул скомандовал:

– Снима-а-айсь!

Отдавая на ходу еще какие-то приказания, быстрым шагом он направился к нашему дому и взбежал на балкой, держа в руках факел. Дата Туташхиа отскочил от окна и вжался в стену. В стеклах вспыхнуло пламя от факела, и в окне возникла физиономия есаула.

– Ваша светлость, сведения оказались ложными. Не тревожьтесь. Мы уходим… – Есаул замолк на полуслове, глаза у него забегали, да так встревожено, что я подумала – не приведи бог, неужели учуял что-то, но… – Ваша светлость, осмелюсь просить… с вашего соизволения… позвольте посетить вас?

Я улыбнулась ему немного двусмысленно. Весь свой женский талант вложила я в эту улыбку, пытаясь быть обольстительной. Есаул убрался, успокоенный и обнадеженный.

– Выходи, Бечуни, гаси, дура, костры, а то гореть твоему дому – не миновать. А нам не до того! – крикнул Никандро Килиа.

Они вскочили в седла и скрылись из глаз.

– Что за муха их укусила? – спросила я, когда топот копыт совсем стих.

– Неужели капкан поставили?.. Я подумаю, что они ушли, а у них засада оставлена… Но что Куруа надо было?

– Этот Куруа что за хозяин-барин?

– Да никто. Обычный гуртовщик… Только за стадом не сам ходит – людей нанимает. Он из соседнего села, из Тквири.

– Что-то принес он на хвосте, ему поверили и сняли осаду!..

– Поверили… Чужому не поверят. Значит, свой. Прав Коша Толораиа, их человек Куруа!..

– А кто он такой, Коша Толораиа?

– Товарищ мой. Он уверяет, что Куруа подсыпал яду Таташу Чанбе и выдал его Килиа уже мертвым. Поверить в это было невозможно. Ведь Куруа доводится Чанбам племянником. А в прошлом году Куруа вместе со старшим сыном тонул в реке, так Таташ вытащил их обоих. Таташ Чанба ходил в абрагах. Редкостной силы был человек.

– Господи! Что творится на свете!

– Когда Таташ ушел в абраги, он отдал Куруа свой гурт в четыреста голов, договорились, Куруа присмотрит за ним. Если Коша Толораиа прав, значит бедняга Куруа польстился на чужое добро…

– Бедняга?

– Раз человек жаден, значит, он несчастен, госпожа Тинатин!

– Этот несчастный своего кровного родственника и спасителя на тот свет отправил, и, если чутье меня не обманывает, вся эта осада и свистопляска его рук дело.

– Что его рук, ваша правда, но почему он прибежал и смог заставить их снять засаду?..

Во двор вышла моя хозяйка и, набрав воды из колодца, принялась тушить костры. Я ненавидела ее, в душе моей пели фанфары победы.

Но отчего было мне чувствовать себя победительницей?

Я прильнула к Дате Туташхиа, и целовала его, и ласкала… Эту теплую нежную сладость я и сейчас не могу забыть. С тех пор прошло сорок восемь лет – уже не стыдно вспоминать об этом. Я не хочу уносить в могилу самое сладостное переживание своей жизни, а все, о чем я вам сейчас поведала, разве можно было кому-нибудь рассказать!..

Дата Туташхиа взял меня за плечи и повернул лицом к окну. Вдова стояла под окном,

глядя прямо на нас. В темноте было видно, каким огнем полыхали ее глаза. Если б не Дата, я бы упала – ноги вдруг отказали мне. Я повернулась спиной к окну и опять прильнула к нему – страшно было смотреть в эти фосфоресцирующие глаза…

– Ушла! – промолвил Дата немного погодя.

Такой плотский восторг больше никогда не обуревал меня Только Дата заставил меня пережить это. Я долго не могла оторваться от его груди, хотя знала – он не со мной. Наконец я овладела собою и опустилась на постель. Обиды на него у меня не было.

– Надо наказать Куруа, и пусть народ знает, за что! – прервал абраг наше бесконечное молчание. Он пошел к двери и остановился на пороге.

– Я должен просить у вас прощения, сударыня, за то, что не поступил так, как подобает вашему и моему достоинству. Сложный оказался клубок, запутанный… Ваше присутствие в этом доме и отпор, какой вы оказали казакам, и вовсе вскружили мне голову… Мне бы не хотелось, чтобы в вашем сердце осталась обида на меня, но все же вы подосланы. Кто скажет, почему я уверен в этом?

– Все было хорошо, и это тоже! Прощайте.

– Да благословит вас бог!

Много позже, в который раз перебирая события той ночи, я поняла, что Дата Туташхиа намеренно выдавал себя за простолюдина. Зачем-то ему это было нужно.

Прошло минут десять, и я услышала тихий свист, а потом удаляющийся стук копыт – далеко на отмели. Тогда я впервые подумала, что грузины потому так страстно любят коней, что через седло на скаку легко перебросить женщину.

В ту ночь дотла сгорели дом и усадьба Куруа. Среди народа поползли слухи. Говорили, будто Дата Туташхиа послал Куруа к Бечуни сказать, чтоб она ждала его в назначенное время – он придет забрать то, о чем между ними было договорено. Когда Коша Толораиа узнал об этом, он очень разозлился на Дату за то, что Дата доверился предателю – ведь Куруа даже родственника не пощадил. Дата Коше не поверил. И пошел к Бечуни. Тогда Коша Толораиа вместе с другим абрагом, Хухиа, залегли невдалеке. Увидев казаков, окруживших дом Бечуни, они бросились в Тквири, ворвались в дом Куруа, и связали его сыновей, и Хухиа угнал их неизвестно куда. А Коша Толораиа сказал Куруа: если он хочет увидеть своих сыновей живыми, пусть бежит к Никандро Килиа и скажет ему, что Дата Туташхиа не у Бечуни вовсе, а спит в доме Чилу Велбана.

Куруа на все был согласен. Что произошло после этого, я вам уже рассказала. Килиа бросился к Чилу Велбана. Когда Хухиа увидел, что казаки ушли от Бечуни, он отпустил сыновей Куруа, помчался обратно в Тквири и там подпалил дом и усадьбу предателя. Дождавшись, чтобы пламя разгорелось надежно, абраги поспешили к Бечуни. Это их свист я слышала.

Говорили еще, будто весь этот номер придумал сам Дата Туташхиа, но я не верю. Туташхиа явно не знал, почему вдруг прибежал Куруа.

На следующий день я подыскала себе другую квартиру.

Когда аробщик выносил мои вещи, Гудуна, сын Даты Туташхиа, стоял невдалеке и пытался понять, отчего это я покидаю их дом.

Граф Сегеди

Вернувшись из Дагестана, Зарандиа явился ко мне, не дожидаясь моего приглашения. У меня сидели несколько чиновников, и, увидев, что ждать бессмысленно, он оставил мой кабинет, сказав, что все время будет у себя. Он излучал довольство и радость, каких я никогда раньше в нем не замечал. Что ж, к тому были основания: он привез Кара-Исмаила и четырех мулл, то есть пять панисламистских агентов, осуществлявших на Кавказе турецкое влияние. Мне случалось видеть Зарандиа после побед несравненно более значительных, но так счастлив он не был никогда. Он пригнал их гуртом, как баранов, и всех пятерых загнали в одну камеру. Это означало, что разъединить их, как предполагалось вначале, не удалось либо же в этом разъединении больше не было надобности. Вот все, что я узнал о дагестанском деле в эти первые минуты, и потому волновался беспредельно. Я уже с трудом вслушивался в разговор,

который вели мои подчиненные, ибо мне не терпелось узнать, что же все-таки привело Зарандиа в столь прекрасное расположение духа. Наконец я был свободен и тут же вызвал Мушни для доклада.

Я уже говорил, что шесть имен в списке подозреваемых Зарандиа пометил красным карандашом, сказав, что четверо из них – резиденты. На этой гипотезе стоял его план, а сама эта гипотеза была плод чистой интуиции. Если в основе плана не лежит реальный, не единожды подтвержденный фактами материал, значит, и сам план нельзя считать надежным. Таковы азы нашей профессии, ее строжайшие устои. План, рожденный исключительно интуицией, пусть даже гениальный, представляется весьма сомнительным. Неудивительно, что высшие круги нашего ведомства единодушно сочли этот план нереальным, и тем не менее Зарандиа получил санкцию на его исполнение по трем соображениям. Первое: поскольку в дело были пущены фальшивые червонцы, это давало возможность арестовать получателей турецких денег, инкриминировав им распространение фальшивой монеты. Тем самым в подпольную сеть турецких агентов вносилась растерянность и удавалось хотя бы частично их парализовать. Была к тому же небольшая надежда, что один из арестованных по делу фальшивомонетчиков мог случайно сознаться в связи с Турцией, и мы бы схватились хоть за один кончик панисламистской интриги. Второе: мы находились под давлением и даже гнетом высочайшего авторитета Мушни Зарандиа. Правда, сам он этот капитал своего влияния в оборот не пускал, но тем не менее капитал этот существовал самостоятельно, заставляя с собой считаться. Наконец, у нас просто не было другого плана, а ключ к этой задаче мы должны были непременно подобрать.

Словом, план предполагал разоблачение четырех из шести подозреваемых лиц и в согласии с этим и осуществлялся. К каждому из этих шести было приставлено по одному нашему агенту, и любой визит Кара-Исмаила к кому-нибудь из этой шестерки становился тут же нам известен. Едва Кара-Исмаил, покинув дом подозреваемого, удалялся на почтительное расстояние, в доме этом производился обыск, изымались фальшивые деньги и арестовывался хозяин. При этом все обставлялось так, что семья арестованного получала совершенно извращенное представление о том, где теперь находится ее глава. Так, семье из Ачкой-Мартана сказали, что арестованного везут на допрос в Грозный и он не позже чем послезавтра вернется домой. На самом деле его везли во Владикавказ и помещали в тамошнюю тюрьму. Об арестованном в Хунзахе сказали, что его везут в Петровск-Порт, а на самом деле его отправляли в Грозный, и так далее. За самим Кара-Исмаилом была установлена слежка особая, но и здесь план соблюдался скрупулезно. Кара-Исмаила остановили в получасе хода от Темирханшуры, тщательно обыскали, отобрали все, что у него нашли, и отправили в темирханшурскую тюрьму. Ему не удалось ничего ни выбросить, ни спрятать, и это сыграло решающую роль.

Итак, начальная часть замысла была выполнена, но Мушни Зарандиа раньше срока потянуло в Дагестан, потому что чутье подсказало ему – под угрозой провала сердцевина плана. Будет ли обнаружен какой-нибудь документ или предмет, свидетельствующий о том, что получатель денег знал, за что он их получил? Никто, разумеется, не надеялся, что к нам в руки попадет нечто вроде векселя или расписки. И действительно, ничего подобного к нам не попало, но Зарандиа был уверен, что в вещах, изъятых у Кара-Исмаила, непременно найдется след подобного свидетельства, ибо турки – должен напомнить – всегда требовали подтверждения, что деньги получены.

Приехав в Темирханшуру, Зарандиа выслушал штабс-капитана Ленева, командовавшего этой операцией, и попросил показать ему вещи, конфискованные у Кара-Исмаила.

– Вес осмотрено и изучено, – отрапортовал Ленев и послал унтер-офицера за мешком с пожитками Кара-Исмаила.

– Из какой задачи вы исходили, когда обследовали веши, с какой точки зрения изучали? – спросил Зарандиа.

– Как было велено, так и делал.

– Можно точнее?

– Я искал какого-либо подтверждения о получении денег.

– Что же именно вы надеялись обнаружить?

– Записку или просто росчерк пера, может быть, особый знак, рисунок – что-то, с чем турки могли сверить свой образец. Ничего похожего я не обнаружил. Думаю, там и нет ничего похожего, – Ленев ткнул пальцем в мешок, который только что втащил унтер.

Зарандиа не терпелось самому просмотреть все эти вещи, но из профессионального такта, не желая обнаружить недоверия к подчиненному, он поостерегся это делать.

– Опорожните мешок, – сказал он, и унтер-офицер вытряс на стол все, что было в мешке.

– Во что был одет арестованный? – спросил Зарандиа, увидев кое-что из облачения Кара-Исмаила.

– Чоха-архалук… обследовали до нитки.

Зарандиа задумался и попросил принести что-нибудь из белья и обуви.

Унтер-офицер отправился к каптенармусу.

– Деньги конфисковали?

– Да.

– Ассигнации?

– Есть и ассигнации.

– Сергей Иванович, сделаем вот что. Просмотрите, пожалуйста, и тщательно, каждую купюру. Может быть, обнаружим какие-нибудь пометки, надписи, знаки, а я сам обработаю Кара-Исмаила. Не может быть, чтобы не нашлось хоть какого-нибудь следа. Есть у вас свободная камера?

– Конечно, – ответил Ленев, уже доставая конфискованные ассигнации и лупу.

Принесли белье и совсем новые сапоги.

– Пусть разденется догола, – сказал Зарандиа вахмистру, – и наденет это белье и эти сапоги. Когда будет переодеваться, выйдите из камеры, – может быть, он захочет что-нибудь спрятать в щели на полу, в трещине на стене. Не будем лишать его этой возможности. Дайте ему на все десять минут, затем отведите в другую камеру, а его одежду доставьте мне.

Вахмистр и унтер-офицер отправились выполнять приказ, а Зарандиа принялся читать газету. Он дошел уже до происшествий и объявлений, когда принесли одежду Кара-Исмаила.

Прощупали все швы и ничего не обнаружили.

– Возьмите с собой его вещи и проводите меня в его камеру.

Камеру, из которой только что увели Кара-Исмаила, облазили, осмотрели, обнюхали до последней щелочки – и опять ничего. Выходило, что искать надо было на самом Кара-Исмаиле.

– Все правильно, – промолвил Зарандиа, когда камера была осмотрена. – И не должно здесь ничего быть. Бросьте-ка на нары все его доспехи, а Кара-Исмаила приведите сюда, в камеру, но совершенно голым. Унтер-офицер останется здесь, и, прежде чем арестованный начнет одеваться, пусть обыщет его голого. Вам известно, как обыскивают голого арестанта?

– Так точно, ваше высокоблагородие, как не знать?

Кара-Исмаилу велено было раздеться, и голого его погнали в прежнюю камеру. Было ему за шестьдесят пять, и он семенил по-стариковски. Одной рукой он поглаживал голову, иссеченную при отправлении «шахсей-вахсей», в другой держал медный кувшинчик для омовения.

– Пусть оденется при вас, – шепнул Зарандиа вахмистру. – И не спускайте с него глаз, пока я не приду.

Однако осмотр белья и сапог Кара-Исмаила, оставленных в камере, тоже ничего не дал. Зарандиа отправился в камеру, где сейчас находился Кара-Исмаил, который – уже одетый – сидел на нарах.

– Ведите его на допрос, – распорядился Зарандиа. Кара-Исмаил поднялся с нар и направился к выходу.

– А кувшин с собой не возьмете? – спросил Зарандиа.

– Пусть остается, он мне там ни к чему, – ответил Кара-Исмаил, обернувшись.

– Кто знает, может быть, и пригодится – возьмите!

На секунду Кара-Исмаил будто осекся, но, чуть шевельнув плечом – пусть по-вашему, – вернулся к нарам и взял кувшин.

Мушни Зарандиа ступал следом за ним, не отрывая глаз от кувшина, – в ту минуту он уже не сомневался, что «расписка» адресата где-то на поверхности или внутри кувшина.

Вошли в кабинет Ленева. Зарандиа пригласил Кара-Исмаила сесть, взял у него кувшин, вылил воду, осмотрел кувшин со всех сторон, заглянул внутрь и вернул Кара-Исмаилу:

– Откройте!

Кара-Исмаил взглянул на Зарандиа, явно удивленный.

– Снимите дно!..

Кара-Исмаил покрылся мертвенной бледностью.

– Снимите, – спокойно повторил Зарандиа.

– Я не смогу… Это не мой кувшин…

Кувшин оказался с двойным дном, фальшивое дно соединялось с корпусом резьбой, снаружи опоясанной инкрустированным кольцом. Между фальшивым и настоящим дном лежал листок бумаги с четырьмя четкими отпечатками. Это были сделанные на саже, перемешанной с топленым жиром, отпечатки большого пальца правой ноги арестованных резидентов. Возглас досады вырвался у Ленева, и он с такой силой хлопнул себя по лбу, что унтер-офицер, дежуривший в коридоре, приоткрыл дверь и встревоженно заглянул в комнату. Но в конце концов Ленев получил за это дело майора и орден.

Я уже говорил в начале этих записок, что доля везения не исключена ни в одном деле. Можно ли приписать случайности, что, изучив дагестанские материалы, Зарандиа поставил возле шести фамилий красные точки и сказал, что четверо из этой шестерки – турецкие резиденты, и при этом оказался прав? И то, что я вернулся в Тифлис на три дня раньше положенного срока и сам взялся за дело Хаджи-Сеида, может быть, тоже совпадение случайностей? И можно ли приписать случаю, что, не явись Зарандиа сам на место преступления, так и не было бы установлено, что арестованные и в самом деле работали на Турцию? Оставим, однако, Зарандиа. За долгие годы моей службы бывало не раз, что свои беседы и с высшими чинами, и с подчиненными я обдумывал неделями, а то и месяцами. Но в нужный час, когда надо было действовать, я произносил совсем другое и поступал иначе, чем задумывал, а складывалось между тем все так, что о лучшем и мечтать было нельзя. Что это – тоже случайность?.. Отнюдь… Интуиция заставляла меня говорить совсем иное, чем диктовал разум. Чутье погнало Зарандиа в Дагестан, а меня вернуло в Тифлис тремя днями раньше срока. И из сотен людей шестеро были угаданы чутьем, и что из этих шестерых именно четверо окажутся турецкими резидентами, тоже было нашептано чутьем. Я понимаю, что рассуждения мои далеки от науки. Но ведь и науку бывает жаль: все, что она не может постичь разумом, она слишком легкомысленно и поспешно относит к мистике, к сфере инфернального и выбрасывает на свалку. И с интуицией она расправилась так же… Но проходит время, и выброшенное на свалку благополучно возвращается и пускается в оборот, и, подобно молле Насреддину, уже отрицают, будто когда-то что-то отрицали. Я не считаю, что разум слабее интуиции, но полагаю, что любой поступок или идея рождаются из интуиции. Если существуют счастливая случайность и везучий человек, это означает лишь, что этого счастливчика господь одарил интуицией. Именно это и подразумевалось мной, когда в начале своих записок я говорил, имея в виду Зарандиа, что доля случайности ни в одном деле не исключена.

Может быть, восхищение личностью Зарандиа проступает в моих записках слишком часто и явственно, и, наверное, поэтому, желая казаться беспристрастным, я злоупотребляю медитациями и доказательствами, дабы оправдать свою слабость к нему и свою ребяческую склонность к обостренному и гипертрофированному восприятию жизни, но он и в самом деле способен вызвать восторженное удивление, и скрывать это было бы еще большим филистерством, чем неумеренно восхищаться, как делаю это я.

– Для чего вам понадобился фокус с ковром Великих Моголов? – спросил я Зарандиа, когда после многочасового совещания мы остались наконец одни.

– Если бы сорвалась дагестанская операция, пришлось бы начать все сначала, но все равно первой ступенью был бы Хаджи-Сеид, – сказал Зарандиа, и я почувствовал, что он смутился и медлит с ответом. – Мне нужно было превосходство над ним, и поэтому фокус с ковром оправдал бы себя, даже если б нам удалась лишь часть операции, то есть дело о распространении фальшивой монеты. Ведь нашей последней целью было, даже при отсутствии других доказательств, расколоть, а то и перевербовать Хаджи-Сеида. Теперь же дело, кажется, повернулось так, что, даже если бы все, начиная от Великих Моголов и кончая Спарапетом,

поднялись против нас, туркам все равно деваться было б некуда. Однако чует мое сердце: ковер свое дело сделает. Поживем – увидим.

– Что ж, Мушни, посмотрим, – вздохнул я и сказал: – Полковник Сахнов сегодня выезжает из Петербурга.

Зарандиа взглянул на меня с живейшим чувством, но мне почему-то не захотелось продолжать этот разговор, и я вернулся к туркам.

– Предварительное следствие поведете вы или поручите Шитовцеву?

Что-то взволновало его, и он ответил не сразу:

– Одну минуту, ваше сиятельство, одну минуту!

Он встал, подошел к окну, долго глядел на улицу и наконец, обернувшись ко мне, сказал:

– Мне будет не до турок. Если вы позволите, я при вас разыграю одну комедию. После этого Шитовцеву останутся пустяки, пусть приступает и ведет.

– А он один справится? – спросил я, и это само собой означало разрешение на комедию.

– Один – нет. Ему понадобится хотя бы пара помощников. Работы – пропасть… Дело, конечно, останется под нашим надзором. Что до комедии, то не будем ее откладывать. Нынешней ночью у вас найдется время?

– Если нужно…

– Тогда я приступаю к приготовлениям, ждите меня в одиннадцать.

Когда он ушел, мысли о ковре Великих Моголов снова обступили меня. Беседа с Зарандиа не только не пролила свет на это дело, но углубила мою растерянность, ибо ребус усложнился. Я подумал было, что следует его вызвать, хочет он того или нет, и заставить выложить все, что он задумал, но я понял, что не сделаю этого. Не сделаю потому, что по безотчетным мотивам я избегал говорить о Сахнове. Почему? Может быть, из страха? Я принялся снова копаться в своих ощущениях и предавался этому занятию, пока сон не сморил меня.

Комедия, разыгранная Зарандиа, началась с того, что поздно вечером он собрал в своем кабинете Хаджи-Сеида, Кара-Исмаила, четырех мулл и Искандера-эфенди. Здесь же был наш переводчик, два следователя, Шитовцев, сам Зарандиа и два моих заместителя. Было очень тесно, и я подумал, что если Зарандиа и впредь будет ставить свои комедии, то ему понадобится другой кабинет.

Я вошел и опустился в кресло. Зарандиа дал мне время осмотреться и начал:

– У всех вас душа свиньи и ум осла… Переведите!

Переводчик перевел, и оживление пробежало по лицам арестованных.

– Ваши предки поклялись в верности русскому царю. Вы изменили этой клятве, изменили государю императору, изменили своему народу и продались туркам за медные червонцы.

Пока переводчик переводил, одни из следователей взял червонец, провел по нему напильником и капнул кислотой. Металл изменил цвет, следователь обошел всех и показал монету каждому…

Один мулла не удержался и помянул недобрым словом Кара-Исмаила.

– Турки трусливы, коварны и жадны. Настоящие дела им давно уже не по зубам, а в тех мелких делишках, на кои у них еще хватает силенок, они кичливы и лживы. Уже лет полтораста они не побеждают на поле брани и никого не превзошли умом. Господь пожелал наделить русский народ верой в свою мощь и непобедимость и лишь для этого дал туркам место под солнцем. Другой пользы от них нет и не будет. Вы на брюхе ползаете перед турками, сеете семена раздора в своем народе, подстрекаете его против правительства и тащите в пропасть.

Я сидел потрясенный. Я думать не думал, что Зарандиа способен изъясняться в подобной манере.

– В сердце своем вы вознамерились обратить гнев божий на народы Кавказа и их землю, и вы дождетесь своего: придут карательные отряды, возьмут грузин и армян проводниками, спалят ваши города и аулы. Кто способен держать в руке хотя бы нож, тех сошлют в Сибирь, остальных втопчут в землю, а кто сумеет уйти от справедливой кары и рассеется по лесам и горам, те передохнут от голода, холода и болезней. На ваших землях казаки поставят свои куреня, и о том, что ваши народы жили когда-то на земле, люди будут узнавать только из книг.

Переводчик кончил переводить, и тогда Зарандиа поднялся, держа в руках какую-то бумагу.

– Напомню, в чем вы уже изобличены!.. – Он протянул им список, в котором были перечислены суммы, внесенные Чекурсо-беем на имя Хаджи-Сеида в банк Стиннеса, и пачку квитанций, пересланных банком Хаджи-Сеиду. Напомнил им, что все они – распространители фальшивых денег и что протоколы обысков, обнаруживших фальшивые червонцы, вот они – здесь. Вспомнил и о роли Кара-Исмаила во всех этих делах, и о кувшине с двойным дном, и, конечно, о четырех отпечатках.

– Я уже сказал вам, что у вас душа свиньи, а ум осла, но и этого хватит, чтобы понять: закон нашей империи кроток и милосерден к тем, кто избирает путь чистосердечного признания и покаяния. Он строг и беспощаден к тем, кто по глупости и из тупой хитрости идет на ложь и коварство. Ступайте и говорите только правду и не пытайтесь вилять и скрывать, а то у меня найдется время снова повидаться с вами, и тогда пеняйте на себя!.. Уведите арестованных! – приказал он надзирателям.

Их увели. Ушли оба следователя и Шитовцев, а Зарандиа накинулся на Искандера-эфенди. Не знаю, как передать тот накал ярости и гнева, которые он обрушил на своего собственного агента. Во всяком случае, то, что досталось на долю мулл и Кара-Исмаила, было материнской лаской в сравнении с тем, что он бросал Искандеру-эфенди. Я слушал, и уже мне самому начинало казаться, что за все услуги, оказанные Хаджи-Сеидом, Кара-Исмаилом и четырьмя муллами турецкой разведки, должен отвечать Искандер-эфенди Юнус-оглы, и лишь он один. Зарандиа бушевал минут двадцать и вдруг, круто повернувшись ко мне, сказал:

– Ваше сиятельство, умоляю, дайте мне право арестовать этого негодяя на основе тех данных, которыми мы уже располагаем.

Я подумал и сказал, что не могу позволить нарушать закон и что для ареста необходимы дополнительные доказательства. Тогда Зарандиа, заставив Искандера-эфенди дать подписку о невыезде, собственноручно вышвырнул его из кабинета. Я понимал, что настоящий разговор с Хаджи-Сеидом начнется только сейчас, и один бог знает, сколько бы он продлился, – поэтому я предпочел покинуть кабинет Зарандиа вместе со своим помощником.

Оказывается, Зарандиа продержал Хаджи-Сеида до утра, и на другой день сам он появился лишь в четыре часа пополудни. В ожидании его секретарь сообщил мне, что уже третий раз приходят от Хаджи-Сеида и говорят, что есть важное известие для господина подполковника, которое следует передать ему безотлагательно.

– Безотлагательно?.. Немедленно уведомьте Зарандиа!

Новые отношения, установившиеся между Хаджи-Сеидом и начальником политической разведки, не составляли для меня тайны, и поэтому меня не удивило известие о том, что Искандер-эфенди Юнус-оглы, вернувшись поздно ночью, быстро собрался и исчез. Именно об этом и торопился Хаджи-Сеид уведомить Зарандиа.

Когда противник заперт в крепости, надежно осажден и уже съел всех лошадей и крыс, а водопровод к тому же перерезан, тогда единственное, о чем он мечтает и молится, – это о сохранении жизни. Теперь представим себе, что осаждающий не только предлагает осажденному мир, но и просит стать союзником в походе на третье государство, обещая и гарантируя большие трофеи… Именно в таком положении оказался Хаджи-Сеид. Для Зарандиа не составило труда убедить его, что обвинение в шпионаже обещает как счастливый выход и ближайшее местопребывание кандалы и сахалинскую каторгу. Выход: полная капитуляция и сотрудничество. Они торговались изнурительно долго, и наконец Хаджи-Сеид принял все условия Зарандиа. А что еще оставалось ему? Он подписал все, что дал ему Зарандиа, и отправился домой, глубоко, неколебимо и навечно убежденный, что Зарандиа это тебе не «французик», с которым вечером можно заключить договор на сделку, а наутро отправить по марсельскому адресу вместе с его векселем уведомление о расторжении сделки без возвращения неустойки…

Шалва Зарандия

Вы, наверное, удивились, сударь, отчего, когда вы меня спросили, я не сдержался и рассмеялся? А смешно мне стало потому, что я сам уже много лет об этом думаю. По правде говоря, я и сейчас не знаю, верный ли ответ я нашел. Так уж получилось, что, когда граф

Сегеди вышел в отставку, отношения между нами установились самые добрые. Очень любил покойник сулгуни и аджику. Я в Тифлис не приеду, чтобы не зайти к нему и не принести деревенских гостинцев. До революции он жил на улице Петра Великого. Это – зимой, а летом уезжал в Армази, там у него была дача. Он был почтенный и весьма скромный человек. Любил спокойную, тихую беседу, и один бог знает, о чем только мы не говорили. Однажды он мне сказал, что такого простого человека, с таким ясным умом, как у Мушни, он больше не встречал. Так оно и было. Мушни мог так во все вникнуть, такая у него была логика, что самое сложное дело оказывалось вдруг понятным даже для индюка. А Дата был его противоположностью. Не поймешь его, не раскусишь, а уж искать логику в его поведении было и вовсе пустое дело. Можете себе представить, что за всю жизнь им ни разу не удалось его поймать, а уж сколько за ним гонялись… Но настал день, и он сам пришел в тюрьму и сел. Что произошло? Какая такая блажь взбрела ему в голову?

Вы уже об этом знаете, и я только уточню кое-какие мелочи. Мало того, что я воспитывался в их семье. Я приходился старикам Зарандиа сыном, а стало быть, братом Мушни и Даты, об этом знали все, и отношения между нами были родственные. Но по рождению я не Зарандиа, а Гогниашвили. При рождении назвали меня Шавлегом, а после имя мое переделали в Шалву. Как это случилось, и сам не знаю. Мой отец Пате был знаменитым в Картли абрагом. Только называют их там не абрагами, а по-другому. Мне было пять лет, когда отца убили. Через два месяца умерла мать. Тех, что пришел издалека и поселился на земле местного помещика, в Картли называют хизанами. Мы и считались хизанами, родственников там у нас совсем не было. Дата Туташхиа был побратимом моего отца, и когда отца убили, он пришел за мной из Самурзакано и отдал на воспитание своим приемным родителям Тамар и Магали Зарандиа. Это и сейчас встречаешь, а раньше было самым обычным делом: состоятельные люди брали на воспитание не только сирот или детей безнадежно больных родителей, но и детей своих бедных родственников. Причем заведено было приемных детей от родных ни в чем не отличать. Увидят соседи, что ты со своим лучше, чем с приемышем, осудят, пойдут толки, что взял ты себе в дом слугу или батрака, а не сына привел. Сколько заботы и тепла видел я в семье Зарандиа, столько другие в родной семье не увидят. Когда Дата привез меня к старикам, Мушни уже служил в Тифлисе и к родителям наведывался редко. Старший брат Мушни, Константин, жил отдельно, у него была своя семья, свой дом и усадьба. Эле то у себя в деревне поживет, в отцовском доме, то у нас, а иногда ездила гостить к Мушни сначала в Кутаиси, а потом в Тифлис. Дата приходил проведывать своих приемных родителей раз или два в году, и то по ночам. Но об этом я узнал, когда уже вырос. В то время я оказался единственным ребенком в семье. Старики смотрели за мной и баловали, но для Эле я был родным сыном – чем только она не угождала мне, когда бывала у нас! Не обходил меня своей заботой и Мушни, а Дата – какой с него, бедолаги, спрос? – но и он, бывало, хоть и придет тайком, а все равно не уйдет из дому, не оставив мне то игрушку, то денег… что бог пошлет. В прежние времена люди были куда добрее, а семья Зарандиа особенно… «Дом любви и добродетели» – так говорил Магали Зарандиа. Он считал, что таким домом должна быть каждая семья.

Магали Зарандиа был простым дьячком, но такого образованного человека поискать надо было. Я говорю не об университете или академии. Ума в его голове было столько, что он любую премудрость мог осилить. А не хватит ума, так он чутьем брал. Чутья мало, так ему книга поможет. Книг он перечитал видимо-невидимо. Появится новая книга в доме, а уж о старых не говорю, все прочитает. И детей приохотил к чтению. Меня, благослови его господи, он так выучил, что хоть в гимназию я попал, когда мне стукнуло уже десять, но и в подготовительных классах, и после учителя все удивлялись, откуда этот малыш столько знает! В гимназические годы у меня разве что птичьего молока не было. Гимназию кончил, поехал учительствовать в деревню. Так хотел Магали. Потом сменил меня другой учитель. В том году как раз и погиб наш Дата. Мушни был уже в Петербурге, он выписал меня в столицу и определил в университет. Я застал его в глубокой меланхолии, а позже и другие недуги стали его одолевать. Возили ему из Европы знаменитых докторов, но никто из них так ничем и не помог. На четвертом году своего учения на юридическом факультете я приехал на летние каникулы в Грузию. В том году умер мой брат Мушни Зарандиа. Он был уже в чине полковника и слыл человеком огромного, великого ума! Это произошло в 1913 году! Когда

Мушни не стало, я от горя совсем потерял голову и не нашел в себе сил вернуться в университет. Из пятерых детей у стариков осталось только двое – Константин и я. Через полтора года погиб на войне Константин. Надо было ходить за стариками, дом нуждался в присмотре. Я и остался. На военную службу меня не призывали – единственный кормилец… В девятьсот пятнадцатом стал я опять учительствовать, и вот мне уже скоро семьдесят, а этой профессии я не изменял. Сорок лет с детьми и детьми.

Я все это рассказал вам не для того, чтобы объяснить свое отношение к семье Зарандиа и уверить вас, что я и в самом деле их сын. Я хочу сказать, что знай кто-нибудь в этой семье наверняка, почему Дата добровольно сел в тюрьму, так и я бы непременно знал. Вы не поверите, но сам Мушни ничего точно не знал. Правда, в последние годы моего студенчества Мушни уже серьезно болел и предпочитал мирской суете уединение и тишину, но все равно мы с ним часто об этом говорили. В конце концов мы пришли к обоюдному согласию, что Дата сделал это ради Мушни, но все-таки одним этим дело не исчерпывалось, и я это понимал, и Мушни. С тех пор прошло много времени. Многое перебродило, многое выплыло на поверхность и потом осело в памяти. Я расскажу вам несколько историй. Может быть, они прольют хоть немного света на то, почему Дата Туташхиа по своей воле пошел в тюрьму.

Однажды ночью к нашему старшему брату Константину пришел хобец Дуча Абрамиа и сказал, что Дата Туташхиа тяжело ранен и лежит у верного человека в Лебарде. Когда Дуча уходил оттуда, Дата уже три дня как не приходил в сознание, и неизвестно было, жив он сейчас или нет. Дуча взял с Константина слово, что не скажет Дате, откуда узнал про его рану. Это случилось в ту пору, когда Дата ушел в абраги вторично, я был тогда уже большим мальчиком. Ночью ничего не сделаешь, а утром Константин послал своего сына Бочиа за дедом. Я пристал к Магали, и он взял меня с собой, но слушать, о чем говорят взрослые, мне не разрешили. Получилось, однако, так, что их разговор я все же услышал, и взрослые об этом узнали. Константин позвал нашего отца к себе, а не пришел к нему сам, потому что боялся за Тамар, – каково было б ей узнать, что Дата при смерти? Да и Эле гостила тогда у нас. Узнай женщины о том, что произошло с Датой, слез и причитаний не оберешься. Долго Магали с Константином судили-рядили и в конце концов решили идти вдвоем в Лебарде. А как со мной быть? Оставить дома? Мальчишка может проболтаться… Взять с собой? Так отъезд трех мужчин встревожит женщин еще больше. Решили забрать меня с собой, а жене Константина сказать, что муж ее отправился на дальние покосы посмотреть стога. С меня же взяли честное слово, что буду дома держаться так, что комар носу не подточит.

Вернулись мы домой, сели обедать, и тут Магали сказал: «Соберите нас в дорогу, завтра мы с Шавлегом отправляемся в Зугдиди». Хитрость удалась, женщины ничего не заподозрили. Рано утром мы встретились с Константином в условленном месте и отправились в путь. От нас до Лебарде полтора дня езды на лошадях. Шел уже третий день, как Дуча Абрамиа появился у Константина, когда мы переступили порог дома, где лежал Дата. «Горем ты нас встречаешь или радостью?» – спросил Магали хозяина. Андро Салакаиа рассмеялся и сказал, что несказанно рад нашему приходу, а то этой ночью Дата уже собрался уходить, на ногах же он едва держится, и надо уговорить его переждать еще дня три-четыре. От сердца у нас отлегло, мы дружно вздохнули, и Андро Салакаиа повел нас к Дате.

Брат сидел бледный как смерть и чистил оружие. Он разбирал его, протирал, отлаживал, а я глядел на него во все глаза и думал о том, сколько же крови он потерял. Дата был здоров как бык. Кто еще мог вынести все, что перепадало на его долю, – погони, предательства, страдания, кровь? Один господь ведает, какие испытания и муки должен принять человек его ума и сердца.

Увидев нас, Дата был поражен и обижен, но перед ним стоял отец, и перечить он не посмел. Только опустил голову в знак вины. Посыпались расспросы – что да как, его жалели, о нем горевали. Не буду вспоминать всего, что было говорено, расскажу лишь о самом важном.

Отец спросил у Даты, кто стрелял в него и как могло получиться, что в него попали.

– Попал тот, отец, у кого глаз верней и рука тверже, – ответил Дата.

– Я бы солгал, если бы сказал, что ты постарел, – вступил в разговор Константин. – Но для того дела, на которое ты идешь, ты уже не молод. В молодости ты умел выстрелить на секунду раньше противника и был скор, как борзая. В Грузии это знает каждый. Но это время прошло. Твои ноги не так резвы, как прежде, рука не так тверда и глаз не так зорок. В тебе уже нет того,

без чего абраг не абраг и без чего не одолеть ему своего преследователя. Сегодня ты унес ноги, но сколько пуль еще ждет тебя. И не миновать, какой-нибудь сукин сын отправит тебя на тот свет. Подумай об этом, Дата. Хорошо подумай, брат!

– Что же ты ему советуешь, интересно мне знать? – спросил Магали Константина. – Заново ему родиться прикажешь или живой воды напиться?

– Нам, отец, не до шуток, – вспыхнул Константин. – Не знаю, слышали вы про эту историю или нет. Случилась она лет пять тому назад. Дата гостил у Татархана Анчабадзе. Однажды вечером они с Татарханом сидели на балконе, на третьем этаже, и ужинали. Помните Хитаришвили? Сначала он разбойничал, а потом полиция сделала из него ищейку. Так вот он пронюхал, что Дата у Татархана, пробрался на третий этаж… на балкон, наставил на Дату два маузера и говорит: «Руки вверх и ни с места!» Дата как сидел возле перил, так с третьего этажа и сиганул – глазом не моргнул никто. У Татархана перед домом огромный орех – Дата и повис на его верхушке. Хитаришвили прицелился. Но пока он целился и нажимал курок, Дата ветку, за которую держался, отпустил, схватился за ту, что пониже, а с нею и сам опустился. Пуля просвистела там, где его уже не было. Хитаришвили взял чуть ниже, но успел уцепиться за ветку пониже и Дата. Три или четыре раза стрелял Хитаришвили, и всякий раз его пуля пронзала пустой воздух – Даты там уже не было. Наконец Дата достиг земли.

«Я не убью тебя, чтоб не оскорбить хозяина!» – крикнул Дата, и единственная его пуля сорвала папаху с головы Хитаришвили. Он перемахнул через забор и был таков. Еще пять лет назад Дата мог проделывать такие фокусы. Сегодня, пожалуй, уже и не сможет, а лет через пять и подавно. Старость стучится в дверь. Придет день, одолеет его Хитаришвили или какой другой шакал, либо найдется охотник, который по доброй воле пустит ему пулю в спину. Сейчас охотников снести ему голову раз в десять больше, чем раньше было у него друзей и приятелей. Народ, известное дело, ему сто раз добро сделай и один лишь раз зло, так он добро забудет, в грязь втопчет, а дурное будет держать в памяти – не выпустит. Абрагу нужно молодое здоровье и зрелый ум! Только это я и хотел сказать, отец. Ничего больше!

– В кого только ты уродился, понять не могу, – сказал Магали. – Что ты, Коста, лисой крадешься? Хочешь, чтоб Дата бросил оружие и взялся за мотыгу, к этому ведешь? Было дело, помирил его Мушни с властями… Что из этого вышло, сам знаешь не хуже меня…

– Жил бы спокойно, никто б его пальцем не тронул, – перебил отца Константин. – Его на каком условии замирили? Чтоб закона не нарушал и вел себя прилично. А он – что? То с Чантуриа путался, то еще бог знает с кем какие-то дела обделывал…

– Когда человек честный и справедливый попадает в беду и нужду, тогда закон перестает существовать, Коста! – сказал Дата.

– А какая такая нужда пришла к тебе?

– Ко мне – никакая. А к ним пришла, и я свой долг исполнил…

– А закон свое исполнил… И ты опять абраг!

Дата едва шевельнул плечами и, улыбнувшись, захлопнул затвор карабина и спустил курок.

– У каждого своя доля, Коста. Так уже заведено не нами, – сказал Магали. – Как кому на роду написано, так он и живет. Мы привыкли к своей доле, Дата – к своей, его уже не переделать.

– Нет уж отец, извини, – еще сильнее вспылил Константин. – Человеку не хелечо положено быть, чтобы только к себе тесать, а поперечной пилой, чтобы в обе стороны резать. Дата говорит: как мне нравится, так и буду жить. И рубить, и тесать в свою сторону буду. А в нашу сторону опилки и стружки будут лететь, да?.. Я не хочу его обидеть, но вот уже восемнадцать лет ходит он в абрагах, и все эти годы для Эле были одним мучением, она в старуху превратилась, а женщина ведь молодая. А вы с матерью? Глаза у вас от слез не просыхают. Кроме беды, что вы от него видите? Вспомните, сколько раз говорили нам: убит наш Дата, и сколько раз в наших семьях поселялось горе? А возьмите Мушни. Четырнадцать лет висит над ним… все его начальники в Тифлисе и Петербурге за пазухой камень держат… выручает Мушни своего брата – не будь Мушни, давно бы качаться Туташхиа на виселице. А так бы, кто знает, каким большим человеком стал бы Мушни, не мешай ему Дата. Шалва подрос, гимназию кончает, у него своя дорога. Сколько раз эту дорогу перережет судьба Даты?

Да не то что эти два десятка годов, что он в абрагах ходит, – с самого детства кто из нас не был ему и добрым братом, и сестрой, и отцом, и матерью? Кто из нас хоть раз отступил от своего долга? Хоть одно слово жалобы или упрека слышал кто? Или ссора какая-нибудь – этого и в помине не было, и в мыслях никто не держал. А сейчас пришла пора, Дата сам должен понять – вам на старости лет покой нужен, Эле – тоже, Шалве – строить свое будущее, у меня тоже семья, неужели я своей доли покоя не заслужил? И с Мушни посчитаться надо – он своей дорогой идет. Дата об этом тоже помнить должен.

Когда Константин заговорил о хелечо и поперечной пиле, Дата оставил свое оружие и слушал брата, не отрывая глаз от его лица. Просто удивительно, как умел он слушать… Мускул на лице не дрогнет, глаз не моргнет – час будет слушать, и, видно, не только слушает, каждое слово впитывает и в голове своей переваривает.

Долго стояла тишина, когда Константин кончил говорить.

– Такой разговор между мужчинами вашего возраста возможен лишь с одним-единственным условием: если один осуждает поступок другого, то он должен тут же сказать, как следовало в этом случае поступить, чтобы было честно и справедливо. – После этих слов Магали все опять замолчали.

– Я сказать этого не могу, – ответил отцу Константин. – На той неделе поеду в Тифлис и, если застану Мушни, поговорю с ним. Послушаю, что он скажет.

– Знал бы ты, брат, сколько я сам об этом думал и передумал, – заговорил Дата, – не могу я два дела сразу делать, не получается у меня. А когда не получается, тогда надо выбирать то дело, которое больше отвечает твоему достоинству. – Говорил Дата очень спокойно. – Как мама? – спросил он Магали. – Как ее сердце?..

Мы остались до утра. О судьбе Даты больше не говорили. Андро Салакаиа угостил нас на славу и отправил отдыхать. Утром мы тронулись в путь и благополучно вернулись домой. Так закончилась эта история.

Скажу вам, сударь, что Дата сам страдал оттого, что его непутевая жизнь приносит его близким столько бед и хлопот, но Константин вытащил из-под спуда на свет божий все, что, казалось, надежно и навечно укрыто. Я говорю – укрыто, потому что никто в нашей семье ни разу за все годы не пожаловался, не посетовал на разор и слезы, которые приносила в семью жизнь Даты. Напротив, каждый из нас близко к сердцу принимал напасти, валившиеся на него, не отделяя его долю от своей доли. По крайней мере, так всегда нам казалось. Помню, приходит однажды Дата далеко за полночь. Всех обнял, перецеловал, обласкал. Сели ужинать, разговор скачет туда-сюда. Вдруг мама Тамар говорит ему, а у самой слезы в глазах:

– У всех твоих сверстников, сынок, семьи, дети. А ты никак не уймешься, и семью куда уж теперь заводить…

– У него в роду и завода такого не было, чтобы тихо и мирно плыть по течению и со всем мириться, и мы его не для спокойной жизни растили, – вступился за Дату Магали. – Чего же ты слезы льешь, не пойму?

Сколько раз приходилось мне слышать, как Магали говорил: что у Даты такая судьба – наша вина, винить больше в этом некого, и его беда прежде наша беда, а уж потом его.

Дата, конечно, знал, как относимся мы к его злосчастной судьбе, и это, конечно, не облегчало ни страданий его, ни раскаяния. Сердце его болело оттого, что нам приходится столько терпеть из-за него. А у нас на душе всегда камень лежал оттого, что Дата и сам несчастлив, и за нас болеет. Так или иначе он всегда чувствовал вину перед семьей, она мучила его неотступно, и кто знает, может быть, она-то и погнала его по доброй воле сесть в тюрьму.

Были к тому и другие причины. Не знаю даже, как объяснить… Еще две причины были… Или, вернее, случились как раз и то время два разговора, которые тоже могли толкнуть его в тюрьму. Один разговор произошел между игуменьей Ефимией, нашим отцом Магали и Датой… Я был при этом разговоре. Но была там еще другая монахиня, молодая послушница, состоявшая при игуменье. После смерти Ефимии она покинула монастырь. Женщина эта жива и по сей день и живет неподалеку отсюда. Ее зовут госпожа Саломе Базиерашвили-Одишариа. Видите ли, пока шел тот разговор, меня все время посылали то во двор, то наверх принести то-другое. Урывками, но я слышал, о чем говорили, а госпожа Саломе была неотлучно, помнит все до мелочей, и отлично помнит… Куда лучше меня. Я вас познакомлю с ней, и мы вместе

вспомним уж все до конца… А другой разговор произошел между нашим отцом, Мушни и Датой. И при этом разговоре мне довелось быть и запомнить его. Хотите, я расскажу вам о нем сейчас, а могу – после, когда поговорим с госпожой Саломе. Как хотите…

Граф Сегеди

События развивались по намеченной схеме, и это было самым важным. Хаджи-Сеид признался в том, что мадемуазель Жаннет де Ламье его соучастница и что они обменивались добытыми сведениями. Это означало, что Хаджи-Сеид и мадемуазель Жаннет де Ламье были виновными и перед своими разведывательными службами. Стоило уведомить их патронов об этом, и обоим не миновать было смертной казни как государственным изменникам.

– Что вы дальше собираетесь делать, Мушни? – спросил я Зарандиа. – Если до ушей мадемуазель де Ламье доползет хотя бы часть того, что случилось с Хаджи-Сеидом, она тут же попытается улизнуть от нас, и не исключено, что это ей удастся… Что делать вам тогда с Кулагиным и Старин-Ковальским, с этими звеньями вашей цепи?

– Вы думаете, ее лучше брать сразу? – спросил Зарандиа.

– Не знаю. Я не составил себе об этом мнения. Иначе зачем бы мне вас спрашивать?

– Чтобы арестовать мадемуазель де Ламье, достаточно двух полицейских, даже одного. Но если она проглотит язык, будет упорствовать и отрицать все, тогда по истечении срока предварительного заключения мы вынуждены будем ее освободить как лицо иностранного подданства и предоставить ей право отправиться на родину. На руках у нас останется чепуха: шум в европейской прессе и дипломатические осложнения. Не исключено, конечно, что она сразу во всем признается. Но эту версию можно считать иллюзорной. Другое дело, если б это был мужчина. А даму надо содержать в тюрьме, как в дорогом пансионе, и к тому же невозможно применять особые санкции. Ничего не получим мы ни от лиц, с нею связанных, ни от ее окружения. Вы сами знаете, что от знакомства с арестованными отказываются все, и заставить признаться в этом необычайно трудно. Поэтому брать ее сейчас, а возможно, и вообще когда-нибудь, нет ни малейшего смысла.

– Вот как? Даже когда-нибудь вообще?

– Я говорю – возможно. Разумеется, нередки случаи, когда единственно разумное и со всех сторон оправданное решение судьбы шпиона – тюрьма или виселица. Но в известных случаях – и я предпочитаю именно их – разумнее использовать шпиона заново. Даже если в одном из десяти случаев будет достигнут успех, это уже огромная победа. Что же до мадемуазель де Ламье, то ее судьба еще будет решаться. А теперь этой даме надо подбросить улику, чтобы вернуть эту улику обратно непосредственно из ее рук. После этого ничего не стоит разомкнуть следующие звенья.

– С чего же вы думаете начать?

– Первым долгом следует выяснить, существует ли сквозной канал Кулагин – мадемуазель де Ламье, и если да, каков его характер…

Все, что говорил Зарандиа, казалось исполненным логики и убедительности, однако у меня было явственное ощущение, что он недоговаривает. Мне не хотелось углубляться в это свое подозрение, и я предпочел показать Зарандиа известие, только что полученное из Петербурга. Нам сообщали, что существует нелегальная группа, прямым, а возможно, и единственным назначением которой была деятельность, подобная нашей службе распространения слухов. Наш политический противник стал бороться с нами нашими же методами, и в разных слоях населения расползлись компрометирующие слухи о государственном строе, о царской семье, о лицах, занимающих высшие должности в государстве.

– Помните, когда мы говорили о прокламации Спадовского, я сказал, что она наводит на размышления? Именно этот оборот дела я и предвидел, – Зарандиа помахал прочитанным документом.

– Прекрасно помню и даже не раз собирался поговорить с вами об этом, но как-то все не складывалось.

– Видите, что получилось… Порох, изобретенный для фейерверков, пошел на взрывчатку.

– Да, но на это ушли столетия. А главное, порох – это материальный предмет, а не духовная субстанция, и у этого дела, – я положил руку на документ, только что прочитанный Зарандиа, – совсем другая скорость развития. Я думаю, что у систем распространения слухов прекрасное будущее, они будут обретать самые разнообразные формы и оболочки, и я вижу, как близится эпоха массовых духовных диверсий.

Черт возьми! Мне редко приходилось видеть Мушни Зарандиа в раздражении, столь глубоком. Даже голос его зазвучал по-другому, из груди вырвался глухой клекот. Он почувствовал, что срывается, сдержал себя и заговорил обычным голосом:

– Пребывая в наших руках, служба распространения слухов составляла часть обширного плана, а сам план был системой приемов, направленных против совершенно определенных лиц. К тому же он был создан для географической и административной области весьма своеобразной. Он предназначался для очень частного и совершенно конкретного применения, а вовсе не для всего государства. Наедине друг с другом, граф, мы можем признаться: сделать из распространения сплетен, толков, пересудов постоянный метод, всеохватную систему – ниже этого не опускалась даже святая инквизиция! Нас оправдывает лишь то, что этот метод мы использовали против насильников, грабителей, убийц, которых не могли изловить и обезвредить другими средствами. Лишь Дата Туташхиа – исключение. То, что этот метод был обращен против него, я вменяю себе в служебное преступление. Ничего не поделаешь, это на моей совести…

Разумеется, полковнику Сахнову и пяти материалов покажется мало, но чтобы представить себе, к какому адскому результату приведет распространение нашего уездного и минутного опыта на целое государство и эпоху, для этого нужна была элементарная совесть, не говоря уже о здравом смысле. У Сахнова нет ни того, ни другого. Когда государство в борьбе против своих политических противников оказывается перед необходимостью хвататься за подобные методы, это означает, что оно неисцелимо больно. Именно это и спешат доказать враги империи. А в это время какой-нибудь Сахнов – я говорю фигурально – стоит себе с булыжником в руке и дожидается, когда на лоб отшельника сядет муха. И что еще, граф… Вы сами учили меня, сами знаете, есть такая закономерность: если какое-нибудь учреждение или любая другая общность людей вдруг, в один из моментов своего существования перестает подчиняться силе, этим организмом управляющей, это означает, что дальше управлять прежним способом невозможно до тех пор, пока не будет обнаружена причина паралича и не изобретен новый способ управления. Пусть ослабнут подпруги системы управления таможнями, не будет катастрофой, если на какое-то время перестанет подчиняться налоговая система, но сплетня, но слух – хаос заключен в их собственной природе, а распространение их – это лавина хаотических, разрушительных ударов. Сплетня же, которая проникнет в толщу многотысячных, многомиллионных масс населения, это вулканическая лава, которая неизвестно когда и в каком направлении начнет выбрасываться на поверхность. А теперь вообразите себе день, когда общегосударственная система распространения сплетен и слухов перестанет нам подчиняться! Я вас спрашиваю, что тогда спасет империю от разрухи, от разложения, от распада?

– В народе распространился слух, будто его величество ежедневно изволит кушать котлеты, – перебил я его. – Смешно? Вовсе нет, потому что неизвестно, какова взрывная сила этого слуха. Версию о котлетах сочинил, разумеется, не наследник престола, а его враг. Мы обязаны принять контрмеры? Обязаны. Означает ли это, что наша империя, как вы, Мушни, изволили выразиться, безнадежно больна?

– Нет, граф. Это значит лишь, что она больна в той мере, в какой мы будем вынуждены обращаться к подобным методам в нашей политической борьбе. Так ли уж мы вынуждены прибегать сейчас к этому? Вовсе нет.

То, что империя больна, понимали многие, ко в стенах нашего ведомства говорить об этом считалось святотатством и серьезной провинностью. Мушни Зарандиа решился заговорить об этом в моем присутствии. Я же молчал и не собирался обронить даже замечания! К тому же я ясно видел, что, дай Зарандиа возможность, он одним движением руки сотрет с лица земли благодаря Сахнову расползшуюся по всему государству службу слухов.

– Закрыть одно уже существующее ведомство труднее, чем создать пять новых. В

нынешних условиях гласно и официально уничтожить систему распространения слухов, даже если за это возьметесь вы, мне кажется невозможным.

Зарандиа понял, что я не хочу становиться его соучастником и единомышленником в кампании, которая может открыться, и сказал:

– Вы неточно истолковали мою мысль, ваше сиятельство. Вмешиваться в подобные дела столь маленьким людям, как я, не пристало!

– Завтра, Мушни, приезжает полковник Сахнов! – Я переменил тему разговора, с любопытством ожидая, как он отнесется к этому.

– Знаю! – Он был беззаботен.

…Едва полковник Сахнов прибыл в Тифлис, как тотчас попал в такую паутину обстоятельств, что сам дьявол не доискался бы до истины. Я переселился в мир двуликих явлений. Исключая трагический эпизод со Стариным-Ковальским, все, что совершалось, имело два смысла, открывалось в двух противоположностях, одинаково необычайных, убедительных и при этом совершенно несовместимых. При обширности моего собственного опыта, при основательности знаний Мушни Зарандиа всех методов и приемов нашего дела я потратил пропасть времени и душевных сил на то, чтобы отделить истину от подделок и подтасовок в тех бесчисленных хитросплетениях правды и лжи, которые возникали ежедневно и чуть не ежечасно. Зарандиа подготовил для Сахнова сложнейшую сеть силков и капканов. Истину приходилось отыскивать в обстоятельствах, почти недоступных глазу, а не в тех, что болтались на поверхности и бросались в глаза.

Именно искать, говорю я, потому что в своих подозрениях я оказался прав: во всем, что касалось Сахнова, Зарандиа действовал, не согласовываясь со мной, и даже когда все закончилось, он и тогда не открыл мне всей правды. Кое в чем я не уверен по сию пору, и есть в той истории аспекты, в которых для меня и сегодня сомнительно все.

Место Зарандиа занимал теперь полковник Князев. Курировал отдел по-прежнему Сахнов. Князев вместе с нами встречал Сахнова на вокзале и уговорил полковника принять участие в ужине, даваемом в его честь и по случаю нового назначения Князева. На ужине рядом с Сахновым оказалась мадам де Ламье! Ее привезли Кулагины, разумеется, заранее договорившись с Князевым, как бы по их приглашению. Я оказался невольным свидетелем флирта Сахнова с мадемуазель де Ламье – не мог же я закрывать глаза на то, что в продолжение нескольких часов творилось передо мной, да, по правде говоря, и не хотелось мне их закрывать. Флиртовала мадемуазель де Ламье с тонкой прелестью, лукаво и грациозно. После ужина Сахнов отвез в моей коляске сначала Кулагиных, а потом ее. Как рассказал кучер, полковник и по дороге, и у подъезда де Ламье был весьма настойчив, пытаясь проникнуть в ее дом, но мадемуазель де Ламье обнаружила характер, успокоила своего предприимчивого спутника, обещав встретиться с ним через три дня на ужине у Кулагиных.

Все пока шло своим чередом, и все персонажи занимали свои места, но ведь до этого вечера мадам Князева приходилась мадемуазель де Ламье лишь клиенткой?.. К тому же, на ужине, даваемом высшими чинами тайной полиции в честь столь высокого лица, присутствие торговки корсетами, при всей рафинированности ее манер, могло фраппировать кого угодно. Не упрекайте меня в преувеличенной подозрительности, но я чувствовал здесь руку Зарандиа.

Утром я спросил его, в чем смысл вчерашней комбинации.

Зарандиа был непритворно удивлен и попросил рассказать о всех перипетиях ужина.

– Ну и прекрасно. Этот альянс может быть нам на руку. – Он произнес это с такой обескураживающей простотой, что меня охватило сомнение: может быть, он и впрямь ничего не знает?

Не требовалось большой проницательности, чтобы догадаться – де Ламье подсунули Сахнову. Однако и тут я не принял никаких мер. Из высокопоставленного лица, близкого царскому дому, делали пешку и этой пешкой жертвовали. Я оказался участником заговора, что противоречило моим убеждениям, было для меня немыслимым и чужеродным, и тем не менее все это меня уже почти не задевало. Видимо, настало время переоценки всех устоев.

В кругу высших чиновников было принято (мне кажется, это сохранилось и сейчас, и сохранится еще долго) служак определенного склада называть вояками. Так говорилось о чиновниках, не удовлетворенных тем, чего они достигли, и постоянно терзаемых мыслью, что

положение, ими занимаемое, является для их способностей унизительным, если не оскорбительным. Борьба за новую должность является их перманентным состоянием. За такими людьми обычно укрепляется репутация прозорливых и энергических натур, однако, как правило, они подобны падающим звездам – однажды вспыхивают и исчезают. Примеров тому великое множество. Когда анализируешь какой-либо процесс или отдельное явление и подходишь наконец к выводу из своих размышлений, наиболее убедительным аргументом оказывается самый результат исследуемого процесса или явления. Поэтому-то вояк, потерпевших поражение, я не колеблясь считаю людьми ограниченными. Истинный боец, наделенный талантом и жизненной силой, должен уметь трезво оценивать контрнаступательные возможности соперника и противника, не говоря уже о необходимости соблюдать элементарную осторожность в борьбе. Отсутствие осторожности и способности трезвой оценки разве не есть ограниченность?

Сахнов первым бросил перчатку – отдельно мне, отдельно Мушни Зарандиа и нам обоим вместе. Я ждал, что здесь, в Тифлисе, на территории противника, я увижу его внутренне мобилизованным, сосредоточенным и предусмотрительным. Он же держался так, будто по возвращении в Петербург его ожидает кресло если не министра, то по крайней мере его товарища. Прояви он хоть малейшую способность к трезвой оценке противника и осторожность, возможно, он и не потерпел бы фиаско…

Полковник не стал дожидаться кулагинского ужина, а с адъютантом послал мадемуазель де Ламье записку, напоминавшую о ее обещании отвезти его посмотреть уникальный ковер и быть посредником в его приобретении. Жаннет де Ламье передала, что она согласна, но не тотчас же, а отложила встречу на пять часов и, готовясь к выезду, продержала влюбленного полковника в своей гостиной еще час.

С той минуты, как адъютант был отослан с запиской, то есть с полудня, и до половины седьмого вечера полковник томился в нетерпении. Его прельщало, что одним выстрелом он убьет двух зайцев – увидит ее и приблизит их тайное свидание и завладеет ковром Великих Моголов на зависть ценителям и светским друзьям.

Разумеется, Хаджи-Сеид принял полковника Сахнова и мадемуазель де Ламье сам. После чашки кофе и легкой беседы развернули ковер Великих Моголов. Впечатления превзошли все ожидания. Полковник был потрясен и едва держался в рамках приличия. Украденный Спарапетом ковер был оценен в тридцать тысяч. Полковник принялся было торговаться, но скоро стало ясно, что лишь из-за того, что любое касательство к этому сокровищу доставляло ему наслаждение, и к тому же ему хотелось предстать перед всеми солидным покупателем и тонким знатоком. На самом же деле у него не было этих тридцати тысяч, ни даже трети этой суммы. Хаджи-Сеид скинул пять тысяч, но дальше уже ни с места. Полковник сказал, что приедет завтра, дабы продолжить переговоры, и покинул дом Хаджи-Сеида в великом смятении.

Положение его и в самом деле было ужасно. С одной стороны – женщина, которая, ему казалось, думает лишь о том, чтобы улизнуть от него, с другой – ковер, который лег на трепещущую душу завзятого коллекционера всею своей красотой, ценностью и тяжестью. Однако нехитрый инстинкт подсказал Сахнову, что обе его заботы может разрешить лишь она, мадемуазель де Ламье. А может быть, ему просто хотелось отвести душу. Так или иначе, но влюбленные отправились в ресторан.

Этот вечер прошел для Сахнова почти впустую, ибо он искал близости, а она обратилась к тактике, которая могла завести лишь в тупик нежной и не далеко идущей дружбы. Но хотя в тот вечер на долю полковника не досталось ничего, кроме чести проводить свою даму, он, однако, возвратившись к себе, укрепился в чувстве, что обрел доброжелателя, а возможно, и преданного друга. В душе его плавником золотой рыбки шевельнулась надежда, что это обворожительное создание принесет ему не только наслаждение на ложе любви, но позволит всю жизнь наслаждаться созерцанием дивного ковра.

Все это наутро сообщил мне сам Мушни Зарандиа, присовокупив, что новое свидание Сахнова с мадемуазель де Ламье произойдет сегодня в полдень. И он опять умыл руки, сказав, что сам он тут ни при чем.

– Ваше сиятельство, я лишь создал стихию, в которой люди сами порождают отношения

друг с другом. Заметьте, граф, я говорю – я, а не мы, ибо за все, что произойдет дальше, отвечаю я один, если вообще понадобится отвечать за что-то и перед кем-то.

Теперь мне предстояло понять, насколько возможна была такая ситуация, когда Зарандиа лишь расставил сети, а люди, очутившиеся в стихии, им созданной, делали то, что как раз и нужно было ему.

Обо всем, что произошло, Зарандиа мог узнать лишь от мадемуазель де Ламье. Следовательно, между ними существует связь. Не исключено, что сам Зарандиа выступал лишь в роли слушателя, не отдавая никаких ответных распоряжений. Но какой смысл тогда в подобных отношениях? Раз уж она в твоих руках, заставляй ее играть весь репертуар, ей доступный… Да и не похож он на человека, который предоставит событиям течь по их собственной воле, если он ввел их в русло, прорытое им самим, да еще с таким трудом?

Помню, как пришла мне тогда мысль, что малейший промах Зарандиа мог повлечь за собой всеевропейский скандал, и скандал этот поставил бы августейшую семью в весьма двусмысленное положение.

Я и тут предпочел промолчать.

В тот вечер нам предстоял ужин у Кулагиных. Накануне часов в пять вечера ко мне вошел Зарандиа.

– Ваше сиятельство, полковник купил ковер Великих Моголов. Вексель на двадцать пять тысяч дала Хаджи-Сеиду мадемуазель де Ламье.

– Но почему она?

– У Сахнова не было денег. Она дала ему в долг.

У меня сложилось впечатление, что Зарандиа хочет поразить кита не гарпуном, а стрелой из игрушечного лука…

– Мушни, неужели вы думаете, что инкриминация покупки краденого ковра может хоть чем-нибудь уязвить такую влиятельную фигуру, как Сахнов?

– Нет, не думаю. Этим нельзя повредить и квартальному. Кстати, я и не задаюсь целью нанести какой-либо ущерб Сахнову. Полковник сражается сам с собой.

– Тогда мне непонятно, что может дать возня вокруг ковра?

– Уже дала, граф… – Зарандиа протянул мне листок бумаги. – Вот заключение экспертизы касательно тождества почерка. Извольте прочитать.

«Хоть бы не правда… Хоть бы фальшивка…» – разве что только не молился я, принимая этот проклятый листок из рук Зарандиа.

– Не может быть! – То, что я прочитал, выбило из меня привычную выдержку.

Следовало вновь овладеть собою, и, чтобы успокоиться, я сделал несколько шагов по кабинету. Вернувшись к столу, я вновь пробежал глазами текст. Написано было по-немецки.

«Получил от медемуазель Жаннет де Ламье двадцать пять тысяч российских рублей. Полковник Сахнов». И дата.

– Полковник Сахнов, – промолвил я, – член чрезвычайного совета, крестник великого князя, взял двадцать пять тысяч российских рублей у австро-венгерской шпионки, фройлайн Жаннет де Ламье… Боже мой! Боже мой! Это европейский скандал. Это компрометация его величества!.. Мушни, откуда у вас эта расписка?

– Мне дал ее Хаджи-Сеид.

– Но как она очутилась у Хаджи-Сеида?

– Мадемуазель де Ламье для передачи своих донесений в Вену пользуется каналами Хаджи-Сеида.

– Это – сказки! Все, что творится вокруг Сахнова, инспирировано вами.

– Если б даже было так, я должен был бы говорить то, что говорю. Но любопытно, что и на самом деле все обстоит так, как я вам сказал.

– И у вас нет своих связей с мадемуазель де Ламье?

– Пока нет. Послезавтра ночью, перед очной ставкой с поручиком Стариным-Ковальским, моя связь с ней будет установлена. Я жду завтрашнего дня, вернее, ужина у Кулагиных. Это дело я должен закончить не позже шестнадцатого, чего бы мне это ни стоило. Семнадцатого я должен быть в Мегрелии – у меня свидание с Датой Туташхиа.

– Постойте… Откуда вам известно, что происходит между Сахновым и мадемуазель де

Ламье, когда они остаются наедине?

– От Хаджи-Сеида, ваше сиятельство, и от госпожи Тереховой. Эта дама оказалась очень способной.

– Полковник Зарандиа, я желаю и обязан знать все!

– Ваше сиятельство, вы знаете ровно столько, сколько и я. Мы говорили с вами о том, что уже свершилось. О том, чего я жду или считаю возможным ждать, я готов доложить.

– Говорите… И если можно, не рассказывайте сказок!

– Ваше сиятельство, у вас есть полное право сомневаться в моей правдивости и в моем чистосердечии, но у вас нет никаких оснований не доверять моей преданности!

– Нередко бывает, что в людях обнаруживаются свойства, каких от них не ожидаешь. Продолжайте!

Зарандиа с сомнением покачал головой.

– Будут уничтожены, – сказал он, – австро-венгерская и турецкая резидентуры. Прекратятся, по крайней мере на время, панисламистские козни турок на Северном Кавказе. У нас прибавится по одному опытному агенту в Женеве, Тегеране, Риме. Подаст в отставку полковник Сахнов, и никто, кроме нас двоих, не будет знать подлинной причины его отставки. Будет преобразована или вовсе упразднена служба распространения слухов. Ковер Великих Моголов вернется к своему владельцу, а полковнику Глебичу назначат нового адъютанта… Правда, из того, что я вам сейчас говорю, многое еще не покинуло область предполагаемого, но эти предположения должны обернуться реальностью. Иначе – не приведи, господи! – я могу очутиться в Сибири, если Кара-Исмаил и муллы не успеют до этого придушить меня в Метехской тюрьме, – и Зарандиа весело рассмеялся.

В словах моего помощника не было, казалось бы, ничего неожиданного, но фантастическая картина, набросанная его рукой, ошеломила меня, может быть, потому, что я тогда впервые представил себе все это исполнившимся, воплотившимся, существующим… О, это было циклопическое творение!

Саломе Базиерашвили-Одишариа и Шалва Зарандиа

Что до сплетен и новостей, то мы, женщины, куда как обогнали мужчин и в любопытстве, и в любознательности. А уж про женский монастырь и говорить нечего!.. Не то что про Дату Туташхиа, а про все, что творилось на сто верст кругом, нам доподлинно было известно. Умирать буду, а не пойму, как это любой пустяковый слушок разлетается в мгновение ока. Рассказать новость, передать сплетню в монастыре почитается за грех, но наша настоятельница узнавала обо всем раньше всех, и в подробностях, какие нам и не снились. И вы знаете, у нее был дар, настоящий дар отличать правду от лжи. Необыкновенный был у нее нюх на достоверность. Любили мы «…больше славу человеческую, нежели славу божью». От Иоанна, двадцать, сорок три.

Мой отец был младшим братом настоятельницы Ефимии, стало быть, происходила она из рода Базиерашвили. Мать же ее была урожденной Туташхиа, но не родственницей этим Туташхиа, а лишь однофамилицей. Не знаю, через кого и как, но Дата Туташхиа состоял в близкой дружбе с настоятельницей Ефимией. Я же попала к ней в монастырь, потому что в четырнадцать лет без памяти влюбилась, родители и упрятали меня от греха подальше. Тетка Ефимия приглядывалась ко мне целый год и, почему-то решив, что из меня получится прекрасная настоятельница, начала готовить меня к этому поприщу. Память у меня была преотличная, и мне ничего не стоило выучить наизусть все четыре Евангелия и ветхий завет почти целиком. Делилась она со мной и премудростями своего ремесла, то есть как держать в руках, в смирении и богобоязни сотню-другую женщин. Но у меня не было ни малейшей склонности к духовной деятельности. Мне было восемнадцать, время бежало легко и беззаботно, в забавах и шалостях. Бедная моя тетушка – мой воспитатель, мой наставник – была для меня мишенью тайных насмешек и беззлобных проказ. Она была туга на ухо, и это очень облегчало мою жизнь. Блестяще образованная, одинаково хорошо говорившая на французском, английском, русском, она и меня учила языкам. В монастыре запрещалось держать светскую литературу, и настоятельница выписывала иностранные и русские книги и журналы на адрес

Магали Зарандиа. А уж о грузинской литературе говорить не приходится – здесь она знала все.

Однажды поздно вечером, часов в одиннадцать, – стояла тогда зима – в келью Ефимии постучали. Она ложилась обычно за полночь и быстро отперла дверь. До меня донесся шепот. Я узнала голос привратника. Когда он ушел, тетка велела мне одеться потеплее и следовать за ней.

У ворот монастыря нас ждал Шалва Зарандиа с фонарем в руке. Пока, шлепая по грязи, мы добрались до деревни, пока соскребли грязь с обуви перед тем, как подняться в дом Зарандиа, прошел битый час…

Шалва Зарандиа: Настоятельница Ефимия просила нашего отца Магали, если появится Дата, послать за ней. Когда пришел Дата, отец сказал ему, что настоятельница желает с ним повидаться. Дата обрадовался и тут же отправил меня за ней. Когда мы пришли, он, уже отдохнувший, сидел у очага и подкладывал хворост под горшок с лобио.

Едва мы переступили порог, как я поняла: наша ночная прогулка – вот из-за этого человека в черной рубахе, коричневых ноговицах и полусапожках. Он поднялся навстречу нам почтительно и склонился к руке тетки, а мне лишь улыбнулся. Нас повели к столу, который был накрыт, как водится в великий пост. Лишь за столом я узнала, что человек этот – Дата Туташхиа. Он был довольно красив, но поражала в нем больше всего порода и стать. Я сидела, не поднимая глаз, как и учила меня мать Ефимия, и уж тем более не велено было мне смотреть на мужчин. Утерпеть я, конечно, не могла и исподтишка поглядывала на Дату. Еще полагалось мне находиться непременно по левую руку от настоятельницы, стоя или сидя – безразлично, и всякий раз, как только она обратится к кому-нибудь (здесь уж неважно – к мужчине или женщине) и сделает мне знак, – прочитывать наизусть место из Евангелия, соответствующее смыслу ее речей. И хотя она была глуховата, но по движению моих губ безошибочно угадывала, что я говорю. Поэтому ложь сходила мне, если только она глядела в другую сторону. Мы с ней находились в состоянии беспрерывной войны еще и потому, что я очень редко бывала согласна с воззрениями и суждениями своей наставницы, и евангельские изречения, которые отбарабанивала по мановению ее руки, могли означать совсем не то, что отвечало бы в эту минуту ее намерению и желанию. Частенько я прочитывала нечто и вовсе противоположное ее поучениям и назиданиям, и это вызывало в ней бурю возмущения. Брови у нее начинали ползти вверх, и, поймав мой взгляд, она заводила: «Мне… в моем возрасте…» Остальное подразумевалось само собой и совершенно ничего не меняло в нашей бесконечной войне.

О Дате Туташхиа я знала все, даже больше: пылкое юное воображение дорисовывало то, о чем умалчивала молва. Да и мои знания питались не одними только сплетнями и пересудами, бродившими в монастыре. Сама мать Ефимия оказывалась моей невольной просветительницей: уча меня различать добро и зло, она то и дело приводила в пример поступки Даты Туташхиа и, случалось порой, в назидание мне сама с собой рассуждала об этом вслух. Уже в те годы мне не раз являлась мысль, что для матери Ефимии – конечно, когда-то давным-давно, в глубоком прошлом, – Дата Туташхиа был совсем не только абрагом. Она все время что-то писала, и эти записи хранились за тремя или четырьмя замками, оставшись, наверное, единственным местом, куда не могли добраться моя рука и мой взор.

Шалва Зарандиа:

– Помилуйте, госпожа Саломе! Мать Ефимия была на добрый десяток лет старше Даты Туташхиа. Я не думаю, что их могло связывать чувство или увлечение…

– Не знаю, мне и сейчас непонятно многое, но что между ними была любовь, большая и совсем необычная, это бесспорно… Так или иначе, сидим мы – Тамар и Магали Зарандиа, Дата Туташхиа, Шалва вот и мы с тетушкой, – пьем чай. Легкий разговор уже таял, то и дело прерываясь молчанием. Тут мать Ефимия и говорит:

– Неправедную жизнь ведешь, Дата!.. За грехами человеческими следует гнев божий. Людскому роду и без тебя хватает испытаний. А сколько из-за твоих грехов прибавляется бед

даже здесь и сейчас! – Мать Ефимия подняла перст левой руки, и настал мой черед.

– «Всякое древо, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». От Матфея, три, десять.

Но Ефимия хорошо разобрала мои слова и, взглянув мне в глаза, спросила строго:

– Ты о чем это?

– «Ибо всякий возвышающий себя унижен будет, а унижающий себя возвысится». От Луки, четырнадцать, одиннадцать, – выпалила я первое, что пришло мне в голову.

Настоятельница поглядела на меня с сомнением и произнесла задумчиво:

– К такому случаю уместнее сказать: «Любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас…»

– От Луки, шесть, двадцать семь, – уточнила я, а настоятельница продолжала:

– «Какою мерою мерите, такою и отмерено будет вам».

– От Марка, четыре, двадцать четыре, – не отстала я, и настоятельница милостиво кивнула.

– Все от бога! – промолвил Дата Туташхиа.

Ей показалось, он шутит.

– Нет! – вскинулась она. – «Огород нужно полоть…» Это сатана внушил тебе. Ты восстал против зла, но зло злом не убьешь. Когда насилием пойдешь против насилия, в одном месте зло, конечно, вырвешь, но на том месте вырастет много нового зла. Ты этого не видишь или не хочешь видеть! – Снова поднялась ее рука, и снова взгляд в мою сторону. Куда мне было деваться от ее ястребиного ока!

– Сказано: «Дом мой есть дом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойников». От Луки, девятнадцать, сорок шесть.

Ефимия отвела от меня глаза, и я выпалила:

– «Когда услышите о войнах и военных слухах, не ужасайтесь, ибо надлежит сему быть». От Марка, четырнадцать, семь.

Магали Зарандиа не выдержал и рассмеялся. Ефимия настороженно оглядела нас.

– Прости меня, мать! – Лицо Магали приняло постное выражение. – Я был удивлен, что девочка так хорошо знает Евангелие.

– Не девочка, раба божия, – строго поправила мать Ефимия и повернулась к Дате: – Нет цели, которая могла бы оправдать столько грехов, сколько ты взвалил на себя. К чему приводят твои дела, ты знаешь не хуже меня. Когда Килиа настиг тебя и окружил дом Бечуни Пертиа, твои друзья взяли парней Куруа заложниками. Младший лишился ума и до сих пор не пришел в себя, все болеет… – Ефимия осенила себя крестом. – Ты избрал Куруа, чтобы в этом месте пресечь зло. Но перед кем и в чем виноват его мальчик?! В Хашури вы ворвались к Кандури и собственных его гостей заставили засыпать хозяина крупой. Смешно? А смеяться нечему! Кандури удавил Дастуридзе или как там его, а свалил на вас. Управляющий Амилахвари и по сей день в тюрьме, не может доказать, что не он навел вас на дом Кандури. Вроде бы одолели негодяя, вырвали зло, а смотри, на месте этого зла сколько другого зла проросло! И сколько еще дел твоих и грехов могу насчитать! Да разве перечтешь все, что понаделано в Грузии твоим именем с тех пор, как ты взялся огород полоть… Ну, заставил ты Тордуа убить Которию! Так этот Тордуа и твердит, как ты ему велел: «Не я убил, а Дата Туташхиа». Только не поверил ему никто, и сослали беднягу на каторгу…

– Которию изнасиловал жену Тордуа на его же глазах. Чему удивляться, если он убил насильника?

– Но изловил этого насильника ты. Ты и привел его в пацху к Тордуа. И оружие было твое. Не сделай ты этого, на нашей грешной земле одним убийством, было бы меньше. И на четырех сирот меньше было бы у бога. Да и бедняга Тордуа сидел бы в своем доме, растил бы своих четверых, а не маялся бы на каторге. Ну и что? Разделался ты со злом? Ты же простой смертный! Кто позволил тебе жить так, как ты взялся жить? «Не мир пришел я принести вам, но меч» – это лишь мессиям положено…

– От Матфея, десять, тридцать четыре, – сообщила я.

– …Только мессиям, – продолжала Ефимия. – Да и им лишь тогда, когда пора и надобность созрела, а не когда им заблагорассудится.

И снова взметнулась рука Ефимии.

– «Отдавайте кесарево кесарю, а богу богово». От Луки, двадцать, двадцать пять, – пробормотала я себе под нос, и вслух: – «А ходящий во тьме не знает, куда идет». От Иоанна, двенадцать, тридцать пять.

Мать Ефимия услышала и то и другое, но не сказала ни слова. Тут я поняла, а потом и вовсе убедилась, что с течением времени моя наставница сама вовлеклась в мою игру с Евангелием. Я поняла это, когда однажды, велев привести изречение, подтверждающее ее мысль, она тут же попросила меня произнести другое, по смыслу противоположное. Я ответила, не помедлив и минуты, а она надолго ушла в свои мысли. «Это у тебя сатанинское», – сказала она мне тогда.

– Велики грехи твои, Дата, – продолжала свое мать Ефимия, – велики, и несть им числа. Хочу понять, с какой стороны подкрался к тебе сатана, какой тропой шел, через какую щель пролез в твою душу. И как сумел изгнать из тебя благодать… Скажи мне, зачем ты все это делаешь?

– Разве непонятно? – Дата Туташхиа обвел глазами всех, кто сидел в комнате.

– Совсем непонятно! – ответила мать Ефимия.

– И вам непонятно, отец? – спросил Дата Магали.

Отец хотел было промолчать, но, увидев, что молчание затягивается, проговорил негромко:

– Я-то знаю, да только…

– Что знаешь? – повернулась к нему настоятельница.

– Почему он это делает…

– Почему?

– Не в силах не делать, вот почему!

– Совсем ни к чему эти твои слова! Не в силах по-другому делать – это еще не причина. Но я спрашиваю о цели… Впрочем… я бы хотела знать: почему он по-другому не может?

– А почему, скажи мне, церковь проповедует: «Не убий! Не укради! Не лжесвидетельствуй! Не прелюбы сотвори! Почитай отца твоего и мать»? – спросил Магали Зарандиа, а я: «От Марка, десять, девятнадцать»…

– Твердости нравов ради, возвеличения любви ради, ради искоренения зла в человеке…

– А зачем это нужно? – спросил Дата Туташхиа.

– Кто зол – тот народу своему враг, он изничтожает и растлевает свой народ. А добрый – это сила, которая народ объединяет и споспешествует его величию, он – защитник народа. От злого не жди любви ни к народу, ни к родной земле. Сердце его алчно, а дух себялюбив. Тот же, кто высок духом, долгом своим почитает действовать на благо отчизны, народа и ближнего своего, а придет час, он и жизнь свою принесет на этот алтарь. Вот зачем нужны заветы нашей церкви! – Настоятельница говорила очень горячо.

– Выходит, преданность отчизне и самоотречение – удел одних лить благородных людей, – сказал Магали Зарандиа. – Но ведь в сражении гибнут и дурные люди?

– Их гонят – они и гибнут. Один суда боится, другой – пули в спину. – Ефимия подняла руку. Я не успела вдуматься ни в вопрос Магали, ни в ответ настоятельницы и сказала первое, что пришло в голову:

– «Ибо много званых, но мало избранных». От Луки, четырнадцать, двадцать четыре.

– Строго судите, матушка! И тот сын своей земли, кого позвала она исполнить свой долг, и он пошел и погиб за нее. Вот так-то бы лучше сказать! – возразил Магали Зарандиа.

– Народ и отечество… А как ты, мать, нас учила? – повернулся к Тамар Зарандиа.

– Прежде чем сделать что-нибудь или сказать, подумай сначала, будет ли дело твое или слово полезно народу, отчизне, ближнему твоему, – Тамар говорила медленно, будто для себя. – Так учила я вас, дети мои. И отец наш учил нас этому, И все отцы и деды нашего рода учили так своих детей.

– Вот вам и причина, и цель, – закончил Магали Зарандиа мысль жены.

– Ни причины другой, ни цели в жизни у меня не было, – сказал Дата Туташхиа. – Одними проповедями ничего не сделаешь. Сами видите – испоганился народ. Сила нужна. Страх рождает любовь. Страх! В борьбе со злом одним добром не обойдешься…

– «Лучше нам, чтоб один человек умер за людей, нежели чтоб весь народ погиб». От Иоанна, одиннадцать, пятьдесят.

На этот раз мать Ефимия услышала меня.

– «Он одержим бесом и безумствует!» – сказала настоятельница, и слова ее, показалось мне, были обращены и ко мне, и к Дате Туташхиа.

– От Иоанна, десять, двадцать, – произнесла я, уже читая по ее лицу, что назавтра я обречена голодать, если только моя наставница не придумает в наказание чего-нибудь похуже…

– Ну, а теперь вот что… – Магали Зарандиа глядел теперь только на своего Дату. – Я не думаю, чтобы все на свете было так, как говорила мать Ефимия. Но одно сомнение она в моей душе посеяла. Ты хочешь выкорчевать зло, так ведь? А от действий твоих в народе умножается зло, и получаешь ты плоды совсем не те, какие ждешь… Понимаешь ты меня?.. Где было одно зло, поднялось пять, и еще меньше совести стало в народе. Все выходит противно тому, что ты задумал!..

– Все проверено. Другого пути нет, и другого выхода не найти. – В ответе Даты были и твердость, и даже упрямство.

– Есть! – не отступала и настоятельница.

– Где, как и в чем? – спросил Дата.

– В добродетели, грешная твоя душа, в добродетели!

– А что это такое – добродетель? – рассмеялся Дата.

– Добродетель?.. Не впадай в крайность, ни когда обретаешь, ни когда отдаешь. Добродетель лежит посередине между неправедным стяжанием и бесцельной расточительностью. Где сила забыла о справедливости и мудрости, там добродетели не ищи. Ты – человек крайностей, а добродетель это умеренность. Понимаешь ты меня? – спросила мать Ефимия.

– Служить отчизне, шествуя путем умеренности и добродетели… Это в нашей-то стране! Среди нашего народа?.. Немыслимо!.. – воскликнул Дата Туташхиа.

– Тогда перебирайся в страну, где это возможно!

– А где та страна?!

– Велики грехи твои, Дата, и не таков ты, чтобы махнуть рукой на все, что за спиной, забыть и без укоров и забот дожить оставшуюся долю жизни. Изведешь себя, истерзает тебя совесть, душа позовет грехи замолить. По доброй воле ты должен принять страдание! – В словах настоятельницы прозвучал важный и неясный смысл, который она в них вложила. Но Дата Туташхиа, казалось, уловил его, понял, он подался вперед, весь – любопытство и желание знать. – Среди грузин были люди, которых жизнь вынудила к насилию, и пришлось им погибнуть, не замолив грехов. Народ забыл их. Были и такие, что раскаялись в содеянном зле и по своей воле приняли муки, дабы искупить вину. Эти люди сами замкнули круг своей жизни, и земная их судьба обрела завершенность, содеянное зло они осенили ореолом добра и мученичества, и теперь народ поклоняется им, как идолам. Насилие, совершенное даже ради добра и блага народа, лишь тогда будет оправдано в глазах народа, если искупит себя терновым венцом мученичества.

– Какой же совет дадите вы мне, мать Ефимия? – спросил Дата Туташхиа, улыбаясь лукаво.

Настоятельница была сбита с толку – я впервые видела это. Я ждала, что сейчас она начнет говорить, как всегда, твердо и прямо, на все имея ответ и свое суждение, но этого не произошло. Опустив голову и уставившись в подол своего платья, она заговорила едва слышно:

– Ты человек, которого господь одарил многими талантами. Даже мелкие оплошности таких, как ты, обходятся народу дорого, очень дорого. Одаренность страшнее бездарности, если не охраняет ее высокая нравственность и богобоязнь. В каждом поступке одаренного человека люди находят пример для подражания. Тебе нельзя больше оставаться в миру… Ты должен… постричься. Я помогу тебе… Тебя примет… под другим именем один из монастырей в России.

У Тамар Зарандиа спицы замерли в руках. Она не могла отвести глаз от настоятельницы, которая сидела, все так же опустив голову. Шалва испуганно смотрел на Дату: неужели он и впрямь похоронит себя в монастыре? Магали Зарандиа весело поглядывал на Дату, наперед

зная, что пожелание настоятельницы для Даты немыслимо. Я улучила минутку и взглянула на Дату откровенно и бесстрашно, разглядела его голубые глаза, широкую грудь…

Вдруг Ефимия изменилась в лице и, подняв голову, своим ястребиным взором впилась в Дату:

– Ты стал врагом народу и стране. Ты и сам это знаешь, но менять ничего не хочешь, потому что не по нутру тебе сидеть сложа руки. Порода у тебя такая – непременно действовать, что-нибудь да предпринимать. Что именно? Сейчас ты и сам не знаешь и не узнаешь, пока не проникнешь в глубину своей души, пока лавина новых впечатлений и знаний не вторгнется в твой разум… Монастырь, молитва, размышления, искание истины – иного пути у тебя нет! – Она подняла руку.

– «И никто не вливает молодого вина в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи, а само вытечет, и мехи пропадут». От Луки, пять, тридцать семь, – я проговорила это четко, по слогам, да и чего мне было теперь бояться, если назавтра голод и одиночество были обеспечены.

Настоятельница посмотрела на меня, и вдруг лицо ее осветилось улыбкой, да такой нежной улыбкой, будто она благодарила меня за то, что я нашла слова, противоречащие ее мыслям, и прочла их быстро и с хорошей дикцией.

– Я подумаю об этом, – сказал Дата Туташхиа, и больше о монастыре не говорили.

…Прошел год или даже больше, и однажды я спросила настоятельницу:

– Пострижется Дата Туташхиа?

– Никогда!

– Тебе понадобилось время, чтобы понять это?

– Я знала это еще тогда.

– Зачем же уговаривала?

– Так повелевал долг. Перед господом и перед Датой! Мне страшно было, что его убьют. Мне и сейчас страшно! – Ефимия воздела руку.

– «Лисицы имеют норы, и птицы небесные – гнезда. А сын человеческий не имеет, где приклонить голову». От Луки, девять, пятьдесят восемь, – сказала я, и Ефимия осенила себя крестом.

То был единственный случай, когда я видела слезы на жестком лице Ефимии.

Шалва Зарандиа: Уже близился рассвет, когда я, засветив фонарь, отправился проводить в монастырь настоятельницу Ефимию и госпожу Саломе. Хорошо помню, вот и госпожа Саломе согласится со мной, что всю ночь после этого разговора Дату Туташхиа не оставляла задумчивость. Бывает, вертится в голове мысль, но пока другой не произнесет ее просто и внятно, ты на ней своего внимания не задерживаешь. В ту пору вышло так, что Дата Туташхиа приходил к нам несколько раз подряд. Сейчас я вижу ясно и понимаю, что он пребывал тогда в тяжелом и сумрачном состоянии духа. Полной уверенности быть не может, но мне кажется, что все говоренное той ночью и настоятельницей Ефимией, и нашим отцом Магали повлияло на то, что Дата Туташхиа сам пошел в тюрьму. Не могу сейчас вспомнить точно, через сколько времени после разговора, о котором рассказала сейчас госпожа Саломе, только помню – немалое время прошло, совсем немалое, но случился в нашем доме еще один разговор, и мне опять довелось при нем быть.. Сейчас поздно, подите отдохните, а завтра утром я расскажу вам про тот разговор – успею уложиться до того, как вам надо будет идти к поезду…

Граф Сегеди

Ужин у Кулагиных отличался от других собраний подобного рода лишь тем, что был безмерно скучен. Случилось так, что я опоздал почти на два часа. Со времени моего появления ничего примечательного не произошло, если не считать того, что мадемуазель де Ламье была сегодня печальна и показалась мне привлекательнее, чем у Князевых. Раза три я поймал на себе взгляд Сахнова, будто уличающий меня в чем-то неблаговидном. Я подумал было, не сплоховал ли в чем-нибудь Зарандиа, но предчувствие мое молчало, и вскоре я уже забыл о безмолвном

негодовании Сахнова. Я оставался до половины двенадцатого, а затем, сославшись на дела и извинившись, отправился домой.

Вот и все.

В одиннадцать утра я был уже в своем кабинете и размышлял о том, зачем понадобился Зарандиа ужин у Кулагиных, как вдруг распахнулась дверь и мне доложили о Сахнове.

Он вошел, небрежно со мной поздоровавшись и тут же вытащив несколько листков канцелярского формата, сложенных вчетверо, и швырнул их мне на стол, да так, что листки, скользнув по поверхности стола, едва удержались на его краю, но меня так и не достигли.

В моем мозгу молнией мелькнула мысль, что Сахнов вызывает меня на дерзость, а так как мы были одни, он мог, будь на то надобность, представить наш разговор в том свете, в каком ему заблагорассудится. Это был бы номер сахновского толка, но обстоятельства последнего времени требовали не давать ему даже этого сомнительного преимущества. Поэтому я попросил подполковника Князева немедленно зайти ко мне.

Когда он явился, в кабинет заглянул адъютант Сахнова.

– Прошу вас, ротмистр, подать мне эти бумаги, что лежат на углу стола!

Адъютант вошел, немедленно протянул их мне и лишь тут ощутил неловкость – неужели он был вызван затем, чтобы подать бумаги, за которыми достаточно было протянуть руку?

– Что это, господин полковник? – спросил я, развертывая сложенные листки и тут же узнавая их: это была прокламация Спадовского!

– Вот плоды вашей деятельности, вашей опытности и, как я полагаю, проявление искреннейшей преданности! – выкрикнул Сахнов и разразился пространной тирадой, оскорбительной по тону и смыслу, в которой я представал безнадежно тупым идиотом и врагом престола, умышленно позорящим свой титул и звания.

А я слушал, удивляясь своему спокойствию, и даже радовался. На подполковнике Князеве и адъютанте Сахнова лица не было.

Наконец раздражение его выкипело, и он смолк, но злость его не унималась, будто все эти благоглупости выложил не он мне, а я ему.

Лишь сейчас в наступившей тишине я сообразил, чем я раздражал его на вчерашнем ужине у Кулагиных, – прокламация Спадовского уже лежала у него в кармане. И эта догадка, едва явившись мне, тут же увязалась с непонятными для меня словами Зарандиа, что он дожидается ужина у Кулагиных. Прокламация Спадовского в кармане Сахнова – это явно дело рук Зарандиа.

– Понятно! – вырвалось у меня, хотя я снова не мог понять, зачем это понадобилось Зарандиа. – Превосходно! Ну, а дальше?..

– Что значит – дальше? Вы, начальник тайной полиции и жандармского управления, видимо, ни во что не ставите… – И вновь посыпалось все, что уже было говорено и выкрикнуто.

Я послушал его и, не дождавшись ничего нового, звякнул колокольчиком. Он осекся, и, воспользовавшись его замешательством, я сказал:

– Четырнадцатого утром вас ждут в Кутаиси. Подполковник Князев, составьте депешу Симакину о том, что господин полковник выезжает. Если господин полковник сочтет необходимым, сопровождайте его.

Князев поднялся.

– Необходимости нет! – бросил Сахнов.

– Отлично! Как вам будет угодно… Прошу извинить, у меня дела. Желаю вам успеха, господин полковник!..

Сахнов поднялся, но как-то механически, и так же механически снова сел. Он не мог позволить себе уйти вот так, чтобы последнее слово оставалось не за ним. И ведь его, собственно, выставляли… Но, видно, ничего на ум не приходило, он двинулся к двери и, замешкавшись у порога, обернулся и прежним тоном, но теперь уже наигранным, сказал:

– Я буду вынужден доложить самому министру об этом вопиющем факте., да, да, вопиющем…

Я вызвал своего адъютанта.

– Зарандиа здесь? – спросил я его.

– Да! Спит у себя в кабинете…

– Спит?

– Да, он у себя с восьми утра. Пришел и заснул.

– Разбудите и попросите ко мне.

Еще через несколько минут заспанный Зарандиа опустился в кресло возле меня.

– Меня интересуют события вчерашней ночи, Мушни.

Все подробности истории с прокламацией Спадовского стали мне известны лишь по истечении длительного времени, когда все уже осталось позади. Тогда же я обнаружил, что в разговоре со мной Зарандиа кое-что опустил. Последовательность повествования требует, чтобы пропущенное было восполнено именно теперь, а не позже и безотносительно к тому, когда я о нем узнал. Кулагин получил прокламацию Спадовского по почте, часа за полтора до приезда Сахнова и де Ламье. Он прочел ее, разумеется, пришел в негодование и немедля передал Сахнову, сопроводив своими комментариями. Сахнов прочел и, конечно, нашел в Кулагине пылкого сторонника своих взглядов по поводу того, что борьба с бунтовщиками ведется в Закавказье вяло и бестолково. Словом, неприязненные взгляды Сахнова я истолковал довольно верно – во внутреннем кармане его мундира лежал «червовый» туз. После меня вскоре разошлись и гости. Сахнов, предложив Жаннет де Ламье вечернюю прогулку пешком – ночь и правда была прекрасная, – подвел ее к своей гостинице. Она отказывалась принять приглашение полковника подняться к нему до тех пор, пока он не пригрозил ей самоубийством. Тогда женщина начала медленное и правильно организованное отступление и, произнеся: «Сериоженька! Я боюсь за тебя. Ты такой… как племенной жеребчик… горяченьки, горяченьки…» – вошла наконец в номер полковника.

О перипетиях той ночи мадемуазель де Ламье рассказала Зарандиа с пикантными подробностями. Когда ванна была готова, Сахнов предложил ей войти первой. «Прежде вы, – воспротивилась она. – а когда вернетесь и уже будете в постели, в ванну пойду я. Люблю, когда мужчина ждет меня в постели, воображая, какова я сейчас в ванне».

«На войне как на войне!» – бодро согласился Сахнов и отправился принимать ванну.

Комментарии были бы излишни. Жаннет де Ламье вытащила из кармана сахновского мундира прокламацию Спадовского, развернула ее на свету и щелкнула портативным аппаратом. Через пять минут и аппарат, и прокламация вернулись на свои места.

В эту пылкую ночь мадемуазель нашла минуту, чтобы шепнуть Сахнову, что четырнадцатого числа утром должна быть в Поти, а затем по неотложным делам ей придется ехать в Одессу.

– «Восхитительное совпадение!» – воскликнул Сахнов, и на другой день его адъютант взамен двух билетов на потийский поезд взял три: два – до Кутаиси, один – до Поти.

Когда в пять часов утра мадемуазель де Ламье вернулась домой, в ее гостиной в глубоком кресле дремал Зарандиа. Она едва не вскрикнула, но Зарандиа приложил палец к губам.

– Подполковник Зарандиа, – представился он. – Ваш шеф и здесь, и за пределами Российской империи! У меня мало времени, мадемуазель!»

Зарандиа довольно подробно рассказал мне об этой ночной встрече, но и здесь опустил одну деталь: он вынудил мадемуазель проявить снятую пластинку, положить ее сохнуть и лишь после этого занялся делом. Беседа с нею, ближайшие поручения, сделанные устно, инструкции, подписание документов завяли два часа. Уходя, Зарандиа напомнил хозяйке дома, что полночь ей предстоит очная ставка с поручиком Стариным-Ковальским, а затем потийский поезд надолго, скорее всего насовсем, увезет из Тифлиса избежавшую наказания ибо это диктовалось государственной необходимостью австро-венгерскую шпионку.

Было еще не поздно. Еще можно было, да и следовало исправить все, ибо события могли принять весьма грозный оборот, стану говорить о своих чувствах – это неуместно, – я знал, то все случится именно так, и тем не менее промолчал.

Когда Зарандиа закончил свой рассказ, я сказал ему, что командующий гарнизоном пожелал присутствовать при очной ставке мадемуазель де Ламье и Старина-Ковальского, пока еще пребывающего в чине поручика.

– Сомневается? – спросил Зарандиа.

– Видимо!

– Произведем в одиннадцатой квартире. Это удобнее.

Я согласился. Одиннадцатой квартирой называлась одна из наших загородных секретных резиденций.

Без пяти минут двенадцать все были на месте. Старин-Ковальский и мадемуазель до Ламье оказались за столом друг против друга. За столом сидели также Зарандиа, Шитовцев и окружной военный прокурор Звягин. Генерал, полковник Глебич и я расположились в креслах чуть поодаль. В комнате были две двери. У каждой двери по часовому.

Очная ставка началась с обычных формальностей, и через полчаса генерал поднялся:

– Все ясно! Проводите меня!

Я и полковник Глебич спустились с ним вниз.

– Дело не должно получить огласку, его нужно завершить по возможности респектабельно, – сказал он, прощаясь с нами.

Подписали протокол. Жаннет де Ламье отправилась в город в своей коляске. Собрались уходить Зарандиа, Шитовцев и я. Поднялся и полковник Глебич.

– Вам известно, чего требует достоинство русского офицера… в подобных случаях? – спросил он уже лишенного знаков отличия Старина-Ковальского.

Старин-Ковальский взял перо и написал: «Зачем жить, когда жизнь твоя не стоит и выеденного яйца? Старин-Ковальский».

Глебич положил на стол револьвер. Старин-Ковальский протянул к нему трясущуюся руку. Прокурор отодвинул оружие и кивком головы показал нам на дверь.

Когда наши коляски тронулись, мы услышали выстрел.

На другой день командующий округом принял отставку полковника Глебича.

В тот же день люди Хаджи-Сеида, сопровождаемые адъютантом Сахнова, сдали в багаж для отправки в Петербург ковер Великих Моголов. Через несколько часов Усатов вернул ковер владельцу, и теперь уже ничто не мешало старому служаке отдаться мыслям о том, как изловить Спарапета.

Оставалась одна забота: нужно было, не выходя из рамок принятых норм, разыскать бежавшую австро-венгерскую шпионку мадемуазель де Ламье. Никаких следов она не оставила.

Мы посетили дома всех французов и других лиц иностранного подданства, живших в Тифлисе. Опубликовали афиши с портретами де Ламье. Наместник его величества потребовал от всех консульств, находившихся в Тифлисе, выдать опасную преступницу, если она воспользовалась правом экстерриториальности. Во всех поездах, отправляющихся из Тифлиса, по какому бы направлению они ни шли, проводилась тщательная проверка документов. Были блокированы все черноморские порты, и в течение двух последующих дней катера береговой охраны обыскивали все отправляющиеся из порта суда…

Операция эта началась через три часа после того, как шхуна «Дельфин» отбыла из Поти. Полковник Сахнов, сидя в это время в Кутаиси, перебирал в памяти подробности своего последнего свидания с Жаннет де Ламье.

Нам нужен был европейский резонанс о провале российской политической разведки, и мы его получили. Сенсационные заголовки запестрели на страницах европейской прессы. Затем запульсировали дипломатические каналы, и пресса получила новую порцию скандального материала. Зарандиа спешно вызвали в Петербург. Он был еще там, когда через три недели после исчезновения де Ламье эмигрантские газеты опубликовали полный текст прокламации Спадовского. Скандал обрел всеевропейский размах, однако имя полковника Сахнова ни разу нигде не мелькнуло.

Еще через две недели вернулся из Петербурга Зарандиа – цел и невредим.

Лишь сейчас он поведал мне, как попала в руки де Ламье копия прокламации Спадовского.

Жизнь вошла в свое обычное русло.

Закончив свои дела в Кутаиси, Сахнов отправился в Боржоми, где в это время принимали ванны люди его круга, провел здесь месяц и вернулся в Тифлис.

Был конец дня, Сахнов послал к Зарандиа своего адъютанта с приглашением явиться к нему.

Адъютант застал Зарандиа уже уходящим. Мушни тут же связался со мной и попросил принять его незамедлительно.

Настойчивость столь щепетильного человека не могла быть беспочвенной, и я согласился его принять.

Прежде чем отправиться ко мне, Зарандиа вынул из сейфа два больших залепленных сургучными печатями пакета. В пакетах были папки. Один пакет Зарандиа протянул адъютанту Сахнова:

– Доложите господину полковнику, что я просил его вскрыть пакет и ознакомиться с документами, в нем содержащимися. Если и после этого полковник сочтет встречу со мной целесообразной, прошу его завтра, в воскресенье, прислать свой ответ с вами на квартиру его сиятельства графа Сегеди, куда я прибуду к восьми часам вечера.

Адъютант расписался в получении пакета и, весьма озадаченный ответом Зарандиа, покинул его кабинет. Второй пакет Зарандиа привез ко мне.

– Ваше сиятельство, я не сомневаюсь, что мне не придется встретиться с Сахновым, но если это случится, я хочу, чтобы вы знали, что я ему передал через адъютанта. В обоих пакетах – заверенные копии хранящихся в моем сейфе оригиналов.

На пакете стояли грифы срочной и совершенно секретной корреспонденции. Даже если бы Зарандиа не просил, я обязан был его вскрыть.

И вскрыл.

Уже титульный лист уведомлял, что в папке содержатся документы, подтверждающие совершение полковником Сахновым государственных, политических, уголовных и нравственного порядка преступлений. Первая страница представляла собой реестр последующих документов. Я пробежал глазами первые строки реестра и услышал глухой лязг кандалов.

Взглянул на Мушни, и мне почудилось, что вместо его сухопарой фигуры, только что расположившейся в кресле, из кресла угрожающе высоко вытянулась голова свернувшейся клубком змеи… Обвинительное заключение занимало четыре страницы, а подтверждающие его доказательства сто двадцать. Личное письмо Зарандиа к Сахнову – была предпоследняя страница. Господину полковнику предлагалась альтернатива, которую надо было почесть за счастливую: расследование дела в особо комиссии министерства или добровольная отставка, предполагающая полное отстранение от дел на ниве министерства внутренних дел. Последний листок – рапорт на имя министра с просьбой об отставке, в котором недоставало лишь подписи Сахнова.

Что инкриминировалось полковнику Сахнову начальником кавказской политической разведки? В обвинительном заключении преступления перечислялись по восходящей линии: покупка краденого ковра, невежество и недобросовестное отношение к служебным обязанностям, недозволенные и злокозненные действия, направленные против кавказской тайной полиции и жандармского управления, грубейшие оплошности в учреждении службы слухов, отчего в иностранную прессу проникли нежелательные сведения, наконец, криминальные отношения с агентами разведки иностранных держав, получение от них крупных денежных сумм, споспешествование побегу крайне опасного агента разведки Жаннет де Ламье и т. п. и т. д.

Данные были обширны и тщательно сгруппированы. Чтобы изучить их, понадобилось бы длительное время, но с документами, содержащимися в папке, я был знаком и поэтому обещал Зарандиа, что ровно через сутки дело будет изучено мною во всех тонкостях.

На другой день он приехал часом раньше назначенного времени. Прежде назначенного времени приехал и адъютант Сахнова, который привез папку вместе с подписанным Сахновым прошением об отставке. Видимо, Сахнов понял, что в его безобидных наклонностях и пристрастиях Зарандиа разглядел порочный смысл, неумолимо влекущий полковника к гибели, он почувствовал, как шею его уже стягивает петля, страх подсек полковника, и, дочитывая папку, он уже понимал, что обречен. Вскоре и министр, и командир корпуса жандармов, разумеется с реверансами, приняли отставку Сахнова.

Хочу снова напомнить, как трудно было вообразить, что события, по природе своей казавшиеся несовместимыми, сольются в одну лавину и, низвергаясь, увлекут за собой и

Сахнова.

Некоторое время спустя ушей моих коснулся слух, будто Сахнов хотя и вышел в отставку, но надежды на оправдание не терял и еще долго, чуть ли не в течение двух лет, с помощью видных адвокатов пытался очернить материалы Зарандиа, но успеха не имел.

Правда, адвокаты нашли зацепку на основании двух или трех документов обвинить Зарандиа в умышленных кознях против Сахнова, но остальные документы – а их было с добрую дюжину – остались неоспоримыми. Благоразумнее было молчать, и он молчал. По прошествии еще некоторого времени я встретил его офицером генерального штаба – и довольно высокого ранга…

Один политический ссыльный на протяжении трех лет – непременно в две недели раз – присылал нам из Пермской губернии пространную жалобу, изложенную на десятке страниц, по поводу нарушения процессуальных норм в расследовании его дела. Это дело вели мы, и поэтому все его жалобы попадали ко мне. Упорство этого ссыльного навело меня на мысль, что судьбой его следует и впрямь заинтересоваться: может быть, он слишком многословно и запутанно выражает свои мысли, а правда на его стороне? Я дал согласие на доследование этого дела, и ссыльного привезли обратно. Во время одного из допросов я спросил его:

– Почему вы писала столь длинные жалобы? Вы же знаете, что чем длиннее жалоба, тем больше шансов, что она будет прочтена бегло, а то и вовсе останется непрочтенной?

– Истинная правда, но существуют дела, о которых написать коротко значит ничего не написать! Мое дело именно таково, не правда ли?

…Это было как раз такое дело.

Может быть, не было никакой надобности столь пространно излагать мои мысли о назначении людей умных и людей ограниченных, если б сама эта проблема и все события, с нею связанные, не оказали глубокого влияния на мою душу и на мою судьбу. Поэтому изложение более лаконичное было бы недостаточным, а краткость могла исказить суть.

Шалва Зарандиа

В тот раз Дата пришел часу в одиннадцатом вечера. Хорошо помню, у меня тогда были зимние каникулы. Дата постучал в окно нашего отца Магали. У них был свой условленный знак, но я об этом не знал и пошел с Магали открывать дверь.

Дата сбросил бурку и сказал, что его позвал Мушни, назвав этот день и этот час.

Зажгли лампу. Поболтали о том, что в семье, что у Даты. Вышла и наша мать Тамар, всплакнула, бедняжка, увидев сына, но и обрадовалась, что сегодня увидит их обоих, – лет двадцать они не появлялись дома одновременно. Разбудили Лизу, сироту, воспитывавшуюся у нас. Она до сих пор жива, славный человек, очень славный… Женщины принялись готовить ужин.

– А не передавал Мушни, зачем ты ему нужен? – спросила Тамар.

– Да нет. Сказал, что непременно нужно увидеться по неотложному делу, а так – больше ничего не передал.

Вопрос матери рассмешил Магали, но ей так хотелось повидать сыновей, так стосковалась она по ним, ну и спросила – что тут такого?

Не прошло и получаса с прихода Даты, как за окном послышался стук копыт. Я вышел поглядеть, не Мушни ли это. Всадник и правда остановился у наших ворот.

Мушни спрыгнул с коня, обнял меня и, на ходу забрасывал вопросами, сам отвел лошадь в конюшню, расседлал, задал ей корму и лишь после этого послал меня принести умыться.

Когда и на какой станции он сошел, я не знаю. Но рискнул в одиночку отправиться верхом в такую непроглядную темь!.. Я уже говорил вам, что в Мегрелии – и на наших дорогах тоже – появляться после полуночи было совсем небезопасно. Я не удержался и пока сливал ему, спросил, как же решился он на такое путешествие.

– Шалва, браток, – рассмеялся Мушни, – если б разбойничали столько, сколько об этом говорят, страна наша принадлежала б разбойникам.

– А наш отец так и говорит.

– Он имеет в виду других разбойников, а не тех, что на дорогах отнимают у старух

хурджины. Ну, пошли!

Сейчас я увижу Дату и Мушни вместе! Сердце мое, пока мы поднимались по лестнице, трепетало и колотилось, как пойманное. Один – абраг, другой – начальник политической разведки. И они – братья…

Сперва Мушни подошел к матери и приложился к ее руке, потом расцеловал обоих – и отца, и мать. Дата встретил его стоя, и несколько мгновений братья смотрели друг на друга. Мушни сделал шаг к Дате – двинулся навстречу ему и Дата. Они пожали руки друг другу и обнялись. Мне видно было только лицо Мушни. Он положил голову на плечо Даты и затих. А потом заговорил… Заговорил о том, как изменился брат, как постарел («больше, чем я ожидал»)… и слезы выступили на глазах у Мушни. Мне показалось, еще немного, он и вовсе разрыдается.

Запричитала Тамар, Магали бросился ее успокаивать: смотри, прибегут соседи, будут выспрашивать, что за беда стряслась. Пошли к столу, и братья сели друг против друга. Мушни все вздыхал и утирал слезы.

– Чтоб было у тебя все ладно, брат!.. А я уж как-нибудь… – сказал Дата и отпил вина.

Никому не хотелось есть, но ужин был на столе, и что-то в этом безмолвии надо же было делать. Отец благословил застолье, все перекрестились и принялись за еду.

– Я вижу, Дата, – заговорил Мушни, – ты пришел точно в назначенное время. Изменил испытанной привычке?

– Ты еще не заслужил от меня оскорбления.

– Не понимаю?

– Я пришел в то время, которое ты назначил. Меня звал мой брат и честный человек, и, не приди я вовремя, это означало бы, что я сомневаюсь, что ты мой брат и рыцарь. Я не мог себе позволить усомниться в тебе.

Магали улыбнулся, гордый ответом Даты. Тамар уткнулась в свое рукоделие – один сын не должен был заметить радости, доставленной словами другого сына.

– А что бы ты сделал, если б кто-нибудь, назвавшись моим именем, устроил здесь ловушку? – спросил Мушни, улыбнувшись.

– Твою просьбу передала мне Эле, – Дата не поддержал шутки брата, – и условия встречи принесла она, и о моем согласии ты от нее услышал. Чужие не вмешивались в наши переговоры. Кто же мог поставить западню, Мушни?

– Случай. – Мушни все улыбался.

– Случай? – Дата взглянул на Мушни, чтобы понять, куда он клонит. – Для случая я всегда должен быть готов.

Кусок мяса, поднесенный было ко рту, лег на тарелку. Мушни поднялся, и взгляд его ощупал все стены и углы.

– Где твое оружие, Дата?

– Со мной лишь это, – Дата положил руку на чоху. – Остальное спрятано… Приходить сюда с оружием?.. Что бы ты подумал?

Магали тоже обвел глазами комнату, только теперь заметив, что Дата без оружия.

– А за пазухой у тебя что – как прикажешь считать? – спросил Мушни, помедлив.

– Я привык к оружию. Без него мне не по себе. Так и считай.

Ужин проходил в молчании, каждый глядел в свою тарелку, а я потихонечку поглядывал то на братьев, то на мать с отцом, то на сестру.

– Какое же это оружие? – Мушни не поднимал глаз.

– Наган.

К той поре возраст и горести совсем сломили нашу мать Тамар. Она вся согнулась. Но тут вытянулась как струна и сидела прямо и напряженно. Странно было видеть это. Она переводила взгляд с одного сына на другого, и взгляд этот был строг и непримирим. Я был воспитан ею и знал это ее состояние – оно овладевало нашей матерью, когда она чувствовала себя оскорбленной или сердце ее предвещало беду, нависшую над ее детьми. В эти минуты она была как тур на краю обрыва. Напрягся и Мушни. Положив нож и вилку, он долго вглядывался в лицо Даты и наконец сказал:

– Достань его. Хочу посмотреть.

Дата не понял брата.

Мушни взглядом показал на грудь Даты.

Дата помедлил, наверное, не больше мгновения, вытащил из-за пазухи наган и, положив его на ладонь, протянул Мушни. Мушни разглядывал оружие, не притрагиваясь к нему, а потом взял и, раскрыв барабан, повернул к нам.

В цилиндре был один патрон.

– Нервы у тебя, как погляжу, стали сдавать! – сказал Мушни и, захлопнув наган, вернул Дате. – Стареть начал. Не рановато ли?

– Что здесь происходит? – Голос Магали был строг и холоден.

– Пусть сам скажет, – отозвался Мушни.

Я ничего не мог понять, но у меня свело дыхание, бросило в жар и голову как тисками схватило.

– Неужели страх смерти так овладел твоей душой, что ты готов к самоубийству? – спросила мать.

Дата рассмеялся и покачал головой.

У Мушни дрогнули скулы и, мне показалось, свело подбородок.

– Что… – Голос его сорвался, и он должен был начать снова. – Чего ты ждал?

– Ты же сам сказал – случай! – спокойно ответил Дата.

– Уймитесь! – приказала мать, и все вошло в обычное русло. – Такая смерть была бы не одной твоей смертью, Дата… Пусть и Мушни знает. Это для всей семьи позор!

Получалось, что Мушни способен на измену и западню. Мушни понял это и вспыхнул, но возразить матери не посмел и, справившись с собой, сказал, тяжело роняя слова:

– Если я паду до того, в чем Дата и вы, матушка, меня заподозрили… тогда и правда лучше вам наложить на себя руки, чем иметь такого сына и такого брата.

– Не то говоришь… – начал было Дата, но мать его перебила.

– Не вами начинается и не вами кончается наша семья и род наш. Помните это! У нас с отцом есть сыновья и внуки, до нас были деды и прадеды, и кости их еще не истлели. Мы живем, окруженные большой родней. Человек жив человеком!

– Мы оба это знаем, мать, – тихо сказал Дата. – И никто из нас еще ни разу не осрамил свою семью дурным поступком.

– Больше не хочу об этом, – холодно сказала Тамар, но ее остановил наш отец.

– Если еще раз Мушни позовет тебя, но червь сомнения шевельнется в тебе, Дата, иди к нему с оружием. Встретишь измену – с тобой оружие, уйдешь из западни, тебе не привыкать. Если узнаешь, что западню поставил Мушни, поступай, как найдешь нужным, но чтобы никто на этом свете, ни один человек, не узнал и не понял, где здесь концы. Когда в честной семье заводится подлец и негодяй, никто в семье не имеет права обращать совершенное злодеяние в проклятие всего рода. Честь семьи должна оставаться незапятнанной и ныне, и в грядущем. Я учил вас: в своей стране ты посланец своей семьи, вне страны – посланец своей родины, ибо на родине твои поступки – это лицо твоей семьи, а за ее пределами они лицо твоего народа. Это и есть праведная жизнь, Дата. И ты, Мушни, тоже должен это понять.

– Я уже сказал, а теперь скажите вы, отец: прийти к брату с оружием – оскорбление для него или нет? – спросил Дата.

– Так ведь… – начал было Мушни, но Дата поднял руку:

– Одну минуту… Случай, как назвал это Мушни, или что другое – исключать нельзя?

– Всякое бывает, – согласился Мушни.

– На меня, допустим, напали, одолели, скрутили по рукам, ногам – возможно же такое… Что тогда скажут люди? Что брат отправил брата на каторгу или там на виселицу. Выпадет иной случай – что выбрать, что предпочесть?

– Пусть скрутили тебя по рукам и ногам, – сказал Магали, – пусть волокут на виселицу, все равно кричи всем и каждому, что брат твой тут ни при чем. Враги брата – они виноваты!

– Хорошо, отец, но мой разум и мое сердце, пока меня до виселицы еще не доволокли, в чем свою опору должны иметь, свою твердь? Существует ли для них пристанище?

– Твой удел – страдание, твоя участь – мученичество. Так положил господь бог. Ты поставил перед собой цель, достойную страдания. В том, что ты сделал, – Магали глазами

показал на оружие, покоившееся у Даты за пазухой, – забота была лишь о себе и о своем сердце и разуме, Дата, а к чему это приведет – тебе было все равно.

– Это что же выходит, человек даже своей смертью распорядиться не вправе? – усмехнулся Дата.

Молчали долго.

– Столько лет не виделись, а ничего лучшего не нашли для разговора, – сказала Тамар. – Не сумела я посеять в ваших сердцах любви друг к другу.

– Как раз напротив, мать, – воскликнул Мушни. – Просто провидение развело нас по таким разным путям, что… На нашем месте другие братья давно превратились бы в смертельных врагов.

– Пора о деле говорить, – сказал Дата. – Мне надо уйти этой же ночью.

– Так-то лучше, – оживился Мушни.

Но начать сказалось трудно. Он ходил вокруг да около, очень осторожно подкрадываясь к сути дела.

Очень он был умен, Мушни. Все, что говорили и советовали Дате разные люди и в разное время, он собрал, обдумал, подвел основание и приготовился Дате выложить. Тут было и то, что Дата старел и с каждым днем тускнели способности, без которых абрагу не жить, и теперь уж совсем просто найтись человеку, который без труда прикончит Дату. И то, что он своим братьям стал поперек пути, а старики из-за него извелись, исстрадались. Говорил он и о том, что жизнь Даты неправедна, что висит на нем великое множество грехов, а другие из подражания ему насильничают. Народу же от всего этого огромный вред. Не забыл он поставить ему в упрек и то, что прежние его покровители и благодетели обратились в его врагов, и все, что Дата делает для народа, как раз против народа и оборачивается. Чего только не припомнил Мушни, один бог ведает! То, что он говорил, и то, что приходилось мне слышать раньше, было так схоже, просто слово в слово, что во мне шевельнулась мысль: не подговорил ли он заранее всех этих людей? Может быть, и Дата думал о том же, но иногда у него была такая манера слушать, будто он и не слышит, о чем говорят, а сам думает о своем. Часа полтора выкладывал Мушни все, что надумал, и под конец сказал:

– Вот как все оборачивается, брат, а теперь я бы хотел узнать, как собираешься ты жить дальше?

– О монастыре мечтает… – рассмеялся Магали. – В монахи хочет постричься. Настоятельница Ефимия обещала устроить его в монастырь где-нибудь подальше, в России, под чужим именем.

Дата улыбался и, как мне показалось, не думал отвечать, но Мушни в упор смотрел на него, ждал.

– Все, что ты говорил, было обо мне. Но чего ты сам хочешь, скажи, Мушни. А тогда уж я подумаю, отвечать тебе или нет, – сказал Дата.

– Меня переводят в Петербург, Дата!

Все, кто был за столом, уставились на Мушни затаив дыхание. Только Дата сидел, не поднимая глаз.

– И, наверное, на большую должность? – Дата по-прежнему не поднимал головы.

– Очень большую. Ты же познакомился с полковником Сахновым, этим сукиным сыном… На его место… С год послужу, а потом обещают перевести выше… Но место, видишь ли, такое… Министром я, конечно, не стану, но в иностранных делах государственного значения ни государь, ни его министры шагу без меня не сделают. Я говорю о разумных шагах.

– А куда же полковника денут? – спросил Дата.

– Без места не останется. Устроят.

Тамар лишь сейчас оторвала взгляд от сына и снова уткнулась в рукоделие. Я заметил у нее слезы. Заметил их и Магали.

– Они стареют, жена. У каждого свой путь. Чего же здесь плакать?

– Сделаюсь большим человеком, мама, легче мне будет стать для вас с отцом хорошим сыном, – успокоил ее и Мушни.

– Что сулит тебе эта перемена? – спросил Дата.

– Чин тайного советника, – усмехнулся Магали.

– Чин представляется согласно должности, – холодно заметил Мушни. – Жду многого. Своему народу и своей родине смогу принести пользы куда больше, чем прежде. Этого я жду раньше всего. Сейчас я ничто, меня никто не знает, и я не собираюсь предъявлять никому никаких счетов. Но я многое сделал уже и сейчас. С той высоты, на которую я смогу подняться, я состоянии буду и много увидеть, и много сделать.

– На эту высоту многие поднимаются с ношей добрых намерений и обещаний, а потом, смотришь, ничего не свершилось, ничего не сбылось, – сказал Магали. – Так и бывает, когда большим человеком становишься на чужой службе. На государственной службе будешь делать то, что выгодно царю и вредно твоему народу.

– Не с тем человеком говорите, отец. Я служу престолу лишь потому, что не вижу пока для своей родины и для своего народа лучшего настоящего и лучшего будущего. И по сей день, и сегодня, в этот час, я делаю только то, что считаю полезным моей стране. Так будет до гробовой доски. Если политики и революционеры найдут путь, который должен привести мой народ к лучшему будущему, и я в этот путь поверю, никто раньше меня не станет на их сторону. От своего нового поприща я жду еще одного. Мне уже удалось разрешить немало тяжелых и запутанных дел. На моей нынешней службе большего сделать уже нельзя, тесновато нынешнее мое поприще. Я живой человек, мне доступно большее, чем я делаю, и я хочу знать, где предел моим возможностям. Мне нужен простор.

– Ты правильно решил, Мушни, – сказал Дата. – Но я вижу, что-то тебе мешает. Скажи – что?

– Ответ нехитрый. Один брат двадцать лет ходит в абрагах. А другой будет занимать при дворе высокое положение? Нескладно получается! – Мушни произнес это громко и раздраженно.

– Ну, а дальше? – Наш отец Магали вдруг оживился и, навалившись грудью на стол, уставился на старшего сына.

Поднял голову и Дата.

– Обо всем говорено, и уже много раз, – сказал Мушни. – Зачем повторять? А где выход – об этом мы ни разу не говорили, если не считать совета настоятельницы Ефимии уйти в монастырь. Есть выход, о котором я сам договорился с министром внутренних дел. Дата должен сдаться и добровольно сесть в тюрьму. Он получит пять лет. Наказание будет отбывать в Грузии. Потом его освободят, как всех, кто отбыл срок. Что все будет так, а не иначе, я отвечаю перед семьей, братом и собственной совестью.

Магали заговорил было, но Мушни остановил его.

– Погодите, отец! Не будем говорить об этом сейчас. Пусть Дата сам обдумает. У него есть полгода. Если он найдет смысл в том, что я сказал, – я перед ним. Не найдет – мы останемся для него такими же, какими были всегда. Я думаю, больше говорить сейчас не о чем.

– Пусть так и будет! – сказал Магали. И вообще никто не сказал ни слова.

Минут через десять Дата поднялся, оделся, простился со всеми и уже с порога сказал Мушни:

– Я подумаю.

Но тут же повернулся, подошел к Мушни, обнял его, расцеловал и сказал:

– Чистота нашего братства важнее твоих и моих дел, Мушни.

Не знаю, сколько прошло времени после ухода Даты и сколько тянулось наше молчание.

– А ведь он прав! – сказал Мушни, мне показалось, самому себе.

Вот как все было.

Конечно, такому честному человеку, как Дата, другого пути не было, как пойти и сесть. И все-таки я уверен: было что-то еще, что толкнуло его на этот шаг.

Больше ничего я об этом не знаю, а что сам Мушни не понимал, как решился его брат на такое дело, я вам уже говорил.

Граф Сегеди

… Пир кончился, и пора бы после похмелья прийти в себя и понять, что же произошло. Сам полковник Сахнов и участь, его постигшая, уже мало занимали меня. Не занимал и

Зарандиа в той мере, как в былое время, когда история эта только разворачивалась. Я пытался окончательно, ясно и четко понять, какой духовный ущерб я потерпел и потерпел ли вообще. Остался ли я в последние годы на высоте своих принципов или превратился в грозу мышей и дешевых лубков? В душе моей царил хаос, ни одна из являвшихся мне догадок не казалась справедливой и достоверной. Во мне должен был свершиться перелом, – я чувствовал его приближение с каждым часом.

В том состоянии, в каком я находился, следовало незамедлительно вызвать Зарандиа, выяснить наши отношения и в этой беседе найти истинную оценку всему происшедшему. Тому, однако, мешали препятствия совершенно особого рода. Когда два человека позволили себе однажды миновать беседу, необходимую им обоим, отложили ее на будущее – во второй раз, в третий – сочли вообще неуместной и в конце концов предоставили событиям течь по их собственной воле, – в таких случаях подобная беседа чем дальше, тем больше представляется щекотливой, тягостной и даже невозможной. Помню, как в студенческие годы один мой товарищ попросил у меня взаймы небольшую сумму денег. Вернуть вовремя он не смог и тогда стал избегать меня, так в конце концов и не отдав денег, потому что стыд за нарушенное слово присовокупился постепенно к стыду за долг, слишком уж задержанный. Я думаю, что этот пример хорошо поясняет мою мысль. Помимо этого, беседа с Зарандиа могла подтвердить существование некоторых весьма неприятных обстоятельств, которые мне казались довольно гипотетичными и поэтому не так уж донимали мою совесть, а наша беседа с Зарандиа могла бы констатировать их как аксиому. Но пришел день, когда все эти подспудные соображения предстали передо мной с обнаженной откровенностью, и я ужаснулся, увидев, как труслив я, безнадежно загнан и беспомощен. Тогда, отложив все дела, я вызвал Зарандиа. Он только что, дня два-три назад, вернулся из Петербурга.

Зарандиа вошел и сел, видимо понимал, зачем я его позвал. На какую-то секунду это удержало меня от разговора, но я преодолел себя и сказал:

– Мушни, то, о чем я собираюсь говорить с вами, весьма серьезно. Я жду от вас полнейшей искренности и прямодушия. От того, как сложится наша беседа, зависит многое, очень многое!

– Ваше сиятельство, я весь внимание!

Едва я попытался начать, как мне показалось, что все и так ясно и говорить, собственно, не о чем.

Зарандиа ждал. Первый вопрос был очень труден для меня. Не потому, что мне трудно было определить тему беседы, а потому, что в сложном сплетении явлений я не мог уловить главного. Может быть, мне мешал страх, ибо я боялся, как бы в первой же моей фразе не обнаружились смятение и слабость, владевшие мной.

– Я хотел бы знать, что вы думаете о правомочности и справедливости действий, предпринятых нами в адрес полковника Сахнова?

Зарандиа не торопился с ответом, думал. О чем? Ответ на мой вопрос был ясен ему с самого начала во всех бесчисленных своих оттенках – в противном случае он не открыл бы кампанию против Сахнова. Мой опыт взаимоотношений с Зарандиа не оставлял в этом сомнения.

– Ваше сиятельство, я хотел бы уточнить, на что именно должно мне отвечать: каков мой взгляд на подобные действия вообще, или же вы имеете в виду лишь случай с полковником Сахновым?

Я рассмеялся от всей души – почему Зарандиа медлил и размышлял, мне было совершенно понятно.

– Мушни, способы, с помощью которых вы строите свои отношения с людьми, стали неотъемлемыми и непременными свойствами вашей психики. Механизм этих отношений действует в вашей душе всегда, независимо от того, есть необходимость в его работе или нет. Вопрос, который вы сейчас мне задали, был контрвопросом, рожденным вашим желанием, может быть, подсознательным, немедленно перехватить инициативу в предстоящей нам беседе. На этот раз беседу предстоит направлять мне. Отвечайте, и как можно короче.

– Возможно, вы правы, ваше сиятельство, я не задумывался над этим. Вряд ли, однако, свойство, о котором вы говорите, есть свойство отрицательное. Теперь отвечу на ваш вопрос:

действовал я, ваше сиятельство, но отнюдь не мы.

– Я вам не помешал, не остановил вас, хотя знал лишь главное, второстепенное же – чувствовал. Действовали мы, а не вы один. Продолжайте!

– Есть и другой ответ: действовал Сахнов, а не мы.

– Мы не страусы, Мушни. Не будем прятать голову под крыло! Признаем бесспорным то положение, что действовали мы вдвоем.

– Вы отрицаете версию, которую министр внутренних дел и шеф жандармов, каждый сам по себе, признали как единственно истинную?

– Приняли от вас, и приняли потому, что другие версии их не устраивают.

– Отлично! Теперь для того, чтобы установить, правильны ли наши действия, выясним, из чего мы исходили. Из интересов державы и престола, не правда ли?

– Правда. Но одно дело – правильная исходная позиция, а совсем другое – насколько действие, предпринятое с правильных позиций, правильно и само по себе?

– С точки зрения той позиции, из которой мы должны исходить и во всех случаях исходим, наши действия в отношении Сахнова я считаю целесообразными и правомерными, – твердо сказал Зарандиа и еще более твердо продолжил: – Отдавать в его руки важные бразды правления, важнейшие в державе, – нет, это немыслимо! «Убогая душа!» – это вы о нем сказали, и это ваше воззрение я разделяю и готов защищать. Единственный аргумент, граф, который вы могли бы принять как возражение, это возражение против способа наших действий, которые могли быть другими – общепринятыми и узаконенными. Но чтобы получить желаемый результат, как должны были мы поступить, что предпринять? Ни один из нас не ответит на этот вопрос и не может ответить. Почему? Потому что других путей просто не существовало – вот почему. Я говорю, разумеется, о реальных и верных путях, а не о тех сомнительных и ненадежных полумерах, которые способны были лишь упрочить положение Сахнова, но отнюдь не наше. То, что мы предприняли, раньше всего необходимо было державе, а уж затем вам и мне.

– Нашим оружием были провокация, вероломство, гнусность, господин Зарандиа… – Меня прервал смех Зарандиа, веселый и свободный… – Чему вы смеетесь? Или я не прав?

– О, нет, ваше сиятельство, вы по-прежнему правы, по-прежнему, но… извольте простить меня, вы пересели в другое кресло и говорите оттуда! С точки зрения абстрактной нравственности все, что вы говорите, справедливо! Совершенно справедливо! Но я недаром спросил вас, какого ответа вы ждете от меня – общего или совсем частного, касающегося лишь Сахнова, его одного? Quod licet Jovi, non licet Bovi.[22] Не нарушая норм общечеловеческой справедливости и нравственности, в наше время немыслимо сохранить благоденствие государства. Это исключено. Но если большинство людей перестанет соблюдать нормы справедливости и нравственности, конец не только государству, но самой жизни. Коварство и зло – вот то оружие государства, с помощью которого оно должно заставить общество соблюдать нормы справедливости и добра. Заметьте, граф, я говорю: *должно заставить соблюдать* .

– Это макиавеллизм, господин Зарандиа!

– Да, макиавеллизм! Он был мудр и добр, этот человек, но его принято считать негодяем лишь потому, что он откровенно сказал всему свету то, что другие делают под маской добра, преступая все нормы и принципы. Провокация, вероломство, гнусность – это все ваши слова, – которые мы использовали против Сахнова, вытекали из интересов государства!

– Следовательно, и вы считаете государство злым началом.

– Империю – да! Но человечество неустанно трудится над тем, чтобы сделать государство истинным источником добра.

– Оказывается, у вас и у друзей вашего двоюродного брата одни взгляды, Мушни!

– С той лишь разницей, ваше сиятельство, что, будь их воля, они сегодня же уничтожили бы империю. Я же предпочитаю ждать.

Больше мы не говорили. Это было первый раз, когда я увидел воочию, с какой

---

[22] Что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку (лат.)

нарастающей силой разгорается всемирный дух разрушения государства. Я стоял в центре событий и знал, что во всем мире безмерно возросло число людей, которые панацеей от всех общественных противоречий считают разрушение. Не рецепты Прудона и Бакунина, зовущих упразднить самый институт государства, но разрушение империи с целью создать совсем новое государство. Этот дух охватил все слои общества и заставлял считаться с собой. Что ждало нас? Может быть, мы находимся в преддверии того периода истории, когда вдруг объявится какой-нибудь проходимец и скажет: я царевич Дмитрий, и русская земля окажется объятой волнениями и смутой? Или новый Емелька Пугачев объявит: я воскресший Петр III, принц Голштинский, и миллионные толпы с косами, вилами и дубинами двинутся на пушки? Или возникнет нечто новое, немыслимое прежде и никогда страной не испытанное? Или всякая империя, и наша собственная тоже, стала энергетическим началом зла, значит, я, ее покорный и верный слуга, отдавал свои знания, опыт, энергию и способности тому, чтобы это зло осуществилось. Большинство же политических заключенных, которые проходили через мои руки, состояло из честных, прямодушных и благородных людей. Именно они стремились разрушить империю, а не отребье, не подонки.

В этой ситуации где место благородного человека, где место верного сына своей отчизны? Из какой концепции исходить? Какую нравственную позицию принять, пусть даже абстрактную?

Дни шли за днями, один месяц сменял другой, а я, как навязчивый мотив, повторял самому себе всевозможные доводы и соображения, вычитанные, услышанные или вынесенные из собственного опыта. Однажды, дремля под бритвой парикмахера, я подумал, что лучше всего было бы подать в отставку и наблюдать события со стороны. Постепенно я стал понимать, что, лишь удалившись от дел, смогу обрести справедливые убеждения и достойное место в жизни. Эта мысль застряла в моем сознании подобно гвоздю, и каждый довод в пользу отставки молотом бил по этой мысли.

Наконец настал день, когда в моем сознании не осталось ни одного аргумента против отставки, и я не стал медлить. Ранней весной 1904 года я подал министру рапорт об отставке и в ожидании ответа притаился как сыч. Логика обстоятельств вела к тому, что моя просьба непременно будет удовлетворена. Великий князь с нескрываемым раздражением спросил министра внутренних дел о том, как могли с такой легкостью поступиться его крестником. Министр ответил, что другого выхода не было, но что врагам крестника великого князя он воздаст по заслугам. Моя отставка давала министру возможность это обещание выполнить: великому князю предстояло доложить, что возвратить его крестника нельзя, зато граф Сегеди – вот оно, выполненное обещание, – подал в отставку.

Но и теперь не обрел я покоя. К прежним моим заботам прибавились новые: отпустят или нет? Охотно или сожалея? Достойно или вышвырнут, как яблочный огрызок? В моем возрасте следовало бы руководствоваться жизненным опытом и благоприобретенной мудростью, однако душой моей – признаюсь – овладела суета. Каждый знает: когда душу твою теснит забота, то мучительно хочется поделиться своей бедой и найти умного, проницательного собеседника, знающего толк в его деле, исполненного доброжелательства. В своем кругу я не смог бы найти такого собеседника, исключая разве что Зарандиа, а один бог знает, какой червь точил меня, как томила жажда беседы об этой моей печали. Стоило мне остаться одному, как мысли мои набрасывались на меня, и я тщетно рылся в памяти, ища того, с кем бы поговорить о сомнениях, меня одолевавших. И однажды передо мной выплыла фигура Сандро Каридзе. Я прогнал это видение – можно ли делиться своими душевными невзгодами с человеком, столь мне далеким, но тут же подумал, что с таким человеком, каким представлялся мне Сандро Каридзе, я с превеликим удовольствием провел бы вечер или два. Прошло совсем немного времени, и его фигура снова а в моем сознании, и снова я отверг мысль о встрече ним, однако, помимо своей воли, все настойчивее стал припоминать где же сейчас находятся люди, окружавшие когда-то Дату Туташхиа и Нано. Я вспоминал каждого из них, но ни один не нужен был моим невзгодам, и все же – неожиданно для самого себя – я вызвал вдруг своего помощника и приказал ему выяснить, где находится сейчас Сандро Каридзе. Помощник был уже в дверях, когда я окликнул его и приказал принести и досье Каридзе.

Через час я узнал, что Сандро Каридзе, один из просвещенных людей своего народа и

времени, оставил житейскую суету и постригся в монахи в Шиомгвимский монастырь. Он не был обременен там никакими обязанностями. Напротив, к нему был приставлен послушник, выполняющий роль его личного секретаря и ведущий его хозяйство. Ему позволено было взять с собой обширную библиотеку, и все время он посвящал занятиям. Известно было, что Сандро Каридзе много пишет. О чем? И это было известно. Нет, он не писал теологические трактаты. Его труды имели направленность социальную, нравственную и политическую. Одни их названия тому свидетельство: «Человек и его назначение», «История и нравственность», «Личность, народ, человечество», «Гражданин и государство», «Политические деятели и народы». В досье содержалось и заключение нашего агента: «Писания господина Каридзе подрывают христианскую веру и направлены против престола». В этом была своя ирония, ибо то же досье утверждало, что жизнь свою Сандро Каридзе начал крайним монархистом. Что поделаешь, и здесь та же картина: Mutantur tempora, et nos mutamur in illis[23]

Уже эти сведения были чрезвычайно для меня важны, однако, когда я познакомился со всеми материалами, содержавшимися в досье Сандро Каридзе, у меня перехватило дух. Сопоставив несколько агентурных донесений, я выяснил, что у Каридзе четырежды побывал человек, внешность, манеры, мегрельский акцент которого и еще некоторые признаки свидетельствовали о том, что Сандро Каридзе посещал господин Дата Туташхиа… либо господин Мушни Зарандиа!..

Это было похоже на спиритический сеанс, с той лишь разницей, что дух был вызван мною не с того света, а из мира сего. Я решил повидаться с Сандро Каридзе не откладывая, но еще немало времени ушло у мена на новые сомнения и на раздумывания по поводу того, каким образом устроить эту встречу. Встреча должна была казаться случайной. Для этого следовало изучить распорядок дня Сандро Каридзе, время его отлучек из монастыря, излюбленные места прогулок и многое другое. И еще одно: о моей встрече с Каридзе не должен был знать Зарандиа, во всяком случае прежде, чем она произойдет. Я хотел этого свидания из личных побуждений, и Зарандиа, то есть служба, был тут ни при чем. И другое: если бы неизвестный человек, четырежды посетивший Каридзе, оказался Датой Туташипа, я разумеется, попытался бы повидаться и с ним, но руководствуясь лишь собственным к нему интересом, а никак не служебным долгом. И с этой точки зрения вмешательство Зарандиа было бы для меня нежелательным. Вполне вероятно, что у Каридзе побывали и оба: и Туташхиа и Зарандиа, и агент принял за одно лицо двоюродных братьев, похожих, как близнецы Зарандиа, разумеется, не был в эполетах, а Туташхиа не был обвешан оружием – наверняка они явились к Каридзе в обычном платье, одетые схоже.

Я должен был соблюсти осторожность и предусмотреть вес мелочи еще и потому, что наш агент мог сообщить своему вербовщику о моем посещении. Первая встреча должна была произойти вне стен монастыря, где-нибудь на случайной дороге, может быть, на железнодорожной станции. И один на один, без послушника. Набросок плана уже был в моей голове, и я начал с того, что установил, на кого работал приставленный к Каридзе агент.

На Зарандиа!

Все рухнуло, и я подумал о том, что фигура Зарандиа вот уже несколько лет все время маячит возле меня, следуя за мной как тень. Еще немного, и в психике моей начнутся сдвиги, я начну постепенно сходить с ума. На одно могу уповать – на свои крепкие нервы и на твердое убеждение, что жизнь и должна состоять из неожиданностей.

Словом, мне не оставалось ничего, как отказаться от своего намерения либо же воспользоваться путями, которые открывал Зарандиа. На этот выбор тоже ушло немало времени. В конце концов я снова решил поговорить с Зарандиа, и однажды, когда мы были одни, я спросил:

– Мушни, где находится сейчас бывший чиновник цензуры, друг господина Туташхиа Сандро Каридзе?

– В Шиомгвимском монастыре, ваше сиятельство. Он постригся в монахи. – Зарандиа улыбался.

---

[23] Меняются времена, и мы меняемся вместе с ними (лат.)

– Я знаю об этом. Чем вызвана эта метаморфоза, как вы думаете? Говорят, по натуре своей он человек сугубо мирской.

– Все выяснено, граф. С Каридзе работают два агента, независимо друг от друга. Мы имеем поэтому возможность проверять сведения. Он сочиняет политические трактаты и ищет пути реформации христианской веры. Таково, по крайней мере, наблюдение и мнение одного из наших агентов. По всей видимости, именно эти занятия привели Каридзе в монастырь. Не исключено, однако, что и семейный разлад сыграл в этом некоторую роль. Монахи Каридзе не любят, за спиной называют его пиявкой и дармоедом. Зато ему покровительствует настоятель, с которым они единомышленники. Настоятель споспешествует Каридзе в его трудах.

– Что заставило вас интересоваться Каридзе?

– Заинтересовался штабс-капитан Лямин. Ему понадобилось узнать, чем занимается Каридзе в монастыре, и он осведомился, нет ли у меня там агента. Агента у меня не было, но найти его труда не составляло. Сначала – одного, потом – второго. Пока Лямин выяснял все, что его интересовало, обнаружилось случайно, что Каридзе не прерывал связи с Датой Туташхиа.

– Вы уверены, Мушни, что лицо, четырежды побывавшее у Каридзе, именно Дата Туташхиа?

– Четыре посещения отмечены в досье, ваше сиятельство, – рассмеялся Зарандиа. – А так… а так он появлялся в монастыре и до того, как там начали работать наши агенты. Из этих четырех посещений два – Даты Туташхиа, два – мои. В первый раз я отправился туда, просто чтобы побеседовать с Сандро Каридзе и попросить его посредничества в моих переговорах с Датой Туташхиа. Во второй раз мне надо было выяснить, согласен ли Дата Туташхиа встретиться со мной.

– И что же? Согласился?

– Нет, ваше сиятельство.

– Почему?

– «Что бы ты ни сказал, мне давно известно, а будет нужда нам увидеться, я и сам тебя найду», – Зарандиа был весел.

– Я бы хотел встретиться с Каридзе, Мушни.

– Я передам ему это, граф, и он не откажет вам. У меня лишь одна просьба… возьмите меня с собой.

– С удовольствием! – я и секунды не размышлял.

Эта встреча произошла в Схалтба, и с нее началось наше сближение. Я был тогда уже в отставке. Позже я купил дачу в Армази и большую часть времени проводил там. От Армази до Шиомгвимского монастыря семь-восемь верст, и это еще больше приблизило меня к Сандро Каридзе. Не проходило месяца, чтобы мы не встретились, а случалось, и по нескольку раз. Но сначала о первой встрече.

Схалтба расположена над скалами Шиомгвими. Как и было условлено, мы явились к старосте, у которого был крохотный домишко в две комнаты.

– Хозяин! – позвал Зарандиа.

Вокруг дома тянулся довольно высокий забор, но из седла можно было разглядеть весь двор. В дальнем конце сада огромным зонтом раскинулась дикая груша. Под ней стоял стол и скамьи, и сидели двое. Один из них тотчас же поднялся и пошел к калитке. Второй монах, конечно, был Сандро Каридзе.

Староста был альбинос и, разглядывая нас, часто моргал белесыми ресницами. Мы спешились и вошли но двор. Сын старосты увел лошадей. Хозяин повел нас к груше, до которой было не менее ста шагов.

Мы поздоровались по мирскому обычаю. Сандро немного волновался. Тому виной был, видимо, я. Визит столь высокого должностного лица привел его в некоторое смятение, и это не удивительно. Когда мы сели, установилось молчание, весьма тягостное и жесткое. Староста засуетился, захлопотал, разлил вино, стал угощать, не успокоившись, пока мы не взялись за ножи и вилки. Сандро Каридзе обвел медленным и пристальным взглядом поля, зеленевшие по склонам, и заговорил о видах на урожай. Он говорил подробно и долго, видимо чувствуя, что надо заполнить пустоту.

Мне вдруг пришла в голову мысль: а недурно было бы, если б сейчас возник вдруг Дата Туташхиа. Как бы встретились братья? Нет, встреча Мушни Зарандиа и Даты Туташхиа просто терзала мое любопытство. Я уже говорил, что Зарандиа самозабвенно любил Дату Туташхиа, считал его родным братом и видел трагедию в его скитальческом существовании. В этом чувстве сказывалась истинная человеческая сущность Мушни Зарандиа, но совершенно обособленно в нем жило и действовало неукоснительно и независимо ни от чего чувство долга, чувство служебной ответственности, тоже вытекавшее из истинных и глубоко личных его убеждений. Не злоба и ненависть питали эти убеждения, но им владел демон, совершенно особый демон, который «не мог иначе». С поразительной настойчивостью и азартом, стоя насмерть, боролся он с Датой Туташхиа… нет, не с ним – с феноменом Даты Туташхиа. Эти два начала, человеческое и демоническое, действовали совокупно, не порождая душевной раздвоенности, и в этом выражалась цельность и своеобычность натуры Зарандиа.

Сославшись на дела, староста извинился и ушел. То ли соображения о видах на урожай были исчерпаны, то ли Сандро Каридзе решил, что надо и другим дать рот раскрыть, но он замолчал. Я почувствовал, что пришла моя очередь разрядить наступившее молчание, и сказал:

– В этих лесах водятся хищные звери?

– Да, ваше сиятельство. В лесу часто слышны ружейные выстрелы. Видно, охотники…

– Может быть, с какого-нибудь дерева на этом склоне Дата Туташхиа разглядывает нас сейчас в бинокль? – сказал Зарандиа, обведя взглядом окружавшие нас скалы.

Я рассмеялся было, но, заметив, как нахмурился Каридзе и с каким неудовольствием посмотрел на Зарандиа, невольно насторожился.

– Если вы, господин Зарандиа, изволите шутить, то должен заметить, что шутка эта весьма неуместна. Если же ваше предположение серьезно, тогда оно святотатственно!

Ни я, ни Мушни Зарандиа не были готовы встретить в Сандро Каридзе духовного наставника, и, признаться, мы растерялись.

– Дата Туташхиа так предусмотрителен и так осторожен, – продолжал Каридзе, – что в наше время, когда малодушие охватило всех и каждого, невозможно, чтобы он доверился хоть кому-нибудь, и вам, между прочим, тоже. При этом он настолько великодушен, что свое недоверие к вам не позволит себе проявить ни в чем. Я говорю именно о проявлении недоверия.

– Господин Сандро, – сказал я, – мы оба вполне согласны с вами. – И чтобы скрасить возникшую неловкость, очень тягостную для всех троих, я спросил: – В наше время, когда, как вы изволили выразиться, малодушие овладело всеми и каждым, не кажутся ли вам анахронизмом великодушие и благородство Даты Туташхиа?

– Анахронизмом? – удивился Каридзе. – Как вы думаете, граф, во времена Ноя существовали бутылки и пробки?

Я не мог понять, куда он клонит, и, чтобы не выказать свою несообразительность, улыбнулся.

– Вино было и во времена Ноя, – поспешил мне на выручку Мушни, – следовательно, существовали и сосуды с пробкой.

– Были, конечно, были, – подтвердил Каридзе как бы самому себе. – Тогда это происходило, наверное, так: в ковчеге не осталось свободного места, и Ной, чтобы спасти Дату Туташхиа, превратил его в гнома, посадил в бутылку, бутылку закупорил и бросил ее далеко в море, чтобы после потопа ее хоть куда-нибудь да прибило и Дата Туташхиа смог бы начать новую жизнь. Руками Ноя бог сохранил для человечества великодушие и высшую нравственность.

– В отличие от богов вы, господин Сандро, чрезмерно высоко оцениваете нравственность людей времен Ноя, – заметил Зарандиа. – Сказано же, что люди пали слишком низко и потому бог устроил потоп!

– Если б Дата Туташхиа обладал нравственностью времен Ноя, тогда б он разделил участь остального человечества. Он и тогда был анахронизмом, но этот анахронизм извечно необходим.

– Вы хотите сказать, что все проходит и вечна лишь высокая нравственность?

– Именно так, независимо от того, возвеличена нравственность или попрана настолько, что лишь единицы исповедуют ее. Все равно она – вечна. Остальное то существует, то

перестает существовать. Как бы глубоко ни падало племя людское, как бы ни погрязало в разврате, сколько бы ни отдавали его боги на погибель, все равно провидение неизменно спасает Дату Туташхиа как сычужину и закваску. А ваш опыт, разве он не подтверждает мою мысль? Я говорю о том, что и по сей день вам не удалось его схватить.

– Да вы мистик, господин Сандро, – сказал я. – Сейчас все человечество твердит о новом потопе и страстно жаждет всеобщих катаклизмов. Может быть, дело идет к тому, что Дату Туташхиа снова посадят в бутылку?

Я шутил, но в шутке моей скрывался намек на то, что сочинения Сандро Каридзе нам известны, а стало быть, известна предвещавшаяся им неотвратимость революции.

– Потоп подбирается к порогу, – сказал Сандро Каридзе. – Это значит, что старое будет уничтожено и создано будет новое. В той или иной форме возникнут и Ной, и ковчег, ибо они непременные спутники подобных событий. И Дата Туташхиа обретет свой сосуд – это тоже неизбежный атрибут.

– Господин Сандро, был ли у вас с Датой разговор об этом? – спросил Зарандиа.

– И не раз, но лишь когда приходилось к слову. А почему это вас интересует?

– Потому что Ной – это я. В одной руке у меня бутылка, в другой – пробка. Уже третий год я гоняюсь за собственным двоюродным братом, силюсь уговорить его – свернись, уменьшись и влезь в бутылку. Ничего не выходит.

– Я знаю об этом. – Сандро был совершенно серьезен. – Может быть, вы и вправду Ной?

Больше о бутылке и пробке не говорили. Разговор пошел о пустяках. Наша трапеза завершилась, и мы поднялись, чтобы посмотреть сад, виноградники, марани, давильни нашего старосты. Когда мы вернулись к столу, Сандро Каридзе спросил:

– Вот вы, ваше сиятельство, начальник жандармского управления…

– Уже нет, господин Сандро… вернее, неделя-другая, и я больше не буду им!

Зарандиа и Каридзе ошеломленно уставились на меня.

– Полтора месяца назад я подал прошение об отставке. Третьего дня я получил согласие. Привезут приказ, назначат нового начальника, я передам ему дела, и… свобода, свобода! Довольно!

– Этого не может быть! – выдавил из себя Зарандиа. – Министр категорически возражал… Я сам тому свидетель…

– Возможно, я встретил поддержку в лице великого князя.

– А-а-а! – вырвалось у Зарандиа, и он надолго замкнулся в себе.

А Каридзе, придя наконец в себя, вернулся к нашему разговору:

– Вот вы, ваше сиятельство, русский патриот, утонченнейший интеллигент, вернейший ревнитель трона и существующего порядка вещей… человек мыслящий, чувствующий. Меня очень занимает… впрочем, может быть, я не вправе спрашивать…

– Говорите, пожалуйста, говорите.

Однако Каридзе долго думал, прежде чем задать свой вопрос.

– Что может взойти на развалинах Российской империи… вернее, что бы вам хотелось увидеть? – Он спросил так, словно махнул на себя рукой.

Ну что ж, я все еще был начальником кавказской жандармерии.

– Я хочу объединения всей России… в рамках одного государства. Трудная проблема, но я полагаю – так все и произойдет.

– Большинство политических течений предусматривает право народов на самоопределение, то есть расчленение империи.

– Победит та политическая сила, которая сохранит государство путем предоставления народам России права на самоопределение, – сказал Каридзе.

– Право на самоопределение, – возразил я, – означает национальную независимость, а национальная независимость народов Российской империи означает, в свою очередь, распад империи на составные части. О едином российском государстве остается тогда лишь мечтать.

– О, нет! – Каридзе, словно сердясь, помотал своей лохматой головой. – Любой нации независимость необходима, поскольку она обязательно должна удовлетворять свои национальные, гражданские и культурно-экономические интересы. Ну, а если появится политическая сила, которая под знаменем будущего всероссийского государства даст народам

Российской империи гарантию полного удовлетворения всех их национальных, гражданских и культурно-экономических интересов? Кому тогда будет нужна независимость и зачем?

– Вы не хотите принять во внимание сепаратистских, центробежных настроений, которые укоренились в народах Российской империи, – сказал я. – Они существуют независимо от того, хотим мы этого или нет.

– Это настроения национальной буржуазии и обанкротившейся аристократии, но не масс, которые в нынешней исторической обстановке стали решающей силой, сам ход истории отвел им эту роль. Сможет ли политическая мысль России предложить такой модус существования, когда освобожденные народы предпочтут сохранить единое государство? От этого зависит все, в этом корень дела.

– Но существует ли в России такая политическая сила, которая способна сохранить единство государства? Вам она известна?

– Вы, граф, не пользуетесь литературой, внесенной в Index librorum prohibitorum?[24]

– Пользуюсь. По долгу службы. Я читаю все… знаком со всем, конечно, не фундаментально…

– Тогда вы знакомы и с программой социал-демократов, точнее – с программой большевиков?

– Вы говорите о крыле Ульянова?

– Да.

– Политическая доктрина большевиков… нет, они не созрели для решения этой проблемы, – сказал я.

– Вы правы. Пока не созрели… Но они идут к этому. У них впереди еще десятка два лет, не больше. Но они единственная партия, которая понимает: создать новое единое российское государство возможно лишь тогда, когда максимально будут удовлетворены национальные и культурно-экономические потребности народов Российской империи. На других путях осуществить эту цель невозможно.

– Политики никогда не скупились на обещания, – заговорил наконец Мушни Зарандиа.

– Это верно, но Ульянов искренний и честный человек. Всем своим разумом он действительно желает благоденствия народам Российской империи. Правда и честность заложены в самом его учении. Масса плотью чувствует правду и, когда приходит срок, идет за честными идеями.

– Да вы большевик, – рассмеялся я.

– Отнюдь… – И Каридзе снова тряхнул своей лохматой головой, словно сердясь.

– Вообще-то вы беспартийный или, вроде меня, член партии, состоящей из одного человека? – спросил Мушни.

Каридзе взглянул на Мушни, пытаясь понять, не шутит ли он над ним.

– Партия – это конкретность.

– Вы располагаете обобщающим учением? – Зарандиа явно был расположен шутить.

– У меня есть некоторая система взглядов! – Сандро Каридзе по-прежнему был серьезен.

– А девиз?

– Не понимаю. – Каридзе повернул голову ко мне.

– Девиз социал-демократов – «народ». Это несколько условно. А каков ваш девиз?

– «Нация». Но и это весьма условно.

– В чем же разница между народом и нацией?

– Я не готов к разговору на эту тему. Если разрешите, отложим его на будущее. Бог даст, встретимся.

Смеркалось и, возможно, поэтому Сандро Каридзе поспешил завершить нашу беседу, а может быть, он просто устал или же шутливый тон, взятый Зарандиа, показался ему баловством и он обиделся. Мы поболтали еще минут пятнадцать – так, ни о чем – и расстались. Мне хотелось договориться с ним о новом свидании, но что-то удержало меня – ведь наша беседа совсем не сблизила нас.

---

[24] Список запрещенных книг (лат.)

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

И воззвал тогда Туташха к небесам:

– О всемогущий! Не ради забавы предался я помыслам моим, не хламиды себе ткал я из мыслей моих, паутине подобных, и не возмездия ради поднял копье мое. И не смущенный ухищрениями нечистого обрел я плоть человеческую – а во исцеление недугов рода Адамова. Но тщетным оказался разум мой и хилой десница моя. Не проросли и не дали плода семена, посеянные мною, ибо не дал ты мне дара превращения зла в добро.

И вот к тебе взываю я: даждь мне истинную долю мою, дабы наделил я ее даром все сущее на земле.

И был тогда глас:

– Не постиг ты естества человеческого, ибо не был никогда человеком. Пойди к ним – и увидишь: идут к ближнему якобы с дарами, а придя, отбирают последнее, ибо не дары они несли, а нож. Кладут печать на уста свои, дабы не осудить ближнего, а чрево их переполнено мясом и костями его. Кадят господу, а надеются на Маммону и тайно укрепляются мощью его. Но ты стой, как стоял, будет благо тебе и всему роду Адамову, ибо умножать добро и достигать совершенства – вот в чем истинное назначение человека. И снизойдет тогда на тебя благодать, и сумеешь ты сотворить добро из зла.

Вступил тогда Туташха на тернистый путь мук и страданий, и после всех терзаний душа и плоти и преодоления их вспыхнул вокруг его главы чудный свет, и все увидели его. Тогда он вернулся в мир и сказал людям:

– Послал меня всевышний к вам, дабы очистить души ваши от скверны драконьей, внемлите же принесшему себя в жертву во имя душ ваших и бессмертия их.

И отрубил шуйцу свою Туташха и бросил ее дракону.

И малые числом люди повторили подвиг и жертву его.

Но перерубил Туташха колени свои и бросил дракону.

И все малые числом сделали то же.

И потускнел цвет дракона, и ущербился огонь из пасти его.

И прочие стали тоже бросать ему куски мяса своего.

И стал дракон на две лапы, уподобляясь человеку, и отпали когти его, и в лик человеческий преобразился зев его.

Тогда вспорол грудь свою Туташха, вырвал сердце и бросил дракону. Но, не притронувшись к жертве, рек дракон:

– Не жажду я более крови и плоти человеческой.

И тогда каждый, кто обрубил члены свои, обрел их вновь.

И сказал им Туташха о драконе:

– Не трогайте человека сего, и да почиет на вас благодать превращать зло во благо.

И тогда вознеслась душа Туташха на небо, а плоть осталась на земле.

Роберт Павлович Хаплани

Видно, в вестибюле Грузинского архивного управления вывесили афишу, на которой изображена моя физиономия, а под физиономией надпись, оповещающая всех, что в течение восьми месяцев я действительно был тайным агентом кавказской жандармерии. А может быть, и не афиша вовсе, а лежит себе возле входа у швейцара на столике книга, и мои служебные подвиги внесены туда красными чернилами. Да, я служил, и о сем факте я неизменно упоминаю во всех автобиографиях и анкетах, которые мне приходится заполнять. Не так давно послали меня в Коста-Рику, на Всемирный конгресс гельминтологов. В анкете я написал, что восемь месяцев служил тайным агентом. Мне сказали – вычеркни. Я – ни в какую. Не вычеркнешь – не поедешь. И все равно я не вычеркнул. Вот так! Если и правда существует такая книга, хорошо бы в ней еще записать, что я был исключен из Московского университета за революционную

деятельность, что до первой мировой войны дважды был арестован и три года провел в оренбургской ссылке. И добавить можно, что я член-корреспондент нашей академии и с моими трудами знакомы все гельминтологи мира. Что-нибудь в гельминтологии вы смыслите?.. Ну, тогда хорошо. Должен вам доложить, что по поводу моей службы в жандармерии ко мне приходили не раз, и еще придут, я отлично это знаю. А вот моими отношениями с Датой Туташхиа еще никто не интересовался, никто не приходил. Вы первый пожаловали. Я вам говорю, приходили и еще придут. А раз так, я должен всех вас встречать в состоянии полной мобилизационной готовности.

Итак, начнем с моей генеалогии. Родословная у меня следующая. Мать по отцу – Самадашвили, по матери – Таплианидзе… выше тоже все грузины. А вот с отцом – дело сложнее. Отец по своему отцу был Капланишвили, а по матери – Парлагашвили. В материнской ветви моего отца тоже все были грузинами. Отец же мой – прошу обратить внимание – пишется Капланянцем, но отец моего отца, то есть дед мой, – Капланишвили, а отец деда, то есть прадед мой, опять-таки записан как Капланянц, и дальше выше все – Капланянцы. Конечно, все они были армяне, а вот дед захотел быть грузином и стал Капланишвили. Отец же захотел вернуться в армяне, записался Капланянцем, и Капланянцем записали меня. Но поскольку как этнический феномен я на три четверти грузин, постольку положил я себе стать Капланишвили. Под этой фамилией я и числился, будучи в тайных агентах. Когда же я приехал в Россию учиться, мне стало ясно, что моя длинная и неудобопроизносимая фамилия здесь вовсе ни к чему. Тогда я стал именоваться Каплани и благополучно жил под этой фамилией, пока эта фанатичка не выстрелила из револьвера. С тех пор я – Роберт Павлович Хаплани, хотя и приходится все время объяснять, что я не итальянец и что между Хаплани и Каплани – существенная разница. Если вам здесь что-нибудь не ясно, пожалуйте – фотокопия моей родословной. Нужны подробности? Можно обратиться в управление геральдики и генеалогии в Лондоне – Бейсуотеррод, 9. Может быть, и отыщется у них что-нибудь новенькое. Что же касается моей жизни с момента поступления в Московский университет и по сей день – пожалуйста, вот здесь все описано подробнейшим образом. Берите, берите, у меня все размножено.

Теперь – о жандармерии!

Мой отец, Павел Капланянц, был портной. Он имел собственную – прошу обратить внимание – собственную мастерскую в Тифлисе, на Пушкинской улице, рядом с магазином Адельханова. Это было нечто подобное нынешнему ателье мод. У него работали самые лучшие мастера по европейскому и азиатскому платью и по военной одежде. Тифлисская элита и бомонд состояли в клиентах моего отца.

Едва я окончил классическую гимназию, как подошел срок призыва на военную службу. Отец категорически не соглашался, чтобы его единственный сынок сложил голову на японской войне, и в один прекрасный день я узнал, что временно устроен в жандармерию.

Служба и правда оказалась временной. Послужил и кончил.. И с тех пор я невоеннообязанный. Я – гельминтолог. В чем же стояла моя служба? В слежке. Старая это профессия, можно сказать – древняя.

Вот мы и подобрались к Дате Туташхиа.

Я свидетель и участник трех революций: пятого года, Февральской к Октябрьской. Я утверждаю, что революция возможна лишь тогда, когда все общество, мужчины и женщины, старики и дети, сторонники режима и его противники – все говорят о революции. Так было в канун этих трех революций и перед каждой из них в отдельности. У всех в голове звон стоял от этого слова – «революция». В этот-то период я и служил в жандармерии. Самое удивительное, что я сам был за революцию, и вот очутился в жандармерии. Такое уж было время, воля отца была превыше всех законов – перечь не перечь.

Получил я задание и отправился в Самтредиа. Инструкция гласила, что из Самтредиа в Тифлис должен был ехать известный мне человек. Ни имени, ни фамилии его мне не сказали. Позже выяснилось, что это был Дата Туташхиа. Мне предстояло выяснить, с кем он будет встречаться на станции и в вагоне поезда, что ему скажут, что скажет он. В Тифлисе Туташхиа должен был встретить его брат, молодой человек, чуть младше меня возрастом. Если братья уйдут вместе, моя миссия могла считаться исчерпанной. Если же Дата Туташхиа уйдет со

станции один, мне надлежало слежку продолжить. Одновременно я должен был спасти его от возможного ареста – для чего меня снабдили соответствующим документом.

В Самтредиа у меня жил дядя. Я погостил денек у него и получил с собою кучу всяких гостинцев – целую корзину да в придачу еще на дорожку сумку с провизией. Корзинка и сумка были обязательными атрибутами операции – я должен был производить впечатление человека, только отгостившего у родственников. Начальству моему было известно, что у меня в Самтредии дядя и что меня в дорогу снарядят как надо. Все было предусмотрено, да и выбрали меня для этой операции, наверное, из-за этого.

Я пришел на станцию и остановился в назначенном месте. Зрительная память у меня и теперь отменная, а в молодости была… и говорить нечего. Откуда бы ни возник Дата Туташхиа я бы узнал его тут же, так как мой начальник перед самым отъездом дом показал мне какого-то чина высшего ранга и сказал: «Запомни его, он как две капли воды похож на того, за кем тебе следить». Я узнал Туташхиа, едва он появился. Сразу узнал! К тому же в этот момент ко мне подошел тамошний агент, сказал пароль и показал – вон он, передаю его тебе. Туташхиа прошел мимо нас и проследовал в станционный ресторан. Стоял октябрь, но было тепло, как летом. Однако и по этой погоде Туташхиа одет был слишком легко: в суконных брюках и блузе, на голове – сванка, на ногах домотканые пачичи и мягкие чувяки. Под мышкой торчал сверток. Войдя в ресторан, он подозвал официанта, а я отправился к начальнику станции. Мне предстояло получить место в вагоне рядом с Туташхиа, разумеется, если такая возможность будет.

В комнату начальника станции я влез вместе со своими корзинами, и вот вам пример того, насколько тогда революционный зуд владел всеми повсюду и гельминты завелись в самом прогнившем строе. Начальник станции восседал за письменным столом, обернулся на скрип двери и сказал кому-то в другую дверь, распахнутую за его спиной, даже не взглянув, кто к нему шел:

– Слыхал, Бартломе, что эти сукины сыны опять выкинули? Втащили на Махатскую пушки, и кончайте, говорят, митинговать в этом вашем Тифлисе, а то передавим вас, как тараканов.

– Видно, уж царю совсем невмоготу стало, – откликнулись из задней комнаты. – Ленин, видишь, говорит: самодержавие, царь и буржуазия по своей воле ничего не отдадут, силой брать надо, что нам положено. Вроде бы это и Маркс говорил. А не откажется, так мы еще увидим русского царя у стенки. Во Франции со своими что сделали?!

– Так-то так, но ведь болтают о Государственной думе?..

– Государственная дума – химера! – влез я в разговор. – В государственную думу царь и его приспешники своих посадили…

Говоря это, я вытащил удостоверение тайного агента и показал начальнику станции. Бедняга стал белее бумаги.

– Я тебя не знаю, кто ты и откуда, – послышалось из задней комнаты, – но не так уж это плохо, Государственная дума…

– Прав он, прав! – заторопился вступиться за меня начальник станции, но тут же сообразил, что очутился на позициях большевиков – это при жандарме-то! И опять у бедняги затрясся подбородок.

Я махнул рукой: не трусь, друг, и шепотом объяснил ему, что мне требуется. Он выскочил из-за стола и отправился за мной, и, пока мы шли до входной двери, из задней комнаты сыпались соображения и аргументы, за которые в ту пору отправиться на Енисей или Лену было бы великой удачей. С билетами дело было улажено легко. Я взял семнадцатое в третьем классе. Девятнадцатое было отложено в сторонку, и начальник станции оставил его в кассе дожидаться Даты Туташхиа. Когда Дата Туташхиа попросил билет до Тифлиса девятнадцатое место ему и дали. Я отправил телеграмму, что еду таким-то вагоном, и стал продолжать слежку.

Дата Туташхиа устроился в зале ожидания в полном одиночестве, но не прошло и пяти минут, как к нему уже кто-то подсел. Еще десять – пятнадцать минут, и вокруг шумела уже небольшая кучка пассажиров, и опять, разумеется, бесконечные толки о революции. Говорили довольно громко, но я расположился далековато, до меня не все доходило, и, подобрав свои корзинки, я пересел поближе.

– Ну, и что этот самый Санеблидзе или как его там еще. Он что, не говорил у вас по деревням, что заводы – рабочим, а земля – крестьянам?

– Как же? О чем еще сейчас говорить?

– Ясное дело, говорил. Ступайте, говорит, и забирайте себе имения князей и дворян!.. А у Кайхосро Цулукидзе в Намашеви земли-то сколько! И какова земелька! Хо-хо-хо!

– Идите и забирайте, чего ждать!

– Верно, верно! Надо идти и забирать!

– Пускай сначала рабочие свое делают, а мы уже после.

– Это почему же сперва рабочие?

– А потому, что ничегошеньки у них нет и терять им нечего. Ладно, я заберу землю Цулукидзе, а ну, если завтра опять его возьмет? У меня под кукурузой шесть десятин – он их и приберет.

– Поглядим, что в России мужики станут делать, а тогда уж и мы возьмемся.

– Говорят же, выигрывает тот, кто терпит.

– То-то, браток, ты всю жизнь терпишь-терпишь, а выигрыш твой где, не видать что-то?

– Да у них в Намашеви что получается? Землю они прибрать к рукам не прочь! Еще бы не прибрать! Только поднес бы им кто ее, да кусочек получше… Ловки, я вам скажу…

– Да где вам, мужичью, революцию делать! Дождешься у вас, держи карман…

Дата Туташхиа вслушивался в этот разговор, но сам ни слова. Только раз улыбнулся, когда кто-то сказал:

– Пусть бы нам сказали, сколько нарежут земли в Намашеви, а я б уж тогда прикинул, стоит жечь княжьи хоромы или обождать. Нарежут от души – я сам пойду и подпалю князя Кайхосро Цулукидзе. Мне, мужику, сегодняшнее яйцо дороже завтрашней клуши!

– Вот оттого ты революции и ни к чему, что у тебя свое яйцо есть, – вмешался я.

Дважды ударил станционный колокол, – значит, поезд вышел с соседней станции. Народ заторопился и повалил на платформу.

Спустя еще полчаса Дата Туташхиа и я сидели друг против друга. Только и было в вагоне, что разговоров о революции, кто, где, против кого выступил – кто в Тифлисе, кто в Москве, кто еще по каким-то городам. Плели всякое, кто во что горазд, быль и небылицу…

– Ну, а о свободе слова что говорят? – громко спросили во втором или третьем от нас купе. И тут все загалдели.

– А тебе что, есть что сказать? А коли есть, чего молчишь, дорогой?

– Что значит – есть или нет? Не понравилось тебе что-нибудь – говори прямо, и пускай власть слушает. Мнения правят миром, мнения!

– Это где же ты видал такую власть, чтоб ты сказал, а она, пожалуйте, слушать будет?!

– А-ууу! Ты погляди, куда его занесло! К французам, в их революцию, буржуазную, между прочим. Мнения правят миром – ты только послушай, что ему понравилось.

– А чего тут такого? Раз будет свобода, в правительство выберем тех, кто нас послушает и о нас позаботится.

– Держи карман! Ты его выберешь, а он себе устроится в твоей Государственной думе и думать о тебе забудет. Свободу слова он получит, не спорю, только он за свой карман вступаться будет да за шкуру свою, а на твою беду ему наплевать с высокой колокольни.

– Как же! Как же! Учредят Государственную думу, нам свободу дадут! Как же еще может быть, не пойму я, право…

– Жди, сейчас на подносе тебе принесут твою свободу – вон бегут-торопятся.

– Свободу добывают в борьбе! – крикнул я. – Пусть никто не рассчитывает, что ему свободу даром дадут. – Я поглядел на Дату: – Вы не согласны?

– Свободу, браток, каждый сам себе должен добыть, – сказал он.

– Это как же так? – ввязался наш сосед.

– Не задевай других, пусть от тебя вреда никто не видит, живи себе, как душа твоя просит, – ответил Дата Туташхиа.

– Кабы все так делали!.. Только где бы это народу столько ума набраться?! – сказал другой сосед.

– Было б такое правительство, чтоб само этого хотело и людей к тому толкало. Тогда б и у

людей умишка нашлось, – отозвались откуда-то с боковых полок.

– Социальная среда должна быть другой, – сказал я Туташхиа.

– Это верно, другая должна быть, – согласился он, и секунды не колеблясь.

– В правительстве засели помещики и капиталисты. Им до бедняка дела нет, – послышалось из-за перегородки.

– Кого же, интересно, ты бы хотел в правительство? – с кахетинским акцентом спросили с верхней полки, прямо над головой Даты Туташхиа.

– Правительство должно быть рабоче-крестьянское, из бедняков!

– Станет твой бедняк о других бедняках думать, жди…

– Станет, а то как же?

– Ты на богатого погляди, у него все через край, мог бы вроде б и о тебе подумать, а ведь не видно, чтобы торопился. А у бедняка у самого нет ничего, только ему и заботы, что о тебе. Твой беднячок, что в правительство попадет, схватит, что поближе да повыгодней, и домой поволокет. К себе домой, не к тебе! Ты и глазом не моргнул, а он уже в чинах да при деньгах. И наложит он на тебя – сам знаешь, чего… – Кахетинец повернулся спиной, и больше его не слышали.

– Товарищи! Лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Долой самодержавие!

– Так-то оно так, да вот…

– Правильно он говорит, правильно!

– Падет царизм, падет, как ему не пасть!

– А ну вас к монахам! Ждите, падет. Сам по своей воле… Сегодня вечерком ляжет спать, а завтра и не проснется!

Разговор постепенно разбился на маленькие ручейки и иссох. Вагон успокоился. Я достал сумку с припасами, которыми снабдили меня в дорогу самтредские родственники, и пригласил Дату Туташхиа к своей трапезе. К нам присоединились еще двое, и до самого Зестафони мы пили за революцию. Впрочем, тосты поднимали трое – эти два наших попутчика и я, а Дата Туташхиа больше помалкивал. Слабая улыбка или едва заметный жест – вот и все его отношение к нашим тостам, да и это отношение можно было толковать и так, и эдак. Соглашается он или нет – понять было нельзя. Он сказал, что его зовут Прокопием Чантуриа, и за все время он лишь раз вторгся в нашу беседу. Это было, когда с другого конца вагона до нас донеслось:

– Народы жаждут свободы! Российская империя – тюрьма народов! Тюрьма должна быть взорвана изнутри!

– Погляди-ка на него! – кивнул Дата.

Я глянул. Тут же, в проходе, огромной обрюзгшей тушей громоздился толстяк. Его тело выпирало из платья, которое, казалось, уже не в силах было сдержать напор жира. Штаны едва доходили до щиколоток, рукава – до запястий. Шов на одном бедре разошелся и был наспех и небрежно схвачен, видно, первой попавшейся ниткой.

– Вот что с крестьянством делается, брат Роберт, – заговорил Дата. – Потребности крестьянства выросли, аппетит у него дай боже, а хлеба и добра на всех сколько было, столько и осталось, и прав по-прежнему – никаких. Когда крестьянину говорят о свободе, он под свободой подразумевает землю. Революция, переворот, потрясение основ – для него все это хлеб и щи, ни о чем другом он и не помыслит. Теперь, представь себе, сошьют этому раздобревшему мужику новое платье, добротное и по мерке, он что, как человек и гражданин, от этого лучше станет? Вся соль в этом. Я бы сам поджег этого Кайхосро Цулукидзе, если б знал, что от этого хоть кто-нибудь станет лучше.

Мы проехали Зестафони часа в три ночи, никто из нас и не проснулся. Чача была неплоха, и набрались мы так, что перед прибытием в Тифлис едва успели умыться, хотя поезд сильно запаздывал.

Поезд въехал в плотное кольцо солдат. Полиция, в обычной форме и переодетая, сновала по перрону, проверяла у всех документы. Всех, кто был взят на подозрение, отводили в сторонку, там быстро образовалась довольно большая группа.

Дату Туташхиа встретил его младший брат. Меня – мой сменный агент. Мы с ним быстро разобрались, что к чему. Если б Туташхиа не отправился вслед за братом, а свернул в другую

сторону, я должен был увязаться за ним на правах дорожного знакомого. Если б он от меня оторвался, слежку должен был бы продолжить третий агент. Он вертелся здесь же, в толпе. Но все обернулось так, что ни одному из участников этой операции не пришлось выбирать.

Я выскочил из вагона вместе с Датой Туташхиа. Сменный агент уже ждал меня на перроне, обнял, будто родственник, и принял у меня корзинку и сумку. Едва я познакомил Дату Туташхиа с агентом, назвав его своим дядей, как возник брат Туташхиа. Это был обычный гимназист, наверное не старше седьмого класса. Туташхиа познакомил нас с братом. Пора уже было двигаться в направлении выхода, но Туташхиа был неподвижен, внимательно разглядывал все, что творилось вокруг.

– Что тут происходит? – спросил он.

– Собаки гуляют, – сказал мой «дядя».

– Это сейчас по всему городу, везде волнения, – подтвердил слова «дяди» младший брат Туташхиа. – Давай я понесу, – сказал он и протянул руку к пакету, торчавшему у Даты Туташхиа под мышкой.

– Да он мне не мешает, – сказал Дата и с большим любопытством поглядел на трех полицейских, приближавшихся к нам в эту минуту.

– Следуйте за нами! – приказал один из них в полной уверенности, что ему беспрекословно подчинятся, и повернулся к нам спиной.

«Дядя» затараторил было, что это ни к чему, что вины за нами никакой, но полицейские стояли на своем и, схватив «дядю» под локти, потащили было его силой. Брат Туташхиа бросился между ними, попытавшись загородить собой «дядю». На шум прибежали солдаты. Я тронул Туташхиа за локоть и показал глазами, что недурно было бы смыться. Он не прекословил, мы направились в противоположную сторону. Состав по-прежнему был оцеплен, и думать было нечего выскочить из оцепления. Не долго думая, я шмыгнул в пустой вагон, Дата Туташхиа – за мной.

Ситуация создалась прелюбопытнейшая. Мы с «дядей» действовали строго по инструкции, и все наши действия были оправданны. Младший брат Туташхиа, действуя по первому побуждению, невольно вмешался в дело. Туташхиа, конечно, предпочел бы скрыться, но когда младший брат вступается за старшего, то и старшему положено вступиться за младшего, тем более что на глазах Даты младшего брата, скрутив ему руки, поволокли солдаты. Вот это и возбудило во мне сомнение. Если у Даты Туташхиа отношения с полицией вполне нормальные, зачем было бы устанавливать за ним слежку? И в таком случае чего удивляться, что он хочет ускользнуть понезаметнее…

– Что же теперь с ними делать будут? – Дату, конечно, беспокоила судьба брата.

– Кого-то они ищут, возможно, что и не одного. Всех подозрительных и сопротивлявшихся отведут в полицию. В городе объявлено осадное положение. Кое-кого, возможно, будут и судить.

– Твоему дяде и моему брату они ничего сделать не смогут, – сказал Дата. – Я в этом и так уверен, но ладно, поглядим.

Прижавшись к стене, мы осторожно выглянули в окно, и тут по телу моему пробежал озноб. Мою тайну могли вот-вот вытащить на свет божий. Так оно и случилось. Из группы задержанных, тесно оцепленных солдатами, выводили по двое, по трое, каждого тщательно обыскивали и проверяли документы. Отпускали почти всех, задержанных же, отведя в сторонку, усаживали прямо на землю. Поблизости вертелся наш третий агент. Он искал нас, ибо в суматохе нас потерял и не заметил, как мы нырнули в пустой вагон. Беспокоиться ему было совершенно нечего, так как вместе с объектом слежки, то есть с Датой Туташхиа, исчез и агент, то есть я. Все-таки наша участь его волновала, и он поминутно озирался по сторонам. Была у него, правда, и другая забота: моего «дядю» и брата Даты Туташхиа зацапали полицейские, и надо было их освободить. Первое звено своей роли он осуществил правильно: стоял и ждал, что предпримут полицейские. Могли же и отпустить обоих?.. Тогда ни к чему было идти к офицеру, командовавшему операцией, открываться ему и, таким образом, нарушать правила конспирации. По правде говоря, он правильно провел и второе звено, ему же в голову не могло прийти, что Дата Туташхиа будет все это наблюдать как на ладони. Вывели вместе «дядю» и брата Туташхиа, которых солдаты тут же узнали, – это те самые, что

сопротивлялись. Солдаты быстро обоих ощупали – оружия не оказалось, и все же их отогнали к малочисленной группе самых подозрительных. Третий агент повертелся еще немного и, подойдя к офицеру, командовавшему операцией, развернул перед ним свой документ. Офицер сам вывел моего «дядю» и проверил его документы. Они потолковали минуту и подозвали брата Даты Туташхиа. О чем-то его спросили, что-то он ответил, и все трое двинулись к выходу.

Дата Туташхиа пристально и весело взглянул на меня. Я и бровью не повел.

– Субъект этот, видно, знает моего дядю.

– Видно, знает, – согласился Дата Туташхиа.

Нам оставалось ждать конца всей этой кутерьмы. Каждый думал о своем, но оба, наверное, об одном и том же. Я был разоблачен, но решил никоим образом не подтверждать догадку Туташхиа, даже если б он попытался это сделать. Полиция уже закруглила свои дела, а что мне было теперь делать? Отвязаться от него? Я не имел права. Признаться ему во всем и следовать за ним, пока сам он пожелает со мной распрощаться? Но признаваться я тоже не имел права.

Ох и досталось же тогда моему отцу! Хорошенькими словами я поминал его в эти минуты!

Мне, разоблаченному агенту жандармерии, положено было сейчас трястись от страха перед Датой Туташхиа. Но – удивительно – ничего подобного я не испытывал. Что-то мне подсказывало: не будет мне зла от этого человека. А вот что думает Дата Туташхиа, что он делать собирается? – этот вопрос меня прямо-таки донимал сейчас. И вдруг состав дрогнул и потащил нас в сторону Молоканского рынка. Оцепление уже снимали, но все равно было приятно, что нас увозят от солдат.

Когда наш вагон поравнялся с Мазутным переулком, состав встал. Мы осмотрели обе стороны пути и, не заметив ничего подозрительного, выскочили из вагона.

– Что делать будем, дядя Прокопий? – спросил я. – Свой адрес сами найдете или вас проводить? – отважился я добавить, когда мой вагонный попутчик внимательно смерил меня с головы до ног.

Дата Туташхиа вынул часы, долго рассматривал циферблат и, еще раз взглянув на меня, сказал:

– Хочу пройтись по городу, поглядеть, что делается, вообще что тут и как. Если спешишь, браток, ступай один. Дорогу я найду.

– Да нет, спешить мне некуда.

– Ну, а раз некуда, пройдемся вместе. Видишь, как получается: нам друг в дружке надобность есть. Не находишь? – он улыбнулся лукаво, и стало мне ясно, что вся моя конспирация полностью и безнадежно провалена.

– Если перелезть через эту стену, выйдем в город на Черкезовскую, – сказал я.

– Ну что ж, махнем!

Перелезать в этом месте было рискованно – как раз на углу Черкезовской и Мазутного мог стоять казачий или полицейский патруль, и нас непременно б схватили. Я помнил, что чуть дальше, в сторону Чугурети, между этой стеной и домами тянулся длиннющий узкий проход. Этот проход представлял собой цепочку крохотных двориков, прилепившихся к стене с той стороны. Вот туда мы и направились.

– Вот здесь, дядя Прокопий, – сказал я. – Здесь не так опасно.

– Здесь так здесь, – сказал он и приложил ухо к стене. – Что-то там неспокойно.

Я тоже прислушался.

Из-за стены и в самом деле доносился глухой шум.

С ловкостью ящерицы Дата Туташхиа взобрался на высокую ограду из гладкого камня, а было ему тогда уже все сорок. Задрав голову, я следил за ним, восхищаясь и завидуя. Сидя верхом на стене, он довольно долго разглядывал, что там, внизу, и наконец, свесившись и протянув руку, втащил наверх и меня. За стеной во двориках скопилось человек сто. Они стояли небольшими группками, переговариваясь и, видно, о чем-то споря. К Черкезовской подходили все новые люди. Под мышкой у многих торчали свернутые транспаранты. Некоторые прислонили их к стене.

Мы уселись на ограде. Левее от нас кучка людей окружила светловолосого малого лет тридцати. Он вытащил часы, недовольно покачал головой и сказал:

– Попросим народ подойти поближе.

Тут же несколько человек из этой кучки растворились в толпе, зовя всех к светловолосому.

Когда вокруг собралась довольно густая толпа, светловолосый сказал – очень негромко, – что на Головинском проспекте в военном соборе засели черносотенцы, в основном из Союза архангела Михаила. Ровно в полдень они собираются начать манифестацию. Впереди пойдет духовенство. Полиция и монархисты надеются, что манифестация продемонстрирует верность населения Тифлиса и всего Кавказа царскому режиму.

– Если им так нравится царь и его сатрапы, пусть и объясняются им в любви, зачем мешать? А нас пусть оставят в покое, вот и порядок, чего лучше? – закричал кто-то в толпе.

Но на него накинулось сразу несколько голосов:

– Чушь не пори! Помолчи лучше!

– Это не чушь. Это провокация. Нас хотят оторвать от российского пролетариата! Это лозунг раскольников!

– Внимание, товарищи, продолжаю!! – закричал светловолосый. – Представители рабочего класса и всех революционно настроенных слоев Нахаловки, Навтлуги, Ортачала, Дидубе, Мтацминды должны собраться в Александровском саду.

– А нас пропустят?

– Жди! Сейчас фаэтон подадут. На фаэтоне поедешь.

– Прорвемся, пройдем.

– Им и Александровский сад оцепить ничего не стоит!

– Ну и пусть оцепляют.

– Внимание, товарищи, внимание! Времени осталось мало, – светловолосый оратор унимал шум. – Единым строем мы выступим из Александровского сада и продемонстрируем самодержавию, что конец его близок. При поддержке полиции и войска черносотенцы, конечно, попытаются разогнать нас. В ответ мы должны показать царизму и этим убийцам, одурманенным религией и водкой, что революционный рабочий класс, крестьянство и все угнетенные народы Российской империи тесно сплочены и победить их невозможно! Товарищи! Революция твердо знает, чего хочет и к чему идет. Мы должны выставить лозунги, выражающие требования трудящихся масс…

– Надо на эти лозунги поглядеть! Лозунги давай!

– Зачем смотреть… Чего не видел?

– Надо, дорогой, надо! За другой лозунг прямым ходом на виселицу отправишься!

Что тут началось!.. Страх пропал, осторожность исчезла, полиции и казаков будто и не существовало на свете. Разбившись опять на группки, все орали, спорили, перебивали друг друга, отчаянно жестикулируя, и чуть не лезли друг на друга с кулаками. Светловолосый оратор и еще несколько его приятелей бросились успокаивать народ и пытались навести порядок, но тщетно, пока какой-то пожилой господин, вклинившись в неожиданную паузу, не заорал:

– Товарищи! Где ваша революционная сознательность? – И, не дожидаясь ответа, предложил: – В нашем распоряжении еще час. Раз есть необходимость, обменяемся мнениями, но спокойно и организованно. Предлагаю дать слово пяти ораторам. Каждому – по пять минут. Согласны?

– Правильно! Хорошо! Согласны! – посыпалось с разных сторон.

Светловолосый поскреб в затылке.

– Давайте, только с одним условием. Пусть каждый объявит лозунги, с которыми хочет выступить! Спокойно – без криков и дискуссий. Кто хочет слова?

Пока первый оратор протискивался к балкону, с которого собирался держать речь, Дата Туташхиа сказал:

– Если б с царем и его строем они дрались, как между собой, во всем мире о царях давно бы забыли!

– Мы, товарищи, выступаем под лозунгом «Хлеб, земля и восьмичасовой рабочий

день!», – бросил с балкона первый оратор.

– Как же! Развернешь свой лозунг, и тут же тебе и жареного, и пареного. Жди – принесут.

– Когда они перестанут клянчить хлеб-соль?

– Что же вы только хлеба просите? Давайте и про вино напишите. После восьмичасового-то рабочего дня времени навалом будет. Ешь себе, пей да спи на земле, которую тебе царь подарит, чего не поспать?

Старик, который предложил всем высказаться, стал рядом со светловолосым:

– Спокойней, товарищи! Тише! Смешного здесь ничего нет! Хлеб правит миром!

Его тут же оборвали:

– Товарищи! Нас тащат обратно, к первому этапу революции, на исходные рубежи!

– Революцию нужно углублять, развивать!

– Да пусть их просят! Может, царь и подкинет им хлебушка, кто знает.

– Царь добровольно ничего не отдаст! – загремел внизу человек невысокого росточка, но, видно, с необыкновенно мощными голосовыми связками. – Мы должны силой вырвать у царизма правомочную Государственную думу, и она при поддержке широких трудящихся масс учредит в России демократический строй. «Да здравствует Всероссийская демократическая республика!» – вот наш лозунг.

– Вам не терпится, выскочив из пасти самодержавной монархии, прямиком угодить в брюхо буржуазной демократии? – громко спросил тот, что выбросил лозунг «Хлеб, земля и восьмичасовой рабочий день!».

– Сделай милость, замолчи! Ваше место на паперти, а не на баррикаде. Стойте себе там с протянутой рукой!

– Регламент! Регламент! – послышалось в толпе, и по лестнице стал подниматься третий оратор.

– «Право на самоопределение и национальную независимость!» – с этим лозунгом мы идем на Головинский проспект.

– Ишь чего захотели… Национальной независимости! Это при нашей-то экономической отсталости?! – возмутился обладатель мощных голосовых связок, требовавший установления Всероссийской демократической республики. – У нас и буржуазии своей нет, а не то что развитой экономики, без которой независимость – нуль!

– Довольно! Довольно!

– Регламент!

– У кого есть еще лозунги? – пригласил светловолосый.

Пока шел этот митинг или собрание – не знаю, как его назвать, – где-то в гуще толпы, но совершенно обособленно стояла группа человек в десять. Они стояли молча, не ввязываясь ни в чьи споры, и очень внимательно следили за всем, что происходило вокруг них. Когда светловолосый бросил в толпу последнее приглашение и сошел с балкона, от этой группы отделился человек и, поднявшись на балкон, спокойно сказал:

– «Всеобщее вооруженное восстание!», «Да здравствует диктатура пролетариата!», «Все на баррикады!» – только эти лозунги могут принести победу угнетенным народам и эксплуатируемым классам! Я закончил.

– Ваши лозунги верны, но Россия еще не готова к всеобщему и одновременному выступлению. Несогласованные же действия отдельных отрядов пролетариата и других революционных классов царские сатрапы подавляют легко. Товарищи, вы фактически призываете массы к бессмысленному, неоправданному кровопролитию!..

– Кровь, пролитая сегодня, – залог победы в будущих боях!

– Кровь, пролитая за справедливое дело, не пропадет даром!

– Надейтесь! Надейтесь!

– В толк не возьму, мы на мирную демонстрацию идем или на бойню?!

– Вооруженное восстание – голыми руками, с одними только лозунгами – это где же видано и кто придумал? А?

– В кусты уже, ренегаты?!

– Это кто – ренегаты?.. На себя посмотрите! Вы толкаете народ на выступление, которое лишь спровоцирует…

В поднявшемся гаме уже не слышно было ни слова, тем более что никто никого не слушал, а взаимная ожесточенность достигла такой силы, когда всякого, кто пытался взять на себя роль миротворца, каждая из сторон принимала за своего кровного врага.

Дата Туташхиа нагнулся и закричал мне в ухо:

– Послушай, я все их лозунги наизусть знаю, а они, думаешь, лозунгов друг друга не знают?.. Спросишь, что они поделить не могут, почему дерутся? Ни у кого из них нет силы других за собой повести! Вожака у них нет. А вожак во всем нужен. Ну, ничего, передерутся, перебесятся, перегрызут друг другу глотку, кому-нибудь из них эта драка на пользу и пойдет, окрепнет он, сил наберет, дело тогда и пойдет на лад!

– Мы уходим! – объявил обладатель мощных голосовых связок и двинулся в направлении Черкезовской улицы, а за ним еще человек десять – двенадцать.

– Пусть идут, нечего их уговаривать!

– И мы уходим! Товарищи, следуйте за мной! – закричал старик, предложивший высказаться всем и сказавший, что «хлеб правит миром».

Старик увел десятка два людей.

Во время этой суматохи случилась совсем уже неожиданная вещь. С той стороны стены, откуда мы влезли, Дату Туташхиа огрели нагайкой, да так сильно, что он вскрикнул. Да и как было не вскрикнуть, когда один только свист нагайки способен был разорвать барабанную перепонку. Замахнулись еще, но Дата Туташхиа быстро пригнулся и спрыгнул вниз. Обернувшись, я увидел четырех казаков, и сиганул вслед за Датой. Едва я коснулся земли, как со стороны Черкезовской раздался пронзительный свист и крики: «Казаки! Казаки?» Те, что, покинув митинг, дошли уже до поворота на Черкезовскую, повернули и побежали назад. Вслед за ними в Мазутный переулок ворвались казаки – пятеро на конях – и со свистом стали резать воздух нагайками. О том, что случилось потом, стоит рассказать подробнее.

Мазутный – вы, коренной тифлисец, должны знать – переулок лишь на словах, а на самом деле это обычный тупик, который одним концом упирался в ограду, идущую вдоль железнодорожного пути. Когда казаки ворвались в переулок и погнали перед собой тех, что, уйдя с митинга, уже поворачивали на Черкезовскую, остальной народ, толпившийся в двориках и пришедший поглазеть на демонстрацию из одного лишь любопытства, высыпал в переулок и, подгоняемый лошадьми, был приперт к стене. Кто половчее, взобрались на ограду, но, обнаружив казаков и по ту сторону стены, попрыгали обратно на землю, вроде нас с Туташхиа. Прорываться сквозь казачью цепь, чтобы выскочить на Черкезовскую, не имело смысла, так как оттуда вторым эшелоном двигалась пешая полиция. Были минуты, когда положение казалось безвыходным. Свистели и звонко хлопали нагайки, гулявшие по спинам и головам людей, прижатых к ограде. Нам с Датой тоже досталось, да так здорово, что у Даты Туташхиа от боли лицо перекосило и он даже схватился за сверток, торчавший под мышкой. Наблюдать, размышлять, осмыслять времени тогда не было, и все же мне показалось, что первоначальное мое подозрение верно – в свертке у него оружие. И все-таки он его не вытаскивал. Будь с нашей стороны хоть одна пуля, казаки перебили бы всех, как зайцев. После тех мрачнейших минут, когда положение казалось безвыходным, случилось то, что бывает обычно с бурным горным потоком, усмиренным мощной дамбой: где-то он прорвет преграду, пророет новое русло и выскочит на волю. Я говорил уже, что между оградой и домами был узкий проход – цепочка крохотных двориков, в ближайшем из которых митинговал народ, собравшийся на демонстрацию. Толпа кинулась в этот проход и, обогнув крайнего казака вместе с его лошадью, ворвалась во дворики, завертела, поглотила тех, кто только что драл в спорах глотки, и одним потоком, крича, кляня, швыряя камни и все, что ни попадало под руку, ринулась в сторону Чугурети. Понесло и нас где-то в хвосте потока. Мы бежали, как и все, и, как и все, я хватал камни и обломки кирпичей, найти которые было нелегко, и швырял в казаков. Те, что остались во двориках, отказавшись идти на демонстрацию, бежали теперь впереди всех, в голове потока. Добежав до первого переулка, которым можно было выйти на Черкезовскую, они на минуту притормозили бег, ибо Черкезовская оказалась перекрытой солдатами, но тут же устремились дальше, напрямик – другого пути не оставалось – вдоль железнодорожной ограды. Замыкала поток та небольшая группка, которая выдвинула лозунг всеобщего вооруженного восстания и звала всех на баррикады. Для людей безоружных, вышедших на демонстрацию с пустыми

руками, они вели себя храбро. Если б не они, казаки перетоптали бы нас. Я догнал Дату Туташхиа, который, как и все, бежал трусцой. Увидев меня, он улыбнулся:

– Неплохо бежим, браток, совсем неплохо. Ты погляди только, как легко в это дело втянуться… Только погляди.

– О каком деле говоришь? – злость бурлила ко мне.

– О революции, браток, о революции!

– А ведь никак не отстанут от нас, сукины дети! Долго еще они будут нам на пятки наступать?

– Говорят, вора вода несла, да путь его лежал туда же, – весело отозвался Дата Туташхиа. – Если нас хватит еще минут на десять такого бега, мы как раз и прибежим в Александровский сад.

И правда, каким-то непонятным образом получилось так, что чем дальше мы бежали, тем ближе приносило нас к тому месту, куда демонстрантам предстояло пробиваться борьбой и жертвами. Солдаты и полиция перекрыли все пути, кроме тех, которые вели нас к Воронцовской площади, то есть к Александровскому саду.

Добежали до конца ограды. Казаки, оттеснившие нас от железнодорожных путей, старались почему-то, чтобы никто не просочился влево вверх – к Сванетисубани. Они продолжали наступать нам на пятки и хлестали нагайками. Мы достигли верхнего Чугурети, и тут обнаружилось, что одна из улиц, спускавшихся к Воронцовской площади, свободна от солдат. Передние свернули на эту улицу, задние – за ними, и вот те на – мы очутились на Гончарной. А казаки все жали и жали. Мы пересекли пути, по которым ходила конка, вихрем пронеслись по Воронцовской площади, пробежали мост, на Мадатовском острове арьергард закричал: «Казаки отстали! Ушли казаки!»

Я оглянулся. Казаки и правда остались по ту сторону моста и оттуда взирали на нас. Я взглянул в сторону Александровского сада и обомлел: море народа, а над ним красные флаги, лозунги, транспаранты. Видно, и казаков напугала эта тысячеголовая толпа. Не было ни приказов, ни призывов, но люди развернули свои транспаранты – кто требовал хлеба, кто звал на баррикады. Получилось так, что казаки нагайками пригнали нас сюда из Мазутного переулка, и мы точно по часам успели присоединиться к народу, собравшемуся в назначенный час в Александровском саду.

Мы с Датой Туташхиа остановились отдышаться возле аптеки. Вокруг ни одного полицейского, ни одного солдата. Народ, пришедший на демонстрацию, поднимался на верхний ярус Александровского сада, и улица оставалась безлюдной и мирной, какой бывает она ранним утром, пока не выйдут дворники.

– Пойдем поглядим, что там наверху делается, а? – позвал меня Дата Туташхиа, и мы медленно двинулись вверх, к Головинскому, проспекту.

Несколько раз я убыстрял было шаг, но снова его сбавлял, потому что Дата Туташхиа задавал нашему движению медленный темп и этим молча настаивал на спокойствии. Я весь был в нашем беге, в топоте казачьих лошадей, тот ритм еще бился во мне, и Барятинская улица, опустевшая, безлюдная, омертвевшая, камнем теснила сердце. Дата Туташхиа не торопился, а мне не терпелось увидеть, что произойдет там, наверху.

– Пойдем побыстрее, дядя Прокопий, – сказал я.

– Не надо нам быстрее.

– Почему?

– А потому что, когда все вокруг тебя спешат и суетятся и ты в эту спешку и суету втянешься, тогда, считай, дело пропало: тебе уже не понять, что вокруг тебя делается. Когда несешься в седле, ничего, кроме ушей своей лошади, ты не видишь. Но стоит спешиться, и перед тобой вся лошадь как она есть. Так или нет?

– Так, – согласился я.

Мы не прошли и двадцати шагов, и я почувствовал, что спокойствие возвращается ко мне, и снова мои мысли вернулись к тому, как полиция сама пригнала нас к Александровскому саду.

– Поразительная все-таки штука, – сказал я удивленно. – Как же ты, дядя Прокопий, угадал, что мы очутимся в Александровском саду?

– А я ничего и не угадывал. Просто пошутил, а вот вышло, как я сказал. Я и сам этого

понять не могу.

– А может быть, нас нарочно сюда пригнали? – пришло мне в голову. – Не подвох ли здесь, и весьма крупный?

– Не похоже, чтоб это был умысел… Да и какое это имеет значение, друг мой Роберт? Этот мир прогнил до такой степени, что все, что ни будет делаться, обернется против него же. Представь себе, что ты наместник. Что бы ты стал делать, вот здесь и сейчас, когда вот-вот начнется заваруха?

– Ясно, что делать. Подбросить полицию, пригнать солдат, а черная сотня разгонит демонстрацию. Конечно, много будет убито и ранено, арестовано и угнано в Сибирь…

– Ну, а из этого что в конце концов получится?.. Я скажу тебе – что. Ненависть к правительству в народе усилится, только хитрее станет народ и в другой раз возьмется за дело поумнее. В конце концов царь и его правительство останутся в проигрыше. Допустим теперь, что народ сам разгромит черносотенцев и полицию. От этого он станет смелее, решительней и скажет: «Победа зависит от меня!» А стоит народу поверить, что он способен победить, тут всё, тут его уже ничего не остановит. Царь, выходит, опять в проигрыше. Так-то, сударь. Теперь представь, что ты царь и силой у тебя, ну, ничего не получается. Что ты станешь делать?

– Я бы дал им Государственную думу. Пусть себе выбирают и болтают.

– Если народ сам ее выберет, эту самую дурацкую твою Думу, или как ты еще там ее назовешь, и каждый начнет болтать, что ему в голову взбредет, то не пройдет и года, как правда о царе и царизме распространится в народе. Что тогда тебе, царю, делать? Тебе, разоблаченному, наизнанку вывернутому царю? Видишь, опять негоже получается…

– Да я им не Думу, а кукиш под нос!

– Ладно, не учредишь ты Думу. Чем тогда успокоить народ? А не успокоишь – амба. Допустим даже, что правительству удалось задушить все эти митинги, демонстрации, восстания. Ну и что? Политические вожди учтут ошибки. Народ, на время затаившись, найдет минуту, чтобы вновь ударить по царю, и тогда поминай как звали и тебя, царя, и все твое царство. Умирающему, брат Роберт, ничего не поможет, кроме причастия и свечки!

Мы почти одолели подъем Барятинской и уже собирались свернуть на Головинский проспект, когда мне – ну, просто невмоготу – вздумалось задать Дате Туташхиа один вопрос:

– А что бы ты сделал, дядя Прокопий? Что бы придумал?

– На месте царя? Я бы отрекся от престола, если б, конечно, смог бы себя перебороть. Уехал бы за границу и жил бы там себе где-нибудь, поживал… Но все это шутки.

– А на месте народа?

– Я бы делал то, что народ делает. Только погодил бы немного.

– А чего ждать?

– Я бы вожака подождал. Такого, который бы всех других вожаков одолел, был бы самый справедливый и больше других пообещал.

– Ну и что? Пошел бы ты за этим вожаком?

– Народ пойдет. За таким народ всегда идет.

– Ну, а ты сам? Ты, дядя Прокопий, пошел бы? Вот что меня занимает.

– Пошел бы, да тут два условия надобны. Я должен убедиться, что тот человек, который сметет старое, не повторит того, что есть теперь. Чтобы не обошлось с народом, как с курятиной: жареная не вкусна, а вот отвар будет в самый раз. А получится ли? Создать совсем новое, скажу я тебе, очень трудно, да и нужно ли создавать – вот вопрос. А теперь другое и главное. Помнишь, в вагоне кто-то сказал: «Мнения правят миром», а в Мазутном нашелся другой, он сказал: «Хлеб правит миром», А спроси меня, я тебе скажу: «Миром правит зависть и жадность». Мы, люди, сами еще очень дурны, очень низки – оттого так все и получается. Пусть найдется такой, кто уговорит меня: старое сбросим, построим новое, и это новое сделает человека лучше, да я за ним сам пойду и пригожусь ему не хуже любого другого, а может, и получше.

Головинский проспект был забит народом. Видно, многие знали, что готовится манифестация. Люди вышли будто погулять, останавливались со знакомыми, болтали, фланировали. Но через каждые десять – пятнадцать шагов торчало по полицейскому, и цокот казачьих лошадей по мостовой резал слух.

Мы остановились возле гостиницы, когда кто-то закричал:

– Идут!

Дата Туташхиа вынул часы, поглядел время и стал всматриваться в толпу, будто искал в ней кого-то.

Сперва показалось духовенство, неся впереди себя огромный образ Михаила-архангела. За образом – портрет Николая II, а дальше иконы, хоругви и море людей. Шествие свернуло к опере, подползло к Александровскому саду, но демонстранты, собравшиеся в саду, стояли недвижно и молча. Будто ждали чего-то. По обеим сторонам шествия тянулись казачьи цепи. Манифестанты ступали тяжелым медленным шагом и пели «Боже, царя храни!». Над ними тоже колыхались призывы «За царя и отечество!», «Долой бунтовщиков!», «Вера, надежда, любовь» и все в том же духе. Некоторые шли семьями, с детьми на плечах.

Они поравнялись с нами.

– Чувствуешь вонь? – спросил Дата Туташхиа.

Воздух был пропитан запахом ладана, водочного перегара и лошадиного пота. В голове манифестации шли церковные певчие, голоса которых были отшлифованы на хорах кафедрального собора. Их пение звучало внушительно, но в середине и в хвосте манифестации пели вразнобой и невпопад. Кого подводил голос, кого слух, и из всего этого получался такой рев, что казалось, вот-вот обрушится новый потоп, а эта огромная толпа в предчувствии близкого конца исторгает из себя предсмертный вой. Церковный хор закончил петь, в середине толпы взвизгнула гармонь, несколько человек пустилось в пляс, но в голове шествия затянули снова, и плясунам ведено было прекратить.

И опять рев.

Они миновали гостиницу. Казачьи лошади, замыкавшие шествие, перед самым нашим носом извергли порядком навоза. И тут из Александровского сада двинулись демонстранты. Я ждал, что и они пойдут к опере. Но нет. Развернув лозунги, они свернули влево и направились в противоположную сторону, ко дворцу наместника. Это было и вовсе неожиданно. Черносотенцы под конвоем казаков шли вверх по проспекту, а демонстранты текли в другую сторону. Вроде бы все было верно: манифестанты хотели обнародовать свои чувства перед городским населением, а демонстранты – выложить свои требования наместнику как верховному представителю власти. И все-таки такой поворот дела озадачил не одного меня, но саму черную сотню. Манифестация стала и повернулась лицом к демонстрантам. А из Александровского сада валил и валил мощный людской поток.

Возле нас остановилась молодая пара: он – грузин, она – русская. Как и мы с Туташхиа, они во все глаза следили за происходящим.

– Ты погляди, погляди на них! – окликнул юноша свою спутницу.

Задрав рясы, к хвосту манифестации подбежали несколько запыхавшихся попов и в изумлении уставились на последних демонстрантов, выходивших из Александровского сада. Манифестанты топтались в совершенном замешательстве, а никаких распоряжений не было слышно.

– Куда вы, антихристы? – завопил один поп, и в тот же миг с разных сторон посыпалось:

– Бей их! Бей!

Манифестанты сорвались с места и кинулись на демонстрантов.

Попы пытались удержать свою паству, но напиравшая сзади масса опрокинула свои же передние ряды, смяв вместе с ними и несчастных попов, и по живым телам в ожесточении бросилась на арьергард демонстрации.

Вспыхнул настоящий бой. У демонстрантов были камни, и в первые же секунды многие из черной сотни оказались с расквашенной физиономией. Но камни, летевшие в них, они тут же подбирали и с не меньшей пользой употребляли их против демонстрантов. Артиллерийская подготовка кончилась, и обе стороны пустились в рукопашную. Драка была отчаяннейшая. Казаки, солдаты и полиция пока не вмешивались, потому что демонстранты хотя и с боем, но отступали назад, ко дворцу наместника. Выглядело так, будто одолевают манифестанты, и блюстители порядка особо не шевелились. А демонстранты между тем, оттесненные манифестантами ко дворцу наместника и достигнувшие, таким образом, цели, остановились и развернули под носом наместника свои лозунги. Они простояли не больше двух минут, как

одновременно с разных сторон послышалась ружейная пальба, и тут же с Ермоловской улицы, из ворот дворца, со стороны Ереванской площади на демонстрантов ринулась казачья конница, а вслед за ней солдаты. Покажи мне беду, а я тебе, как бежать, покажу… Ведь никто не собирался врываться во дворец наместника, люди явились на демонстрацию, демонстрация остановилась под окнами дворца, развернула свои лозунги, постояла малость и – все дела!.. Не стоять же им было до тех пор, пока царь Николай из Петербурга не пришлет телеграмму о своем отречении?!

– Разбегайтесь, товарищи!

И за каких-нибудь двадцать секунд площадь перед дворцом опустела. Одни бежали к ломбарду, другие, свернув к Калоубанской церкви, бросились к рынку. Основная же масса двинулась обратно к Александровскому саду. Но движение движению рознь. Огромная масса народа мощной лавиной врезалась в свой арьергард, который в это время сражался с михаилархангельцами. Кто не был раздавлен, вместе со всей лавиной подался назад, в ворота Александровского сада. Через минуту на Головинском проспекте остались только черносотенцы и несколько зевак, если не считать полиции, казаков и солдат. Повторилось то, что сегодня я уже наблюдал. Сила, которая призвана была провалить демонстрацию, действовала в ее пользу. Демонстрантов оттеснили ко дворцу наместника. Выставив и обнародовав свои лозунги, демонстрация разбежалась, а черносотенцы почему-то торжествовали победу – всыпали мы по первое число! Они фланировали по проспекту в одиночку и группами с глупейшим выражением победы на лице, надувшись, как индюки, и задирая прохожих – не демонстрант ли, дорогой?

Кто-то с кем-то сводил счеты, кто-то оправдывался, кто-то бранился.

К молодой паре, что стояла возле нас, привязались трое михаилархангельцев: «Кто такие? Чего здесь торчите!»

– А вам какое дело? Где хотим, там и стоим! – по-русски ответил молодой человек.

Звонкая пощечина, он пошатнулся и тут же отвесил ответную. Они схватились, их бросились разнимать. Два других черносотенца вытащили штыки, к которым были приделаны короткие ручки. Ударивший юношу, видно, был с женой. Та подкралась к спутнице юноши и ударила ее по лицу. Барышня заплакала, закричала и повисла на руке юноши, умоляя его уйти. Он послушался, с помощью разнимавших вырвался, они быстро пошли прочь. Их порывались догнать и завершить расправу, но юноша и его спутница поторопились скрыться в ближайшем подъезде, а за ними ушли и разнимавшие. Черносотенца увела жена, и все как будто бы стихло. Два других, те, что вытащили штыки на коротких ручках, остановились шагах в десяти от нас, негромко переговариваясь, и похоже было, что они тоже собираются разойтись по домам.

– Смотри, куда они пошли, – тихо сказал Дата Туташхиа, легонько толкнув меня.

– Кто? Куда?

– Да эти, со штыками… Они пошли за этой молодой парой.

– Не может быть… – испугался я.

– Они же вдребезги пьяны. – Дата Туташхиа двинулся к подъезду, а я за ним.

– Дата! – закричали позади нас, когда мы были уже в подъезде.

Я не понял, не слышал он или не захотел при мне отзываться. Но он продолжал идти, а я остановился на пороге, чтобы посмотреть, кто зовет его.

– Дата, Дата, – продолжал звать человек, рядом с которым шел высокий стройный гимназист. Рукой он показал мне, что зовет того, что скрылся в подъезде. Это был рослый господин лет тридцати – тридцати пяти. Он шел медленно, припадая на одну ногу, как ходят калеки.

– Дядя Прокопий, тебя зовут!..

Дата Туташхиа оглянулся и внимательно посмотрел на меня:

– Кому меня здесь знать? Кого я знаю, кто – меня? – Он пошел дальше по длинному темному коридору, а я невольно опять последовал за ним.

По левую сторону коридора спускалась вниз лестница. Мы прошли еще немного и вышли на балкон. Со двора, который был как колодец, образованный четырьмя домами, этот балкон шел вдоль второго этажа. Под балконом слева стоял на земле огромный мусорный ящик. Я так и не понял, как оттуда выносили мусор: выхода из этого колодца не было видно. На мусорном

ящике стояли черносотенцы и штыками пыряли мусор.

– Ни с места, сукины дети! – закричал Дата и, легко поддев одним пальцем сверток под мышкой, выхватил новехонький револьвер.

Они соскочили с ящика и бросились бежать, по Дата Туташхиа выпустил две пули.

Я и подумать не успел, как оба валялись на земле, а Дата Туташхиа, гремя по железным ступеням лестницы, уже спустился во двор. Я опять, не соображая, зачем и для чего, последовал за ним. Оказавшись на балконе первого этажа, я, сам не знаю почему, заглянул в мусорный ящик. Видно, как теперь говорят, сработало подсознание – не мог же я знать, почему так остервенело молотили штыками мусор? Я заглянул в ящик и закричал. Даже слова не мог вымолвить – только ужасным криком кричал.

Скорчившись, как в судороге, в ящике лежали юноша и барышня – оба в крови, чуть поодаль друг от друга.

Не помню, сколько длилось мое забытье. Помню только, что я сразу отвел глаза и, как во сне, опять побрел за Датой. Один из черной сотни был ранен в ногу, другой в ягодицу. Я говорю так уверенно, потому что это установил сам Дата. Он стоял и глядел на дело рук своих.

– Кто из вас жить хочет? – произнес он наконец холодным, надтреснутым голосом.

Они молчали и глядели ему в глаза.

– Один из вас останется жить. Кому жить хочется?

Тот, что был ранен в ногу, видно, ничего уже не соображал. Ни взглядом, ни звуком он ничего не мог выразить. Во втором же заговорил, видно, инстинкт самосохранения – он подполз к ногам Даты, обхватил их, захлебываясь слезами. Стряхнув его руку, Дата освободил ногу.

– Встань!

С помощью штыка черносотенец приподнялся.

Носком Дата Туташхиа ткнул под лопатку второго:

– А ну, всади сюда свой штык!

Едва поднявшийся на ноги будто окаменел.

– Давай быстрее! – Дата выпустил ему под ноги еще две пули.

Тот, что был на земле, лежал ничком, уставившись в землю, но когда его товарищ взмахнул штыком, он живо перевернулся на спину, и штык угодил ему прямо в грудь, прошил сердце и, войдя в тело по рукоятку, пригвоздил его к земле.

– Теперь ступай и живи дальше! – медленно, разделяя слова, сказал Дата.

Убийца не мог понять, отпускают его или смеются над ним.

– Иди, говорю… живи!

Убийца повернулся, сделал два-три шага, схватился за ягодицу и остановился. Сделал еще шаг, и тут бог весть откуда пущенная пуля снесла ему череп, как крышку со шкатулки.

Пуля угодила в середину лба. Черепная кость издала странный звук, не знаю, с чем можно сравнить этот звук пули, разрывающей череп.

Я оглянулся. На балконе стоял тот самый, рослый и хромой, а гимназист засовывал револьвер во внутренний карман гимназического кителя.

Дата Туташхиа довольно долго разглядывал гимназиста и затем тоже сунул револьвер в карман.

– Выйдет кто-нибудь из жильцов, вытащит этих несчастных из ящика, – сказал он и стал медленно подниматься по лестнице.

На балконе второго этажа мы не застали уже ни хромого, ни гимназиста. Они ждали нас в коридоре.

Хромой, прислонясь к стене, теребил свои усики. Гимназист глядел на нас огромными голубыми глазами, в которых застыло изумление и безмерное любопытство.

Они не поздоровались, – видно, не до того было.

– Столько крови! – вздохнул Дата Туташхиа и добавил громко и теперь уже зло: – Не хочу я жить в таком государстве! Все осточертело мне! Все!

– Видишь, сколько нас, и никто не хочет, – сказал хромой.

– Я знаю, вас много! Не надо было стрелять в него, пусть бы жил.

– Это не я стрелял. Он меня опередил! – Хромой кивнул на гимназиста, – Прости, что

опоздал… Такая свалка была.

– Как не опоздать… Я уж и не думал сюда добраться, – ответил Дата Туташхиа. – Этот выстрел похож на твой, – сказал он хромому, поглядев на гимназиста.

– Похож, – согласился хромой.

Пройдя коридор, мы стали подниматься по центральной лестнице.

– Ты решился? – спросил хромой.

– Да, решился, – ответил Туташхиа, на минуту остановившись.

На площадке центральной лестницы перед выходом из подъезда Дата Туташхиа опять остановился и взглянул на хромого. Это был вопрос.

– Пять лет прошло, как я сказал тебе, что об этом думаю, – проговорил хромой. – С тех пор – ни слова. А теперь скажу: правильно делаешь!

Больше, видно, хромой говорить не собирался, и тогда Дата Туташхиа сказал:

– Тогда повтори, почему ты считаешь это правильным. Я позабыл, на чем мы кончили в последний раз.

– Ладно, повторю, – улыбнулся хромой. – Ты давно наблюдаешь за людьми, судишь, что в них доброго, что дурного, видишь, каковы они есть, видишь, что негож человек, и оттого махнул на него рукой, а в народе и вовсе разочаровался. Но, прости меня, самого главного ты еще не уразумел. Человек как отдельная личность почти всегда не прав. А народ прав всегда. Надо познать народ, и тогда непременно ты его полюбишь. И на отдельного человека взглянешь тогда другими глазами. Человек достоин не презрения, а сострадания, ибо он жалок. Тебе надо увидеть народ и пожить среди него, чтобы полюбить человека.

– Тогда я лучше пойду на базар, на базаре народу всегда много.

– Базар – место борьбы и конкуренции. На базаре люди противопоставлены друг другу. Базар разъединяет людей, а место, куда ты идешь, объединяет даже вчерашних врагов. Вся тамошняя жизнь – это борьба людей, сжатых в один кулак против насилия и несправедливости. Там ты увидишь, что такое «народ». – Хромой вдруг смутился. Может быть, ему стало стыдно менторского тона, который он невольно взял в разговоре с Датой Туташхиа.

– Чего только я не слышал! – сказал Дата. – Не осталось, наверное, довода, который бы упустили, уговаривая меня добровольно сесть в тюрьму. Но то, что ты сейчас сказал, этого не говорил никто и никогда. Может быть, ты мне и говорил это когда-то, давным-давно, да я позабыл. Ну что ж, сударь, прибавлю твою мысль к тому, чем снабдили меня раньше, и пойду, куда шел! – Дата вытащил из кармана револьвер и отдал хромому. Из другого кармана достал горсть патронов и со звоном высыпал их ему в ладонь. Взглянув на гимназиста, долго так смотрел и сказал: – Может быть, вам удастся довести до конца то, о чем мы мечтали… Пойдем, брат Роберт, нам ведь в одну сторону…

Он пожал им руки, и мы снова вышли на проспект.

– Куда ты идешь, дядя Прокопий? – спросил я.

– В жандармское управление. Оно, кажется, там, на горе, неподалеку от Мтацминды? – сказал он и перешел на другую сторону.

Если в гору, то до жандармского управления идти было минут десять. За это время ни один из нас не проронил ни слова. Дата шел впереди, я бежал за ним, как жеребенок за маткой. И добежал так до самого конца. У подъезда он обернулся:

– Ну, прощай! Я пошел! Будь счастлив!

Он не протянул мне руки, и я остался на улице, наблюдая за ним через парадную дверь. Он что-то сказал часовому, стоявшему у входа, – слов я не расслышал. Не прошло и трех минут, как сверху спустился тот крупный чин, которого мне показали перед отъездом в Самтредиа, сказав, что они с Датой похожи как две капли воды.

Он взял Дату под руку, и они ушли вместе.

Похожи они были поразительно.

С тех пор я Дату Туташхиа не встречал.

Я вошел в те же двери, поднялся к своему начальнику и приготовился было отрапортовать, но он не стал слушать, велев идти отдыхать и приходить завтра к десяти часам утра.

Когда я остался один, впечатления этого дня навалились на меня всей своей тяжестью.

Можно ли было назвать это отдыхом? Утром я явился в назначенное время.

Но и теперь начальник не дал мне говорить. Кого-то он вызывал, что-то кому-то поручал и новел меня в другой отдел, сказав по дороге, что сейчас нас примет Зарандиа и я должен ему обо всем доложить.

Имя Зарандиа, конечно, было мне известно, но в лицо его я не знал. Начальника, которого мне показали перед отъездом в Самтредиа, я встречал и раньше, но представления не имел, что он и есть Зарандиа. Когда я вошел к нему в кабинет и увидел его сидящим в кресле за письменным столом, я впервые объединил теперь навсегда в моей памяти запечатлевшееся лицо и имя Зарандиа.

– Садитесь, пожалуйста, – сказал он.

Я сел. Сел и мой начальник.

– Вы свободны! – сказал ему Зарандиа, и он вышел, подобрав хвост.

Зарандиа заставил меня рассказать все, со всеми подробностями, от первой до последней минуты, проведенных с Туташхиа. Потом расспросил о моей семье, о нашем роде и всех предках и поинтересовался, каким образом я попал в жандармерию. Когда выяснилось, что привело меня сюда не призвание, а желание уклониться от военной службы, он спросил меня, хочу ли я оставить жандармерию. Разумеется, я ответил, что хочу. «Чем же ты займешься?» – спросил он. Я сказал, что хочу продолжить образование и поступить в Московский университет. Он меня похвалил и отпустил, велев назавтра привести отца.

Нетрудно было сообразить, что он хочет избавиться от меня, а мне так хотелось улизнуть из жандармерии. Зарандиа и воспользовался этим. Через три дня я был свободен.

Еще через неделю поезд мчал меня в Москву.

Теперь у меня было достаточно времени, чтобы поразмыслить о своей службе в жандармерии на протяжении семи месяцев.

У вас больше нет вопросов? Тогда всего наилучшего.

Алексей Снегирь

Из Метехи меня одновременно с Фомой Комодовым перевели в Ортачала. Вместе с тамошними товарищами мы решили разобраться в положении и, как только возникнут благоприятные условия, попытаться организовать бунт.

Фома Комодов был рабочий механических мастерских Бендукидзе. Лет тридцать ему было тогда, не больше, но опыт нелегальной работы – огромный. И чего только он не умел! Красноречие, довольно глубокие политические знания, неподражаемое умение общаться с массами, дальновидность, способность быстро ориентироваться в обстановке, отчаянная смелость – всего в нем было в избытке. Человек огромного личного обаяния и веселого нрава, он пользовался большой популярностью, особенно с тех пор, как ему удалось бежать с каторги. Привезенный в Сибирь, он через три недели бежал, перепилив кандалы. Скрывался неделю, попал в ловушку и снова был арестован. Опять кандалы, опять гонят к прежнему месту каторги. Приставили к нему двух солдат. Остановились в одной деревне переночевать. Староста уступил им на ночь комнату в своей избе. Солдаты по очереди дежурят. Один спит, другой сторожит Фому. Заметил Фома, что и этот солдат стал клевать носом. Привстал, тихонько отворил окно, а сам под кровать. Солдат проснулся, увидел: окно открыто, кровать пуста, и давай тревогу! Подняли всю деревню, погнали мужиков прочесать тайгу, а Фома вылез из-под кровати, нашел напильник, каторжную свою одежку свернул и вместе с кандалами положил на стол в горнице. Переоделся в старостины штаны и рубаху и был таков. Добрался до Тифлиса, и опять нелегальная работа. Через год – октябрьский манифест, а по нему амнистия, Фома Комодов получил чистый паспорт, но, как и меня, вскоре взяли его по новому делу, и тоже – восемь лет.

Ведут, значит, нас из Метехи в Ортачала. Поначалу, конечно, обыскали, все оформили, как положено, и повели. Ни улице нас ждал конвой – четверо солдат и старшой их. С ними – арестант, не знаю, где они его подобрали.

Прошли мы Метехский мост, повернули к Ортачала, а я все к незнакомому арестанту приглядываюсь. Росточка он был небольшого, и годов ему не больше двадцати, а держится барин барином. Меня любопытство взяло: что, думаю, за птица? А он шел рядом с Комодовым.

Я Фоме мигнул – обтолкуй, мол. На воле расспрашивать незнакомого человека, кто он да откуда, не принято, тебя за невежду сочтут, за хама, а в тюрьме, напротив, это знак внимания, тебе, стало быть, сочувствуют. За что сидишь? По какому делу проходишь? – эти вопросы самые обычные.

– Ты кто? – спросил Фома у нашего надутого попутчика.

– Человек! – бросил он небрежно.

На тюремном языке это значит – «вор в законе».

– За что чалишься?

– За то! – холодно отрезал он.

– Сколько тянешь? – Фома спрашивал о сроке.

– Сколько есть! – Это значит – «не твое дело».

– По какой идешь?

– По какой надо! – ответил парень, зло сверкнув глазами.

– А зовут как? – решил не отставать Фома.

– Поктией зовут! – Это значило: «Чего не отстаешь?»

– Имя или кличка?

– Что есть! – «Разговор окончен» – вот что означал этот ответ.

Все было ясно. Малый разыгрывал вора, а на самом деле был чистейшей воды фраером.

– Наверное, у сына городового голубей увел, – шепотом подтвердил мою догадку Фома.

Отвечал Поктиа точно, как положено вору в законе, но подвела интонация: он был слишком надменен и груб. Вор в таких случаях вежлив до вкрадчивости. Видно, наставник Поктии упустил этот момент. Сам Поктиа не сомневался, что мы поверили в его «аристократическое происхождение», и пыжился, уверенный, что обеспечил себе легкую жизнь в тюрьме за чужой счет. Чем это все обернулось, я вам сейчас расскажу.

В Ортачальской тюрьме нас опять обыскали, опять потянулась нудная процедура приема арестованного – в каких-то книгах заполнили какие-то графы – и наконец нас отвели в карантин.

Загремели замки и засовы, распахнулась дверь – гвалт и зловоние, вырвались из камеры.

– Тараста, три чалавек! – крикнул надзиратель, и дверь за нашей спиной захлопнулась.

Это была бесконечно длинная, очень узкая, сырая и темная камера в полуподвальном этаже главного корпуса. С непривычки глаз различал лишь тени. Их было так много, что все вместе они походили скорее на огромное, фантастически бесплотное и мятущееся тело, чем на человеческую массу, состоящую из множества копошащихся тел.

– Нет места… неужели нельзя понять? Пихают и пихают, а куда пихают, хотел бы я знать? Устраивайтесь, где сидите, больше некуда, – дополз до нас из темного угла сквозь гул голос старосты.

– Поди сюда! – закричал ему Фома.

Глаз привык к темноте. Слева стояла полная до краев параша, и уже на один шаг от нее не было видно пола – всюду лежали люди. Здесь же стоял маленький стол, втиснутый между тел. Арестанты играли в домино. Вдоль всей камеры тянулись двухэтажные нары, а поверх них в трех местах сквозь зарешеченные окна пробивался слабый свет. Справа на верхних нарах расположилась небольшая компания – один что-то рассказывал, остальные то и дело громко смеялись. В дальнем краю, у окна, играли в карты. Играли, собственно, двое, другие лишь наблюдали.

– Здесь я. Чего тебе? – отозвался староста.

– Нам нечего подстелить, на пол лечь не можем, так что потесни-ка там народ на нарах.

– Сию минуточку, сударь… вот вам софа, и постель принесут, и белье, и самовар подадут…

– Заткнись! – оборвал его Фома. – Два места наверху! И поживее!

Староста понял, что шуточки его тут ни к чему, фиглярство не пройдет, но карантин и правда был набит до отказа. Уже в который раз приходилось ему потеснять и поджимать народ, и найдется ли на этот раз такая возможность? Но тон он сбавил, хотя брюзжал все так же:

– Извольте, сударь… поищите… найдете… располагайтесь на здоровье, а я – что?..

Поктиа тоже не был обременен добром. Заложив руки за спину, он стал быстро

вымеривать шагами узкий проход вдоль нар – взад и вперед, взад и вперед. Хорошо это у него получалось, точь-в-точь как у тех, кто отсидел не один уже срок.

Пока мы бранились со старостой, возле нас все время крутился какой-то парень. Подойдя поближе к Фоме, он заглянул ему в лицо и скрылся.

А я изучал камеру. На верхних нарах, прямо над нами, сидел человек в кальсонах, брюки он держал перед собой, и лишь сильно напрягшись, я увидел, что он не насекомых ищет, а пришивает пуговицу. «Как он только умудряется видеть в такой темноте?» – подивился я про себя. Рядом с ним, поджав ноги и позвякивая агатовыми четками, сидел и следил за пришиванием пуговицы нестарый человек с седой бородой. Я постарался вспомнить, где я его видел… я его точно где-то встречал, но сейчас было не до старых знакомых. Надо было устраиваться. Малый, что вертелся возле нас и приглядывался к Фоме, опять возник и, улучив минуту, шепотом среди гвалта спросил:

– Вы Фома Комодов?

– Да, – ответил Фома, внимательно оглядев его.

– Пойдемте со мной. Я Шалва Тухарели.

У старосты глаза на лоб полезли. Мы переступили через лежащих на полу, торопясь пробиться к проходу вдоль нар, когда староста наконец пришел в себя.

– Комодов, кацо! Что же ты сразу не сказал?

Оказывается, политические заняли верхние нары у окна в правом углу. Они лежали впятером на четырех матрацах, оставалось свободным довольно много места, и мы двое уместились без особого труда.

В тюрьме, да еще когда революция в разгаре, поговорить было о чем. Пока пересказали новости, пока обсудили, прошел час. Поктиа все мерил и мерил ногами проход между нар. Смысл и цель его поведения состояли в том, чтобы староста сам обратил внимание на человека, который ничего не просит, не занимает места в железном ряду, а только ходит взад и вперед – быстро и нервно. «Железный ряд» – это пол-локтя на человека на полу. Лежать можно только на боку, повернуться во сне – значит, разбудить соседей, тут же поднимается брань и толкотня. Поэтому ночью с бока на бок поворачивался сразу весь ряд – по команде старосты. Вместе спали, вместе переворачивались, вместе опять засыпали…

Так вот Поктиа сделал все, чтобы староста принял его за вора в законе и предложил место. Но староста оказался гнилухой, то есть он отлично разбирался в тонкостях тюремной жизни. Игра Поктии была сущий пустяк для него, и ни малейшего внимания он на него не обратил – ничего, походит, устанет и преспокойно устроится возле самой параши! Увидев, что шагание не оправдало себя, Поктиа, как и подобает бывалому вору, попробовал было другой способ – захватить чужое место. Своей жертвой он избрал арестанта, пришивавшего пуговицу. С формальной точки зрения выбор был сделан правильно: человек сам пришивает себе пуговицу, значит, не вор, ибо у вора всегда найдутся в тюрьме приживалы и прихлебатели, «шестерки», которые любую работу за него сделают. И одеждой не походил на вора: вылинявшая гимнастерка, брюки, заправленные в сбитые, заплата на заплате, сапоги. Сейчас он сидел согнувшись, весь уйдя в свои мысли.

Я был уже внизу. Захотелось размяться. В узком проходе вдоль нар разгуливали несколько человек, и я присоединился к этой цепочке. Поктиа остановился возле своей жертвы и перекрыл проход. Все остановились, а я очутился шагах в пяти от Поктии.

– А ну, дяденька, слазь! – Поктиа произнес это со всей твердостью и властностью, на какую только был способен, дяденька и не пошевелился, будто и не слышал. Только седобородый, сидевший рядом с ним, повернул голову, глянул на Поктию и снова отвернулся.

Дата Туташхиа! Я тут же узнал его… Но не успел даже вскрикнуть, как дяденька носком сапога двинул Поктиа в рожу. Парень качнулся, из носа хлынула кровь.

Дата Туташхиа невозмутимо перебирал четки, поглядывая то на Поктию, то на его экзекутора, то на присутствующих.

По столику звонко били костяшками домино.

– На нас капает, не видишь? – крикнули снизу, и кто-то отодвинулся от Поктии.

– Давай к параше! Ступай, брат, ступай!

Поктии дали дорогу, и он пошел отхаркиваться и сморкаться в парашу.

– Харчо-джан, нельзя же так, ни жалости, ни снисхождения, ей-богу!

Я не знаю, кто крикнул, но кличка была мне известна. По роду занятий торговец цветами, по призванию – активный мужелож, он то и дело попадал в Ортачальскую тюрьму.

– Ха, не твое собачье дело! – огрызнулся Харчо и снова погрузился в мысли, мирное течение которых было прервано визитом Поктии.

Он сидел, как Шива, и вообще сильно смахивал на него.

Цепочка прогуливающихся опять пришла в движение, и я вместе с ней. «Дата это или нет? Может быть, мне показалось?» И при следующем повороте я решил получше разглядеть седобородого.

Поктиа стоял над парашей и унимал кровь, а потом опустился возле нее и, запрокинув голову, совсем затих. Ну, не совсем, может быть, не возле, а чуть подальше, но все же он сел возле параши. Это значило, что уже никогда не зваться ему вором в законе. Хорошо подкованный теоретически, он поймет теперь: чтобы выжить, надо искать другие пути.

Я еще несколько раз прошел мимо седобородого и, подойдя к своим, спросил Андро Чанеишвили: кто это?

– Дата Туташхиа. Слышал о нем?

Оказывается, Дате Туташхиа дали пять лет и он отбывал свой срок здесь, в Ортачала. Месяц назад его перевели в жандармскую тюрьму, но не прошло и десяти дней, как он вернулся сюда. Вся тюрьма знала его, и друзей у него было много.

– Как он держится? – спросил я.

– Да так, сам по себе. Никто его не трогает. Так и живет.

– Тронь его! А то они не знают, кого трогать, а кого нет?

Пришлось рассказать своим новым друзьям, откуда я знаю Дату Туташхиа.

Поктиа сидел несчастный и жалкий, то и дело щупая свой нос. Но два пинка, доставшиеся ему, были ничто в сравнении с тем, что в тюрьме считалось весьма умеренной расправой, и с тем, что доводилось мне наблюдать не раз. Другим подобные ошибки стоили половины жизни. Это так и называлось: «отнять полжизни».

Я снова спустился вниз и решил пройтись мимо Даты еще разок-другой, – может, узнает меня… А нет, так сам напомню.

– Поди-ка сюда, парень! – позвал Харчо Поктию. Поктиа сидел не поднимая головы, он и не понял, что зовут его.

– Чапай сюда… кому говорят! Да двиньте ему! – приказал Харчо.

Сосед толкнул Поктию.

Поктиа сидел, будто его пригвоздили к полу, и исподлобья поглядывал на Харчо. Наконец он поднялся и приблизился к нему, но лишь настолько, чтобы носок Харчо его не достал.

– Поднимись и сядь рядом! – дружелюбно пригласил Харчо.

Очень неуверенно, но все же Поктиа поднялся.

Дата взглянул на его побитую физиономию и отвернулся.

Одну ногу подобрав под себя, а другую свесив с нары, Поктиа настороженно уставился на Харчо.

– Вот что я скажу тебе, сынок, – ласково начал Харчо, – тот, кто тебя всем этим премудростям научил, забыл, видно, сказать, что надо делать, когда дяденька откажется слезть с нар и уступить свое место?

Поктиа глянул на него во все глаза и молчал.

– Во-о, видишь! Значит, не научил. Тогда я тебя научу, может, и пригодится.

Харчо спрыгнул вниз и вцепился в ногу Поктии…

Поктиа слетел с нар, описал в воздухе дугу над головами доминошников и рухнул рядом с парашей.

– Вах! – вырвалось у одного из игроков. – Видал?!

– Ставь давай! Нашел время!

– Вах! Правда, не видал?

– Ставь, говорю!

– Да нет… видал, что было?!

– Будешь ставить или нет!..

Игрок поглядел на концы, потом на свои костяшки и поставил.

– Да, этому, видно, он тебя не научил, – задумчиво протянул Харчо, вскарабкавшись на нары и устроившись в той же позе.

Но тут – никто и не ждал – Дата Туташхиа, чуть отодвинувшись к стене и упершись в нее спиной, обеими ногами двинул Харчо в зад. Харчо повторил траекторию Поктии, но плюхнулся задом на столик доминошников. Столик был ветхий и от такого удара развалился. Пытаясь подняться и сохранить равновесие, Харчо угодил одной ногой в парашу. Те, что сидели и лежали вокруг параши, вскочили как ошпаренные, и поднялся такой гвалт, какой редко услышишь даже в тюрьме.

Восстановить, что за чем потом следовало, невозможно, да я и не буду пытаться. Тут же в разных местах одновременно вспыхнула драка. Два игрока в домино свалились на тех, кто лежал возле стола, – здесь дрались в основном сапогами, тяжелыми башмаками и галошами. Железный ряд, облитый содержимым параши, кинулся на Харчо. Молотили мужеложа одновременно человек десять: кто кулаками, кто ногами, а один, схватив здоровенную крышку от бочки с водой, размахивал ею, но никак не мог опустить ее на Харчо, так как боялся попасть в тех, кто его избивал. Наконец он изловчился, но попал не в Харчо, а в кого-то еще, и тут же завязался новый очаг драки. Поктиа вертелся вокруг Харчо, норовя ткнуть пальцем своему мучителю в глаз.

Как только развязалась драка, я, спасаясь, вскочил на верхние нары, откуда развертывался прекрасный вид на панораму битвы. Утверждаю со всей ответственностью: меньше всех досталось Куркале, третьему игроку в домино. Железнорядцы, потаскав его по полу, схватили за руки и ноги и, раскачав, как мешок, забросили на верхние нары. Он плюхнулся между мной и Датой Туташхиа. На его счастье, он никого здесь не потревожил и, получив два-три ленивых тычка и благоразумно не ответив на них, перешел, таким образом, в партию зрителей. Пока шло побоище, он тянул лишь одно:

– Ты только погляди, что творится… э-э-эх! Ух-ух! Вай-вай! – Потрет отбитое место и опять за свое: – Ты только погляди, что творится – э-э-ээх! Ух-ух!

Кстати, никто уже и не понимал, что творилось и с чего началось. Разве только Харчо помнил об этом. Так, по крайней мере, было в тот момент, о котором я сейчас вам рассказываю.

Но над самим Харчо нависла, оказывается, огромная опасность. Я сам не заметил, как это началось, ибо был увлечен другим участком военных действий, но вдруг сбоку завопил Куркала:

– На Харчо гляди, на Харчо… Нет, на Дардака, на Дардака… Э-э-э, что творится! Ух-ух! Вай-вай-вай-вай…

Оголенного Харчо согнули в поясе и с трудом удерживали в таком положении, потому что он старался увернуться от Дардака, своего коллеги по мужеложству.

Дата Туташхиа сидел по-прежнему в той же позе на скрещенных ногах, созерцая этот жестокий и разнузданный мир. На лице его было больше любопытства, чем сожаления по поводу того, что он-то и заварил эту кутерьму. Все происходящее он воспринимал как огромный оркестр, совершенно не интересуясь исполнителями отдельных партий.

Нетрудно представить, какой гвалт стоял в камере, но вдруг его прорезал такой вопль, что я невольно отвел глаза от Харчо и Дардака. Кто вопил, понять было нельзя, ибо прямо подо мной в огромном слившемся клубке каталось по полу человек двадцать, и кто кого бил, понять тоже было невозможно. Четвертый игрок в домино, вор в законе по прозвищу Тамбиа, крутился вокруг клубка, пытаясь вытащить из-под сплетенных и задыхающихся тел хотя бы одну ножку разломанного стола. Несколько раз ему удавалось ухватиться за ножку, но никак не получалось вытянуть ее. В это время Дардака хватили по голове крышкой от питьевой бочки, оглушили и, не дав упасть, аккуратно усадили прямо в парашу. Правда, тут же опомнившись, он выскочил из параши, но, разумеется, после столь острых ощущений пыл его испарился, и Харчо спасся от профессионального оскорбления!

Одну ножку стола Тамбии наконец удалось-таки вытащить. Я подумал было, что он начнет орудовать ножкой, как дубинкой, но не тут-то было: он, видно, и не думал никого трогать, а двинулся вдоль нар, миновал Дату и еще шагов через десять, занеся дубинку над головой, стал подниматься к нам на верхние нары. Может быть, он хотел поддать сверху тем,

что дрались внизу, но в последний миг дубинка Тамбии оказалась прямо у виска Даты Туташхиа, однако Дата вдруг увернулся, непонятно как почувствовав опасность, и дубинка, скользнув по его лопаткам, ударила по пустым нарам. Еще через миг Тамбиа был обезоружен и пытался спастись, спрыгнув на головы дерущихся, но тут его достала дубинка, перехваченная Датой, и, свалившись на самый край верхних нар, Тамбиа мокрой тряпкой соскользнул вниз.

– Э-э-э!.. Смотри… На Тамбию погляди… до воров добрались… воров бьют… что творится! – заорал Куркала.

В тогдашней тюрьме вор считался личностью неприкосновенной. Того, кто осмеливался поднять на вора руку, если и не убивали, то полжизни отнимали наверняка. Никто из дерущихся и в мыслях не держал, что его противником мог быть вор в законе. В подобных свалках воры вообще никакого участия не принимали. Они могли наблюдать за дракой, рассевшись на верхних нарах и позволяя себе лишь комментарии. Но когда крикнули, что бьют воров, каждому уже необходимо было убедиться, что он не бьет вора. Поэтому, стоило Куркале заорать, как темп драки тут же спал, но лишь на две-три секунды, с тем чтобы тут же вспыхнуть с новой силой.

– Где бьют? – закричал Спарапет.

– Кого бьют? – дернулись с места другие воры.

– Тамбию! На Тамбию поглядите!.. Это Сыч, Сыч, – сообщил Куркала и тут же полетел с нар. Дата опустил дубинку ему на спину и сбросил его с нар, как кучу навоза.

Сыч, оказывается, была кличка Даты. Вся воровская стая рванулась к нам. Я попытался заслонить Дату, но меня свалили с ног и бросились на него. Размахивая дубинкой над головой, Дата мигом вывел из строя трех или четырех воров, остальные осели, и натиск ослаб.

– А ну, давай сюда эту штуку, – Спарапет протянул руку к дубинке.

– Подойди, голубчик, и возьми!

– Смотри, Сыч!.. Придем и дубинку возьмем, и жить не оставим! Бросай, говорят тебе!

– Не я первый начал! Вон внизу валяется… Тамбиа, кажется? Его дубинка… Так что сами ступайте с богом!

– Я знать не знаю, кто у вас первый, кто второй. Бросай дубинку, а не то поздно будет…

– Ладно, Сыч, бросай! Посчитай, сколько нас здесь!

– Вон сейчас везде говорят – в единении сила! А этому единению у кого они научились? У нас… истинный бог!

– Забирайте своего Тамбию, мальчики, и ступайте с миром! – повторил Дата.

– Нет, ты погляди на него только… Не отдаст, а?

– Спятил, ей-богу, спятил!..

Дата почувствовал, что наступательный дух воров сломлен, и, не медля ни секунды, свалил еще двух-трех, остальные кубарем скатились вниз. Но тут воры, подкравшиеся сзади, с головой накрыли Дату одеялом и стали его избивать. Воры, скинутые вниз, вмиг вскарабкались на верхние нары и набросились на Дату, как стервятники на падаль. Я, конечно, пытался оттащить их. Прибежали все политические и начали их разнимать, но только разнимать, ибо между политическими и ворами существовало нелегальное соглашение, действовавшее по всей территории Российской империи и при всех обстоятельствах: друг на друга не нападать. Дата к политзаключенным не принадлежал, и поэтому за нами оставалось лишь право разнимать. Не будь нас, эти подонки могли забить Дату до смерти. И все же главное сделал он сам. Он до конца драки так и не выпустил дубинку из рук, отнять ее они не смогли. И отбивался он с большим толком и знанием дела. На каждый воровской удар приходилось по три удара Даты. Но воров было десятка два, а Дата один, если не считать разнимавших. Что творилось в камере, когда Дата дрался с ворами, описать не берусь – мне было не до них. Но одно я заметил: в драку ввязалась еще пропасть народа, и озверение росло. Не знаю, чем бы все это кончилось, если б не отворилась дверь камеры и надзиратель не заорал:

– Тараста, обе-е-ед!

Втащили кадки с баландой, и сразу все стихло. И воры отцепились от Даты, ибо из-за спины надзирателя высунулась здоровенная рожа разносчика передач.

– Передачи, староста-а-а!

– Отстаньте от него, он ненормальный, – шепнул Спарапет ворам, и они отползли в свой

угол. Лишь теперь, когда воцарилась полная тишина, до нас донеслось:

– Воров бьют!!!

Вопила вся тюрьма. Все корпуса и камеры.

Этот вопль был организован другими ворами в знак солидарности с коллегами и чтобы запугать всех, кто осмелился задеть воровское достоинство.

Стоило, однако, стихнуть нашей камере, как оборвался и рев тюрьмы.

– Ага! Кажется, всё! – староста высунул голову из-под нар и, убедившись, что все кончилось, вылез, отряхнулся и, окруженный баландерами, двинулся к двери.

Воры с титаническим спокойствием ожидали, когда раздадут передачи, чтобы получить положенную долю.

Дата поднялся, вытер кровь с лица и, только сейчас узнав меня, рассмеялся.

Началась раздача баланды, по камере поплыла туча глиняных мисок и деревянных ложек, а у котлов с баландой вытянулись длинные очереди, Все, кто минуту назад с остервенением колошматили друг друга, походили сейчас на скучающих гуляк, утомленных затянувшимся бездельем, но уж никак не кровных врагов. Кто-нибудь бросит баландеру: «Помешай, как положено, а тогда разливай!» – и снова мир и тишина.

И Дата держался так, будто и не дрался вовсе, и не был бит, и ничего-то у него не болело.

Камера пошла хлебать баланду, а фельдшер Бикентий Иалкаиндзе ходил от одного арестанта к другому и помогал чем мог. Кому-то за дверью он крикнул, что одному ему не управиться, и появился второй фельдшер.

Принесли воду и тряпки, чтобы вымыть полы. Арестанты, измазавшиеся в нечистотах, вынесли парашу, и их отвели в баню.

Начали наконец раздавать передачи.

«Шобла» слопала баланду, прилипла к окнам и пошла отчитываться перед всей тюрьмой о том, что произошло в нашей камере.

Вернулся Харчо – весь в пластырях, только глаза видны, одна рука на перевязи, другой придерживал брюки, ибо в драке потерял пуговицы, пришитые с таким тщанием. Попытался взобраться на нары и не мог – руки-ноги не слушались.

– Господни Харчо! – сказал Дата Туташхиа. – Влезть ты может, и влезешь, а вот спуститься силенок у тебя не хватит. За нуждой или еще зачем – парашу-то сюда не принесут? Да и зачем ты мне под боком?.. Ну уж будь так любезен, забери свои шмотки и найди себе другое место.

Дата свернул подушку и вонючее одеялишко, просунул их сквозь тряпицу, на которой висела сломанная рука Харчо, и повернулся ко мне:

– Парня, которого он сбросил… вместе с вами его привезли… как зовут?

– Назвался Поктией.

– Поктиа! Поди-ка сюда, голубчик!

Поктиа приблизился.

– Ложись здесь. Место освободилось.

Поктиа недоверчиво взглянул на Дату.

– Поднимайся, голубчик, поднимайся!

Убедившись, что опасности вроде нет, Поктиа быстро и ловко взобрался к нам.

– Расстели мою бурку, на нас двоих как раз хватит, а там принесут тебе постель из дому, и брось гоняться за тюремным дворянством. Вором ты сроду не был и не будешь.

Обрадованный Поктиа растянулся на голых досках.

– Квимсадзе! Есть тут Квимсадзе? – закричал раздатчик передач.

– Есть, есть, – отозвался староста. – Класион! Квимсад-зе-е-е! – повернулся он к политзаключенным. – Тебя зовут!

– Квимсадзе Класион Бичиевич! Иду!

Класиону было лег сорок. Пятнадцать из них, начиная с восемнадцати лет, он провел в тюрьмах и ссылках, остальное время готовился к отсидкам. Так он сам про себя говорил. Его знало все политическое подполье Российской империи, но никто не мог бы сказать, к какой цели он стремился, кроме сокрушения царизма. Смешной, но нужный человек – такова была его репутация.

Во время одной политической дискуссии его спросили прямо:

– Ваша платформа, товарищ Класион?

– Риони, друг! – ответил Класион. Класион был сыном кутаисского попа, а попасть в Кутаиси по железной дороге можно было, только сделав пересадку в Риони.

Этот поп, Бичиа Квимсадзе, и прислал сейчас сыну огромную передачу. Одних только кур была целая дюжина.

– Класион, дорогой, одну из этих куриц мой папаша пожертвовал твоему папаше, – пошутил какой-то кутаисец.

– С тех пор, как ты сел, у твоего папаши нет даже паршивого цыпленка, – парировал Класион. – На тебе одну, отошли домой, пусть дождутся, пока вернешься и в доме опять своя курица будет. Возьми еще хачапури, и шоти бери.

Класион оставил на нашу долю ровно столько, чтобы не попортилось, а остальное стал рассылать в разные концы камеры. Андро Чанеишвили собирал к столу.

– Алексей, забирай-ка Дату и давайте сюда. Вам что, есть не хочется? – позвал Шалва Тухарели.

– Расстели бурку и ложись, – сказал Дата Поктии, и мы отправились к нашим.

Класион суетливо раздавал передачу:

– Это отнеси ворам, чтобы им пусто было. Ох и огрел меня кто-то, пока их растаскивали, Прямо в копчик всадил. Думал, свихнусь, такая боль! Отнеси, и пусть не думают, что даю положенное. Ничего им от меня не положено. Это так… для голодных… Доли от меня они не дождутся. Дай бог здоровья моему отцу. Господи, помилуй, господи, помилу-у-уй! Отнеси, тихонечко мои слова этой вшивоте передай! Не забудь!

– Ну и складно у тебя получается, Класион! Отменный поп из тебя вышел бы! – сказал Шалва Тухарели.

– Те, из кого царь себе попов печет, они и сметут его царство, вот увидите! – сказал Класион, довольно потирая руки и разламывая мчади.

– Такие хачапури печет моя бедная Эле, – сказал Дата, – сколько сижу, а она ни разу не пришла. Что случилось с ней, не пойму.

– На этой неделке тебе было две передачи. Кто у тебя в Тифлисе? – спросил Шалва Тухарели.

– Моя невестка, жена двоюродного брата.

– Ничего, Дата. Бог милостив, – сказал Класион.

– Класион, ты рыжего негра когда-нибудь видал? – спросил Шалва Тухарели.

– У этого царя и его сатрапов увидишь что-нибудь путное, как же! – тут же отозвался Класион. – А что, разве есть рыжие негры?

Все рассмеялись, и Класион понял, что его разыграли.

– А ты чего веселишься? – чтобы скрыть смущение, кинулся он на Дату. – Рад, что жив остался? Мать моя, как же они его отделали!

– Да… так мне еще не доставалось. Но уж больно много их набежало!

– С твоим характером и не то еще увидишь, – предсказал Класион.

– А какой такой у меня характер?

– По кличке и характер. Один в поле не воин – тебя что, этому не учили? Сидеть одному, как сыч, нельзя. Надо на чью-то сторону становиться, а то всегда бит будешь. Такова жизнь.

– Нас собралось здесь шестеро, – впервые заговорил с Датой Фома Комодов. – У, каждого свой путь, но объединены мы одним – желанием бороться за лучшее будущее народа. Какого бы политического учения ни придерживался каждый, конечная цель у всех общая. В этом залог нашего единства. И наша сила!..

– Очень уж мы сильны! Страх один, как сильны! – перебил его Класион. – Помолчал бы лучше. Такое у нас единство и такая силища, что с одним плюгавым царем управиться не можем. Конца ему не видать, гноит пас в тюрьмах, и все тут! Вот у них единство так единство, – Класион кивнул на воров.

– У этих? – сказал Дата. – Их единство на том стоит, что каждый хочет выжить и ухватить кусок послаще. Единство воров – единство ради собственного блага. А единство ради блага другого – это уже и разговор другой. И это уметь надо – сделать другому добро. А

революционное движение полно неумехами. И единство у них неумелое, оттого революция все никак не победит.

– Очень уж ты много знаешь, Дата, я прямо удивляюсь, – сказал Класион. – Может, подскажешь нам, с какого боку за царя взяться?

Шуток над собой Дата не любил, я помнил это с детства и почувствовал неловкость. Другие тоже почувствовали, что выходка Класиона неуместна, да и сам Класион смутился, может быть, больше оттого, что шутка его не возымела никакого действия на Дату.

– Что с царизмом делать, учить вас не берусь, а вот разделаюсь с этой ножкой и скажу о том, что знаю.

– В чем единство воров, ты знаешь. Что есть единство чужого блага ради, тебе известно лучше нас. Что ты сам по себе, а все друг за дружку цепляются и оттого намяли тебе бока – это ты и сам признаешь… Стал бы ты на чью-то сторону, почем зря к тебе не лезли б и за здорово живешь не мутузили… – Класион вдруг поперхнулся, подсеченный тяжелым взглядом Даты.

– Видно, по этой причине ты и пристал к революции? И мне прикажешь той же дорожкой бежать?

Класион вконец растерялся.

– Если вы бескорыстно печетесь о будущем народа и цель ваша – чтобы человек стал лучше, тогда я давно с вами. Очень давно.

– Я обидел тебя, Дата, – промолвил Класион. – Прости меня.

– И не думал обижаться…

– Нет, не мог ты не обидеться… Перебрал я.

– Выбрось это из головы. Нет на тебя обиды, клянусь честью!

– Тогда объясни, почему ты не обижен! – сказал Класион, подумав.

– Если я объясню, вот тогда обиженным будешь. Бросим этот разговор.

Дата разрезал пополам шоти и, положив порядочный кусок курятины, сыру и пару яиц, передал все это Поктии.

Класион лежал на боку и размышлял, видно, над словами Даты.

– Ты вот зовешь присоединиться к вам, – повернул разговор Дата. – Наверное, я так и сделаю, но знаешь, когда?

– Когда же?

– Видел ты сейчас это бессмысленное скотское побоище? Понял, сколько в этом люде энергии и силы? Режим довел их до скотского состояния. И здесь, и там тоже, – Дата кивнул на окно. – Как заставить крутиться мельничное колесо, я знаю. Но как силу и энергию этих людей, бессмысленно пропадающую, обратить на их же пользу – этому я должен научиться. Научусь и уж тогда приду к вам. – Дата помолчал. – Если кто-нибудь из вас это знает, к нему приду и буду учиться.

– Пока не знаем, – сказал Фома Комодов. – Знали бы, не делали столько ошибок. И тогда революция давно бы победила… Пока мы наблюдаем, накапливаем опыт, учимся. И научимся, уверяю тебя. Но единство нужно и в этом.

– Жди, научимся! – мрачно сказал Класион и слез с нар.

Разговор пошел о бунте арестантов. Но тут распахнулась дверь и в камеру ввалилось двадцать пять счастливчиков, допущенных в баню. Следом за ними в дверях возник Коц, начальник тюрьмы, а за ним – хвост надзирателей. Староста завертелся возле них, а камера замерла.

Коц остановился посреди камеры, а по правую и левую его руку выросло по два жандарма. Надзиратели толпились за спиной и в дверях.

Странным было не только имя человека, но и сам он был личностью весьма примечательной. Никто из арестантов ни разу не слышал его голоса, и неизвестно было, владеет ли он вообще даром речи. И на этот раз Коц не издал ни звука. Старший надзиратель что-то шепнул ему на ухо. Коц кивнул едва заметно, можно сказать, и не кивнул вовсе.

– Кто здесь Поктиа? – заорал старший надзиратель.

– Я, – приподнялся Поктиа.

– Выходи!

Когда Поктиа спустился, начальник тюрьмы поднял три пальца – трое суток карцера.

Пинком начальника корпуса Поктиа был вышвырнут в коридор. Старший надзиратель снова склонился над ухом начальника тюрьмы, и Коц снова кивнул.

– Харчо, выходи! – три пальца и пинок.

– Теперь моя очередь, – сказал Дата. – В карцере хоть воздух почище.

Назвали Туташхиа.

Дата вышел, начальник тюрьмы оглядел его с головы до ног и взмахом руки отпустил. Дата был свободен, а старший надзиратель снова склонился над ухом начальника тюрьмы, Тамбии, Дардаку, Куркале и даже Спарапету – всем выпало по трое суток. Список старшего надзирателя, видно, был исчерпан, и Коц самолично приступил к делу. Он прошел всю камеру из конца в конец, и к тому моменту, когда вновь оказался у дверей, еще пятнадцать арестантов пинком было выдворено в коридор. Почему он отпустил Дату и по каким признакам отобрал эти полтора десятка арестантов, сказать не могу, но что при этом никто не издал ни звука, это уж точно. Под конец начальник тюрьмы, повернувшись к старосте, поднял перед его носом пять пальцев и очень галантно, как гостеприимный хозяин дорогого гостя, пригласил в коридор.

– Да за что же? – заскулил староста. – Я же носа из-под нар не высовывал.

Личным пинком начальника тюрьмы староста был вышвырнут в коридор. Видно, Коца обидел старостин скулеж, – такая неблагодарность, это при таком-то любезном обхождении.

Карантин продлился еще дней десять. По установленному порядку он был распущен на двадцать первый день после приема первого арестанта. Нас развели по камерам.

Граф Сегеди

Пока я ожидал ответ на свое прошение об отставке, а ответ по причинам, до сих пор мною не выясненным, не приходил, положение в империи день ото дня ухудшалось. Об этом времени сейчас написано много – и ученых трудов, и романов, и бессчетны свидетельства очевидцев. Реминисценции дилетанта вряд ли будут полезны историкам. Поэтому ограничусь двумя замечаниями, важными для понимания моего последующего изложения, и вернусь непосредственно к записям.

Все, что я видел, пережил и воспринял на протяжении своей жизни, дало мне уверенность, что государство – это огромный, кипящий на огне котел с похлебкой, а гражданин – существо, к этому котлу присосавшееся. Неизбежно наступает минута, когда надо помешать в котле черпаком, или встряхнуть его; присосавшиеся отваливаются, и тогда… Миллионы мечутся в исступлении, и каждый раздираем страхом о животе своем. Одни пытаются вновь присосаться к старому котлу, другие ищут новый, фантазия третьих рождает посудину, которую вообще никто никогда не видел, однако они убеждены, что она существует, а им на роду написано отыскать ее. Вся эта кутерьма длится до тех пор, пока кто-нибудь не сообразит перекрасить старый котел и назвать его совсем по-новому. Тогда, подобно клещам, граждане вновь присасываются к котлу, и «земля пребывает вовеки».

Из событий девятисотых годов я как должностное лицо и человек, преданный престолу, вынес убеждение в том, что пароду следовало проявить больше мудрости, а власти – великодушия. Под мудростью я подразумеваю сообразование противоречащих друг другу интересов, а под великодушием – конституционную монархию.

И еще одно. Меня всегда увлекал самый процесс созревания и осуществления замыслов, во мне рождавшихся. Поначалу – осмысление обстоятельств, изучение фактов, формулирование вывода. Затем – определение необходимых мер и осуществление их. Третья стадия – освоение вновь сложившейся ситуации и приспособление к ней. И, наконец, ретроспективный анализ причин, породивших именно злу, а никакую иную цепь умозаключений. Подобная ретроспекция, как правило, приводит к открытию.

Мое открытие состояло в том, что на самой первой ступени, когда еще только изучались обстоятельства и факты, я совершенно не принял в расчет собственную натуру, что и сыграло, как оказалось позже, роковую для меня роль. При тогдашнем положении в империи на этой должности нужен был более сильный и жесткий человек.

Я со своими взглядами, либерализмом и колебаниями мог принести трону и государству

лишь вред. Эту причину я осознал уже после подачи рапорта об отставке и еще раз убедился, что поступок диктуется, в первую очередь, интуицией, а уж потом стереотипами и анализом.

Так вот, я сидели ждал согласия министра. Однако должность я еще занимал, и необходимо было исполнять службу. Именно в этот период я получил распоряжение относительно возможных бунтов в местах заключения. Предписывалось тщательно изучить обстановку, настроение заключенных и представить письменный доклад министерству. Это была чрезмерно трудная и ответственная работа, но я взялся за нее сам в надежде что тем временем получу согласие на прошение об отставке, а дело завершит лицо, заменившее меня. Случилось, однако, так, что министр ответил согласием лишь после того, как работа была завершена и доклад написан.

Почему революционеры считали нужным тюремные бунты? Сами они на допросах показывали следующее: манифест 17 октября пятого года, наряду с неприкосновенностью личности, свободой совести, слова, собраний и союзов, обещал народам Российской империи и амнистию для политзаключенных. Понадобилось совсем немного времени, чтобы всем стало ясно: с помощью манифеста царизм хочет выиграть время. Выполнялся манифест лишь постольку, поскольку это было необходимо самому самодержавию. Это – общеизвестно.

Государственную думу выхолостили, как и амнистию политзаключенным. Огромное число профессиональных революционеров продолжало томиться в тюрьмах, откуда под разными предлогами их так и не выпустили.

Бунт в Тифлисской тюрьме произошел спустя три года после моей отставки. Разумеется, я не участвовал в событиях и не должен был выказывать интереса к ним. Но одним из участников бунта был Дата Туташхиа, и я оказался поэтому втянут в события, конечно на ролях наблюдателя, хотя и стороннего, но питающего острый интерес к происходящему. К моим теоретическим представлениям о стихии толпы присовокупилась полная осведомленность о бунте. Это дает мне право судить о случившемся достаточно компетентно. После опубликования манифеста аресты стали еще ожесточеннее.

Манифест был опубликован, Дума выбрана, а революция не только не пошла на спад, а стала углубляться и обостряться. Почему? Потому что масса быстро убедилась: царским посулам грош цена. Политически наивная часть народа требовала выполнения манифеста. Зато слои, политически более зрелые, осознав, что манифест лишь западня, поняли: единственный выход в свержении самодержавия, в уничтожении царизма. Тюремные бунты были признаны ими обязательной частью общенародного движения. Они должны были доказать царизму, что ему не только не задушить революцию тюрьмами, массовыми расстрелами и повальными арестами, но что, напротив, революция будет углубляться. Кроме того, необходимо было подать пример. Другим предстояло последовать за ними. Они хотели подорвать основу самодержавия – тюрьмы. Можете вы представить себе империю, полицейское государство, где возмущение масс достигло такой силы, что даже тюрьмы трещат под напором этого возмущения? Единственный выход для государства в этом случае – сложить оружие либо начать массовое истребление возмущенных, что должно опять-таки лишь приблизить час его крушения.

Бунт, как известно, есть активное действие массы, созревшей для борьбы. В Ортачальской тюрьме содержалось четыре тысячи семьсот арестантов. Казалось бы, огромная сила, тем более что условия в тюрьме были невыносимые. В камерах прямо на полу лежали вповалку по четыреста человек. Нары сохранились лишь в карантине да в камере каторжников. Казенные харчи были из рук вон. Администрация едва справлялась с приемом, проверкой и раздачей передач. К тому же не у всех под боком родня, которая могла приносить эти передачи. Но и те, что приносили, с утра до ночи простаивали в очереди у окошка. Случалось, что очередь не доходила, и они возвращались домой, с чем пришли. Ко всему прибавилось и то, что в один прекрасный день по приказу начальника тюрьмы двери этажей оказались заперты, и отныне арестанты могли перемещаться лишь в пределах своего этажа. Спустя еще неделю повесили замки и на камеры. В клозет выводили теперь по расписанию, сразу всей камерой, но лишь дважды в сутки – утром и вечером, из-за чего поставили по камерам огромные параши. По этажам потек смрад. Арестанты стали роптать. Участились случаи неповиновения начальству и стычек с надзирателями. Доходившие с воли известия о забастовках, волнениях, вообще о

нарастании революции сделались единственной темой разговоров. Эти разговоры будоражили людей, заряжали их решимость», создавали боевое настроение. Кроме того, в камерах нашлись и добровольцы, и выделенные революционерами агитаторы, проводившие пропаганду революционных идей, и нужно признать – весьма успешно. Даже после того, как повесили замки и агитаторы не могли свободно ходить из камеры в камеру, воздействие словом продолжалось. Словом, тюрьме, арестантской массе нужен был лишь пример, но… бывает, масса готова к борьбе, а к активным действиям так и не переходит. Объяснение этого явления следует искать главным образом, в социальном составе массы и отсутствии причины, которая могла бы вызвать взрыв.

Существует совершенно ошибочное мнение, будто мятежи, восстания и другие массовые выступления народа начинаются в предварительно назначенный кем-то день и час. Я не говорю о правительственных переворотах, когда заговорщики располагают преданными им войсками и для начала операции достаточно лишь приказа. Я говорю о народном движении, а здесь требуется нечто совсем иное. Масса, как бы она ни была заряжена, не начнет активно действовать, не превратившись в толпу. Для этого нужен повод! Но если она и далее останется толпой, то ей не миновать поражения. Это неизбежно! Чтобы ее действие переросло в серьезную акцию, нужна организующая сила в лице людей, вооруженных определенным учением, то есть силой, которая сможет вооружить толпу тактикой, поставить перед нею цель.

Каков же был социальный состав массы, содержавшейся тогда в Ортачальской тюрьме?

Самой малочисленной была прослойка профессиональных революционеров. Не более тридцати человек, – и это на почта пятитысячное население Ортачалы. Я говорю о революционерах, осужденных на тюремное заключение, но не на каторгу. Каторжан тоже было человек с тридцать, и содержались они в особой камере, политических среди них не насчиталось бы и десяти, но все они без исключения, независимо от характера совершенных преступлений, должны были принять активное участие в бунте. В такой же мере учитывалось и участие тех, кто, попав в тюрьму после первых же выступлений, здесь навсегда связал свою судьбу с политической деятельностью, с революцией. Подоспевшая амнистия освободила большинство из них, но вскоре, за повторное участие в революционных выступлениях, они снова попали в тюрьму. Это была молодежь, представители различных социальных слоев. Здесь можно было встретить и молодых пролетариев, и выходцев из духовенства и буржуазии, и учителей, и чиновников, был даже сын околоточного надзирателя!

Далее. Если определенная группа приступит к активным действиям, то многотысячная масса незамедлительно выделит из своей среды сотню совершенно неожиданных отчаянных их соратников. Таким опытом революция уже располагала. Эти сто пятьдесят – сто восемьдесят человек станут авангардом, но чьим? Перейдем, в связи с этим, к основной массе.

Более пятисот заключенных, или десять-одиннадцать процентов всего контингента, составляли «обслугу» тюрьмы. Администрация комплектовала ее из числа малосрочников или заканчивающих срок. Арестанты, принадлежавшие к этой прослойке, работали в канцелярии, на складах, прачками, уборщиками, ассенизаторами. Это была привилегированная прослойка, питавшаяся духовными и физическими объедками администрации и рассчитывавшая получить «повышение» или сокращение срока. От этих людей бунт мог ждать лишь измены, предательства, вероломства. Случались, конечно, и исключения.

К обслуге – если говорить о возможном бунте – следовало отнести откровенных монархистов и верноподданных, тоже сотен пять или шесть. Эти с удовольствием перестреляли бы бунтовщиков, доведись им получить ружья или патроны. Столько же набралось бы заключенных, которым до окончания срока оставалось от двух до шести месяцев и которые из страха получить новый срок за сочувствие очень легко могли пойти против бунта. Таким образом, на добрую треть арестантов вожаки не только не могли рассчитывать, но еще надо было подумать, как их обезвредить. Такая треть есть обычно в каждой тюрьме. Без нее ни одна тюремная администрация не могла бы выполнить своего назначения.

Теперь о так называемой «шобле». В эту прослойку входило до трехсот растратчиков и мелкокалиберных чиновников, совершивших различные неполитические преступления. Эти целыми днями предавались сладостным воспоминаниям о том, как одному из них тайный советник Трататататаковский изволил сказать: сударь, ведите себя прилично, или как генерал

Траляляковский уронил пенсне и как проворно его поднял и подал ему адъютант. До тюрьмы духовной пищей этой прослойки было пресмыкание перед привилегированным сословием, и сейчас каждый из них надеялся, что после освобождения он все же достигнет того, что до ареста было лишь предметом его мечтаний. Называли их лисами, и никто не сомневался, что, едва начнется бунт, они разбегутся по своим норам. К шобле относились еще семьсот – восемьсот арестантов: один плеснул неверной жене в лицо серной кислоты, другой ударил соседа киркой за то, что свинья того забралась в его огород. Третий растлил малолетнюю. Один даже зарубил топором собственную бабушку – добыча составила семь рублей сорок копеек. Но большинство этой прослойки все же состояло из мелких воришек, так называемых «пристяжных». Почему-то все вместе перечисленные типы назывались «шоблой». К непригодным для бунта можно было отнести и до трехсот больных и симулянтов, а также около сотни иностранцев. Так что еще тысячи полторы человек следовало сбросить со счетов как инертное, пассивное, в лучшем случае – нейтральное быдло.

Каста воров в тогдашних тюрьмах считалась господствующим слоем. Я говорю – каста потому что у них были свои, неписаные, но точно установленные законы, моральный кодекс и судебная процедура. Они считали себя «хозяевами тюрьмы». В основе этой претензии лежало одно весьма убедительное соображение: «Моя жизнь – отсидка в тюрьме, временное освобождение и снова тюрьма. Тюрьма – мой дом. А ты – человек, попавший сюда случайно, временно и, следовательно, – гость!» Эта, так сказать, магическая предпосылка получала полную практическую реализацию, так как впервые попавший в тюрьму человек обнаруживал растерянность и беспомощность, тогда как вор благодаря традиции и полученному личному опыту был вооружен поразительной цепкостью, жизнеспособностью и целым арсеналом всевозможных приемов приспособления к обстоятельствам. У воровской касты имелась особая методика, целевая теория и практика общения как с администрацией, так и с различными слоями тюремного мира, что служило интересам касты в целом или отдельных ее членов. Здесь же нужно отметить: для вора в законе какое-либо сотрудничество с администрацией или ее представителем в те времена было исключено, так же как и какая-либо связь с политикой. Вор является аполитичным, космополитичным элементом, его делом было воровать – все равно где и у кого. Его долгом – неуклонно выполнять законы и моральный кодекс касты, всегда, во всех обстоятельствах и везде! Правда, подъем революционного движения в Российской империи и, в связи с этим, увеличение числа политзаключенных несколько ограничили права воров, но они и здесь обнаружили завидную гибкость. Как я уже говорил, в основу их взаимоотношений с политзаключенными был положен принцип «не трогаю – не тронь», и таким путем им удалось сохранить значительную часть своих прерогатив, в том числе право питаться, одеваться за счет других слоев тюрьмы, свободно шататься по территории и еще всякие мелкие, но очень важные для заключенного преимущества. Скажу здесь же, что свободно шататься по тюрьме ворам не запретили даже после того, когда в Ортачальской тюрьме стали закрывать на замок камеры.

О ворах – хватит. Вместе с ворами я упоминал «пристяжных». Как подобает всякой касте, у воров тоже были свои приверженцы. Это была многочисленная группа уголовных преступников, и каждый из них жаждал получить звание «вора в законе». Для этого они во время заключения соответствующим поведением должны были доказать, что в них течет «воровская кровь» и преступление совершено ими не в силу материальной нужды, ни, тем более, случайно, а по зову натуры. Численно они в несколько раз превосходили воров в законе, и все же каста имела на них неограниченное влияние. Не было двух мнений, что в случае бунта воры и пристяжные будут соблюдать строгий нейтралитет, хотя путем агитации восстание могло найти среди пристяжных достаточное количество сторонников. Опыт революции показал, что во время выступлений, демонстраций или баррикадных боев воры прекращали свою деятельность, а иногда без всякого понуждения добровольно брали на себя функцию борцов с преступностью и добросовестно выполняли свои обязанности.

Итак, оставалось пятьсот человек, которые, по нашему мнению, должны были поддержать бунт, взять на себя основную тяжесть, а лучшие из них даже стать ударной силой. Большинство уже принимало участие в борьбе против царизма – от массовых выступлений до индивидуального противодействия. Они были осуждены на длительные сроки, от пяти до десяти лет. Возраст – от двадцати до пятидесяти. Это были, как правило, люди, характер и

мировоззрение которых уже сформировались. Каждый из них честно трудился и попал в тюрьму лишь по милости прогнившего режима.

Обратите внимание: масса, готовая к взрыву, была налицо. Сила, вооружающая тактикой, способная превратить стихийные действия массы в организованный мятеж, существовала. Не было конкретного повода, причины, которая могла бы переплавить массу в действующую толпу. Нашей обязанностью было не допустить возникновения причины.

Вторую половину моего доклада составлял хорошо продуманный комплекс профилактических мер. Подразумевалось, что проблемой возможного бунта займется жандармерия. Но получалось не так. Вопрос всецело передали ведомству мест заключения. Не стану заниматься оценкой действий данного ведомства, расскажу лишь, какой путь они избрали, и, думаю, все станет ясным.

Обстоятельства, в частности в Тифлисской губернской тюрьме, развивались следующим порядком. В один прекрасный день начальники корпусов обошли свои владения и прочли арестантам сочиненную господином Коцем буллу. Смысл ее был примерно следующим: в настоящее время в Российской империи установлено народовластие, осуществляющееся Государственной думой. Всякая агитация против народной власти приравнивается к действию, направленному против народа, с чем его величество император всероссийский мириться не станет. Если кто-нибудь думает, будто обещанной манифестом свободой слова могут пользоваться также и арестанты, пусть вспомнит, что манифест предназначен для граждан, арестанты же, с момента вынесения приговора, гражданских прав лишены. Следовательно, арестант не есть гражданин! Такова была, так сказать, теоретическая часть коцевской буллы. Затем следовали санкции, то есть наказания: за хулу на царя – пять суток карцера, за поношение Государственной думы – четверо суток, словесное оскорбление министров, тайных советников, церкви или представителей высшего духовенства оценивалось тремя сутками, дешевле всего стоила полиция и тюремная администрация – двое суток. Меньшее наказание буллой не предусматривалось. Великодушие Коца казалось несравненным. Нововведение дало повод для бесчисленных шуток и острот, а Дембин сочинил пародию на послание и разослал ее по всем камерам. Удалось даже подкинуть один экземпляр на стол господину Коцу. Лука Петрович Дембин был русский писатель, достаточно известный в то время не только острым пером, но и тем, что царское правительство то и дело посылало его в тюрьму.

Дембина срочно водворили в карцер на два дня – за оскорбление тюремной администрации! В карцер засадили по человеку с каждого этажа и, дабы проиллюстрировать действительность наказания, провозглашенного буллой, одному дали пять суток. Никакой ошибки – все четверо были штатными агитаторами подполья, а не какими-нибудь добровольцами, действовавшими, правда, еще активнее, чем работавшие по заданию, и потому, с точки зрения Коца, еще более виновные. Отсюда заговорщики, если тогда таковые имелись, должны были сделать два вывода: во-первых, что Коц намеревался твердо проводить намеченную им политику, и, во-вторых, он был прекрасно осведомлен обо всех тюремных делах. Оба вывода оказались правильными, так как он настойчиво продолжал наказывать агитаторов, и именно агитаторов, работавших по заданию революционеров. Подпольщики не отступали – усилили работу. Не отступал и Коц – усилил репрессии. Прошло полтора месяца, и начальники корпусов довели до сведения арестантов обещание начальника тюрьмы: с тем, кто попадет в наши руки во второй и тем более в третий раз, я расправлюсь так, что он не только навсегда отучится поносить царя и Государственную думу, но от стыда носа больше не высунет!

Не существует на свете загадок, которым арестант не отыскал бы точного решения, – это истина старая и всеми признанная, но разгадать смысл коцевской угрозы оказалось не под силу. Что мог придумать Коц, чтобы заткнуть рот этим красноречивым, прекрасно подготовленным, увлеченным пропагандистским делом гимназистам? Чем можно было их запугать, и на столько, что они носа от стыда не высунули бы?

Шалва Тухарели

Поначалу в оргкомитете нас было семеро: Фома Комодов, Андро Чанеишвили, Алексей

Снегирь, Амбо Хлгатян, Эзиз Челидзе, Петр Андращук и я, Шалва Тухарели. Дата Туташхиа в комитет, понятно, не вошел, но мы лежали рядом, и он не только был в курсе всех дел, но оказался невольным участником всех обсуждений и планов. Класиона Квимсадзе мы провели в старосты камеры. Он взял на себя наблюдение над подозрительными арестантами и обеспечение конспирации.

Тюрьма есть тюрьма, что-то идет само по себе, что-то для тебя и вовсе нежелательно, а ты вынужден мириться и даже приспосабливаться. Я говорю сейчас о Дате Туташхиа, который не захотел расстаться с Поктией, привел его в камеру и поместил рядом с собой. В конце концов Поктиа оказался парнем очень славным, но он был человек непроверенный, и это долго нас беспокоило. Удивительно, что предположение Фомы Комодова, будто Поктиа украл голубей у сына городового, оказалось точным, не считая одной детали: голуби принадлежали отпрыску военного прокурора! Поктиа скоро понял, какое серьезное и опасное мы готовили дело, счел за честь в нем участвовать и беспрекословно, осторожно и разумно выполнял все поручения, в том числе и довольно рискованные. Я сказал, что нас беспокоила непроверенность Поктии. Никто из нас не ожидал от него намеренной измены, но все остерегались его неопытности. Существовал, однако, и успокаивающий фактор: Поктиа почитал Дату Туташхиа за божество, сошедшее с небес, и слушался его беспрекословно.

– Завладеть бы как-нибудь ключами от камер и корпусов! – сказал как-то Петр Андращук.

– Ну и что? Массу может взорвать только аффект, а не то обстоятельство, что в одну прекрасную минуту откроют камеры. Камеры у нас и так всегда настежь открыты… Аффект нужен. А для того чтобы вызвать аффект, повод, причина нужна, – кто знает, в который раз подчеркнул Фома Комодов.

– Умный человек мог бы подтолкнуть администрацию, – сказал Класион, – придумать бы что-нибудь такое… заставить ее пойти на крайние меры, и вот вам взрыв!

– То, что ты предлагаешь, – мошенничество, – возразил Фома Комодов. – Да, строй настолько прогнил, правительство так озверело, что не надо большого ума искусственно спровоцировать мятеж. Но масса инстинктивно чувствует эту спровоцированность. На такую приманку она или вовсе не пойдет, или поклюет, распробует и выплюнет наживку, то есть бросит нас на первых же шагах. А одного такого промаха достаточно, чтобы масса навсегда потеряла доверие и уважение к политической группе, спровоцировавшей ее выступление. Потому и нельзя этого делать, Класион!

– Ну что ж, напяливайте белые перчатки, поглядим, какой вы бунт устроите! – огрызнулся Класион. – Поживем – увидим, а мне не к спеху!

Действительно, оставалось только ждать. Казалось, мы в тупике и надо махнуть на все рукой, но у всех было предчувствие или надежда, у некоторых даже уверенность, что повод найдется. Все происходящее вокруг нас мы оценивали с одной точки зрения – повод это или не повод.

– Проповедник близок к открытию, запомни мои слова. – Дата Туташхиа иногда называл Класиона проповедником.

Я стал присматриваться. И правда, Класион расхаживал, хитро поблескивая глазами. Два-три дня он вовсе не разговаривал с нами, и на расстоянии чувствовалось, как мозг его работает не хуже паровой машины, даже шипение доносилось. Наконец запасы воды и угля, видно, истощились, и Класион шепнул мне на ухо:

– Шалва, я знаю, что собирается делать Коц с нашими ребятами.

– Что?

– Карцеры где?.. В полуподвальном этаже, так ведь?

– Ну?

– По одну сторону коридора карцеры, по другую – камеры. Так или нет?

– Да, камеры карантина и еще несколько других. Есть и на стороне карцеров камеры… две или три…

– А кто в этих камерах сидит, помнишь?

– В двух камерах – венерические больные… а в других… нет, не припомню.

– Ну, подумай, подумай… в восьмой камере, напротив карцеров!.. – Класиона выводила из себя моя бестолковость.

– Ну, не помню, говорят тебе… Это что, экзамен? Говори, раз есть что сказать!

– Мужеложи сидят в восьмой камере, мужеложи, голова садовая!.. Диглиа, Дардак, Харчо, Дарчо, Алискер, Рудольф Валентинович… Постой, кто же еще?..

– Дальше, дальше… – Я, кажется, начинал догадываться.

– А дальше вот что. В карцерах гимназисты сидят у Коца по одному! Теперь представь себе… ночью откроет Коц дверь и впустит к нашему тщедушному Какалашвили этого слона Дардака!

Я обомлел… Прежде всего я подумал, что до такой мерзости никто в мире, кроме Класиона, додуматься не мог бы.

– Повод-то каков, а? – Класион излучал сияние, как победоносный военачальник или открыватель неизвестного материка. – Представь теперь, об этом узнает тюрьма!..

– Ни слова никому, Класион!

– То есть… почему?

– У Коца, может быть, этого и в мыслях нет, но если твоя идея дойдет до его ушей, он непременно за нее ухватится и осуществит!

– В том-то и все дело!

– Какое дело, черт тебя побери! Пусть этого и не случится вовсе, только версия распространится… Ты понимаешь, человек скомпрометирован навечно! Где ему высунуть нос?.. Каждый скажет: этот деятель, этот краснобай был женой Дардака, – каков! Ни слова об этом, ни звука! Ты что, дорогой? Думаешь, среди четырех тысяч семисот человек умнее меня никого не найдется?.. Зачем далеко ходить, наш абраг уже догадался обо всем, убей меня бог…

– С чего ты взял?

– А чего мне не брать, если вчера вечером после прогулки он велел Поктии отстать и точно разузнать, кто сейчас сидит в карцерах и по скольку человек в каждом. Зачем бы это ему понадобилось, скажи на милость? Ладно, из Даты твоего клещами не выдерешь, но ведь и другой догадаться может, и слух змеей поползет, дело ясное.

В конце концов мы с Класионом решили сообщить комитету о своих соображениях.

Нужно ли говорить, какую реакцию вызвало наше сообщение. Когда отхлынула первая волна ошеломления, мы принялись размышлять, годится ли эта ситуация как повод для восстания или нет и как нам быть?

– Если дело ограничится сплетнями, слухами и пересудами о намерениях Коца, то для взрыва этот повод совершенно недостаточен, – категорически заявил Класион.

– С этим я согласен, – поддержал его Фома Комодов.

– Что же будет достаточным поводом? – спросил Петр Андращук.

Каждый из нас понимал, что взрыв может состояться, если эта мерзость и вправду произойдет или произойдет другое столь же гнусное безобразие. Но кто мог решиться принести в жертву товарища, соратника, даже постороннего человека?

– Революция штука чистая, здесь грязь не пойдет, – сказал Амбо, и все почувствовали облегчение, оттого что должное сказано.

– Что правда, то правда, Амбо, друг мой, – откликнулся Класион, – но революция – это борьба, а борьба требует жертв, потерь, и когда вопрос касается бунта…

– Покороче! – прервал его Амбо.

Класион запнулся. Фома и Амбо по-прежнему смотрели ему в глаза. Дата Туташхиа, слушавший нас полулежа, выпрямился и тоже уставился на Класиона. Остальные сидели опустив головы. Я переводил взгляд с одного на другого.

– Это должно произойти… если вы хотите поднять бунт, непременно должно! – твердо сказал Класион. – Все вы думаете так же, но боитесь сказать вслух.

Теперь на Класиона смотрели все, но ни в одном взгляде не было отрицания или осуждения. Нет, в глазах каждого читалось одно: пропадет верный повод к восстанию, но идти на это нельзя!!!

Дата Туташхиа, вытащиз бумагу и карандаш, быстро набросал две страницы, большое по тюремным масштабам письмо, смял его в крохотный комок, перетянул ниткой и передал Поктии:

– В камере каторжан сидит Гоги Цуладзе, одноногий, я тебе его показывал. Передашь ему.

Мне туда подходить нельзя, Запомни: письмо ни в коем случае не должно попасть в чужие руки!

Камера каторжан находилась на нашем этаже. Поктиа мог передать это письмо, идя на прогулку или обратно. Особой трудности это не представляло.

Скоро позвали на прогулку, и мы вышли.

В прогулочном дворе случилось то, что, на мой взгляд, и обусловило все дальнейшее. Из-за стены кто-то перекинул к нам привязанную к камешку записку. Один из шоблы поймал ее и, конечно, отдал Спарапету. Спарапет был патриарх воров, знаменитый преступник, великий мастер своего дела. Было ему лет тридцать пять. Он снял с записки нитку, развернул ее, прочел и сунул в карман. Походив немного, он подошел к Фоме Комодову:

– Фома-джан, тут сейчас подбросили… не нам, написано – Сычу… Но там такие дела… может быть, тебе раньше прочесть? Возьмешь или Сычу отдать?

– Кому бросили, тому и отдай!

– Да? – Спарапет колебался. – Ну, да как скажешь.

– Дата! – окликнул Фома.

Туташхиа подошел, прочел записку и протянул ее Фоме:

– Это почерк Бикентия Иалканидзе. Фельдшера. Он мой кунак!

В несколько минут записка обошла всех членов комитета. В ней говорилось, что Коц собирается использовать против агитаторов компанию Дардака. Первый раз это должно произойти в смену Моськи послезавтра ночью.

Мне сразу показалось, что записка инспирирована Класионом.

– Я останусь повидать Бикентия, – сказал Дата, сунул надзирателю рублевку и направился к больнице.

Все мы вдоволь накочевались по тюрьмам и ссылкам, но то, что было в записке, оказалось тяжким грузом даже для нервов Фомы Комодова. Никогда в жизни я не чувствовал себя так погано. Как вам сказать… будто окунули тебя в нечистоты и запретили вымыться…

Дата не принес ничего нового, кроме того, что Бикентий назвал ему первоисточник этой новости – начальника больницы, военного врача Щелкунова. Но зачем понадобилось жандарму поверять Бикентию государственную тайну?!

Лишь к рассвету мы перестали шептаться.

– Что же нам предпринять, чтобы предупредить злодеяние? – поставил вопрос Фома Комодов.

– Есть в каждой камере хотя бы по одному нашему человеку? – спросил Эзиз Челидзе. – Оповестим всех. Заставим кричать всю тюрьму и принудим администрацию отказаться от намерения. Жандармы, известно, боятся шума…

– И дардаковской компании надо передать: если они пойдут на эту мерзость, пусть не попадаются нам в руки – перебьем всех поодиночке – и виноватых, и не виноватых, – добавил Андро Чанеишвили.

– Можно организовать такой шум, что явится прокурор, мы передадим ему петицию против тюремной администрации, и они не посмеют, – сказал Петр Андращук.

– Да, да, – развеселился Класион, – прочтут нашу петицию, покраснеют все – от царя до Коца – и отпустят нас по домам.

– Этот путь не годится, товарищи! – вмешался я. – Суть нашей революции в том, что она борется не с одним каким-нибудь злом, но со всей ситуацией, порождающей зло. Можем мы ликвидировать самую ситуацию? Об этом надо думать, а спасти Какалашвили или Иванова – не так уж сложно.

– Спасти их может только бунт… А бунта не будет, если подлость не совершится, – твердил свое Класион Квимсадзе.

– Повод, я думаю, уже есть, но о том, что нужно для восстания, хочу поговорить один на один с Фомой, – объявил Дата Туташхиа.

Ни одному из нас опыта было не занимать, но Дату Туташхиа мы все считали силой совсем особого ранга. Мы знали: настанет минута, и он скажет свое и только свое слово.

– Вы согласны? – спросил Дата.

– Пусть так, – сказал Амбо.

Дата отошел от нас, выбрал укромное место и подозвал Фому. Говорили они долго, потом позвали меня.

– А ты все хорошо взвесил? Справишься? – спрашивал Фома Комодов Дату, когда я подходил к ним.

– Потому в этом деле и мало для меня интересного, что смогу. Достойный человек должен стараться делать то, чего он раньше не делал и что ему кажется невозможным. Вы, Фома, беретесь за то, что кажется невозможным, и я лишь потому оказался с вами, что быть с вами я по всему раскладу не мог.

– Не мог? – переспросил Фома. – Ты можешь сказать мне, Дата, ради чего ты идешь на такой большой риск?

– Мне непременно надо ответить?

– Это лишь просьба. Я для себя хочу знать.

– Попробую, если сумею… – Дата задумался. – Видишь ли, когда зло совершается у тебя на глазах, одолеть его легко, очень легко. Превратить зло в добро куда труднее, но все-таки можно. Но и у добра, и у зла есть свое гнездо, как, впрочем, у всего, что существует на этом свете. Если не разрушить гнездо зла, зло прорастет в других местах. Так вот, разорить гнездо зла – это очень большое дело, настолько большое, что ради него и пострадать стоит, и смерть не страшна. Поэтому я и берусь за то, о чем я тебе сказал, и вовсе не считаю, что иду на большой риск. Хочу, чтобы ты это знал.

Фома слушал, не отрывая глаз от лица Даты. Казалось, он ждал услышать что-то еще.

– Ну, а теперь я тебе все сказал, что у меня на уме и зачем берусь за ваше дело.

– Хорошо! – сказал Фома после долгого молчания. – Шалва! Дата обещает завтра ночью достать нам ключи от всех корпусов и камер, но как он собирается это сделать, говорить не хочет никому… кроме меня. Мы должны принять это условие. Я сообщу членам комитета, и мы решим, начинать бунт или нет. В нашей помощи Дата не нуждается. Зовет тебя одного! Трудное и рискованное это дело…

Я не дал Фоме договорить:

– Я готов. Не хочет он, чтобы я все знал, и не надо. Все равно пойду.

Чего греха таить, все члены комитета, себя не исключаю, колебались. Все мы были возбуждены и несказанно рады, что приближается решающий час, и все-таки в глубине души каждого тлела надежда, что Дате Туташхиа не удастся выполнить своего обещания! Понять это можно. Трудно ставить жизнь на карту, даже если делаешь это, все хладнокровно рассчитав и обдумав. Трудно даже, если поднимаешься против врага отчизны и за тобой – твой народ, твои дети и закон твоего государства, позволяющий тебе стать убийцей и обещающий при этом сохранить твое доброе имя. Что же говорить о горстке единомышленников, бросающихся на мощную империю и на закон, который немедленно объявит тебя убийцей, изменником, подонком. Это тяжкий груз, даже если сильна в тебе вера, что ты идешь на это ради лучшего будущего своего народа!

– Товарищи! Если кто-нибудь хочет выйти из нашего дела, не поздно и не стыдно это сделать, – сказал Фома Комодов. – Пусть идет, и мы не спросим его ни о чем до поры до времени.

Кто мог назвать себя трусом?

Мы все были готовы к действию. Лишь Андро Чанеишвили спросил:

– Но почему Дата Туташхиа требует, чтобы мы слепо следовали за ним?

– Дата Туташхиа ничего от нас не требует, – возразил Фома. – Он лишь сообщил нам, что завтра вечером, с десяти до одиннадцати, в его руках будут ключи. От нас зависит, воспользуемся мы ими или нет.

– Что думаешь делать, почему скрываешь? – схватил Класион за руку Дату Туташхиа, проходившего мимо нас к Дембину.

– Вы только не обижайтесь. – Дата присел рядом с Класионом. – Всем вам ума не занимать, а для дела, за которое я берусь, и одного ума с лихвой хватит. Скажи я вам, что собираюсь делать, вы приметесь обсуждать и советы давать. И может статься, я с вами посчитаюсь, ваш совет в сомнение введет. Сомнение же и колебание плохой товарищ в таком деле. Поэтому я и не скажу вам ничего.

– Ну, а если от твоей затеи и нам, и нашему делу худо будет, тогда что? – спросил Амбо.

– Друг мой, Амбо, от царя Николашки тебе столько худа… что я смогу еще добавить? Мы в тюрьме, а тюремный закон ты знаешь лучше меня. Что я намерен делать и чего хочу, никому до этого дела быть не может! Я делаю то, что считаю нужным, а воспользуетесь вы этим или нет, я и знать не хочу. Только может так все сложиться, что я вам ой как понадоблюсь.

– В чем этот человек не прав? – спросил Фома Комодов.

– Прав до небес, – сказал Эзиз Челидзе.

– Не понимаю, к чему эти обиды?! – сказал Петр Андращук. – Чего вам еще надо? Хотим – воспользуемся. Нет? Айда по норам.

– Если кто хочет уйти – пусть скажет! – повторил Комодов. – Нет таких? Тогда приступим.

Начинать решили завтра вечером, когда заступит Моська. Если Дата действительно получит ключи, мы откроем камеры, и одно это станет знаком к началу мятежа.

В ту ночь никто не сомкнул глаз. Мы скрывали друг от друга, что не спим, каждому хотелось в глазах товарищей быть молодцом, да и боялись своим волнением заразить остальных.

Наконец рассвело. Мы поднялись, поели и принялись совещаться.

Нашей ближайшей целью было взять тюрьму, в которой мы сидели. Это значило: прогнать администрацию, заложить входы, возвести баррикады и стоять наготове до тех пор, пока развитие событий не поставит перед нами новые альтернативы. Здесь многое зависело от того, как поведут себя Метехская тюрьма, Тифлисский нелегальный комитет, тифлисский рабочий класс и, наконец, царь и Государственная дума, если вести о нашем бунте достигнут их ушей. Нашим главным требованием было неукоснительное выполнение предусмотренных манифестом семнадцатого октября обещаний, а дальше шли еще одиннадцать пунктов: облегчение условий тюремного режима, немедленное освобождение инвалидов, больных, малосрочников, женщин и т. д.

Мы совещались до прогулки. Почти все вопросы были решены, были распределены обязанности, написано несколько необходимых записок и текст воззвания, где освещались как общие цели бунта, так и коцевские бесчинства. Дальше оставалось лишь ждать.

Я слушал других, говорил сам, и меня все время не покидало чувство, что та раздвоенность, о которой я говорил, у всех нас словно усилилась и переросла в уверенность, что захват ключей не осуществится и не придется идти на смертельный риск.

Была даже минута, когда я подумал, что Дата Туташхиа даст нам ключи, а сделать мы ничего не сможем. Я не спускал с него глаз. После завтрака он играл в нарды до самого полудня. Потом целый час болтал со Спарапетом. Оба от души веселились. Еще час прогуливался с художником Лоладзе – был у нас такой в камере. Подсел к Дембину, и Лука Петрович ушел в воспоминания о жизни в ссылках. Словом, разгуливал по камере, будто и не затевалось ничего. И меня не звал! А ведь оставались считанные часы! Может быть, он передумал? Обнадеживало лишь то, что за это время Поктиа дважды ухитрялся выскочить из камеры: первый раз помог вылить и принести воды и при этом вынес, выходя, буханку черного хлеба. Надзиратель долго препирался с ним насчет этой буханки. Я взглянул на Туташхиа – он украдкой следил за Поктией. Буханку Дата утром взял у воров и спрятал в ней финку! Никто этого не заметил, кроме меня. Надзирателю наконец надоело препираться с Поктией, и он его выпустил. Вернулся Поктиа, конечно, без хлеба, и теперь меня терзала мысль, почему Дата в самый решающий момент постарался избавиться от своего единственного оружия. Во второй раз Поктиа вместе с уборщиком вынес парашу. Впервые за все время он дотронулся до этого сосуда. На этот раз он прихватил записку и вернувшись, что-то шепнул Дате. Еще я заметил, что после разговора с Датой, Лоладзе обошел всю камеру, собрал все карандаши, какие только имелись: и синие, и красные, и простые, и зеленые, растолок грифель и стал смешивать краски. Прикинув все и так, и этак, я решил все же, что намерения Даты никак не связаны с поведением Лоладзе.

На прогулку нас вывели к пяти часам. В шесть надзиратели сменялись, и потому нам дали всего полчаса – полагался час. В, течение этого получаса Поктиа не отрывал глаз от стены, отделявшей нас от тюремной больницы. Ясно, он ожидал записки, и, когда объявили, что

прогулка окончена, не выдержал и стал препираться с надзирателем.

– Уйми его! – сказал мне Дата.

Я побыстрее увел его, а то он мог угодить в карцер. Дата догнал нас и выговорил своему адъютанту. Поктиа опустил голову.

Передние уже вошли в главную дверь корпуса, когда мимо нас проскользнула Нэнэ – уборщица подъезда – и кинула нам под ноги что-то завернутое в тряпицу.

– Подыми, – сказал мне глазами Дата.

Я нагнулся. Надзиратели ничего не заметили. Будь на моем месте Поктиа, к нему бы уже прилипли – слишком он намозолил сегодня глаза.

– Что здесь? – спросил я.

– Волосы.

В камере я развернул тряпицу. Действительно, в ней были волосы, толстые, грубые, седые вперемешку с черными. Дата отдал их Лоладзе. Художник поглядел, пощупал, остался, видно, доволен и принялся тут же мастерить парик и усы с поразившей меня сноровкой. «Видно, служил в театре гримером», – подумал я.

Сменился надзиратель нашего этажа. Значит, и Моська принял свой полуподвал. В прошлом Моська был палачом. Потом его назначили начальником мул-этапа. Так в Ортачальской тюрьме называлась маленькая двухколесная арба, запряженная мулом. На ней вывозили покойников и хоронили здесь же, на ближайших склонах Телетских гор. Наконец Моська получил повышение – его назначили надзирателем и, видно, за особые заслуги и в знак особого доверия поручили самый трудный участок – подвал.

Значит, так: Моська и другие надзиратели его смены заступили в шесть часов вечера. Тогда же производился пересчет, на что уходил час. С семи до восьми – ужин. С восьми до десяти – вынос параш, туалет, доставка воды. В десять – отбой. В этот час все этажи обходил сам дежурный комендант. В ту ночь дежурил Канарейка. Это была фамилия, а не кличка. Он заглядывал в глазок почти всех камер, дабы убедиться, что в подвластных ему владениях царит мир, порядок и райское смирение. Арестанты оставили господину Канарейке его фамилию по контрасту: это был толстый, черный, полуседой, длинноусый субъект – лучшую кличку, чем Канарейка, вряд ли можно было придумать. Правда, у надзирателя каждого этажа имелся полный набор ключей от своих камер, но сами надзиратели были тоже заперты, так как спуск с этажа на этаж преграждался решеткой из толстых стальных прутьев, а двери, вмонтированные в эти решетки, запирались на мощные замки, ключи от которых вверялись дежурному коменданту. Таким образом, надзиратели находились в плену господина Канарейки, и если Дата Туташхиа обещал сдать нам ключи от всех корпусов и камер, значит, он должен был прежде всего завладеть комендантскими ключами, чтобы затем с их помощью добраться до надзирателей с их надзирательскими ключами от камер… Для того же, чтобы ограбить Канарейку, нужно было захватить нашего надзирателя с его ключами и устроить засаду Канарейке. Распутать весь этот замысел я был не в силах, и мое нервозное ожидание кончилось тем, что, когда мы выкатили в коридор пустые бочки от принесенной на ужин баланды, а это было часов в восемь вечера, Дата подозвал меня к себе и сказал:

– Шалва, необходимо, чтобы сегодня вечером оправку начали с нас. Тогда последними пойдут каторжане.

– А потом?

– Вон сидит старик Миндадзе. Вы ведь с ним земляки? Этот надзиратель хорошо к нему относится, и они, кажется, из одной деревни. Ты часто болтаешь с Миндадзе, и угощал его не раз…

– Что я должен делать?

– Пусть Миндадзе попросит надзирателя, чтобы нас повели оправляться первыми. Ты скажи Миндадзе, что у тебя живот разболелся, а он пусть попросит. Уважит его надзиратель. Ну, а если это не пройдет, каторжники найдут причину – все равно не выйдут первыми и окажутся в конце, но… кабы не заподозрили…

Минут через пять распахнулась дверь, и надзиратель повел нас на оправку. Поктиа побежал к камере каторжан и, вернувшись, доложил Дате:

– У них все в порядке. Спрашивают – как у нас. Я сказал – у нас тоже.

– Что смогут сделать эти закованные люди? – спросил я Дату, когда мы вернулись в камеру.

– Ты что, забыл? Закованы только те, кому каторжный приговор утвержден. У остальных кандалов нет.

– Вы очень нам нужны, Лука Петрович. – Дата повел меня к Дембину. – Просьба наша не совсем обычная, и дело довольно рискованное…

– Слушаю вас, господа… По возможности… Чем смогу!..

– На полчаса, самое большое на час, вам надо переодеться в форму надзирателя, простите, конечно, но так уж все сложилось.

– Надзирателя? – изумился Лука Петрович. – Мне надеть форму надзирателя?! Ни за что! Вы оскорбляете мои убеждения. Собачью шкуру! Никогда!..

– Лука Петрович, дорогой! – прервал я разбушевавшегося писателя-либерала. – Этого требует дело, это нужно революции.

– Послушайте, голубчик, – лицо Луки Петровича озарилось надеждой, – в этой постановке, я это вижу, для меня может найтись другая роль. У вас ведь много ролей, а на эту… подыщем другого.

– Лука Петрович, – взмолился я, – вы с нашим сегодняшним надзирателем как близнецы. Ваш отказ ставит операцию под угрозу провала!

А Дата Туташхиа втолковывал ему, что революционером является тот, кто ради дела готов переодеться даже в жандарма.

Дембина уломали.

Настал мой черед. Лоладзе обмотал меня какими-то тряпками, подложил какие-то комочки и подушечки, и когда, на его взгляд, я обрел габариты господина Канарейки, стал подгонять усы. Эту процедуру невозможно было скрыть. Нас окружили арестанты, решившие, что готовится очередной тюремный розыгрыш, и весело смаковали предстоящую забаву.

Вы не представляете, с каким увлечением хлопотал Лоладзе над каждым волоском. Подстригал, причесывал, приглаживал… Отступая на шаг, подбегал, поправлял, отходил и опять любовался.

– Ты, брат, оказывается, настоящий художник! – сказал ему Лука Петрович.

– Нет, мой милый, настоящее искусство начинается, когда человек сыт или убедит себя, что сыт, – так говаривал мой учитель Иван Никифорович Страстнов – великий был человек! И большой охотник до таких сентенций.

Вечерняя оправка добралась уже до другого конца коридора, и тут я заметил, что Дата будто волнуется. И всем членам комитета передалось его состояние. Уговор был такой, что каждый должен держаться, как всегда: кто лежать, кто играть в нарды, кто просто слоняться по камере. Все получалось наоборот. Все сидели на своих нарах и думали, думали, думали…

Мы с Датой прильнули к дверям, ловя каждый звук в коридоре.

Вот вошел в свою камеру последний арестант!

Вот лязгнул засов, звякнули ключи.

Камеру заперли.

Надзиратель открывает камеру каторжан. Опять звяканье ключей, скрип поднимаемого засова, лязг ударившегося в стену металла… Шаги… Шарканье множества ног, и… полная затаившаяся тишина.

Шаги, направляющиеся в нашу сторону… Человека два, может быть, три…

– Взяли! – прошептал Дата.

Дверь клозета заскрипела и с шумом захлопнулась. Кто-то быстрым шаркающим, неровным шагом подошел к камере каторжан, задвинул засов и повернул ключ в замке.

Снова шаги в нашу сторону. Тот же поспешный шаркающий звук. Кто-то заглянул в глазок нашей камеры, Глазок захлопнулся, и чуть приоткрылась дверь. За нею мелькнула и скрылась фигура Гоги Цуладзе. Дембин, я, Лоладзе и Дата Туташхиа вышли в коридор. На пороге камеры меня вдруг охватило острое желание обернуться на наших… но я не успел.

– Хоть бы сказал кто, что нас ждет! – пошутил Класион.

Шутка повисла в воздухе. Дата взял у Гоги связку ключей и стал запирать нашу камеру. Гоги пошел вперед. Мы втроем последовали, за ним в клозет.

Надзиратель с завязанными глазами, в одном белье, босой, стоял в углу, спиной к нам. На его затылке торчал толстый узел, концы полотенца свисали на плечи.

Дата вошел вслед за нами и знаком велел Дембину переодеться. Форму надзирателя держал один из двух неизвестных, которых мы застали, когда вошли сюда. Оба были в масках. Гоги протянул маску мне и Лоладзе.

Помню, Дембин никак не мог попасть ногой в надзирательский сапог, никак не мог устоять на одной ноге, и Дата его поддерживал. Руки ему не повиновались, пальцы дрожали. Наконец он был готов. Художник заставил писателя отпустить пояс, пропустил над поясом рубаху, поправил шинель, нахлобучил шапку чуть набекрень, как любил наш надзиратель. Словом, придал ему вид более натуральный.

Когда прозвенел отбой, Дембин и Дата вышли в коридор, а мы все остались в клозете. Один из каторжан держал под боком надзирателя большой самодельный нож. Спустя несколько минут мы услышали звук поворачиваемого ключа. Это Дембин впустил в камеру Дату.

Нам же предстояло дожидаться, пока комендант Канарейка соизволит пожаловать на наш этаж. Ждать надо было минут пятнадцать – двадцать, может быть, полчаса.

– Выйдем поглядим, что там… – шепнул я Гоги.

Гоги понял, как изнываю я от бездействия. Он тоже был сильно взволнован и лишь крайним напряжением воли сохранял спокойствие.

Мы вышли в коридор. Дембин стоял на площадке этажа и смотрел вниз.

– Канарейка в подвале, – сказал он. – А Дата говорил, что он сперва поднимется сюда… И Коц с ним в подвале.

– Придет, – что-то прикинув в уме, произнес Гоги. – Все правильно. Конечно… Ведь у них же сегодня дело есть в подвале…

Гоги на цыпочках подошел к нашей камере, отодвинул глазок и стал с кем-то перешептываться. Видно, Дата стоял по ту сторону двери. Грохнула дверь, ведущая в подвал, но не лязгнул засов, не звякнули ключи. Канарейка вышел из подвала и не запер за собой дверь! Значит, он собирается тут же вернуться. Комендант шел к нам. И один! Дембин замер у двери камеры каторжан. Мы скрылись в клозете. Гоги погасил свет, и это тоже было важной деталью операции…

Не прошло и минуты, как Канарейка вошел в освещенный двумя тусклыми лампочками длинный коридор нашего этажа. Лука Петрович прилип к глазку и, как велел ему Дата, сильно стукнул по двери связкой ключей. Звук прокатился по всему коридору и привлек внимание Канарейки. Дембин оторвался от глазка камеры каторжан и, повернувшись, уткнулся носом в глазок камеры напротив. Канарейка, по своему обыкновению, двинулся в противоположный конец коридора и, пройдя несколько шагов, сразу обнаружил нарушение: из чуть приоткрытой двери нужника не сочился свет. Он распахнул дверь и вошел, но тусклый свет коридора не мог разогнать темноты, скопившейся здесь. Мы стояли, вжавшись в стену рядом с дверью. Канарейка вошел и еще не успел разглядеть наши тени, как на горле и возле сердца ощутил прикосновение ножей. Еще миг, и его глаза были затянуты полотенцем. Он поднял руки вверх, и связка ключей от этажей очутилась у меня в руках. Понадобилось не более двух минут, чтобы Канарейка оказался в одном белье, а я уже красовался в его мундире. Лоладзе быстро наклеил мне усы, повертелся вокруг меня, похлопотал, добиваясь возможного сходства, – образец рядом, дело нехитрое, еще раз оглядел меня и отпустил, театрально раскинув руки.

– Feci quod potui, faciont meliora potentes![25] – произнес он и вышел в коридор.

Канарейка и надзиратель остались в клозете под охраной двух каторжников в масках. Гогн жестом велел им смотреть в оба, и мы вышли вслед за Лоладзе.

Я открыл нашу камеру, и Дата Туташхиа с Поктией, весь наш комитет и еще несколько добровольцев вышли в коридор. Помню, прежде чем переступить порог, Петр Андращук перекрестился и что-то прошептал, видно помолился. Замешкался и Класион.

– Класион Квимсадзе! – торжественным шепотом произнес он. – Настала величайшая минута твоей жизни! – Он опустил глаза к порогу и лишь после этого перешагнул через него.

---

[25] Я сделал, что мог, кто может, пусть сделает больше (лат.)

Дата Туташхиа передал ключи от нашего этажа Фоме Комодову. Шепотом, дважды повторив каждому его задание, Фома распределил обязанности. Казалось, люди потеряли способность думать, слушать, запоминать. Наконец Дембин и я – то бишь надзиратель и комендант Канарейка, ведя под своей охраной Дату Туташхиа, Поктию, Андро Чанеишвили, Алексея Снегиря, Эзиза Челидзе, Петра Андращука и Класиона Квимсадзе, стали спускаться вниз. Фома Комодов, Амбо Хлгатян и Гоги Цуладзе остались наверху и отправились по камерам разъяснять положение, читать воззвание, выявлять добровольцев… Дел было невпроворот.

Замок третьего этажа не поддавался. Руки у меня дрожали; может быть, я волновался оттого, что за спиной люди теряют терпение, выходят из себя, вот-вот кто-то скажет: дай, я открою! Надзиратель то ли был рядом, то ли подошел на эту затянувшуюся возню, – не знаю, но едва я открыл дверь, как он вытянулся передо мной.

– Кру-гом! Скотина! – не успел я договорить, как увидел его спину и концы полотенца, перехватившего его голову.

На этом этаже остались Андро Чанеишвили и Эзиз Челидзе. Мы спустились на второй этаж, потом на первый. Здесь повторилось почти без изменений то же, что у нас наверху. Короче говоря, порог подвального коридора переступили я и Лука Петрович. За дверьми остались Класион Квимсадзе, Поктиа и Дата Туташхиа.

Дата Туташхиа не раз втолковывал мне: смелость – это привычка. За то короткое время, что мы спускались с нашего этажа в подвал, я так привык хватать надзирателей, что, увидев обожаемого Коца и еще более обожаемого Моську, прямиком направился к ним. Я шагал медленно, побрякивая ключами. На расстоянии пяти-шести шагов от меня опустив голову и очень уверенно ступал Дембин. Я остановился возле одной камеры и заглянул в глазок. То же самое сделал и Дембин – так было у нас условлено. Коц сидел в конце коридора на стуле. Рядом навытяжку стоял Моська. Когда я вошел в коридор, Коц лишь мазнул по мне глазами и скучающе отвел их в сторону.

Я шлепнул по двери камеры связкой ключей, и по этому знаку в коридор ворвались Дата, Поктиа и Класион. В узком коридоре Коц и Моська не могли разглядеть, кто бежал за нашей спиной. К тому же все были в масках, да и освещение здесь было, как везде, – вполовину, а то и в треть.

– Встань, скотина! Лицом к стене! – прошептал я.

Моська едва не свалился в обмороке, а Коц даже пошевелиться не мог, и его вместе со стулом повернули к стене Поктиа и Класион.

Дата отобрал у Моськи ключи, завязал ему глаза, а мы обработали Коца.

Я оглянулся. Дембин, торопливо раздеваясь, так далеко отшвырнул надзирательский сапог, что чуть не угодил прямо в Фому Комодова, входившего в это время в подвал.

Дата пошел по карцерам, выгоняя оттуда всех. У несчастного Какалашвили, который никак не мог понять, что происходит, глаза вылезли на лоб; он открыл было рот, но Фома приложил к губам палец, что вконец сбило с толку бедного гимназиста. Дардак тоже потянулся было к выходу, но Фома Комодов заткнул его обратно в карцер.

Дембин в одном белье очертя голову бросился вон из коридора.

Дата кивнул Класиону, чтобы Коца впустили в один из карцеров. Подойдя к Дате, Класион поднял восемь пальцев и кивнул на восьмую камеру, возле которой мы и стояли. Не понимая, в чем дело, Дата взглянул на Класиона. Класион хлопнул себя по заднице, и Дата расхохотался. Едва я сообразил, что сукин сын Класион предлагает бросить начальника тюрьмы к мужеложам, как за спиной моей раздался дружный смех. В коридоре уже вертелось человек двадцать, и все хохотали. Некоторых из них я и в лицо не знал. Смех побежал по камерам, и через какие-нибудь полминуты хохотала вся тюрьма – четыре тысячи человек.

Открыли восьмую камеру, втолкнули Коца. Конечно, никто бы его не тронул, но одной мысли сунуть его к мужеложам было достаточно для пожизненного позора начальника тюрьмы.

– Развяжите ему руки и снимите повязку с глаз, – приказал Фома.

Мужеложи стояли, сбившись в кучу, ничего не понимая. Первым подошел Харчо и стал развязывать руки Коцу. Набрался смелости и Алискер, он снял с его глаз полотенце.

– Бисмиллах, кто же это? – Опешивший Алискер попятился к своим.

Харчо заглянул в лицо начальнику тюрьмы:

– Вах, вот, ей-богу!.. Нет, ты посмотри, а? Коц! Коц и есть!

– Помилуйте, разве государь император уже отрекся от престола? – спросил Рудольф Валентинович.

– Смотрите у меня. Не приведи бог, визжать начнет, всем ребра пересчитаю! – пригрозил кто-то за моей спиной.

Я оглянулся – это был Чалаб.

Судьба свела меня с Чалабом в первую мою отсидку. Чалаб был мирный кинжальщик. Сидел он за то, что одолжил кому-то револьвер, из которого был убит жандарм. Никакого отношения к революции Чалаб не имел, и я был поражен, когда и во второй раз он предстал предо мной в роли политзаключенного. Я напомнил ему о себе. Оказалось, что он сидит уже третий раз, и после того дела с револьвером оба раза за безжалостное избиение полицейских. У него был пунктик – он ненавидел полицейских и во время следствия, из какого-то непонятного упрямства, объяснял свои поступки ненавистью к царизму. Поэтому и проходил он как политический.

Когда дверь восьмой камеры заперли, Чалаб сказал Фоме:

– Здесь нужен хозяин, раз мы оставляем Канарейку и Моську, то…

– Оставляем.

– Это опасно… Как бы арестанты не взломали дверь и не расправились с ними. Этого нельзя допускать.

Фома кивнул, но ничего не сказал.

– Давай ключи, я присмотрю, – сказал Чалаб.

Фома протянул ему связку ключей.

– Тогда найди людей, одному тебе не справиться…

– Вообще нужен порядок, Эволюционная дисциплина нужна! – сказал я.

– Все будет как надо, – успокоил меня Чалаб.

– Освободите коридор! – крикнул кто-то, и коридор мигом опустел. У восьмой камеры остались трое: Фома Комодов, Дата Туташхиа и я.

– Нельзя так! – проговорил Фома.

– Ты прав, нельзя, – подтвердил Дата.

– Чалаб, иди сюда! – позвал Фома.

Чалаб в эту минуту вводил в камеру Моську. Он запер за ним дверь и подошел к нам.

– Выведи его и посади с Моськой! – Фома кивком головы указал на восьмую камеру.

– Кого?

– Коца.

– Коца? Я думал, ты говоришь о ком-нибудь из этих… Коца? Вывести Коца? – Чалаб с сомнением посмотрел на Фому. – Зачем?

– А затем… дурная власть дурными делами занимается, потому народ и хочет сбросить Николашку, – сказал Дата Туташхиа. – А нам это не пристало, я так думаю.

– Посади с Моськой! – повторил Фома, и мы двинулись к выходу.

– Как скажете! – неохотно согласился Чалаб.

Граф Сегеди

О том, как развивался бунт, я, можно сказать, знаю все, вплоть до пикантных деталей. Один из моих бывших подчиненных с начала до конца был свидетелем событий, но, подчеркиваю, лишь свидетелем и наблюдателем. Несмотря на то что тюремное ведомство было одним из подвластных ему учреждений, он не имел в нем даже совещательного голоса. Я уже говорил, что так было решено в столице. Но, так или иначе, мой бывший подчиненный спустя час после взятия тюрьмы арестантами стоял на караульной вышке, а внутри происходило вот что.

В темноте метались сотни людей. Вокруг корпуса уже поднялись огромные кучи камня и кирпича – арсенал на случай штурма. Слышался скрип лесов строящегося корпуса, с грохотом падали на землю доски, люди вооружались – кто дубинкой, кто камнями, кто киркой или

ломом.

Кто-то выгнал из камер человек пятьдесят арестантов. Они таскали лес из строящегося здания и возводили баррикады. Дело явно спорилось, слышались очень дальние короткие распоряжения, видимо, сведущих людей.

Немного позже к баррикаде пригнали сбившихся в кучу надзирателей и под свист и улюлюканье заставили их перебраться через нее. Калитка в воротах отворилась, и солдаты, залегшие снаружи, пересчитав надзирателей, будто арестантов, выпустили их на волю. Калитка захлопнулась.

К рассвету тюрьма представляла собой хорошо укрепленное фортификационное сооружение. На баррикадах засело множество народу. Боевой дух, вооруженность – были запасены горы камней и битого кирпича, – дисциплина говорили об участии искушенных в этом деле людей. Кухня приступала к раздаче утренней баланды. В первую очередь завтрак подали на позиции. Обслуга работала как часы и беспрекословно выполняла распоряжения дежурных и интендантов.

Сразу после завтрака в тюремном дворе распространилась страшная вонь, как при очистке ассенизационных ям. Один из главарей вел отряд, который нес нечистоты и выливал их прямо на баррикаду перед главными воротами. Главарь этот был арестант Класион Квимсадзе. Тот же Квимсадзе на площадке третьего этажа строящегося тюремного корпуса руководил сооружением непонятного механизма. Другие главари пока не показывались.

Первый контакт с взбунтовавшейся тюрьмой был установлен посредством интенданта Чарадзе. Ему приоткрыли калитку в главных воротах, он высунул голову.

– Мне через эту вонючую свалку провиант не перетащить, – орал Чарадзе. – На пять тысяч человек, да на три дня!.. Фу-ф, до чего вы тут все испоганили. А ну, давайте расчищайте дорогу.

Все молчали.

– Вы что, оглохли?.. Вам говорят!

– Пусть снимут решетку хотя бы с одного окна административного корпуса и передают через него, – сказал кто-то громко.

– Ждите! Будут они вам решетки снимать?! – бросил Чарадзе, и створка ворот с грохотом закрылась.

В десять утра наместник утвердил состав оперативного штаба. Усмирение бунта было возложено на полковника Кубасаридзе. После короткого совещания к одному из окон административного корпуса приставили солдат, приступили к снятию решетки. Высыпавшие во двор арестанты первую победу отпраздновали неимоверным ревом, и интендант Чарадзе передал трехдневный паек всего контингента выделенному бунтовщиками представителю. Это был арестант Шалва Тухарели. Он жив поныне, живет в деревне, работает завучем средней школы. Та часть моих записей, которая повествует о внутренних, неизвестных следствию отношениях, построена по рассказам Шалвы Тухарели.

Прием провианта длился не более пятнадцати минут, и сам Шалва Тухарели проводил последний мешок. Солдаты подмели подоконник веником, протерли мокрой, потом сухой тряпкой, и в окне возник полковник Кубасаридзе.

– Здравствуйте, арестанты! – гаркнул полковник.

Никто не ответил на его приветствие.

Кубасаридзе оглянулся через плечо, и по обе стороны от него выросло по офицеру чином ниже.

– Арестанты! – произнес полковник вкрадчиво. – Я не понимаю, чем вы взволнованы, к чему эта кутерьма?

Ни звука в ответ.

– Вот, например, вы!.. Пожалуйте вперед, выходите, выходите, – пригласил кого-то из шоблы один из офицеров. Видно, к тому, кого он позвал, впервые в жизни обратились на «вы», да еще столь учтиво, и бедняга, механически повинуясь, сделал два шага вперед.

– Вот и прекрасно, – заговорил полковник. – Ваша фамилия, молодой человек?

Молодой человек опустил голову, и трудно было предположить, что полковник когда-нибудь услышит его фамилию.

– Не бойся, сынок, скажи, как тебя зовут. Вот я, например… меня зовут Станислав Кайхосрович Кубасаридзе, а тебя? Шобла стоял истуканом. Толпа безмолвно внимала тишине.

– Скажи, – заворковал полковник, – я же назвался, назовись и ты.

Опять долгая пауза, и наконец из чрева толпы, будто из могилы, послышалось:

– Ва, ишь ты какой! Сдалась ему твоя фамилия, тоже мне подарок, сейчас домой отнесет! Ну, узнал он твою фамилию, а на что она ему?! Вот коли ты его фамилию вызнаешь… так ему несдобровать. Он и молчит. Фамилию ему назови! Ишь какой резвый!

Полковник, видно, не привык к столь дерзкому обращению и растерялся.

– Ладно, ладно, – подал голос второй офицер, – не нужно фамилии. Скажи господину полковнику, чем ты недоволен, чем тебя обидели, кто обидел, как это было…

– А вот как было… – неожиданно громко и сердито заговорил арестант, – целый месяц письма домой шлю, чтоб жрать принесли. И не несут… Жду, а нету!

Офицеры переглянулись, полковник собрался было что-то сказать… Но автор недошедших писем не дал ему говорить.

– Не опускают писем, на почту не несут. Тюрьма не опускает!

– А-а! – понял полковник. – Мы это выясним, непременно выясним и виновных накажем. Ступай напиши письмо, я сам брошу его в почтовый ящик. Ступай, сынок, пиши!

– Бачиев я, Фридон Николаевич! – хотя и запоздало, но гордо и внятно представился шобла полковнику и побежал писать письмо.

Пока один из офицеров выводил в записной книжке «Бачиев Фридон Николаевич», полковник снова обратился к толпе:

– Ну, у кого еще что? Слушаю.

– Мясо крадут! – крикнул кто-то.

– Не крадут, а ходят на кухню и жрут!

– Ва, а что это, не кража разве?

– Кража, кража!

– Соль, масло постное – все тащат!

– Тащат, тащат!

Полковник едва втиснулся в эту разноголосицу:

– Кто крадет, господа, откуда и куда уносят?.. Будем говорить по очереди, пусть начнет один!

Поднялся страшный галдеж, потому что каждый вообразил, что, раз говорить по очереди, начинать надо ему.

Офицер едва успевал записывать: мясо, соль, постное масло, чьи-то фамилии, и когда общество несколько успокоилось, снова заговорил полковник:

– Даю вам честное слово дворянина, все это я выясню и виновных строго накажу. Строжайше!.. Что вас беспокоит, какие у вас еще жалобы?

Толпа поняла, что лучше говорить по очереди, но не могла взять в толк, что говорит с представителем власти о житейских мелочах, тогда как бунт имел совсем другую основу и цели. Полковник тоже не спешил, он выжидал, когда дело дойдет и до этой подлинной сути.

– Параши старые, пусть заменят!

Полковник записал, пообещав немедленно уладить и это, и тут уже кто-то потребовал:

– Пусть откроют камеры, как было раньше!

– Ва-а-а! Действительно! Э-э-э!

Народ снова загомонил. Будто теперь вспомнили, что о главном-то позабыли.

Полковнику пришлось довольно долго ждать, пока шум улегся, и как ни в чем не бывало он объявил:

– Власти не знали, что камеры заперли. Это самовольный поступок начальника тюрьмы. Мы его обязательно накажем. Сейчас они открыты?.. Пусть остаются открытыми, запереть их снова никто не посмеет… Только ночью они будут запираться, как запирались, до шести утра. Ну, извольте, что еще у вас?!

В толпе громко проговорили: «Ночью запрут, а утром не откроют». Но полковник предпочел не расслышать, благо на помощь ему подоспел Галамбо:

– В баню не пускают, в баню!

– Нет, ты только послушай, – раздалось в толпе. – Это тебя-то, Галамбо, в баню, да?

Впоследствии я узнал, что жалобщик Галамбо месяцами не умывался, а заманить его в баню было просто невозможно. Однако полковник велел записать и эту жалобу и произнес тронную речь:

– …Подданные нашего обожаемого царя-императора любят время от времени учинять беспорядки, волнения, смуту и всякий там переполох, но его величество считают это явление выражением их возвышенного духа. И совершенно справедливо считают. Представьте, ведь и со скотиной бывает: упрется и ни с места. Здесь битьем ничего не возьмешь, выждать нужно! Пройдет немного времени, надоест артачиться, двинется, потащит телегу, и все пойдет хорошо, по-старому! Тем более вы, господа! Вот вы заперты в этом отвратительном казеином доме… Конечно, вам надоело однообразие, и душу вашу обуял бунт. Волнуйтесь, кричите, бунтуйте, я вам разрешаю все. Мы потерпим, подождем, и, рано или поздно, все вернется в старое русло!

Полковник достал большой носовой платок и махнул им в стопину баррикады, подпиравшей ворота. – Нет больше нужды, не таскайте сюда нечистот, запах очень дурной… да, а теперь у меня еще одно к вам дело, господа… – Полковник пошарил глазами по толпе и, остановив на ком-то взгляд, пригласив. – Вот вы, да, вы, вы, пожалуйте поближе, сударь. Мне голоса не хватает, у меня нездоровое горло…

Вышел Класион.

– У вас вид интеллигента. Как ваша фамилия, сударь? – учтиво спросил Класиона полковник.

– Квимсадзе, Класион Бичиевич, телеграфист! – Таким тоном говорят: «Иди ты к такой-то матери!»

– Очень приятно! – отозвался полковник. – Я вас еще с утра приметил. Вы, кажется, изволите распоряжаться возведением какого-то сооружения. Не так ли?

Класион растерялся: что отвечать? Как быть? Но полковник сам вывел его из затруднения:

– Ежели вы распоряжаетесь возведением той вышки, надо полагать, вы сведущи во всем деле… – Полковник обвел рукой и тюремный двор. – Есть еще и другой, я приметил, он принимал провиант, но сейчас его здесь нет. Да, надобно господина Коца, и еще у вас есть один надзиратель… непременно надобно выдать их нам. Иначе мы не сможем их наказать, это же понятно! Ступайте и приведите их сюда!

Класион покосился на полковника и сказал:

– Пусть сдастся, господин полковник, и мы его выпустим.

– Как это – сдастся! – полковник решил, что дела не так уж дурны, раз его подчиненные до сих пор не сдались, и повысил голос: – Офицеру его величества… э-э-э… Кому он должен сдаться?

– Ну, хотя бы Харчо, сударь!

– Что вы изволили сказать? Харчо? – полковник в замешательстве взглянул на своего офицера.

– Ну, если не захочет сдаться Харчо, тогда пусть сдается Дардаку!

Полковник взглянул на второго офицера. Тот пожал плечами.

– Это что, прозвища, господин Квимсадзе? – Видно, кто-то надоумил полковника, в чем дело.

– Да, ваше сиятельство.

– Офицеру его императорского величества сдаться в плен?! Ни в коем случае! – возмутился полковник.

– Помилуйте, ваше превосходительство, какой плен, он у нас в одних подштанниках в камере мужеложев сидит… Пусть выберет, который из них ему по душе, и сдастся. Не пожелает Коц Харчо и Дардака, пожалуйте, прекрасный есть человек, образованный, Рудольф Валентинович…

– Молчать! – заревел полковник.

– Да как же, милостивый государь… Где же вам других найти? И не ищите. Может, конечно, самому Коцу понравится кто другой, ну, тогда уж наши с вами разговоры и вовсе излишни.

– Их имена, как вы изволили их назвать, господин Керкадзе? – кротко произнес один из

офицеров и вытащил записную книжку.

– Квимсадзе я, Класион Бичиевич! Телеграфист!

– Да, господин Квимсадзе, как вы изволили их назвать?

– Харчо, Дарчо, Алискер, Диглиа, Дардак, Рудольф Валентинович, можно и других поискать, если пожелаете…

– Варвары! – заревел полковник.

– Этому мы у вашего Коца выучились, сударь, не взыщите! – смиренно возразил Класион.

Как видите, дипломатический талант полковника Кубасаридзе был все еще в эмбриональном состоянии, и он так мощно вскипел, что трудно представить, каким мог быть следующий его шаг, если б не одно совершенно неожиданное обстоятельство.

– Прошу извинить, господа, прошу извинить! – это был голос Рудольфа Валентиновича.

Толпа раздалась. Полковник насторожился. Рудольф Валентинович был не один. Впереди в толпе прокладывал ему дорогу мужелож по прозвищу Дардак.

Вышли, так сказать, на авансцену. Походили на бродячих певцов, скитающихся по дворам.

– Здесь ты говори, – сказал Дардак своему спутнику.

– Нет, что вы! Я уже в трех камерах исповедовался. Теперь, сударь, ваш черед, – возразил Рудольф Валентинович.

– Да у тебя красивей получается, ты человек ученый, говори, говори! – настаивал Дардак.

– Нет, нет! Ваша очередь, сударь!

Дардак витиевато выругался и начал:

– Я в эту отсидку ни в чем не замаран, вот вам крест! – Он и правда перекрестился. – А в прежний срок было дело, было, скрывать не хочу. Но по моей вине – ни разу. Меня позвал Коц и говорит: если тебе скучно, у меня найдется, чем потешить тебя. Теперь я расскажу все, как оно было, но вы слово дайте, что бить не будут, – в двух камерах меня уже били! Будь я молодой, дело другое. А теперь здоровье не то.

Толпа стояла затаив дыхание. Полковник окончательно растерялся, не понимал, чего от него требовали.

– У тебя красивей получается! – снова попросил Дардак у коллеги, но Рудольф Валентинович стоял на своем.

– Извольте, господин, извольте. Мы слушаем вас, – в Кубасаридзе заговорило любопытство. – Не бойтесь… Не пойму, за что вас били и почему могут бить, здесь?!

Дардак, наверное, сообразил что здесь их бить не будут, и подробно рассказал, что произошло в прошлую отсидку. Оказалось, что тех арестантов, которые письменно жаловались на беззакония и произвол Коца, начальник тюрьмы под предлогом нарушения дисциплины бросал в одиночку и ночью подпускал к ним мужеложев. Подавляющее большинство оскорбленных, конечно, предпочитало молчать, и месть Коца оставалась безнаказанной. Дардак сказал также, что бывали случаи, когда некоторым, уповавшим на защиту закона, удавалось даже обжаловать эти действия Коца, но разбиравшим жалобы цинизм начальника тюрьмы казался, видно, настолько невероятным, что автора принимали за сумасшедшего. Возможно, конечно, что Коц действовал по указке сверху. Так или иначе, выяснилось, что это была привычная мера, а вовсе не одиночный случай.

– А тебе откуда было знать, что Коц подпускает тебя в наказание за жалобу? – спросил один из офицеров.

– Сперва не знал, потом уже – да!

– Кто тебе сказал?

– Сам сказал.

– Кто это сам?

– Вах, к которому меня впустили… А еще раз было, вышел я оттуда, а Канарейка говорит: «Вот пусть теперь попишет!» – «Что, говорю, попишет?» – «Жалобы!..» Я, брат, их всех знаю, – увлеченно говорил Дардак, – грамотные больно, писать умеют хорошо, кляузный народ! Это еще что, один из них для меня в Государственную думу прошение сочинил, вот вам крест! – И Дардак вновь осенил себя крестом.

– Да, неоткуда Коцу знать, кто на него жаловался, а кто нет?

– Помилуйте, господа! – вмешался Рудольф Валентинович. – Все жалобы на администрацию тюрьмы, поступающие в любое из присутствий Российской империи, пересылаются для разбора начальнику той же тюрьмы. Неужели вы не знаете? Это же известно каждому.

– Вы что же, так и ходите, исповедуетесь по очереди? – полковник кивнул на Рудольфа Валентиновича.

– Больше – он, ну, и я тоже! – ответил Дардак.

– Вас что, заставили? – спросил Кубасаридзе у Рудольфа Валентиновича.

– Никто меня не заставлял. Я во имя свободы! – сказал просвещенный мужелож и продолжал: – Примите мои искреннейшие извинения, ваше превосходительство, и бесконечные сожаления, если я буду вынужден оскорбить ваш слух и чувство нравственной чистоплотности, однако…

В окнах тотчас набилась пропасть всякого офицерья.

– Ну и набежало их! – ахнул Дардак.

Рудольф Валентинович знал свою роль, как «Отче наш», и слушатели знали ее, но мужелож оказался натурой, одаренной воображением, – он не только украсил свою речь новыми живописными подробностями, неведомыми прежней его аудитории, но совершенно изменил тон и стиль своего повествования, обнаружив вдруг в деятельности Коца лиризм, игру ума и некоторую даже сентиментальность, отчего преступление начальника тюрьмы предстало наконец в своей истинно дьявольской сущности.

Полковник походил на котел, стоящий на сильном огне: сперва он испускал шипение, потом со дна пошли подниматься крохотные пузырьки и вдруг забулькал, вскипел, и вода вместе с паром хлынула через край.

– Молчать, мерзавец!

– А у тебя, Стаська, – кила! И еще, Стаська Кубасаридзе, тебя из полка за растрату казенных денег выперли. Вот и смываешь, подлец, пятно на жандармской ниве, – спокойно ответствовал Рудольф Валентинович и повернулся к полковнику спиной.

– Кила, это что такое? – засуетился Дардак вокруг Рудольфа Валентиновича, спокойно и гордо шествовавшего сквозь расступающуюся толпу.

Полковник исчез. Окно закрылось.

Так закончилась первая встреча Кубасаридзе с бунтующими. Вторая встреча была военно-боевого характера и протекала следующим образом.

Полковник дал приказ о боевой готовности и собрал штаб. Вопреки желанию наместника разрешить конфликт политическими методами Кубасаридзе навязал совещанию военное вмешательство. Главным аргументом своей позиции он выставлял «неизвестные боевые качества» оружия, созданного арестантом Квимсадзе. Насчет упомянутого «боевого оружия» было известно, что к насосу допотопной паровой машины были присоединены пожарные шланги, вторые концы коих покоились в неизвестном месте. А еще – рядом с насосом кипели два громадных котла по тысяче литров измещения. Когда Кубасаридзе всерьез разглагольствовал на тему «неизвестного оружия», кое у кого на губах появилась улыбка, однако полковник тут же напомнил о беспомощном, оскорбительном состоянии господина Коца и еще одного надзирателя и победил.

«Бескровная атака» – так была именована операция, боевым оружием в которой служили дубинки, огромные щиты и легкие лестницы для штурма стен. Тюрьма со всех сторон была окружена пятью сотнями солдат. Над главными воротами открылись два окна, солдаты высунули брандспойты и принялись мыть облитую нечистотами баррикаду перед воротами.

Раздалась команда, и с баррикад второй линии в административный корпус полетели камни. Солдаты побросали брандспойты и в мгновение ока скрылись. Через минуту в окнах административного корпуса не осталось ни одного целого стекла.

Огонь прекратился, а с ним прекратился победный рев, вызванный первой ретирадой противника. В окне, теперь уже выбитом, снова появился полковник Кубасаридзе, в руках его сверкал серебром рупор.

– Арестанты, внимание! – прокричал он в рупор. – Вы пошли на поводу кучки авантюристов! Мы их всех перевешаем. Каждый из вас ответит перед военно-полевым судом за

участие в бунте, но пока у вас есть возможность искупить свою вину. Как? Хватайте авантюристов, вяжите их, сдавайте нам – и вы будете прощены!..

С баррикады спрыгнули человек двадцать, они принялись подбирать и носить камни обратно на баррикады. Один из арестантов, собиравших камни и оказавшийся рядом с окном, в котором красовался полковник, выпрямился и смачно плюнул прямо в лицо господину Кубасаридзе. Полковник исчез.

По приказу оскорбленного полковника атака началась немедленно.

Калитку в воротах открыли, вслед за унтером влезли вооруженные дубинками и щитами солдаты. Они приставили щиты к баррикаде и, навалившись всем телом, нажали, здорово нажали, так здорово, что, представьте, баррикада двинулась и медленно поползла. Едва баррикада тронулась с места, как распахнулись настежь ворота и ворвалась еще сотня солдат. Вот тут и заработала пушка Класиона Квимсадзе – это величайшее чудо техники, и на атакующих обрушилась мощная струя воды. Поначалу шла вода, видимо, умеренно теплая, и особого впечатления на солдат этот душ не произвел, но когда хлынул бурлящий кипяток из больших банных котлов, тогда эффект превзошел все ожидания: солдаты с воплями укрылись в подворотне, и ворота стремглав захлопнулись. На поле битвы в качестве трофеев остался десяток щитов и дубинок. Обороняющиеся тут же подобрали их.

Со стороны ворот атака была отражена, зато теперь солдаты нажали на все три стены тюремного двора. Стоило, однако, солдату появиться над стеной, как на него тут же со свистом обрушивался град камней и битого кирпича, и щит был тут бессилен. У камней, которые метали с крыши, была такая ударная сила, что осаждавших сбрасывало вместе со щитами. Штурм продолжался больше получаса. Офицеры, руководящие атакой, рассчитывали, что у арестантов кончится запас камней, но он был неисчерпаем, так как стены строящегося корпуса беспрерывно разбирались, и добытый кирпич быстро поступал наверх.

Атака захлебнулась, солдаты отступили далеко от стены и разбились на группы.

Полковник Кубасаридзе распорядился втащить на ближайший склон горы две пушки, а дула направить на тюрьму. Восставшие ответили на это тем, что обстреляли солдат прокламациями. Это был первый опыт подобного обстрела. Большинство солдат к прокламациям не притронулись, но кое-кто все же не постеснялся нарушить воинский устав, подобрал листовку, прочел и даже передал товарищам, про что там писалось. Это вызвало эксцесс между солдатами и офицерами. Взвод сняли с позиции, заменили свежим. Восставшие убедились в эффективности своей пропаганды и усилили действия. Кубасаридзе оказался перед лицом возможного неповиновения солдат и вынес единственно правильное, по его мнению, решение: атаковать, пока подчиняются солдаты!

У повстанцев были наблюдательные пункты на крышах корпусов, и они, надо полагать, вовремя разгадали планы осаждающих. Кубасаридзе разделил свои вооруженные силы на два эшелона. Первый эшелон – офицеры и младший командный состав, сто человек, в дождевиках, вооруженные дубинками и щитами. Второй эшелон – рядовые с тем же оружием, но без дождевиков. Отряды были приведены в готовность для атаки, и из окна верхнего этажа административного корпуса загремел рупор:

– Арестанты! Взрываем баррикаду перед воротами! Отступите на сто шагов! Взрываем… – Полковник Кубасаридзе повторил эту новость несколько раз и удалился.

Никто, конечно, и не подумал отступить на эти сто шагов, однако человек десять предпочли все же убраться с баррикад. Их нагнали, сшибли с ног и изрядно измяли им бока. Чуть приоткрылись ворота, и через узкую щель посыпали солдаты. Разбросав у подножия баррикад пачки динамита, они снова исчезли. Запалы были то ли слишком длинны, то ли отсырели – прошло немало времени, прежде чем синий дымок зазмеился по тюремному двору. Через десять секунд на месте баррикады перед воротами зияла огромная яма.

И тогда еще несколько человек попытались оставить позиции. Однако заранее предупрежденные и засевшие в задних рядах встретили беглецов градом камней, и малодушные вновь расползлись по своим местам.

Настежь распахнулись ворота, и тюрьма замерла. Лишь ритмичное поскрипывание насосов Класиона Квимсадзе нарушало тишину.

– Господа офицеры, вперед! – И под барабанную дробь в распахнувшиеся ворота тюрьмы

вступила первая шеренга офицерского отряда. Впереди, прикрываясь огромным щитом, шел сам полковник Кубасаридзе, только глаз и фуражка виднелись из-за щита. Весь отряд с боков и сверху был бронирован такими же щитами. Эта движущаяся крепость, казалось, не дрогнет, хоть обрушься на нее лавина.

До строящегося дома оставалось не более шестидесяти шагов. Столько же – до второй линии баррикад, и еще шагов двадцать до подъезда корпуса. Целью штурмующих было, разумеется, разогнав бунтующих, ворваться в корпус и вызволить Коца и надзирателя. Задача обороняющихся заключалась в том, чтобы, пропустив в ворота лишь голову офицерского отряда открыть сплошной огонь и смять остальные ряды.

По команде с крыш главного корпуса и больницы и с лесов строящегося здания на офицеров сорвалась лавина камней и кирпичных осколков, загрохотавших по щитам, которыми они прикрывались. Но строй шел вперед; предполагалось, что новый поток камней сорвется с баррикад, когда отряд приблизится на расстояние, наиболее доступное для метания, но когда во двор проникла уже добрая половина отряда, неожиданно заработал насос Класиона Квимсадзе… Нет, это была не вода, а мощная – толщиной с конский хвост – струя синеватой жидкости, распространявшей гнуснейшее зловоние. Струя обрушилась на атакующих, но офицеры шли, не дрогнув и не сбавляя шага. Однако когда жидкость, выкачиваемая из ассенизационных колодцев тюрьмы, хлынула за ворот господ офицеров, ряды смешались, и продвижение их стало медленным и хаотичным. Полковник Кубасаридзе, шедший во главе отряда, вдруг лег на землю и накрылся щитом. Офицеры растерялись. На них валился шквал камней и кирпича. Ливень помоев и отбросов заливал их сверху. А на земле, распростершись, лежал их полковник!.. Офицерские отряды, гордость и опора его императорского величества, бросив своего командира на произвол судьбы, кинулись к воротам, но тут их встретил второй брошенный в атаку эшелон.

Второй эшелон состоял по меньшей мере из двухсот солдат, и невозможно описать давку и свалку, которая возникла в тюремных воротах. Скажу только, что насос с упорством одержимого поливал это человеческое месиво, пока оно не вывалилось за ворота, и лишь десятка два оглушенных, избитых и истоптанных офицеров ползли в нечистотах, пытаясь выгрестись из зоны огня.

Приказано было остановить шквал камней, и тогда из-под щита, прикрывшего полковника Кубасаридзе, раздалась бравая команда:

– Господа офицеры, за царя и отечество, по-пластунски, вперед!

Хохот взорвал тюрьму.

Полковник сообразил, что здесь что-то не так, осторожно высунулся из-под щита, оглядел пространство перед собой – ничто не лилось и не сыпалось ни сверху, ни спереди, – обернулся к воротам. Долго очень задумчиво глядел на них, а потом поднялся и, оставив щит на земле и уронив голову на грудь, побрел туда, куда выползали последние его офицеры. Он уже почти достиг ворот, когда из оконного проема строящегося дома вылез арестант, осторожно держа перед собой бочонок с нечистотами. Такие бочки служили в карцере парашей. Арестант подкрался к полковнику сзади, нахлобучил бочонок ему на голову и стремглав бросился назад, гонимый страхом перед собственной дерзостью. Полковник стащил с себя бочонок, отшвырнул его и, отерев лицо полою плаща, скрылся в подворотне.

Арестант перелез через баррикаду и тут же разрыдался, умываясь слезами восторга и гордости. А тюрьма все грохотала.

После инцидента участники атаки дня три-четыре лечили раны теплой серной водой в банях Тифлиса. Наместник по телеграфу беседовал со столицей, и по распоряжению самого премьер-министра полковник Кубасаридзе получил заслуженный отпуск. Пушки со склона Ортачальской горы убрали, а для решения конфликта политическими методами в окне тюрьмы, вместо полковника Кубасаридзе, появился прокурор, господин Калюзе.

– Арестанты, попросите вашего представителя пожаловать на переговоры, – обратился он к повстанцам.

Бунтующие выделили для переговоров с начальством и с прочими представителями власти двух человек, не раз упоминавшихся в моих записях: господина Гоги Цуладзе и писателя-революционера господина Луку Петровича Дембина. Дипломаты не мешкая подошли

к окну. Представившись и познакомившись, парламентеры передали прокурору просьбу арестантов о том, чтобы военный врач Щелкунов возобновил отправление своих обязанностей, то есть посещение больных. Как выяснилось впоследствии, она была вызвана тяжелой болезнью Класиона Квимсадзе. Прокурор немедленно ответил согласием – Щелкунова впустили.

Господин Калюзе начал переговоры без всяких обиняков.

– До каких пор вы намерены задерживать господина Коца и того… надзирателя? – спросил прокурор.

– Господин Коц и подонок Моська отбывают срок наказания, господин прокурор, – отрапортовал Гоги Цуладзе.

– Что им предъявлено? – прокурор улыбнулся.

– Оскорбление человеческого достоинства, соучастие в гомосексуализме, выполнение противозаконных распоряжение властей, – ответил Лука Петрович Дембин.

– Серьезные обвинения! – покачал головой Калюзе. – Сколько же им вынесли?

– У нас нет полномочий разглашать срок наказания, однако мы люди гуманные и исполнителей преступлений, совершаемых по требованию свыше, судим не строго. Мы знаем, у кого требовать ответа, придет время, и мы его потребуем! – сказал Цуладзе.

Прокурор Калюзе сел на подоконник, перекинул ноги в сторону двора и, вынув белоснежным платком соринку из глаза, сказал:

– Как вам известно, смена главы правительства означает изменение политического курса. Когда глава правительства оставляет за собой также и портфель министра внутренних дел, это означает, что он собирается сделать акцент на внутриполитических проблемах. Вы согласны о мною?

– Да, – ответил Цуладзе.

– Оно и видно – реакция и террор, – заметил Дембин. – Правда, во всем остальном положение не изменилось.

– Как же, – возразил прокурор, – оно изменилось, и если вы не возражаете, могу привести вам весьма веское доказательство.

– Мы вас слушаем.

– Его императорское величество не так давно велел разбудить в три часа ночи господина Петра Аркадьевича Столыпина и приказал ему немедленно явиться. Его императорское величество пребывал в дурном состоянии духа. «Господин Столыпин – сказал император, и в голосе его была укоризна, – вы дали мне присягу в том, что в скором времени выведете мою империю из состояния смут и неурядиц. Где ваше обещание? Что означает вот это?!» – И государь император бросил на стол какое-то сочинение – десятка полтора страниц, написанных от руки. Получив разрешение его величества, господин Столыпин вооружился красным карандашом и приступил к чтению. Это был составленный тремя студентами Петербургского университета проект реорганизации Российской империи путем проведения коренных реформ. Начинался проект с мысли о том, что царь должен отречься от престола, и кончался призывом к ликвидации частной собственности.

– Какая прекрасная молодежь пошла, господин прокурор! – не удержался Лука Петрович Дембин.

– Великолепная, господин Дембин, блестящая, но… разрешите продолжить… пока государь император в расстроенных чувствах ходил взад и вперед по своему кабинету, господин Столыпин все читал, делая пометки красным карандашом. «Ну как?» – спросил император, когда председатель совета министров закончил чтение. «У меня к вам просьба, ваше величество!» – «Говорите!» – «Я, ваше величество, не обижен вашим вниманием и доверием. Это дает мне право просить вас дать такой приказ: „Впредь, до овладения правилами правописания русского, государственных проектов не писать, времени не отнимать! Николай“. На этих шестнадцати страницах допущено шестьдесят с лишним стилистических, орфографических и пунктуационных ошибок, ваше величество. Я перешлю ваш приказ авторам письма, установлю над ними надзор и доложу вам о последствиях». Государь император выразил согласие. Рукопись была отослана студентам на университетский адрес. Конверт со штемпелем его величества, естественно, вызвал среди студенчества большой ажиотаж, около

двухсот молодых людей собрались на торжественное вскрытие и чтение пакета. Результат: двое оставили университет и отправились к родителям в имения, экспроприации которых они столь рьяно добивались в своем проекте. Третий спился! Царь остался на троне, необходимые реформы осуществляет господин Столыпин. А вы говорите, что ничего не изменилось. Как поступил бы предшественник господина Столыпина? Упек бы их в Сибирь… Хочу поставить вас в известность, что о вашем бунте господину Столыпину доложено, и с сегодняшнего дня все будет делаться на основании его распоряжений.

– А что же будет делаться, интересно узнать? – спросил Гоги Цуладзе.

– Ничего нового. Абсолютно ничего! Вы меня поняли? – Калюзе улыбался.

– Как это – ничего? – удивился Лука Петрович Дембнн.

– Разумеется, я несколько переборщил. Как это ничего, в самом-то деле! Будут новшества, непременно будут! Ну, к примеру, вам дадут действовать, как вы сочтете нужным, – в пределах тюрьмы и законности. Это и есть новое! Далее – вы признаны судом виновными, и вам вынесен соответствующий приговор. Приговор есть закон, а закон должен вершиться при любых условиях. Как говорили древние, pereamundus et fiat justitia.[26] Следовательно, вы останетесь сидеть, пока не отбудете полностью наказания. Должен сообщить также, что присутствия, разбирающие жалобы и просьбы о помиловании, будут действовать по-прежнему, и в отношении бунтовщиков не будут принимать чрезвычайных мер. Так, что еще?.. Ага, вспомнил: по-прежнему отбывшие срок наказания будут освобождаться и, как всегда, будут приниматься новые группы осужденных. Еще, надо полагать, вы нам передадите заложников, как обещали, и мы им воздадим по заслугам. Вот, пожалуй, и все. Кажется, я ничего не забыл. За провинности, совершенные в тюрьме до сегодняшнего дня, государство с вас взыскивать не будет. Ему достаточно и того, что исполняется, иными словами, вы отбываете положенный вам срок наказания. Живите, как хотите, но имейте в виду, что нового преступления вам не простят…

Прокурор Калюзе не стал дожидаться реакции на свою речь, пожелал парламентерам здоровья и удалился.

Вот и все.

А реакция, говоря по правде, была ошеломляющей, – парламентеры стояли, как идиоты, уставившись на пустое окно. Долгое молчание нарушил смех Гоги Цуладзе.

– Ай да Столыпин! – промолвил Лука Петрович Дембин.

Прокурор Калюзе скрыл, а возможно, просто забыл одно немаловажное обстоятельство. Произошло же вот что: тюремный конвой сменили, привели новую воинскую часть и расширили запретные зоны, доведя их до ста метров. Смысл этой затеи был ясен: в тюрьме не осуществлялась надзорслужба, и тюремщики застраховали себя от возможного подкопа, – кому под силу прорыть туннель длиною в сто метров? История тюрем такого не помнит. Мера эта, собственно, была излишней: в тюрьме откуда каждый день кого-то освобождают, невозможно обеспечить конспирацию подкопа, тем более когда каждый шатается по своей воле, где хочет и когда хочет…

Шалва Тухарели

Мне комитет поручил наблюдать за настроением масс, за взаимоотношениями различных групп и слоев тюремного населения и за общей ситуацией. Я ходил, слушал, смотрел, ни во что не вмешивался, – конечно, если в этом не было крайней нужды, и о своих впечатлениях и выводах докладывал Фоме Комодову и Андро Чанеишвили. Дате Туташхиа мы ничего не поручали, и сам он тоже ничего на себя не брал – ни обязанностей, ни ответственности. Но он повсюду следовал за мной, хотя, по справедливости скорее я ходил за ним… То ли ему везло то ли от природы он был наделен редкостной интуицией, но всегда ноги приносили его как раз туда, где происходило что-нибудь важное: разговор, спор, какая-нибудь свара. Готов поклясться на чем угодно, я не только не хотел заводить свою агентуру, но и вообще не

[26] Правосудие должно совершиться, хотя бы погиб мир (лат.)

собирался пользоваться чужими донесениями… Однако человеческая масса, народ, общество – назовите, как хотите, – это нечто необъяснимое и таинственное. Кто, откуда и как разгадал, кем я назначен и в чем моя миссия? Я не берусь ответить на этот вопрос, но не прошло и двух часов после первого заседания комитета, на котором мне была поручена эта роль, как я уже располагал целым штатом добровольных сотрудников. Приходили какие-то незнакомые люди и без всяких просьб с моей стороны, ничего не выясняя и не уточняя, как нечто само собой разумеющееся, сдавали мне отчет о виденном и слышанном, и – что поразительно – почти каждый точно знал, что требуется мне, то есть комитету и бунту.

Так вот мы с Датой ходили вместе, и это привело в конце концов к тому, что мы вместе и отчитывались перед комитетом, и как-то само собой получалось, что обязанности, возложенные на меня, стали нашими общими.

Это было неповторимой школой изучения психики человека, массы и вместе с тем прекрасным развлечением… Теперь все это кажется куда забавней, теперь, когда все давно позади и я могу с веселой душой рассказывать друзьям и потомкам об острейших переживаниях своей молодости. Что я могу еще рассказать?.. Имею, конечно, в виду нечто значительное… Много всего было, но я все же предпочитаю еще раз осмыслить самые, на мой взгляд, важные результаты тех событий.

Как-то раз, еще до начала бунта, Дата Туташхиа, беседуя с Фомой Комодовым, сказал:

– Здесь кто-то недавно говорил, что революция должна бороться против самой ситуации, а не с одним каким-то ее проявлением. Я говорю, да и ты сам знаешь: я никогда не требовал от человека ничего, кроме того, чтобы он был добр и справедлив. Встретишь униженного, пострадавшего – постарайся облегчить его участь. Но страдалец-то этот и сам должен пошевелить мозгами, чтобы помочь и себе, и другим. А ты попробуй поди покажи ему, кто его мучает, да объясни, за что этот мучитель его терзает, – думаешь, он тебе спасибо скажет и воевать отправится? Как бы не так! Он даже пальцем не пошевелит, не шелохнется, духу ему на это не хватит. Вот как заставить этого мученика плавниками шевелить да за себя постоять, этому я и хочу научиться. Вытянул я у тебя однажды: «Сами не знаем, а поучимся, так будем знать, как царя сбросить!» И у меня та же мысль, но чему вы собираетесь учиться и чему я – вещи разные, хотя и общее здесь тоже есть. Только мое дело куда трудней.

Обратите внимание, тем самым Дата Туташхиа объяснил причину своего участия в бунте: хочу, мол, научиться тому, как заставить мученика за себя постоять. Страх и решимость – это начало и суть, основа и фундамент всякого массового движения… Может быть, это и есть условие всякого осознанного шага вообще, однако вернемся к теме. В ходе борьбы обнаружилась известная скованность, робость, сомнение в праве оказывать сопротивление властям. Дело в том, что чувство вины, даже совершенно незначительной и вымышленной, действует на арестанта угнетающе. Редко встретишь арестанта, который считал бы себя до конца виновным в том, за что он осужден. Сколько раз каждый из нас обзовет себя дураком, но попробуйте найти человека, который и впрямь так о себе думает. Но одновременно почти не встретишь арестанта, который хотя бы частично не считал бы себя виновным, так же как не существует нормального человека, который наедине с собой не считал бы себя хоть чуточку глупцом. Вот это – мизерное чувство вины и порождает в арестанте сомнение в праве на бунт, на сопротивление. Чтобы поднять боеспособность восставших, необходимо было свести на нет этот угнетающий фактор, а достигнуть этого можно было путем разъяснительной работы, с одной стороны, и, с другой – практикой, непосредственным, прямым участием в восстании. Дата Туташхиа любил говорить: смелость – дело навыка, привычки. Хочу привести несколько примеров к тому.

Помнится, первая атака была отбита. Дата и я спустились вниз по лестнице, хотели выйти во двор. Приметили человека, который очень осторожно – казалось, вот-вот богу душу отдаст со страху, – крался вниз.

– Токадзе это, показывал я его тебе. Он из Поти, здесь с шоблой.

Было это, я вспомнил. Токадзе стоял тогда голова – в плечи, нос – в землю, будто в собственную могилу уставился, а в руках по кирпичу. А было, когда администрация отказалась принимать передачи, возле тюрьмы топтались сотен пять женщин с корзинами, а мы противопоставили мере начальства соответствующую акцию – всеобщий крик! Поктиа получил

указание, и через две минуты тюрьма взорвалась несусветным ревом. Ребята Амбо Хлгатяна натянули между окнами третьего этажа лозунг «Дайте передачи!». Тюрьма принялась скандировать эти слова. Толпа родственников за оградой прочла лозунг и тоже зашумела.

Изо всех корпусов пристяжные выгоняли во двор шоблу. Гнали палками, некоторые даже размахивали ножами. Один пристяжной, по кличке Черпак, у которой был реальный шанс вот-вот стать вором в законе, в одной руке держал толстую дубинку и молотил ею по спинам упиравшейся шоблы, а в другой сжимал огромный нож и весьма рискованно размахивал им. Этот нож мог заставить бежать и покойника, – шобла тем не менее не торопилась.

– Быть Черпаку дворянином, – сказал Дата Туташхиа.

– А ну давай, давай кому говорят! – покрикивал Черпак на свое стадо. – Хачапури жрать – на это вы молодцы, а как кричать так в кусты?! А ну, быстрее давай, быстрее, говорю! – И дубинка гуляла по их головам.

Во дворе шоблу встречали люди Поктии и заставляли запасаться камнями. Объятая страхом и паникой толпа хватала не по одному, а по три-четыре камня, и, как ей было велено, располагалась вдоль стены.

Это было внушительное зрелище. Представьте себе, вся тюрьма – четыре тысячи человек – ревет, не переводя дыхания. За оградой истошно вопят женщины. Шобла набрала камней, что само по себе означало, что она против тех, чьим преданным рабом была всю жизнь. И, заметьте, была при этом счастлива своим рабством. Однако люди подавлены, трясутся от страха и вот-вот рухнут от слабости в коленях. Некоторые кричат, другие же просто разевают пасти, делая вид, что кричат, и думая, что кого-то провели. Но ведь если кто и следит за ними, разве разберешь в этом гвалте: тот вон на самом деле кричит, а этот лишь рот разевает. Раз рот разевает, значит, кричит, а раз кричит, значит, на стороне восставших!.. Конечно, шобла держит камни, но держит так, будто только что эти камушки вытащили из огня и сунули раскаленными ей в руки… Одним словом, более выразительного примера беспомощности и действия против собственной воли я никогда в жизни не видел. Вот там мне и показал Дата того Токадзе…

– Что за человек? – спросил я у Даты.

– А бог его знает. Пописывал он там что-то, в Поти. Писал и сам же читал, а больше никто, мне кажется.

– Зачем же печатали, если он писать не умеет?

– Бесцеремонный он человек, наглый, но все его боялись. Остерегались брани и доносов, наверное. Не знаю, откуда мне знать.

– А что он писал?

– Писал в пользу правительства и все такое. Били его, несчастного, через день. А теперь он сам здесь. За что бы это, а?

Таким я и увидел Токадзе в тот первый раз.

…Мы были уже во дворе. Выполз во двор и Токадзе. Он был напряжен, как стрела, которая вот-вот метнется неизвестно куда и сгинет.

…Тюрьма праздновала победу. Кругом быстро и деловито сновало множество людей. Каждый был глубоко убежден, что именно он внес первостепеннейшую лепту в оборону и сейчас спешит по особо важному делу.

Через десять минут мы оказались у строящегося корпуса. И тут опять возник Токадзе. Он стоял перед парадным входом и вещал:

– Растерялась вся эта публика. И вовсе не вода, которую они пустили на солдат, решила дело. Все растерялись – и главари, и весь этот люд, – он с презрением ткнул пальцем в баррикады. – Это мы с Авксентием Шарихадзе пробрались вон туда, в эту недостроенную богадельню, и обрушили на них град камней. Швырнем в стену, а камни рикошетом прямехонько в солдат. И отсюда надо было метать так же. Да кому сообразить-то?!

– Петя Токадзе, чего ты тут выхваляешься? Ты же все это время провалялся в клозете второго этажа, – заметил кто-то.

– Ты, Коля Шилакадзе, – мигом обернулся писатель, – сидишь за изнасилование сестры своей жены, я-то знаю! Ступай по камерам и расскажи об этом всем, да не забудь, что ты и тещу пытался изнасиловать, только прокурор доказать не смог.

Шилакадзе остолбенел.

Токадзе вернулся к своей пастве, повещал еще и отправился в больничный корпус. Он шел развязно, как-то нагло, что ли, и от бывшего его смертельного страха не осталось и следа.

А Шилакадзе все не мог двинуться с места. Клянусь на чем угодно, он не только не совершал ничего подобного, но даже не слышал, что такое на свете водится.

Наконец он вышел из шока и поднял на нас глаза, красный как рак.

– Скажу я тебе, Коля, чем кончится это дело, если хочешь знать, – обратился Класион Квимсадзе к жертве Токадзе. – И мы, и ты испустим дух в Сибири, революция в конце концов победит, а этот борзописец Токадзе – я только сейчас вспомнил, сколько раз он был бит за доносы, – напишет воспоминания и все, что здесь было хорошего, припишет себе, а в дурном обвинит нас.

На следующий день, когда полковник Кубасаридзе лично предводительствовал массированной атакой и когда Класион Квимсадзе обливал нечистотами господ офицеров, Петя Токадзе и был тем самым арестантом, который нахлобучил на полковника полную до краев парашу. Я привел этот пример не для того, чтобы показать, как из труса стал смельчаком именно Токадзе, – подонки вроде Токадзе не могут сослужить настоящую службу революции, и ей такие люди не нужны. Я пытался лишь набросать схему, как получается, что люди из состояния животного страха переходят в состояние беззаветной, подчас сумасшедшей смелости. Вот другой, более забавный случай. Должен был состояться митинг с чтением петиции к Государственной думе и правительству, а также сбор подписей здесь же, на месте. К митингу подготовились хорошо. Не менее трех четвертей арестантов вышли во двор. Остальные слушали, высунувшись из окон. Лука Петрович читал текст по-русски, а трое других повторяли его на основных языках Закавказья. Масса в несколько тысяч голов, плотно сгрудившись, внимала чтецу. Видно, в задних рядах было плохо слышно, и народ поднялся на леса строящегося здания. Многие вскарабкались на пожарную лестницу главного корпус выше всех на лестнице, на уровне потолка второго этажа сидели два Жоры, два друга – Жора Кашиа и Жора Бадалянц, оба относившиеся к бунту с большой настороженностью. Под лестницей был вырыт огромный пруд для пожарных нужд, метра в три шириной и такой же глубокий. Для митинга мы выбрали место, с которого не было видно орудий, выставленных на склоне горы. Мы были почти уверены, что палить по тюрьме не будут, но пушка есть пушка, и вид ее мог у многих отбить охоту слушать обращение к Государственной думе, тем более что в нем содержались и политические требования. Мы, то есть члены комитета и активисты, смешались с толпой, чтобы обеспечить нужное настроение участников митинга, воспрепятствовать возможной провокации и сдержать оппонентов и незваных советчиков. Словом, все было учтено и предусмотрено. Однако без инцидента не обошлось. Чтение подходило к концу, когда издалека донесся глухой и тяжкий звук – то ли грохнулась о землю большая железная плита, то ли грянул одинокий пушечный выстрел.

– Спасайся, братцы, палят!

– Стой, ни с места, провокация! – одновременно из разных мест раздалось несколько голосов. Кричали наши, заранее подготовленные люди, но напрасно.

Как могла такая толпа людей испариться в одно мгновение, для меня и по сей день остается загадкой. Я не успел рта открыть, чтобы закричать свое «стой!», как на плацу осталось не более сорока человек!.. Где-то сзади грянул дружный вопль. Я оглянулся: тех, что расположились на нижних ступеньках пожарной лестницы, и след простыл. Сидевшие на средних ступеньках стремительно неслись вниз, наступая друг другу на руки, на головы и при этом исступленно бранясь, а два Жоры, восседавшие на самой верхотуре, видно, решив, что деваться некуда, разом спрыгнули в пруд. Я бросился на помощь. Сперва вынырнул один, за ним – второй. Я протянул руку одному Жоре, вытащил второго… Они стояли рядом, жалкие, бледные, трясущиеся, и с обоих ручьем бежала вода.

– Дай мне карандаш и бумагу, – очень решительно сказал Жора Кашиа Жоре Бадалянцу.

Жора Бадалянц сунул руку в карман, и оттуда фонтанчиком выскочила вода.

– Что ты попросил? Что дать?

– Карандаш и бумагу!

Физиономию Жоры Бадалянца перекосило, как от чего-то невероятно кислого:

– Какую тебе бумагу, какой карандаш, мать твою!

Кашиа повернулся к нему спиной и отправился в камеру. Бадалянц поплелся за ним, виртуозно ругаясь.

– Я не ослышался, Шалва, – ошеломленно произнес Дата, глядя им вслед, – и в самом деле один Жора попросил у другого карандаш и бумагу?

Когда я пришел в себя от удивления и смеха, Дата уже оторвался от двух Жор и глядел в землю, прямо себе под ноги. Взглянул и я… Господи, боже мой! Сотни тапочек и шлепанцев валялись на земле. Некоторые лежали так естественно, что казалось, ноги владельца и сейчас еще в них. Ухитриться удрать из собственных тапочек, даже не сдвинув их с места!..

– Погляди, кто-то дернул в одной, а другую бросил! – веселился Дата.

Я приблизился. Здесь же, в двух шагах или ближе, спиной к нам стоял как вкопанный огромный человек. Левая нога босая, на правой – тапка. Это была тапка той пары, которую заметил Дата. Дата приблизился, хотел посмотреть, кто таков этот будто навечно окаменевший человек, но тут же отпрянул, зажав ладонью нос.

– Фуф, смраду от него!..

Это был Дардак.

– Спускайтесь, хоть тапки свои разберите! Я, что ли, буду их вам разносить? – орал Поктиа арестантам, робко выглядывавшим из окон.

Понемногу народ опять собрался, но в большинстве это были те, кто считали свое молниеносное бегство оправданным. Другие стыдились своей трусости, третьи еще не пришли в себя от страха. Ребятам Поктии понадобилось почти четверть часа, чтобы снова собрать всех.

Возле меня остановился Спарапет и зашептал:

– Вот вы… заладили: народ, народ… Ну и что? Поглядели? Разве это люди? Если и люди, то бог их создал, чтобы вкалывать, больше они ни к чему не пригодны, а порядочный человек должен жрать, – вот и вся его забота. Так-то, милок!

– А ты где был? – спросил я их воровское превосходительство.

– А где сейчас есть, там и был! Где мне быть? Не веришь, вон Сыча спроси!

Митинг закончился, собралось около двух с половиной тысяч подписей. На большее не было ни бумаги, ни надобности.

От Дардака никто и ничего путного не мог, конечно ждать, но Жоры впоследствии стали примером смелости и отваги. Спустя два года они устроили аналогичный бунт в армавирской тюрьме и до конца очень хорошо руководили им.

Это то, что я хотел сказать про страх и про смелость. Теперь два, на мой взгляд, интересных случая, а потом расскажу вам про «ортачальскую демократию».

Возле западной стены сидел, с головой уйдя в себя, господин Вано Тархнишвили. Перед ним возвышалась груда камней. Прошлое господина Вано было поразительно и неповторимо. В двадцать лет он втянулся в нелегальную деятельность и, одержимый идеей восстановления грузинской монархии, всю жизнь упорно боролся с режимом, который предоставил ближайшим его родственникам высочайшие чины, награды, должности, богатство и все мыслимые блага. Во всем этом не было отказано и самому господину Вано. Однако князь Вано Тархнишвили из своих шестидесяти лет сорок промотался по бесчисленным ссылкам, добровольным и вынужденным эмиграциям и по тюрьмам, тюрьмам, тюрьмам. То, что происходило тогда в Ортачальской тюрьме, прямо отвечало его натуре. Князь Вано командовал западным участком обороны.

– Мое почтение, князь Вано! – приветствовал его Дата Туташхиа.

– Пошли господь вам здоровья! – старик глубоко вздохнул.

– Как поживаете, Иван Дариспанович? – спросил я.

– Устал я, Шалва… Устал безмерно! И когда только всему этому конец придет?

Силы, казалось, и впрямь оставили его.

– Знаете, о чем я думаю, господа?

– Мы слушаем…

– Я прямой потомок Георгия Саакадзе. Мои предки последние триста лет провели в смутах и неурядицах. Видно, во мне скопилась усталость всех поколений рода. Сейчас, на склоне лет, я это чувствую… Я изнемог…

– Отдохните, князь Вано, – сказал Дата. – Пусть молодые бунтуют, свой долг вы отдали с

лихвой. Все это знают.

– Нет. Мое место здесь, – господин Вано Тархнишвили уронил голову на грудь и снова погрузился в себя.

– Не уйдет он отсюда! – сказал Дата Туташхиа, когда мы отошли.

Запомнил я еще мать Гоги Цуладзе. Эта почтенная дама приходила раз в три дня и, невзирая на то, в котором часу ей удавалось отослать передачу и получить ответ, оставалась здесь дотемна. Такие родные вообще редкость, тем более пожилые. Это удел молодых мечтательниц, романтически влюбленных в своих мужей. Вроде бы все сделано и можно возвращаться домой со сладостным чувством выполненного долга, ан нет!.. Стоит возле своей любви и беды! Письма матери Гоги Цуладзе служили в тюрьме предметом грустных шуток. Все они начинались так: «Гоги, сынок, голубчик мой. Из горячего я смогла принести только чахохбили, в коленях ломит, трудно мне стоять у плиты. Остальное – зашла на базар и посылаю…» Затем следовал подробный список посылаемых припасов и в конце всегда приписка: «Арчил совсем сумасшедший, горе мое, но умница большой». Арчил был единственным сыном овдовевшего Гоги Цуладзе, озорник и умница, как большинство мальчишек его возраста. А ноги Нино хоть и не держали ее у плиты, но зато под тюремными стенами могли держать грузную женщину до поздней ночи. Нужна большая духовная сила, чтобы глядеть на старую мать за тюремной оградой и не сломиться. Родные не понимают этого и стоят часами, а у арестанта к горлу ощетинившимся комком подкатывает злоба, и он шутит – что еще ему остается! Мне выпало дежурить с полуночи того же дня до полудня следующего, и в этом мне повезло, так как главная баталия нашего бунта разыгралась именно в мое дежурство.

– Ты когда-нибудь был женат? – спросил я Дату, когда после заседания мы отправились отдохнуть.

– Нет.

– Ну, а подруга была?.. Любить приходилось?

– Для настоящей любви время нужно, Шалва, – ответил Дата Туташхиа. – А свободного времени судьба мне не отпускала.

– Не пойму я тебя! Ведь бывает любовь с первого взгляда?

– В песне.

– Почему только в песне? Разве не бывало у тебя – увидел женщину и – конец? – Я и вправду не понимал его.

– Это не любовь, я думаю.

– А что же?

– Не знаю, как сказать… Ну, симпатия, увлечение, может быть. Плотское это. А любовь – духовна. Нужно хоть немного вместе побыть, чтобы друг другу в душу заглянуть, и когда ее душа станет необходима твоей, тогда это можно назвать любовью. А если эта женщина еще и мать твоих детей, тогда любовь еще острее.

– Может быть, ты и прав, – согласился я. – Но хоть серьезное увлечение было у тебя, влюблен ты бывал?

После бессонной ночи Дата выглядел усталым, и все же в глазах его что-то вспыхнуло, но тут же погасло, и он снова помрачнел.

– Одни раз… это, кажется, была любовь, но… давай-ка лучше вздремнем, Шалва.

Он повернулся на бок и больше уже ничего не говорил.

Существует понятие – цельная натура. Лично я именно такой натурой считал Класиона Квимсадзе, да будет светла его память. Цельной потому, что он одинаково четко проявлял все человеческие качества, в том числе и отрицательные, но поступки его всегда бывали исполнены великодушия и высшей нравственности. Именно так я понимаю цельность натуры. Вряд ли кто-нибудь, кроме Класиона, мог додуматься до ассенизационных фонтанов, вещественным результатом чего явилось не только то, что была отбита атака, но и то, что выгребные ямы были вынесены за пределы тюрем по всей империи, а за каждым участником атаки закрепилось прозвище г…еда. В нескольких случаях дело доходило до дуэли. В связи с распространением упомянутого прозвища был издан приказ военного министра. Приказ, естественно, дал ощутимо противоположный результат.

Хочу рассказать вам о создании парламента, но в моей памяти парламент и Класион

Квимсадзе почему-то зафиксировались вместе, и это вопреки тому, что Класион был ярым противником передачи власти парламенту и на его заседания не ступал и ногой, не считая единственного посещения. Правда, все шло хорошо, мы сумели отразить несколько атак жандармов, однако у бунта было много открытых и скрытых противников. Оппозиция, как известно, обязательный атрибут всех восстаний и революций, спутник всяческих социальных реформ и сдвигов. Чалаб, например, представил комитету несколько записок, в которых шобла передавала осаждающим сведения о положении и даже давала советы, как подавить бунт. С другой стороны, было много случаев проявления открытого недовольства, а то и призывов против восстания. Повсюду довольно большими группами стояли люди и что-то громко обсуждали. Я подчеркиваю – большими, потому что до отражения атаки вместе собиралось не более трех-четырех человек, и разговоры были негромкие, осторожные. Произошла поразительная перемена. Этот вечно молчавший, охваченный страхом народ заговорил, обрел голос, никто уже не боялся выкладывать свои мысли и мнения.

В одной из групп жаловался тюремный портной:

– Месяца не проходило, чтобы я не сколотил тридцати – сорока рублей. Как было? Очень даже хорошо было. А теперь что, лучше будет? Увидишь, что они с нами сделают!

– Не бойся, пока царская власть стоит, и тюрьма будет. Сиди себе и шей, – успокоил кто-то.

В другой группе обсуждали, как устроить массовый побег.

– Мне на эту их заваруху начхать. Мне на свободу нужно. Десять лет от звонка до звонка отгрохочи. Как бы не так!

– А ты погоди, погляди, куда народ повернет. Народ, он хитер, он свое дело знает. Держись к нему поближе и на глаза не попадайся. Выйдет что-нибудь путное – и тебе перепадет. Не выйдет – с чем был, при том и останешься!

– А мне ни то, ни другое ни к чему. Мне год осталось сидеть. Год я хоть на колу просижу… а революцию пусть они сами делают!…

Когда я еще раз доложил комитету про подобные настроения, Класион взорвался, слова никому сказать не дал:

– Говорил я вам, шоблу всю надо было в первый же день гнать из тюрьмы. В астраханской тюрьме был случай: пятеро заключенных – два дворника, ассенизатор и еще парочка каких-то мерзавцев раздобыли где-то водки, надрались и затянули «Боже, царя храни». Всех пятерых – в карцер. На другой день, к вечеру, начальник тюрьмы приказал привести певцов и сказал: губернатор велел всех пятерых завтра же утром повесить, в семь утра все пятеро будьте здесь, у входа. Что же из этого вышло, как вы думаете? С одним случился ночью сердечный приступ, и он отдал концы. Четверо остальных ровно в семь утра явились в назначенное место с крепкими и отлично сделанными петлями на собственных веревках, а у двух нашли еще в карманах покаянные письма к астраханскому епископу. Я это своими глазами видел. Не будет от них покоя. Гнать, пока не поздно, вот что!

Не знаю, как с петлями и покаянными письмами, – кто поверил, а кто и нет, но что от этой прослойки ничего, кроме вреда, нельзя ждать, это было ясно всем.

Вопрос, видимо, назревал, и на одном из заседаний, после оживленных споров, комитет большинством голосов провозгласил свободу совести, право каждого иметь свой взгляд на происходящее и свое отношение к бунту. Было отмечено также, что тот или иной взгляд, раз он существует, непременно является отражением мышления той или иной прослойки, и бунт должен развиваться с учетом требований всех прослоек, но по программе, принятой большинством. Выявить отношение к восстанию всех прослоек было невозможно без выборного совещательного органа, в котором должны были быть представлены все нации, все классы и социальные группы. Орган призван был обобщать их воззрения и вырабатывать общую позицию.

– Надо, товарищи, дать им парламент, – посоветовал Класион Квимсадзе. – Сила и большинство останутся за нами, а там пусть себе болтают, нам-то что?! Зато будем знать, кому что надо, и пусть попробуют тогда вредить втихаря, за нашей спиной.

Андро Чаненшвили поручено было создать двухпалатный парламент, и уже утром следующего дня любой желающий мог послушать дебаты, развернувшиеся в камере карантина.

Класион после первой атаки сильно простудился. Это было очень опасно, потому как в нем притаился старый туберкулез. Он не внял нашим советам лечь в постель, не подчинился и приказу комитета. Единственным компромиссом с его стороны было то, что пушку он поручил своему помощнику, а сам принялся за другие дела.

Помню, это было перед второй атакой, мы стояли вместе, и Класион наставлял Поктию:

– Ты знаешь, что такое восстание и революция, а?.. Я тебе объясню: это когда плюнешь на старые законы, пошлешь их к черту и введешь свои, новые. А теперь – чему этот народ радуется, как ты думаешь? Он сейчас никаким законам не обязан подчиняться. Народ, который сейчас у тебя перед глазами, это распоясавшаяся, отвергнувшая законы толпа, но революция никогда не победит, если не подчинить народ законам, необходимым революции. Очень трудное это дело – подчинить его революционной законности.

Вот в этот момент и открылись главные ворота, вошел отряд под командой полковника Кубасаридзе, и на офицеров низверглись нечистоты из пушки Класиона.

– Вот доверь идиоту! – заорал Класион. – Эй, Чониа! Помахай… помахай шлангом. Что же ты, болван, в одно место бьешь?

Чониа помахал, и тут по боровой броне отряда забарабанила туча камней с баррикад.

Как только атака захлебнулась и посрамленный полковник скрылся в подворотне, Класион немедля повернулся к Поктии, закончил начатое до атаки поучение:

– Революция, брат, – школа! – Вскинул голову к небу и крикнул пушкарям: – Эй, Чониа!.. Спустись-ка сюда!

– Чониа?! – сказал Дата. – Кто он?

– Чониа у меня там за главного! – Класион указал на пушку.

Приплелся Чониа, весь с головы до ног в нечистотах. Потоптался возле нас и двинулся во двор, где попросил окатить себя водой из брандспойта.

– Ничего, Чониа, вчера мне тоже досталось, – подбодрил его Класион, когда Чониа решился наконец приблизиться к своему командиру.

– Тебе вода, Класион, досталась, а мне… что? – В голосе Чониа был укор.

– Здравствуй, Чониа! Ты что, не узнаешь меня? – сказал Дата Туташхиа.

– Прошлой осенью, как меня первый раз привели, сразу узнал.

– Как живешь, что поделываешь?

– Что делаю? Сам видишь, как я расправился с их благородиями! Учусь делать добро, и похоже, уже научился. В Аджамети был начальник станции Эртаоз Николадзе, так он мне как-то сказал: «Хороший голос и слух можно заполучить еще в материнской утробе, а вот петь хорошо, не обучившись, не будешь». Доброе сердце тоже можно от матушки-природы получить, а чтобы делать добро – этому надо выучиться. И так на белом свете с любым ремеслом. Вот я теперь учусь – учусь делать добро. Тем и живу!

– Тогда сделай-ка еще одно доброе дело, – прервал его Класион, – ступай отсюда, не воняй, Христа ради! Вымойся, а там придешь и расскажешь, как там, наверху, управлялся.

Чониа засеменил к бане.

Класион вдруг зашелся в надсадном кашле.

– Простыл я, видно, вчера, – сказал он, едва отдышавшись. – Нездоровится мне что-то.

Мы еле уговорили его пойти к Бикентню Иалканидзе, командовавшему в те дни в тюремной больнице. Класион лег и больше не поднимался, но об этом – позже.

– Говорят, там большая свара, чуть до рукопашной не дошло? – сказал Дата Туташхиа. – Пойдем поглядим, что там за парламент?

С нами увязался и Поктиа. Мы спустились в подвал карантина.

– Вы только поглядите на этих недоносков, – возмутился Поктиа, – сколько кирпича натаскали! И для чего, спрашивается…

В карантине, то есть в парламенте, собралось человек сто, и каждый восседал на стуле, сложенном из кирпичей. Из кирпича – нашего основного оружия! Вынести это было для Поктии свыше его сил, и он пнул стул под первым же парламентарием, который попался ему на глаза. Депутат плюхнулся на пол, но никто не посмел возроптать, ибо все знали, что Поктия распоряжался всеми людскими и материальными ресурсами вооруженных сил восстания. Лишь откуда-то из дальнего угла донесся тонкий, как мяуканье котенка, писк:

– Велика важность, кончим и отнесем обратно. Раз нужно, конечно, отнесем, а как же?

Поктиа грозно оглядел всех присутствующих и удалился.

– Продолжаем, господа. Зачем возмущаться? Вот вам пример, прямая параллель с обсуждаемой нами проблемой: состояние войны и законы, им диктуемые!.. Да-с, так о чем я говорил?.. Вы, господин Пхакадзе, с этой трибуны заявили, что по отношению к вам было нарушено, вернее, неверно применено правило раздачи обеда, правило, установленное для данной конкретной ситуации. Почему это произошло, господа?! – Оратор патетически вскинул руку, но его прервали:

– Само правило не годится, надо изменить!

– Почему не годится?! – возмутился оратор.

– Негоден тот закон, то правовое статус-кво, даже та ситуация, которая сама порождает возможность и условия для своего искажения! – с большим чувством сформулировал оппонент.

– Правильно, справедливо: негоден метод, последствие применения которого противоположно его назначению! – поддакнул из глубины карантина чей-то бас.

– «Нора́», успокойтесь! – прикрикнул оратор.

– Эта мысль принадлежит не одной «Норе́». Той же позиции придерживается и правое крыло «дезинфекторов»! – крикнули снова.

В камеру вбежал мальчишка-вестовой, после слепящего уличного света освоился с темнотой, узнал оратора, хлопнул в ладоши и звонко прокричал:

– Э-э-й! Керкадзе, насилу нашел! Тебя выпускают! А ты тут языком стены вылизываешь!

Интерес этого сообщения состоял в том, что в те два дня, что длился мятеж, закончился срок заключения у нескольких арестантов, однако это был первый случай, когда вызывали на освобождение.

– Сколько всего освобождающихся? – спросил Дата вестового.

– Восемнадцать, но уходит – тринадцать на пятерых будут писать… как это?

– Оформлять…

– Да-да, оформлять… эй, Керкадзе, ты что, пойдешь?

– К сожалению, я вынужден… господа, вас покинуть, а то мы бы нашли решение этому вопросу. Негоден метод, последствия которого противоположны его назначению… так, да?

– Уйдешь ты или нет, в конце-то концов? – поторопили его из другого угла.

Керкадзе покинул трибуну.

– Таких хлебом не корми, только языком почесать дай, – шепнул я Дате.

– Чего ж ты хочешь? – ответил Дата. – Ведь сколько времени ему рта открыть не давали, он и болтает от души, рад, бедолага, до смерти. А чему ему сейчас радоваться? Это только называется освобождением, а на самом-то деле он ведь на верное рабство выходит. Сам понимает – вот и не торопится.

Во дворе нам навстречу шел Бикентий Иалканидзе.

– Письмо у меня… записка… Фоме, – сказал он. – Адресовано на его партийную кличку. Здесь не могу передать. Зайдем в корпус… вот так… между прочим, будто гуляем. У Класиона, знаете, жар. Щелкунов его смотрел, сказал, что, возможно, даже воспаление легких.

Воспаление легких для него… в такое время…

Бикентий сунул письмо Дате Туташхиа и исчез. Мы поднялись в комитет, Фома вскрыл письмо. Долго читал его и перечитывал, а потом, передав нам, зашагал взад и вперед.

Письмо было от тифлисского нелегального комитета.

«В настоящей ситуации сколько-нибудь серьезная помощь и демонстрация солидарности исключены ввиду разгула реакции. Вопрос продолжения или прекращения вашей акции решайте на месте. Задача – сохранение прошедших бои участников».

Все из бывших здесь членов комитета ознакомились с письмом. Растерянность и безнадежность овладели нами. Впервые за эти дни Дата Туташхиа вытащил свои янтарные четки – верный признак, что он взволнован.

– Сколько человек прочли письмо? – спросил Фома Комодов.

Я посчитал:

– Семеро!

– Уничтожьте его.

Амбо Хлгатян поднес к письму огонь.

На вечернем заседании комитета, длившемся бесконечно, прерывавшемся и опять возобновлявшемся, были подведены итоги. Итак, предпринятая нами акция достигла своей цели: ведь формальным поводом к бунту была возмутительная деятельность господина Коца, и она больше не могла повториться. Мы создали прецедент для других тюрем – дело огромного значения. В ходе бунта четыре тысячи пятьсот человек в той или иной степени были приобщены к опыту борьбы, и в этом заключалось воспитательное значение нашей акции. В те дни весь город, а за ним и весь Кавказ говорили о нашем восстании, о нем было доложено и правительству в Петербург. Правда, с запозданием, но известие проникло и в Государственную думу – в этом состояла политическая функция нашего начинания. Наконец, – и это был чрезвычайно существенный результат – нам, профессиональным революционерам, недоставало опыта организации массовых выступлений, и теперь мы его получили.

– А дальше что делать?

– Объясним народу, что цель достигнута… – продолжил кто-то, но его прервали:

– Что объяснить? Хотели, мол, попробовать, что из всего этого выйдет?

– Масса есть масса, и она хочет лицезреть, потрогать руками то, что было достигнуто путем стольких жертв.

– Не дашь ей в руки чего-то реального, вещественного, значит, ты – авантюрист!

– Я говорю – разъяснить надо! Какие еще нужны им вещественные результаты?

– Мы профессиональные революционеры и, честно говоря, сами до конца не понимаем, что сделали. А ты хочешь, чтоб это уразумел какой-нибудь Токадзе?!

– Попробуй объясни кому-нибудь, что освободительное революционное движение – это своего рода копилка. Нужно столько протестов, бунтов, выступлений, восстаний, даже одних только выкрикнутых лозунгов, чтобы копилка наполнилась и перевалила через край…

– Мы в эту копилку бросили лишь один крохотный камушек…

– А он повернется к тебе и скажет: «Ради этого крохотного камушка вы и вели меня на смерть?!»

– Нужно или стать во главе и повести народ за собой, или бросить его и спасать свою шкуру, – сказал в наступившей тишине Дата Туташхиа. – А куда его вести, когда вокруг четыре стены, и все? Только к смерти! Нельзя так щедро и лихо толкать на смерть этих людей, они и так дорого заплатили, но даже черт с ним, с риском, если есть более высокая цель. Но я цели не вижу! Бросить их? Так они запомнят: вот этот нас бросил, предал, и никто к тебе на расстояние пушечного выстрела не подойдет. Двух поколений не хватит, чтобы это забылось! По моему разумению, главная забота теперь в том, чтобы не дать этим людям друг друга поедом есть, и если возможно – научить их большему, сделать лучше, чем они были.

– Для этого нужна борьба. А они не хотят с нами бороться. Видал, пушки уволокли!

– Ну, были б мы на воле и такой же бунт бунтовали, что бы тогда?

– На воле Столыпин шрапнелью нас истребил бы, а тех, кого б пуля не достала… поезда и в Сибирь ходят, говорят, новые вагоны завели для нашего с тобой вояжа!

Три дня велись эти разговоры, и конца им не было видно.

А людям уже надоело торчать на баррикадах. Одни отпросились на крышу в наблюдатели. Другие сказались больными и ушли. Чутье подсказало народу, что на баррикадах он больше не нужен. В обслуге появились случаи саботажа. Это естественно, ибо цель арестанта, идущего и обслугу, состоит в том, чтобы прислуживать не другим арестантам, а жандармерии, и тем самым обеспечить себе жизнь более сытую и свободную. В новых же условиях жандармов не стало, и этой относительной свободой пользовались теперь все одинаково. Зачем тогда надрываться? Кроме доктора Щелкунова, на территории тюрьмы появился только один жандарм – длинношеий интендант Чарадзе, да еще два пожарных, держась незаметно и робко, начали приводить в порядок свое хозяйство и лишь через неделю, все так же стесняясь и робея, попросили вернуть шланги, привязанные к пушке Класиона. Отсидевшие срок освобождались по-старому. Даже прибыл новый этап – из Сухуми. Словом, прокурор Калюзе своим обещаниям был верен.

У Класиона спал жар, но что он не жилец – это говорил и Щелкунов, и по Класиону было видно. Дата в комитет больше не заходил и все дни напролет просиживал в парламенте вместе

со своим неразлучным Поктией.

Там, на галерке, ломившейся от народа, привалившего с баррикад, я и нашел однажды Дату, который сидел в обществе Поктии и Бикентия Иалканидзе.

– Мы требуем для всех равных условий жизни и равных гражданских прав, в противном случае – уходим! – первое, что услышал я, когда вошел в эту огромную камеру.

– Куда отправляетесь, Тариэл Автандилович, туда, где условия и права еще более неравны?

– Правильно, – не растерялся оратор. – Сегодня в Российской империи нет другого места, где бы личность пользовалась более широкими свободами и где бы демократия была более полной, чем здесь у нас, в Ортачальской тюрьме. Нашу маленькую общину я бы назвал «Ортачальской демократией».

Аплодисменты.

– …Но, когда мы говорим об уходе, мы подразумеваем уход из империи, уход из государства, где есть угнетатели и угнетенные. Мы останемся лишь в том случае, если каждому будут гарантированы равные условия и права!..

– Шалва, иди сюда, мы подвинемся, – позвал меня Бикентий Иалкагшдзе.

Я протиснулся и сел с друзьями.

– Что вы тут делаете? – спросил я Бикентия.

– Да ты что… Столько олухов сразу когда еще увидишь! Вот бедлам так бедлам… Они профсоюзы учредили, профсоюзы, – восторженно шептал мне в ухо Бикентий, – работников питания, отдельно – медицины и гигиены… И меня зовут, должность предлагают. Вон, погляди, и Рудольф Валентинович тут как тут. Видно, и мужеложи хотят свой профсоюз завести.

На заседании комитета Дата Туташхиа появился лишь через три дня. Шел пятый день восстания. Дата долго слушал других, а потом встал сам.

– Истинные революционеры, как я понимаю, хотят свергнуть старый строй и вырвать власть у царя, – сказал он, – чтобы затем передать ее народу. Мне кажется, вам уже пришла пора подумать о передаче власти, а вы вцепились в нее и не выпускаете. Сколько это может тянуться? Чего еще ждать? Пока народ вас не возненавидит? Тут ведь у нас, в Ортачальской тюрьме, государство в государстве образовалось: и полиция тебе, и армия, и разведка – свои, и хозяйство, и пропаганда, и дипломатия есть, и парламент свой завели, и бог знает, чего еще нам не хватает. За что еще бороться? Чего добиваться? Как ни кидай – не придумаешь. Одно осталось: навалимся на тюремную ограду, повалим ее, пусть наш бунт вырвется на волю… Но сказали же нам, чтобы поддержки не ждали, стало быть, нас как кур перебьют, если бунт не свернем.

– Революционер ничего не должен бояться, Дата Туташхиа! – воскликнул Эзиз Челидзе.

– Ничего… кроме бессмысленной гибели и неоправданных потерь людей, закаленных в битве! – парировал Дата. – То, что я сказал, в другом месте, в другой обстановке, может, и не стоило б говорить, а сейчас – самое время. Передайте власть парламенту, уйдите от дел и укройте тех, кто нужен для будущих схваток. Пусть себе другие правят! Если дело на старое повернется и жандармы вздумают вернуть прежние порядки, люди, способные к борьбе, будут целы-целехоньки, и пусть даже парламент не сможет отстоять наших завоеваний, вы-то – здесь, никуда не делись, вам и карты в руки! Вот о чем я хотел сказать.

– Это что же, чурбанам, что в карантине языками молотят, власть отдать? – возмутился я.

– Там и чурбанов хватит, Шалва, и умные сыщутся, как всегда и везде, не больше и не меньше, – возразил Дата Туташхиа. – Это не чурбаны, а народ… Народ это!!! Дайте ему возможность, и он сделает то, что надо сделать.

– Им и пары гусей не доверишь, – сказал Петр Андращук.

– А почему бы это им гусей или там власть не доверить, а? – снова поднялся с пола Дата Туташхиа. – Вон Андро Чанеишвили отлично провиант распределил. Петр и Эзиз заставили Поктию камней запасти, и прекрасно это у него получилось. А Гоги с какого-то подонка надзирателя удачно штаны стянул – что ж, вы думаете, с этими делами никто другой на свете не управился бы? Дайте им власть в руки, и найдется при нужде, кому с садиста Коца шинель стянуть и у Канарейки связку ключей забрать… Ладно, не будем спорить… Иной спор может

делу и повредить, смотря по обстановке. Может, и не прав я. Давайте, думать. Спешка – плохой советчик.

– А сам ты что собираешься делать? С кем пойдешь? – спросил Фома Комодов.

– Останусь, где был… в тюрьме… с вами! – Дата помолчал. – Ты, наверное, помнишь, Фома, как после драки Коц утащил из карантина в карцер два десятка людей, а меня отпустил?

– Помню, ну и что?

– Есть у меня двоюродный брат – вы это знаете – Мушни Зарандиа. Он здешним крысам крепко приказал, чтоб с моей головы волос не упал, а страх – их ремесло, меня они не трогают, не смеют. Моя забота – не о себе, а о деле, о каждом из вас.

Дата Туташхиа бросил в землю зерно и ушел. Мы проспорили двое суток, чуть до драки не дошло. Даты на этих заседаниях не было. Мы, сторонники передачи власти парламенту, взяли верх над нашими противниками. На девятый день восстания Андро Чанеишвили представил комитету составленное нами же и единогласно принятое парламентом требование, чтобы комитет отказался от своих полномочий. Для передачи власти мы направили вниз Луку Петровича Дембина. Он прочел составленную Фомой Комодовым декларацию. «Посланцы народа» слушали, и знаете, что с ними было? Будто с потолка сыпался град с яблоко величиной, а они не знали, куда голову сунуть и куда себя девать. Наконец до них дошло, что происходит, они мигом осмелели и повели себя так, будто власть им не передали, а они сами отвоевали се у нас.

– Кирпичи можете оставить себе! – объявил Поктиа после торжественного церемониала, и больше его в карантине не видели.

Через неделю тюрьма была вычищена, выскоблена, отдраена. Воцарилась полнейшая демократия, и все это – без нас! Мы убивали время за шахматами и домино. На десятый день парламент удовлетворил просьбу Коца и Моськи о помиловании, и они были освобождены. Было вынесено постановление о снятии решеток, но привести его в исполнение не удалось. Не нашлось инструмента. Понемногу это постановление забылось, и решетки остались где были. Сыграло роль здесь и то, что мы были арестантами, и хотя небольшую вину – не такую, конечно как нам вменили, упаси господи… но все же крохотную вину каждый из нас за собою ощущал, а без решеток – какое же это наказаниеи какая тюрьма?!

В один прекрасный день пожаловал прокурор Калюзе и очень удивился, что на переговоры с ним пришли совсем другие люди. О старых, то есть о Гоги Цуладзе и Луке Петровиче Дембине, он справился с большой симпатией и попросил предоставить ему право обхода. Разрешили. Он выслушал арестантов, принял жалобы и удалился. На другой день длинношеий интендант Чарадзе передал его слова: «Все правильно – самоуправление! Почему казна должна платить администрации такое большое жалованье?!» О смене правительства Калюзе мнения не высказал.

В эти дни Дата узнал о смерти своей единственной сестры. Не помню уже, от чего она умерла, только бедный Дата очень тяжело перенес это известие. Не думал я, что когда-нибудь увижу на его глазах слезы. Он не спал, не ел и молчал. Худой стал страшно – что вы хотите, два месяца человек почти не притрагивался к еде, только ходил из угла в угол, перебирая четки, или лежал, закрыв глаза, но не спал.

Начальника тюрьмы нам, конечно, назначили нового. Фамилия его была Копляков. В первый день, представившись нам, он повертелся в тюрьме минут пятнадцать и убрался. И так чуть не каждый день, забежит, покрутится с четверть часа, спросит, не нужно ли чего, оставит библиотекарю книги, и опять его не видно, не слышно. Арестанты вскоре стали звать его Сопляковым. Личность это была весьма примечательная, не чуравшаяся, я бы сказал, прогрессивных идей века. Раз в месяц в тюрьме появлялся кинематограф. Тогда кино было заморской диковинкой. На второй или на третий месяц своего начальствования Копляков попросил разрешения присутствовать на сессии парламента. Ему разрешили, и он часами слушал дебаты.

Единственным, кто трагически воспринял передачу власти парламенту, был несчастный Класион Квимсадзе.

– Что вы наделали! Такое налаженное дело, и кому отдали – брехунам, наседкам… Дардаку?! – Перечисление шло на возрастающем возмущении и завершилось тем, что Класион

в изнеможении уронил вознесенные к небу руки.

От бедняги остались кожа да кости, он не держался на ногах, а все же одно свое заветное желание исполнил: попросил Чониа отвести его на заседание парламента. Сперва он спокойно, насколько позволял ему непрерывный кашель, слушал ораторов, а потом попросил слова. Дали. Извинившись за то, что тяжелая болезнь вынуждает его говорить с места, он обратился к парламентариям:

– Мусульманам и евреям – ладно, а с христианами жандармы сделают вот что: ворвутся в один прекрасный день в эту вашу брехаловку и устроят массовое обрезание тупыми ножами… – В этом месте Класиона одолел приступ кашля, и его пришлось отвести в больницу.

Тот день запомнился мне еще тем, что в случайном разговоре, будто между прочим, Дата сказал:

– Делать здесь мне уже нечего!

Он решил бежать!

Удивительно живуч оказался Класион Квимсадзе. Каждый день всякий, кто его видел, думал – до завтрашнего утра ему не дотянуть, но он жил будто назло врагам. Жил ровнехонько до переворота четвертого июня 1907 года, да, я не ошибаюсь, именно четвертого, а не третьего июня. Об этом – позже.

Однажды Класион попросил привести Дату Туташхиа. Дата бывал у Класиона каждый день, и в тот раз ушел от него всего лишь час назад. Когда Дата вернулся, Класион передал ему письмо в незапечатанном конверте.

– Ухожу я, Дата, брат мой!.. – сказал он.

– Никуда ты не уйдешь, Класион, – прервал его Дата, – твой любимый государь император не отпустит тебя, пока срок не кончится.

– Хорошо, братец, пусть так, но на этом письме адрес, а на свиданиях жандармы твоих посетителей не обыскивают, передай им, пусть отнесут…

Они еще немного поговорили, и Дата ушел. Поскольку конверт был не запечатан, это означало, что друзьям разрешалось его прочесть. Вот что там было написано: «Ухожу я, сын мой, и знай всегда, что исполнил я назначение человека, как и насколько позволила мне природа. Просьба моя к тебе и завещание: жизнь достойного человека в том, чтобы гореть как лучина, как свеча, как костер, как солнце – смотря какую долю пошлет тебе судьба. Ты должен думать также о том, чтобы, когда ты потухнешь, вокруг тебя или хотя бы на том крохотном клочке земли, на котором стоишь, не воцарилась тьма. Пока горишь, гори так, сын мой, чтобы и других зажигала твоя жизнь. Тогда после твоего ухода не бывать тьме. Надеюсь, так и будешь жить, и я ухожу спокойным. Катя, отдай это письмо мальчику, когда ему будет восемнадцать лет».

Третьего июня 1907 года, как известно, шестьдесят пять депутатов фракции социал-демократов Государственной думы были арестованы и отправлены в ссылку. Это событие вошло в историю под названием «третьеиюньского переворота». Четвертого июня 1907 года прекратила свое существование «Ортачальская демократия». В тюрьму ворвались жандармы. Все это закончилось восстановлением порядков времен Коца, а само событие осталось в памяти участников под названием «переворота четвертого июня».

Прежде чем рассказать вам конец этой длинной истории, сообщу – и это, может быть, вам интересно – о судьбе каждого из нас. Фому Комодова убили белогвардейцы в 1920 году при взятии Одессы. Он был политкомиссаром дивизии. Андро Чанеишвили в дни кубанского саботажа партия направила на борьбу против кулачества. Он остался там, со временем стал директором крупного совхоза и, кажется, жив и по сей день. Петр Андращук умер в Отечественную войну в чине генерала – сердце подвело. Эзиз Челидзе работал в ЧК, был большим человеком. Контрреволюционеры подбросили ему в кабинет бомбу. Амбо Хлгатян скончался в Тбилиси, а бедняга Гоги Цуладзе – на каторге: какой-то гимназист в 1905 году убил двух черносотенцев, Гоги хотел спасти молодого человека от каторги и взял вину на себя. Дембина и Бикентия Иалканидзе давно нет. Поктиа в тридцатые годы был в Средней Азии директором большого комбината, в эти же годы он погиб. Дата Туташхиа бежал из тюрьмы в конце сентября 1907 года. Остальное вы знаете. О Чониа мне ничего не известно, но о Токадзе скажу. В двадцатые годы я работал в советском посольстве в Бельгии, и в ту пору Токадзе был

водителем такси в Льеже.

Я сказал, что четвертого июня в Ортачала ворвались жандармы. Бедный Класион был при смерти, но, каким-то образом переборов себя, пятого июня поднялся с постели и стал у дверей палаты. Было время вечерней проверки. Вошел комендант. Класион бросился и схватил его за горло. Но куда ему было! Его нещадно избили. Он потерял сознание и умер, не приходя в себя.

Парламент прекратил свое существование довольно любопытно. Тариэла Автандиловича жандармы стащили прямо с трибуны, выволокли из камеры, и, пока тащили по тюремным коридорам, он, и не думая кончать, все вел свою речь:

– Горе вам, простофилям! Теперь-то вы убедились, что у демократии есть своя ахиллесова пята и тиранам это известно лучше всех!

Граф Сегеди

Почти три месяца ушло у меня на то, чтобы привести в порядок дачу в Армази. Я поселился на ней осенью тысяча девятьсот четвертого года. Это было лучшее время второй половины моей жизни. Светлое время. Я много читал, писал, ходил на охоту, на рыбалку и думал, думал. Раза два-три в месяц я принимал гостей. Завел собственный выезд. В Тифлисе я жил зимой и то лишь, если была в том нужда. В это время произошел самый глубокий и серьезный мой роман. Тогда же я продал все свои имения, находящиеся в России. Новая обстановка, новые хлопоты и заботы помогли мне легче перенести расставание со службой и деятельностью, в течение десятков лет составлявших единственный смысл моего существования. Новый круг друзей и знакомых, новые увлечения и привязанности сбросили с моих плеч лет тридцать, и тому, что я дожил до девяноста лет, я обязан семнадцати счастливым годам, проведенным в Армази.

Той же осенью я встретил в Мцхета Сандро Каридзе. Не буду скрывать, я искал этой встречи, постоянно помнил о ней и знал, что она неминуемо произойдет. Я сказал Сандро, что живу в Армази, и пригласил навещать меня. Он не заставил себя ждать. Постепенно мы не только сблизились, но постоянное общение сделалось необходимым нам обоим. Я не буду, надеюсь, заподозрен в том, что хочу упрекнуть Сандро Каридзе или пытаюсь смягчить ответственность, которую наложила на меня прежняя моя деятельность, но именно старые связи и сохранившееся влияние позволили мне дважды вызволять его из тюрьмы. В первый раз он был арестован в 1906 году в связи с революционными волнениями. Во второй раз – по делу об убийстве экзарха Никона. Я хочу лишь сказать, что полюбил как брата этого странного человека с тяжелым характером и что, несмотря на все его недостатки, он был достоин еще большей любви.

Нет смысла подробно говорить о нашей дружбе. Приведу лишь две-три беседы, которые находятся во внутренней связи с этими записками, тем более что толкает меня к этому еще одно обстоятельство. В конце прошлого века в обществе распространился некий философствующе-политиканствующий тип людей, формировавшийся из представителей самых разных сословий и званий. Встречались среди этой публики и необычайные умницы, и глупцы, люди просвещеннейшие и невежды, фанатики идеи и эпигоны моды, натуры, глубоко своеобразные и напыщенно претендующие на оригинальность. Но все они – я глубоко убежден в этом – много сделали для революции. Сделали тем, что, не жалея сил, рассеивали в обществе взгляды хотя и разного политического толка, но сводящиеся в конце концов к мысли о неизбежности революции. Подобных людей я встречал и в годы службы, и после отставки. В Сандро Каридзе совместилось все лучшее, что в них было, – от просвещенной мудрости до простодушной честности. Не сказать в этих записках о Сандро Каридзе и о всем этом социальном типе было бы просто грешно.

В первый же визит Сандро Каридзе я напомнил ему о беседе в Схалтба, оставшейся незавершенной.

– Вы тогда не закончили свою мысль, господин Сандро… Помните, мы говорили о различии в понятиях «нация» и «народ»?

– Как же, помню. Разница очень большая. Это совершенно разные понятия, даже противоречащие друг другу. «Нация» является целостным этническим организмом на всем

протяжении своего существования. «Народ» – это сегодняшнее состояние «нации», это «нация» сегодня. Нация – феномен долговечный и устойчивый. Народ – явление быстротечное, преходящее. Ствол дерева и его зеленая крона, русло реки и вода – эти сравнения были бы уместны для пояснения моей мысли.

– А противоречия в чем?

– Между понятиями «нация» и «народ»?

– Да.

– Народ – это желудок и руки. Нация – высшая нравственность, даль духа. Народ создает духовные и материальные ценности, и поскольку потребности всегда выше того, что создано, у народа возникает безудержное стремление поглотить не только им же созданное, но и то, что было создано раньше и счастливо спаслось от потребления. Нация – это неумирающий и неистребимый вечный дух, который добровольно берет на себя ответственность за прошлое, настоящее и будущее всего этнического организма. Нация – это начало сдерживающее, регулирующее, она накопитель и страж духовных и материальных сокровищ. Жизнь – это процесс добывания духовной и материальной пищи, а нравственность – сила, регулирующая этот процесс.

– Получается, что народ – это те, кто за гроши вынужден работать в каменоломнях, чтобы выбурить глыбы для соборов, а нация – то, что подвигает народ на это?

– Вы не совсем правы. Я думаю, что и среди побуждаемых, и среди побудителей бывают люди, в которых нет ничего от нации. Для них мир – лишь пастбище, на которое они спешат с потравой. Есть люди, которые в той или иной мере соединяют в себе оба начала. Но нацией, или силой, осуществляющей бессмертие, обеспечивающей вечное существование, являются те люди…

– …которые отдают миру все, что имеют, – подхватил я его мысль, – получают лишь столько, сколько необходимо, чтобы существовать, то есть отдавать все… Я правильно вас понял?

– Точнейшая формула, – радостно согласился Каридзе. – Формула высшей нравственности и добра. Я слышу ее впервые, и от вас, граф. Именно это закупоривает в бутылку легендарный Ной в канун мировых катаклизмов. Именно поэтому мы называем нацию вечным духом, материализующим себя в отдельных личностях или в их совокупности. Основное же противоречие между понятиями нации и народа состоит в том, что нация – это начало интернациональное, общечеловеческое в такой же степени, в какой соборы и манускрипты, фрески и монументы составляют интернациональную общечеловеческую сокровищницу, тогда как народ – это начало эгоистическое и стяжательское. Большинство его потребностей ограничено сиюминутным собственническим существованием, но не существованием всего общества в его сегодняшней действительности, всего человечества, с его будущностью.

Казалось бы, в рассуждениях Сандро Каридзе все было пригнано одно к одному, и все-таки уже тогда я почувствовал в них противоречия. Я много размышлял и как будто бы обнаружил эти огрехи. Свои соображения я изложил в небольшом труде и дал прочесть ему. Ни одного из моих положений он не принял, и мы едва не поссорились. Так уж он был устроен: стоит ему уверовать во что-нибудь, и – конец, ни шага в сторону, никаких компромиссов или уступок!..

Однажды – это было незадолго до его первого ареста – как-то к слову пришлось, и я спросил:

– Ты все время отдаешь занятиям, интересы твои обширны и глубоки, но в чем твоя исходная концепция, от какой нравственной платформы ты отталкиваешься?

– Ищешь пристанища? – ответил он быстро и, могло показаться, несколько бесцеремонно.

– Не понимаю.

– Платформа… А что, старая тебя не удовлетворяет?

– Сейчас это не имеет значения. Ответь, если можешь, на мой вопрос.

Он почувствовал, что я начинаю сердиться, и, подумав, сказал:

– Я всегда и во всех случаях исхожу из того, что человечеству необходимо найти способ нравственно возвысить человека, найти возможность нравственного его совершенствования, в

противном случае человечество дойдет до каннибализма, станет питаться мясом себе подобных, – это не метафора, я говорю буквально. И это будет продолжаться до тех пор, пока последнего homo sapiens не съест какой-нибудь дикий зверь. Чтобы избежать этого, нужно уничтожить империи. Революция необходима!

Я знал, что Сандро Каридзе верит в неизбежность резолюции. Известно было, что он сочувствовал революционному движению и был на его стороне. Теперь я убедился и в том, что он жаждал революции как пути спасения человечества.

– Твои сочинения я знаю лишь по заглавиям, – вероятно, они служат революции?..

– Революция – дело завтрашнее. Я же служу послезавтрашнему.

– Вот оно что… Какую же проблему ты решаешь?

– Морального прогресса. Я разрабатываю теоретические основы управляемой нравственной революции.

– Точнее бы, если можно…

Каридзе запустил пальцы в бороду и почесал щеку.

– Ты, Митрич, магистр права, так ведь?

– Да, – улыбнулся я.

– Чему же ты улыбаешься?

– Меня забавляют превратности судеб людских. Я думал получить профессуру в Московском или Петербургском университете, а кем стал? Сибаритствующим в отставке жандармским генералом.

Каридзе попытался сказать мне что-то в утешение, но, видно, передумал и вернулся к нашему разговору:

– Можешь ли ты дать самое общее определение законодательства, которое было бы справедливо для всех эпох и народов?

– Могу. – Я собрался с мыслями и начал: – Прежде всего оно – средство осуществления внутренней и внешней политики, оно представляет собой затем статус прав и обязанностей правящего меньшинства. Наконец, оно орудие подчинения инертного или недовольного большинства. Ты удовлетворен?

– Отлично. Пойдем дальше. Скажи, возможно ли, чтобы отношение империи и к своим гражданам, и к другим государствам определялось формулой: «Ем тебя, чтобы ты не съел меня, и еще потому, что хочу растолстеть»?

– Ну, допустим, – согласился я весело.

– То есть как это – допустим? Если это не так, скажи!

– Так, так, продолжай!

– С тем, что я сейчас скажу, ты уже однажды согласился. Примем это как аксиому: «Вышеупомянутое пожирание прикрывается целями весьма благими с точки зрения общечеловеческой справедливости. Оно опирается на демагогию, основанную на христианском гуманизме. И, наконец, осуществляется посредством замурованного в прочный переплет „Свода законов Российской империи“».

– Все, что ты говоришь, было б справедливо, если б не было так зло… Дальше?

– Это не злость, а манера рассуждать. Не лучшая, правда, но, как тебе известно, я спокойно обхожусь и ею. Теперь еще один вопрос. Каков результат взаимодействия религии и закона – с одной стороны, а с другой – личности и общества? Разумеется, в существующей реальности, в сегодняшней действительности.

– Друг Сандро, я человек религиозный и стараюсь не святотатствовать. Ты расскажи о взаимодействии религии и личности, а я после тебя порассуждаю о личности и законе. Тебя должно это устроить: ты задашь интонацию, а я невольно подчинюсь ей и буду говорить в заданном тобой тоне.

– Но я же, дружище, монах как-никак, монах…

– Ты еретик. Лежать тебе на раскаленных головешках и шипеть! По тебе в аду плачут, кипящая смола по тебе тоскует. Говори, все равно терять тебе уже нечего…

– А ведь и правда!.. Религия пытается втиснуть человека в рамки своей морали, чтобы держать его в покорности, а человек сопротивляется и потому, между прочим, что сами проповедники и ревнители веры – грешники высочайшей пробы. У религии сил куда больше,

чем у человека, но она догматична. А человек пусть слаб, но зато наделен гибкой приспособляемостью. В то же время человеку хочется во что-нибудь верить. При фарисействе религиозных ревнителей единственным столпом, веры оказывается личное благополучие, что и санкционировано для тех, кто особо рьян. Вот отсюда и начинается выработка и рафинирование тех способов, с помощью которых можно завоевать славу преданнейшего адепта христианства и тем самым облегчить себе служение маммоне. Словом, при империи взаимодействие религии и человека порождает затравленного, все и вся ненавидящего подданного, который для себя видит один выход – революцию – и становится борцом за нее. Что же до религиозного культа, то, истощив себя и обессилев, он оставляет за собой лишь формальное отправление обрядов. Согласен ли ты, что это главная особенность нашей действительности?

– Лишь отчасти. Ты слишком сгущаешь краски.

– Прекрасно. Даже сдержанное одобрение отставного жандармского генерала стоит во много раз больше восторженных воплей сотни фанатиков. А теперь говори ты.

– В твоем стиле продолжать?

– Разумеется, а то до правды тебе не добраться.

– Хорошо, сударь! Закон насилует человека, а человек отвечает ему сопротивлением. Закон физически силен, но не гибок. Человек слабее закона, но куда изворотливее. В его руках бесчисленные способы и средства обойти закон, соблюсти его лишь отчасти, а то и не соблюсти вовсе. Закон стремится к тому, чтобы человек ограничил свои интересы интересами империи. Человек – к тому, чтобы приспособить закон к своим интересам, главным образом, обойдя, обогнув этот закон. Это неравная борьба, и слабый человек вынужден идти на нравственные компромиссы, использовать все что угодно, лишь бы преодолеть давление закона и сохранить свое существование! – Я сделал паузу, чтобы сформулировать свое заключение в стиле заключения Сандро. – Словом, при империи взаимодействие закона и человека порождает отчаявшегося, затравленного, ненавидящего все и вся гражданина, который, видя выход только в революции, становится борцом за нее. Что же до закона, то он превращается в истощившую самое себя, бессильную, доведенную до формальности процедуру.

– Браво, граф, браво! – ликовал Каридзе. – Только обрати внимание на то, сколь прочные нравственные критерии империя оставляет в наследство той политической силе, которая сначала должна создать совершенно новое государство, а затем – управлять им. Любое политическое течение, ратующее за социальную революцию, сегодня сознает, что едва оно добьется победы, как в руках его окажется человеческий материал, моральная ценность которого весьма сомнительна и противоречива и который с огромным трудом поддается переделке. На собственную беду, все эти политические течения рассчитывают на то, что достаточно будет им изменить социальные условия, общественный быт, как сама собой победоносно возвысится мораль. Я этого взгляда не разделяю и пытаюсь внести свою лепту в осмысление предстоящих катаклизмов. Над этим-то и работаю.

…Однажды близ дзегвских порогов закинул я в Куру большой крючок. От Шиомгвими шел паром, и на нем я разглядел в бинокль Сандро. Если не изменяет мне память, это было вскоре после его второго ареста и освобождения. Сойдя на берег, он направился по дороге, ведущей в Мцхета. Может быть, он идет ко мне, в Армази, подумал я и, оставив удочку, направился ему навстречу. Действительно, он шел ко мне, спасаясь от осточертевшего одиночества. Я пригласил его пообедать, но он отказался, предпочтя остаться здесь, на берегу. Было пасмурно и прохладно. Сандро, за всю жизнь не вытащивший и крохотного бычка, оставался равнодушен к моему азарту завзятого рыбака. Он был печален и, казалось мне, чем-то расстроен.

– Над чем размышляешь, Сандро? О чем пишешь?

Он махнул рукой и промолчал.

– А все же? – настаивал я.

– Запутался в одной идее… Три дня – ни строчки. Лопну от злости.

Я понял, что́ привело его ко мне. В таком состоянии духа он бывал и раньше. Я не раз наблюдал его. Чтобы выйти из тупика, он заводил разговор на тему, ему важную, ввязывался в спор и тут-то нередко наталкивался на решение, которое искал.

– Давай начинай, – сказал я. – Может быть, откуда-нибудь прибьется свет на то, что тебя

мучает.

– Меня занимают хозяева и гости.

– Откуда хлеб-соль взять?

– Да нет, не это. Вот посмотри: египтяне, ассирийцы, хетты, урарты, эллины, римляне, византийцы… не сосчитать, сколько этнических организмов, длительно существовавших, исторически устойчивых, явились человечеству как создатели великих империй и культур, как державные нации…

– Дальше.

– Дальше?. Где они сегодня, скажи мне? Потомков древних египтян и не сыщешь, хетты исчезли бесследно, ассирийцев, я читал, во всем мире осталось семей триста, не больше; грека эллинского типа днем со свечой не найдешь; от римлян остался, говорят, один старик, откопали в какой-то дыре, собираются по городам возить, за деньги показывать; византийцы ушли, как вода в песок. Видишь, что получается?

– Такова историческая судьба всех наций.

– О, нет. И сегодня есть нации, которые существовали во времена ассирийцев, урарту, эллинов, держали оборону против Римской империи. И Византию они пережили и, надо полагать, не одного еще гостя проводят в вечность.

– Кто это?

– Евреи, армяне, иберы, эфиопы, болгары, венгры…

– Уйдут и они, Сандро.

– Не похоже что-то. Каждый из этих народов перенес свой исторический кризис и пошел по пути духовного и материального развития, Кстати, их история отмечена чередованием циклов, внутри которых кризисы сменялись расцветом. Наша планета похожа на постоялый двор, где есть хозяева и гости.

– Очень все это спорно.

– Это лишь гипотеза, но предчувствие говорит мне, что у нее есть будущее.

Мне попался крупный лосось, и я снова забросил удочку. И вдруг понял: империи, о которых говорил Сандро, существовали, как правило, не более пяти веков. Вспомните древние и новые египетские царства, империю хеттов, Ассирию, Римскую империю – я говорю именно об империи, а не республике. Лишь Византия – исключение. Она существовала более тысячи лет. Я сказал об этом Каридзе, он согласился со мной и назвал даты.

– Необходимо объяснение, – сказал я. – Иначе гипотеза останется гипотезой.

– Каждое из явлений, о которых я тебе говорил, отмечено одним любопытным признаком. Для исчезнувших цивилизаций характерно покорение соседних или отдаленных народов, присоединение их к себе, к телу своего государства, и беспрестанная борьба за то, чтобы удержать их в покорности. Для народов уцелевших характерна удовлетворенность экономическими возможностями родной земли, автономия духовной культуры, постоянная борьба за освобождение и отрицание захватнических войн! Но это лишь признаки. Надо выяснить причины этого различия, и вот здесь я увяз. Пока я отыскал лишь одну, да и ее не додумал до конца. Надо, чтобы упал новый свет, нужны новые доказательства.

– Расскажи о том, до чего ты уже додумался.

– Но это не завершено…

– Пусть.

– Уцелевшие народы на протяжении всей своей истории боролись за то, чтобы выжить физически, сохранить свободу и спасти свои духовные богатства. В горниле этой борьбы они закалялись, их жизнеспособность росла, крепла, обострялась. С державными народами происходило нечто иное. Чтобы покорить, обуздать, подавить сопротивление покоряемого племени или народа, требуются огромные силы. Чтобы властвовать над ста народами, сил надо во сто раз больше. Под солнцем же нет ничего бесконечного и неисчерпаемого. Есть свой предел и у национальной энергии державного народа. Эта энергия выдыхается, выветривается, истощается, жизнеспособность народа падает. Поначалу державный народ утрачивает способность завоевывать и покорять, затем защищаться, постепенно он начинает растворяться в других народностях и наконец прекращает свое существование.

– Я ловлю тебя на противоречии. Если послушать тебя, оба народа ведут борьбу, оба

неминуемо расходуют, силы, растрачивают себя, но для одного народа это закалка, а для другого – погибель.

– Оттого-то я и говорю: чтобы гипотеза эта обрела убедительность, нужно высветить ее новым светом, нужно обогатить доказательства. Все это, возможно, и не очень-то меня беспокоит. Нужно проанализировать на большом историческом материале духовные результаты захватнических и оборонительных войн, и тогда все станет на свои места. Волнует же меня совсем другое. Любое историческое явление есть следствие множества причин, а не какой-либо одной. Чтобы моя гипотеза подтвердилась, я должен отыскать это множество причин. Но черт бы меня побрал, не могу я до них доискаться, и все тут! – И снова Сандро Каридзе помрачнел.

– Давай посчитаем! – сказал я. – Если образование централизованного русского государства отнести к концу пятнадцатого века, то, согласно твоей гипотезе, в двадцатом веке наша империя должна пасть, хотя не исключено, что, подобно Византии, она просуществует больше тысячи лет.

– Византийская империя просуществовала вдвое больше других, потому она приняла на себя функцию руководителя целого религиозного мира. После ее падения эту функцию приняла Россия и тем самым получила гарантию длительного исторического существования. И все же Российская империя падет, возможно, что и в первой же четверти двадцатого века. Тому тоже есть свои причины, но о них поговорим в другой раз.

– Она падет, и три-четыре века спустя русский народ исчезнет с лица земли, как любой державный народ? Так, по-твоему?

– Нет. Тот извечный дух, который материализуется в некоторых личностях или в их совокупности и который я называю нацией, вспыхнул в России вторично, на этот раз в облике политической партии. Хочу напомнить тебе, что в последний раз эта вспышка произошла в пятнадцатом веке. Нынешняя социал-демократическая партия совершит первую в человеческой истории социалистическую революцию, с течением времени возьмет на себя роль руководителя целого идеологического мира, и тогда и государству, и народам будет гарантировано то длительное историческое существование, о котором я уже тебе говорил. Важно еще одно обстоятельство. Социал-демократы разрушат Российскую империю и создадут добровольный союз свободных, равноправных социалистических наций. Русский народ, таким образом, будет освобожден от необходимости тратить силы на покорение других народов и на постоянные захватнические войны. Ему не нужно будет выбиваться из сил. Я вовсе не уверен, что лидеры этой партии уже сознают такую значительную вещь, это больше похоже на гениальную интуицию. Русскому политическому мышлению принадлежат здесь лавры первооткрывателя.

– Ну что ж, пусть берут патент. Англичане, французы, немцы, японцы с удовольствием поспешат его купить. Ведь ты им тоже предрекаешь вымирание, раз они державные нации.

– Патриоты России, торопитесь купить билеты, – Сандро Каридзе был очень торжествен. – Поезд отправляется всего через десятка два лет, и тогда вы останетесь на этом полустанке с тощим багажом в руках. Что ответите вы тогда своей совести, своей отчизне и своему потомству?

– Этот поезд идет из Вавилона в Вавилон, Сандро!

– В Вавилон?.. Вавилон… Вавилонская башня… – Он стал путаться в словах, побледнел вдруг, замолк, и через минуту я услышал тихое его бормотание: «…возвести башню до неба, где обитает бог… смешать языки… гениальная попытка, потрясающий символ, блистательный образ! Найдена вторая причина… да, да – вторая… еще, еще одна…»

Узнав о февральской революции, Сандро Каридзе пришел в Дзегви и страшно напился. Местный лавочник и другие очевидцы, случившиеся при этом, свидетельствуют, что он то заливался слезами, то безудержно хохотал. По натуре своей он был общителен и разговорчив, но в те несколько часов, что пил, не проронил, говорят, ни слова. Только плакал и хохотал. Потом затих, закрыл глаза и умер здесь же, в лавке, не вставая со стула. Погребен во дворе Шиомгвимского монастыря.

Вано Натопришвили

– Я это все своими глазами видел! Совсем не так все было, как тебе рассказывали. А как было, не ищи и не спрашивай у других, все равно не узнаешь, прежде меня их никто не углядел. Я – первый.

…Поначалу они садами шли. Впереди Ламаз-Кола, за ним мегрелец этот – Дата. Как я их увидел? Повыше казарм, на горке, стоял кирпичный завод, он и сейчас там стоит. Хозяином там был один перс, я к этому персу нанялся в сторожа, при кирпичне. Было воскресенье. Я еще утром приметил: привел солдат к казармам двух арестантов, поставил на дрова – пилят, колют, складывают, а пошли они садами – сразу смекнул: мотанули ребятки, бегут. Ружье – при мне, а как стрелять? Может, у них братья какие или родственники?.. Мое дело сторона, я завод сторожу. Не пальнешь, опять негоже, цапнут – и прямая дорожка тебе в Метехскую тюрьму. Скажут: видел беглых, ружье при тебе, почему не стрелял? Я и пальнул в воздух. Зарядил – и еще разок, два выстрела – сигнал побега. Так все и обделал: и греха на душу не взял – в арестантов не стрелял, и сигнал побега дал. Я для вахмистра стрелял. Ладно, думаю, хватятся и побегут за ними, пока то-се – вот тебе и волки сыты, и овцы целы. Солдат-то, что их сторожил, дремал, а как я в первый раз пальнул, он глаза продрал и спросонья тоже два выстрела дал. Из казармы вахмистр выскочил. Свистнул – еще три солдата выскочили и четвертый со сторожевой собакой. Так вот сразу и выскочили, браток! Ну, думаю, пропали ребята, не уйти им. Гляжу, вахмистр с солдатами уже вниз по откосу чешут. Возле пеньков собака взяла след, тянула сильно, как поводок не порвала… Словом, шли они ходко, но, пока к воде подошли, Ламаз-Кола и Туташхиа уже на середине Куры были.

Вахмистр как бежал, так с ходу в воду, по самую задницу, да сапоги у него отяжелели, он и стал. Дурак тупоумный, он что, Христос, по воде шагать? Постоял себе, постоял и обратно на берег, приказывает солдатам стрелять. Они – на колено, и пошла трескотня, куда там!..

Те – под воду. И эти не стреляют. Ламаз-Кола вынырнул и кричать вахмистру: не стреляйте, вернусь! Городскому вору ума не занимать – пошел, запросто убить могут. Поплыл он к берегу, солдаты не стреляют, ждут. О Ламаз-Коле у них особой заботы не было, они все на воду глядели, Туташхиа высматривали.

Вахмистр кричит Ламаз-Коле: где мегрелец?.. Вор обернулся и давай звать: «Дата! Дата-а-а! Вернись, а то пришьют меня!»

А Даты нет как нет. Ламаз-Кола опять наладился к берегу, но течение несло его вниз, и солдаты поплелись вдоль по бережку: один глаз – на Ламаз-Колу, другим – по воде рыщут, Дату ждут. Видно, попали в него, подумал я, либо ранили, а может, убили, он и отправился на дно. Какое там! Вынырнул, и где? Почти что у другого берега. Не я один заметил – вахмистр тоже увидел и опять приказал стрелять. Шум, треск, не приведи господь!..

А было половодье. Туташхиа уже далеко ушел. Ни одна пуля его не зацепила. Нырнул себе – и был таков!

А Ламаз-Колу течение совсем далеко унесло. Солдаты опять за ним побежали, бегут по берегу, по течению вниз. Только солдат с собакой отстал – не идет за ним псина, и все дела. Он ее вниз, куда все бегут, а она вверх по течению тянет. Он в свою сторону, она – в свою. Он рассвирепел, давай ее ногами, а ей что делать… поплелась за ним…

Ламаз-Кола встал на дно, руки вверх и к берегу. Ему прикладом в грудь, повалили, мордой к земле повернули, лежит ничком. Солдата с собакой оставили возле него, а вахмистр с остальными солдатами пошли вниз по берегу.

Ну, думаю, кирпичня без меня не сгорит, да и персу в воскресенье здесь делать нечего, не придет. Махнул рукой… спустился к берегу, подхожу к солдатам.

Правильно говорят: «Засвербит у осла спина, принесет его к мельнице». Так и со мной вышло. Ты послушай, как все получилось. Только я к ним подошел, они опять галдеть. Гляжу, на том бережку стоит себе на бугорке Дата Туташхиа, подбоченившись, породистый кочет – и только. Потом сунул руку за пазуху, вытащил сванскую свою шапку – он в ней всегда ходил, – выжал и на голову. Надел и на небо поглядел.

День был хмурый, моросило.

Чего же, думаю, он стоит? Солдаты в него палят – только заряжать успевают. А он повернулся и – прямиком в молодой лесок. И спокойно так идет, не торопится, будто не пули на него сыпятся, а так – брехня пустая.

Ушел!

Эти пули свои все потратили, а попасть не смогли. Ушел, и все тут!

Вахмистр обернулся ко мне, глаза вытаращил и орать: «Ты что же, сволота, в воздух стрелял, в них надо было!»

– Ваше скородие… – говорю.

– Ах, «сковородие»… – Тут он мне бац по морде – да так звонко, в кирпичне и то б, наверное, услышали, будь там кто. – Это раз сковорода, – говорит. И по другой щеке. – Два сковорода, – добавил.

Я закрыл лицо руками, думаю, отстанет, да куда там – он мне сапогом в живот, я в воду, а он: «Три сковорода» – и побежал к Ламаз-Коле.

Я вылез из воды, поднялся в свою кирпичню, давай обсыхать. Большая беда меня тогда миновала. Хорошо я выкрутился, лучше и не придумаешь, а то б костей не собрал!..

Как я тебе рассказал, так все и было. Никто это лучше меня не знает – при мне все и случилось.

Граф Сегеди

Меня никогда не влекли тайны звездного неба и темь астрологии. Эту старинную науку я относил к разряду оккультных. Мое предубеждение привело к тому, что и по сей день я остался не сведущ в ее делах. Однако звездный небосвод – особенно после отставки – стал неизменным моим собеседником. Когда впечатления вконец одолевали меня, когда мне трудно было понять ход и крен событий, тогда я вглядывался в глубину вселенной, расположившейся на небосводе двенадцатью зодиаками, пытаясь отыскать в таинственных сочетаниях небесных знаков бездонные символы и подобия душам и взаимным притяжениям неизвестных мне людей.

Веранда моей дачи, словно бы нарочно, расположена так, что человека, покоящегося в качалке, невольно посещает желание вглядываться в небосвод. До меня дача переменила двух владельцев. И они тоже не могли противиться наслаждению, которое приносит созерцание трепетно мерцающего южного неба, и проводили летние вечера на веранде в покойном одиночестве. И теперешние владельцы дачи тоже устремляют взор в небо, едва остаются одни.

Был на исходе май 1909 года. Я сидел на веранде в ожидании ужина, когда в десятом часу вечера послышался шум приближающегося экипажа. Я был одинокий, удалившийся от дел человек, и меня довольно редко посещали гости, исключая, конечно, Сандро Каридзе. Естественно, меня удивило, когда экипаж остановился возле моих ворот. Лакей встретил гостя и тотчас же доложил, что полковник Мушни Зарандиа просит извинить за необговоренный визит.

Его приезд очень обрадовал меня и нисколько не удивил, ибо я всегда считал Мушни Зарандиа за человека, от природы несвоекорыстного и доброжелательного. Он всегда помнил добро, которое ему делали, и если кто-нибудь ему нравился, он открыто выказывал ему свое расположение. Обрадовался же я потому, что в моем тогдашнем положении Мушни Зарандиа могли привести ко мне лишь благорасположение и чистосердечный интерес к моему житью-бытью. Ничто другое.

Мы долго беседовали. Мушни Зарандиа всегда был прекрасный собеседник, но теперь, в 1909 году, это был не тот Мушни Зарандиа, которого я слушал затаив дыхание. Не думайте, что в ту пору я был вышедший в отставку стареющий генерал, давно утративший связь с прежним своим кругом, лишенный возможности следить за интересами, которыми он живет, и потому, как пресс-папье, впитывающий чернила любых цветов. Само собой, это было не так, но тем не менее визит Мушни Зарандиа доставил мне истинное наслаждение, ибо дал ощущение обновленности. В моем госте, как в резервуаре, скапливались сведения из двух совершенно разных источников: он проникал в хитросплетения политических интриг, наверное, во всех странах света и знал, что творится за закрытыми дверями правительственных кабинетов многих держав, но одновременно был причастен к повседневной хронике царского двора во всех ее тонкостях. Удивляться здесь нечему, ибо Мушни Зарандиа руководил политической разведкой, и, конечно, такой сведущий и блистательный собеседник был истинным подарком судьбы. В тогдашнем Петербурге он был одним из семи особо доверенных лиц, имевших право в любое

время суток рассчитывать на аудиенцию у императора. Не знаю, насколько часто Мушни пользовался этим правом, но я не сомневаюсь, что, случись надобность, он не постоял бы перед тем, чтобы разбудить его величество. Я заметил в нем тогда еще одну важную черту: он с высоким благоговением и глубочайшей сердечностью говорил обо всех членах августейшей семьи, и в тоне его, когда он говорил об их жизни, слышалось почтение преданного слуги. Возможно, что подобный несколько сервильный тон установился при дворе уже после моей отставки, и у высоких должностных лиц не было иного пути, как принять этот тон, но Мушни Зарандиа следовал ему с удовольствием, а не потому, что был принуждаем к этому обществом. В его характере эта перемена была разительной. С удивлением обнаружил я в нем еще одно новое свойство, которое обычно присуще чиновникам средней руки. Те из них, кто особенно жаждет преуспеть и высоко подняться по служебной лестнице, обнаруживают обычно острый интерес ко всяким служебным перемещениям, повышениям, понижениям, наградам или к возможностям таковых. Неважно, кто в какой форме обнаруживает этот интерес. Важно, что переваривание подобных сведений совершается с необычайной энергией, азартом и душевным трепетом. Когда мы служили вместе, эта сторона жизни для Мушни не существовала, у него и времени на это не было, а теперь я видел, как засасывала его трясина, не имевшая никакого отношения к его интересам и способностям, и, безусловно, погружение в эти слухи и пересуды не было для Мушнн Зарандиа профессионально необходимо. Я чувствовал, что сбывается предсказание его отца. Когда-то Магали Зарандиа сказал своему сыну: таких, что занимают высшие должности из высоких побуждений, – много, но нет ни одного, кто бы, достигнув этой высоты, сохранил доброе сердце. Мушни Зарандиа стал придворным до мозга костей.

Наша беседа уже подходила к концу, когда я решился спросить об истинной причине его приезда в Тифлис. В тумане аргументов мелькнуло имя Даты Туташхиа, но лишь мелькнуло – для меня и этого было много, чтобы понять: дело Даты Туташхиа и по сей день не потеряло значения для Зарандиа. И вдруг я вспомнил, что Сандро Каридзе как-то вскользь обронил, что Дата Туташхиа после побега из тюрьмы стал увлекаться политикой. Это новое увлечение своего брата Мушни Зарандиа не мог встретить равнодушно, особенно после тех духовных изменений, которые свершились в нем, когда он стал бывать при дворе. Я не стал скрывать своей догадки. Напротив, я высказал ее вслух и очень подчеркнуто, как высказал и свое удивление тем, что Зарандиа нашел время, чтобы вернуться к делу Даты Туташхиа, и свое сомнение в оправданности столь упорного преследования Даты Туташхиа, причем его собственным двоюродным братом.

Мы проговорили до глубокой ночи, и Зарандиа остался у меня. Уже отправляясь спать, он сказал:

– Я хочу вернуться к нашему разговору. Моя служебная репутация не будет ни ущемлена, ни укреплена от того, кто поймает Дату Туташхиа и поймают ли его вообще. Поэтому никакими карьерными побуждениями я здесь не руководствуюсь.

– Разумеется, – согласился я, а про себя подумал: «Но почему он вернулся к этому разговору?»

– Уж вы-то, граф, знаете, что для меня всегда самое важное, чтобы дело велось разумно, а кому достанутся лавры в случае успеха, мне безразлично.

– Мне не раз приходилось видеть на груди других ордена, которые по праву принадлежат тебе, Мушни… – «Но почему так важно ему, поймают или нет Дату Туташхиа?» – подумал я.

– Следовательно, та или иная акция против Даты Туташхиа не диктуется ни самолюбием, ни честолюбием. Остается заподозрить меня в садистских наклонностях, которых – вам это известно – за мной не водилось.

Он ждал, что я отвечу.

Я лишь улыбнулся.

– У этого дела есть и другой, более высокий аспект. Вы это, конечно, знаете, но я бы хотел напомнить о нем.

– Говорите, говорите! Это очень любопытно! – «Он хочет что-то скрыть…» – мелькнуло у меня в голове.

– Я взял себе за правило следовать принципу: назначение человека не только в том, чтобы победить зло, но и обратить его в добро!

– Безусловно, Мушни, если только это возможно! – «Конечно, он уже расставил капканы для Даты Туташхиа», – констатировал я, разумеется опять про себя.

И снова, как пять лет тому назад, мне привиделось, что Мушни Зарандиа свернулся в кресле клубком и высоко вытянул змеиную голову.

Капканы, капканы, но какие, где? И память услужливо выбросила подробность, которую я даже не помню, когда и от кого узнал. Бечуни Пертиа, возлюбленная Даты Туташхиа в его молодые годы, наняла своему сыну Гуду учителя русского языка, некоего Виктора Самушиа, который впоследствии обучал мальчика еще и латыни. Вот про этого Виктора Самушиа мне и говорили, что его завербовал полковник Князев по заданию Мушни Зарандиа. Чтобы держать в поле зрения всех людей, которые в разное время были завербованы, дабы изловить Дату Туташхна, понадобился бы, наверное, отдельный чиновник. А результаты оставались равны нулю. Поэтому новость не произвела на меня ни малейшего впечатления. И все же, когда представился случай – совсем не преднамеренно, а как-то само собой получилось, – я пожелал уточнить это сообщение и выяснил, что ровесники Гуду называли его ублюдком, которого мать нагуляла от Даты Туташхиа. Мальчику тогда было уже лет двенадцать, и характер был у него нелегкий – это был очень замкнутый, ушедший в себя и молчаливый ребенок. Он даже у своей матери ни о чем не спросил. Но прошло немного времени, и он спросил об этом своего наставника. Виктор Самушиа ответил ему так: «Дата Туташхиа – лютый злодей, разбойник и убийца. Он любит твою мать, приходит к вам, и хотя твоя мать его ненавидит, она из страха не может отказать ему в гостеприимстве. Негодяй пользуется этим и появляется у вас, позоря вас обоих – и тебя, и мать». Эта версия не особенно поразила меня. К чему она могла привести? Самое большее, на что можно было рассчитывать, это что Гуду Пертиа найдет возможность сообщить полиции, когда Дата Туташхиа в очередной раз появится у них. Вот и все. Такими донесениями были забиты уши полицмейстеров нескольких уездов. И что же? У меня и тогда не возникло желания, и теперь тоже нет сил разобраться, откуда, с какой стороны смерчем налетела на меня острейшая потребность разрушить, смести еще не известные мне козни Мушни Зарандиа. Помню только, как в воображении своем потирал я руки: «Этот щенок вскормлен мною, но я же и рассчитаюсь с тобой, мсье сатана». Это было уже решение, и одновременно, как всегда в моей жизни, тут же забилось во мне чувство чрезмерной осторожности: не дать Зарандиа ни малейшего повода к подозрению! С другой стороны, у меня в руках не было ничего, с чего можно было начать. Мне нужны были совершенно свежие, сегодняшние сведения о положении вещей, но задавать вопросы было немыслимо – Зарандиа тотчас бы догадался о моих намерениях. Оставалось лишь ждать, чтобы мой гость сам обронил что-то, хоть немного достойное моего внимания. Уже пора было менять тему разговора, и я спросил:

– Мушни, вам не случалось знакомиться с неким Вязиным, Алексеем Викторовичем? Может быть, встречался он вам или попадалось его имя? Сейчас ему за пятьдесят.

– Вязин?.. Вязин?? – Зараидиа задумался. – Кто он, этот Вязин?

– Он сын моей единственной сестры. Отца он потерял еще в раннем детстве, а мать – когда учился в последнем классе гимназии. Я жил тогда в Париже и пригласил его к себе, чтобы он мог продолжить образование. Он кончил зоологом и посвятил себя орнитологии. – Я не стал говорить Зарандиа, что в двадцать один год Вязин уже был нашим тайным агентом. – Он известный орнитолог, – продолжал я, – и было время, когда он поставлял в музеи Европы чучела птиц почти со всех материков. Уже пять лет, как я ничего о нем не слышал, а более близкого родственника у меня нет.

– Нет, граф, не встречалось мне это имя… – Зарандиа взглянул на рояль. – Этот рояль палисандровый?

Было видно, что рояль не палисандровый, и я сразу понял, что мой племянник по-прежнему состоит на тайной службе и что сейчас он в Южной Америке, в Аргентине или Бразилии – палисандр растет лишь там.

– Нет, – сказал я и тут же стал соображать, как бы выяснить, женился мой племянник в эти пять лет или нет…

– В прошлом году, граф… впрочем… совсем недавно мне довелось побывать на Енисее. Грандиозное зрелище, потрясающее душу, и представьте себе, в этих богатейших краях на сто

верст не встретишь и одного жителя.

Ого! Значит, Вязин сейчас в Бразилии, в стране великой реки, и коротает свой век один-одинешенек – раз житель единственный. И сведения не прошлогодние даже, а совсем свежие! Я до сих пор не понимаю, какие обстоятельства, профессиональные, служебные или сугубо частные, приучили Зарандиа – и при этом так быстро – вести разговор эзоповым языком, зачем он был нужен ему, да еще в общении с кем? Со мной… Но разговаривал он именно так. Если раньше даже со мной он говорил лишь то, что было необходимо для дела, а не то, что вообще можно было говорить, и не то, тем более, что могло принести вред, то теперь он изъяснялся необыкновенно пространно, язык его работал не уставая, говорил он почти все и обо всем, и при этом не говорилось ничего – ничего, разумеется, для постороннего слушателя, не искушенного в тонкостях нашей профессии. Другими словами: то, что он хотел выразить, я должен был угадывать, расшифровывая его иносказания.

Тема Вязина была исчерпана. Я чувствовал, Зарандиа на взводе. Ему не терпелось сказать что-то еще, относящееся к Дате Туташхиа. Так подсказывало мне мое чутье, и подсказывало правильно. Мне предстояло нащупать тропу, которая привела бы нас к желанному разговору.

– Как ты думаешь, Мушни, твое нынешнее положение – это предел или для тебя возможно новое возвышение? – Я поймал себя на том, что все долгие годы нашей совместной службы я обращался к нему то на «вы», то на «ты», ни разу не отдавая себе отчета, чем это всякий раз вызывалось.

– В нашем отечестве, – сказал он, помолчав, – для человека, происхождением своим обязанного моему сословию и моей национальности, должность, мною занимаемая, наивысшая. И все же – я и сейчас убежден в этом – трудолюбие и преданность могли бы одолеть все препятствия… По правде говоря, я к этому и готовился…

Мой гость замолчал.

– Раздумал?

– Не так давно, граф, случай привел меня к могилам великого рода Шуваловых. Заросшие травой, заброшенные могилы являли картину совершенного запустения. Какая тоска и безысходность!.. Вот хотя бы… Степан Иванович Шешковский. В трехсотлетней истории дома Романовых вы не можете назвать другого человека, хотя бы приблизившегося к нему по талантам и по знаниям в нашем деле. Но он был презираем при жизни, и после смерти его лишь поносили, да и по сей день честят на чем свет стоит. Сегодня даже могилы его не найти, он позабыт всеми, а если кто и вспомнит его, то как образец коварства и вероломства, как исчадие сатаны. Мне никогда не сослужить престолу той службы, какую сослужил Шешковский… После нас, граф, не останется ничего, что могло бы стать примером грядущим поколениям.

– После нас останется безупречная служба и идея государства как высшего блага. Что до имени и славы, это удел героев!

– Но не тех, кто обеспечивает этому имени бессмертие? Не так ли? – перебил меня Зарандиа.

– Что вы хотите сказать?

– А то, что даже от Христа ничего б не осталось, не продай его Иуда за тридцать сребреников. Мученическая смерть Христа послужила его бессмертию и его славе. Этот финал был предусмотрен Иудой заранее, как необходимый, ради него он совершил то, что совершил, заранее и точно рассчитав все последствия. В это я теперь верю твердо.

– Видно, у Шешковского не было этой твердой веры. А то бы он сначала продал Пугачева и Радищева за тридцать сребреников, а уж потом взялся бы расследовать их дела. – Не уверен, что мне удалось скрыть перед Зарандиа свое негодование.

Он спокойно взглянул на меня и так круто повернул наш разговор, как повернул бы лишь тот, чья убежденность выношена и сомнения просто скучны.

На другой день, проводив Зарандиа, я тотчас послал за Сандро Каридзе в Шиомгвими и попросил его прийти немедля. Он не заставил себя ждать, и мы принялись обдумывать, что нам сделать, чтобы предупредить Дату Туташхиа о близящейся опасности и чтобы распутать и провалить замыслы Зарандиа. Лишь говоря с Каридзе, я понял, что Мушни Зарандиа вполне осознанно, с одной ему известной целью сказал мне то, что сказал. Что же оставалось мне думать, если о моем племяннике и его скитаниях он сообщил с помощью палисандра, Енисея,

неведомого единственного жителя на сто верст кругом, а о намерении превратить зло, творимое Датой Туташхиа, в добро, сказал без обиняков? Что это было? Мне бросили перчатку? Со мной хотели скрестить шпаги? Допустим, из числа достойных противников я был единственным, кого он не смог превзойти и победить или просто не желал этого, а теперь его стал точить червь тщеславия и захотелось заштриховать это белое пятно на карте его бесчисленных побед? Что ж, допустим эту версию, но откуда тогда было ему знать, что мне взбредет на ум спасти Дату Туташхиа и я приму его вызов?..

Мы долго говорили, думали, кидали и так и сяк и наконец решили, что Сандро Каридзе отправится в Западную Грузию, чтобы отыскать там Дату Туташхиа, повидаться с ним и предупредить об опасности. Но имя Мушни Зарандна не должно быть названо, все должно исходить от меня. А мне предстояло отправиться в Тифлис и попробовать проникнуть в его замыслы. Это был первый важный шаг, который я предпринял, ведомый сердцем и находясь в здравом уме и твердой памяти, против того, чем я был на протяжении всей своей жизни.

Васо Годердзишвили

Какое там – показалось! Не такой он был человек, Дзоба, чтобы сказать и не сделать. Не один раз он мне говорил и не два: где встречу, там и убью! Встретит кого грамотного, тут же пойдет вспоминать, как осиротел. Начнет, бывало, с того, как разбойники его семью извели. Не случись этой истории, скажет, отец послал бы меня в Кутаиси учиться в гимназии и был бы я теперь художником. Очень он любил рисовать. И получалось у него куда лучше, чем у меня. Был бы я теперь художник, скажет, помолчит, глаза, вижу, кровью у него наливаются, и процедит зло-презло:

– Он из лесу не вылазит, где мне его найти!.. – и заскрипит зубами.

– О ком это ты? – спрошу, хотя знаю, о ком.

– Сто раз тебе говорил… Абрага этого… Дату Туташхиа.

При той истории, что случилась в духане Дзобиного отца, Туташхиа как раз и был, но ни сном, ни духом не вмешался, ничего, мол, не знаю, ничего не ведаю, умыл руки. Послушать Дзобу, так выходило, скажи Дата разбойникам пару слов, они бы и унялись и ничего б не случилось из того, что было. Конечно, в те времена о Туташхиа добрая слава шла, но вышло б так, как думал Дзоба, – сказать не могу. Получалось, что в смерти отца и сестры Дзоба винил больше Туташхиа, чем разбойников. Это б еще ладно, но что не стал художником, это он тоже за Туташхиа числил. О том и тужил больше всего. Спал и видел: встречу – и уж поквитаемся! Вроде бы умный был человек, а дойдет до этого, как помешанный делается, – не вышел из меня художник, и все тут.

Ты говоришь, раз Дзоба завязал, не стал бы он в мокрое дело лезть. А вон Кола Катамадзе завязал, ни с кем из прежних дружков не знался, и думаешь, он что, в пономари пошел или шарманку крутил? За разные он дела брался – или забыл? Да что с тобой говорить? Что ты вообще помнишь, чтобы об этом не забыть? Только и справляйся: помнишь – не помнишь?.. Да еще скажу тебе, упрямей и настырней Дзобы я в жизни людей не встречал… В Баку отпечатали мы екатеринки, нас и взяли. Дзоба с первого дня как заладил, так до самого конца и стоял: я только краску доставал и напечатал – это да, но больше за мной вины нет, отпускайте меня. А какая вина еще может быть? Краска да печать – что еще для фальшивой ассигнации надо?.. Хорошо, манифест подоспел, а так бы…

А потом, ты что думаешь, у него бы рука дрогнула? Да Дзобе в те времена что человека убить, что ягненка прирезать – все одно, жалости в нем и на грош не было… Везли вместе с нами одного, из Гянджи. Чем-то этот гянджинец меня задел. Меня – не Дзобу. Сейчас и не вспомню даже, что там было. Подходим к Астрахани – везли нас морем, – стали у пристани, спускают сходни – здоровенная доска, в пядь шириной, спускаемся мы по ней, Дзоба поглядел вокруг – и гянджинцу пинком под зад, тот в воду – а везли нас в кандалах, – он и не выплыл. Потонул. А конвой подумал, либо он сорвался случайно, либо нарочно утопился. Дзобе убийство с рук сошло, он вообще удачливый был. Ну, вот погляди, разве это не удача? На каторге долбили мы раз скалу, а у нас был слесарь – тоже из каторжан. Дзобу этому слесарю дали в помощники. Дня через три у слесаря поломка в станке вышла, что-то надо было там

отвинтить, привинтить, а инструмента нет. Пошел слесарь за инструментом, а Дзоба взял клещи и пробует гайку с места скрутить. Слесарь вернулся, видит, Дзоба возится с гайкой – и орать, не знаю уж, чего он так раскипятился: вырвал у Дзобы клещи, не с твоим умом, орет, за клещи хвататься, ладно, если с молотком управишься. А Дзоба на руку скор, взял да этим здоровенным молотком и хватил его по черепу – поглядим, мол, управлюсь или не управлюсь. Слесарь как стоял, так и помер, после уж упал. А тут как раз запалили фитили и кричат всем прятаться. Мы – кто куда. Взорвался динамит. А как все стихло и мы опять собрались, глядим: слесаря землей и камнями завалило. И это сошло Дзобе, и сколько еще – не сосчитать. Удача за ним по пятам шла. А раз ему с рук сходило, он и мокрых дел не гнушался. Спросили у дитяти: чего ревешь? Сходит мне с рук – вот и реву. А ты говоришь, кто завязал, на мокрое дело не пойдет.

Ну, это еще не все. В каком это было году, не вспомню… А вот в том самом, когда кузнец Сакул на Песках два духана поставил. Оба в одном ряду… Опять не помнишь?

Я сейчас тебе расскажу – ты и вспомнишь. Духаны стояли друг от дружки шагах в ста. А развесить вывески Сакул велел не на стене над входом, как у всех, а поставил их поперек дороги. Идешь с одной стороны, читаешь: «Кузнец Сакул здэээс???» Идешь обратно: «Здэс!!» Пошел, скажем, от Мухранского моста – читаешь возле первого духана: «Кузнец Сакул здэээс???» Два шага сделал, и возле второго духана: «Здэээс!!!» А будешь от Метехи идти – то же самое получится. Не вспомнил? Ну, да бог с тобой!

Так вот, в том духане, что ближе к Метехи, служила у кузнеца молодая одна вдовенка, повару помогала. Звали ее Маро. И хороша ж была баба, и в теле, и чистюля, куда там… У нас с ней любовь была, и по вечерам, если деваться было некуда, я в этом духане все время просиживал. А Дзобе где было быть, как не со мной. Мы же по корешам были. И ремесло у нас было одно: оба в малярах ходили. А не было работы, в каменщики шли. Раз, весной дело было, сидим с Дзобой в духане. Вечер. То ли в девятьсот седьмом, то ли в восьмом это было, не скажу. Выпиваем, закусь отменная. Живи – не хочу. Музыканты на дудуки играют. Цолак поет. Ну и пел он… Откуда только не приходили его слушать… Народу, в общем, набралось – хватает, один стол и оставался свободный, рядом с нами. Входит человек… Рост… повыше среднего. Одет прилично. Постоял, огляделся – все не спеша, степенно, подошел и сел за этот свободный стол. Я его еще раньше приметил: прежде чем войти, он прошел мимо духана раз и другой. Я его и запомнил. Взглянул на Дзобу и вижу: глядит он на этого человека так, что у меня поджилки затряслись – быть здесь большим делам. И этот человек оглянулся, засек Дзобу. Вижу, будто бы смутился, но так, что по виду его и не скажешь, а если и можно было что заметить, так он это быстро с себя смахнул. Только это и было – так ничем он больше себя не выдал. Поглядел он по сторонам и поманил рукой слугу.

– Чего ты на него уставился, – спрашиваю Дзобу, – чоха тебе его приглянулась или шапка?

А Дзоба вертит в руках вилку, бормочет что-то себе под нос, что – не разберу.

– Что ты там шепчешь? – спрашиваю, а сам уже чувствую: что-то здесь не то.

Дзоба еще раз поглядел на этого человека и сказал:

– Это он.

– Кто он?

И Дзоба зашептал:

– Он. Дата Туташхиа!.. Не совсем что-то я его признаю… но нет, не будь я Дзоба, это он!!

Раз привиделось мне во сие, будто опрокинули на меня кипящий самовар. Кипяток по шее бежит, за ворот стекает, я мечусь, как ошпаренный щенок, а двинуться не могу… сон! Так и сейчас. А отчего? Да оттого, что когда от темных дел уже столько лет отошел и кусок хлеба ремеслом добываешь, тянешь свою веревочку, а тут тебе тюремная вонь опять в нос шибанула, – понятно, хорошего мало. Отступиться от Дзобы я не мог, столько лет мы с ним друзья-приятели – это на помойку не выкинешь, никуда теперь не денешься, быть мне с ним вместе. Если это и вправду Дата Туташхиа, Дзобу теперь не оторвешь: либо себя погубит, либо этого Дату… В ушах у меня кандалы позвякивают, а сам думаю, как быть, что делать, как эту напасть от себя и от Дзобы отвести.

– А сам все говорил, что и вареного, и жареного его узнаешь.

– И говорил, и думал… А времени вон сколько прошло! Видно, забывать стал. Что я тогда, совсем мальчишкой был… Господи, он это или нет?! Он… Верно, он!

– По тому, что ты о нем говорил, совсем это не он. Ты погляди на него получше. Он же на приказчика от Альшванга похож! – Я говорил это, но был он такой же приказчик от Альшванга, как я – мальчик на побегушках у Мирзоева.

– Дата Туташхиа – это маузер и конь… Что ему делать в этой городской ригаловке?! Ты только посмотри, как держится, будто из города и не выезжал никогда. Нет, не он. Не он, не он. Погоди… ты его здесь или еще где когда-нибудь встречал?

Я чуть не ляпнул, что не то что видел, а он здесь уж сколько времени трется, как приблудная дворняга.

– Нет, не встречал.

Дзоба поднялся и пошел к духанщику.

– Говорит, видит в духане впервые, – сказал Дзоба, вернувшись.

Нет, надо было видеть Дзобу. Его трясло как в лихорадке. Я не охотник до собак, но однажды я видел ищейку, взявшую след, – Дзоба был сейчас на нее похож. Ему не сиделось, он ерзал и вертелся, замолкал и начинал опять захлебываться словами: «Уйдет – и не видать мне его больше…» «А вдруг не он…» Опять помолчит, опять говорит. А у меня своя забота – как ему помешать? Как уговорить? Как глаза отвести? Скажи я что невпопад, он замкнется, уйдет и что натворит без меня, я только на суде узнаю. В такой я попал переплет, хуже не придумаешь.

Под черепушкой у меня будто мельница крутилась – одно набежит, другое. А тут вдруг осенило – дай, думаю, скажу: ты что? Сидишь, разрываешься, он – не он? Поди и спроси его самого. Что-нибудь да ответит. А по тому, что скажет, нам все другое ясно станет. А сам про себя думаю: если он и вправду Дата Туташхиа, значит, он скрывается. Умрет, а не назовется, – это одно. Другое: Дзоба говорил, что Туташхиа очень хитер, да и без Дзобы видно было, что это за фрукт. Такое наплетет – что захочет, то и докажет Дзобе. Чуть было я дурака не свалял, чуть не брякнул: иди и спроси…

Когда ты взбаламучен – сто раз маху дашь. Сам посуди: с чего это Дзоба вообразил, что перед ним – Туташхиа. По обличью, так. А заговори он с ним, он бы и по голосу его опознать мог…

Пока я сам вокруг себя крутился, входят в духан фреи. Трое. Хорошо, что белый свет не им достался. Хана бы ему тогда! Это такой народец… Все, что отцы и деды тысячу лет строили, им ничего не стоило в три дня порушить и сожрать. Яблоко от яблони недалеко падает. Всякие торгаши, маклеры, лавочники разжились, разбогатели, аршины и безмены свои повыкидывали, вылезли в благородные. Наняли своим пащенкам гувернанток и бонн. Тут тебе и ученье, тут тебе и пианино! А человеком кто научит быть – бонны или отец с матерью? Чтобы человеком быть, этому отдельно нужно учиться, это им и в голову не придет. Да к тому же у этих отцов-матерей у самих за душой ничего нет – чему они своих детей научат? Лет в пятнадцать они уже на улице, со всяким сбродом якшаются, и какая у них от роду порода, то наружу сейчас и выйдет, и дела их подбирались по ним самим. Знаешь, как сапожник с верстака гвозди магнитом подбирает? Так вот и здесь. Они что, хорошему учились? Где какая дрянь попадется, той дряни и набирались. А все потому, что были они дурных кровей. А возьми честного человека, скажем ремесленника, который своим трудом кусок хлеба добывает, его дети хорошее увидят и берут, а от худого бегут, – и все потому, что у них кровь такая… А для фреев ни закона, ни совести не было. И управы на них не найдешь, увидят слабого – обидят, затопчут, пощады от них не жди. А встретится кто посильней и они по своей глупости с законом спутаются – папаши их тут как тут! И денег, и знакомства им не занимать. Смотришь, идет, спеси хоть отбавляй, весь раздулся как индюк, а встретится калека или старик, будь ему хоть сто лет, он и на вершок не посторонится, чтобы дать человеку пройти. Э-э-э! Слава тебе господи, никому грехов не прощаешь!

Ну да ладно, как есть, так есть, ничего не попишешь. Входят, стало быть, три фрея. Стоят, пыжатся как индюки, свободный стол высматривают, а его нет. А молодцы какие – любо-дорого поглядеть, с каждого одной одежды червонцев на восемьдесят содрать можно. Да и по карманам поискать – жирно наберется. Зачем сюда пожаловали? Видно, нализались где-то, а теперь им Цолака послушать блажь пришла, а сесть и негде. Тут и входит Ташикола,

протягивает им руку за милостыней. Один фрей вытащил что-то из кармана, сунул ему в руку и сжал крепко в кулак, не дает пальцы разжать. Ташикола кричит не своим голосом, а фреи со смеху лопаются. Весь духан глядит на эту забаву: одни тоже смеются, другие понять не могут, в чем дело. Наконец Ташикола вырвал руку, помахал ею, будто ошпаренный, и на пол шлепнулся крохотный лягушонок. Дзоба сидит, злостью наливается, ткни ножом – капли крови не выступит. Таких дел он не любил… И этот, за соседним столом, тоже глядит, смеяться не смеется, но и не видно, чтобы был недоволен. Бедняга Ташикола рот разинул, глазами хлопает. А что ему еще делать? …Вот такие они и были, эти фреи. Увидят горемыку беззащитного, тут им и радость, и развлечение, мать их так распротак… Другой фрей швырнул Ташиколе грош, третий вынул папиросу, сунул ему в рот и даже прикурить дал. Ташикола сам не свой от радости – папиросы тогда только богачи курили, стоили дорого. Он им – спасибо, а сам в сторону, пошел ходить по столам. Добрался он и до стола, за которым сидел человек, что Дзобе покоя не давал. Тот пододвинул Ташаколе стул, предложил поесть, вина налил. Ташикола положил папиросу на краешек стола и давай уминать за обе щеки. Смотрю, фреи искоса поглядывают и на Ташиколу, и за этого человека, будто чего-то ждут. А он тоже, чувствую, весь собрался, то на фреев взглянет, то на стол посмотрит и вроде бы принюхивается, вроде бы и горит что-то, а откуда тянет – не попять.

Один из фреев, что был постарше, подозвал Шалико – он за столами прислуживал, – шепнул ему что-то на ухо, показан глазами на соседний стол, и сунул трешку. Шалико взял деньги, кивнул и прямиком в нашу сторону. Пока он подходил, наш сосед поднес папиросу Ташиколы к носу, понюхал и покосился на фреев – ой как недобро!

Шалико подошел и говорит:

– Сударь! Пришли новые гости, а сесть им некуда, они предлагают вам три рубля, если вы уступите им свой стол. На меня не обижайтесь – я слуга.

Пока Шалико говорил, наш сосед опять понюхал дымящуюся папиросу Ташиколы и загасил ее. Был он очень спокоен. А загасил знаешь как? Сперва пальцами сбросил огонь, потом нашел на столе каплю вина, осторожно коснулся ее огарком, уверился, что загасил, положил огарок в карман и лишь тут заметил Шалико.

– Был бы я один – дело другое. А нас двое, и надо спросить моего гостя. Ступай, братец, и приходи попозже.

Шалико улыбнулся в усы.

– Да что вы, сударь! О чем его спрашивать? Это же Ташикола, здешний побирушка. Он за пятак до Мухранского моста под кинтоури вприпляс дойдет!

А фреи ждали, насупились.

– Ладно, ладно, дорогой, как вернешься, я тебе отвечу, – и Дзобин человек отвернулся от Шалико, больше его не слушая.

– Здесь дракой пахнет, – сказал Дзоба, – и этот человек может ускользнуть от меня, а то, будь их папаша хоть сам Тамамшев, он бы у меня поглядел, как я с его сынишек шкуру спускаю. – Дзоба сплюнул сквозь зубы.

Ташикола поел, потер руки, очень довольный, и собрался уходить. Наш сосед протянул ему табаку. Бедняга увидел, что никто его не торопит, свернул самокрутку, уселся поудобнее, забросил ногу на ногу и задымил.

По правде говоря, мне нравилось, как ведет себя Дзобин обидчик. Я сидел и смотрел, что он еще сделает, как повернет… Тут входит Захар Карпович. Ты Захара Карповича помнишь?.. Асламазова. Не помнишь… Ну, Косого Карапета сын. Он тебе и печать любую сварганит, и гербовый лист, и все, что захочешь. Вспомнил?.. Захар Карпович – как же, держи. Его и за человека не считали. А прозвали так потому, что издали посмотреть на него – министр, да и только: шляпа, галстук, трость с набалдашником, туфли с гамашами… А ближе подойдешь – все обтрепанное, поношенное, старьевщик его барахло даром бы не взял. Сам себя в обман вводил – не иначе. Ну так вот, вошел он, обвел глазами духан, стал у края стойки. Дверь в кухню была отворена, и он пальцем поманил оттуда кого-то. Вышла Маро, подружка моя. Захар Карпович шепнул ей на ухо и вон из духана. Я этому делу значения не придал – они были соседями, моя Маро и Захар Карпович, но Дзобин человек так на них посмотрел, ой-ой-ой, надо было только видеть. А Дзобу от вина не оторвешь, глаза кровью налились.

– Ты чего, Дзоба-браток, набычился словно буйвол… или случилось что? – Я нарочно, шучу вроде, чтобы рассеять его, а заодно поглядеть, что у него на уме. – Совсем заскучал.

– Случилось что, спрашиваешь? Ты погляди, у него в правом кармане револьвер. А мне с чем идти прикажешь? С голыми руками?

Меня холодный пот прошиб. Тут я понял, Дзоба от своих слов не отступится, будь это не то что Дата Туташхиа, но сам архангел Гавриил. Когда ты с человеком всю жизнь кантуешься и прошел с ним огонь, воду и медные трубы, ты, как дьякон молитву, по одному только словечку его всего наизусть прочитаешь. Вот возьми… За сынка Арутюнова Георгий Матиашвили и его ребята тридцать тысяч взяли, а после дело так повернулось, что они все на каторгу загремели. Дзоба тогда сразу сказал: это рука водоноса Чихо, он ребят заложил. Я ему: ну, с чего ты взял? Откуда только в башку втемяшилось, что он, а не другой их продал, тебе-то что, зачем тебе руки марать? Куда там, он и слушать не стал. Мне до его дел рукой не достать, а он два года на это ухлопал, и раз как-то говорит мне: я точно узнал, этих ребят он засадил. Сказать тебе не могу, как я его умолял, в ногах только не валялся. А он все свое: такой шкуре не жить! Ну и нашли водоноса Чихо с размозженной головой. А с Дзобы как с гуся вода, опять все шито-крыто. Я же говорю, везуч он был необыкновенно. Так этот водонос Чихо на других беду навел… А здесь сидит рядом человек, которого Дзоба всю жизнь искал и всю жизнь в мыслях держал, что он семью его загубил, так он что же, теперь его живого выпустит? И не выпустил бы, но судьба такая шельма, сегодня она тебе улыбается, а завтра…

– Ну, и злопамятный же ты, Дзоба! – А что я мог еще сказать? Он бы от своего все равно не отступился. Чему быть, того не миновать. Лишь бы дело чисто обошлось, – только об этом я сейчас и мечтал.

Из кухни вышла Маро и подходит к Дзобиному обидчику:

– Тот, кого вы ждали, велел вам передать, что он дома, пусть, сказал, приходит!

Он кивнул и попросил Маро прислать Шалико.

– Давай те три рубля, и мы освободим место, – сказал он Шалико.

Шалико протянул деньги.

– Положи! – сказал Дзобин малый и пальцем ткнул в стол.

Шалико положил деньги.

– Сколько с нас?

Шалико посчитал и сказал.

Наш сосед рассчитался и говорит Ташиколе:

– Эти деньги возьми себе. Они твои… Забирай и уходи поскорей, а то они живо отберут их у тебя. Такой народ эти люди.

Ташикола схватил деньги и бежать.

Фреи направились к ним, и не успел Дзобин обидчик подняться, как они нависли над ним.

– Эй ты, нечисть с мутного болота, наши денежки – что, в бедро бы тебя укусили? – сказал старший фрей.

– Они были уже не ваши, а мои, – ответил он и обдал их ледяным взглядом. – Я отдал их кому мне захотелось.

И всё – повернулся и к дверям. Он уже вышел из духана, когда один из фреев крепко выматерился и – за ним, второй тоже потянулся было, но старший фрей нажал ему на плечо и посадил на место:

– Обойдемся без шума. Выдаст ему и вернется.

Дзоба мигнул мне, и мы поднялись. Только вышли, слышим, фрей кричит: «Постой!» Наш сосед остановился и обернулся:

– Что вам угодно, сударь?

Фрей хрясь ему по лицу и говорит:

– Вот и всё. Ничего больше.

А фрей был малый здоровенный и дал что надо.

– Хорошо, раз больше ничего, – сказал Дзобин человек, повернулся и пошел прочь.

– Вах! – в один голос сказали фрей и Дзоба.

Дзобин обидчик прошел шагов двадцать, когда фрей снова бросился за ним и снова окликнул. Тот поубавил шагу и, когда фрей приблизился к нему вплотную, обернулся и к

фрееву брюху – револьвер. Из фреевой глотки вырвался какой-то писк, и он поднял руки.

– Опусти! Никто не велел тебе поднимать!

Фрей опустил руки.

– Что тебе от меня нужно, браток? – говорил он очень дружелюбно. – Не все можно купить за деньги под этим небом. Я хотел, чтобы ты это понял, поэтому и отдал твои деньги нищему. Вы меня сперва обругали, теперь ты меня догнал и ударил. Я тебе ничего не сказал. Мне сейчас не до тебя, а потом – протрезвится, думаю, поймет, что дурно поступил, – и простил тебя. А ты не отстаешь. Если человек тебя простил, не думай, что он слаб и по слабости уступил тебе. Сейчас ты в моих руках со всеми твоими потрохами, что захочу, то с тобой и сделаю, захочу – обругаю, захочу – побью, захочу – убью; а захочу – заставлю вот эту штучку до конца докурить. Порох взорвется и то веселье, которое ты и твои приятели для себя запасали, оно мне и вот этим людям достанется. – Он вынул из кармана окурок Ташиколы. – Открой-ка рот! Вот так, закури!

Фрей так засуетился, будто огонь надо было поднести наместнику.

– Как захочу, так и будет. Моя на все воля. А почему, знаешь? Потому, браток, что сила в моих руках… Выплюнь эту пакость изо рта, я тебе говорю. Вот так… А что я теперь сделаю, как ты думаешь? Еще раз тебя прощу. Ступай и постарайся не делать больше ничего похожего, а если кто тебя обидит, помни: лучше простить, чем взыскать.

Дзобин человек ждал, когда уйдет фрей, а фрей стоял и не мог в себя прийти.

– Уходи, кому сказано! – сказал он и отправился своей дорогой, а фрей зашагал к духану уронив голову.

С грохотом пронеслась пароконная подвода.

– Видал? – сказал я. – Дурной это человек?

Дзоба будто от сна очнулся, потер лицо руками, скрипнул зубами.

– Он к Захару Карповичу пошел. Давай за ним. Пусть он к нему войдет, а ты жди меня во дворе. Я сбегаю домой за наганом. Если не успею, пойдешь за ним, узнай, где остановился. Только смотри не потеряй его. Иди!

Дзоба побежал к Метехи, а Захар Карпович жил в Чугурети. Знаешь, в чьем доме? У Гео Асламазова… Опять забыл? Помнишь, по городу шатался такой седой, рожа красная и всегда мешок за спиной? Увидит кирпич на дороге, подберет и – в мешок, домой тащит. Красивый был мужик, видный из себя, но с придурью. Все, бывало, напевал:

Гео Асламазов,
Красавец ясноликий.

Вот мы все говорим – с придурью, а он собирал вот так, по кирпичику да и выстроил в Чугурети дом на две большие комнаты. Захар Карпович доводился Гео Асламазову племянником. Как дядя умер, дом ему достался. В одной комнате он сам жил, другую сдавал. Ее и снимала моя вдовушка Маро. Маро я навещал через день, а уж через два на третий – непременно. И дом, и дорогу к нему знал, слава тебе господи! Так что шел за человеком Дзобы спокойненько. А он шел не торопясь, не прямиком, и ухо держал востро. Видно было, боялся, не увязался ли кто за ним, но и дорогу опасался спутать. Я издали следил за ним. Как там ни кидай, а прийти он должен был все равно туда… Иду себе, не волнуюсь, и вдруг – нету его, пропал! Я оглянулся по сторонам, сунулся туда, сюда, подумал было, может, он шагу прибавил и оторвался от меня. Пошел и я побыстрей, почти бегу, а его не видать. Так я и дотопал, а вернее, добежал до дома Захара Карповича. Стоял рот разиня, а Дзобиного обидчика и след простыл. Ну, что тут скажешь!

Я постоял, постоял, повернул вдруг голову, и по глазам мне будто полоснуло: Дзобин человек. Мелькнул, сверкнул, будто искра, и погас, исчез. Я чуть лоб себе не разбил, понял – провел он меня. Понял он, что я иду за ним, и спрятался, меня вперед пропустил, а сам за мной. Не я за ним, а он за мной.

Тут надо было мозгами пораскинуть, как дальше быть, сам понимать должен, в какой я переплет попал. Он увидел, как я к дому Захара Карповича подошел, тоже остановился и стоит, видно, тоже в толк не возьмет, как дальше быть. Он меня еще тогда, с фреями, заметил, в

духане Сакула. Он, ясно, понял, что у нас с Дзобой к нему какой-то интерес есть, чего-то мы ждем. А тут – нá тебе, я возле дома Захара Карповича, как в землю врос, и ни туда ни сюда. При таком обороте он к Захару Карповичу ни за что не пойдет. Шапку его туда закинь, он бы и за ней не пошел. Это я так, в сторону. Мы оба понимали, что следим друг за другом. Пойти следом? Так это еще вопрос, кто за кем пойдет. Догнать его? Так он при оружии, а у меня руки пустые. Да и было б оружие, догнал бы я его, что мне говорить, о чем спрашивать?.. А все равно с сердца у меня будто тяжесть сняли, легко-прелегко: раз он нас засек, значит оторвется от нас, уйдет, и мы от беды уйдем.

Думал я, думал, и ничего другого не пришло мне в голову, как бросить это гнилое дело, пойти к Захару Карповичу и, пока Дзоба явится, добром или силой разузнать, что за человек этот Дзобин обидчик.

Я и потом об этом много думал, все прикидывал, правильно – я тогда сделал или нет, и получалось у меня, что правильно. Что другое придумать у меня, может, ума и не хватит, но в этом деле я все верно сообразил.

Больше не оглядывался, двинулся к Захару Карповичу. Из одного окна узкой полоской падал свет – ставня была неплотно прикрыта. Я постучал – свет погас: спрятался наш Захар Карпович! Не услышал стука, о каком с тем человеком условился, и спрятался!

Я еще раз постучал.

Так он тебе и откроет – жди!

– Карпыч, открой! Я же знаю, ты дома. Не бойся. Это я – Васо. Васо, слышишь? – тихо позвал я.

– Кто там? – Это он решился все-таки отозваться.

– Да открой, это я – Васо!

– Ты ошибся дверью, Васо. Маро – рядом. Ее и дома еще нет. Из духана не возвращалась.

– Послушай, говорят тебе, открой, дело у меня к тебе!

Карпыч не открывал.

– Васо-джан! Пожал-ста, приди в другой раз! Теперь я не один… женщина у меня, понимаешь?

– Карпыч! – Я разозлился дальше некуда. – Да открой, тебе говорят. Дело у меня к тебе, спрошу и уйду. А не откроешь, я дверь сломаю, с этой твоей милки начну и тобой, Карпычем, кончу!

А он, сукин сын, стоит на своем и ни с места.

Тогда я ногой как дам: рядом окно – стекло вдребезги.

– Ат-криваю! Не бей! Ат-криваю!

Он еще и вопить не кончил, а дверь уже распахнулась.

– Прашу, судар!

Пока я входил, Карпыч зажег лампу, поправил фитиль и такую напустил на себя радость, будто из горящего дома родной сын живехоньким выскочил.

– Вах! Васо-джан! Да это и правда ты! Кого я вижу!! Да ведь вы с Дзобой только что в духане были! Садись, чего ты? За меблировку – пардон.

– А говорил, что у тебя дама! Где же она?

– Эх, Васо-джан! Да зачем бы я классическую гимназию кончал! Разве такой воспитанный человек иначе скажет? Он гостю никогда не скажет: мне сейчас не до тебя, давай в другой раз… Это все пустяки, совсем пустяки… Ты мне вот что скажи – зачем в полночь пожаловал? Какая во мне у тебя нужда?

Я пошарил глазами по углам и поглядел Карпычу прямо в лицо.

– Говори, как зовут того человека!

– Какого человека, Васо-джан?

– К которому ты Маро посылал, и он должен сюда прийти.

– Вай! Что значит – должен? Он что, не придет?

– Не придет.

Карпыч побледнел, закрыл рот рукой и замолчал.

– Ну, живо!

– Погубить хочешь меня, Васо-джан, да?.. Он правда не придет, или ты шутки шутишь? –

О чем там было спрашивать, он пошел выкручиваться и языком замолотил – уши вянут.

Такой другой продувной бестии, как этот Захар Карпыч, в Тифлисе было не найти. Он и выкрутиться хотел, и что Дзобин человек может ускользнуть, ему тоже было жалко. Так или этак, а мне надо было узнать, что за птица Дзобин человек, и с делом этим покончить. Вижу, в углу трость Захара Карпыча с серебряным набалдашником. Схватил я ее:

– Скажешь или нет?

– Вах! Да не знаю я, а и знал бы – не сказал. Сэкрэт!

– А ну, стаскивай с себя… – И занес над Карпычем палку.

Он нахохлился, как январский воробей, сжался весь и такой сделался несчастный, что, по правде говоря, мне его жалко стало.

– Чего стаскивать?

– Все.

Карпыч тут же стал разоблачаться, но все бормотал:

– Полицию позову…

Я заметил, что при слове «полиция» он сам и вздрогнул.

– Подумаешь, полиция… Жди, что пол-Тифлиса из-за тебя на каторгу отправят, а другую половину на виселицу вздернут! Раздевайся живее!

Кричать больше ни к чему было. Жилет и рубашка уже висели у него на плече, а он держался за штаны, заглядывая мне в глаза: снимать или нет? Я поднял бровь – и Карпыч остался в чем мать родила.

– Что будешь делать, Васо-джан?

Я провел ладонью по столу и все, что там было, смахнул на пол.

– Ложись! Лицом вниз ложись!

– Вах, Васо-джан, зачем тебе розги? Здесь что – бурса или казарма? – Говоря это, он уже располагался на столе и руки сложил так, как под банщиком на Майдане.

Всыпал я ему так, что он ужом извивался.

– Инквизиция! Произвол! – вопил Карпыч, и слезы лились рекой.

Пять раз я поднимал палку, а потом сел на единственный стул и сказал:

– Кто он и зачем ты его звал?

– Почему ты мне не веришь? Не знаю я ни имени его, ни фамилии. Он ко мне от Буковского пришел из Кутаиси, достань, приказал, ему пустой паспорт, поставь печать, а я здесь впишу фамилию, какая нужна будет. Честью клянусь! Мое дело – книжка и печать. Ничего другого не знаю.

Случается в этих делах и такое – это мне было известно, но я понял, ускользнул от нас Дзобин обидчик, разозлился, вскочил и опять занес палку. Карпыч заранее свернулся, и тут – на тебе – приоткрывает дверь этот самый Дзобин малый.

Я опустил палку и весь похолодел. Еще бы не похолодеть! Этого я никак уж не ждал. А потом, если то, что ходило тогда о Туташхиа, было правдой хоть вполовину, здесь не то что похолодеешь, а в ледяной столб превратишься. Но и это ладно! Но как я, тертый-перетертый, дверь оставил открытой – это меня уж совсем допекло. Стою я как дурак, ушами хлопаю и думаю, зачем это его принесло? А больше всего я сам себе удивлялся – ну, чего я хочу, в конце-то концов? Если этот Дзобин обидчик уходил из наших рук, меня бросало в ярость – как я мог его прохлопать? А когда он у нас на глазах вертелся и я видел – не уйти ему от нас, так я молиться начинал: пропади да исчезни, сгинь с моих глаз! Я ведь страха не знаю. Столбняк на меня может найти – это другое дело. И тогда у Карпыча я тоже не испугался, а как бы остолбенел. А как отошел, так сразу соображать стал: не уберется он сейчас же – вот-вот Дзоба нагрянет, и тогда без крови не обойтись.

Подходит он к нам и то на меня взглянет, то на Карпыча, который полеживает себе, мордой в стол уперся.

– Пришел! – Карпыч на радостях как вскочит, думал, потолок прошибет головой. Ноги – в брюки и вмиг стал хоть на бал вези его. Даже гамаши натянул. Я в цирке раз одного видел: за пять минут сто одежек менял. Так у Карпыча ему учиться и учиться.

– Пришел, родной! – У Карпыча в углу стоял сундук, он и бросился его отодвигать.

– Кто ты и зачем тебе знать, кто я? – спросил Дзобин человек.

Всю эту «инквизицию» и «произвол» он от начала до конца слышал! Я оторопел было, но быстро пришел в себя и сам ему наперерез:

– Ты Дата Туташхиа?

Карпыч, как это услышал, бросил двигать свой сундук, влез на него и глаз не сводит со своего гостя.

– На каторге был?

Я кивнул.

– За что дали?

– Фальшивые деньги… – Этот человек взял меня в оборот и вертел меня, как ему хотелось. Я хотел ему сказать, что не его это дело, был я на каторге или нет, и пусть сам ответит, Туташхиа он или не Туташхиа, а вместо этого, сам видишь, какая петрушка получилась. Но все же поинтересовался, с чего это он про каторгу подумал.

– Кандалы таскал. По походке видно, – ответил он.

Значит, он не только шел за мной и смотрел, куда я сверну и куда приду, он еще понял, что я на каторге был. Теперь ему ничего не составляло расспросить меня, какие я дела обделывал и где, и, бог ведает, наверно, заставил бы меня все ему выложить. А после заставил бы еще проводить себя на поезд, внести хурджин в вагон, дал бы гривенник и отпустил…

– Я – Туташхиа. Дата Туташхиа. Тебе – зачем?

– Ты Дзобу Дзигуа помнишь?

– Помню. В духане он с тобой сидел?

– Он самый.

Туташхиа помолчал и взглянул на меня:

– Ну, дальше?

– А дальше то, что он вот-вот заявится. И знаешь, зачем? Тебя прикончить. Он человек такой, жалость ему незнакома. От своего он не отступит. Не знаю, кто из вас кого обойдет, но крови не миновать. Быть посему.

– В моем доме убийство?!! В мокрое дело хотите меня втянуть? – Карпыч забегал вокруг нас как оглашенный. – Полицию позову. Городовой!!!

– Успокойся!

– Брось фармазонить, сядь, мать твою…

Захар Карпыч опустился на сундук и притих.

– Дзоба Дзигуа хочет убить меня?.. Почему?

– Это уж вам с ним лучше знать.

– Ну и как же мне быть?

– Кончай свои дела и уходи, пока он не пришел.

– Я подумаю, – проговорил Туташхиа тихо.

Он достал из кармана три сотенные и протянул Карпычу:

– Вот то… зачем звал.

Карпыч не был бы Карпычем, если б из любого дела пользы себе не находил. Что, ты думаешь, он сказал Туташхиа?

– Тот человек велел тебе передать, что только книжка стоит четыреста, да печать – сто. Меньше пятисот не выходит! Честью своей клянусь, раз дело вот так поворачивается, мне и комиссионных не надо. Ничего не надо! Ни копейки…

Перекупщики, кто понаглее, как делают? Он тебе покажет товар, ты с ним договорился и пошел за деньгами. Приходишь, а он тебе преподносит – хозяин товара по этой цене не соглашается, а запрашивает вот сколько… Он ведь сам хозяин товара, но видит, у тебя надобность, интерес, значит, можно с тебя содрать побольше. Какой там человек, какие комиссионные и задатки… Карпыч понял, что людям минута дорога, не станут они из-за пары сотен тянуть, он и давай выжимать. Я разозлился, но у меня одна забота: лишь бы Туташхиа побыстрей удочки смотал, а там Карпыч пусть хоть тысячу с него сдерет.

Туташхиа вывернул все карманы, наскреб еще восемь червонцев.

– Бери, – говорит, а сам улыбается. – Нет у меня больше ничего, а так бы и разговаривать не стал, отдал бы.

– Не могу, голубчик. Что же мне, сто двадцать из своего кармана доплачивать? Как

хочешь, не могу…

А время идет… А этот здесь канючит… Я-то понимал, на что эта тля надеется. На то, что Васо спешит больше, чем Туташхиа, он и выложит свои денежки! Да если б они у меня и были, шиш под нос он получил бы от меня. И не то что не получил – убрался б Туташхиа, я б его денежки из Карпыча все выжал, а не все, так уж пополам поделил бы. Этот прохвост и похуже чего заслуживал.

– Хорошо, – сказал Туташхиа. – Пусть эти триста восемьдесят остаются у тебя, а я пойду и принесу еще сто двадцать. – Туташхиа бросил деньги на стол. – А Дзоба пусть меня подождет, – сказал он мне. – Я быстро вернусь. – И к двери.

Этого еще, думаю, не хватало, чтоб Туташхиа вернулся и с Дзобой встретился?! А он такой, обязательно, похоже, вернется, не врет… Я вскочил, схватил палку, и никто еще рта открыть не успел, как давай охаживать Карпыча. Он – к сундуку. Я ему по шее – он ползет. Я по заднице – он с замком возится. Открывает. Открыл, паспорт вытащил, он в бумагу завернут был, – а я не отступаю, палкой по загривку, по спине, по ногам. Только когда он на стол положил, я от него отстал. И ведь что интересно: как ни драл я его, он и не крутился, и не орал, будто и не чувствовал вовсе. А все оттого, что настоящего страха попробовал, смерти в глаза заглянул, пропала охота балаганить.

– Зачем ты так? Была б нужда, думаешь, я б не смог? – сказал Туташхиа.

– А затем, что бери свой паспорт и мотай отсюда!..

Говорю, а у самого голос пропал, вижу по его глазам – никуда он отсюда не уйдет. Будто шепнул мне кто: не уйдет такой человек ни от кого, ни от чего не сбежит.

Придвинул Туташхиа стул к столу, сел и давай разглядывать Карпычеву работу.

Кто на себе испытал, тот подтвердит: долгий страх сам собой испаряется. Как? А вот настает такой момент, когда замечаешь: за тобой смерть ходит или что другое в ногах путается, вокруг тебя петли делает, а ты о чем думаешь? А о том, к примеру, что мальчишкой был у тебя биток крепкий-прекрепкий, а купался ты в Куре, и он у тебя в воду упал. Или глядишь на свои ногти и удивляешься: были крапинки – и нету, куда делись?.. Смерть там или еще что, но тебе уже все едино, придет она или не придет, случится беда или обойдет стороной… Вот так и со мной тогда было.

Подошел и я поглядеть на паспорт. Туташхиа мне его протянул – погляди, мол, хороша ли работа? А работа была отменная. Карпыч работал чисто, способный мужик был, это у него не отнимешь.

Слышу, вроде скрипнуло, но мне уже плевать на все было. Зато Карпыч засуетился. То туда сунется, то сюда. Опять к сундуку, крышку поднимает.

– Это Дзоба идет, клянусь богом, – говорит Карпыч, а у самого голос дрожит и сам весь трясется. – Лучшего места не найти, я уж испытал.

Туташхиа заглянул в открытый сундук, понял, что его приглашают, и расхохотался. Он сунул паспорт в карман, вытащил портсигар.

А Захар Карпыч влез в сундук и захлопнул над собой крышку.

Туташхиа вынул папиросу.

Ну, думаю, к занятным я людям попал, и вышел на улицу. Иду к калитке, и тут навстречу – Дзоба.

– Где он? – От Дзобы разило водкой.

А ведь он, когда шел на дело, к спиртному не прикасался хоть убей его. Очень я удивился, что он в таком виде.

Я ему рассказал, как все было, ничего не утаив и не сочинив. Боялся я этого убийства или нет, но наша дружба не давала нам права врать. Дзоба слушал меня, и как сытая курица выклевывают из корма лучшие зернышки, так и он высматривал, выклевывал из того, что я говорил, самое ему интересное.

– Сам, значит, за тобой пошел?.. Знал, что ты у Карпыча, и все же вошел?.. Я – Дата Туташхиа, а тебе что?.. Ты ему: Дзоба идет тебя убивать, уходи, а он – не пойду… Сейчас вот вернусь, принесу сто двадцать? Ясно, пришел бы, это уж верняк!.. А Карпыч его в сундук хотел засунуть? Сидит и меня ждет? Не уходит… Этот не уйдет, не-е-ет!..

Я уже кончил говорить, а Дзоба все раздумывал и лицо рукой тер.

– Как человеку от своей заветной мечты отказаться? – только и сказал он.

А я вдруг вспомнил Буковского из Кутаиси и подумал, как верно он сделал, что не сказал Захару Карпычу имени Туташхиа и велел соорудить чистый паспорт. Захар Карпыч это такая пиявка, он деньги не только паспортами добывал… Лет шесть тому назад сделал Чиорадзе диплом инженера. Чиорадзе, по простоте душевной, дал заполнить диплом Захару Карпычу. С этим дипломом Чиорадзе нашел хорошее место, стал подрядчиком и разбогател на казенных деньгах. Тогда Захар Карпыч шепнул Нике из Собачьего поселка и харпухскому Араму – были такие мастера по шантажу, – что у Чиорадзе фальшивый диплом, подите к нему, выудите у него денежки. Что было делать человеку, когда он на фальшивом дипломе инженером стал и разбогател? Он теперь среди господ вертится, и ему либо шельмой прослыви и все потеряй, либо откупись от шантажистов. Три тысячи отдал как миленький. Карпычу, который это дело затеял, полагалась тысяча, такой у них уговор был. Но они дали ему двести рублей, а восемьсот прикарманили. Захару Карпычу и двести рублей подарок. Заткнулся. Да и не заткнулся бы – куда ему еще деваться? А эти ребята, как проложили раз дорожку к Чиорадзе, так по ней и ходить стали. Он им и платил, как жалованье, пока наконец не выпустил в Нику из Собачьего поселка парочку пуль и не уложил его. Чиорадзе это сошло, он тогда деньги лопатой греб. Он и сейчас жив. Маклерствует. Люди у него были, в обиду не дали. А харпухского Арама на каторгу упекли, больше его не видели…

Стою я, прикидываю, как все обернется, а в это время открывается дверь и выходит Дата Туташхиа. Луна посреди неба висит, светло как днем. Туташхиа остановился возле нас. Руки на груди скрестил. Дзоба уставился на него, глаз не сводит. Постояли они так, помолчали. Дзоба вытащил из кармана револьвер, выпустил две пули одну за другой, повернулся и вон со двора.

Ночь была тихая, и долго было слышно, как он бежал по склону. А Туташхиа все не двигался. Я подошел к нему поближе. Из-под мышки у него высовывался револьвер, рукояткой наружу.

– Обе в воздух, – сказал он.

…Прошло месяца три. Раз как-то стоим мы рядом на стремянках, потолок разрисовываем. Дзоба веселый, поет. Я его и спрашиваю там, между прочим, как это получилось, что ты его не уложил. А он:

– Такого человека убивать нельзя!

– Зачем же стрелял?

Он долго молчал. Не знаю, что там в его голове крутилось. Потом окунул кисть в краску, стряхнул и сказал:

– Не выстрелить тоже не мог!

Но охота петь у него пропала. До самого вечера слова не проронил.

Через неделю мы снова сидели в духане. Был такой Вано – сололакский, по кличке «Махорка». Он к нам подсел и попросил Дзобу одолжить ему револьвер на пару дней. Дзоба отказался, нет, говорит, у меня ничего из оружия. Махорка не поверил, но что поделаешь, поднялся и отошел. По правде говоря, я тогда подумал, что Дзоба просто отваживает Махорку. Оказывается, нет. Он прожил еще двадцать пять лет, мы как были, так и остались неразлучными, но я больше ни разу не видел у него оружия и не слыхал, чтобы кто-нибудь видел.

Никогда больше при нем оружия не было.

Граф Сегеди

В начале августа Дата Туташхиа поднялся вверх по Ингури, пришел в Сванетию и на три дня остановился в Мулахи у братьев Гуджеджиани. На рассвете четвертого дня он снова пустился в путь, переночевал на самом перевале и, спустившись в Балкарию, обошел верховья Баксана и прилегающие ущелья – искал побратима, абрага Биляля Занкши. Родственники Биляля дали Туташхиа в проводники младшего двоюродного брата Биляля, который, проведя Туташхиа через Чегемское ущелье, привел его к старшему брату. Абраги переговорили наедине, и Биляль вместе с младшим братом спустился вниз по Чегему, а через три дня привел Дате жеребца, которого еще весной выкрал из конюшни Мухамеда Гуте и надежно упрятал в

лискенских лесах.

Туташхиа был наслышан о статях и славе этого скакуна, но подобного увидеть не ожидал. Конь поразил его до дрожи в коленях. Он вскочил на необъезженного жеребца, и гонял, и мотал его, и себя выматывал, пока сам не выбился из сил и жеребца не образумил.

Биляль был в том счастливом возрасте, когда конь, наездник, оружие и пуля, из него выпущенная, кажутся единым творением бога. Когда он увидел прославленного седоглавого абрага, будто слившегося с благородным животным, от восторга и гордости у него слезы подкатились к горлу. А когда Туташхна соскочил с коня, Биляль сказал старшему побратиму, сиявшему от возбуждения:

– На этом жеребце во всем белом свете только ты и достоин сидеть, клянусь аллахом, Дата!

Они вошли в саклю, отведали хампалы под сметаной с черемшой и прилегли отдохнуть.

– Не подумай, что я слаб душой, – сказал Биляль, и в голосе его зазвучала почтительность. – В нашем побратимстве я – младший, и если чего-то не понимаю, могу спросить. Человек, которому ты ведешь этого жеребца, твой враг. Пока он не появился в ваших краях, сколько лет за тобой гонялись, а все без толку – ты ходил, как бог на душу положит. Но этот на каждом шагу тебе смерть припас, и он получит в подарок двадцатитысячного жеребца. Почему? За что?

Туташхиа не знал балкарского, но Биляль, грузин с материнской стороны, немного говорил по-грузински, и побратимы понимали друг друга. Законы рыцарства и побратимства диктуют сдержанность в расспросах, но уж если вопрос задан, положено найти путь к ответу. Туташхиа долго искал слова, чтобы проложить этот путь.

– Человек, о котором ты говоришь, не враг мне. В этой жизни каждый делает свое дело, Биляль. Таких, которые делают свое дело, а оно оказывается полезным для всех, на этом свете пока мало. Зато тех, что делают свое дело, а оно приносит всем зло, – такими людьми мир забит. Так что же, всех дурных людей считать своими врагами?

– Справедливые твои слова, клянусь аллахом.

– Быть благородным человеком и истинным абрагом это не значит вовсе, что за тобой гонятся, а ты уходишь. Напротив, благородный человек сам должен быть преследователем. О» преследует зло, творимое дурными людьми, и обращает это зло в добро. Если не так, то какой толк в наших бегах и побегах, в искусстве скрываться и исчезать?

– Твоими устами мудрость Магомета говорит, валахи-билахи!

– Время Магомета было другое время, Биляль-браток. Ни Магомету, ни Христу не нужно было говорить об этом. Это говорит наше время и наша жизнь. – Туташхиа подумал и заговорил снова: – Если ты положил себе из тьмы дурных дел хоть одно обратить в доброе, тогда дурных людей ты уже не можешь считать своими врагами, и я тебе скажу – почему. Дурных людей – почти весь свет. Если их всех мнить своими врагами, тогда по одну сторону останешься ты один-одинешенек, а по другую – они, все вместе. И они тебя одолеют. Это – одно. А теперь слушай другое. Начнешь ты биться с дурным человеком, но одолей ты таких дурных хоть десяток, наша жизнь, как несушка, плодится и плодится, – глядишь, вместо твоего десятка вон уже целые выводки всякой дряни разбрелись. И получится, что ты умножил зло, а не уменьшил. И еще я хочу тебе сказать: за какое бы дело ты ни брался, если не пойдешь к нему с любовью в душе, тебе его не одолеть. Раз ты решил, что этот человек твой враг, ты его возненавидел, а чтобы зло, им принесенное, обратить в добро, в этом деле ненависть тебе не товарищ и не советчик. Оттого ты и не должен в дурном человеке видеть врага. Пусть он считает тебя врагом и бьется с тобой, пусть он гонитель, а ты гонимый, – тогда люди возьмут твою сторону. Ни врагом, ни другом дурного человека не считай. Ты должен видеть порчу, идущую от него, зло, им творимое, – и все. Вот эту порчу и это зло ты и должен преследовать, чтобы превратить их в добро. Люди же увидят, что хорошее победило дурное, и станут подражать тебе, сами сделаются лучше, чем были, больше их станет, таких людей, и тогда дурным делам и мыслям все труднее будет находить себе поле.

– Святые слова, клянусь аллахом! – воскликнул Биляль и опять обратился в слух.

– Ты охотник и ходишь на туров, потому что знаешь их тропы. И тот, о ком ты говоришь, ходит по моим стопам, знает все тропы и на каждой ставит капкан. Всех, с кем я встречаюсь и к

кому хожу, – всех он портит. Одних покупает за деньги, на других давит страхом и вынуждает предать меня, а растленных просто обращает против меня. Словом, он творит зло. Я абраг, мой долг идти теми же путями и исправлять им порченное. Так мы и живем: он делает свое, я – свое. Так это и должно быть. А конь? Этот человек знает – уже три года, что я собираюсь одарить его. Я намеренно сказал это при людях, которые ему передадут. Он знает все: чья лошадь, кто ее увел и какой дорогой я приведу ее в Грузию. Видишь, еще об одной своей дорожке я ему сам сказал, пусть делает свое дело. Но опять у него ничего не выйдет. Пусть он сам не поймет, что ему меня не одолеть и почему не одолеть, – зато пород это поймет и увидит, что злу не одолеть добра. А о коне не тужи – не оставит он себе краденого коня. Будущей весной, когда откроются перевалы, Мухамед Гуте получит своего синего коня из рук полиции.

Биляль не проронил ни слова.

Переночевав, рано утром в сопровождении побратима и его двоюродного брата Туташхиа двинулся в путь. Через два дня они пришли к перевалу.

– Большую думу, заронил ты мне в душу, Дата, клянусь нашим братством, – сказал Биляль, когда они прощались.

Туташхиа пришел в Мулахи и до конца октября гостил у Гуджеджиани. Хозяева уговаривали его перезимовать у них, но его ждали дела. Он спустился к Харнали. В Харкали арендовал духан его тюремный друг Бикентий Иалканидзе. Они не виделись уже больше года.

Его настоящая фамилия была Джмухадзе. Еще в юности, решив, что корявая фамилия досталась ему вместе с превратной судьбой, он сменил ее на Иалканидзе. Этот Бикентий Иалканидзе к сорока годам успел исколесить почти всю Россию и побывать во многих странах за ее пределами. Не существовало ремесла, за которое бы он не брался, но самым примечательным было то, что он успел отсидеть в тюрьмах доброго десятка государств и всякий раз по одной и той же причине: он терпеть не мог неприличных людей. Его нетерпимость далеко не всегда приводила его в тюрьму – порой он спасался бегством. Бега всякий раз заставляли начинать жизнь с нуля, и это всегда, на первых порах по крайней мере, бывало сопряжено с лишениями, а порой и с голодом. Судьба и правда не баловала Иалканидзе. Однажды в Новой Гвинее он вошел в дело с одним англичанином, который охотился на райских птиц. Охотничьи места находились в глубине острова, где жило племя, называющее себя племенем истинных людей. Торговля чучелами райских птиц считалась тогда в Новой Гвинее очень прибыльной, и у компаньонов дела шли преотлично. Картрайт охотился. Иалканидзе отвозил добычу в город к чучельщику. Уже готовые чучела из птиц, привезенных в прошлый раз, он забирал и продавал, а деньги вносил в банк на имя Картрайта и отправлялся за новой добычей. Путь в четыреста миль пролегал по дремучим джунглям. Однажды, завершив все дела в городе, походя разделавшись в одной харчевне с австралийским матросом, который вел себя неприлично, и, улизнув от портовой полиции, Иалканидзе отправился навстречу своему компаньону. Оказалось, что голову компаньона утащили истинные люди, дабы пополнит свою коллекцию, в чем прежде они замечены не были, поскольку головы белых людей не коллекционировали. Иалканидзе сообщил о несчастье полиции и одиннадцать месяцев отсидел в тюрьме. Когда выяснилось, что в смерти компаньона он не повинен, перед ним извинились и освободили, но получить свою долю из денег, внесенных в банк на имя товарища, он не смог даже через суд и, как он сам говорил, остался в чем мать родила. На этот раз Бикентия Иалканидзе выручило то, что у одного из поваров на французском океаническом судне обнаружилась проказа, и, облачась в белый фартук и колпак, в обществе кастрюль и поварешек, незадачливый рачинец отбыл в Европу.

Вся жизнь Иалканидзе состояла из таких злоключений. Во время одной из отсидок он догадался, что в конце концов по всем виноват он сам, вернее, его натура. Выяснилось, таким образом, что причина всех предшествующих и грядущих отсидок была одна-единственной, и тогда они все слились в его воображении в одну большую отсидку. А так как жизнь на воле ничего хорошего ему не приносила, а в тюрьмах – в силу таинственной закономерности – он неизменно пользовался всеобщим уважением и всегда мог оказывать помощь приличным людям, в его сознании жизнь представилась теперь как одно великое и вечное заключение и явление не совсем уж отрицательное. От рождения наделенный смекалкой, он заметил, что во всякой беде больше смешного, чем печального. С тех пор смех и веселье стали неизменными

его спутниками. В конце концов мир обрел в его глазах очертания одной гигантской тюрьмы, и ему было все равно, торговать ли бусами в Центральной Африке или дискутировать о породах гончих со знающими толк *приличными* людьми в Тамбовской губернской тюрьме.

Дата Туташхиа и Иалканидзе довольно долго сидели вместе. В тюрьме их сроднило бескорыстие, свойственное каждому из них, и нетерпимость к *неприличным* людям. Одного этого оказалось достаточно, чтобы каждый почувствовал себя в долгу перед другим и безропотное выполнение этого долга почел за неукоснительную свою обязанность.

Иалканидзе получил помилование и, покидая тюрьму, сказал Туташхиа:

– Не скучай, я скоро вернусь.

– Боюсь, не застанешь меня.

Иалканидзе это не понравилось, ибо он рассчитывал, что его приятель беспечально отсидит оставшийся срок, а тут запахло побегом. Тюрьма живет по своим правилам, и Туташхиа был Туташхиа! Поэтому Иалканидзе и не пытался отговаривать приятеля, а подумав и прикинув, сказал:

– На Пéсках у меня дядя. Тоже Джмухадзе. Коста зовут. У него там хашная. Он будет знать, где я. Всяко бывает…

– Всяко бывает, – согласился Туташхиа.

В Харнали, как и в Центральной Африке, где он торговал бусами, Бикентий Иалканидзе кормил и поил в своем духане местных и пришлых, но неотступно воевал при этом с неприличными людьми и всегда держал наготове кой-какие пожитки на случай тюрьмы.

Уже стемнело, когда Дата Туташхиа подъехал к духану Бикентия Иалканидзе и услышал какой-то шум. Он натянул поводья и прислушался: в ночной тишине шум разносился далеко, но все равно ничего нельзя было разобрать. Дорога уходила в заросший кустарником овраг, и Туташхиа, спустившись по ней, привязал там лошадь, а сам поднялся к духану.

Возле духана протекал ручей. Над ручьем склонилось несколько плакучих ив. Туташхиа скрылся в их тени и стал наблюдать за происходящим.

Кто-то с перепою ломился в духан, а товарищи его удерживали. Вздымая кулаки к балкону, пьяный сулил Бикентню Иалканидзе изощренные муки, долженствующие завершиться смертью, тоже мучительной.

– Ступай домой, Малакиа, – послышалось из распахнутой балконной двери. – Сделай милость, не заставляй меня спускаться!

Туташхиа узнал бас Иалканидзе.

– Иалканидзе, выйди, если ты мужчина! Уйдешь от меня живым, так хоть поглядишь, что можно сделать с твоими ребрами! – петушился забияка, пытаясь вырваться из рук приятелей.

– Шалико, и ты, который из Геби, не знаю, как тебя звать… Перебрал ваш дружок, и придется мне поколотить сукина сына! Вы его покрепче держите, чтоб не убежал, а то вам придется самим за ним трусить или я всем трем пересчитаю ребра!.. Вот дочитаю сейчас – уж больно хороши стихи – и спущусь. Только смотрите у меня, чтоб не сбежал, не приведи бог!

Буян почувствовал, что запахло риском, и быстрехонько стих. Под балконом на пороге возникла тщедушная личность и, скрестив руки на груди, победоносно воззрилась на угомонившегося дебошира.

Малакиа, Шалико и этот из Геби стояли, жалко напыжившись, как полоненные вояки.

– Ладно, Малакиа. Заклинаю тебя твоей Дарико и твоими детьми, пойдем отсюда, будь человеком, – попросил Шалико.

– Астион, дружок, – миролюбиво спросил гебец стоявшего на пороге духана коротышку, – скажи на милость, велико ли стихотворение, которое читает Иалканидзе?

Астион на пальцах показал, что стишок крохотный и что Бикентий вот-вот его дочитает и выйдет.

Больше никто ничего не сказал, и Малакиа заторопился к мосточку, перекинутому через ручей. Язвительный смешок коротышки напутствовал их, как поношение.

– Бикентий Иалканидзе, – послышался из-за ручья голос Малакии, – не заслужил я, чтобы ты меня выставлял из-за этого иуды Астиона. Ему в тюрьме добрые люди язык вырвали – ты этого знать не знаешь. Он к тебе не с добром пришел, и пока он на тебя беды не накликал, оторви ему голову. Послушай моего совета!

Коротышка запустил в Малакию камнем и скрылся в духане.

– Малакиа, погоди минуту, дело у меня к тебе! – окликнул его Туташхиа.

Малакиа вздрогнул и уставился в непроглядную темь.

– За что, говоришь, у этого человека язык вырвали? Где это было?

Опешивший Малакиа, разинув рот, разглядывал вынырнувшего из темноты человека. Придя в себя, он зашептал, будто секрет рассказывал:

– Вы, наверное, слыхали, что в Кавказской перебили купеческую семью и пропасть добра и денег унесли?

– Ну, а дальше?

– У этого купца Астион в лакеях служил. Он и навел грабителей… сказал, где у хозяина деньги спрятаны. Как случилась эта беда, нагрянула полиция, схватили Астиона, заставили признаться во всем, и он назвал грабителей – всех до единого. Взяли их, а они в тюрьме ему язык и выдрали… Я конюхом служил у уездного предводителя и все эти дела знаю… Девять месяцев семьи не видал, прихожу сегодня, и на тебе – у Бикентия Иалканидзе этот Астион! Я ему, мерзавцу, челюсть свернул, а Иалканидзе возьми и выгони меня из духана, будто пса паршивого. Он думает… Знал бы он… много здесь до него духанщиков перебывало. Только одни сами сбежать смекнули, а других прикончили. Такое уж это заклятое место – Харнали. А Иалканидзе это невдомек.

– Спасибо тебе, друг! И пошли вам всем господь здоровья! – И Туташхиа пошел к своим лошадям.

На небольшом холме повыше родника стояли развалины старой церкви. У Туташхиа был там тайник. Он спрятал ружье и кинжал, а два маузера положил в хурджин – по одному в каждую суму. Отвязал лошадей и вернулся к духану.

На конский топот из духана высунулся Астион.

– Поставь лошадей. Я заночую здесь, – сказал Туташхиа.

Астион принял поводья и внимательно оглядел гостя. Эта излишняя любознательность не осталась гостем незамеченной.

– Где Бикентий? – спросил Туташхиа.

Слуга показал рукой на комнату на балконе, к которому вела лестница, и повел лошадей в конюшню. Туташхиа поднялся по лестнице и на балконе остановился, чтобы проводить слугу глазами.

Иалкапндзе лежал на тахте и читал при свете маленькой лампы.

– Здравствуй, Бикентий!

Иалканидзе положил книгу и взглянул на гостя.

– Ти-т-у-уу! – протянул он тихо.

– Ти-ту, – согласился Туташхиа таким тоном, будто вспомнил нечто не совсем пристойное. – С чего ты это вспомнил?., Почему именно это? Ти-т-ту?..

Иалканидзе обнял приятеля.

– Куда же ты запропал, друг?

Туташхна сбросил хурджин, скинул бурку и сел. Когда первые разговоры были переговорены и новости пересказаны, абраг спросил:

– Ты слышал, что этот Малакиа про твоего Астиона кричал?

– Слышал и знаю об этом. Когда ты был здесь в последний раз, тут на дороге работали каторжники, и старшим надзирателем над ними был поставлен такой Удодов. Ты когда-нибудь белые глаза у человека видел? Так вот этого Удодова месяц хлебом не корми и водой не пои – дай человека помучить. Приходит он раз ко мне и говорит: у меня освобождается одни малый, очень приличный человек, в лакеях долго служил у хороших хозяев. Он сидел за то, что пырнул ножом любовника жены. Он немой, но слышит прекрасно. Он назвал фамилию, н я сразу понял, о ком речь и за что сидел. Не мог же этот изверг надзиратель привести мне Астиона из одной только жалости к бедняге?! Полиции надо было иметь у меня своего человека. Ничего другого за этой немудреной удодозской хитростью не стояло. Взял я этого Астиона. Он и сидит у меня.

– Ты все верно разложил. Но полиции нужен был свой человек, а тебе он зачем?..

– Кто?

– Их человек в твоем духане?

– Значит, нужен. Отказаться ничего не стоило.

Туташхиа вышел на балкон, Бикентий вынес туда стулья, и они расположились на воздухе.

– Сколько порций хашламы продаст в день Бикентпй Иалканидзе – об этом сообщать в полицию? Ясно, не за этим они его сюда посадили, – вернулся Иалканидзе к их разговору. – И не для того нужен был им Астион, чтобы передавать про всех беглых и пришлых, кто через этот духан пройдет. За полгода не перечесть, сколько останавливалось здесь разбойников и всякого темного люда. Астион все видел, все слышал, но дальше вон того нужника шагу не ступал. От Харпали до пристава двадцать верст полных, до полиции – шестьдесят. Удодов как привел Астиона, так через три дня и угнал своих каторжников, поминай как звали. Захоти даже Астион, куда, кому и как ему доносить?.. Да еще он дурак дураком, каких свет не видывал! Нет, он не фискал, не то вон в том комнате Бодго Квалтава остановился…

– Кто, говоришь? – встрепенулся Туташхпа.

– Бодго Квалтава, разбойник, бандит… – Иалканидзе осекся, будто что-то ударило ему в голову, и лицо его озарилось догадкой.

– Бодго Квалтава! – промолвил Туташхиа. – Он одни или с кем-нибудь?

Духанщик с трудом оторвался от своих мыслей:

– Да… что тебе надо?.. Один, не один!.. Товарищ с ним.

– За последние пятнадцать лет повешено пять товарищей этого Квалтава, – медленно проговорил Туташхиа. – А сколько еще уложил в перестрелках!.. Это очень дурной человек. Припрет его полиция к стенке – он оставит у нее в руках товарища, а сам смоется. Этим и жив, за этим и таскает за собой товарищей.

Иалканндзе сплюнул, выругался и снова погрузился в мысли, нахлынувшие на него при имени Квалтава.

– О чем задумался, Бикентий? – спросил Дата.

– Мыслишка одна забрела мне в голову. Но о ней после. Я тебе об Астионе скажу, раз уж мы о нем заговорили. Нет, не фискалить его сюда посадили…

– Ты говоришь, он дурак. Это и полиции известно. Дурака они в стукачи не возьмут, – согласился Туташхиа.

– Не возьмут – твоя правда. Так кто же он, как ты думаешь? Я тебе скажу, кто. Он. – убийца! Я это понял еще до того, как он у меня служить начал. Он поселился у меня, пожил немного, и я послал его в деревню, будто бы по делу, а сам обшмонал его барахлишко. Нашел яд.

– Ты погляди-ка! Чем тупей человек, тем легче убивает! Толково они подобрали, – сказал Туташхиа.

– Теперь ты понял, зачем он мне здесь понадобился? Откажись я от него, они б толкнули его в другое место. Что мне тогда с ним делать? А ничего и не сделаешь.

– Ты все сделал правильно, – проговорил Туташхиа негромко.

Абраг смотрел в небо. Иалканидзе думал.

– Однажды я подарил Эле, моей сестре, кусок материи на платье, – сказал Туташхиа, и в голосе звенела печаль. – Такой он был синий, и по синему полю рассыпан был жемчуг, крупный и мелкий, как эти звезды.

А мысли Иалканидзе все вертелись и вертелись вокруг немого слуги. Больше всего он жаждал понять, узнал Астион Туташхиа или нет. Об этом ему и хотелось поговорить, но он чувствовал, что душа гостя совсем не здесь, и не хотел мешать ему.

Пробежал ветерок, принеся с собой запах леса со склона, и Туташхиа почувствовал, как встревожен и взволнован друг.

– Он очень пристально поглядел на меня, но мне кажется, не понял, я это или кто-то другой.

– С тех пор прошло сколько времени, – рассмеялся Иалканидзе. – В тюрьме у тебя была борода, а бритого поди узнай тебя. Да и темень какая… Сколько времени вы провели тогда вместе?

– Дня два, от силы – три. Арестанты распознали, что он за птица, начальство перепугалось, что его пришьют, и забрали куда-то… Бикентий… я привел коня!..

– Ты что говоришь? Значит, ты узнал, кто он, тот человек? Да говори, ради бога…

Туташхиа долго набивал трубку.

– Мне верные люди сказали, но и других надо спросить… тогда уже совсем поверю. Я сейчас дорогой повидаюсь с одним… проверю… – Туташхиа взглянул на Иалканидзе и, увидев, в каком тяжелом он напряжении, сказал: – А человек этот – мой двоюродный брат Мушни Зарандиа.

– Я так и думал, Дата, да не набрался духу сказать тебе… Двоюродный брат!

Сильнее подул ветер, и похолодало. Они долго молчали, пока Иалканидзе не продрог.

– Может, пойдем?

Они забрали стулья и закрыли за собой дверь. Туташхиа взял со стола газету, взглянул на число, проглядел заголовки и принялся читать.

– Я открою дверь, здесь душно, – и духанщик распахнул дверь, ведущую в зал.

В духане было два этажа. Первый этаж был отведен под обеденный зал, кухню и всякие службы. На втором этаже размещались жилые комнаты: по три с каждой стороны вдоль фасада и по две – на торцах. Все комнаты выходили на узкий внутренний балкон, который галереей обвивал весь зал изнутри. С каждой стороны в зал сбегало с балкона по лестнице. Из распахнутой двери был виден сейчас почти весь балкон и часть обеденного зала внизу. Зал был освещен огромной керосиновой лампой, спускавшейся с потолка. Если посетители хотели, можно было зажечь маленькие лампы, развешанные по стенам, над столами.

– Это тот самый Квалтава, который погубил семью духанщика из Чаладиди?.. А потом ты встретил сына духанщика в Тифлисе? Этот?

– Да, он самый. Сколько же теперь лет этому Квалтава? Всю жизнь он только и делает, что обдирает и грабит, почти вся добыча остается ему одному, а какова доля его товарищей, я тебе сказал. Куда ему столько денег? Хотел бы я знать, зачем ему столько? Где-нибудь его да пристрелят, и прахом пойдут все эти грабежи, убийства и сколоченное на крови богатство. Чего-то я здесь не пойму.

Туташхиа снова взялся за газету, а Иалканидзе принялся ходить взад и вперед, что-то обмозговывая и прикидывая. Наконец, видно что-то придумав, присел к столу и сказал:

– Не хотел я тебя тревожить… здесь, может статься, шуметь начнут…

– Пусть шумят, раз тебе так нужно, – сказал Туташхиа, не отрывая глаз от газеты.

– Нужно.

Абраг придвинул к себе хурджин и снова ушел в чтение. Из комнаты напротив вышли двое в великолепных чохах, украшенных драгоценными поясами и кинжалами. У каждого – маузер.

– Не узнал? – спросил Иалканидзе, когда гости спустились вниз.

– Узнал. Этот негодяй сильно сдал. Второй – Дата Чочиа. Отгрохал пятнадцать лет каторги и, вернувшись, вроде бы взялся за ум. Но вижу, набрел наконец на ту смертную дорожку, что ему суждена. Он и до каторги живую душу во много не ставил, а уж сейчас за двугривенный любую голову принесет. Когда они пришли?

– Сегодня, после полудня. Держатся так, будто все грехи, что на них висят, бабьими языками понавешаны, а если кто и гонится за ними, так чтоб догнать и спасибо сказать. Как их зовут, Астион уже разнюхал, теперь – уши торчком – фамилии хочет поймать.

– В молодости я был знаком с Чочиа. Мы с ним почти ровесники.

Завидев Астиона, приближающегося к гостям, Иалканидзе поднялся:

– Погляжу-ка, что там делается, и вернусь.

Бикентий спустился в кухню и наказал повару Закарии, как ему, Закарии, отвечать, когда Бикентий заговорит с ним при Астионе. Повар не сразу понял, чего от него хотят, а потом заучил свою роль, трижды повторил хозяину, и успокоенный Бикентий отправился в зал. Он подошел к гостям и, пожелав им доброго здравия, спросил, что подать на ужин. Прихватив с собой Астиона, вернулся в кухню.

– Давай поднос, Астион, – приказал он, подходя к плите, снимая крышки с котлов, пробуя и нюхая.

Закариа возился в углу, но, увидев хозяина, ополоснул руки и подошел.

– Что господа заказать изволили?

Иалканидзе сказал и, когда вернулся Астион с подносом, спросил повара:

– Тот, что лицом сюда сидит, – Дата Туташхиа?

– А черт его знает, как он там сел, мне отсюда не видать, – ответил бестолковый повар, которому ведено было сказать: «Подвинься чуток, дай гляну!»

Астион замер, и замер поднос в его руках. Иалканидзе краем глаза поймал это, но виду не подал, что хоть что-то заметил.

– Дата Туташхиа – тот, что бритый, а Бодго Квалтава – с козлиной бороденкой.

– Хотел бы я знать, как это они до сих пор на воле гуляют?

Астнон уже пришел в себя и расставлял на подносе тарелки с ужином.

– Прислуживай, чтоб комар носу не подточил. Охота мне с ними связываться… Астион, займись вином. Из маленькой бочки набери александреули. А ужин Закариа понесет. И давайте побыстрей!

Мысли Астиона, видно, метались как в лихорадке. Чтобы взять яд, надо выскочить из духана, да незаметно, да еще успеть бросить яду в вино, а тут хозяин – на тебе – сам все устроил. Он схватил два узкогорлых кувшина и бросился вон из кухни с ловкостью и быстротой самого расторопного слуги.

Иалканидзе переждал, пока Астион успеет сбегать к себе, забежать за вином и вернуться в зал, и сказал Закарии:

– Бери поднос и ступай. Остальное возьмешь из буфета.

– Бикентий! – Повар запнулся на секунду, но любопытство, видно, взяло верх, и он не удержался: – Богом заклинаю, это правда Дата Туташхиа?

Иалканидзе лишь покосился на него и, выйдя из кухни, отправился наверх.

– Похоже, не миновать войны, – сказал Туташхиа, откладывая газету и располагаясь на тахте.

Иалканидзе застыл у окна, вглядываясь в темноту.

– На тебе лица нет, дорогой мой, – сказал Туташхна, – ты встретил меня этим Тугушевым «ти-ту», а теперь, боюсь, мне самому придется тебя откачивать.

– Ти-ту, – покорно согласился духанщик.

Не удивление и не испуг заставили Бикептия просвистеть это «ти-ту», когда на пороге его жилья возник Туташхиа, который всегда тащил за собой опасность. Просто у Бикентия была такая память – он запоминал людей через смешное. На этот раз он вспомнил Тугуши, сидевшего вместе с ним и Датой. В ту пору Бикентий был в тюрьме фельдшером, и однажды, когда они болтали с Туташхиа, к нему пришел Тугуши с жалобой на зубную боль. В зубном деле Бикентий ничего не смыслил, и инструмента у него, конечно, никакого не было. Он сунул больному пилюлю, чтобы унять боль, но бедняга вскоре опять вернулся – боль не утихала. Он дал еще одну пилюлю, но тот опять пришел и приходил через каждые десять минут, стеная и заклиная выдрать проклятый зуб. У Бикентия были только старые, затупившиеся кусачки, и он совал их под нос бедняге, объясняя, что щипцами этими не схватишь обломок зуба, от которого остались лишь корни. Но Тугуши стоял на своем. Деваться некуда – Иалканидзе усадил Тугуши на табурет, вытер щипцы о фартук и велел Туташхиа крепко держать пациента за голову, чтобы не дергался. Больной открыл рот. Туташхиа одной рукой зажал его голову, другой прижал руки к груди. Когда Иалканидзе ухватился наконец за сломанный зуб и попытался расшатать корень, Тугуши дернулся, и щипцы соскочили.

– Крепче держи, кому сказано!

– Держу, куда крепче! Ты что, хочешь, чтоб я его раздавил?

Туташхиа, схватившись за виски Тугуши, так стиснул его голову, что Тугуши показалось, что череп у него лопнет сейчас, как орех. Он трясся и дергался, а зуб ни с места.

– Да что ты там ковыряешься?.. Он же богу душу сейчас отдаст! – разозлился Туташхиа.

– А тебе-то что, не у тебя болит! Он, сволочь такая, к десне прирос, никак не сдвинешь. Ты его, сукина сына, держи! Не отпускай! И щипцы ни к черту, будь они прокляты! – Иалканидзе сплюнул и продолжал операцию.

Тугуши не вынес боли от этих двойных тисков и схватил Иалканидзе за руку. Как раз в эту минуту корень подался, но щипцы от толчка соскользнули, и больной, почувствовав, что его отпустили, завопил не своим голосом:

– Ти-тууу!!![27]

Иалканидзе не успел извергнуть третью очередь отборных проклятий, как Туташхиа побледнел и ему стало дурно. Почувствовав свободу, Тугуши бросился вон из комнаты, а Туташхиа плюхнулся на его стул.

– Тоже мне разбойник, абраг, гроза Кавказа, – потешался Иалканидзе. – Да ты и курицы не зарежешь! – хлопотал он, приводя приятеля в чувство.

С тех пор прошло уже много лет, но Туташхиа любил вспоминать эту историю и рассказывал ее всегда обстоятельно, ценя в ней подробности. А Иалканидзе все молчал, ожидая возвращения Астиона.

– Ты помнишь, какой носище был у Тугуши?! – не отставал Дата.

Иалканидзе быстро отошел от окна – хлопнула дверь, ведущая в подвал.

– А помнишь, как он пристал – рви и все?.. – откликнулся Иалканидзе, но голос его звучал странно, совсем не о том он думал.

Он подошел к столу и через открытую дверь заглянул в зал.

Гости ужинали, то и дело поглядывая на кухню, – вино все не приносили.

Скрипнула входная дверь, и Астион поставил на стол кувшины. Сказалась лакейская муштра: он задержался у стойки, не прикажут ли чего еще, но гости молчали, и он вернулся в кухню.

Чочиа разлил вино, чокнулся с товарищем и выпил залпом. Квалтава отхлебнул меньше половины и поставил пиалу на стол. Всего этого немой не видел – он только вошел в кухню, оставив дверь открытой.

Держа перед собой газету, Иалканидзе видел и гостей, и суетившегося возле двери Астиона.

Туташхиа смотрел на Иалканидзе и по его лицу старался понять, что происходит внизу.

Чочиа о чем-то спросил Квалтава, но Квалтава не ответил. Иалканидзе догадался – Чочиа спросил товарища, почему он не допил.

Немой не отрывал глаз от гостей, соображая, почему же они не пьют.

Вдруг по лицу Чочиа пробежала судорога, он побледнел, хотел что-то сказать, но губы шевелились, а звука не было. Бодго Квалтава, оцепенев, глядел на товарища.

– На столе нет соли! Пусть принесут соль! – заорал он.

Немой, остановившись в дверях кухни, дрожал и не мог сойти с места.

– Что уставился? Не слышишь? Тебе говорят! – заорал Квалтава, повернувшись к кухне.

Астион сорвался с места, подбежал к стопке, схватил соль и поставил на стол.

Дата Чочиа сидел закрыв глаза, все сильнее крепясь, и казалось, он вот-вот рухнет на пол. Квалтава долил свою пиалу и вытащил маузер.

– Пей! – бросил он слуге.

Немой взглянул на Чочиа, потом на пиалу, полную вина, потом на Бодго Квалтава… Выстрел Квалтава оборвал его протяжный и сдавленный вопль. Астион упал, приподнялся было, но после второго выстрела уже не двигался.

– Что тут происходит?! – спросил Туташхиа, выхватив из хурджина оба своих маузера.

– Иалканидзе! Шлюха! Сука! А ну давай сюда! Ты у меня хлебнешь этого пойла или я сам тебя спущу и заставлю пить за здравие тех фараонов, которые тебя за трояк наняли! – неслось из зала.

Туташхиа рванулся к балкону, но Иалканидзе, толкнув ногой дверь, захлопнул ее и задвинул засов.

– Астион насыпал им яду… в вино!

Следующая пуля пробила дверь, след ее остался на правой стене, а сама пуля исчезла.

– Иалканидзе, валяй сюда! Не заставляй меня подниматься! – орал Квалтава.

– Он выпустил уже три пули, – сказал Туташхиа. – А ты знал о яде?

– Знал, я обманул Астиона, навел его на бритого, сказал, что бритый – Дата Туташхиа. – Бикентий вынул из кармана револьвер.

---

[27] Ой, мама!!!

– Раз ты пошел на это, должен был и меня предупредить!.. Дружба дружбой, а правило прежде всего. Ведь я же не мог сам тебя спрашивать, Бикентий!

– Иалканидзе! Открой дверь! – закричал Квалтава уже из-под двери и выпустил еще две пули. Дверь комнаты была уже вся изрешечена, но ни Туташхиа, ни Иалканидзе даже не задело. Абраг поднял два пальца – дал Бикентию знать, что в маузере Квалтава осталось всего две пули. Иалканидзе показал, что пойдет в обход, пересек комнату на цыпочках, вышел на балкон и исчез в темноте.

Туташхиа отодвинул засов и распахнул дверь.

Квалтава и Дата Туташхиа предстали друг перед другом.

Оторопевший разбойник стоял перед Туташхиа, опустив маузер дулом вниз.

– Что тебе нужно, Квалтава? – холодно спросил Туташхиа.

– Ох-х! – Еще несколько мгновений Квалтава разглядывал Туташхиа, потом прикрыл веки и привалился к стене.

Иалканидзе на цыпочках крался вверх по лестнице, все время держа разбойника на мушке. Когда Квалтава предстал перед ним во весь рост, он опустил револьвер и сунул его за пояс.

У Квалтава подгибались ноги, и он опускался на пол. Едва отдышавшись, открыл глаза.

– О-х-х! – прохрипел он. – Дата-батоно, скажи, ты не знал об этом?.. Правду скажи, не знал?..

– Не знал! – сказал Туташхиа.

Побелевшие губы Квалтава растянулись в улыбке. Он упал навзничь, маузер выскользнул из рук, и слышно было, как шлепнулся в зале на пол.

Соскользнул со стула и грохнулся о пол труп Чочиа.

Туташхиа стоял на пороге, подпирая плечом косяк двери, и смотрел вниз, в зал. Иалканидзе отпустило напряжение, слабость разлилась по телу, он присел на верхней ступеньке лестницы, прислонясь спиной к стене, и уставился в потолок.

Стояла тяжелая тишина.

В конюшне заржала лошадь, и снова все стихло.

Из кухни донесся шорох.

– Не бойся, Закариа, выходи! – Только сейчас Иалканидзе вспомнил о поваре.

Закарий выглянул из оконца кухни, ступил на порог, оглядел зал и поднял глаза на балкон.

– Поднимись сюда, слышишь? – позвал Иалканидзе.

Повар оторвался от порога, сделал несколько быстрых шагов по залу и замер на его середине, созерцая трупы. Еще несколько шагов, и он достиг лестницы. Ему осталось до балкона всего несколько ступенек, когда он увидел лежащего навзничь Квалтава и снова оцепенел. Он был весь в муке, и Бикентий понял, что после первого же выстрела Закарий укрылся в кладовой среди мешков с мукой.

– Бикентий! Сколько трупов… – пролепетал повар. – И все наши?

Туташхиа улыбнулся и вернулся в комнату.

– Нет, не все. Половина – твоего батюшки Дмитрия, – ответил Иалканидзе. – Пока я спущусь в долину к приставу, пока оттуда явится полиция, пройдет не меньше трех дней, и от них дух пойдет. Нужно их похоронить. Возьми лопату и вырой могилу, чтобы всех троих уместить. А я отправлюсь на заре. Но похоронить их надо прежде, чем я уйду.

Закариа пошел вниз, о чем-то размышляя, и уже из зала крикнул Бикентию:

– Я что придумал… У тебя Александр копает яму для нужника, наполовину уже вырыл… Вот она как раз на троих в самую пору будет.

Мысль пришлась Иалканидзе по душе.

Туташхиа всю ночь вертелся и заснул лишь под утро. А заснул – так сны пошли один тревожней другого. Во всех снах бродил один и тот же человек, весь покрытый волосами. Он держал кувшин с отравленным вином и всех поил, но одни умирали, а другие нет. Когда Иалканидзе разбудил его, солнце стояло уже высоко. Стол был щедро накрыт. Только за завтраком Туташхиа заметил старые вещи, сушившиеся на солнышке.

– Думаешь, посадят? – спросил он. – Тюремные доспехи проветриваешь?

– Опять куда-то бежать, к черту на рога. Надоело мотаться по белу свету. Сяду, посижу,

отпустят – куда им деться?

Уже солнце спускалось, когда приятели остановились на развилке двух дорог.

– Как хочешь, но я передам туда, пусть как подобает встретят. Больше месяца продержат – получишь деньги.

– Деньги у меня есть.

Иалканидзе долго смотрел на молчавшего приятеля, и вдруг перехватило горло… В протоколе его допроса было записано: «Сердце мне подсказало, что я вижу его в последний раз».

– И скажи на милость, какая муха меня укусила, – проговорил Иалканидзе. – Не было бы ничего, если б тебя не увидал. А увидал – и натворил делов… Не могу толком объяснить… Понимаешь, при тебе всегда хочется что-то необыкновенное сотворить… Это на всякого нападает, кто с тобой рядом очутился. И что в тебе такого замешано….

Иалканидзе свернул направо, а Туташхиа пошел вниз по Ингури. Там, в долине, были у него дела. Он менял лошадей. То на своем коне ехал, то на жеребце, которого привел Биляль.

Оставив Зугдиди по левую руку, он вышел на дорогу, ведущую в Самурзакано, и в полночь бросил камешек в окно Ноко Басилая.

Соседские собаки на той стороне улицы подняли лай, предупреждая хозяев, что пожаловал чужой. Набросив на плечи архалук, Ноко Басилая вышел встретить гостя.

– Пришел?..

– Здравствуй, Ноко! Есть у тебя кот? – спросил абраг.

– Есть.

– А мешок у тебя небольшой найдется? Сунь в него кота и принеси сюда. И еще возьми палку с аршин длиной или чуть поменьше, остругай с одного конца, да поострее, и тоже сюда принеси. Кот твой вернется к тебе этой же ночью… Да! Привяжи ему к лапе выше колена бечевку с локоть длиной!

Собаки уже совсем остервенели, и все же слух Туташхиа уловил, как скрипнула дверь в домишке Мосе Джагалия, абраг прижался к забору – там, где было потемнее. Мосе Джагалия полз на карачках прямо к нему, ему и в голову не приходило, что за ним следят. Собаки, пораженные странным поведением хозяина, разом умолкли.

– Мосе, если ты пес, почему не лаешь, а если человек – почему на четвереньках? – спросил Туташхиа, подпустив Мосе почти к своим ногам.

Джагалия молчал – куда теперь деваться?

– Ты вроде в конюхах служил, Мосе-батоно? – спросил Туташхиа.

Джагалия долго не мог сообразить, смеется над ним абраг или нет, и вообще, к чему ему это. Ничего путного в голову ему не пришло.

– Да, я семнадцать лет у Дгебуадзе конюхом прослужил, – предпочел он сказать правду.

Выйдя из укрытия, Туташхиа вскочил на забор и устроился поудобнее.

– Ну, раз так, ты лошадей знаешь. А теперь поднимись, дружок, и подойди поближе. Дело у меня к тебе есть. Я – Дата Туташхиа.

У Джагалия чуть сердце не разорвалось, но делать нечего, подошел, и вовсе оробев.

– Я коня привел. Такого другого коня во всей Грузии не сыщешь, а за ним нужен уход, хорошие руки, умелые. Вот тебе двадцать пять рублей… бери!

То ли сон, то ли обман, то ли ловушка… Джагалия уже прощался с детьми, внуками и всей родней, но руку все же протянул и, почувствовав, как деньги оттянули карман, подумал: может, не сон и не капкан?

– Вот так-то. Днем его из конюшни не выводи. Корми и пои как надо. В чистоте и холе держи. Придет к тебе от меня человек и скажет, кому и когда надо будет этого коня отвести. Сделай милость, повтори все, что я тебе сказал.

Абраг заставил Джагалия затвердить также то, что надо будет передать человеку, которому он отведет коня.

– А теперь ступай и отведи его в стойло!

Джагалия от страха едва волочил ноги. Вышел Ноко Басилая с мешком, из которого высовывалась кошачья голова. Кот тоскливо мяукал, а Джагалия никак не мог взять в толк, зачем Туташхиа понадобился соседский кот. Когда же Ноко увел лошадь Туташхиа, Мосе

Джагалия вообразил, что Туташхиа обменял свою лошадь на кота. Он чуть ума не лишился от всей этой чертовщины, и бог знает, что бы еще взбрело в его воспаленную голову, если б он снова не услышал голос Туташхиа:

– Не думай, Мосе, что я про твои дела не знаю. Полиция дает тебе три рубля в месяц, чтобы ты примечал тех, кто по ночам приходит к Ноко Басилая. Я тебе это прощаю, но брось ты это паршивое занятие. Зачем тебе на старости лет совесть за трояк продавать? А теперь иди забирай коня, смотри за ним, да и о своей голове не забывай!

Джагалия увел коня, а Дата пожелал Ноко Басилая спокойной ночи и ушел.

То, что Туташхиа никогда б не вошел в дом, предварительно не выяснив, что творится в нем и вокруг него, тем более что в этом доме его дважды обкладывали, – сообразить большого ума не требовалось, да я и не собираюсь относить это за счет глубокой мудрости Мушни Зарандиа. Неожиданность была в том, что именно это обстоятельство Зарандиа и попытался обратить в свою пользу. Прежде чем попасть к Бечуни Пертиа, ему надо было разузнать, что происходит в ее доме, а для этого следовало понаблюдать за ним откуда-нибудь поблизости. На склоне горы, над самым домом Бечуни Пертиа, расположилась небольшая мельница. Разумеется, в этих местах Туташхиа мог появиться лишь ночью. Для разведки нужно время. Раз, другой обозреть окрестность – этим не обойдешься, нужно здесь побыть, осмотреться как следует. И собаку мельника должно взбудоражить длительное присутствие незнакомого человека, и так или иначе, но она даст хозяину знать и заставит его насторожиться. Дальше все зависело от сноровки и смекалки подкупленного Зарандиа мельника. В случае, для Зарандиа идеальном, мельнику удалось бы убить абрага. На самый худой конец мельник должен был успеть сообщить полиции, что Туташхиа сидит в доме Бечуни Пертиа. Шарухиа, хозяин мельницы, отказался бы сотрудничать с полицией даже в молодые годы, а сейчас, когда он был глубоким стариком, никакая сила не заставила бы его выдать преследуемого человека. Вербовать его было бессмысленно, и Зарандиа нашел другой выход. Он отыскал подходящего человека, некоего Бониа, дал ему пятьсот рублей и навел на мысль купить мельницу Шарухиа. Бониа хорошо знал в лицо Туташхиа. Он привел с собой презлейшую овчарку и поселился на мельнице. В ту дождливую ночь, когда Туташхиа передал Джагалия коня, заканчивался четвертый месяц житья Бониа на мельнице.

Пройдя двенадцать верст, Туташхиа в третьем часу ночи подошел к мельнице. Собака подняла отчаянный лай и разбудила спавшего на тахте Бониа. Шагах в десяти от бесновавшейся овчарки Туташхиа воткнул в землю острым концом палку, вытащил из мешка кота с болтавшейся на лапе бечевкой, привязал его к палке и направился к мельнице.

Бониа еще не успел сообразить, кто бы это мог быть, как вошел Туташхиа. Хозяин приблизил к лицу вошедшего коптилку и при ее свете тотчас узнал Туташхиа. Револьвер у мельника лежал под подушкой, но то ли он понял, что так в прямую ему не опередить Туташхиа с выстрелом, а, может быть, просто растерялся и ничего похожего ему и в голову не пришло, так или иначе, но момент был упущен.

Овчарка, унюхав кота, разбушевалась еще больше. С хрустом и треском ворочались мельничные жернова. Туташхиа сбросил бурку, нашел на стене гвоздь и повесил ее над головой Бониа, который как сидел, так и не поднимался с тахты.

– Подвинься, Бониа, отдохну немного.

Бониа подвинулся к изголовью. Абраг кивнул в изножье. Бонна перекочевал на другой край тахты, не сказав ни слова. Левой голенью Туташхиа ощутил прикосновение твердого предмета, сунул руку под подушку, вытащил оттуда новенький револьвер и рассмеялся от всей души – как было не порадоваться своей проницательности! Бониа сполз на пол, к коленям абрага:

– Нужда прижала! Взял грех на душу! Прости меня, Дата, не убивай, не пусти детей по миру. Я все скажу… Жив буду, вернее меня никого под небом не найдешь!

– Что верности в тебе хоть отбавляй, это я вижу. Поди сядь вон на ту табуретку. Разделываться с тобой мне ни к чему.

– Тогда зачем же ты пришел, Дата-батоно? – спросил Бониа, несмело улыбнувшись.

– Что тебе обещали за меня? – тоже улыбнулся абраг.

Бонна хотел было прикинуться дурачком, но понял, что тут не пофинтишь.

– Мельницу купили, овчарку дали, пятнадцать рублей в месяц платят, ну и…

– Говори!

– Пять тысяч посулили, если убью тебя, – выдавил он из себя.

– Да, в большом убытке и ты, и они… А ты когда-нибудь убивал?

Бониа чуть заметно качнул головой:

– Выучили, как стрелять… на эту оказию… в Кутаиси.

– Как же ты на такое дело пошел – и толку в нем не знаешь, и уметь ничего не умеешь?

– Да кабы не нужда и горе, разве б я пошел, Дата-батоно? Прошлый год – тиф: двух покойников из дому вынес. Год уж скоро, поминать надо, а я на могилу еще и камня не положил… Кукурузы и чего еще соберу – хватает моим на два месяца, больше не растянешь. Четверых народил, а все девочки. Поставлю я их на ноги, подниму, так без приданого кому они нужны? – Бониа только что не плакал.

Разъяренная собака рвалась с цепи. Под мельницей тоскливо плескалась вода.

– Видно, на твоих товарищей пес лает, Дата-батоно, пусть войдут… что им под дождем-то мокнуть?

Туташхиа пропустил это мимо ушей, и, когда он заговорил, Бонна поначалу не мог понять, ему ли он говорит или сам с собой разговаривает:

– Волка из его логова тоже за добычей гонит голодный скулеж щенят. Но голодный и злой волк думает не только о том, чтобы кого-то задрать. Он соображает, как бы не напасть на такого, кто ловчей его и сам его сожрать может. А вот дальше этого волчьих мозгов уже не хватает. Потому что он зверь, а не человек из рода человеческого. Человеку же положено думать: если уж я кого-то и съем, так того, чья жизнь не дороже моей собственной… – Дата Туташхиа взглянул наконец на мельника, который глаз с него не сводил, и сказал: – Чтобы облегчить долю такого, как ты, может, и не стоило убивать такого, как я? Тебе это в голову не приходило, а, Бониа?

– Приходило! – живо отозвался мельник. – Мельница, знаешь, такое место… сидишь думаешь, и чего только через голову твою не пройдет…

– Ну и как?

– А я вот что надумал, Дата-батоно.. – Миролюбие Туташхиа разогнало его страх, и он даже расположился потолковать с умным человеком. – Ведь ты посмотри, как получается. Все, что ты хочешь и в чем у тебя была нужда, все у тебя есть, Дата-батоно, и ничего тебе уже не надо, и нет у тебя ни в чем особой нужды. А чего я хочу и в чем моя нужда, у меня из этого пока ничего нет. Все свои желания ты сам уже исполнил, а захоти ты еще чего – богатства, знатности, имения, – тебе и это добыть ничего не стоит. А за моими дочками не дай хоть клочка земли и капли денег, кто их возьмет?! Такой бабы, как моя Дзабуниа, во всем Самурзакано не сыскать было. А погляди, на кого она теперь похожа – на ободранную суку, прости меня, господи, – и все с нужды и забот… – Бонна сглотнул слезы и тяжело вздохнул. – А если у такого, как я, поубавится горя от смерти такого, как ты… Ты вон каким умным слывешь.. Мне ли тебе говорить, рано ли, поздно, найдется же прохвост, у которого дотянутся до тебя руки… достанутся тогда эти денежки какому-нибудь удачливому да счастливому, а у него и без них всего сверх головы, – где тогда бог и правда, скажи мне?

– Ну и сукин ты сын, Бониа… Послушать тебя, так неправедней и злей нет на земле человека, чем Дата Туташхиа, а то бы сам он к тебе пожаловал, увидел бы твоих дочек, губы распустил и сказал: на тебе ружье, Бониа, стреляй в меня, Христа ради, и готовь приданое своим ангелочкам!

Абраг дотянулся до револьвера, находящегося на тахте, и кинул его к ногам Бонна:

– Вот он… Бери и стреляй!

Бониа будто скрючило.

– Если боишься, что я выстрелю раньше в тебя… давай я лягу, повернусь лицом к стене, а ты стреляй как раз в сипну.

– Я о другом думаю, Дата батоно, – покачал головой Бониа.

– О чем?

– Тебя во дворе твои товарищи поджидают… Что же, я сам себе враг, чтобы убить тебя, а после пусть все прахом идет… Мне деньги живому нужны. Ну, выстрелю я… разве они меня

выпустят? – Бониа кивнул на дверь.

– Ты о моей смерти, как я погляжу, думал больше, чем я. Так ведь не получится, чтоб и меня убить, и деньги взять, но чтоб люди не прознали, кто убил и за сколько. Доля, которой ты боишься – сейчас она тебе выпадет или после, – все равно тебе от нее не уйти, раз она на роду твоем написана. Деньги же все равно твоей семье достанутся, чего же тебе еще?

– Если я в живых не останусь, а моим дочерям – приданое…

– Ты этих денег для себя хочешь. Дочери здесь ни при чем. Но ты и не так жаден, чтобы ради денег пойти на смертельный риск. Читал я одну книгу – о пиратах. Пираты – это морские разбойники. У них скопляются богатства… немыслимые. На эти деньги целые царства можно купить. Но куда там… Они все равно носятся по всему свету, грабят и шарпальничают, гибнут или умирают своей смертью, но это редко… И прахом идут все их бог знает где зарытые сокровища. Что за люди эти пираты, как ты думаешь? Это люди страсти: они любят опасность и любят знать, что где-то у них – один черт знает, в каких океанах, на каких островах, – запрятаны огромные сокровища. Они любят не сами деньги, а добывать их они любят. Добывать! Люби они то, что можно за эти богатства купить, бросили б они все и ушли на покой. Пусть они одержимы глупой страстью. Но – страстью! Другие называют эту страсть жадностью, потому что жадность доступней для людского понимания. Вот ты хочешь раздобыть денег, но знаешь, чего тебе для этого не хватает? Я уже не говорю о любви к опасности. У человека твоей породы ее и не может быть. Но хоть деньги-то должен ты любить настолько, чтобы ради них не бояться опасности? Так тебе и этой любви господь не послал. Живет в Кутаиси сапожник. Зовут его Семен Сапкарадзе. Сорок лет сидит он в подвале дома Аданана и шьет сапоги. Этим ремеслом Семен вырастил уже шестерых дочерей, всех выдал замуж, всех пристроил, а из подвала не уходит. Будь ты таким же добрым человеком, твоих бы дочерей с руками оторвали без всякого приданого. Но не для этого я начал разговор и не о том хочу поведать. Как-то сшил он мне сапоги. Взвесил их, а они больше фунта потянули, и как ни упрашивал я, он мне их не отдал. У Сапкарадзе жадность к своему ремеслу огромная, – это о нем Филимон Табатадзе сказал. Многие думают, что любовь бывает только к семье, к женщине или к филейному шашлыку. Гляжу я на тебя, Бониа, – не любишь ты ни покойников своих, ни дочерей, ни свою Дзабунию, которую ты довел до того, что она, как ты сам говоришь, на ободранную суку стала похожа. Нет у тебя к ним любви, а то не стал бы ты на деньги, полученные за убийство, выкладывать могильные камни, покупать жене шелк и сколачивать дочкам приданое. Когда нет любви, и на убийство не пойдешь. Когда не любишь родину, то и на врага рука не поднимется. Но таким, как ты, этого все равно не понять.

Мельник был весь как распаренный и голову втянул в плечи.

– А ты сам… Что ты сам любишь, Дата-батоно? К чему у тебя любовь? – вкрадчиво спросил он.

На это скрытое ехидство Туташхиа и внимания не обратил.

– Усердная у тебя псина. Уж сколько у тебя сижу, а все лает. Хватит с него, пусть передохнет, а то и голос недолго сорвать, – сказал Туташхиа, поднялся и вышел во двор.

Дождь кончился. Небо очистилось. Светила луна. Абраг остановился на пороге, освоившись с темнотой, оглядел все вокруг, сделал несколько шагов вниз по склону.

Когда он вернулся, Бониа засыпал зерно в корыто. На скрип двери оглянулся и увидел, что под мышкой у Туташхиа что-то шевелится. Он вытряхнул в корыто из мешка остатки зерна. Туташхиа спустил на пол кота с болтавшейся на задней ноге бечевкой. Револьвера на полу уже не было. Туташхиа взглянул на Бониа.

– Я положил его в изголовье, вдруг, думаю, придут за тобой, спросят, как да что, надо же мне сказать, что оружие у меня при себе, что сижу-выжидаю… А то не ровен час и мельницу отберут.

Пес успокоился.

Кот отряхнулся и, пригревшись в углу, зажмурился и замурлыкал.

– С этим-то котом ты меня одолел, Дата, и расколол, – сказал Бониа. – Это из-за кота он так лютовал? А я-то думал, он на твоих товарищей кидается.

– Ты, Бониа, трус и хочешь ложью себя утешить: обидел меня Туташхиа, и не смог я его убить! А ты вспомни: ведь ты сначала все рассказал и молил простить тебя, а уж потом до тебя

дошло, что пес беснуется. И кот здесь ни при чем, и не для тебя я его притащил. Чтобы понять, что не для добрых дел ты на этой мельнице торчишь, Соломонова мудрость не требуется. Да чтоб еще котов таскать в этакую даль…

– А зачем же, Дата-батоно, понадобилось, чтобы мой пес все это время брехал без передыху?

– На его брехню из деревни хоть кто-нибудь да прибежит. Не может того быть, чтобы тебя одного здесь купили. Спали они себе преспокойно, а услышали лай, подумали, с чего собака мельника разгулялась, – может, Туташхиа явился, засел в кустах и высматривает. Пока собака лаяла, ни одного из дома не выгнать было. Сидели себе, сжимая казенные револьверы, и мечтали о пяти тысячах. А теперь, когда пес замолчал, они решили – ушел Туташхиа. Трус любопытен и до сплетен, как баба. Они места себе не найдут, пока по одному не приволокутся сюда и не разузнают, с чего это пес из себя выходил. Жалко, времени у меня нет, а то б я остался и поглядел на всю эту роту своими глазами. Я ухожу. Бери пять рублей. Они тебе пригодятся, а больше у меня нет.

– Не надо, Дата-батоно…

Бониа и правда не хотел брать денег. Туташхиа это понял.

– При другом обороте дела не было б разницы, взял бы эти пять рублей или нет. Хватило б и того, что я тебе предложил, а там бы уж делал как знаешь. Но теперь такой расклад получился, что предложить мало, надо, чтоб ты их взял. Так что давай клади в карман и запомни всех, кто придет нынешней ночью и завтра с утра пораньше будет спрашивать тебя, с чего это собака лаяла.

Мельник взял деньги, вытащил из кармана кисет и спрятал.

– Смотри, Бониа, не обмани меня, а то я такое устрою, что полетишь ты с этой мельницей, и не то что о приданом, о мамалыге тебе и дочкам твоим скучать придется.

Бониа двумя руками держал развязанный кисет и не мог отвести от него глаз. Туташхиа поднял с пола кота и срезал с лапы веревку.

– За что ты даешь мне эти пять рублей, Дата Туташхиа!.. – закричал Бониа. – Забери их обратно. Не нужно денег, я и так скажу, кто придет и станет спрашивать…

– Тс-с-с, Бониа, спокойно! Я заплатил тебе не только за это. Гляди, гляди в кисет!

Мельник поглядел.

– Гляди и соображай – увидишь, кто ты есть и каким должно быть человеку. Для того я и дал тебе эти деньги.

Туташхиа снял со стены бурку, перекинул ее через локоть.

– Дата Туташхиа, лучше б ты убил меня, – рыдал Бониа.

Туташхиа был уже у двери, когда Бониа крикнул ему:

– Погоди, Дата-батоно, послушай, что я скажу…

Абраг обернулся.

– Знаешь, кто со мной говорил в Кутаиси и на это дело уломал?

– Кто? – Туташхиа приблизился к мельнику.

– Сидел там еще жандармский начальник, здешний, кутаисский, но он больше молчал, а говорил твой двоюродный брат Мушни Зарандиа. Только он назвал себя по-другому, думал, я его не знаю. А я все знаю: и что он полковник – знаю, и что в Петербурге большими делами ворочает – тоже знаю. Это он купил мне мельницу у Шарухиа.

Дата Туташхиа стоял будто вкопанный, но это длилось лишь мгновение. Он поднял коптилку, поднес ее к лицу мельника и осветил глаза.

– Когда это было?

– В июне.

– Не врет, – тихо сказал Туташхиа и поставил коптилку на стол.

Абраг думал. Мельник помолчал-помолчал и говорит:

– Неверный и хитрый он человек, твой брат, Дата-батоно. Остерегайся его, ой как остерегайся!

– За мной не Мушни гоняется – его начальство за мной по пятам ходит, а у него служба такая – никуда не денешься, – делает, что велят. Таких, как он, у них хорошо, если два-три найдется. Ты об этом помнить должен. А осторожности мне хватает. И если смерть моя

разыщет меня, так не оттого, что берегся плохо, а оттого, что этот час судьбою назначен.

Туташхиа распахнул дверь. Кот прыгнул через порог и побежал прямиком к дому Ноко Басилая.

– Это порода в нем играет! Ты только погляди на эту туташхиевскую породу!

Абраг обогнул мельницу, сбежал по склону, перепрыгнул через забор Бечуни Пертиа. Он на цыпочках поднялся по черной лестнице и приоткрыл дверь. В коридоре было темно. Абраг пошарил по стене, нащупал дверь, постучал. Подождал немного, никто не отвечал, и он взялся за ручку. Сзади слабо скрипнул пол. Туташхиа пошел на звук и приник ухом к двери, из-за которой донесся скрип. Снова полная тишина, но кожей и нюхом абраг чувствовал, что за дверью кто-то притаился. Может, чужой? В конце коридора светлело окно. Луны отсюда не было видно, только ветки ореха мерцали серебром, и дальше, где кончался двор, среди фруктовых деревьев прятались маленькие домишки. Он вдруг вспомнил свое стадо и бычка Кору, который весь пошел в своих предков и превратился в здоровенного черного бугая с огромным белым яблоком на боку. Кора ворочал голубыми, помутившимися от старости глазищами, и абраг, улыбаясь воспоминанию, любовался бравым бугаем, который достался ахалкалакским молоканам и которого вернуло ему сейчас его воображение.

Он постучал.

– Кто там? – послышался из-за двери голос Гуду.

Туташхиа не успел отозваться, как под полом прокукарекал молодой петух – длинно, отрывисто, хрипло. Видно, это был первый его крик.

Туташхиа но подождал, пока он затих, и сказал негромко:

– Это я – Дата, открой!

– Пожалуй! – чуть помедлив, ответил мальчик.

Щелкнула задвижка.

Дата Туташхиа пошел, запер за собой дверь и стал у порога, разглядывая Гудуну Пертиа.

Мальчик прикрыл поплотнее ставню, подошел к камину, разгреб угли и принялся раздувать их. На гостя он даже не взглянул и двигался нехотя, будто его понуждали.

Дата Туташхиа сосредоточенно разглядывал мальчика с высоты своего роста. Скинул бурку.

– Я два года здесь не был… Сколько теперь тебе?

– Четырнадцать, пятнадцатый, – ответил Гудуна Пертиа, отодрал от стены клочок старых обоев и вернулся к углям. Бумага вспыхнула.

– Четырнадцать, пятнадцатый… Да, так и есть. – Он пристально вглядывался в лицо мальчика, освещенное пламенем горевшей бумаги..

Гость и хозяин как стояли, так и глядели друг на друга, пока от бумаги не остался лишь пепел и комната снова не погрузилась в темноту.

– Засвети коптилку, лампы не нужно, – сказал Туташхиа.

Мальчик снова сорвал со стены полоску обоев, зажег свечу и, стоя спиной к абрагу, уставился в огонь. Абраг оглядел комнату.

– Когда ты был маленький, в этих двух комнатах жила учительница, ее звали Тико, Тинатин Орбелиани… – Он вспомнил давнюю, грозовую для него ночь и самоотреченность жилички, хитроумно и ловко прикрывшей его. – Где Бечуни, Гуду?

– Индеек погнала вчера на базар. Утром вернется.

Мимо камина Туташхиа прошел в глубь комнаты, отодвинул занавесь, заглянул в соседнюю комнату. В окно смотрела луна, разливаясь по комнате слабым светом. Ему вспомнилось все, даже мелочи: здесь стояла кровать Орбелиани, тут он вжался в стену, когда она выставляла казаков и их есаула, а вон там она бросилась ему на грудь, и в эту минуту в окне раскаленными угольями сверкнули очи Бечуни.

Абраг тряхнул головой и обернулся.

Мальчик был очень строен и для своих лет казался высоким. Он смотрел на гостя в упор, будто боялся упустить хоть самое малое движение абрага.

– Ну, хорошо, – сказал Туташхиа, – теперь давай разожжем камин. Я до нитки вымок, обсушусь и поболтаем. Мне надо уйти до рассвета.

Туташхиа снял оружие, положил его возле себя, присел на маленький стульчик и

принялся раздеваться. Гудуна положил на горячие угли сухие щепки и подул. Вспыхнуло пламя. Туташхиа развесил возле камина носки и ноговицы, прислонил к горячей стенке цуги. Рубашку натянул на коленях, а блузу подал мальчику:

– Возьми, помоги, пожалуйста!

Мальчик покосился на блузу, отодвинулся вместе со стульчиком, на котором сидел, нахмурился и уставился в камин.

– Ты что это? Где научили тебя так обращаться с гостем, а? – изумился Туташхиа.

Вопрос заставил Гуду очнуться. Он смутился и взглянул абрагу прямо в глаза, но не поймал в них и тени недоверия, а лишь ощутил идущее из них тепло. Страх прошел, на душе стало легче, он успокоился. А успокоившись, понял, что вместо сердечной приветливости, с какой, все обдумав, собирался встретить гостя, он поддался ненависти, в нем притаившейся, и встретил его слишком холодно, а это могло насторожить Туташхиа и заставить ого быть начеку. От блузы уже поднимался парок, а он не мог выдавить из себя и слова, пусть не радушного, по хоть благожелательного. Он испугался, что крутой поворот от неприязни к радушию мог показаться гостю странным и что от человека, знаменитого своей проницательностью и хитроумием, не ускользнула б и тень фальши в хозяйском гостеприимстве. От всех этих мыслей он пришел и сильное волнение, ему стало неловко сидеть на стульчике, и он заерзал, завертелся.

– Ты встревожен, Гуду? Из-за меня? Высушу бурку и уйду. Не найдется у тебя мелких сухих поленьев?.. Чтобы высушить бурку, нужно много жару.

От дрожи, пронзившей его и пробежавшей по всему телу, мальчика передернуло в плечах.

– Ты не простужен? – спросил Туташхиа. – Давай я сам принесу. Где они у тебя?

– Здесь, в чулане. На двор выходить не надо. Сейчас принесу.

Туташхиа начал одеваться.

– Ты родился в ноябре, под знаком Стрельца, как я! – сказал абраг.

Гудуна Пертиа взял щипцы, поворошил головешки в камине, степенно поднялся и вышел из комнаты. В коридоре он остановился лишь на секунду, открыл дверь в чулан и вытащил из поленницы завернутый в тряпку револьвер. Сердце у него колотилось, перехватило дыхание, но это быстро прошло – к нему вернулись спокойствие и решимость предков. Он развернул оружие, отбросил тряпку, взвел курок, спрятал револьвер на груди и на ощупь начал выбирать мелкие поленья. Выбирал и с грохотом швырял их на пол – жаждал шума.

Под полом в курятнике снова закричал петух. Откликнулся соседский. Мальчик напрягся. «Скоро начнет светать. Не будет он дожидаться рассвета».

Он набрал в охапку побольше дров.

Дата Туташхиа был уже одет, стягивал чоху поясом. Придвинув стулья поближе к огню, он раскинул на них бурку.

Мальчик сбросил дрова перед камином, положил несколько щепок на угли и нагнулся, чтобы раздуть под ними огонь.

– Дай-ка я. Поглядишь, как у меня получается, – абраг потрепал мальчика по плечу.

Мальчик распрямился и уступил ему место. Туташхиа пододвинул стульчик, через плечо улыбнулся мальчику, стоявшему за его спиной, нагнулся и принялся дуть на огонь с протяжным свистом. Гуду Пертиа вынул из-за пазухи револьвер, приставил к затылку абрага и нажал на спусковой крючок.

Раздался выстрел. Он снова взвел курок. Абраг лбом ударился о каменную плиту камина, успел ладонями упереться в пол и застыл. Мальчик снова прицелился, но выстрелить не успел. Туташхиа разогнулся и еще не выпрямился, а револьвер Гуду Пертиа был у него в руках.

Они стояли и смотрели друг другу в лицо – между ними было три шага, не больше. Выражение безмерного, бескрайнего удивления и глухой смертельной боли исказило лицо Даты Туташхиа. Гуду Пертиа настороженно ждал. Он хотел лишь одного – сохранить свою жизнь – и искал путь, который его спасет. Он не выказывал ни растерянности, ни страха и уж вовсе не собирался просить о пощаде.

– Что ты наделал… – протянул Туташхиа и со стоном потер лоб. – Что ты сделал, Гудуна!

Тепло крови, стекавшей с затылка на шею, заставило абрага притронуться к ране. Боль становилась сильнее. Туташхиа заткнул револьвер Гудуны за пояс, сложил платок, перевязал

рану. Руки его дрожали. Слабость овладела им, он опустился на стул, уронил голову и уставился в пол.

Взгляд мальчика метнулся к карабину, прислоненному к стене, но ему было до него не дотянуться – между ним и карабином был абраг.

– Нельзя мне здесь умирать, – проговорил Дата Туташхиа.

Мальчик не разобрал его слов.

Сделав над собой усилие, абраг приподнялся и встал. Застонав, сжал виски, будто хотел унять боль. Постоял так, пока боль не утихла и голова не перестала кружиться, взял с камина оружие и снова затих.

– Надо же, что придумал… Пересилил он меня, его взяла, – сказал он и замолк – от слабости или просто задумался. – Ты матери не говори, что я приходил и ты стрелял. Пожалеем ее.

Мальчик не отвечал.

На пороге дома Дата Туташхиа сказал:

– Денег не бери. Замучают они тебя, изведут… – И осекся. – Я знаю, что делать… Мой труп им не найти… И денег ты не получишь!

По проселочной дороге абраг пошел к морю.

Гуду Пертиа стоял, не двигаясь и не отрывая от двери глаз. Он очнулся от запаха гари, обернулся и вперился в огонь, разбушевавшийся в камине. В голове становилось все чище, все ясней, и властно овладевала им уверенность, что ему надо все, до мелочей, все сделать так, как велел, уходя, Дата Туташхиа.

Мальчик схватил бурку, бросил ее на пол и затоптал загоревшийся край. На полу он заметил маленькую лужицу крови. Он принес тряпку и воду в ведре, смыл и отчистил кровь. Дотошно все осмотрел и нигде не обнаружил больше следов гостя. Свернул бурку, сунул ее под мышку, взял ведро с тряпкой и вышел из комнаты. Вернувшись, разбросал головешки, придавил огонь и сел на кровать.

Он думал, перебирая в памяти все, с самого начала, еще раз вспомнил все по порядку и все взвесил – шаг за шагом.

«Куда же он… ночью?..»

Мальчику вдруг пришло в голову, что ему непременно, во что бы то ни стало надо увидеть того, к кому придет Дата Туташхиа. Он вскочил, набросил на себя пальтецо и бросился вон.

Он вышел на улицу и прислушался к ночной тишине. Ни шагов, ни собачьего лая, ничего, что говорило б о том, что кто-то идет, – ни звука. Он рванулся вправо, пробежав шагов тридцать, остановился и бросился в противоположную сторону. Он искал направление без всякого смысла, подчиняясь только наитию, и был уверен, что выбирает верно.

Он уже бежал. Иногда, чтоб отдышаться, шел шагом. Он весь обратился в слух и зрение, чтоб еще издали различить во тьме человека, бредущего по дороге.

Он одолел Микорский подъем. Отсюда прямой линейкой спускалась к деревне дорога. Где-то на середине склона дорогу пересекала тень.

Туташхиа?..

Мальчик свернул с дороги и пошел кустарником. Абраг еще шел, и мальчик решил, обогнав его, спрятаться у Микорского мосточка. Но надо было знать, за чем он идет. Может, это и не абраг?

Он дошел до речки и берегом вышел к мосту… Тень, бредшая по дороге, была еще далеко. Возле мостка, на этом берегу, стояла кузница Малакии Нинуа. К кузнице примыкала небольшая пристройка, в которой жил кузнец. Мальчик вышел из укрытия и приткнулся возле задней стены кузницы так, чтобы дорога была на виду.

Путник шел медленно и неуверенной походкой. Он останавливался, припадал к деревьям и снова двигался дальше. Мальчик уже не сомневался: это был Дата Туташхиа.

«Он идет в Микори, – мелькнуло у него в голове. – К кому же в Микори он идет?..»

Дата Туташхиа свернул к кузнице и постучал в окно Малакии.

Мальчика всегда удивляло: стоило ему пройти мимо кузни, когда шел к микорским мальчишкам, Малакиа Нинуа всегда выйдет и не преминет сунуть ему то конфету, то биток, то

бляху, а то новехонькую мотыгу подарит. А уж подковать лошадь или быка, так за это он вообще ничего с него не брал или брал полцены – случись при этом посторонний…

Дата Туташхиа постучал еще раз. В доме послышалось движение, и окно отворилось.

– Это я, Малакиа, – тихо сказал Туташхиа.

– Сейчас, сейчас…

– Я не могу зайти, времени нет, спешу..

Абраг стоял под окном, а мальчик, притаившись за углом, прижался к стене. Между ними было каких-нибудь два шага.

– Ты что, Дата, захворал? Что-то голос у тебя не тот…

– Устал страшно. В гавани меня ждет турецкая фелюга. Ухожу в Самсун, у меня там дела есть. – Туташхиа перевел дух. – Я тебя о чем хочу попросить. На этих днях повидай Мосе Джагалия. Мой конь у него. Сейчас ноябрь. В декабре приедет Мушни Зарандиа. У Гулиа свадьба, он там непременно будет. Пусть Джагалия приведет коня прямо на свадьбу и отдаст Мушни. Остальное я ему, мерзавцу, объяснил – как и что сказать. – Туташхиа застонал и обхватил голову руками. – Кто языками почесать любит, им всем говори, что я в Турцию подался.

– Никуда я тебя не отпущу, Дата, клянусь своими детьми… Ты погляди, на кого ты похож…

– Все запомнил, Малакиа?.. Простыл я, будь все проклято… Голова трещит, кости ломит… Ладно, пошел я…

– Пошли тебе господь здоровья!.. – прошептал кузнец.

Туташхиа вышел на дорогу и шатаясь пошел через мост.

Гуду Пертиа, не отрываясь от стены, смотрел вслед абрагу. Дата Туташхиа перебрался через мосток. Стоило ему сейчас обернуться, и он бы увидел мальчика – мальчик был сейчас весь как на ладони. Но он шел к гавани не оглядываясь и вскоре пропал из глаз.

«Дядя Малакиа все знает!» – мальчик подождал еще немного и пошел обратно.

Пройдя причал, Дата Туташхиа пошел влево по берегу. Гавань заслонял от моря скалистый полуостров, ощетинившийся огромными соснами. На гребень его скалистой гряды вела крутая тропа, и не всякий здоровый мог вскарабкаться по ней.

Прежде чем начать подъем, Дата Туташхиа присел отдохнуть и тут потерял сознание. Когда он открыл глаза, уже начало светать, но солнце еще не всходило. Он собрался с силами и поднялся, но чуть опять не упал от головокружения и боли. Он одолел подъем уже наполовину, когда нога подвернулась и он упал, да так неудачно, что подняться уже не мог. До гребня он добрался ползком.

На краю скалы, изогнувшейся над морем, росла сосна. Он подполз к ней, сел среди толстых извивающихся корней и закрыл глаза. Разъяренное море билось о скалу, и брызги от бешено вздымавшихся волн достигали абрага, которого покидали силы.

Внизу, в приморской долине, уже паслось стадо. Пастух изумленно вглядывался в человека, сидевшего под сосной, на выступе скалы. Он свистнул ему и помахал рукой, но голос его не достиг гребня – слишком высоко был Туташхиа.

Абраг смотрел на солнце, пока оно выплывало из-за гор, а потом снял с себя башлык, опоясался им и начал набивать его камнями, стараясь втиснуть побольше. Расстегнув блузу, он и за пазуху насовал камней, а потом набил камнями и обе штанины. Трупу, так сильно нагруженному, никогда не всплыть. Покончив с этим, он снял карабин и швырнул его в море, за карабином полетели оба маузера, револьвер Гуду, кинжал и аджарский нож. Он подполз к самому краю выступа, лег навзничь и замер, словно прислушиваясь к шороху приближающейся смерти. Оставалось только потерять сознание, и тогда тело само сорвется в море.

Лишь на несколько секунд сознание его прояснилось, он вспомнил настоятельницу Ефимию и услышал ее слова: «Сын мой, расплавленный воск догоревшей свечи и сам по себе прекрасен, но проступает в нем и та красота, что тихо мерцала и разгоняла мрак». В последней тоске Дата Туташхиа улыбнулся воспоминанию, так внезапно его посетившему, и горевшая розовым светом небесная высь вновь померкла. По телу его в последний раз пробежала дрожь, оно немело и, лишаясь последних сил, медленно заскользило и сорвалось со скалы.

За установление юридического факта смерти взялся сам генерал Суходольский, но не добился желаемого результата. Согласно показаниям Гудуны Пертиа, Туташхиа был лишь ранен, но, поскольку подобных показаний больше не последовало, и этот факт остался под сомнением.

Пастух, вернувшись в деревню, рассказал о неизвестном, увешанном оружием, который поднялся на скалу и свалился в море. На другой день староста деревни отправился с пастухом на место происшествия, но ни малейших подтверждений его рассказа обнаружено не было ни тогда, ни позже. Пастух к тому же был слабоумен, односельчане рассказу его не поверили и властям ничего не сообщили, следствие тоже не признало его достоверным.

На поиски трупа Туташхиа и предметов, выброшенных им в море, привезли водолазов из Батуми, но море в том месте оказалось слишком глубоким, водолазы не достигли дна и ничего не нашли.

С другой стороны, кузнец, который одним из последних видел Дату Туташхиа, и сам Гуду Пертиа, который слышал разговор Даты Туташхиа с кузнецом, в один голос утверждали, что абраг отбыл в Самсун на турецкой фелюге. В ту ночь из гавани и правда вышла фелюга, но недостоверно здесь то, что Дата к ее отплытию никак не мог успеть. Таким образом, следствие зашло в тупик. Дело невозможно было завершить.

Это один из тех случаев, когда все уверены в факте смерти, но, поскольку его юридическое подтверждение невозможно, факт не может считаться свершившимся раньше истечения предусмотренного законом срока. И враги Даты Туташхиа, и его доброжелатели – все были уверены, что абраг жив и еще объявится целехоньким. Эта уверенность породила один курьезный случай. К Виктору Самушиа, к тому самому учителю, что заронил в душу Гуду Пертиа мысль об убийстве Даты Туташхиа и дал этой мысли прорасти, часа в три ночи кто-то по-хозяйски забарабанил в окно. «Кто ты и что тебе надо?» – спросил спросонья перепуганный Самушиа. «Я – Туташхиа, сука ты паршивая», – тихо ответил гость. Виктор Самушиа умер тут же от сердечного удара.

Сам я не сомневаюсь, что Дата Туташхиа кончил так, как рассказал пастух.

О том, что произошло с Датой Туташхиа, Мушни Зарандиа был извещен незамедлительно… но он не торопился приехать в Грузию и появился лишь в конце декабря, то есть когда, по его предположению, один из капканов, расставленных для Даты Туташхиа, должен был захлопнуться. Официальной причиной своего приезда Мушни Зарандиа назвал свадьбу близкого друга Семена Гулиа.

Прибыв в Тифлис, полковник Зарандиа собрал всех сотрудников, причастных к делу Даты Туташхиа, и выслушал каждого. Вопросов не задал ни одному из них. Он был сосредоточен и мрачен и в продолжение двух часов ни одному не посмотрел в глаза. Приехав в Кутаиси, приказал доставить ему из тюрьмы Иалканидзе и долго с ним говорил. Ознакомившись с уголовным делом, возбужденным против Иалканидзе, приказал дело прекратить, арестованного освободить, а сам отправился к Семену Гулиа.

На второй день свадьбы неизвестный ввел во двор Гулиа коня изумительной красоты и сказал, что это дар Даты Туташхиа. Полковник ответил, что очень сожалеет, но абраг ошибся и подарок предназначается не ему. Коня увела полиция.

Спустя еще несколько дней полковник в сопровождении двух казаков и проводника отправился на место предполагаемой смерти Даты Туташхиа.

Известно, что место преступления обладает для преступника притягательной силой, и, рано или поздно, преступник сюда приходит. С несколько иным проявлением магнетизма места я однажды столкнулся в Швейцарских Альпах. В отеле, где я остановился, в соседнем номере жил старик инженер, англичанин. Непогода задержала и сблизила нас. Оказалось, что инженер, разменявший восьмой десяток, отправился посмотреть затерянный в горах малопримечательный мост. Я не мог понять истинной причины столь обременительного для его возраста путешествия и попросил объяснить ее.

– Позвало мое творение, – улыбнулся старик. – Из сооруженных мною мостов этот – самый остроумный.

Думаю, что внезапное желание Мушни Зарандиа тоже было вызвано магнетизмом места. Полковник оставил казаков внизу и вместе с проводником пешком поднялся на скалу. Пастух

во всех подробностях повторил рассказ и показал место, откуда тело Даты Туташхиа упало в море. Мушни Зарандиа постоял в задумчивости на краю скалы, повернулся и пошел вниз.

Тяжелая форма меланхолии была первым из телесных и душевных недугов, которые в течение трех лет точили Мушни Зарандиа и в конце концов свели его в могилу. Насколько я смог установить, приступы меланхолии начались у него после последнего визита в Грузию, о котором я только что поведал. Не хочу произвести впечатление человека, делающего неосновательные умозаключения, но не могу удержаться от того, чтобы не поделиться своим убеждением: для этого человека, несомненно наделенного большими талантами, критерием его возможности был Дата Туташхиа. Если допустить, что любой деятельной натуре, чтобы жить и действовать, нужен образец, воплощающий ее представление о совершенстве, а для Мушни Зарандиа таким воплощением истинной сути человеческого существования был Дата Туташхиа, то естественно, что после смерти Даты Туташхиа должен был отойти в лучший мир и Мушни Зарандиа.

Эти записки я не смогу считать завершенными, если не упомяну еще об одном обстоятельстве. Я глубоко убежден, что дети, рожденные вне брака, становятся, как правило, людьми энергическими, деятельными и предприимчивыми. Сколько угодно подтверждений тому не трудно найти и в человеческой истории, и в нашей нынешней жизни. Гуду Пертиа, по словам его учителей, обладал ясным умом и большими способностями. Уже в детстве на него обрушились горчайшие потрясения, на плечи мальчика легла драма, его травмировавшая, и это закалило его. Я всегда думал, что провидение готовило Гудуну Пертиа для значительного будущего. После событий, о которых я рассказал, началась чрезвычайно накаленная эпоха, когда обнажились социальные противоречия и перед одаренными, энергичными людьми открылась внушительная арена для выявления своих дарований и обретения известности. Правда, я давно уже вышел в отставку, но живу в Грузии и по сей день неотступно слежу за ходом событий и зигзагами судеб. Имя Гуду Пертиа ни разу мне не встречалось. Недавно мне представился случай, и я спросил о Бечуни Пертиа и ее сыне их земляка. Он сказал, что мать и сын давно покинули те места, порвали все связи и никто о них ничего не знает.